ВЛАДИМИР РУДНЫЙ

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ФЛОТ



☆

ВОЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА
ОБОРОНЫ
СССР

☆



ВЛАДИМИР РУДНЫЙ

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ФЛОТ

РАССКАЗЫ • ОЧЕРКИ • ДНЕВНИКИ

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР
МОСКВА—1965

P2
P83

Владимир Рудный

Великая Отечественная война застала Владимира Рудного на Балтике. Очеркист «Вечерней Москвы» добровольно остался в оперативной группе Политического управления Балтийского флота. Хотя по состоянию здоровья Владимир Рудный был освобожден от военной службы, он стал военным моряком.

Он попросил направить его на полустров Ханко, и вскоре ТАСС стал рассылать для газет его корреспонденции, в газетах появились его очерки из осажденного гарнизона. Он написал проект известного обращения защитников полуострова Ханко к героическим защитникам Москвы. Оно было опубликовано в «Правде» 3 ноября 1941 года, широко читалось, обсуждалось тогда и в окопах и на предприятиях Москвы. А через несколько дней читатели «Правды» прочли очерк Рудного «На полуострове Ханко».

В апреле 1942 года Владимир Рудный был переведен в газету «Красный флот», которую я редактировал в годы войны. Работа в нашей газете и сообщила его книге «Действующий флот» столь широкую географию и такой горячий накал. В качестве специального корреспондента «Красного флота» он летал и ездил на разные флоты и фронты — от Баренцева до Черного моря, от Берлина до Порт-Артура.

И вот спустя почти двадцать лет Владимир Рудный вернулся к фронтовым тетрадям, дневникам и фотоархиву, и это помогло ему воссоздать широкую панораму войны.

Владимир Рудный с честью пронес сквозь суровые фронтовые годы звание военного журналиста и морского писателя. Он вырос за эти годы творчески и идейно закалился, вступив во время войны в Коммунистическую партию. Он регулярно печатал в газете корреспонденции и очерки, опаленные дыханием боев. Специальный корреспондент «Красного флота», Владимир Рудный всегда стремился туда, где было наиболее «жарко».

В 1942 году Владимир Рудный выпустил свою первую книжку «Непобежденный Гангут», тепло принятую моряками. О ней одобрительно писал Б. А. Лавренев. Тогда же была издана служебная брошюра Рудного «Политическая работа в военно-морской базе Ханко». О ней хорошо отзывались флотские командиры и политработники. Начальник Главного политуправления Военно-Морского Флота И. В. Рогов, человек суровый и скупой на похвалы, однаж-

ды сказал, что о политработе надо писать так живо и убедительно, как написал Рудный. Все это помогло автору опубликовать позже большую и значительную книгу «Гангутцы», получившую признание читателей и выдержавшую много изданий.

Газетчик, так же как разведчик, должен много видеть и хорошо запоминать — такая поговорка бытовала в нашей флотской газете в годы войны. Рудный не писал с чужих слов, не получал материал из вторых рук, он старался все видеть сам. Его можно было встретить под обстрелом на улицах Севастополя и в последние дни обороны, и в первые часы освобождения. Газета напечатала очерк «Над Таманью» после того, как Рудный летал на бомбежку вражеских позиций. Читатели запомнили боевые очерки из Заполярья, из Новороссийска, из-под Одессы и Херсона. Он проделал боевой поход на кораблях Дунайской флотилии, был при штурме Будапешта и Берлина. А когда началась война на Дальнем Востоке, Рудный участвовал и в Сунгарийском походе, и в освобождении Кореи.

В книгу «Действующий флот» вошли и послевоенные очерки. Автор еще раз прошел по многим фронтовым путям-дорогам, продолжил рассказ о своих боевых товарищах, сообщил об их дальнейшей судьбе. Так, не без хлопот Рудного «флотскому Маресьеву» летчику Белоусову, о котором он писал в 1957 году было присвоено звание Героя Советского Союза.

Книга «Действующий флот» вызовет у читателя доверие своей правдивостью, достоверностью, документальной точностью, горячей любовью автора к героям, высокой требовательностью к себе и к ним. Не одно честное имя, незаслуженно забытое, а иногда и несправедливо очерненное в годы культа личности, запомнит читатель этой книги. Автор «Гангутцев» остался верен своему писательскому почерку, он радует нас и выразительным фронтовым пейзажем, и точными деталями, подробностями боя, военного быта, и психологической глубиной в обрисовке характеров.

Книга «Действующий флот» воскресит минувшее в памяти участников войны, поможет патриотическому воспитанию молодых моряков. Читая книгу, видишь, что автор любит море и до сих пор чувствует себя военным моряком, который находится на сверхсрочной службе.

Генерал-майор П. МУСЬЯКОВ



БАЛТИЙСКИЕ ТЕТРАДИ

„... ЗАЧИСЛЕН 22 ИЮНЯ"

Вканун войны я неожиданно попал в Прибалтику, где всего лишь год существовала Советская власть. Неожиданно потому, что я работал в столичной городской газете и каждой командировки за пределы Москвы, да еще в районы, почти приравненные к загранице, мы добивались с боем. Въезд в Прибалтику разрешался по особым пропускам, и один из наших сотрудников воспользовался таким пропуском, чтобы купить и вывезти оттуда в Москву малолитражную автомашину. Формально за этот поступок никто не мог его осудить. Но каждый имел право его презирать. В стране почти не было собственных автомашин, и люди как-то не очень от этого страдали. В новых республиках все было дешевле, чем у нас. Но мы, молодые люди сороковых годов, презирали тех, кто замечал там лишь эту разницу в розничных ценах. Мы ненавидели всякую тягу к наживе и приобретательству, гордясь своим пролетарским по духу, интернациональным воспитанием. Не многим приходилось тогда бывать за рубежом, о революционном движении, о капитализме мы знали только по книгам и понаслышке, заграница представлялась примерно такой, как на эмблеме МОПРа: красный платок в руке, протянутой сквозь решетку. Нам казалось: везде и всюду назрела революция, и, случись нападение на страну Советов, — вспыхнет мировой революционный пожар; даже в Германии, в самой фашистской Германии, рабочий класс тотчас восстанет и сметет с лица земли фашизм. Наивность, дорого стоившая поколению, хлестала через край, но в этой нашей наивности были убежденность и чистота, жажда революционной борьбы твердо жила в душе, не поддаваясь натиску мещанства и шовинизма. Какой журналист

не стремился увидеть все своими глазами, поговорить с подпольщиками, освобожденными из фашистских тюрем, рассказать читателю о классовых боях в странах, которые только вчера стали советскими, и разобраться в противоречиях жизни на новом западном рубеже?! Особенно в год, когда в Европе уже шла война. А вот Наумиков — так мы называли владельца малолитражки — всех нас подвел. И мы наградили его новой кличкой: «барахольщик», звучавшей так же позорно, как некоторое время спустя «дезертир».

Наш редактор, он был третьим после тридцать седьмого года, не любил обращаться в инстанции за пропусками для корреспондентов, боясь нарваться на отказ: «Не тому прóсите». После случая с Наумиковым он и вовсе зарекся о ком-либо хлопотать.

Мне повезло: в ту весну открывалась новая морская пассажирская линия Ленинград — Таллин — Ханко. В газетах, а тем более в нашей, обожали открытия — малые и большие: «Первая плавка», «Первый пассажир метро», «Первое шлюзование на канале Москва — Волга». «Первый рейс», да еще морем, на полуостров Ханко, в окутанный тайной арендный район, очертания которого после войны с белофиннами воспроизвели все газеты, — желаннейшая для редакции тема, и я помчался в Политуправление Народного комиссариата Морского Флота с просьбой разрешить мне пойти в этот рейс. Начальником Политуправления был тогда Леонид Юлианович Белахов, я вспомнил, что в канун первой пятилетки он работал в агитпропе Рогожско-Симоновского райкома партии в Москве. Значит, и он должен меня помнить: в годы безработицы, когда существовала очередь на бирже труда, он направил меня по броне подростков учеником в мастерские автобазы. Возможно, он об этом забыл, даже наверняка забыл мальчишку, с которым давным-давно поговорил десяток минут. Но я решил: помнит, раз так быстро и охотно приказал выдать мне на рейс в Прибалтику билет, да к тому же бесплатный.

Служебный билет давал право на пропуск, пропуск — на командировку, словом, все складывалось столь удачно, что редактор расщедрился и послал меня в три новые республики на весь июнь и июль.

На первый рейс я опоздал — в ленинградском морском порту пассажиры ждали возвращения турбоэлектро-

хода, открывшего новую линию без участия корреспондентов. На причалах лежали слишком будничные для военно-морской базы грузы: венские стулья, железные кровати, рулоны толя и даже громадная стиральная машина в ящике с черным клеймом «ВМБ Ханко». Пассажиры были военные, большей частью краснофлотцы, они возвращались к месту службы после недолгого отпуска. В Ленинград они ехали с полуострова поездом через всю Финляндию, в наглухо закрытых вагонах, с полицейскими в тамбурах и на подножках, без права открывать окна и двери и выходить на остановках. Поезда подолгу стояли у входных семафоров, дожидаясь, пока жандармы очистят от публики перрон. Станции выглядели пустынно, казалось, кроме жандармов, в Финляндии никого нет. Но вдали, за полицейским кордоном, пассажиры видели людей, и каждый краснофлотец старался рассказать об этих людях, о тайных приветах издалека, об интернациональном салюте «Рот Фронт» — поднятым к плечу сжатым кулаком.

У соседнего причала готовился к выходу в Таллин эстонский пароходик «Рухну», похожий на яхту из красного дерева; его матросы, светловолосые, в густо-синих, с лакированными козырьками фуражечках, с прическами, зализанными, как у оркестрантов джаза московского кафе «Националь», распевали уже запетые нами песни из старых советских кинофильмов, но держались скопом и отчужденно, как прежде, когда приходили сюда иностранцами. Мне захотелось на обратном пути из Прибалтики обязательно попасть на этот лакированный пароходик.

Турбоэлектроход прибыл под вечер, ослепительно-белый, огромный, многопалубный, все называли его для того времени непривычно «лайнером», и у трапа пограничники тотчас учредили контрольно-пропускной пункт. Будто лайнер прибыл из-за рубежа. Только пассажиры совсем незаграничные — тоже красноармейцы и краснофлотцы с дерматиновыми чемоданами и фанерными сундучками в руках, никакого блеска, никаких заморских наклеек на поклаже, единственная напоминающая о Западе вещь — сверкающий никелем заграничный велосипед с фирменным знаком «Бр. Эренпрейс», купленный на Ханко какой-то девушкой.

Неведомо зачем, но я тут же занес в блокнот и цифры, сообщенные пограничниками: «Пассажиров прибы-

ло 269, среди них одиннадцать арестантов». Арестантов вывели последними. Заросшие, нечесаные, щурясь после долгого пребывания в трюме, они молча озирались, будто видели Ленинград впервые. Пассажиры глазели на них угрюмо. Кто-то сказал, что это лазутчики, пойманные на полуострове в лесу. Другой добавил, будто их везли сюда с завязанными глазами. Таинственность над Гангутом сгущалась.

«Гангут» — слово твердое, рубленое, оно привлекало меня больше, чем официально признанное — «Ханко». От «Гангута» веяло историей и романтикой, гравюрами, изображающими морские бои петровских времен, галерами, скампавеями, фрегатами, абордажем, полным набором просоленного ветрами и столь заманчивого для очеркиста ядреного морского языка. Скалы, рифы, мысы, шхеры, бухты, перешейки, земля подвигов и сражений, форпост страны в канун войны, «непроходимый балтийский Гибралтар» — как много соблазна для задуманных путевых заметок.

Год, как кончилась война с белофиннами. Никогда мы не считали финна своим врагом. Как, впрочем, и немца, и любого другого иностранца. Не финн, а белофинн. Такой же враг, как наш российский белогвардеец. Белофинны построили на Карельском перешейке линию Маннергейма, и под прицелом ее дальнобойных орудий находился Ленинград. Кто знает, как развернулась бы на этом рубеже война, если б в июне сорок первого года линия Маннергейма еще существовала. Даже штатские люди понимали, что при всей трагичности зимней войны ее итог — наша бесспорная стратегическая удача. Граница от Ленинграда отодвинута. Флот вышел на оперативный простор. Гангут получен в аренду на длительный срок. В случае нападения его гарнизон примет на себя первый удар. Для моего юношеского сознания это не было просто политической схемой, объясняющей происходящее. Это было убеждение, и при всей его прямолинейности, при всем незнании и непонимании тайн дипломатии и взаимоотношений с соседями, за которыми в течение десятилетий укоренилась дурная репутация буферных государств, оно было верным по сути, отвечало тому, что творилось на белом свете в пору, когда Гитлер заглатывал одну малую страну за другой. Иное дело, что о Гитлере и его стане мы говорили тогда вполголоса и между

собой, не совсем понимая, что же все-таки стряслось. Сознание отказывалось отождествлять слово «пакт» с понятием «союз». Скорее, тактический ход, акт дипломатии, оттяжка, все, что угодно, только не союз. Все равно нам еще придется с ними столкнуться. Столкнемся наверняка. А пока, выгадывая день за днем, государство создает непроходимые рубежи.

С такими суждениями я уходил 1 июня 1941 года на турбоэлектроходе в двухмесячную командировку «для сбора, как было сказано в редакционном удостоверении, материала и написания очерков о жизни на полуострове Ханко, в Таллине, Риге, Вентспилсе, Лиепае, Каунасе, Вильнюсе и островах, о моряках торгового флота, о рыбаках, о балтийских пограничниках» и так далее и тому подобное. Мандат, так сказать, всеобъемлющий на все случаи жизни.

Я еще не знал, как выполню столь расплывчатое задание редакции. Все было внове, все ошеломляло, писать хотелось обо всем: о команде и пассажирах, о необычном для меня плавании по путям, описанным другими уже тысячу раз, о куполе Кронштадтского собора в окружении тяжело выступающих из воды гранитных фортов, о громадах боевых кораблей на рейдах у острова Котлин, о бесчисленных и еще непонятных мне огнях на стесненном маяками и островами заливе, и о буфетчике, удивительном буфетчике — он побывал мне на зависть в Амстердаме, Гавре, Гамбурге, Лондоне, Сингапуре — бог знает где!.. Писать о бессонной ночи на шлюпочной палубе в обществе Василь Василича, заслуженного балтийского штурмана, о его путешествиях в тропики, по океанам, в Коломбо, в Ливерпуль, в Барселону, об испанской войне и франкистском концлагере для плененных советских торговых моряков. Писать о недовольстве Василь Василича этой «скучной трамвайной линией»... И внезапный приступ профессионального журналистского разоблачительства: это же дикая несправедливость, что пустые салоны заперты на замок, а пассажиры-краснофлотцы мерзнут на палубах.

А потом все померкло, все захлестнул Гангут. Это была первая, еще мимолетная встреча.

Турбоэлектроход бросил якорь вблизи изрезанного бухтами и заливчиками скалистого берега, заросшего стройными соснами. На горе, над парком и россыпью одно-

этажных домиков города Гангэ, господствовали два строения, описанные во всех лоциях, используемые мореплавателями, как ориентиры: продолговатое красное здание кирхи с остроконечной колокольней и граненая водонапорная башня с часами на вершине. Над башней полоскался красный флаг. Дул ветерок, прибой едва вскипал вокруг черных, обточенных морем, скользких валунов. Слева у лесистого крутого мыса гремело море, там, на гранитном острие, сшибались волны двух заливов — Финского и Ботнического.

Мы ждали, когда освободится порт, занятый военными кораблями. Медленно выходил оттуда старый миноносец «Карл Маркс» — я видел потом в фашистской прессе фотографию полузатопленного, лежащего на правом борту корабля с задранными носовыми орудиями и злорадную надпись под фотографией: «Разбитый советский минный заградитель «Карл Маркс»; им ненавистно было само это имя, потому они так торжествовали, потопив старый миноносец.

К нам подбежал портовый буксирчик, закопченный, расплющенный, как лапоть, с деревянной буксирной дугой от борта к борту над кормой. Намалеванные белилами на носу, похожие на шифр знаки «ПХ-3» означали: порт Ханко, буксир номер три. В корме навалом лежали говяжьи туши и бочки с пресной водой.

— На острова? — свесясь за борт, кричал какой-то краснофлотец и, услышав снизу подтверждение, взял свой сундучок, перехваченный широким с бляхой флотским ремнем и подошел к площадке еще не вываленного за борт трапа.

Этого парня на судне приметили все. В Ленинграде его провожала девушка. Она бежала вслед судну до головы мола, махала платком, и краснофлотцы дружно крутили бескозырками ей в ответ. Когда все разбрелись, у борта остался только он, этот парень с непокрытой русой головой; он смотрел назад долго и тоскливо и только тогда надел бескозырку, когда мы уже миновали узкость морского канала. На палубе пели песни. А он угрюмо сидел в стороне на своем сундучке, и его как будто никто не замечал. Я смотрел на него сверху, со шлюпочной палубы. С мостика вдруг донесся иронический возглас: «Да, брат, теперь не скоро», и я, рассмеявшись, повторил эти

слова: «Да, брат, теперь не скоро»... Вряд ли в ту июньскую ночь кто-либо из нас вкладывал в них смысл, вскоре вложенный жизнью...

Вниз подали трап, по нему поднялась пограничная досмотровая комиссия. Прежде всего она пропустила краснофлотца с его сундучком. Буксир затопал в сторону, за ревущий у гранитного острия прибой. Я смотрел вслед парню, пока не потерял из виду буксир. Мне стало грустно.

Да, побывать бы на островах, само слово «острова» способно взбудоражить душу. Но турбоэлектроход ночью должен отсюда уйти. После пограничного досмотра и швартовки в моем распоряжении останется всего несколько часов. Василь Василич — он ходил сюда уже не раз, доставлял на полуостров еще с первым караваном пушки, молочных коров и пограничные столбы, — Василь Василич сказал, что, кроме города, я ничего не успею осмотреть. До перешейка, где проходит граница, двадцать два километра, а на острова нужно добираться катером и по особому разрешению.

Как только пограничники дали «добро», я сошел на берег, в город, и по пустынной тихой улице, никуда не сворачивая и не смея нигде задержаться, добрался до кирпичного дома штаба базы.

Генерал, с которым потом не раз скрещивались мои военные пути, удивленно разглядывал мои документы: что, собственно, может интересовать корреспондента гражданской газеты в военно-морской базе?! Я и сам этого не знал. Отвратно чувствовать себя туристом.

Спрятав в карман блокнот, я обошел весь городок. Трудно было представить себе, что это центр укрепленного района. Большой парк, пляж, кабинки для купания и на стенках под латинскими инициалами, соединенными международным плюсом, сердца, пронзенные фиолетовыми стрелами; тихие, чистенькие кварталы одноэтажных домиков, покинутых прежними жителями и еще не обжитых новыми, дворник на одной из улиц совсем как в Ленинграде или в Москве — в белом фартуке и с бляхой на груди; сине-красная вывеска отделения милиции с адресом «г. Ленинград» (потом я узнал, что отцы и матери новорожденных требовали обозначать в метриках место рождения не «Финляндия, Ганге», а «Ленин-

град» — никто же не знал, что Гангут вскоре так прославится, а писать «рожден за границей» — кто в те годы мог пожелать такое своему ребенку). Вот тебе и укрепленный район! И все же именно отсюда доставили в трюме турбоэлектрохода лазутчиков, пойманных в лесу, именно тут служат бойцы, ежечасно видящие у рубежей базы приготовления к войне; именно к этим местам относится недавно мелькнувшее в газетах зловещее сообщение «соб. корра «Правды» из Таллина» о выгрузке в Финляндии, в Турку, с четырех транспортов двенадцати тысяч германских солдат с вооружением, танками и артиллерией; и здесь именно, на набережной, над бухтой, торчит охраняемый двумя гранитными львами обелиск в недобрую память десанта железной дивизии фон дер Гольца, душителя финской революции в восемнадцатом году, залившего эту маленькую страну кровью финских рабочих. Обелиск стоит, а мы терпим. Дипломатия... Внутреннее дело страны, у которой мы арендуем мирный на вид укрепленный район.

За городом, в сосновом лесу меня остановила пугающая табличка на дереве: «Дальше не ходить, стреляю без предупреждения». Вот оно то, что я и предполагал здесь встретить.

Почему-то я вспомнил старый переулок, запущенный двор, конструкторское бюро Бориса Гавриловича Шпитального, Героя Социалистического Труда. Я пришел к нему за несколькими строками для газетной анкеты: «Если завтра война...» Алексей Николаевич Бах, академик, на этот вопрос ответил коротко: «Все пойдем» — так мы и воспроизвели на газетной полосе его лаконичный, старческой рукой начертанный ответ: у Бориса Гавриловича Шпитального не хватало для нашей анкеты времени. Я заикнулся было, что раз он со мной встретился и поговорил, так я сам за него напишу, а он лишь подпишет — была у нас в газетах такая, нам самим ненавистная, практика. Шпитальный устало улыбнулся и сказал: «Зачем вы унижаете и себя и меня». Мне стало стыдно, но и досадно: я уходил, не выполнив задания. Не знал я, что досадовать не на что: ответ Шпитального на наш риторический вопрос зрел на чертежных столах и вскоре стал известен каждому, кто получил в руки новое оружие, созданное в замоскворецком переулке...

И вот — лес, усыпанные хвоей тропки, заурядная местность, отвечающая моему представлению о маскировке тайны. Где-то под кустом, под замшелым пнем расположены подземные чудеса, управляемые кнопками с пульта чудовища, всевидящие, искусно спрятанные перископы — в те времена об этом легко и бездумно писали авторы полуфантастических журнальных рассказов о грядущей войне. Быть может, не я один слепо и увлеченно верил подобному усыпляющему сочинительству о сокрушительных «первых ударах» и сверхукреплениях, разумеется, превосходящих все, что можно было ожидать от известных каждому читателю газет линий Зигфрида и Мажино. Верил потому, что приятнее победу над ненавистным врагом представлять себе легкой и быстрой, чем кровавой и жестокой. Даже такой писатель, как Петр Павленко, соблазнился в романе «На Востоке» магическими кнопками и мистически-молниеносным результатом удара воздушных армад. Земное представление о суровости войны пришло потом. Не думал я, глубоко штатский человек, что пугающая надпись адресована простакам: капитан Борис Митрофанович Гранин, хозяин этого леса, насыщенного не только батареями его дивизиона, но и дичью, вывесил табличку, чтобы отвадить непрошеных охотников.

Покоряясь воспитанному в каждом из нас почтению перед военной тайной, а также инстинкту самосохранения, я сделал поворот кругом и вернулся в порт.

На другое утро, солнечное, легкое, лайнер, разминувшись с двумя эсминцами и длинной, почти черной подводной лодкой, пересек таллинский рейд и ошвартовался в Купеческой гавани эстонской столицы.

Республика наша, советская, но все выглядело заграничным: и крепостные башни Вышгорода над берегом, и островерхие черепичные крыши, и брусчатые мостовые за причалами, и рослые светловолосые грузчики возле темно-красных автокаров. Даже запах с берега и тот заграничный, запах сланцевого бензина, ставший потом привычным, запах узких таллинских лабиринтов, по которым с невероятной ловкостью и скоростью мчались могучие тупорылые автобусы.

В пароходстве я с огорчением узнал, что морем в Ригу, Виндаву и Либаву не попадешь — разве грузовым пароходом или военным кораблем. И на остров Рухну, где

живут шведы и по ночам зажигается маяк, трудно попасть, разве что туда доставят пограничники, а я надумал обязательно побывать на этом эстонском островке в Рижском заливе и на других маленьких островах. Зато лакированный «Рухну» ходит в Ленинград регулярно, и я могу рассчитывать на него на обратном пути.

В самом радужном настроении я отправился в город, спрашивая каждого встречного о дороге в центр. Спрашивал я с доверчивой и, наверно, глупой улыбкой общительного человека, уверенного, что для всех он здесь желанный гость и собеседник. На автобусной остановке посреди большой площади — это и был центр города, но я этого не знал — мне никто не ответил. Я повторил вопрос раз, другой и услышал нечто невнятное, понятое потом: «Эй теа», «Эй оска» — «Не знаю», «Не понимаю». Странно, со мной не хотят разговаривать. Но ведь только что на мои вопросы охотно отвечали грузчики и служащие в порту. Неужели тут все не понимают русскую речь? Или здесь, в очереди на автобус, сплошь буржуи, лавочники и кулаки?..

За минувший год я прочел про этот город тысячи восторженных слов своих коллег. Судя по этим писаниям, каждый из нас здесь долгожданный гость. Ни слова о расслоении населения, о классовой борьбе, о тех социальных и революционных сложностях, которые, несомненно, были и не могли не быть в стране только что свергнутого профашистского режима. После таких розовых иллюзий легко было поддаться раздражению, броситься из одной крайности в другую.

Один эстонский рыбак, выслушав неделю спустя мои мелкие обиды, произнес слова, звучащие укором по сей день: «Почему вы, люди из пролетарской страны, так торопитесь в «Глорию» и «Золотой лев» и не спешите сюда, на полуостров Копли, где вас давно ждут?» Когда началась война, я видел рабочую гвардию Таллина: по городу, бросая вызов нейтралам и недоброжелателям, шагал полк добровольцев с полуострова Копли. Там, в этом пролетарском районе Таллина, каждое слово о нашей стране слушали жадно, если это слово не было сдобрено елеем и не разжижалось болтовней. А нас, приезжих, влекло в центр, в район отелей и кафе, наверно, потому, что, ослепленные новизной и блеском чужого города, мы становились туристами.

Тут, в центре, тоже были и друзья и враги, и выжидающие и взвешивающие, и воспитанные в лакействе перед свергнутой буржуазией и оценивающие наш строй и наши нравы по повадкам каждого из нас. Разные люди и разные взгляды, все это еще предстояло познать на опыте, иногда горьком, ткнуться во все носом, а пока в голове застряла схема, заданность оценок и измерений — позиция не слишком плодотворная, если хочешь разобраться в жизни незнакомой страны.

Я ловил себя на том, что хочу, чтобы все было как у нас. Шофер не понимает, почему у него отобрали четырехтонный грузовик — я смотрю на него с прищуром и беру в кавычки его слова: «По непонятным причинам». Откуда у честного шофера собственный грузовик?! Он жалуется: легковые такси оставили частникам, а вот его грузовик отобрали. И я возмущаюсь: почему, действительно, тут терпят частников-таксистов, заглядывающих при расчете с пассажиром в табличку соотношения кроны и рубля на данный календарный день... На все смотрел я глазами человека, выросшего при ином социальном строе и ожидающего чуда: словно все, что пройдено нами за десятки лет, здесь должно свершиться за год. Мысль, что здесь возможен иной путь развития советской жизни, не приходила тогда в голову. Может быть, поэтому, разъезжая по эстонскому и латвийскому побережью, приглядываясь к непривычной и странной для меня здешней жизни и знакомясь с людьми, я не всегда находил с ними общий язык. А его так хотелось обрести, я же советский корреспондент, и меня не устраивают лишь анекдоты об ушедшем режиме, так и лезущие в блокнот. То слышишь историю о единственном эсминце, проданном прежними правителями в Южную Америку, то тебе услужливо преподносят случай с бронзовым конем и туловищем Петра, перелитыми на центовые и пятицентовые монеты. Это смешно, почти газетная «изюминка», но меня интересуют судьбы, устремления, надежды людей, вот о чем хотелось бы поговорить, беда только, что, еще не поговорив, ничего не узнав, я уже заранее представлял себе, что́ я хотел бы от здешних людей услышать.

В середине июня, ночью, на одной из рижских улиц от незнакомой женщины я впервые услышал предостережение о близкой войне. Да, от случайно встреченной молодой женщины в ночь на 17 июня 1941 года.

В ту ночь весь местный партийный и советский актив был мобилизован для очистки города от буржуазных и профашистских элементов. Теперь, в шестидесятые годы, я знаю, что в эту чистку активно включились и айзсарги — доморощенные фашисты и оставленная немцами в подполье законспирированная агентура. Все они старались спасти свои кадры и подставить под удар людей нейтральных или даже склоняющихся на нашу сторону, оговаривая, провоцируя, шантажируя, разжигая подозрительность в приграничной полосе.

Ночью, бродя по городу, я слышал выстрелы и даже их объяснение: стрелял, мол, полковник старой латышской армии, у него нашли склад с оружием и радиостанцию. Не все «полковники» и «склады» были обнаружены в ту ночь — в этом армия убедилась неделю спустя, когда раздались выстрелы в спину из окон иных учреждений и жилых домов, когда заработали передатчики местных фашистов, наводивших германские «юнкерсы» на мосты через Двину и на корабли в порту...

...Молодая женщина из-за угла украдкой наблюдала за тем, что происходит. Она подбежала и заговорила по-латышски, удивилась русской речи в ответ. Женщина вдруг сказала, что советует мне скорее уехать из Риги — через несколько дней тут начнется война, сюда придут немцы — об этом уже не первый день твердит их радио...

Я рассердился: обывательские слухи! Для того и проводится эта чистка, чтобы, обезвредив пятую колонну, которая уже загубила республиканскую Испанию, предотвратить войну. А если чего доброго на нас и нападут, то не они к нам, а мы, мы на их землю придем. Женщина, взглянув на меня с отчаянием, повторила: «Уезжайте, я прошу вас, уезжайте». Я слушал ее со снисходительностью политически более взрослого человека.

Накануне я видел у причала латвийского порта большой немецкий пароход и долго высматривал, не обнаружится ли в его команде на мое счастье хоть один скрытый антифашист. В рижском порту грузился лесом латышский лесовоз — груз шел в Германию; это не было приятно, что наш лес увозят фашистам, но так было. Какая же тут война. И ТАСС опровергает слухи о войне. Когда я рассказал о лесовозе и о немецком пароходе

корреспонденту «последних известий» Вячеславу Сысоеву и поэту Сергею Михалкову, которые в те дни находились в Риге, Михалков тоже неожиданно для меня сказал:

— На днях будет война.

— Глупости! — возмутился я. — Эти слухи вызваны учениями ПВО. Устроили на всю Ригу очереди за черной бумагой и паникуют. В Москве затемнение прошло без паники.

— Вот увидишь, какие это глупости, — сказал Михалков, и мы замолчали, потому что мы сидели в тот вечер в винном подвальчике «Фокстротдиле», а в подобном месте не стоило на такие темы рассуждать.

Вот и эта женщина повторяет те же глупости. О том, что ТАСС в канун войны может опровергать слухи о войне без достаточных на то оснований, мне и в голову прийти не могло. Войну мы ждали каждый день. Но обыкновенному человеку, как бы он ни ждал начала, трудно себе представить, что это начнется именно сегодня, тем более в век, когда о войнах объявляют уже после того, как нанесен первый удар.

21 июня, собрав материал о торговых моряках Балтики, я купил билет на поезд, уходящий из Риги в Каунас, и решил зайти на почтамт. Там меня ждала срочная телеграмма: редактор предлагал прервать командировку и немедленно вернуться в Москву.

За что?! Ничего худого я не натворил. Не барахольничал. Автомашин не покупал. По кабакам вроде бы не шлялся.

Я позвонил в Москву и спросил у редактора, в чем дело. Ничего не объясняя, он сообщил, что отдел печати ЦК предложил вызвать всех корреспондентов из Прибалтики в Москву. Я сказал, что в Таллине остался мой чемодан, я бросил его там, чтобы разъезжать налегке; мне еще надо съездить в Каунас, вернуться в Ригу, потом побывать на острове Рухну, а затем ехать в Таллин, сесть на пароходик «Рухну» и идти морем в Ленинград — у меня же бесплатный билет Наркомморфлота. Редактор заикался, но в минуты наибольшего волнения он произносил каждое слово четко и раздельно.

Он сам говорил, что освоил такой прием полтора года назад, когда ему пришлось внезапно прочесть вслух предназначенный для экстренного выпуска нашей газеты

текст знаменитого «радиоперехвата» — сообщения о создании революционного финского правительства во главе с Куусиненом; попробуйте-ка без запинки произнести два десятка незнакомых фамилий с дублированными гласными!.. Редактор говорил по телефону напряженно-сдержанным, насыщенным голосом, столь четко и ясно, что я понял: черт с ним, с бесплатным билетом и лакированным эстонским пароходиком, надо немедленно ехать в Таллин, чтобы в понедельник, в следующий после субботы рабочий день, прибыть поездом в Москву.

На рассвете 22 июня — как это звучит: 22 июня 1941 года! — в купе постучали пограничники и проверили документы при переезде из Латвии в Эстонию. Сосед, латвийский железнодорожник, проворчал, что будят слишком рано. Он ехал на воскресенье в Таллин и к утру хотел быть свежим.

Не спалось. Вагон-ресторан открывался с восьми, а к десяти мы должны быть на месте. На полу валялась вчерашняя «Пролетарская правда» — рижская газета на русском языке. Обычный номер, множество объявлений: о покупке и продаже вещей; о приеме на курсы бухгалтеров и плановиков с первого июля 1941 года со стипендией «при условии — после курсов не менее года работать в провинции»; призыв к рижанам «страховать домашнее имущество против пожара и стихийных бедствий»; бесконечные «требуются» — машинистки, грузчики, пожарные, плотники, каменщики, маляры — это в Латвии-то, где привыкли к безработице. Вялый «Дневник военных действий в Европе, Африке и Азии»... Забастовочное движение в Шанхае... Германо-турецкий договор о дружбе... Заметки о каких-то жуликах в промысловой артели и о дачах для рабочих текстильной фабрики на Рижском взморье; вручение орденов и медалей; Иван Иванович Черевичный вылетел на «летающей лодке» из Нарьян-Мара в Арктику... И смешной снимок: латышские дети в Межапарке в национальных костюмах исполняют русский танец «Во саду ли, в огороде»... Обыкновенный шестистраничный номер рижской газеты, но его захотелось сохранить, чтобы показать друзьям в Москве.

Ровно в восемь, когда мы остановились на какой-то станции, чтобы разминуться с грузовым эшелоном, я прошел в вагон-ресторан, занял место напротив военного с двумя шпалами в петлицах, заказал завтрак, взглянул

в окно на стоявший рядом воинский поезд, увидел на платформах расчехленные орудия и танки и сказал:

— До чего же мы беспечны. Тут, в Прибалтике, такая напряженная обстановка, а мы открыто перевозим боевую технику...

В те годы я часто ездил в воинские лагеря, на маневры, на пограничные заставы и даже ходил на подводной лодке по Черному морю, обожая все, что связано с армией и флотом. Газеты были наводнены статьями о коварных уловках шпионов, я сам любил писать на такие темы, а тут расчехленные танки и пушки: стой и подсчитывай, сколько их и куда везут.

Командир согласился:

— Зря расчехлили.

Не знали мы, что оружие расчехлено не зря. И надолго.

В Таллине я направился в гостиницу «Золотой лев», настроенный воинственно и агрессивно: за минувшие три недели я уже научился разговаривать с портье и швейцарами. Возьму номер до поезда, съезжу в порт за чемоданом и отправлюсь в Москву.

В гостиницу я вошел в момент, когда из огромного радиоприемника, включенного на половину мощности, прозвучали слова:

— ...бомбили Житомир, Киев, Каунас...

Голос был хорошо мне знаком, я слышал его не только из корреспондентской ложи на сессиях Верховного Совета, но и возле ветряной мельницы в районе Вязников, Горьковской области, где демонстрировали высадку массового парашютного десанта, и на ребре Иваньковской плотины канала Москва — Волга — там, куда меня заносила репортерская жизнь. Сейчас этот голос взволнованно сообщал о войне, о первых ее жертвах, о бомбежке тех краев, из которых я накануне уехал.

Кругом шумели гостиничные служки, они не слушали, как будто уже знали всё. Я чувствовал себя настолько одиноким в этой кощунственной суете, что ринулся к конторке портье и спросил, нет ли тут кого-нибудь из Союза — так называли в Таллине всех нас, приехавших из Советской страны. Портье молча подвинул мне список жильцов, все фамилии писались в нем по-эстонски. Я нашел единственно российскую фамилию, и та была Винер, режиссер из Ленинграда, по газетам я знал, что он готовит намеченную на ближайшее время «Декаду эстон-

ского искусства». Мгновение спустя я барабанил в дверь его номера.

Мне открыл рослый, полный мужчина, в белье и шлепанцах. Он смотрел на меня оторопело, считая, что время для человека искусства еще раннее. Я сказал:

— Извините, началась война.

— Бросьте эти дурацкие шутки, — сказал режиссер, не спрашивая, кто я такой и почему ворвался именно к нему.

— Это не шутка, немцы уже бомбили Киев, Каунас и Ригу, я только что из Риги и не знаю, куда пойти.

Мы вместе вышли на улицу, столь же шумную и заполненную воскресной толпой, как и полчаса тому назад. Будто ничего не произошло. Нарядные эстонцы, сопровождающие в церковь на конфирмацию девушек в белых платьях; моряки в белых кителях и в белых накрахмаленных форменках; на открытых верандах кафе дамы в темных очках...

Возле домика Бочкарева, уполномоченного ЦК партии по Эстонии, стоял часовой. Бочкарев куда-то выехал. Мы прошли еще полсотни метров, режиссер решил проверить мое невероятное сообщение в театре КБФ. Издалека он увидел актеров в краснофлотской форме и с винтовками. Он ушел в театр, а я отправился искать штаб и Политическое управление Краснознаменного Балтийского флота — Пубалт.

Из бюро пропусков я позвонил начальнику Пубалта и попросил меня принять. Он вежливо, но сердито ответил, что сейчас ему не до интервью. Я объяснил, что речь идет не об интервью, просто, может, найдется для меня дело, раз началась война. Он смягчился и заказал пропуск. Через несколько минут я стоял в его приемной перед молоденьким адъютантом, изучающим мои документы.

Из кабинета начальника Пубалта вышел невысокого роста стриженный ежиком человек в морской форме, с красными просветами между четырьмя золотыми галунами на рукавах — полковой комиссар. Он посмотрел на меня исподлобья тяжелым взглядом и жестом предложил следовать за собой.

В большой и по-воскресному безлюдной казенной комнате на другом этаже, уставленной вдоль стен и окон канцелярскими столами с инвентарными бляхами,

он остановился, повернулся ко мне, снова пронзил меня взглядом в упор и спросил:

— Вы умеете гневно писать?

— То есть как?

— Чтобы хотелось бить, и бить, и бить?!

Я забормотал что-то про фельетоны, злые и драчливые, про поездки на пограничные заставы, про дозоры, в которые ходил, и про полет на гидросамолете на Черном море в Н-ский квадрат для задержания шаланды контрабандистов, все было высказано невпопад, но, очевидно, оказалось кстати. Полковой комиссар бросил мне: «Ждите» — и куда-то исчез.

Это первое военное приказание я выполнил сверхдобросовестно: я стоял посреди комнаты, там, где меня оставил полковой комиссар, не решаясь подойти к какому-нибудь столу. Мне казалось, все вокруг секретно, все столы наполнены военными тайнами, а военную тайну надо не только беречь, но и уважать. Я не шучу — так было: так относился я, никогда до этого не служивший в армии, но всегда мечтавший о военной службе, ко всему, что было связано с военным учреждением. Больше всего я боялся «не попасть на войну», как это случилось зимой тридцать девятого года. Я стоял посреди комнаты второго отдела Пубалта и, ожидая решения своей судьбы, строил запасные планы самомобилизации на случай, если полковой комиссар Кирилл Петрович Добролюбов сейчас мне в этом откажет.

Добролюбов вернулся и, сунув мне пачку каких-то листков, приказал пожарче и похлеще написать воззвание о войне. Он провел меня в соседнюю комнатку, в свой кабинет.

Работал я по-газетному быстро, передышки Добролюбов не давал. Забрав текст листовки, он предложил обдумать план срочной антифашистской брошюры для матросов, именно такой, чтобы врага «хотелось бить, и бить, и бить». Когда он снова пришел и сообщил, что текст воззвания в основном принят, но другие товарищи его «дотянут», я почувствовал себя виноватым: на чистом листе бумаги я написал лишь заглавие брошюры, но ни одной фразы сочинить еще не смог. Добролюбов прочел заглавие: «Коричневая чума», хмыкнул одобрительно и спросил, что нужно для того, чтобы дело сдвинулось с места.

Антифашистских материалов, которых я просил, в Таллине не было — в библиотеках таких книг и газет не держали, и это сразу напомнило, что мы тут всего лишь год, да еще такой, о котором не хотелось в тот день вспоминать: год, когда новой антигитлеровской литературы не издавали, а накапливать в Эстонии старую считалось недипломатичным. Но никакой пакт не смог вытравить из памяти то, что крепко вошло в голову, особенно после поджога рейхстага, лейпцигского процесса, речей Димитрова и его прилета в Москву, прилета, который для каждого из нас был праздником пролетарской солидарности — есть же в мире сила, способная даже из фашистского застенка выручить борца за мировую революцию.

Может быть, это звучит слишком торжественно в годы, когда люди страшатся громких слов и деклараций и после всего пережитого жаждут прежде всего дел и результатов. На все, очевидно, своя пора. То время было отделено от революции и гражданской войны примерно таким же расстоянием, как годы шестидесятые от войны Отечественной, это было послереволюционное время, и мы гордились своим революционным и, главное, интернациональным энтузиазмом. Сакко и Ванцетти были нам столь же близки, как Степан Халтурин и Софья Перовская, Ван дер Люббе был ненавистен, как Азеф, а имена Гитлера, Франко и Муссолини встали в один ряд с колчаками, врангелями и деникиными, куда мы без особых раздумий и анализов подверстывали и всяких чемберленов и прочих воротил капиталистического мира, взрастивших фашистов.

Словом, приказ написать так, чтобы «хотелось бить, и бить, и бить», не прозвучал сверхзадачей даже при отсутствии конкретных пособий. Жила в сердце любовь, жила и жгучая ненависть. Чувства были горячи и непосредственны и обострены предельно, особенно в минувший год, когда многое приходилось самостоятельно объяснять и оправдывать тактикой и дипломатией. О европейской войне писалось скупо и нейтрально, но мы не относились и не могли к ней относиться нейтрально, без тех симпатий и антипатий, которые каждому честному человеку свойственны и необходимы. Нейтрализм информации раздражал и злил. Нападение называли вероломным... Но разве можно было хоть на йоту верить фаши-

стам?! Я навсегда запомнил оговорку старого кронштадтского рабочего-кораблестроителя Николая Сергеевича Игнатьева, услышанную мною несколькими месяцами спустя: звероломное, сказал он, нападение. Чувства были так нагнетены, что чего-чего, а ненависти и сарказма для заданной брошюры о коричневой чуме хватало, хоть отбавляй.

Полковой комиссар, койка которого, застланная солдатским одеялом, уже стояла в кабинете второго отдела, прочел отдиктованную мною машинистке брошюру-фельетон и подписал ее в набор на эстонском и русском языках. Когда рукопись унесли, Добролюбов, следя за выражением моего лица, сказал:

— Вы не возражаете, мы выпустим эту брошюру, нарушив авторское право, без подписи, от имени Пубалта?..

Конечно, я не возражал, странный разговор.

Добролюбов помедлил, взгляд его стал теплее, он продолжал:

— Сократите текст до размера газетной полосы. Дадим его в эстонские газеты и в «Красный Балтийский флот». За вашей полной подписью.

Я вспомнил: все же я газетчик, и надо бы сходить на телеграф и в порт. В порту надо выручить чемодан, а с телеграфа сообщить в редакцию о решении остаться на флоте. Иначе могут уволить за прогул и отдать под суд. Подумав об этом, я обомлел: ведь в нашей редакции существует Рая Кривелева!..

Она носила кожаную куртку и красную косынку двадцатых годов, и никто не знал, как и откуда Кривелева у нас возникла. Писать она не умела, добывать материал или править заметки других — тоже. Зато она умела клеймить. Когда вышел Указ об уголовной ответственности за двадцатиминутное опоздание и за прогулы, она потребовала, чтобы и в редакции на алтарь дисциплины была принесена устрашающая жертва. Если нарушителей нет, то их надо найти. Должны найтись!.. Когда я уезжал, она, прищурясь, напутствовала: «Тоже за малолитражкой?» Я понимал: если не будет официального документа, ничто не спасет меня от Кривелевой, даже опережающая все газеты корреспонденция о войне, даже поход с флотом в побежденную Германию, на что я надеялся с момента, как переступил порог Пубалта.

Обещав послать в редакцию телеграмму, Добролюбов сказал:

— Не бойтесь. За прогул не уволят. Не та война.

Но все же он провел меня в отдел кадров. Мне выдали бумагу с гербовой печатью, помеченную 22 июня и удостоверяющую, что я призван в Пубалт на сборы. Начальник отдела кадров полковой комиссар Ранов пояснил, что, когда меня «отдадут в приказ», он обменяет эту бумагу на более солидный документ.

Теперь скорее в Купеческую гавань выручать чемодан.

В городе все выглядело по-прежнему — нет войны. Только дамы под зонтиками кафе лорнировали зудящий в синем небе «юнкерс». Если б не полукружие зенитных разрывов, можно бы подумать, что это наш самолет. Бомб на город он не сбрасывал. Но разве можно верить утверждениям фашистского радио, будто они не станут бомбить Таллин?! Они провоцируют ссору с местными жителями. Конечно, они не пощадят и Таллина, как не пощадили прекрасных городов Испании и Франции. А эти, с лорнетами, им верят? Или хотят показать, что у нас не общий с ними враг?.. В гавани я физически ощутил разницу отношения людей города к войне. В гавани были рабочие, грузчики, моряки, люди молчаливые, но так четко и усиленно работающие, что и тени сомнения не могло возникнуть, на чьей они стороне.

В гавани во всем ощущалась война. Не только в строгости часовых. Не только в размещении зениток. Во всем ритме жизни, в камуфляже, наносимом на корабли, в целеустремленности. Так, по крайней мере, казалось мне, еще не привыкшему к жизни морского порта.

Пришел с Гангута знакомый турбоэлектроход, на берег сходили женщины с детьми, чемоданами, тюками — эвакуируемые. Раньше, я знал это по литературе о гражданской войне, их называли беженцами. Но эти люди не бежали, они уезжали организованно, их мужья и отцы остались на полуострове воевать. В море их атаковал «юнкерс», возможно тот самый, за полетом которого следили дамы из-под зонтиков кафе. Он пытался потопить турбоэлектроход. Внезапно на него ринулся наш «ястребок», завязал над судном воздушный бой и на глазах у команды и пассажиров сбил стервятника.

Между прочим, мы, корреспонденты, затаскали это

слово и превратили его в банальность. Но именно так, стервятниками, окрестили на фронте фашистских летчиков за то, что они не признавали никаких норм человечности: они бомбили госпитальные суда с ясно обозначенным красным крестом, они расстреливали на воде беспомощных и безоружных пловцов и уничтожали рыбацкие шаланды, на железнодорожных станциях они штурмовали женщин с детьми — я сам видел несколько недель спустя на станции Капорье, как «мессершмитт», отогнанный зенитками от боевого аэродрома, поливал из пулеметов с малой высоты толпу женщин в белых косынках и с детьми на руках, ожидавших на платформе прихода пригородного поезда.

Первый помощник капитана Василь Василич встретил меня, как родного. Вот что значит вторая встреча. А может быть, военная беда сразу так сблизила всех нас. Я получил настоящее интервью о войне.

Турбоэлектроход запоздал на сутки. Произошло это потому, что теперь он не турбоэлектроход, а военный транспорт. В канун войны генерал Кабанов, командир Гангута, своей властью поломал расписание и задержал рейсовое судно в порту до утра. Белофинны за сутки до того, как началась война, отказались пропустить через Финляндию в Выборг пассажирский поезд. Таким образом, они отрезали полуостров от нашей страны. Единственный путь сообщения с Большой землей — море. Утром 22 июня гавань Гангута бомбили «юнкерсы», они прилетели из Финляндии и улетели в Финляндию. Фашистам выгоден финский нейтралитет: Финляндия стала их стартовой площадкой, исходной базой для нападения на наши фарватеры и города. Они уже атаковали «Лугу», которая ушла накануне из порта Ханко в Ленинград с пассажирами, атаковали под Кронштадтом. Плавать теперь разрешают только под охраной боевых кораблей. От полуострова турбоэлектроход провожали катера, а на полпути к Таллину его встретил эскадренный миноносец «Смелый». Плавать опасно, немцы за одну ночь понаставили всюду мины — и обычные, якорные, на стальных тросах-минрепах, и новые, магнитные, их рассыпают самолеты, они всплывают, «прилипая» к металлическому днищу, когда над ними проходит транспорт или корабль. Тревожно и смутно на море. Судовой радист всю ночь принимал сигналы «SOS». В воскресенье он разбудил Ва-

силия Васильевича в четвертом часу утра, приняв ошеломляющие радиограммы с латвийского лесовоза «Гайсма». В районе где-то между Виндавой и островом Готланд на «Гайсму» напали торпедные катера, чьи — об этом не было сказано. «Гайсма» шла в Германию с нашим лесом — это и был тот лесовоз, погрузку которого я наблюдал несколько дней тому назад. Никто еще не объявлял о нападении фашистов на нашу страну, а в радиограмме уже были жуткие слова: «Торпедирован. «Гайсма» тонет. Прощайте». Я спросил Василь Василича, догадался ли он, кто напал и что произошло. Он ответил уклончиво:

— Торговые моряки всегда знают про международную обстановку немного больше, чем обыкновенные граждане. Предупреждения были еще несколько дней назад. Наше пароходство придержало некоторые суда в Ленинграде. А вот рижане почему-то выпустили в субботу утром «Гайсму». Когда будете в Ленинграде, спросите в пароходстве про радиограмму из Данцига. Там предупреждали открытым текстом, чтобы мы не ходили в Германию. Конечно, может быть, это провокация, там наверху виднее. Но вы спросите все же. Мой радист уверяет, что он узнал почерк Юры Стасова с «Магнитогорска». Радист радиста опознает и без позывных...

Он был прав, все это открылось после войны, когда на родину из гитлеровских концлагерей вернулись очевидцы, те, кто выжил из команд наших судов, арестованных фашистами в Данциге и Штеттине.

Фашисты явились на «Магнитогорск» еще 19 июня, устроили обыск, опечатали радиорубку и поставили возле нее гестаповца. Капитану и команде запретили общаться с берегом. Такое было не внове для наших торговых моряков, в загранплаваниях всегда приходилось быть начеку. Бесчинствовали франкисты в портах Испании, бесчинствовали и японские жандармы. В порту Хакодате они в феврале 1938 года совершили налет на пароход «Кузнецкстрой», зашедший туда, чтобы укрыться от шторма и пополнить запас топлива на пути из Петропавловска во Владивосток. Сорок восемь дней команду «Кузнецкстроя» жандармы продержали в тюрьме. О мужестве команды и ее капитана Вячеслава Калитаева знали, писали в газетах всего света, об этом помнили наши моряки. Но налет в Данциге не походил на обычную по-

лицейскую провокацию. Похоже, что это акт государственный, тем более страшный, что это государство фашистское и уже воюющее, искушенное в подобных делах, и если, вопреки пресловутому пакту, оно идет на такое грубое бесчинство, значит — назревает нечто серьезное и грозное. Опытные моряки это раскусили. Следовало срочно предупредить Родину. Но как? В ночь на двадцатое июня матросы «Магнитогорска» устроили на палубе самодеятельный концерт. Этого гестаповцы не могли запретить. Матросы так темпераментно пели и плясали, что часовой-гестаповец развесил уши и разинул рот. А Юра Стасов, судовой радист, тем временем незаметно проник в опечатанную радиорубку. Под аккомпанемент балалаечников и плясунов он открытым текстом лихорадочно отстукал радиограммы во все правительственные адреса, повторяя одно и то же предупреждение, которому, к сожалению, не поверили: «Не выпускайте в Германию наших судов... Не выпускайте в Германию наших судов... Их тут задерживают... Их тут задерживают... Юра... Юра...» Он не мог себя назвать, не мог воспользоваться и позывными, но он правильно рассчитывал, что радисты Балтики его почерк опознают. Опознали. А остальное зависело не от радистов...

— Сходите на «Минну», — подсказал мне Василь Василич. — Она в мае была в Данциге, а всего несколько дней назад выскочила из Штеттина. Корреспонденту есть смысл на ней побывать...

В поисках «Минны» я прошел по причалам в надежде встретить и лакированный «Рухну». Рушились мои довоенные планы: не удалось побывать на острове Рухну, не встретился и пароходик «Рухну». Его ждали в воскресенье из Ленинграда, но он не пришел. В пароходстве мне показали радио от капитана: выйдя из ленинградского порта, «Рухну» в узкости морского канала подорвался на мине и загорелся. Но оказывается, надо знать даже, где можно и где нельзя тонуть. Потонув в канале, закупоришь выход из гавани. Капитан это сообразил. Он дотянул пылающий пароходик до северной бровки канала и там выбросился на берег. Вот тебе и «зализанные мальчики в густо-синих фуражечках»! В пароходстве понимают, что команда «Рухну» совершила военный подвиг. Значит, война пришла с моря и в Ленинград.

Нашел, наконец, невзрачное грузовое судно «Минна» — после современного турбоэлектрохода и даже после изящного лакированного «Рухну» оно кажется старой шаландой. Ломаным русским языком матросы «Минны» рассказали мне о предвоенной обстановке в Штеттине и о плененных фашистами пароходах различных стран. Матросы этих пароходов работают на гитлеровцев, как рабы. Их кормят, как собак, — похлебкой из общего ведра. У причалов Штеттина стояли и другие наши пароходы, они должны были последовать за эстонской «Минной», но почему-то не вышли.

Записав рассказы первого помощника капитана «Минны» Отто Вейгеля и третьего механика Якоба Мартинсона, я вернулся в Пубалт и засел за корреспонденцию для своей газеты. Про чемодан в камере хранения я забыл — какой уж там чемодан, когда есть возможность послать в Москву первую корреспонденцию с войны и о войне. Добролюбов щедро снабдил меня дополнительными материалами. Война на Балтике. Наши минные заградители и эскадренные миноносцы под защитой крейсера «Максим Горький», катеров и подводных лодок ставят мины и возле Либавы, и в Ирбенском проливе, и особенно у входа в Финский залив — только об этом писать нельзя. Воюют уже все. Есть политдонесение о первой потопленной нами подводной лодке, Добролюбов разрешил мне его прочесть и даже сделать выписки. Корабль, «где заместителем командира по политической части товарищ Малявкин». «Корабль товарища Малявкина», обнаружив фашистскую подводную лодку, пошел на таран. Лодка выпустила торпеду. Корабль успел отвернуть, торпеда прошла слева у самого борта. Орудийные расчеты старшин 2-й статьи Ланцова и Верещака открыли по лодке огонь. Фашистская лодка, уходя от тарана, срочно погрузилась. Но в машинном отделении краснофлотцы слышали скрежет: корабль все же задел рубку лодки, был даже сорван лаг. На посту сбрасывания старшины 2-й статьи Шиловский и Аникин начали бомбометание. Лодку добивали глубинными бомбами, пока она не пустила на поверхность моря соляр и пузыри. Корабль вторично зашел для бомбометания и наткнулся на мину. Но не подсек резаком своего подводного охранителя-параванa ее стальной с якорем трос, а стукнул крылом пара-

вана в ее корпус. Мина, хотя и на расстоянии от корабля, но взорвалась, и осколками ранило нескольких краснофлотцев на юте и командира минно-торпедной боевой части лейтенанта Белоуса. Лейтенант упал на кормовые скаты, волна понесла его за борт. Тогда краснофлотец А. А. Мандриченко, комсомолец, — на другой день его фотографию увидел в газете весь флот — самоотверженно спас жизнь лейтенанта...

Впервые в войну я услышал слово «таран». Были тараны воздушные, были тараны танковые, двадцать третьего июня пошел на таран балтийский корабль, как шли в старину на таран галеры, разя неприятеля длинным, выступающим вперед тараном-мечом; только теперь у корабля не было такого меча, он наносил таранный удар своим корпусом под водой. Впервые я прочел такой документ, как «политдонесение», и нашел в нем такие термины, как «соляр», «кормовые скаты», «параван», «ют». К ним, к этим особым морским словечкам, надо было привыкать не потому только, что флотский язык, закрепленный в специальных наставлениях и словарях, красив и романтичен, а потому, что он просто необходим такому слаженному организму, как экипаж корабля: за годы войны я смог убедиться, как много в бою зависело от точности языка сигнальщика, от четкости команды вахтенного офицера, от мгновенной реакции и молниеносного понимания друг друга, присущего настоящим морякам.

Заготовив несколько коротких и, как мне казалось, боевых телеграмм, я снабдил их громкими заголовками: «Под фашистским ярмом», «Пираты идут ко дну», отнес на визу и помчался на телеграф, мечтая опередить всех своих коллег.

Первую из телеграмм напечатали через пять дней, вторую — через десять: гражданская газета еще не обрела военной оперативности. Что ж, огорчения газетчика одинаковы для всех времен — и военных, и мирных. Зато под телеграммой была пометка: «Действующий флот».

Смысл этих двух слов я прочувствовал позже, когда попал в море и на корабли. А пока действующий флот я видел лишь с берега.

Никто в те дни еще не давал происходящему никаких

общих оценок, да я и не считал возможным лезть с ненужными вопросами. Но чувствовалось: все идет не так, как ожидали, и я физически ощущал, как с каждым днем и часом выветривается довоенное легкомыслие, уступая место во все поры проникающей ненависти к врагу и готовности вынести все, пережить все, но выстоять, главное, выстоять и в конце концов его разгромить.

В порту я встретил черного, злого на весь белый свет Александра Владимировича Трипольского. Мне доводилось видеться с ним и до этого, и после — в Москве, на Балтике, на Севере, на Тихом океане, Трипольский всегда подавлял меня своей огромностью, могучей мужской красотой и обаянием хорошо воспитанного, сильного человека, хотя, возможно, и у него были слабости, свойственные живому существу, а не картинному эталону корреспондентской фантазии, каким он показался мне при первом знакомстве. Это было после войны с белофиннами. Трипольскому вручали Золотую Звезду Героя. Мы, штатские корреспонденты, донимали его вопросами, наивными и порядком ему осточертевшими. Ну что можно толком ответить на стандартный репортерский вопрос: «Расскажите о своей лодке, о своем походе в Ботнический залив, о ледовом плене?..» А написать о вручении награды надо, объяснить читателю, за что награждены командир, экипаж и сама лодка, — тоже надо. И он помог это сделать, тактично, но с юмором предупредив, что лучше не повторять других и не изощряться в расцвечивании происшедшего, не рассусоливать про «глотки моря», скрывающего преследуемый корабль; все было проще и труднее: его лодка «С-1» вместе с тремя «щуками» в декабре проникла в Ботнический залив и артиллерийским огнем потопила вражеский транспорт, а потом ее сжали льды, она лишилась маневра, хода и возможности погружения; на нее напали два самолета, но команда отбила нападение и сбила один самолет, лодка ушла под лед — сумели все-таки погрузиться; подо льдом лодка прошла немало миль и выбралась на простор. Так я и записал в сороковом году продиктованную мне Трипольским беседу и, несмотря на его предостережение против красот штиля и выспренности, все же добавил нечто о «непотопляемом балтийском «Наутилусе» — любили мы, сухопутные журналисты, выражать свое инфантильное удивление перед чудо-техникой этакими словами, взятыми взаймы у жюль-

верновской фантастики или в «Занимательной математике»: сколько, мол, составов можно нагрузить грунтом, извлеченным при постройке канала Москва — Волга и сколько раз можно этими составами опоясать землю по экватору...

Вторая наша встреча с Трипольским была самая горькая из всех. Ничего не ведая о трагедии, происшедшей в Либаве, я легкомысленно спросил его: «Ну, как ваша знаменитая непотопляемая?..» Трипольский отвернулся , вероятно, для того, чтобы скрыть свое раздражение. Потом сказал, что он теперь командует дивизионом, а его лодка в Либаве взорвана. «Разве в Пубалте не знают, что там произошло?» — лениво спросил Трипольский. Мы стояли на одной и той же земле войны, но внезапно я ощутил вопиющую, почти физическую разницу между человеком воюющим и расспрашивающим. Я глубоко люблю свою профессию, люблю газету и газетный лист. Но каждого из нас подстерегает действительно коварное противоречие, возникающее из самой сути журнализма, из необходимости перескакивать с предмета на предмет, — поверхностность и дилетантство. Когда дело касается флота, и особенно флота на войне, тут не помогут ни тельняшка, носимая всю жизнь человеком, далеким от морского труда, ни приверженность к хождению в морской форме по паркету столичного клуба, ни благоприобретенная трубка, набиваемая регулярно пресловутым кепстеном — так и пройдешь всю жизнь не с моряками, а по следам моряков, как, впрочем, можно и вообще пройти лишь по следам самой жизни.

Немало надо получить щелчков и ударов, чтобы научиться не задавать людям глупых вопросов, но такой вопрос Трипольскому уже был задан, и лишь потом, когда мне стало известно, что́ произошло в Либаве, я смог понять его состояние. Трипольский был в это время командиром дивизиона, но в Либаве погибла его лодка. Дикий, нелепый финал прославленного корабля. Лодка «С-1» стояла в доке на ремонте. Ее пришлось взорвать, чтобы она не досталась врагу. Точно, как в гражданскую войну под Новороссийском, когда черноморские матросы затопили эскадру, лишь бы не отдать ее врагам революции. Лодка «С-1» была награждена орденом Ленина. Занятый до этого ремонтом экипаж «С-1» разделился на две группы: одни присоединились к отрядам моряков на

сухопутье, задерживая на подступах к либавской базе противника; другие уходили в море на лодке «С-3» капитан-лейтенанта Костромичева, тоже поставленной перед войной на ремонт и потому лишенной в этот момент оружия, торпед, возможности погружения и подводного хода, но все же способной самостоятельно уйти из гавани, так неожиданно ставшей линией фронта. Я должен коротко рассказать о судьбе этой лодки, потому что с ней связана и судьба экипажа «С-1». Лодка «С-3» тоже погибла, но погибла в бою неравном и настолько остервенелом, что даже в сумятице сорок первого года героизм ее команды врезался всем на Балтике в память, ее могилу еще тогда пометили на своих картах другие подводники. Немецкие торпедные катера, застигшие неохраняемую лодку в районе Ужавского маяка южнее Виндавы, расстреливали ее издалека, пока не побили всех ее артиллеристов, командиров и пока на корабле не кончился боезапас; только тогда фашисты подошли ближе и торпедировали безоружную «С-3» в упор. А год спустя — в сорок втором — над местом гибели двух смешанных экипажей — «С-1» и «С-3» — проходила лодка «С-7». Ее командир Сергей Прокофьевич Лисин рассказывал мне позже, как по отсекам была отдана команда «Смирно» и как минутой молчания подводники почтили память героев сорок первого года...

«Значит, мы оставляем Либаву, если приходится взрывать поставленные в док на ремонт боевые корабли?!» — сказал я сам себе после тяжелой беседы с Трипольским. А ведь тогда еще не прозвучало то, что мы все услышали третьего июля — про войну долгую и трудную, про народное ополчение и партизан, про уничтожение всего, что только можно уничтожить при отходе. Выводы и обобщение происходящего приходилось делать самостоятельно, без той подсказки, к которой многие из нас стали привыкать в юношеские годы; сводки о многом умалчивали, и надо было молча оценивать и соизмерять трагическое и героическое. В Ирбенском проливе наши эсминцы потопили эсминец противника и вступили в бой с другими кораблями,— значит, фашисты рвутся с моря к Риге. Кого-то из нашего отдела Добролюбов посылает на остров Осмуссаар проверить ход строительства тяжелой батареи, — значит, не успели ее вовремя достроить. Кто-то вернулся из Риги и глухо говорит про парашю-

тистов, диверсантов и про воюющие в Усть-Двинске корабли, — значит, враг жмет на Ригу. Но корабли-то воюют. Несут потери, но ожесточенно воюют. Один подорвался на мине и потерял нос, кажется «Сторожевой»; его привели в Таллин на буксире водолазный бот «Нептун» и латышское судно «Меднис»; эстонские рабочие так взялись за работу, что скоро у корабля будет новый нос.

Только и слышишь имена, будоражащие воображение: «Сильный», «Смелый», «Свирепый», «Стойкий», «Строгий», — это эскадренные миноносцы, новейшее творение наших заводов, их называют «серия эс». Я еще не знаю флота, для моего уха романтично звучат слова «Ямб», «Нептун» и даже славянской вязью написанное «Водолей», хотя один — всего лишь катеришко, другой — водолазный бот, а третий — кораблик, снабжающий пресной водой корабли. Жадно читаю старые книжонки в Доме партийного просвещения Пубалта и балтийскую газету со статьями о Моонзундском сражении пятнадцатого и семнадцатого годов, о героизме матросов русского линкора «Слава», про «Азарда», «Пантеру» и потопленную в годы гражданской войны английскую подводную лодку, про германский крейсер «Магдебург», погибший на камнях возле Осмуссаара, и про захваченный на нем секретный код — удивительное ли дело, что мужественная история вооружала душу в столь необыкновенный час!..

Начинаю кое в чем разбираться. Самыми ценными кораблями считаются линкоры, но эсминцы более маневренны; линкоры — могучие бронированные махины с десятками орудий всех калибров и назначений, с множеством палуб, рубок, трюмов, кубриков, кают, с экипажем в две и больше тысячи человек, с огромным запасом сокрушающего и далеко достающего огня, с топливом на многие тысячи миль плавания. Но в мире таких махин мало, а в Балтийском флоте только две — «Марат» и «Октябрина» — так называли балтийцы «Октябрьскую революцию», обе они в тылу, в Кронштадте, и всех, буквально всех, заботит, как бы эти махины спрятать, защитить, сохранить. А вот эскадренные миноносцы — эти на переднем крае, они воюют, погибают, но их, наверно, немало, потому что слышишь все новые и новые имена.

Только все это мне в то время вроде бы и не следовало знать. Это постарался мне вдолбить Добролюбов. Он сказал:

— О потерях — ни звука, — и объяснил, что во время войны о гибели кораблей не только писать, даже говорить нельзя.

Не потому лишь, что это может исказить представление читателя о войне и посеять панику; ни один флот в период военных действий не подтверждает и не опровергает данных о судьбе своих боевых единиц. Корабль живуч. Его считают погибшим. А он, израненный, доберется сам или на буксире в порт, рабочие введут его в строй, приделают новый нос, заделают пробоины, заменят орудия, и неожиданно для врага он нанесет еще не один удар. Враг и в мирные дни засылал шпионов, чтобы разведать, где какой корабль базируется, или узнать час его выхода в море. Так зачем же нам облегчать ему шпионаж? На войне врут, каждому фашисту не терпится получить орден. Пусть врут, мы подсказывать им не должны. Добролюбов прочел мне, как новичку, целую лекцию о военной тайне и в конце сказал:

— Пишите о людях, о героях, они уже есть...

Разумеется, писать о людях, общность судьбы которых определяется понятием «экипаж», чрезвычайно интересно. Судьба одного — судьба всех. Человек на флоте обретает умение годами жить в кубрике или в отсеке и при естественной разности характеров, привычек и настроений не мешать, а помогать жить другим. Что это, особые люди? Нет, таковы условия жизни и ее обстоятельства. Тот, кто их не выдержит, — тот не моряк. Но судьба матроса — это судьба его корабля. Как же писать о человеке, не рассказывая о его корабле?..

Первый урок поставил меня втупик. Позже, в разгаре войны, мне не раз приходилось сталкиваться с этим. Однажды я вернулся с полуострова Рыбачий и печатал в «Красном флоте» серию очерков о борьбе нашей морской артиллерии на коммуникациях, ведущих в занятый фашистами порт Лиинахамари. Один дежурный по номеру разрешил назвать порт Лиинахамари, а другой в продолжении уже напечатанного очерка заставил этот же порт зашифровать. Это было нелепо, но безапелляционно. Георгий Модестович, человек добрый и мягкий, от которого зави-

село окончательное решение, посмеялся над этим анекдотом и объяснил, о чем и почему нельзя писать. Он терпеливо убеждал меня, насколько вредно для нашего общего дела разглашение того или иного факта, могущего стать полезным для разведки врага, и в конце концов настолько меня убедил, что я искренне спросил:

— Так, может быть, лучше совсем не писать?

Он улыбнулся и устало сказал:

— По мне бы — совсем. Газеты во время войны, увы, помогают разведке противника. Но от меня сие не зависит. И от вас тоже. Так будем сдержанны, по крайней мере...

Во вторник, на третий день войны, в коридоре Пубалта, возле комнаты начальника оргинструкторского отдела Ильи Рывчина, разгрузилась от рюкзаков и чемоданов группа политруков из Москвы. Их называли академиками и расспрашивали о столице.

О войне академики услышали в обеденный час в общежитии Военно-политической академии. Через два часа на Большой Садовой их собрал начальник курса, батальонный комиссар, объявил о досрочном выпуске и приказал явиться с вещами в 18.00 на Ленинградский вокзал для отправки на фронт. Каждому из политруков захватить: накрахмаленные белые кителя, белые рубашки и парадный костюм. Победа, как утверждал начальник курса, будет быстрой, и политработник должен в достойном виде выступить на параде, который мы устроим на их земле. Вот почему в коридоре Пубалта лежало так много чемоданов и рюкзаков.

В ту осень на острове Хорсен я подружился с одним из этих политруков — комиссаром гранинского десантного отряда Степаном Александровичем Томиловым. Он рассказал мне, сколько горя натерпелся из-за проклятого багажа. Из Пубалта через весь город политруки со своей поклажей мчались в Купеческую гавань на транспорт. Кто-то что-то напутал: транспорта там не оказалось, до назначенного срока оставалось десять минут. Бегом, навьюченные, политруки неслись в Минную гавань.

Пересадок и перегрузок было еще немало. Томилов стал закаленным десантником, но мундиры долго таскал за собой. И только в декабре, уходя с Гангута в Крон-

штадт, он облил это парадное обмундирование керосином и сжег. Кончил, наконец, академический курс.

К концу войны мне попали в руки корреспонденции фашистского военного корреспондента на Балтике Пауля Реймана — он был весьма плодовит, велеречив, достаточно циничен и недостаточно точен, но человек, знающий события на этом морском театре, всегда может догадаться, о чем фашистский корреспондент ведет речь.

В корреспонденции о ночном нападении на наши суда «Немецкие торпедные катера атакуют» он ругал белую балтийскую ночь, не подходящую для начатого фашистами темного дела.

«Погода стояла ясная и светлая, отнюдь не сумрачная, — писал фашистский корреспондент. — Этот чертов свет! Он доводил нас до отчаяния. Пурпур захода и восхода был, казалось, извлечен из одной и той же банки и словно не сходил всю ночь с горизонта, не считаясь с командами шнельботов, которым требовалось совсем другое. Ведь понятно, что шнельбот должен обнаружить все раньше противника. То, что было проделано за эти часы на мостике, — верх совершенства. И притом в неизученном районе. Ночь с двадцать первого на двадцать второе июня 1941 года. Мы уже считаем себя в состоянии войны с русскими. Надо как можно глубже пройти в воды противника... Мы всячески старались, чтобы никто не заподозрил, что в этих водах действуют немецкие катера. При малейшей тени на горизонте мы тотчас меняли курс. Но вот настало раннее утро. Мы видим справа по борту судно, надо его поближе обследовать. Когда перед русскими внезапно возникло несколько шнельботов, грозно надвигающихся форштевнями, у них воцарилась полная растерянность. Но вместо того чтобы после наших первых очередей из скорострельных автоматов застопорить машины, судно отвернуло направо и пыталось уйти на полном ходу. Первая торпеда на редкость удачно угодила в корму этого судна в 4000 тонн водоизмещения. Пришлось ему застопорить ход, оно сразу дало крен, но еще вздумало радировать о помощи. Второй торпедой мы дали им понять, что всякую неясность мы тотчас разъясняем. Нам, в конце концов, вовсе не хотелось, чтобы на зов радиста примчалась целая свора истребителей — слишком далеко мы ушли от фатерланда. Когда после взрыва опало облако, мы увидели невообразимый хаос из облом-

ков корабля, бревен, которыми было загружено судно, и людей, плавающих в воде. Громадные стволы мешали к ним подойти, мы не могли на это тратить слишком много времени...»

Нетрудно было догадаться, что речь шла именно о старом латвийском лесовозе «Гайсма», и то, о чем живописал фашистский военный корреспондент, происходило не «глубоко в водах противника», а возле шведского острова Готланд, точнее, на траверзе мыса Ревсудден, на широте 57° норд и долготе 18°48′, о чем в Риге, в Латвийском пароходстве, хранится документ, переданный той же ночью и командованию Краснознаменного Балтийского флота. Этот документ — первая радиограмма, посланная Николаем Георгиевичем Дувэ, капитаном «Гайсмы», в ночь на 22 июня 41-го года о том, что лесовоз «в 3 часа 40 минут подвергся без предупреждения беглому артиллерийскому обстрелу с окруживших судно немецких торпедных катеров». В 3 часа 40 минут утра германский посол в Москве еще не вручил ноту о войне. Еще не произнес свою речь Гитлер и не были сброшены первые бомбы на советские города. «Гайсма» ушла из Риги накануне в 11 утра, вечером миновала Ирбенский пролив, а перед роковой встречей вышла на пустынный фарватер вдоль Готланда, спокойно двигаясь на юго-запад. Черные точки на бледном горизонте вахтенные приняли было за мотоботы шведских рыбаков, но заблуждение длилось недолго, слишком стремительно эти точки росли, и вот всего в двух кабельтовых от лесовоза они развернулись и разошлись по двое, взяв «Гайсму» в клещи.

Прежде чем начать, пираты еще порезвились, поиграли на нервах. Еще бы! Они несли флаги со свастикой и размалевали борта пиратскими эмблемами. На одном — акула с раскрытой пастью, на другом — обвивающий жертву спрут.

Капитан и свободная от вахты часть команды спали. Их разбудил внезапный обстрел, изрешетивший надстройки, корпус, переборку кубрика. Вахту нес штурман. Едва выслушав его доклад, капитан приказал спустить на воду шлюпки и ринулся в радиорубку. Вручив радисту первую радиограмму, капитан Дувэ выскочил на палубу, схватил мегафон и, еще не понимая происходящего, закричал немецким катерникам: «Мы везем в Германию лес, мы везем в Германию лес». Фашисты ответили на это новыми

залпами, ранили капитана в лицо и в грудь, а когда увидели, что он распоряжается спуском спасательных шлюпок, перенесли огонь на спардек.

Пауль Рейман опустил детали расправы с командой «Гайсмы». А расправа была. Не дав спустить со спардека шлюпки, шнельботы всадили торпеду сначала в корму, дождались, когда опала поднятая взрывом волна и рассеялся дым, произвели нужное перестроение и выпустили в середину «Гайсмы» вторую торпеду. После этого началась резвая охота за барахтающимися в воде людьми.

Но бревна и обломки были опасны для самих шнельботов. Да еще в небе появился самолет, принятый немцами за советский истребитель. Вряд ли это был на́ш самолет, только он так быстро исчез, что со страху пираты не успели его опознать.

«Он несомненно помчался за подмогой, но мы решили не дожидаться его возвращения», — сообщает фашистский корреспондент.

Шнельботы удрали, и можно было осмотреться. «Гайсма» еще не скрылась под водой. На поверхности остался спардек и висящая там шлюпка. Быстро заделав пробоины, ее поставили на воду. В шестнадцатиместный ял набралось двадцать четыре человека. Все израненные, истерзанные. Подобрали и капитана, еле дышавшего, но зажавшего в руках портфель с судовыми документами. Его лицо было в крови. Предстояло решить: куда грести? До Готланда рукой подать. Но команда «Гайсмы» пошла к родному берегу и вечером добралась до деревушки Ужава, где стоял маяк и находилась пограничная застава. Только здесь, от пограничников, моряки узнали, что́ в мире произошло. Возле маяка они похоронили своего капитана.

А пираты еще не завершили похода.

«Огромный рыбацкий сейнер, который нам достался на второй завтрак, был, так сказать, подарком нашей люфтваффе», — продолжает немецкий военный корреспондент.

Самолет-наводчик повернул торпедные катера на новую, столь же боевую цель.

«Хотя мы снова отправлялись в пасть льву, но все же перспектива заполучить рыбацкий сейнер была для нас заманчива. Он пытался от нас уйти, но немецкие шнель-

боты знают свое дело. Нам пришлось дать несколько залпов по носу сейнера, чтобы его команда, состоявшая из двадцати русских, среди которых была одна девушка, снизошла и погрузилась в предложенные ей шлюпки... Наш дивизионный механик собственноручно закрепил на сейнере бомбы... Русский рыбацкий сейнер пошел ко дну».

Так началась война для нас. Так начали войну они.



Первый снимок на Хорсене. Сентябрь 1941 г.

Сколько людей на фронте я потом ни встречал, каждый так или иначе возвращался мыслью к этим первым дням. Не только как к крутому повороту в личной судьбе. Но прежде всего, как к общенародной ране, к всеобщей неутихающей боли: почему, как случилось, что начало было таким?.. Но эта боль пришла потом. А в первые дни, как и у всех сверстников, жила одна мысль: как попасть на действующий флот, только бы допустили. Наивно, но понимание серьезности и всеобщности случившегося еще не пришло. А я ведь пока числился «на сборах» — по временному документу. Через несколько дней мелким тревогам пришел конец. В отделе кадров Пубал-

та в обмен на первый документ мне вручили командирское удостоверение личности с пометкой: «Зачислен в КБФ 22 июня 1941 года». В графе «занимаемая должность» было сказано нечто странное, не предусмотренное никакими уставами: «писатель-корреспондент». Была, оказывается, такая должность в номенклатуре политаппарата. Нелепо, но лестно: кто из журналистов не надеется «выйти в писатели». Конечно, удостоверение это при всей своей солидности не открывало «доступа в литературу». Зато оно открывало доступ на корабли, в походы, на войну.

Как и многие мои товарищи, я решил вести дневник. Но для этого нужен, очевидно, иной характер. Записи мои в годы войны были эпизодическими, иногда длились неделю и даже месяц, иногда терпения хватало для одного дня. Был в моих руках еще один «блокнот» — фотоаппарат, но я долго не умел им владеть, в нужную минуту забывая все наставления. Однажды на острове Хорсен матросы-десантники увидели у меня без дела болтающийся аппарат и пожелали сняться на открытой скале у противника на виду. Это были мичман Щербановский, краснофлотец Федя Мошенников, храбрый человек, он считал, что из-за неприятной фамилии его обходит вниманием печать, — и другие боевые друзья, фамилии которых я не сохранил. Они объяснили мне, что и где надо нажимать — этим первым снимком я открываю свой фотодневник. Фотографии, как и запись, сделанная на Балтике, в Заполярье, на Черном море, Днепре, Дунае, Шпрее или Амуре — все это след горячего дня, штрих тех суровых лет. С помощью таких штрихов я и попробую рассказать о виденном на войне.

ТАЛЛИНСКАЯ ТЕТРАДЬ

Каждый при своем мнении

Не так-то просто человеку штатскому неожиданно стать военным. Но еще сложнее человеку сухопутному войти во флот. Даже молодому человеку, смотрящему не только «Броненосец «Потемкин» или «Мы из Кронштадта», но и любой другой фильм, в котором есть море, матросы и корабли, по нескольку раз. В первые дни войны, еще толком не отличая блокшива от баржи, я почувствовал, как трудно будет во всем разобраться — в истории флота, в его уставах, наставлениях, лоциях, терминологии, разнообразнейшей морской практике, во всех его премудростях, связанных с астрономией, физикой, математикой, географией, гидрологией и тысячью иных наук, в его особых, наконец, традициях, — да это же просто непостижимо, этому надо посвятить жизнь. Не зря матрос служит вдвое больше, чем солдат, и прежде чем он попадет на корабль, его почти год шпигуют морскими знаниями в учебном отряде и в специальных школах на берегу. А как же быть, если еще собираешься о флоте писать?! Вхождение в жизнь флота я бы разделил на два параллельных, но взаимосвязанных процесса: оморячивание и познание. Причем, у этих процессов нет временны́х границ: они обязательны с первого и до последнего дня.

Оморячивание проходят все, даже корреспонденты. На корабле новичка-корреспондента ждут в общем-то невинные шутки: проверка на устойчивость перед воздушной волной возле внезапно стреляющего орудия канонерской лодки — брякнешься на палубу, тоже не беда, только не

нытъ; испытание вестибулярного аппарата на волне малой, средней и большой, при качке бортовой и килевой с утешением, что «адмирал Нельсон тоже травил»; и, наконец, проба на доверчивость. Матроса-первогодка на потеху острякам непременно пошлют с парусиновым ведром «за клюзом на клотик», или назначат «рулевым на параван», или поставят на камбузе продувать макароны «для командира» — шутки длиннобородые, но мигом соблазняющие нашего брата на первых ступенях маринистского бытописательства. А вот корреспонденту уготовано другое: достоверно изложенные вариации сюжетов капитана Вральмана — держи ухо востро и не раскрывай блокнота. Совсем недавно один капитан 1 ранга, не моргнув, испытывал меня подобной историей про уникальное спасение некоего военфельдшера с балтийского стотонника-тральца. Этот, мол, фельдшер, развернув перед боем в кают-компании лазарет, замечтался, не заметил, как под напором волны захлопнулась дверь и тральщик ушел на дно; а когда он надумал дверь открыть, то уплотненный воздушный пузырь выстрелил его на поверхность моря целехонького и румяного, как помидор. Капитан 1 ранга почти с мольбой ждал появления вечной ручки и блокнота. Не дождавшись, он сказал: «Не верите? Удивительное дело — никто не верит. А между тем — факт. Я могу назвать фамилию, даже могу дать вам адрес этого фельдшера». Честно говоря, едва не соблазнился: спасались же люди из подводных лодок со дна моря или летчики с нераскрывшимися парашютами. Но — опять же, флот! Нужна закалка, выдержка: слушай и не ахай.

На мою долю выпала еще одна му́ка, связанная с моим газетным происхождением. Пубалтовский кадровик не раз и не два прояснял, какое, собственно, отношение имеет городская газета, из которой я вышел, к флоту, к морю и к военной тайне. Он никак не мог смириться с тем, что июнь сорок первого года приобщил к военной тайне миллионы глубоко штатских людей. Потом эту мнительность я почувствовал на газетном уровне. На полях моих рукописей в центральной редакции возникали резолюции: «Флотская газета — не «Вечорка». Переделать». Или того хуже: «Горючего не хватит. Брехня». Так определил один мнительный сотрудник отдела авиации, прочитав в сорок втором году запись из моей тал-

линской тетради сорок первого года. Запись имела заглавие: «Аккуратненько!»

В истребительную часть балтийской авиации я приехал ночью, рассчитывая застать здесь Алексея Касьяновича Антоненко, уже знаменитого к тому времени «Касьяныча», который сбил над турбоэлектроходом самолет и у которого мы, газетчики, всегда рассчитывали разжиться новостями для блокнота. Касьяныч редко прилетал с полуострова Ханко на левый берег залива, но стоило ему тут появиться — наш брат корреспондент не давал ему житья. Встретит он, бывало, нас возле самолета, худой, насквозь пропитанный небом и порохом, снимет шлем и вынет платок, чтобы протереть запыленные облаками очки, и скажет: «Что, сенсация нужна? Нету. Одна голая статистика. Вчера с Петяшей сбили над базой два «бристоль-бульдога», аккуратненько: я — восемь патронов, Петяша — одиннадцать. Итого девятнадцать на двух «бульдогов». Не разорительно для рабочего класса. От взлета до посадки — четыре минуты». Или расскажет, как летал с Петром Бринько над Финляндией, встретил «юнкерса», гнал до Хельсинок и над Хельсинками сбил — на виду у горожан: «Можете у них спросить, подтвердят».

В маленьком деревенском домике возле аэродрома я застал командира части и помощника начальника штаба. Помнач, из запасников, пожилой и суетливый, и слышать не хотел про Антоненко.

— Что, кроме него, у нас нет летчиков? Семенов, Севастьянов, Смирнов, Соколов, — казалось, он читает штабную ведомость на букву «С» наизусть.

Но меня интересовал именно Антоненко, и помнач сказал, что ни один летчик не позволил себе подобной наглости: украсть механика и оружейника! Я удивился: сразу двоих?

— Двоих в одном лице. Прилетел на чужой аэродром и украл лучшего механика балтийской авиации.

— Но он же на «ишачке». На одноместном.

— Вот именно, — подтвердил молчавший до того командир части. — Обышачил нас на своем «ишачке». Сорванец, а не летчик...

Несколько времени спустя, попав на правый берег залива на Гангут, я пришел к Антоненко на аэродром. Он уже был Героем Советского Союза и накануне сбил че-

тырнадцатый самолет противника. Самолет этот — его последняя сенсация — «загорал» на ханковском золотом пляже возле заброшенных кабинок для купальщиков. Поговорив об обстоятельствах последнего боя, я спросил Антоненко про кражу человека с чужого аэродрома.

— Уже нажаловались, — возмутился Антоненко. — И напрасно. У них там механиков до черта. А сюда не всякого заманишь, — и Касьяныч подробно рассказал про все, что произошло.

Это был его постоянный механик, паренек, который всегда бежал навстречу, едва машина Антоненко появлялась над аэродромом. В тот день Касьяныч сел на аэродром утром, к полудню справился с делами и собрался обратно на полуостров.

Сидя в стороне на колодках, Касьяныч покуривал и задумчиво поглядывал на механика, ловко лазавшего по плоскостям истребителя. Не вредно бы такого паренька иметь на Ханко. Там одному краснофлотцу приходилось обслуживать по нескольку самолетов. Антоненко погасил папиросу, встал и подошел к самолету. Да, недурно бы захватить паренька с собой. Но как? Куда его воткнешь? Снять бронеспинку? Только согласится ли он лететь в таком положении в качестве «мертвого груза»?

Механик вдруг сам попросил:

— Касьяныч, возьми с собой...

— Страшно ведь? — обрадовался Касьяныч.

— Дотянем.

Каких-нибудь полчаса лету. В конце концов от них не убудет, если взять его на тот берег. Обзаведутся другим. Зато там он сможет обслуживать две машины — заодно и машину Петра Бринько.

— Куда лечу, знаешь? — строго спросил Антоненко.

— А то как же: Гангут, все знают. Ей-ей, не боюсь. Возьми, Касьяныч, я махонький, как раз на место спинки придусь. Дышать и то не буду.

— Лезь, — Антоненко вынул из кабины бронеспинку. — Я — аккуратненько!

Механик быстро втиснулся в кабину, стараясь занять минимум места позади летчика. Ноги он протянул к фюзеляжу, а его тело Антоненко намертво закрепил ремнями, позабыв впопыхах спросить парня, как тому удобнее висеть — лицом вперед или спиной к спине.

Касьяныч оглянулся — начальства поблизости не было. Он дал газ и взлетел. Он старался не думать о несчастном пассажире, дышащем ему в спину, но в зеркальце то и дело мелькала пунцовая физиономия старательно улыбающегося человека. В этой неестественной улыбке была смесь страдания, терпения и отчаяния. «Ничего, — подумал Касьяныч, — откачаем. Оморячиться полезно каждому».

Когда они пересекли залив и забрались повыше за облака, Алексей Касьяныч заметил фашистский «Ю-88». Эка досада, сейчас бы догнать и подраться. «Юнкерс» шел без сопровождения, территория внизу пустынная — скалы и залив, словом, можно прекрасно померяться один на один.

Он тоскливо взглянул в зеркальце на свой сопящий груз, хоть и не шевелившийся, но живой: угораздило брать тебя, черта, с собой.

Механик под этим взглядом виновато заморгал, зашевелил губами, будто желая сказать: «Давай, Касьяныч». Так, по крайней мере, хотелось думать летчику, жаждавшему ввязаться в бой. Впрочем, потом, на аэродроме, механик охотно поддерживал эту версию и даже уверял всех, что именно он-то в своем положении и мечтал о воздушном бое... «Я — аккуратненько», — зашевелил губами Касьяныч и развернул машину вслед за бомбардировщиком.

Антоненко почувствовал истинно спортивный интерес к этому бою: вес отяжелевшей машины и стесненность движений вызывали абсолютно новые ощущения. Вся выработанная в боях с бомбардировщиками автоматика действий пошла насмарку, нужно было заново решать трудную задачу. Он настиг «юнкерса», зашел сверху, бросился в пике, атаковал, вновь взвился вверх, зашел с виража, метался вокруг вражеской машины в гуще ее защитного огня, пока не сбил.

Все это время в кабине за спиной торчал скованный по рукам и ногам человек, то бледневший от страха, то становившийся бурым от прилива крови при бешеных виражах истребителя.

Антоненко развернул машину на прежний курс и взглянул в зеркальце на пассажира. Тот все еще натянуто улыбался, но его лицо выглядело как мятый прокисший огурец — нажми и брызнет. Антоненко почувство-

вал неудержимое желание вынуть платок и вытереть шею, столь усердно обогреваемую соседом.

На Ханко он прилетел в час артиллерийского обстрела. Лавируя между воронками и уклоняясь от снарядов, он посадил машину в наиболее безопасный уголок, вытащил бледного парня на землю, положил его на спину под плоскостями и пошел на командный пункт, где с юмором доложил о сбитом «юнкерсе» и доставленном с левого берега блестящем механике, склонном к воздушной болезни и обморокам.

Вот и вся история. Мнительный редакционный критик на ее полях подсчитал: «Полный бак «И-16» берет горючего на 45 минут плюс двадцать процентов неприкосновенного аэронавигационного запаса. С двойной нагрузкой и боекомплектом не дотянет». Кроме того: «Нарушение НПП и БУИА-41», что означало: «Наставление производства полетов» и «Боевой устав истребительной авиации». Вывод ясен: факта не было, брехня.

Но факт был, я узнал о нем из первоисточника. Что касается нарушений — были и они. Алексей Касьянович за этот полет получил одновременно и награду и взыскание: самолет-то он все-таки сбил, а вот воровать механиков нельзя. Так что переубеждать предубежденного не пришлось: каждый из нас имел право оставаться при своем мнении.

Последний кадр

Такое время настало в Таллине — смесь мира и войны. Я поселился в «Золотом льве»: близко от штаба флота и сколько угодно свободных номеров. К военным — повышенное внимание. Но у портье за стеклами очков бегающие глаза. Может быть, так кажется. Много разговоров о выстрелах из-за угла, о нападении на одиночных бойцов. Слухи порождают подозрительность. Действуют истребительные батальоны, созданные молодыми эстонцами, — все в юнгштурмовках, темно-синих фуражечках, таких, как на матросах лакированного пароходика «Рухну», очень горячие ребята, но внешне сдержанные. Говорят, что вылавливают за городом парашютистов — немцы одевают их в нашу милицейскую форму и ночью сбрасывают в леса.

Но в самом Таллине тишина. Город на военном положении. Расклеены строгие приказы на русском и эстонском языках. По брусчатке днем марширует рабочий полк. Непривычные слова — военное положение. Это значит, что с девяти вечера — комендантский час. Улицы мгновенно пустеют. Узкие и кривые, они гулко повторяют шаги патрулей. От перекрестка к перекрестку с винтовками наперевес шагают матросы. У подъездов — дежурные группы самозащиты: эстонцы с повязками на рукавах. Высунуть нос на улицу без пропуска нельзя. Если учесть, что ночи в июне — июле белые и в девять вечера светло, — пустынность улиц производит зловещее впечатление. А где-то вдали — то взрыв, то стрельба.

Приехали писатели и корреспонденты из Москвы и Ленинграда. Я жил в одном номере с Мишей Прехнером — он фотокорреспондент «Правды», тонколицый, высокий, красивый и очень хороший, но робкий человек. Вернее, деликатный. Ему тоже хотелось служить во флоте, а не состоять в «прикомандированных». Но он стеснялся об этом сказать.

Утром я слышал: Прехнеру позвонили из Пубалта и предложили прислать за ним — за корреспондентом «Правды» — машину. Смешно, Пубалт же рядом. Прехнер от машины отказался.

В здании напротив церкви, возле Дома партийного просвещения, размещалось бюро пропусков. Толпа политруков и командиров всегда ожидала там вызова в Пубалт или в штаб. Штатский костюм тут редкость, и, хотя каждому понятно, что шпиона в штатском засылать нет смысла, на пиджак, а тем более модный, часовые поглядывали косо. Краснофлотцы охраны штаба — молоденькие, еще не обстрелянные, совсем юнцы, и каждому не терпится поскорее что-то совершить — ну, хотя бы когонибудь поймать.

Быть может, поэтому мне показалось смешным, что Михаил Прехнер, известный в газетных кругах человек, фотографирующий, как корреспондент «Правды», даже в Кремле, стоит в своем пижонском темно-синем костюме в полоску возле бюро пропусков, окруженный военными. И даже вроде бы под охраной двух часовых. Краснофлотцы выходили на пост, словно готовые к штыковому бою. Похоже, штыки винтовок с двух сторон нацелены на фо-

токорреспондента. Я на ходу обронил: «Ага, попался, голубчик!..» Прехнер не успел ответить, я только заметил его растерянную улыбку и скрылся в здании партпроса. Через несколько минут, выскочив оттуда, я помчался в Пубалт — мой начальник метал громы и молнии, когда кто-нибудь опаздывал. Прехнер качнулся было ко мне, я махнул ему рукой: некогда! Да еще бросил краснофлотцам, готовым к штыковому бою: «Держите, держите его! Знаем мы этих фоторепортеров!»

Добролюбов усадил меня править очередную листовку для гарнизона Пярну — он спешил, его посылали туда «обеспечивать политическую сторону отражения возможного вражеского десанта». На мольбы взять меня с собой он отрезал: «Нет», добавив, что на рассвете с грузовиком особого отдела я должен отбыть через Кингисепп в Котлы и Капорье, побывать там в бомбардировочной и истребительной авиации флота, выполнить задания Пубалта, попутно собрать материал и для себя, вернуться в Таллин и сразу отбыть на Гангут.

Мы правили листовку вдвоем — в таких случаях работа идет медленно, тем более что без конца трезвонил телефон. Добролюбов то и дело кому-то отвечал: «Нет, не приходил». На десятый звонок он ответил с раздражением: «Слушай, Костя, ну зачем же ему идти ко мне? Фотокорреспонденты проходят не по отделу пропаганды, а по отделу культуры...» Я сообразил, что он говорит с начальником IV отдела Бусыгиным — это отдел культуры, занятый художниками, актерами и фотокорреспондентами. Бусыгин кого-то настойчиво ищет. Меня внезапно пронзило: Мишу Прехнера!

— Да, — подтвердил Добролюбов. — Он ждет корреспондента «Правды» Прехнера. Недисциплинированный вы народ. Назначают прийти к девяти, а в десять тридцать его еще нет.

— Позвольте, я его видел возле бюро пропусков!..

Добролюбов позвонил Бусыгину. Через несколько минут в кабинет пришел сам Бусыгин и расспросил, где и когда я видел фотокорреспондента «Правды». Дежурный по бюро пропусков, довольно-таки нахальный техник-интендант, ответил, что народу штатского тут шляется немало и любой прохиндей выдает себя за важную птицу из Москвы. Технику-интенданту за тон попадет, но где Прехнер?..

Объяснив, как все было, я сказал, что возле Прехнера стояли двое краснофлотцев. Нелепо, но, может быть, это всерьез?..

Бусыгин покачал головой и, не удостоив меня взглядом, ушел.

Добролюбов забрал листовку и уехал, освободив меня от Пубалта до рассвета. Я успел оформить командировку на аэродромы, созвониться с особым отделом, условиться о месте и часе встречи с их грузовиком, и отправился в город.

Конечно, я прежде всего забежал в «Золотой лев». Не успел я войти в номер — звонок, голос Бусыгина, раздраженный вопрос:

— Ваш сосед не приходил?

— Нет. А вы его не нашли?

— Нет, — и бросил трубку.

Я сбегал в порт, выручил наконец свой злополучный чемодан, отнес его на штабной корабль «Виронию», где мне, как работнику второго отдела, было отведено штатное место, и вернулся в номер.

Настал комендантский час — Прехнера все нет. Обычно мы с ним в это время выходили во двор «Золотого льва», подставляли лестницу к каменной стене, отделяющей наш двор от соседнего, и болтали, коверкая язык, с золотоволосой эстонской девушкой — она не могла без пропуска выйти на улицу, сидеть с девяти вечера дома ей было тошно, и она каждый вечер охотно забиралась на стену, обходясь без лестницы. Сегодня мы болтали вдвоем, она косилась на окно нашего номера, выходившее во двор, и я объяснил ей, что мой друг в энском месте выполняет важный боевой долг.

В белые ночи теряется представление о времени, особенно, если у тебя нет часов. Я вдруг заметил, что девушка слишком пристально смотрит поверх меня и даже улыбается — в окне торчала фигура Миши. Шел уже четвертый час ночи, а в пять мне надо быть на углу Нарва-манте и ждать особистский грузовик.

Когда я вошел в номер, Прехнер стоял посреди комнаты, готовый меня побить. Вид у него был помятый, глаза запали, но горели не свойственным ему гневом. Он сказал:

— Я не знал, что вы такой легкомысленный человек.

Разумеется, это относилось не к девушке за каменной

стеной. Оказывается, утром в бюро пропусков техник-интендант заявил, будто пропуска на имя Михаила Прехнера нет. Удивленный такой неточностью в военном учреждении, непривычной для корреспондента «Правды», Прехнер попросил дежурного позвонить товарищу Бусыгину; услышал грубый отказ, настаивать не стал и решил дозвониться самостоятельно. Это его погубило. Он вынул из кармана изящную в кожаном переплете записную книжку явно заграничного происхождения. Дежурный, выскочив из-за барьера, схватил Мишу за руку и приказал сдать заграничную записную книжку. Прехнер предъявил ему правдистский документ. Но дежурный выставил владельца документа на улицу под охрану часовых. Так два паренька изготовились к штыковому бою. А моя шутка еще подлила масла в огонь. Когда Бусыгин позвонил в бюро пропусков, там уже побывала рейсовая грузовая машина особого отдела. Рейсовая потому, что она, как ныне маршрутное такси, объезжала определенные пункты города и подбирала задержанных патрулями подозрительных лиц, спекулянтов, возможных и невозможных лазутчиков. Под вечер Прехнер оказался в стойле какой-то загородной конюшни, приспособленной особым отделом для временно задержанных. Он кричал, требовал вызвать начальство, потрясал правдистским документом. Охраняющий конюшню старшина на все спокойно отвечал: «Знаем, знаем, какими документами снабжают вашего брата там». Ночью начальник особого отдела флота дивизионный комиссар Лебедев разыскал наконец в конюшне Прехнера, вернул ему заграничную записную книжку, извинился и на прощание воскликнул: «Какой услужливый идиот вас задержал?..»

Мы расстались с Мишей натянуто. Я не знал, что мы расстаемся навсегда. Я не решился сказать ему, на чьем транспорте еду в Котлы: а вдруг это тот самый рейсовый грузовик, который, между прочим, доставил Мишу лишь туда, к конюшне, — обратно он шел через весь город пешком. Но восклицание дивизионного комиссара я все же запомнил. В то утро мне не удалось зайти в бюро пропусков, разыскать бдительного техника-интенданта и взглянуть ему в глаза, а потом об этой истории я невольно забыл.

В лесу под Нарвой нас обстреляли, краснофлотцы из грузовика особого отдела бросали в лес гранаты на длин-

ных деревянных ручках; две такие гранаты плюс противогаз были и у меня, но никто еще не объяснил мне, что в гранату нужно вставлять запал: одну гранату я метнул — без запала, другую, экономя боеприпас, сохранил. Потом в Кингисеппе нас бомбили. В Капорье «мессеры» обстреливали пассажиров на железнодорожной платформе. В Котлах они сожгли домик, в котором я заночевал с попутчиком-лейтенантом, — в этом домике жила его семья. Было душно, нас заели клопы, я с трудом умолил лейтенанта пораньше встать, распрощаться с родными и поспешить к поезду, мы отошли всего метров на триста, когда начался налет, и видели: в одно мгновение домик окутался черно-желтым облаком и исчез с лица земли — вместе с семьей лейтенанта.

Путь через Кингисепп в Таллин был отрезан. А может быть, только разговоры, что отрезан, — и такое случалось в те дни. Я возвращался к месту службы через Кронштадт, катером. Потом ушел на Ханко, так и не успев заглянуть на «Виронию».

«Вирония» погибла. Погиб и Миша Прехнер. Но на ней ли или на другом корабле — не знает никто. Он улетал в Москву со снимками действующего флота для «Правды», вернулся в Таллин, хотя это было очень трудно сделать, перед самым концом, чуть ли не за день до оставления города, и никто не знает, на каком из кораблей он ушел. Его видели Всеволод Вишневский и Анатолий Тарасенков фотографирующим погрузку войск под артиллерийским огнем; его видел Николай Михайловский в Минной гавани не торопящимся на корабль, снимающим других. Он снимал до последнего кадра, как стреляет солдат до последнего патрона. Последний кадр в его профессии был самым ценным...

Шпиономания свирепствовала месяц-другой. В июле с корреспондентом ТАСС Юлием Зеньковским мы шли по Кронштадту, оба в штатском. Я ныл: «Где ваш чертов штаб? Ну, где же он?..» Зеньковский, ленинградец, хорошо знавший Кронштадт, посмеивался и объяснял: «Вот за углом. И еще раз за углом. Поворот. За поворотом поворот. А там мостик. Если его не разведут — мы выйдем прямо к Итальянскому пруду, то есть к штабу. А если разведут, то там есть другой поворот, а за поворотом — поворот...» Мы не заметили пожилую женщину, которая увязалась за нами, прислушиваясь к столь странному,

почти шифрованному разговору. Не стерпев, она обогнала нас и, пятясь справа по борту, грозно спросила: «Вы кто такие, а? Кто такие? Документы есть?» Я повеселел, даже прибавил шагу, приговаривая: «Мы — парашютисты, сразу же видно, вон на углу нас сбросили, мы приземлились, отдали парашюты постовому и вот ищем штаб...» Женщина вприпрыжку шла за нами до Итальянского пруда. Мост, к счастью, не был разведен. Она угрожала, кричала, но мы подошли к штабу, предъявили постоянные пропуска и, торжествуя, оставили ее за бортом. Зеньковский смеялся, но ворчал: «Все-таки нехорошо вы поступили. Высмеивать бдительность, даже болезненную, не следовало. Она же от души. Ей хочется поймать шпиона».

Прошел год. Утихла шпиономания. Посуровела жизнь. Построжели и страна и наши характеры. Может быть, той женщины уже не было в живых, как не стало и Зеньковского, и Бусыгина, тоже погибших при таллинском переходе.

Несколько месяцев спустя, прилетев по заданию «Красного флота» в блокированный Ленинград, я отправился в флотский экипаж получать по аттестату продовольствие и положенный мне офицерский дополнительный паек. Продотдел занимал длинный казарменный зал в здании экипажа. У входа сидел старшина с тремя шевронами старослужащего, суровый детина. В глубине — начальник с серебряными нашивками на рукавах кителя, мужчина милейший на вид. Между ними, за маленькими столиками,— взвод девушек в синих беретах и матросских блузах.

Старшина сказал — положенное по дополнительному пайку масло заменяется комбижиром; комбижир заменяется по шкале концентратом; пшенный концентрат для Ленинграда деликатес; и вообще: перво-наперво надо пройти к начальнику и получить визу.

Начальник, прочитав аттестат, расхохотался, как хохочет человек, от которого зависят все.

— Ха-ха, вашего брата я знаю. Вот один — тоже выдавал себя за корреспондента. Не «Красного флота», а «Правды». А оказался? — Он быстро проверил, слушают ли подчиненные. — Шпиён. Имею за него благодарность. Верно, девочки?..

— Так это вы?! Вы дежурили в Таллине в бюро пропусков?!

Он кивнул, самодовольно оглядев опустивший очи долу взвод.

А я громко, слишком громко для гулкого зала и для такого учреждения, как продотдел, прокричал все, что знал про Мишу, про его храбрость, талант, мастерство, не уступающее мастерству Дебабова. Вспомнил и высказывания начальника контрразведки про услужливого дурака, добавив, будто особый отдел все еще разыскивает героя, пожелавшего остаться в тени. Не знаю, как отнеслись ко всему девушки в синих беретах, помню, что старшина, наперекор визам, проявил полную старшинскую власть. Он написал: «Выдать в счет дополнительного — бекон!» Наверно, милейший на вид мужчина всем порядком осточертел.

Постскриптум

На флоте про торгового моряка всякий, бывало, скажет: «Он из купцов». Это значило: особый стиль поведения. Но иной «купец» плавал по морям и океанам поболе профессионального военмора. «Купцам» на войне порою доставалось больше других. В этом каждого мог убедить таллинский переход, когда из двадцати девяти крупнотоннажных транспортов до Кронштадта добрался только один.

В море лучше идти на мелкосидящей, тихоходной, плоскодонной шаланде, да еще деревянной, неуязвимой для магнитных мин, не стоящей торпед,— и для врага добыча малая, и для своих вроде бы потеря невеликая. Такой, к примеру, посудиной был латвийский пароходик «Эзро» капитана Альфона Янсона. До войны пароходик этот топал по Даугаве вверх и вниз, а потом его пустили в большие и опасные морские плавания. Из Рижского залива он уходил в хвосте длинного каравана и вел на буксире баржу, груженную взрывчаткой. «Эзро» отстал от других на одиннадцать ходовых часов, один застрял в водах противника, был мысленно всеми похоронен и списан в «потери при эвакуации». Но эта посудина доползла до Таллина успешней иных быстроходных судов и, конечно, сохранила доверенный ей груз. В порту на рейде такая малявка бегает от борта к борту, перевозит провиант, боезапас, людей, никто не задумывается, когда команда спит: ведь в ней всего-навсего пять человек, и тут уж не

устроишь смех; с берега по кораблям и транспортам лупят из пушек, а ее даже не считают за цель — так, всякие случайные, чужие недолеты и перелеты; как должное ее команда принимает и град насмешек с высоких палуб: и труба-то низкая, и вид замарашки, и шаг винта самый короткий на морях. А вот никто не поздравит ту же команду «Эзры», когда среди взрывов, пожаров, тонущих кораблей и людей она совершит семидесятичасовое плавание по минным полям, когда ее матросы, вытащив десятки погибающих, загрузят свое суденышко сверх всяких пределов, пока палуба не сравняется с волной; покинут потом спасенные палубу такой «Эзры», отлежатся в госпиталях Кронштадта и Ленинграда, уйдут на другие фронты, флоты, корабли и даже имени своей спасительницы не вспомнят — скажут эдак небрежно: подобрали в море на какое-то корыто, душевные там ребята, только чапали с ними три ночи и три дня.

В море лучше идти на катере, на тральщике, на эскадренном миноносце, где пассажиры редки и панике железно противостоит воинский устав. Хуже всего попасть пассажиром на огромный, с каютами, палубами, салонами и ресторанами транспорт, почти не вооруженный и перенаселенный. Команда способна воздействовать на пассажиров только одним — собственной доблестью и бесстрашием. Транспорт, если его не защищают сверху, с моря и под водой, едва ли может сам себя защитить.

Но иногда, оказывается, и безоружный транспорт может выиграть морской бой. О таком событии, как о чуде, заговорили в Таллине, когда в Купеческую гавань пришел «Казахстан».

О «Казахстане», кажется, рассказано всё, нет статьи или книги про Балтику сорок первого года, где так или иначе не упомянули бы «Казахстан». И это естественно: он и был тем единственным из двадцати девяти крупных транспортов, который все же дошел до Кронштадта. А вот июльский подвиг всегда замалчивался, потому что он связан с именем, которое было на долгие годы из обращения исключено. В 1961 году доброе имя этого человека восстановил трибунал по почину старого морского журналиста из газеты «Водный транспорт» Георгия Александровича Брегмана. Калитаев — его юношеская репортерская привязанность, он узнал его, еще бегая хроникером ленин-

градского отделения «Комсомольской правды» по причалам морского порта, и, как часто бывает у журналистов, разглядел в нем настоящего моряка. А потом каждый поступок избранного героя становился личной радостью для репортера, втайне мечтавшего когда-нибудь и что-нибудь о нем написать. Во время войны, лежа после ранения в госпитале, репортер узнал о постигшей капитана беде, но единственно, что мог сделать, выйдя из госпиталя, расспрашивать и расспрашивать тех, кто не вычеркнул Калитаева из памяти. Таких было много, все старые моряки считали, что Калитаев не мог совершить ничего худого в жизни, но только в шестидесятые годы это удалось доказать. Друзья добились пересмотра забытого дела Вячеслава Калитаева. Но вот годы идут, а во всех изданиях и переизданиях, где упоминается «Казахстан», по инерции пишут так, словно ничего не изменилось. Никто теперь его не хулит, но никто и не поминает добром — нет человека, будто и не было. Потому есть смысл вернуться к старым записям про этот транспорт.

Эвакуацию Таллина начали днем 27 августа одновременно с нашей сильной контратакой на разных участках сухопутья. Сотни груженных ранеными, эвакуируемыми, бойцами, промышленным оборудованием и боевой техникой кораблей и судов собрались в колонны в районе острова Нарген. «Казахстан» грузили тогда, когда немцы уже рвались к «Русалке» в парк Кадриорг. Над берегом болтались аэростаты, корректирующие огонь фашистских орудий и тяжелых минометов по гаваням и по внешнему рейду. «Казахстан» принял три с половиной тысячи пассажиров, большей частью это были раненые бойцы, женщины с детьми, матросы и офицеры.

Утром 29 августа возле острова Нарген «Казахстан» вошел в общий кильватерный строй. Этот строй вытянулся на несколько десятков миль и разделился на караваны. Предстояло пройти 220 миль — через минные поля, под огнем тяжелых береговых батарей справа и слева, под ударами бомбардировщиков и штурмовиков, отражая атаки подводных лодок и торпедных катеров. И главное, без защиты с воздуха, без прикрытия, потому что все аэродромы на побережье уже были нами потеряны, а до аэродромов Ленинграда далеко. Люди, тысячи и тысячи людей, военных и гражданских, раненых и здоровых, были всюду — и на боевых кораблях, и на транспортах, и на траль-

щиках, и на катерах, и на портовых буксирах, и на карликовых шаландах. Тральщики, а их было не так уж много, расчищали путь от бесчисленных мин, выводили из-под удара боевые корабли, которым предназначалось оборонять Ленинград. Но некому было подсеченные мины расстреливать; отведенные от впереди идущих судов, мины оставались на поверхности, был шторм, он нес ночью мины на фарватер, по которому шел последний, девятый, караван.

Капитаны помнят и вновь вспоминают таллинский переход. Раны рубцуются, но не заживают.

Вначале отстал «Казахстан», отстал потому, что в спардек попала бомба — она повредила машину, вызвала пожар. Потом ночью подорвалась на плавающих минах «Луга». Позади нее шел теплоход «Вторая пятилетка». С его мостика видели пламя внезапного взрыва впереди, задранную корму и оголенный винт «Луги». В ее носовом трюме лежали триста раненых — их затопило сразу. Переборки других трюмов выдержали внезапный удар, и людей оттуда удалось спасти. Тральщики, катера, шаланды шныряли возле погибающей «Луги», собирая живых. Ее капитан и двенадцать матросов перешли на идущую позади «Вторую пятилетку».

После бурной ночи настал штилевой августовский день. Я говорю о погоде. Взрывы на море продолжались, в небе носились фашистские бомбардировщики и штурмовики. Караван миновал красную башню маяка на Родшере. Перед «Второй пятилеткой» шел теперь «Балхаш». Его атаковали «фокке-вульфы», и через десять минут он затонул. Потом погиб «Тобол». Все атаки сосредоточились на «Второй пятилетке». После двадцатого налета она потеряла ход и стала носом погружаться в воду. Катера, шлюпки, буксиры — вся славная балтийская мелочь, без которой не спастись бы тысячам людей, сняла с теплохода пассажиров.

На борту полузатопленного теплохода остались четверо: механик, электрик, капитан «Второй пятилетки» и военврач из пассажиров. Николай Иванович Лукин — капитан «Второй пятилетки», вспоминает, что им сообща удалось даже запустить главный двигатель — теплоход еле заметно пошел вперед. Это разъярило фашистов, они снова набросились на «Вторую пятилетку». Очередная бомба доконала теплоход. Теплоход тонул. Четверо ниче-

го уже не могли предпринять. Мимо проходил переполненный катер «МО». Командир крикнул, что рискнет взять еще двоих. Лукин приказал сойти на катер электрику и механику. Сам он остался с военврачом. Командир катера кричал капитану в мегафон: «Мы за вами вернемся!» Но разве можно было в такой обстановке на это надеяться! Лукин отдал военврачу спасательный пояс и уговорил его плыть на восток. Близок Гогланд, возможно, удастся доплыть. Потом и он соорудил себе маленький плотик из двух прочных лючин — щитов с грузовых люков. Но так мало оставалось надежд на спасение и так страшно бессмысленно погибать, что капитан решил вернуться к судну. Уж если тонуть, так на нем.

Катер пришел, неведомо через какой срок, но пришел, когда Лукин подплывал к своему теплоходу. Лукин закричал: «Возьмите!» С катера ответили, что они идут за капитаном. Лукин крикнул, что он и есть тот капитан. Его подобрали. Он упросил командира разыскать военврача. Командир катера нашел и подобрал военврача. Тогда Лукин уговорил командира подойти к тонущему теплоходу. Опасно, но нужно, раз капитан остался в живых. Лейтенант, командир катера, это понял и подошел. Капитан забрался на тонущую «Вторую пятилетку», взял документы и судовую кассу, запасся даже одеждой для себя и военврача и едва успел перескочить на отходящий катер. Командир катера мужественно его ждал.

Сообщая эти подробности про других, я не забываю о главной цели очерка. Но мне кажется, что понять случившееся с Калитаевым можно, лишь почувствовав общую атмосферу тех дней и тех событий.

Итак, 31 августа капитан «Второй пятилетки» прибыл в Кронштадт. На него смотрели, как на воскресшего: было известно, что многих он спас, но сам остался на судне погибать. На берегу в таких случаях не размышляют, кто трус, кто герой. Считался погибшим, оказался живой. Судно потерял, но доставил судовую кассу и документы. Катерники подтверждают: уходил последним. Наградили Лукина потом, ему вручили орден Ленина.

А вот на «Казахстане» давно поставили крест. Кто бы мог подумать, что «Казахстан» еще жив. Он отстал в начале перехода девятого каравана, горел, дрейф гнал его на мины, под огонь орудий к захваченному врагом берегу. Кажется, все, конец. Но «Казахстан» дошел, единствен-

ный из всех больших транспортов дошел. Как та посудина Альфона Янсона, которая тащила из Риги взрывчатку и отстала от остальных на одиннадцать ходовых часов. В таких случаях никогда не разберешь, кто же уходил последним. И при уходе из Таллина, и при эвакуации Ханко, и позже, при уходе из Севастополя, я видел много таких «последних» —и не из хвастовства каждый капитан уверял, что именно он ушел последним; так оно, действительно, было, но за ним появлялся еще один последний. Может быть, потому и утвердилось надолго определение «пропавший без вести». В трагические дни выработалось правило: не видел сам, не говори, что человек погиб.

В шестнадцати милях от южного берега Финского залива, на полпути между Наргеном и Гогландом, есть небольшой скалистый островок Вайндло, иначе его называют Стеншер,— всего 512 метров длины и 149 метров ширины. По существу, каменная гряда в море. На ее возвышенной части стоял известный мореплавателям круглый чугунный маяк, окрашенный в белый цвет. Маяк был связан подводным кабелем с побережьем, но в это время побережье занял враг. На западе остались наши гарнизоны на Моонзундском архипелаге, на Осмуссааре и Гангуте. На востоке — самый ближний наш гарнизон на Гогланде. И все же в те дни на Вайндло еще жили матросы поста службы наблюдения и связи. Не было им приказа оставить пост. Вот к этому островку и приткнулся обгоревший, еще дымящийся «Казахстан». К тому времени из тридцати пяти членов экипажа в строю осталось семеро, и среди травмированных пассажиров то и дело возникали зловещие панические пересуды о трусости команды, о шлюпке, спущенной во время бомбежки, о якобы сбежавшем капитане. Но те, кто спасал судно, знали: капитан не сбежал. Может быть, он сброшен взрывной волной, может быть, убит, потонул, может быть, плывет в волнах, раненный,— сбежать он не мог.

Семеро из команды «Казахстана» спасали транспорт. Им помогли многие пассажиры. На транспорте шел писатель Александр Ильич Зонин, скончавшийся в шестьдесят втором году. Он не раз вспоминал этот поход, хотя потом на его долю выпало немало других тяжких переживаний, он укорял своих друзей, коллег за нежелание до конца разобраться и восстановить правду о «Казахстане».

Он просил, чтобы те, кто писали на основе односторонних рассказов, сами исправили и дополнили свои очерки. Он твердил: «Семеро не могли спасти транспорт». Он оставил письмо, переданное вместе с его архивом в Военно-морскую библиотеку, оно не предназначалось полностью для публикации, но в нем есть подробности, которые дополняют картину дрейфа «Казахстана» к Юминде и расширяют представление о его спасителях.

Неуправляемый корабль несло на минные поля и к занятому врагом берегу. Люди прыгали за борт, спускали шлюпки. «Я посмотрел вниз, за борт,— писал Зонин,— и увидел кронштадтский пожарный катер. Он пробовал заливать огонь, но напор его струй был невелик, вода рассеивалась брызгами у мостика. Еще можно было у самого борта обойти стенку ширившегося огня. Мы проскочили с адъютантом комдива Сутурина, но через несколько минут назад пути уже не было... У самого форштевня и в малярке, находившейся здесь под палубой, я оказался в организованном коллективе, вожаками которого были батальонный комиссар Гош, зенитчик майор Рыженко, капитан с забытой мною грузинской фамилией, хроменькая машинистка из штаба Сутурина, чуждая страха и поглощенная заботой о нас, мужчинах, таких беспомощных в сравнении с нею в устройстве жилья, питания и т. д. Здесь, благодаря зенитчикам и особенно благодаря хриплым командам Рыженко (голос майора, уставший после двухсуточного непрерывного отдавания команд в таллинских арьергардных боях, временами совсем отказывал, и он просил меня повторять его шепот громко), было меньше паники. Вера в защиту двигала людьми, когда они массовыми усилиями, используя самую мелкую посуду — ведра и каски, затушили пожар. Эта вера заставляла жечь в тех же касках ветошь, чтобы в очередные налеты немцев, когда уже израсходовали боезапас, маскировать корабль, брошенный и горящий. Вера эта не позволила зенитчикам воспользоваться уже связанными на воде в плот пустыми ящиками от боезапаса. Рыженко особенно беззвучно и особенно взволнованно заставил меня сказать погромче, что балтийцы не оставляют товарищей в беде. Он заставил меня даже — для повышения политико-морального состояния массы — пообещать, что к нам идет помощь, что о нас все знают по радио. А в действительности у малярки между налетами (мы насчитали

164 бомбы, сброшенные в округе нашего судна) мы безнадежно возились с испорченным радиопередатчиком».

Сообща с оставшимися в живых членами команды наиболее активные пассажиры решили, что главное — прекратить дрейф, стать на якорь. Один инженер, раненный, потребовал отнести его в котельную — там он указывал, что делать, чтобы восстановить ход. Машину отремонтировали, ведрами наполнили водой котел, разожгли топку, подняли пар и своим ходом кое-как дотянули до узкой скалистой гряды. На островок выгрузили женщин, детей, раненых. Зонин свидетельствует, что без решимости батальонного комиссара Гоша «пойти на катере на Гогланд и добиться там средств для эвакуации островитян не было бы и средств для того, чтобы стащить «Казахстан» с мели и отконвоировать в Кронштадт...» 31 августа над островком снизился наш самолет и сбросил вымпел с известием, что будет оказана помощь. Потом подошли тральщики и катера, сняли пассажиров и забрали матросов поста СНиС. По приказу командующего флотом матросы взорвали маяк.

А «Казахстан», облегченный, почти разгруженный, потихонечку продолжал двигаться на восток. Его вели семеро торговых моряков и их добровольные помощники из пассажиров. На разрушенном мостике находился штурман Леонид Загорулько — в то время старший в команде. В корме у ручного привода руля — боцман Гайнутдинов. На мостике, рядом со штурманом, дежурил красноармеец с полевым телефоном. Провод был протянут на корму. Там, на корме, другой красноармеец принимал команды штурмана и передавал их боцману. «Казахстан» двигался без приборов, без карт. Самыми совершенными приборами были эти два полевых телефона. Имена телефонистов неизвестны — они были пассажирами.

В Кронштадт «Казахстан» пришел обожженный, полуразрушенный, словно с того света. Правительство наградило семерых членов команды орденами Красного Знамени. Многие из тех, кто служил на флоте в сорок первом году, помнят приказ Верховного Главнокомандующего № 303 от 12 сентября 1941 года, зачитанный перед строем на всех кораблях и на всех судах. В приказе было сказано: «Благодаря самоотверженности и беззаветной преданности Родине оставшихся на судне второго помощника Загорулько Л. Н., старшего механика Фурса В. А.,

боцмана Гайнутдинова Х. К., машинистов Слепнера Л. А. и Шишкина А. П., кочегара Шумило А. П. и кока Монахова П. Н., невзирая на то что самолеты противника сбросили более ста бомб, ликвидирован был пожар и судно своим ходом приведено к месту постоянной стоянки».

Все так. Все правильно. Не хватало только имен пассажиров. Не было имен батальонного комиссара Гоша, майора Рыженко, капитана Горохова, полковника Потемкина, писателя Зонина, политрука Блохина, полкового комиссара Лазученкова, старшин Абрамова, Сазонова, краснофлотца Широкова, который руководил тушением пожара в машинном отделении, никто так и не знает даже фамилий тех красноармейцев-телефонистов и хроменькой машинистки из штаба комдива Сутурина — все они без имени или с именем поминаются в докладных записках, полученных членом Военного совета Балтийского флота Вербицким и переданных в архив Военно-морских сил.

Не было в рассказах, в публикациях, да и в самом приказе доброго имени капитана Вячеслава Семеновича Калитаева. Впрочем, в приказе он поминался, но словом недобрым и несправедливым, на основании поспешной и неправильной информации. Потому и необходим к этой истории постскриптум.

Этого капитана давно знали на наших морях. Он водил самые знаменитые в советском торговом флоте суда. Вырос под Новороссийском, на Черном море, в поселке Бета, и еще мальчишкой в гражданскую войну доставлял на парусниках в тыл белых оружие для партизан. В двадцать пятом году, окончив в Ростове-на-Дону мореходное училище, поступил в Балтийское пароходство. На теплоходе «Кооперация» капитан Калитаев доставлял из Испании в Советский Союз детей защитников Мадрида и Барселоны. На «Кузнецкстрое» пережил долгий плен в японском порту Хакодате. За судьбой «Кузнецкстроя» и его команды следили тогда читатели газет всего мира. Когда «Кузнецкстрой» вернулся на Родину, ТАСС передало подробный рассказ Калитаева о пережитом, и есть смысл хотя бы частично воспроизвести его. «В феврале,— рассказывал Калитаев,— выгрузившись в Петропавловске на Камчатке и приняв на борт пассажиров, мы снялись с якоря и взяли курс на Владивосток. Пять дней шли в благоприятных условиях. Вечером 17 февраля, когда про-

ходили Сангарский пролив, поднялся сильный шторм. Пароход шел без груза, и встречный циклон бросал судно из стороны в сторону. Корабль потерял управляемость. Во время шторма я дважды по радио информировал власти японского порта Хакодате, что буду вынужден зайти и отстаиваться. Шторм усиливался. Двигаться вперед стало совершенно невозможно. В час ночи 19 февраля «Кузнецкстрой» отдал якорь на внешнем рейде Хакодате. К обеду шторм утих, и я повел судно в порт, чтобы, приняв уголь, снова взять курс на Владивосток. В порту наш пароход был встречен, как обычно принимают иностранное судно. Оформляя документы и производя досмотр, портовые власти никаких претензий к нам не предъявили. Когда же все формальности были закончены, на борт «Кузнецкстроя» явился наряд полиции из 15 человек. Полицейские намеревались произвести на судне обыск. Я, как капитан судна, и присутствовавший в это время на пароходе советский консул заявили решительный протест. Утром 20 февраля мы начали готовиться к погрузке угля. Однако уголь нам не дали. Вскоре на судно явились усиленный наряд полиции, два прокурора, следователи, переводчик — всего около 50 человек. Среди них, как выяснилось впоследствии, были также агенты японской разведки». Вопреки протестам Калитаева и советского консула, полицейские устроили обыск, ни к чему придраться не смогли, но объявили судно арестованным, предложили консулу покинуть его и затеяли допросы пассажиров, команды и самого капитана. «Меньше всего японцы касались захода «Кузнецкстроя» в Хакодате,— рассказывал Калитаев,— больше всего их интересовали вооружение и морально-политическое состояние нашей Красной Армии. Я тут же с возмущением отверг подобные вопросы». Калитаев и его команда не поддались на угрозы, соблазны, провокации, их запугивали, врозь и вместе таскали на берег в разведку, ночами допрашивали и избивали, но ни в экипаже, ни среди пассажиров жандармы не нашли предателя. Тогда Калитаева, его матросов и часть пассажиров засадили на месяц в тюрьму, пытались судить, но процесса не получилось. 9 апреля «Кузнецкстрой» пришел наконец во Владивосток. Толпы людей встретили в порту отважных моряков. Я напоминаю о предвоенных событиях, за которыми мы, молодые люди тех лет, жадно следили, мы гордились мужеством и твер-

достью Вячеслава Калитаева и его команды, как гордились героями Халхин-Гола, Хасана, Испании и Севера.

В 1938 году Калитаев в Арктике принял «Казахстан», там его наградили орденом за сложный по тем временам рейс Северным морским путем из Мурманска к устью реки Яна.

Когда началась война с белофиннами, Балтике срочно понадобился мощный ледокол. Балтийскому флоту предстояло действовать в водах замерзающих заливов. «Ермак» в то время находился в Арктике. Калитаеву поручили сопровождать из Арктики в Балтику ледокол. «Казахстан» под командой Калитаева был назначен ведущим «Ермак» пароходом. Ему поставили трудную, чисто военную задачу: в случае нападения миноносца или подводных лодок отвлечь их от «Ермака» и удар принять на себя. Шхерами вдоль берегов Скандинавии «Казахстан» провел «Ермак» из Арктики в Балтику и в декабре привел в Либаву, где тогда, по соглашению с правительством буржуазной Латвии, получил право базирования наш флот. Там, в Либаве, на ледокол и лесовоз напали подводные лодки и самолеты. Через короткое время «Ермак» и «Казахстан» двинулись дальше в Финский залив.

18 января 1940 года «Казахстан» застрял во льдах возле острова Соммерс. «Ермак» окалывал вокруг лесовоза лед, когда в воздухе появились самолеты с красными звездами. Это были маннергеймовские самолеты, замаскированные под советские. В сорок втором я сам, находясь на канонерской лодке «Красное знамя» возле острова Лавенсаари, видел такие самолеты, похожие на наши «чайки»: они зашли со стороны солнца и внезапно обстреляли нас из пулеметов, но зенитчики сумели их отогнать. А тогда, в 16 часов 18 января 1940 года, как записано в вахтенном журнале «Ермака», самолеты с красными звездами сбросили на ледокол девять бомб: часть упала за кормой — в пяти и пятнадцати метрах от судна, другие — впереди по курсу «Ермака». Ледокол не был поврежден. Одновременно с бомбежкой по «Ермаку» и по «Казахстану» открыла огонь тяжелая батарея с финского острова Кильписаари. Выдержали и это. Не смог в тот день «Ермак» вызволить Калитаева.

«Казахстан» остался на зиму в северо-восточной бухточке Соммерса, занятого нашими разведчиками, в не-

посредственной близости от берегов противника. Его использовали как базу для действий разведывательных групп. Противник посылал для его уничтожения специальные отряды лыжников, направлял на санках самодвижущиеся торпеды, обстреливал дальнобойными, нападал с воздуха. Всю зиму вместе с командой защищали «Казахстан» флотские разведчики и флотская авиация.

В начале апреля «Ермак» провел к Гангуту караван транспортов, в том числе и «Вторую пятилетку». На обратном пути он подошел к Соммерсу, высвободил «Казахстан» и провел его в Ленинград. Вячеслав Калитаев и его команда занялись ремонтом лесовоза.

И вот в начале июля 1941 года Вячеслав Калитаев повел «Казахстан» из Ленинграда в Таллин.

На рассвете, еще до восхода солнца, на «Казахстан» напали два немецких торпедных катера. Они появились внезапно с правого борта, и сигнальщик сразу доложил о двух стремительно приближающихся торпедах. Судьбу пассажиров, экипажа, судна решала мгновенная и точная реакция капитана и четкое, быстрое исполнение его команд в машине и на руле. Вниз, в машинное отделение, людям, не видящим, что происходит наверху, с мостика сообщили о торпедной атаке. И тотчас последовали одна за другой команды капитана, основанные на молниеносном расчете курса корабля и курса угрожающих его борту торпед. Он скомандовал «Право на борт!» рулевому и врубил ручку телеграфа на «Самый полный вперед». Калитаев повернул транспорт на торпеды, на пересечение их курса. Это был единственный в таком положении шанс уклониться от удара. Атакующие тоже рассчитывают точно, стреляя так, чтобы атакуемый не успел сделать никакого маневра — ни застопорить ход, ни проскочить вперед, дав самый полный ход, ни отвернуть в сторону от пересечения с курсом торпед. Но Калитаев нашел неожиданный маневр, срезая путь навстречу торпедам. На грани времени он спас транспорт, проведя обе торпеды в каких-то сантиметрах от корпуса — под кормой.

Можно было предположить, что это счастливый лотерейный билет. Но час спустя на «Казахстан» напали шесть торпедных катеров. Двух отогнал шедший в охранении транспорта сторожевик. Четырем удалось выйти в атаку. Первая пара торпед снова шла в правый борт,

только одна, ближняя по курсу, опережала другую. Калитаев это использовал. Прежний маневр он повторил с небольшой поправкой: пропустил под кормой сначала первую, потом вторую торпеду. Две следующие торпеды противник бросил с таким интервалом, что в повторении маневра уже не было смысла: та, что дальше от курса транспорта, была пущена раньше и шла впереди, ближняя шла уступом, отставала от первой. Калитаев понял, что, идя навстречу полным ходом, он может уклониться от удара только одной торпеды, но неизбежно подставит себя под вторую. Тогда он скомандовал «Лево на борт!» и стал поворачивать к торпедам кормой, рассчитывая оказаться в коридоре между ними. Только огромный опыт, обостренное чутье и истинный морской талант позволили капитану точно поставить судно в узкий коридор. Сантиметры вправо, сантиметры влево — конец. Обе торпеды проскользнули вдоль бортов. «Казахстан» занял выгоднейшую позицию — кормой к атакующим. Но впереди мелководье и берег, а надо идти в Таллин. Ложась на курс, Калитаев вынужден был снова подставить под удар правый борт. Противник не упустил эту возможность. Атакуя в третий раз, а по общему счету в то утро — в четвертый, противник сузил коридор и почти не оставил интервала между двумя торпедами. Нет времени развернуть транспорт, нет надежды на прежние удачи, всё приготовлено на случай, если торпеда попадет в борт. Но мозг капитана работает молниеносно, диктует ему новый курс, положение по отношению к торпедам под определенным углом. Одна торпеда идет под полубак, другая — под корму. Ожидание — взрыва нет. Первый доклад сигнальщика: «Прошла под ледокольным срезом». Еще мгновенье — и снова доклад: «Исчезла под кормой, прошла под кормовым подзором». Обе прошли. Все восемь торпед — мимо. Конечно, для такого лотерейного билета надо было иметь великолепных рулевых и механиков, слаженный экипаж, исполняющий замысел и решение капитана с поразительной точностью. А сам капитан, когда я расспрашивал его в Таллине об этих атаках, ответил и мне и всем осаждавшим его корреспондентам похвалой судостроителям: «Прекрасно управляемое судно».

Теперь вернемся к августовскому переходу. Вячеслав Семенович с первой минуты этого перехода стоял на командном мостике. Когда «Казахстан» атаковала подвод-

ная лодка, это он, Калитаев, мастерски сманеврировал и снова избежал торпед.

Транспорт начали жестоко бомбить. Калитаев быстро поднялся на верхний мостик к сигнальщикам и к командиру размещенных на судне зенитных автоматов. Там в это время был самый опасный и самый важный для транспорта командный пункт.

Бомба убила командира-зенитчика, сигнальщиков, всех, кто был на верхнем мостике. Калитаева воздушной волной сбросило вниз. Он потерял сознание. «...Я почувствовал грохот и треск ломающегося потолка и рубки, больше ничего не помню,— рассказывал потом Калитаев следователю.— Пришел на какое-то время в себя, не знаю, через какой промежуток времени, я лежал на правой стороне мостика головой к трапу, ведущему на верхний мостик... Почувствовал, что вся голова и шея мокрые, провел рукой по затылку... вся в крови. Никаких ранений я после у себя не обнаружил... Пришел в сознание я уже в воде, мимо меня проходила корма судна, и я заметил, что винт еле-еле вращался... Кругом меня в воде было много народа, и метрах в 60—80 позади полузатопленная судовая шлюпка, вокруг которой барахтались человек 10—15. Я скинул с себя пиджак и ботинки и держался на воде, пояса у меня не было, да я его в рейсе и не надевал, чтобы не создавать панику... С полчаса я держался на воде. А затем вместе с матросом 2-го класса Ермаковым и третьим механиком Котовым был подобран на подводную лодку «Щ-322» — вместе с другими плавающими». Лодкой «Щ-322» в то время командовал капитан-лейтенант Ермилов. Калитаев не мог вернуться к своему судну. Лодка доставила его в Кронштадт. Доставила раньше, чем туда пришел «Казахстан».

Так сложились жизненные обстоятельства: капитан оказался на Большой земле раньше, чем его героический транспорт.

Время в Кронштадте было такое, когда каждый час люди воскресали из мертвых, сиротели или рождались вновь. Быстро распространялись и слава и худая молва. Кто-то постарался изобразить дело так, будто капитан бросил свой транспорт в беде.

Каждый случай гибели корабля или судна должен быть расследован, особенно если капитан или командир остались в живых. В этом деле возникла путаница, но

никто, кажется, не сомневался в безупречности такого человека, как Калитаев. Даже если обстоятельства складывались против него. Обстоятельство, впрочем, единственное: прибыл в порт раньше, чем туда прибыло судно. В характеристике, составленной уже после случившегося — 11 сентября 1941 года и подписанной начальником пароходства Н. А. Хабаловым и начальником политотдела З. А. Россинским, о Калитаеве говорилось, что он волевой, дисциплинированный и мужественный человек, сохранивший судно в опасных условиях зимовки во льдах на линии фронта. Две судебно-медицинские экспертные комиссии признали капитана «невменяемым» в момент случившегося. Все семеро выживших членов экипажа без оговорок защищали капитана — это и теперь подтверждено архивными данными. Из семерых только четверо дожили до победы, они плавали на других судах и на других морях. Трое погибли на фронте, защищая Ленинград.

Есть в моем дневнике запись про августовскую ночь сорок третьего года в Кронштадте, проведенную в комнате начальника клуба артиллерийского дивизиона. Начальник клуба Левченко служил когда-то на миноносце «Карл Маркс», потом — в Таллине, он был пассажиром «Казахстана». Мне безумно хотелось спать, но всю ночь я слушал его рассказ. Он плакал, вспоминая о капитане, которого засудили зря.

Следствие закончилось благоприятно для Калитаева. Эксперты-медики подкрепили выводы следователя. Но где-то шел, продвигался из инстанции в инстанцию обширный доклад о героическом «Казахстане», основанный и на фактах, и на слухах, и на эмоциях, не выверенный, не очищенный от случайных домыслов, от страшной лжи. Когда пришел приказ № 303, следствие повернуло на предопределенный путь. Калитаев был расстрелян. А корреспондентам, писавшим о «Казахстане», сказано было коротко: «Это имя надо вычеркнуть».

Требуется еще одно добавление. Дело Калитаева в канун XXII съезда было затребовано из архивов Подольска в трибунал Ленинградского военного округа и пересмотрено. 27 января 1962 года жена Калитаева Вера Николаевна Тютчева, артистка театра оперы и балета имени Кирова, получила извещение, подписанное председателем трибунала полковником юстиции И. Воробьевым:

«Приговор военного трибунала Ленинградского военно-морского гарнизона от 29 сентября 1941 года в отношении Калитаева В. С. отменен и дело производством прекращено за отсутствием состава преступления. Гр-н Калитаев В. С. реабилитирован посмертно».

Как сообщить об этом дочери, она была маленькой, когда расстреляли отца, и мать не сказала ей, где и как отец погиб. Мать бережно сохраняла все, что осталось от отца — его расчетные книжки, документы о его предвоенных наградах, короткие записки из Антверпена и из моря Лаптевых, любительские снимки команд, с которыми он плавал, и пароходов, которые он водил, пейзажи южных и арктических морей, таинственные открытки с видами штормов в Бискайе и вытравленными в те годы цензурой текстами на обороте — это была Испания, секрет, романтика поколения, принявшего первый бой с фашизмом. В годы блокады Вера Николаевна жила в Ташкенте, грузила картошку, работала кем придется, прожила тяжкое время, растя́ маленькую Ирину. После войны она вернулась в Ленинград и снова танцевала на сцене. Она вырастила умную, одаренную дочь, художницу по керамике, цельностью характера и устремленностью напоминающую отца. И в театре, и в большой коммунальной квартире на проспекте Кирова, где Вера Николаевна много лет живет с дочерью, знали о горькой судьбе ее мужа. Двадцать семей в этой квартире соседями. Но во всех двадцати за эти десятилетия не нашлось ни одного непорядочного человека, который убил бы дочь Вячеслава Калитаева «правдой» об отце. Дочь росла, считая по праву отца мужественным моряком, погибшим на войне. Он и погиб героем на войне, что подтвердило время.

ЗАПРЕТНАЯ ТЕМА

1

То, о чем на второй день войны меня предупредил полковой комиссар Добролюбов, становилось моей бедой. Тайна — все, и чем больше узнаешь и любишь флот, тем сильнее проникает в кровь самоцензура: об этом нельзя, о том нельзя, все оставляй в памяти «на когда-нибудь». Наверно, потому мы, корреспонденты, охотнее в то время писали о морской пехоте, о флотской авиации, об «энских» береговых батареях и реже, скупее, с максимальным самоограничением — о людях наивысшего мужества — о подводниках.

В моей балтийской тетради долгие годы сохранялись материалы о двух подводных лодках: сообщение о гибели «С-11», отданное мне Добролюбовым в сорок первом году «на потом», и пакет с фотографиями экипажа «С-7».

Впервые про «С-7» я услышал от Василия Гусева. Мне назвали его в Пубалте как интересного политработника, и я разыскал его в гавани. Он безоблачно взвесил меня своими северными, враскос, глазами, неторопливо сказал, что тоже был в прошлом журналистом, удивился, что из городской газеты я попал на флот, и спросил: «Запас или призыв?» Я не стал уточнять, сказал только, что служу в Пубалте, где и произошла смена моих штатских позывных на военные, после чего предъявил Гусеву свои «верительные грамоты» — так я стыдливо называл тогда неприятный процесс предъявления документов. Гусев, человек с юмором, документы быстро просмотрел, потом заговорил со мной на всякие житейские и, главным образом, московские темы. У нас нашлись общие

знакомые и даже нечто общее в повороте жизни: один и тот же человек свел нас с флотом. Я говорю о Леониде Юлиановиче Белахове, который дал мне билет на рейс в Таллин и Ханко; раньше он работал начальником политуправления Севморпути, Гусева встретил в Якутии на Пеледуйском судостроительном заводе, перетянул оттуда в Москву на комсомольскую работу, а уж из Москвы Гусев попал на Балтфлот...

Позже я многое узнал о Василии Семеновиче Гусеве. О нем мне говорил мичман Винокуров, парторг лодки: «Комиссар у нас — писатель, Пушкина, Маяковского и даже Байрона знает наизусть, заразил этим и старшину трюмных Скачко». О нем в своем дневнике упоминал не раз балтийский штурман Михаил Хрусталев, упоминал то с благодарностью, то с удивлением, то с восторгом; одна из записей, помеченная 30 октября сорок первого года, когда «С-7» открыла артиллерийский огонь по занятому врагом берегу в Нарвском заливе, гласит: «Волна еще больше, чем во время первой стрельбы. Мороз, палуба обледенела. Командир приказал посыпать ее солью. Подаваемые снизу длинные унитарные патроны того и гляди сорвутся за борт. Комиссар Гусев не выдерживает, ложится животом, придерживает их всем телом. Временами его с головой накрывает волна». Все это я узнал позже. А в ту первую встречу я услышал от Гусева лишь рассказ о начале войны. Этот рассказ о старых и новых позывных я записал. Как записал, так и передаю.

В тот предутренний час, когда германские катерники в поисках первой жертвы крались в глубь наших вод, в том же районе моря «С-7» закончила длительную дозорную службу. Ею командовал Лисин. На первомайском празднике командующий флотом назвал его одним из лучших моряков Балтики. Лисин был «испанцем». Это значило, что под другим именем он воевал против фашистов в республиканской Испании. Теперь я знаю это имя: Дон Серхио Леон.

Белая ночь еще радовала наших моряков, не знавших в час, когда лодка всплыла для проветривания отсеков и зарядки аккумуляторов, что война уже пришла и к нам. Лодка под дизелями пошла к Ирбенскому проливу. Ее базой был Усть-Двинск.

Василий Гусев вышел на мостик. Там собралось избранное корабельное общество: помимо вахтенных и зам-

полита механик лодки и старпом. Человек резкий, старпом слыл к тому же заядлым спорщиком, из тех, кто в споре признает заранее правой лишь одну сторону. По званию он был старший лейтенант, но на лодке его боялись все — так оно и должно быть, на то старпом. В то утро старпом затеял спор: какие в мире коровы самые продуктивные. Он объявил, что холмогорские, и ждал возражений. Гусев не вмешивался. Инженер-механик робко заметил, что по данным литературы, лучшие коровы — датские. Старпом рассвирепел и гаркнул:



Василий Гусев. Комиссар «С-7».
Перед последним походом.
Сентябрь 1942 г.

— Доктора наверх!

На мостик, как из катапульты, выскочил молоденький фельдшер, готовый к любому вопросу, только не к этому — про коров. Он ответил старпому:

— Не могу знать!

— Какой же вы врач, если ботаники не знаете,— старпом отвернулся от фельдшера с отвращением.

— Осмелюсь доложить, товарищ старший лейтенант, что рогатый скот к ботанике...

— Не возражать! Вниз!

Доктор ссыпался в центральный пост, а мрачный старпом уставился в белую ночь — там, далеко позади, были берега той самой Дании, из-за которой и разгорелся весь сыр-бор.

На мостик, спрашивая разрешения, с опаской прошмыгивали мимо старпома матросы — кто курнуть, кто просто подышать.

Позади блеснуло пламя. Два взрыва, о которых никто не мог сказать — в море они случились или на берегу.

Возможно, это были взрывы торпед, поразивших «Гайсму», первую жертву войны. Скорее всего, так. Но ничего определенного Гусев об этом сказать не мог. Ему казалось, что взрывы произошли на берегу. В приграничном районе возможна и диверсия. В те дни фашисты высаживали на прибалтийский берет немало диверсионных групп. О войне Гусев в ту ночь не подумал, хотя накануне он долго разговаривал с командиром о фашизме, об уроках боев в Испании и о наглости германского флота, пославшего на Балтику линкор «Бисмарк» — экипаж лодки «С-7» видел этот линкор, когда он прошел на север.

Гусев спустился в каюту к командиру. Лисин не спал. Гусев рассказал про взрывы позади, потом заговорили о делах, которые предстоят в базе, на берегу: кого уволить в краткосрочный отпуск, кого заменить в экипаже. Владимир Иванович Нахимчук, мичман, просится на Украину — там у него жена с малым ребенком. Командир сказал: «Надо бы поощрить и Василия Субботина, отличный артиллерист». Гусев рассмеялся: дело не только в том, что Субботин хорошо служит, он спортсмен, а командир к спорту неравнодушен, сам играет в футбольной команде лодки...

Когда пришла шифровка командира дивизиона Трипольского о войне, командир снова вызвал Гусева. Комдив приказал лодке перейти на дозор военного времени. Нужно обо всем сообщить команде. Гусев сказал: не просто сообщить, а провести митинг. Командир вызвал старпома и приказал собрать всех свободных от вахты в первый отсек.

Старпом удивился: время для собрания неурочное. И вообще, что за собрания в походе. Но по лицу командира и замполита старпом почувствовал: произошло нечто чрезвычайное.

Больше таких митингов на лодке не было никогда. Заговорили на митинге даже краснофлотцы, о которых думали, что они трех слов не свяжут. Матрос Михаил Гавриков свою речь начал так: «Мы, беспартийные...» С тех пор его так и окрестили: «Гавриков — глава беспартийных».

Лодка погрузилась, и Гусев пошел по отсекам. С тех пор это стало для него правилом — под водой навещать за отсеком отсек, связывая между собой разобщенных переборками людей. Команда к этому настолько привыкла,

что, когда Гусев однажды не дошел до седьмого отсека, матросы Георгий Бурый, Николай Сорокин и Григорий Лукаш упрекнули его на другой день: ждали-ждали, спать не ложились, а он не пришел.

В отсеках в то утро все, конечно, говорили о войне. Старшина радистов Иосиф Курочкин и его подчиненный Кожушков спорили на стратегические темы. Курочкин твердил, что лодки скоро выйдут к Кильскому каналу, только жаль, что невозможно пройти в Берлин. Кожушков был более спокоен и не спешил с прогнозами. Оба они сознавали свое преимущество в военных прогнозах перед другими: как-никак, а именно этим двум парням довелось принять первую радиограмму о войне. Когда в отсек к радистам вошел комиссар, Кожушков сказал: «Отвоюемся, разобьем их — превратим лодку в подводный ресторан. Потому как война эта должна быть последней. После нее — мировая революция». Кожушков и Курочкин погибли на суше: Кожушков в лыжном батальоне под Ленинградом, а Курочкин на улице Кронштадта, от осколка снаряда.

Лодка шла под водой к точке рандеву с кораблем, сменяющим ее в первом дозоре военного времени. Когда пришли к этой точке, командир приказал всплыть. Наверх выскочил рулевой-горизонтальщик Александр Оленин, он же один из лучших сигнальщиков. Оленин доложил, что видит силуэт какой-то лодки. Кажется, не нашей, чужой. Она сразу погрузилась. Немедленно погрузилась и «С-7». Значит, смены пока не будет. Надо ждать в море.

А на лодке заболел матрос, из новичков. У него поднялась температура. Молодой фельдшер ничем не мог ему помочь.

В 0 часов 36 минут 24 июня, когда лодка вновь всплыла, ее сигнальщики заметили в море два катера. Теперь, много лет спустя, Лисин убежден, что это были немецкие катера, потопившие неисправную лодку Костромичева — ту либавскую лодку, над могилой которой все годы экипажи других проходящих подводных кораблей стояли молча и смирно. Но тогда Лисин не знал, что за катера болтаются в море. Он приказал запросить опознавательные. С катеров ответили правильно, коротким сигналом «люди». Командир обрадовался: есть возможность отправить на берег больного. На катера передали семафором просьбу командира лодки подойти к борту. «Ясно ви-

жу», — ответили с катеров, пошли на сближение и через три минуты, выйдя на траверз лодки, дали красную ракету и выстрелили двумя торпедами. Все произошло мгновенно, в сумрачное время ночи. Гусев закричал: «Командир, торпеды!..» Лисин скомандовал: «Право на борт», лодка с полного хода развернулась, и торпеды проскочили мимо.

С катеров открыли по лодке пулеметный и артиллерийский огонь. Трассирующие пролетали так близко, что Гусев лицом ощущал жар и даже почувствовал запах подпаленных волос.

Лодка погружалась, но пули и снаряды уже изрешетили все ее надстройки, угодили в корпус и под основание носового орудия.

В лодке ждали бомбежки — еще никто не знал, как это происходит не на учениях, а на войне. Когда стрелка глубиномера показала сорок метров, лодку настиг первый удар.

Сотрясение, забортная вода в трюмах, пожар в шестом отсеке — горела главная станция электромоторов. Электромоторы дают лодке подводный ход, это — ее жизнь. Старшина 1-й статьи Сергей Самонов бросил на огонь несколько бушлатов, унял огонь, но не погасил, сам на него упал — через три минуты он доложил, что пожар ликвидирован. Его вытащили из отсека обожженным.

Откачивать воду не решались — боялись включать помпу. Выключили все приборы, звуки которых могут дойти до акустических аппаратов наверху. Лодку слушают, она должна замереть. Матросы расстелили ватники и ходили в одних носках.

На шестьдесят третьем метре лодка стукнулась о дно моря. Рядом разорвалась бомба, погас свет. Штурман Хрусталев отмечал каждый разрыв бомбы крестиком. Акустик Лямин доложил, что катера противника уходят. Теперь надо ждать. Сколько раз приходилось потом замирать на дне моря, задыхаться без кислорода и ждать. Это было начало.

Гусев прошел в отсек, в котором лежал больной краснофлотец. Тот плакал. Его утешал Григорий Лукаш. Больной поднялся с койки и спросил старшего политрука: «Ведь мы еще не погибли, правда?» Гусев сказал: «И не собираемся. Утром всплывем и пойдем в базу».

Он сам в это не очень верил, но не мог иначе говорить

с больным. И он и командир знали, что всплыть будет трудно. Корпус лодки поврежден, может случиться, что воздух, выталкивающий балласт, уйдет в пробоины труб вентиляции цистерн.

В четыре утра решили всплыть. Пустили помпу, осушили трюмы. Приготовили оружие и орудийные расчеты, чтобы в случае надобности сразу открыть огонь. На двух штоках — флаги наготове: на одном — флажные позывные, это для наших, если наверху наши катера; на другом — бело-синий Военно-морской флаг, это для врагов, если наверху засада и придется принять бой.

Лодка всплыла не сразу. При первой попытке продуть среднюю цистерну чуть приподнялась ее корма, нос остался на дне. Люди упирались ногами не в палубу, а в переборки между отсеками. Командир побледнел — подтверждалось худшее: воздух уходит в пробоины. Решились на аварийный выход, крайность: рискнуть и всем запасом сжатого воздуха продуть из цистерн балласт.

Командир, выскочив на мостик, увидел непривычную картину: корма задрана, нос притоплен. Море пустынно — ни засады, ни своих катеров. Лодка повернула в ближайший порт — в Виндаву, она шла с сильным дифферентом на нос. Экипаж приободрился. Кто-то крикнул Фиме Ямпольскому, радисту весом в девяносто килограммов: «Фима, живо в корму — лодку дифферентовать».

С поста СНиС на виндавском маяке увидели лодку и запросили опознавательные. Сигнальщики ответили. Но маяк войти в порт не разрешил. Лодка повторила позывные, настойчиво прося ее впустить. Пост СНиС молчал.

Василий Субботин заметил, что на берегу все в черном. Июнь, форма одежды летняя. На лодке у всех на бескозырках и фуражках накрахмаленные чехлы. А на берегу такое нарушение. Вот что значат двое суток войны. Может быть, и позывные изменились?..

С берега за лодкой следили. Командир приказал снять с фуражек и бескозырок чехлы — на берегу это заметили. Вскоре пост СНиС поднял на мачте долгожданное «добро».

— Писать о нас пока нечего, — закончив рассказ, добавил Гусев, — ни подвигов, ни побед. Только не счи-

тайте это рисовкой и не пишите: «замполит был скромен». Немцы объявили о нашей смерти. Военком связи Соколов в Виндаве показывал мне радиоперехват фашистской сводки. Их министерство пропаганды назвало даже квадрат, где нас потопили глубинными бомбами германские торпедные катера. Вот если вам разрешат о нас написать, возможно, есть смысл показать Геббельсу шиш: мы живы...

...Мы встретились с Гусевым год спустя в Кронштадте, когда «С-7» уже стала прославленной лодкой. Она возвращалась теперь после многодневного похода не только с большим счетом, но даже с пленными на борту — редкий для подводников случай. Лодку ждали, но я к ее возвращению в Кронштадт запоздал. Мне пришлось в те дни уйти на остров Лавенсаари, там катерники рассказывали, как они едва не разбомбили свою же эску: бомбы бросали в чужую лодку, а в это время неожиданно подвернулся Лисин, он пробыл в плавании тридцать восемь дней — почти рекордный для того года срок.

Когда я пришел с острова в Кронштадт, Лисин уже уехал в краткосрочный отпуск к семье.

— Замаливать грехи отправился, — пошутил Гусев. — У Сергея Прокофьевича в записной книжке появилось во время похода женское имя: некая Гертруда Хольштейн, эдак тысяч на семь тонн...

«Гертруда» эта, правда, еще больше, чем командира, порадовала артиллериста Гришу Новикова, перешедшего в экипаж этой лодки осенью сорок первого года. «Гертруду» потопили 9 июля — для Новикова то была памятная дата. Ровно год назад в этот день в бухте Кихелькона лодку Василия Федоровича Кульбакина, на которой служил Новиков, застиг фашистский самолет. Лодка на мелководье ждала встречи с нашими катерами. Самолет налетел внезапно, сбросил бомбы, обстрелял ее и перебил весь орудийный расчет. Кульбакина тогда ранило в лицо, грудь и в обе ноги, но он, раненный, довел лодку до глубин, где она уже могла погрузиться, при погружении последним упал в люк, задраил над собой крышку и, пока не миновала опасность, продолжал через замполита командовать кораблем. Вот тогда-то, в бухте Кихелькона, и был ранен Григорий Новиков. «Человек с лодки Кульбакина» — это было хорошей рекомендацией для артиллериста, назначенного после госпиталя в другой экипаж.

На флоте знали не только историю Кульбакина, получившего в сорок первом году орден Красного Знамени, но и подробности жизни Новикова — врачи не смогли извлечь из его ран всех осколков, но он настоял, чтобы его выписали и снова отправили в плавание. Годовщину своего ранения Новиков отметил потоплением «Гертруды»...

А потом пошли новости для моего корреспондентского блокнота. За год накопилась куча новостей.

«Глава беспартийных» Гавриков принят в партию, принят по боевой характеристике, но прозвище за ним осталось. Есть материал для «Крокодила» — матросы требовали, чтобы я написал фельетон про усы. Дело в том, что матрос Сорокин задумал в походе отрастить усы, но команде они не понравились: слишком белесые и жесткие, как ежик для примуса. Поручили дизелисту Стрельцову выиграть в шашки у Сорокина усы и сбрить. Стрельцов поручение выполнил, но слишком поспешно — команда осудила его за отсутствие выдумки. Сорокин снова вырастил усы. Тогда матрос Назин, усыпив его бдительность, выиграл у Сорокина усы уже не в шашки, а на спор. Один сорокинский ус он сбрил, а за вторым на потеху всей команде стал ухаживать. Подойдет, подкрутит, погладит и скажет: «Мой ус, мой. Расти, милый, человечеству на радость...» Сорокин признался, что к концу похода он очень страдал. Лодку встретит командующий и на пирсе под оркестр экипажу будут вручать поросят. А у Сорокина — один проклятый ус. Все бреются, приводят себя в порядок, а Сорокин должен терпеть. Не мог же он кланяться Назину в ноги и просить пощады. Такую выдержку матросы умеют ценить. В последнюю минуту сообща постановили: сбрить Сорокину злополучный ус.

Василий Субботин, командир кормового орудия, пожелал сфотографироваться с наводчиком Николаем Кулочкиным. Кулочкин поворачивался к аппарату только левой щекой. Правая — распухла и посинела, об этом знал теперь даже командующий флотом — Кулочкин был убежден, что адмирал заметил в строю матроса с огромным синяком. А синяк-то был получен в бою, когда на лодке не оставалось ни одной торпеды и повстречавшийся транспорт пришлось топить в надводном положении артиллерийским огнем. Это дело командир поручил сорокапятке Субботина. Выпустили триста восемьдесят сна-

рядов, даже масло закипело в накатниках, всем в расчете брызгами обожгло лицо. Откат у сорокапятки не сильный, но триста восемьдесят ударов оставили все же под глазом у наводчика заметный след.

Вот с этого-то транспорта и взяли пленных. Командир приметил, что в одной из шлюпок, спущенных с транспорта, сидят только двое: один, здоровенный, гребет, а другой держит на плечиках два костюма и начищенные новые штиблеты. Они доставили на лодку карты минных



Василий Субботин и Николай Кулочкин. Сентябрь 1942 г.

полей — ради этих карт их стоило взять в плен. Один утверждал, что прошел по всем морям, но ни разу за время войны не попадал в беду; он долго не верил, что лодка советская. Он думал, что лодка английская, а команда на ней русская: известно же, что Финский залив перегорожен сетями и минами так, что пескарь не проскользнет. Он нервничал, хватался за голову, когда по корпусу скрежетали минрепы и лодка с пленными на борту проползала через Финский залив. Он старался дать штурману и командиру полезный совет и был готов провести лодку в Хельсинки.

Второй пленный был кочегар в замасленной робе и

деревянных сандалиях, он выскочил, не успев переодеться. Его поместили к Кулочкину в отсек, и Гусев на всякий случай предупредил: «Грубить не надо». Кулочкин и не собирался срывать на кочегаре злость, тем более что тот оказался политически почти сознательным: он рассказывал, как плохо воевать без хлеба. Кулочкин выслушал это молча: он еще не забыл голодную ленинградскую зиму. Спросив у комиссара разрешения, он по справедливости распорядился имуществом — отдал кочегару запасные штиблеты и один костюм.

Мы засели с комиссаром за статью для нашей газеты. Гусев с усмешкой сказал:

— Все-таки старшины — более оперативный народ. Есть такой старшина Дудченко, фоторепортер газеты «Красный Балтийский флот». Не понимаю, откуда он узнал, что мне удалось сфотографировать подожженный нами транспорт. Прибежал, покрутился и предложил мне эту пленку проявить. Сами понимаете, это же большое удобство, когда ты снимаешь, а со всякими ванночками и растворами возится другой.

Это было изменой, но я понимал, что виноват сам: надо вовремя встречать лодку, которая возвращается с такими победами.

Пришел мичман Винокуров, очень серьезный человек. У Александра Федоровича Винокурова была одна слабость: страсть к статистике. Винокуров заставил меня записать, что под водой комиссар провел двадцать две беседы и сорок семь читок. Трюмный Скачко прочел наизусть вслух поэму Маяковского «Во весь голос», а один из командиров одолел двенадцать томов Мопассана, подобранных в разрушенном снарядами ленинградском жилом доме. Так что не скажешь, что Винокуров был скучный человек: в статистику он смело включал и Мопассана. Правда, он заметил, что, если корреспондент будет писать только про усы Сорокина и про байки Кулочкина, у читателя возникнет искаженное представление об экипаже. Чтобы такого перекоса в газете не случилось, мичман Винокуров предложил мне полистать одну канцелярскую книгу. Я раскрыл ее и расстроился: книга протоколов. Но, полистав, наткнулся на запись, которая побудила меня написать рассказ «На грунте».

2

Лодку преследовали. Она потопила четыре транспорта в Балтийском море, и теперь за ней гонялись немецкие сторожевики и миноносец.

Миноносец привязался в момент последней атаки, когда лодка встретила большой караван.

Это произошло рано утром. Лодка только что кончила зарядку, и каждый досыта накурился и надышался свежим воздухом белой ночи.

Караван обнаружили издалека. Его сопровождали сторожевики, миноносцы и два звена самолетов. На флагштоках транспортов болтались финские и немецкие флаги. Транспорты сидели в воде «по уши», — видимо, они везли на фронт технику. Командир сказал точнее: руда. Руда для танков. В лодке подумали: командира навела на караван разведка. Люди в лодке ждали атаки.

У четвертого аппарата, поджав губы, стоял высокий, черный, сильного сложения матрос — торпедист Алексей Лебедев. На аппарате — звездочка, в память победы, одержанной в немецкой гавани. Там лодка начала счет этого похода — в надводном положении она выпустила торпеду, удачно скрылась, потом в открытом море потопила еще два корабля, долго уходила от погони и, наконец, нашла этот караван.

В аппарате лежала огромная торпеда, весом много десятков пудов и длиною несколько метров, матросы прозвали ее «Марьей Ивановной».

Еще в Кронштадте, когда торпеду принимали в лодку, Андрей Лимарь, тоже торпедист, нарочитым басом произнес:

— Коли уж эта дама к кому приложится — не останется и мокрого места.

Лебедев ничего ему не ответил — он угрюмо взглянул на толстуху и отвернулся: еще неизвестно, кому она достанется.

А досталась она ему в отсек. Толстуху уложили на стеллаж рядом с койкой Лебедева, и Лимарь уверял, будто слышит ее тяжкие вздохи.

— Акустика сбиваете с толку, — донимал Лимарь приятеля. — Поперек горла ему ваши с Маруськой любезности...

— Поперек уха, — поправил матрос Перов, новичок, и тут же под взглядом Лебедева замолчал.

Тяжелый взгляд — слова нельзя вставить. Под этим взглядом тошно становилось новичку. Вздумал новичок муху поймать — жужжала противно в отсеке, надоела. Лебедев цыкнул — нельзя. Муху, говорит, надо беречь — она с Большой земли.

А Лебедеву не до шуточек — тем более с мальчишкой, который приседает при каждом разрыве глубинной бомбы. Ему хватало забот о толстухе. Другие торпеды давно ушли, а эту командир держал про запас, берег ее для особой цели. «Марья Ивановна» весь поход пролежала на стеллаже рядом с койкой, Лебедев ухаживал за ней и тосковал, что нет ей применения.

Сегодня, когда ее погрузили наконец в аппарат, Лебедев суриком на корпусе торпеды начертал: «8000». Это было напутствием — восемь тысяч тонн, не меньше.

— Что горюешь, Алексей? — спросил его Лимарь. — С Маруськой жалко расставаться?

— Боюсь, попадется ей кум не по чину, — лениво ответил Лебедев.

— Не беспокойся, командир позаботится, подберет ей добычу побольше, чем ты заказал.

Другие на торпедах писали: «За Родину!», «За Украину!». Лебедев, кроме цифр, не писал ничего. Но каждый раз, когда торпеда выскакивала из аппарата, его губы с болью произносили что-то короткое.

Лимарь догадывался, что Лебедев произносит имя. Он знал Лебедева второй год. Пришел на лодку веселый, легкий человек, даже плясал, хоть в Ленинграде у него была семья и считался он человеком солидным. А с зимы смолк. В блокадную зиму в Ленинграде умерла с голоду его двухлетняя дочь. Лимарь знал, что ее звали Галя.

Лодка готовилась к атаке. Командир выбирал цель. В центре каравана полз длинный и пузатый лайнер — тысяч на двенадцать тонн. Изредка поднимая перископ, лодка направилась к нему.

Командир сказал:

— Прямо на нас миноносец.

Одновременно об этом доложил акустик.

— Стань рядом, Вася, — тихо произнес командир.

Комиссар подошел, стал позади.

— Волнуешься? — командир ощутил его дыхание.
— Переживаю, — подтвердил комиссар. — Танки ведь.
— Да. Ленинград.
Акустик твердил:
— Прямо за кормой шум винтов миноносца... Прямо за кормой шум винтов миноносца...
Лодка спешила к цели. Следом — миноносец. Но впереди руда. Танки на Ленинградский фронт. Нет, отвернуть от такой цели нельзя.
Командир подошел близко, чтобы бить наверняка, и в нужное мгновение нажал кнопку автомата.
Лимарь в отсеке сказал:
— Пошла Маруська...
Новичок Перов раскрыл рот — так ждут орудийного залпа, чтобы не оглушило.
Лебедев, как всегда, молчал. Он мысленно отсчитывал секунды.
Вслед побежала вторая торпеда.
Кто-то в соседнем отсеке отбивал ногой такт — точно стук метронома в Ленинграде в часы артиллерийских тревог.
На сороковом такте — взрыв. Четвертый транспорт!
Лодка уже проваливалась вглубь. И тотчас — удар за ударом — посыпались глубинные бомбы. Лодку настиг миноносец.
Она упала на дно моря, затаилась, тихо прошла в сторону, легла на грунт, снова проползла и снова замерла. Ее встряхивало. Так началось преследование.
Лодку преследовали уже третьи сутки. Иногда шум винтов миноносца замирал. Лодка ждала ночи, чтобы всплыть для зарядки. Ей удавалось глотнуть струю воздуха, и снова появлялись преследователи. Белая ночь — проклятие. Лодка опять зарывалась вглубь. Становилось душно. Люди дышали тяжко и мучительно. Кольцом рвались бомбы. Гас свет. Лодка падала вниз и ускользала от гибели.
Военком шел из отсека в отсек. Он был человеком молодым, чуть постарше матросов, но умел говорить спокойно. А спокойствие в такую пору звучало лаской. Люди встречали его с надеждой, как ветерок с воли. Ждали — вот-вот скажет: «Открылся наш берег». Эти три слова венчали каждый поход — дошли, победа, дома!

Военком зачастил к торпедистам: тут — новичок, а новичку первый поход — му́ка.

Уткнув лицо в подушку, на койке лежал Перов. Рядом сидел Андрей Лимарь, уговаривал. Лебедев, как всегда, мрачный, работал у торпедного аппарата, что-то красил кистью.

Входя в отсек, комиссар услышал голос Лимаря:

— Значит: прощай, мама, прощай, тятя, не вернется к вам дитятя? Так, что ли, Перов?.. Ну, хорошо, допустим, что мы погибли. По первому разу тебе кажется, что ты уже в могиле. А вот я, Андрей Лимарь, в сотый раз на грунте. Так что же мне прикажешь, сто раз помирать? Нет, уж если умереть, так один раз. Ты повернись ко мне, пощупай — живой я?.. На все сто. А вот ты — наполовину мертвяк. Да я с тобой не шучу, дурья башка. Трусу потому и тяжело, что он помирает сто раз и на том его страхи не кончаются...

Комиссар шагнул в отсек, все вскочили.

— Ну как, товарищ Лебедев, страшновато? — спросил он, не обращая внимания на Перова и Лимаря.

Лебедев удивился. Он оглянулся на бледного Перова, поймал усмешку Лимаря и сообразил:

— В первый раз было так страшно, что волосы встали шваброй. А теперь свыкся. Смерти не боюсь, товарищ комиссар.

— Смерти? — комиссар поморщился. — Мы и не собираемся умирать. Мы еще поживем, — хмуря брови, он отвернулся от Лебедева и смотрел теперь в упор на Перова, будто только с Перовым и разговаривал. — Скверная штука — страх. Особенно для нас, подводников. Нам народ нужен веселый, твердый. Вот как Андрей. А характер свой нам надо сдерживать, как коня в строю, чтобы и соседу помехой не был...

Лимарю стало не по себе — приятеля жалко.

— Почитали бы вы нам чего-нибудь, товарищ комиссар, — попросил он невпопад, впрочем зная, что комиссар любит читать вслух стихи, и потому надеясь на успех. — Ну вот, как тогда про Наполеона: «Так низко пасть и быть в живых...»

Комиссар хотел что-то отрезать этому хитрюге, но раздумал и сказал:

— Сегодня я почитаю Лермонтова.

Пришли матросы из соседнего отсека. Комиссар сел и стал читать:

Гарун бежал быстрее лани,
Быстрей, чем заяц от орла;
Бежал он в страхе с поля брани,
Где кровь черкесская текла...

Он читал по памяти, тихо, его карие глаза стали густыми. Где-нибудь в светлом зале его голос, вероятно, загремел бы, зазвенел, молодой голос, но в лодке он звучал глухо, как шепот, и матросы слушали его, сдерживая голодное дыхание.

— «Ты раб и трус — и мне не сын!» — продолжал комиссар, и новичок Перов неожиданно сказал:

— Труса не только мать — земля не примет.

— Да, — согласился комиссар, прервав чтение. — Трус умирает за свою маленькую жизнь раз сто, а храбрый живет и побеждает... Это тут правильно Лимарь сказал. Мы хотим жить и побеждать.

Комиссар опять пристально смотрел на Перова, а Лебедев молчал. И снова Лимарю было не по себе.

— Вам бы, товарищ комиссар, стихи писать, — вставил он. — И первая строчка даже есть...

— Какая? — все ждали: Лимарь что-нибудь придумал.

— Ваша, товарищ комиссар. Самая любимая.

Лимарь торжественно, как стихи, прочитал:

Открылся советский берег.
Тяжелый поход позади...

— Вторая не моя, ваша, — рассмеялся комиссар. — Дальше давайте...

— Дальше у него заело...

— Талант отказал!

— Лермонтова стесняется!..

Только Перов и Лебедев не замечали шуток. Перов словно очнулся и полушепотом повторил:

Ты раб и трус — и мне не сын!

Все замолчали. За бортом слышались шорохи — будто кто-то ощупывал корпус затаившейся лодки.

Комиссар встал, подошел к Лебедеву.

— А вы, товарищ Лебедев, ошиблись со своей Марусей!

— Я уже исправил ошибку, — Лебедев показал на аппарат, на котором он успел написать: «12 000».

— Двенадцать тысяч тонн потопила ваша подшефная — не шутка. Бронебойщик, чтобы подбить танк, сколько жил надорвет. А тут — два полка до фронта не дошли.

— Не зря он свою толстуху месяц обихаживал, — Лимарь обрадовался случаю поддержать приятеля. — Такой у них тут роман крутился!..

— Вот и хорошо, когда торпеда точно работает. Торпедисту честь, как большевик действовал.

Когда комиссар выходил из отсека, Лебедев остановил его:

— Так, может, уже пора, товарищ комиссар? Я уже две имею...

— Дам вам третью, — сказал комиссар и обнял матроса. — Только голову держите выше... Люди же вокруг. Трудно им.

Лодка лежала на грунте. Через сальники и сдавшие заклепки сочилась вода. Воду нельзя было откачивать — лодку стерегли. Она отлеживалась, обманывая преследователей.

В тесном, тускло освещенном отсеке плотно друг к другу сидели коммунисты. Из беспартийных пришел только новичок Перов — воздуху мало и многих в одно место не соберешь. Говорили вполголоса и кратко, экономя силы.

На повестке дня — заявление Лебедева.

Мичман — секретарь партийной организации — зачитал рекомендации и боевую характеристику.

«Несу за него полную ответственность перед партией», — писал военком.

Лебедев почувствовал, как стучит кровь в висках.

— Послушаем товарища Лебедева? — предложил мичман.

— Что слушать — знаем.

— В кандидаты тут принимали.

— Вместе жевали блокадный хлеб.

— Нет, товарищи, — остановил мичман. — Здесь есть новички, и я думаю, что Лебедеву надо рассказать о себе.

Лебедев сказал:

— Отец мой вроде был другого класса. Из духовных, сельский дьякон...

Лимарь на своем месте ерзал, сердился: ну чего он мямлит?! Дьякон, дьякон, слышали уже, когда в кандидаты вступал. На то война и боевая характеристика.

Будь дело на берегу — тряхнул бы его разок. Вот Перову, действительно, нечего сказать: родился, учился — за отцовой спиной, хоть и за пролетарской. А этот уже жизнь прожил. Самостоятельную. Помощник машиниста в депо Ильича в Москве. Жена. Дочка была. На лодку пришел семейным человеком, мог льготу получить — не захотел. Служил так, что любому холостяку в пример. Голод, блокада, жена с дочкой за матросом в Ленинград подалась, — значит, настоящий он человек. Оба люди хорошие. Вот дочку потерял — беда... Не терпелось Лимарю все это произнести, но не стал говорить. Не прошлое сейчас важно, настоящее.

Над лодкой прошуршали винты рыскающих там, наверху, кораблей.

Лимарь покосился на Перова — ничего, привыкает.

— Есть вопросы к товарищу Лебедеву? — строго спросил мичман.

— У меня вопрос, — сказал Лимарь. — К секретарю. Нельзя ли вторично зачитать заявление.

— Если собрание не возражает?

— Читай.

Мичман прочитал:

— «Прошу принять меня в члены ВКП(б), так как в настоящий момент всю тяжесть войны несет на себе в первую очередь наша партия. В ее рядах будучи, я желаю громить врага и... — мичман запнулся, поняв, что хочет Лимарь, и, подчеркивая первое слово, закончил: — умереть коммунистом».

Андрей Лимарь встал:

— Умереть в нашем положении нетрудно: пустил воду и помирай. Выжить, победить труднее. Лодка нужна живая, и ты нужен живой. Если дойдет до точки — всплывем и примем бой.

Лимарь усмехнулся:

— Но, как говорит наш старпом, матрос врет — не помрет, матрос все переживет.

За Лебедева нежданно вступился Перов — всех удивила храбрость новичка. Он вскочил и, поминутно бледнея и краснея, выпалил:

— Не знаю, зачем Лимарь трогает Лебедева. Горе у него большое и ненависть велика. Дела на фронте плохи, немцы под Ленинградом, и не всякому до пляса. Зачем тревожить раны человека? Не трус же он?..

Тогда слово взял военком. Он сказал:

— Лебедев хороший воин, и я в партию его рекомендую принять. Но я понял Лимаря. Он говорит о воле человека. Быть коммунистом нелегко. Трудно. Большое горе, но надо уметь горе перебороть. Ради себя и ради других. Пусть молодой матрос смотрит на тебя и стесняется даже думать о смерти. Да, немцы под Ленинградом. Да, на фронтах тяжко. Да, между нами и Ленинградом несколько сот миль и тысяча опасностей. Сети. Мины. Охотники. Миноносцы. Самолеты. Всё против нас. Но кто же из нас обреченный — мы, на грунте, или они, наверху, под солнцем?.. Вот мы лежим на дне у берегов Германии. Рядом — Киль и Гамбург. Нас ищут, бомбят. А у нас тут — партийное собрание. Очередное партийное собрание. Так кто же смертники — мы или они?..

В наступившей тишине прокатился отдаленный взрыв. Лодку чуть качнуло, как качает дом при слабом землетрясении. Комиссар продолжал:

— Я предлагаю...

Новый взрыв встряхнул лодку, за ним последовала серия других, вырубился свет, и участники собрания разошлись по боевым постам.

Только мичман задержался в отсеке позже других. Светя фонариком, он собирал в папку документы Лебедева и черновые записи протокола.

Спустя неделю лодка стояла в Кронштадте у щербатого пирса и принимала торпеды. Сильные краны укладывали их на корабль. Два матроса возились с маслянистой толстухой.

— Маруське смена пришла, — басил Лимарь. — Везет тебе, Алексей, на приличное общество.

— От дамского общества я никогда не отказываюсь,— в тон ему отвечал Лебедев.

В отсеке, где недавно прервалось собрание, над книгой протоколов сидел мичман. Лодка снова собиралась в поход — мичман спешил оформить документы. Он писал:

«Протокол № 12. 24 июля 1942 года.

Партийное собрание подводной лодки.

Балтийское море. На грунте. Глубина — 40 метров. Меридиан Берлина...»

Дальше следовало обычное — председатель, секретарь, кто присутствовал, кто на вахте, кто остался на берегу и не был в этом походе, что слушали, кто выступал, что

постановили. Всё, как на Большой земле. Постановили: принять — единогласно.

К протоколу была приложена пачка документов. Среди них и заявление Лебедева.

Последняя строка была исправлена. Она теперь читалась так: «чтобы победить коммунистом».

3

Осенью сорок второго года «Красный флот» напечатал статью Василия Гусева, мою корреспонденцию и фотографию парторга «С-7» мичмана Винокурова. В Главном политуправлении флота мне приказали срочно составить фотогазету о лодке и текст к ней. Был награжден весь экипаж. Гусев, Хрусталев, Новиков, Корж, Скачко и Субботин получили орден Ленина. Сергею Лисину правительство присвоило звание Героя Советского Союза — указ и портрет Героя газеты напечатали 24 октября, когда лодка уже ушла в поход.

На другой день мне сказали, что фотогазета не нужна и про «С-7» пока писать не следует. Так возник пакет, в котором десятилетия пролежали фотографии, текст к ним, записи и даже адрес, данный мне на прощание Алексеем Лебедевым. Лебедев просил прислать ему, москвичу, столичную газету, ну хотя бы только одну ее страницу с объявлениями, по адресу: «КБФ, Военно-морская почтовая станция 1001, п/я 385—С».

Причин запрета вначале никто не объяснял. Потом стало известно, что командующий флотом исключил «С-7» из числа действующих кораблей, как погибшую в бою.

Утверждали, что ее командир жив, но его смыло с мостика при срочном погружении, и он находится то ли в Швеции, то ли в плену. Семьи получили извещения о гибели всех участников похода, такое извещение почта принесла и жене Сергея Прокофьевича Лисина в Новосибирск. Перед походом Лисин отправил жене письмо и в нем строки симоновского стихотворения «Жди меня». Несмотря на похоронку, она ждала.

Первую весть о муже ей принес Борис Бобков, до Гусева он был комиссаром лодки и очень любил Сергея Прокофьевича. Бобков прислал телеграмму, чтобы жена Лисина вышла к поезду, проходившему через Новосибирск

на Дальний Восток. Они встретились, и Бобков сказал: «Жди. Он в плену. Если не убьют, вернется».

Только двое из экипажа случайно не пошли в этот поход: Григорий Новиков, он тяжело заболел, и Виктор Корж, механик, он ушел в море на лодке капитана 3 ранга Тураева, а когда вернулся, узнал, что его родной экипаж погиб. У Коржа хранились тетради штурмана Михаила Хрусталева. «Товарищ, — писал в приложенной к тетрадям записке штурман «С-7». — Если я погибну в боях за Родину, выполни мою последнюю просьбу: по окончании войны или когда это будет возможно, передай этот дневник моей жене для моего сына по адресу — Ленинград, пр. 25 Октября, 11/2, квартира 32, Хрусталевой Софье Григорьевне. Пусть мой сын Леня знает о моем участии в Отечественной войне и защищает Родину, как защищаем мы, участники этой войны». Эти строки Хрусталев написал в конце сорок первого или в начале сорок второго года. До конца войны Виктор Корж не имел права передать его тетради по адресу. А потом, когда записи штурмана были переданы наконец его жене и сыну, ныне моряку, «Красный флот» опубликовал некоторые из них. Вместе с дневником в пятьдесят девятом году газета напечатала и некоторые подробности последнего похода «С-7».

В сорок пятом году во Владивостоке сразу же после окончания войны с Японией я встретился с Лисиным. Он уже носил на кителе Золотую Звезду. Мы сидели за столиком в ресторане Дома офицеров Тихоокеанского флота, но я не решился задать ему ни одного по-настоящему интересовавшего меня вопроса, хотя о Лисине все кругом говорили со сдержанным почтением, как о человеке много пережившем и легендарном, но строго секретном. Было бы бестактно проявлять любопытство в годы, когда вопросы человеку задавали слишком часто и официально.

Недавно, прежде чем сдать издательству эту книгу, я снова повидался с Лисиным и коротко записал его рассказ.

— Когда я вернулся из дома отдыха в Кронштадт, — рассказал Сергей Прокофьевич, — меня ждали огорчения. Предстоял сложный и длительный поход, прорыв в Ботнический залив, а на лодке появились новые люди. Особенно меня огорчило, что без моего ведома услали с Тураевым Виктора Коржа. В сорок первом, когда возле

Ирбенского пролива нас едва не разбомбили катера, на лодке тоже не было Коржа — он болел. А какой командир не держится за свой слаженный экипаж!.. Октябрь был холодный. Уходя из Кронштадта, я надел на свой старый китель с нашивками капитан-лейтенанта меховой реглан. Я всегда в походе надевал старый китель — на ступеньку ниже, бывают у человека такие необъяснимые привычки. От матросов, выходящих на мостик, я требовал, чтобы обязательно надевали капковый бушлат — был же случай, когда при всплытии в штормовую погоду с мостика смыло командира «С-9» Рогачевского с командиром боевой части и с двумя матросами, все они погибли. А вот сам я бушлата не надевал. Но в этот раз вдруг надел, потому что в реглане трудно было выбираться на мостик. Но об этом потом. Из Кронштадта к Лавенсаари нас проводили катера-охотники, штурманом на них шел Костя Кононов, мой старый друг. Перед походом мы поговорили с ним про дела на Волге, там плохо было, а он знал, что я саратовец, в комсомольские времена был одним из строителей Сталинградского тракторного. Когда мы расставались, Костя в мегафон пожелал нам счастливого плавания и крикнул: «Дай им там, Серега, прикурить за Сталинград!» Семнадцатого октября вышли, за двое суток форсировали Финский залив от Лавенсаари до устья, пересекли, как теперь установлено, сорок два раза линии мин и дважды касались бортом минрепов. Двадцать первого мы вышли к Ботническому заливу. Как только пересекли 22-й меридиан, послали, как и было нам приказано, радиограмму в штаб флота. Роковую радиограмму. Ее-то противник и запеленговал. Быстро наступала темнота. Мы подошли ближе к Аландским островам, и я приказал всплыть для зарядки аккумуляторов. Вместе со мной на мостик вышли Гусев, Хрусталев, сигнальщик Оленин и второй сигнальщик Субботин, командир кормового орудия. Курил в рубке у люка и трюмный Валентин Куница. Только Хрусталев вышел в теплом, но громоздком реглане, неудобном, когда надо быстро соскользнуть в люк. Остальные были в капковых бушлатах. И я снял реглан и для тепла надел бушлат. Гусев, заметив, что мне что-то не по себе, решил меня порадовать. Покуривая трубочку, прикрытую ладонью, Гусев сказал, что, когда вернемся, меня назначат командиром дивизиона. Сообщив мне этот секрет, он спустился вниз, решил

пройти по отсекам. Как всегда. А нас в это время торпедировали. Теперь я знаю, что в засаде нас поджидала финская лодка «Весихииси». Ровно в двадцать сорок пять — внезапный взрыв, лодка сразу затонула. Хрусталева в его реглане затянуло в воронку, а нас четверых капковые бушлаты удержали на плаву. Мы еще не знали — кто потонул, кто жив, я на некоторое время потерял сознание. Вода — ледяная. Очнулся — свистнул, ко мне подплыл первым Оленин. Свистнули мы еще, отозвался Куница, а потом и Субботин. Мы поплыли в сторону шведского маяка Сэдерарм, его проблески виднелись издалека. Но силы иссякали. Саша Оленин подплыл поближе и сказал: «Разрешите, товарищ командир, вас обнять на прощанье». Вроде пора было прощаться. Но тут мы услышали шум, движение какого-то корабля, подумали, не Момот ли на «Щуке» идет, я помнил, что он должен был находиться в этих водах. Через минуту нас всех подцепили баграми, и мы очутились на подводной лодке, только не на нашей «Щуке», а на финской. Нас разъединили и доставили на плавучую базу в Мариенхамн, у финнов было четыре лодки, там находилась их база. Никто из нас друг друга не называл, по кителю меня приняли было за капитан-лейтенанта. Первый допрос в присутствии финских подводников вел полковник, комендант Мариенхамна. Добиваться он ничего не стал, только спросил: «Как вы смотрите на исход войны?» Както сама собою выскочила очень уж официальная, но искренняя фраза: «Рано или поздно победа будет за блоком демократических государств». Раздался хохот — ведь это была ночь на 22 октября сорок второго года. Буксир доставил нас морем в Турку, там усадили в поезд, в обыкновенный, пассажирский, только очистили от пассажиров купе. Отправили в Хельсинки. Меня так и везли в том капковом бушлате, в котором багром вытащили из моря. В Хельсинки меня поместили в камеру на гауптвахте, оттуда водили на допросы к старшему лейтенанту из морской разведки. Он отлично говорил по-русски, знал и звание мое, и то, что я Герой Советского Союза, только я этого не знал. Когда двадцать четвертого октября наши газеты опубликовали мой портрет, разумеется, полученный и этим старшим лейтенантом из морской разведки, я находился в камере гауптвахты. Однажды, возвращаясь с допроса, я прочел на двери камеры нацарапанную ка-

рандашом надпись: «Смотри за батарею». Там я нашел записку Саши Оленина. Он сообщал, что ребят куда-то увозят, но они остались верны Родине и никаких показаний не дали. Их, оказывается, отправили в лагерь на лесоразработки. А со мной еще долго возился этот старший лейтенант. Командир лодки — фигура для них существенная, особенно в ту пору, когда, несмотря на все препятствия, мы все же выходили в Балтику и наносили врагам такой урон. Старший лейтенант старался показать свою полную осведомленность в наших делах. Показывал мне фотографии новостроящихся кораблей, называл имена, щеголял результатами предвоенной разведки. Но требовал, при всей своей осведомленности, показаний. Хотя бы назвать погибшие подводные лодки. Я назвал ему лодки, подорванные нами в Либаве при отступлении, — об этом немцы и сами уже знали. Большего следователь заполучить не мог. Рассказывать вам про эти допросы подробно — нет смысла, все это потом сто раз проверяли наши военные товарищи, когда Финляндия вышла из войны. Был однажды очень грубый допрос, с угрозами, криком. Меня привели к полковнику, которого не удовлетворила работа старшего лейтенанта. Полковник пригрозил передать меня немцам. Но опять вернул в камеру. Между прочим, меня охранял какой-то финский сержант, в прошлом торговый моряк. Он говорил по-английски, и мы кое-как с ним объяснялись. Он предлагал устроить мне побег, но требовал гарантий. Он спрашивал: «Если через Котку я с вами на лыжах пройду до Лавенсаари, вы гарантируете мне отправку в Америку?» Не знаю, искренне он со мной разговаривал или его подослали, всякое возможно в тюрьме, только в рождество он мне принес подарок от жены — два блинчика в целлофане. Передали меня внезапно, в январе или в феврале сорок третьего года: пришли два немецких солдата, отвели меня на транспорт, который за ледоколом вслед отправлялся в Таллин. Оттуда — поездом в Берлин, в Берлине поместили в кирпичный дом на берегу Шпрее, приспособленный под тюрьму для особо интересующих немецкую разведку командиров. Обстановка там была сложная, путаная, но я сразу почувствовал поддержку и защиту со стороны неведомых мне друзей — сокамерников. Меня осторожно предупреждали, как себя вести, с кем из соседей не откровенничать, особенно помог

один армейский офицер, думаю, что он в прошлом наш контрразведчик, он жив и работает теперь где-то в Новгородской области. Меня водили на допросы в морскую разведку, к капитану 2 ранга, когда-то этот разведчик был морским атташе в Москве. Водили, пока не убедились, что толку от этих допросов не будет. Только бы не передали гестаповцам. Я числился за финнами, а финны в этом отношении были, очевидно, весьма строги и самолюбивы. Тем более что их правители уже почувствовали поворот в войне в нашу пользу и, наверно, что-то прощупывали в дипломатическом мире. Судить об этом не берусь, немцы со мной тоже пытались заводить какие-то разговоры о возможном союзе Советской страны с Германией против англичан и американцев. Разговор явно провокационный, я отделался фразой, что это не моего ума дело и что я не компетентен в столь больших государственных делах. Во всяком случае, когда я стал требовать, чтобы меня вернули в Финляндию, немецкая морская разведка это требование удовлетворила, меня отправили в Данциг, там погрузили в трюм транспорта «Готенланд», который через Турку шел в Норвегию. В трюме, между прочим, оказалось несколько флотских старшин, нашлись и знакомые. Они надумали даже захватить транспорт и спрашивали, смогу ли я довести его до наших берегов. Но идея эта отпала, на транспорте был батальон фашистских солдат, справиться с ними мы, конечно, не могли. В Турку меня сдали финнам, снова доставили в Хельсинки, в подвал гауптвахты. Опять допросы, а потом — в среднюю Финляндию, в офицерский лагерь номер один, в барак старших офицеров, где были генерал Кирпичников, один полковник и другие мои друзья по беде. Когда мы отказались работать на противника, нас всех загнали в барак-изолятор. Кто-то прислал туда записку такого содержания: Родина требует сообщить список лиц, сидящих в изоляторе. Мы колебались, не провокация ли? Но список все же дали... Наверно, он попал по назначению, возможно, тогда и стало известно на Родине, что я еще жив, о чем сообщили жене. Однажды летчик Саша Литвиненко, подбитый на МБР над Хельсинки, принес в изолятор бочонок с чаем и шепотом спросил меня: «А вы знаете, что вы Герой Советского Союза?» Я все еще этого не знал, хотя об этом, несомненно, знали из наших газет мои тюремщики. Может быть, они скрывали от меня

факт такой высокой награды, чтобы не возросло мое сопротивление при допросах?.. Саша добавил мне лишний черпак чая. Наши старшие офицеры, особенно генерал Кирпичников, многим товарищам помогли выстоять в беде, сохранить чувство воинского достоинства, предотвратить спровоцированные взаимные расправы, самосуды, наладить своеобразное самоуправление и внушить каждому, что в конце концов на Родине разберутся со всеми по справедливости. Ровно через два года после гибели лодки мы пересекли границу и пересели в наш эшелон. Финляндия уже вышла из войны. Каждому хотелось скорее попасть на фронт добивать фашистов. Но нас везли не на фронт, а на проверку, там поместили в здании школы под охраной. Нам самим было стыдно и тошно, уж кто-кто, а моряки всегда гордились тем, что «матросы в плен не сдаются». Но мы же не были виноваты в беде, которая нас постигла, хотелось только одного: воевать и в бою очиститься от всего страшного, пережитого. Из окошка теплушек по пути мы бросали на полотно письма женам. Моя жена письма в Новосибирск не получила, она уже уехала оттуда в Москву. Получив когда-то весть о том, что я жив, она стала стремиться в Москву, чтобы здесь что-нибудь обо мне узнать и мне помочь. А к одному из моих спутников вскоре пришла жена, она получила его письмо, подобранное кем-то на железнодорожном пути и брошенное в почтовый ящик. Через нее я послал записку к моему однокашнику в Наркомат Военно-Морского Флота, тот разыскал жену, — словом, она явилась к нам, принесла мне старую газету с указом и моим портретом, обещала приехать на другой день, приехала, но на месте не застала. Никто не мог ей сказать, куда и зачем меня отвезли. А я показал эту газету уполномоченному контрразведки, который нас опрашивал, и меня отвезли в Москву. Выпустили меня 25 декабря сорок четвертого года, когда по всем документам подтвердилось, что я чист. Выпустили и моих друзей — матросов — Оленина, Субботина, Куницу, они попросились на фронт, я увидел их только много лет спустя. В шведской шинели, в финских ботинках я прибыл в полуэкипаж. Мне предложили жить дома, а являться только на отметку. В ночь под Новый год я пришел на Пушечную в Офицерский клуб и встретил старых друзей. 27 января сорок пятого года Николай Герасимович Кузнецов назначил меня на Дальний Восток

старшим преподавателем офицерских классов подводного плавания. По тому времени это был мужественный поступок, и я благодарен за него адмиралу, хотя мне и хотелось попасть на действующий флот. В июне мне вручили орден Ленина и Золотую Звезду, пересланные из Москвы, а Грамоту и удостоверение Героя я получил в сорок седьмом году. Потом я служил в Порт-Артуре, уже на подводных лодках, под началом своего старого балтийского товарища Александра Владимировича Трипольского. Я добивался восстановления в партии. Плен был таким пятном, что я всюду наталкивался на отказ. Нашелся человек, который в моей аттестации написал, что желательно перевести меня для продолжения службы из Порт-Артура в пределы страны. Воевать этому человеку не довелось, но осуждать воевавших он умел. Я снова попал в Ленинград, где служу по сей день. Меня очень поддержали товарищи по войне, — верили, кандидатом в члены партии приняли единогласно. Вопреки тем, кто настаивал на обидной формулировке: «Ввиду длительного отрыва от партии...» Ну, а дальше, сами понимаете — двадцатый съезд, как и тысячи других людей, никогда себя от партии не отрывавших, я сразу стал членом партии с 1929 года — без перерыва в стаже. Это произошло в пятьдесят седьмом...

Я достал старый пакет и разложил перед Сергеем Прокофьевичем Лисиным, ныне капитаном 1 ранга, фотографии. Он склонился над ними, многих после двадцати лет опознать не легко. Впрочем, виной тому не время, а, пожалуй, качество или ракурс фотографий. Вот с циркулем и линейкой в руках у освещенного лампой штурманского столика — штурман Михаил Хрусталев: усики для солидности, он был, пожалуй, тогда моложе своего сына-моряка Леонида Хрусталева... Это — капитан-лейтенант Думбровский, старпом, по настоянию фотографа позирует: фотографу нужен «боевой момент» — «подготовка данных для атаки». Оленина узнаешь всюду, он до сих пор навещает своего командира, живет с женой и дочерью в Ленинграде на проспекте Декабристов, водит в дальние междугородние рейсы тяжелогрузные рефрижераторы; до сорок седьмого года он был боцманом подводной лодки, пока кто-то не вспомнил, что Александр Кузьмич побывал в плену. Впрочем, хотя подпись утверждает, будто русскую отплясывает Оленин,

снимок смазанный и кто пляшет — не разберешь сразу. А вот гармонист в глубине, кажется, воистину Лямин, акустик, ему по штату был положен музыкальный слух... На групповом снимке второй справа Валентин Куница, «читает рассказ из газеты». Куница после войны поселился на Украине. Слушают его серьезно, только один Бурый не выдержал требования фоторепортера и улыбнулся. Первый слева — Стрельцов, тот, который выиграл усы Сорокина... Вот и Кулочкин с Лебедевым в отсеке у торпедных аппаратов. Всех их нет. А Субботин — жив, работает бондарем в Выксе, там, где работал его отец-металлист, отца убили на фронте еще в сорок первом... Вот и сама лодка — в кронштадтской гавани на ходу. Теперь она далеко от Кронштадта. И глубоко...

Когда Лисин рассказывал, он был сдержан и даже спокоен. А вот над фотографиями он разволновался. Экипаж. Те, с кем были накрепко связаны и радость и горе. Плен для нашего человека стал мукой не только физической, но и нравственной, потому что все поколение готовило себя к борьбе и считало для себя противоестественным даже в мирной жизни от этой борьбы отходить. Потому — такое сильное движение непокоренных и в оккупации, и в плену, потому — такое движение партизан, восстания в лагерях смерти и массовое участие советских людей в антифашистском подполье других стран. «Матросы в плен не сдаются» — не риторика, не просто лозунг, это убеждение воюющих на смерть людей. Тем горше становилась трагедия плена. А для человека, вся юность которого прошла в борьбе против фашизма, для рабочего и сына рабочего, для моряка и коммуниста, который тем только и жил, чтобы вместе со своим экипажем все смерти победить, это не могло не стать большой болью. Такую боль можно залечить, перебороть, но совсем избавиться от нее нельзя.

ГАНГУТСКАЯ ТЕТРАДЬ

Фронтовой дневник

22 *сентября 41 года.* Жду попутного корабля, чтобы снова попасть из Кронштадта на Гангут. Военный совет разрешил. Но оказии редки. Полуостров отрезан.

Вчера и сегодня, ночью и днем, немцы бомбили Кронштадт. Линкоры «Марат», «Октябрьская революция» и крейсер «Киров» главным калибром сдерживают противника, окружающего Ленинград. Начались массированные налеты на корабли и крепость. Бомба угодила «Марату» в нос. Говорят, за сутки в налете участвовало больше двухсот бомбардировщиков.

Ночью я стоял в садике возле штаба и Пубалта на Итальянской набережной у выхода из щели, вглядываясь в разрезанное прожекторами небо и тихо разговаривая с Всеволодом Витальевичем Вишневским. Вжав голову в плечи и не отрывая глаз от темного, перечерченного лучами неба, он комментировал: эта бомба — в Морзавод, эта — на внешний рейд, эта — в район госпиталя. Всеволод Витальевич, человек с военным опытом, любит всегда все объяснять. Пройти глубже в щель-убежище мы не смогли, там тесно и душно. Стоящие у выхода обязаны передавать по цепочке обо всем, что видят. Дублирую каждую реплику Вишневского.

Бомбы падают с резким воем. Даже после бомбежек в Ленинграде, в Котлах, в Копорье кажется, что здесь страшнее. Возможно, потому, что рядом плотная масса волнующихся, заражающих друг друга нервозностью людей.

Бомбят рейд, гавани, доки, причалы. Кажется, бомбы падают рядом. Кажется, не только потому, что и до рейда сравнительно близко, но так оно и есть: бомбят флот — достается городу. Я усвоил: в цель попадает лишь доля сбрасываемого противником

груза, перелеты и недолеты — на берег. Когда бомбят или обстреливают военную крепость, противник может считать перелеты и недолеты тоже попаданием в цель.

Корабли огрызаются: рядом, в Петровском канале, бьют зенитки подводных лодок. Бьют линкоры и лидер эсминцев. Там — основная защитная полоса противовоздушной обороны. В парке шипят, а по крыше здания штаба барабанят осколки. Всеволод Витальевич утверждает, что это осколки наших снарядов. Волны жаркого воздуха налетают со всех сторон: уж это-то от бомбовых разрывов.

Вначале всё *казалось*. Но вдруг мы *увидели*: из окон второго этажа вылетели вместе с маскировкой стекла, обнажив тусклую лампочку. Она засверкала словно прожектор.

— Свет, свет! Надо вырубить свет! — закричали позади и где-то в других щелях садика.

Вишневский толкнул меня в бок:

— Надо доложить дежурному. Он в подъезде, не видит.

Я оторвал от земли чугунные ноги и понес их к освещенному паршивой лампочкой зданию. Со стороны это, вероятно, было похоже на замедленно снятый на кинопленку бег. Чертова лампочка! Фашистские летчики наверняка ее засекли и сейчас вмажут сюда серию бомб.

Дежурные — краснофлотец и командир — находились за стеклянной перегородкой внутри темного подъезда. У входа в подъезд, в проеме двери, стоял высокий военный, взирая на всё невозмутимо.

— Там свет, на втором этаже свет! — неистово завопил я, размахивая руками. — Надо вырубить свет!

— У вас есть оружие, товарищ командир? — спокойно спросил военный.

— Ну конечно!

— Так стреляйте в лампочку.

— Но я же не попаду!

Я выпалил это непроизвольно, даже не подумав о боевых качествах выданного мне в Пубалте пресловутого мелкокалиберного нагана. Высокий военный ухмыльнулся и резко бросил через плечо:

— Дежурный!

— Слушаю, товарищ командующий!

— Вырубить свет на втором этаже!

Я вернулся к Вишневскому и доложил об исполнении приказания. Он, оказывается, все слышал.

— Это — командующий флотом вице-адмирал Трибуц, — ска-

зал Вишневский. — Вы действовали вполне успешно и оперативно.

Я, наверно, слишком штатский человек, чтобы расстроиться.

Примечание к дневнику. Значительно позже, когда я вернулся с Ханко, я узнал, что мои, как выразился Вишневский, «успешные действия и оперативность» стали предметом веселого разговора на Военном совете. Вице-адмирал Владимир Филиппович Трибуц, говоря о военной подготовке политработников из запаса, в укор начальнику Пубалта упомянул какого-то очкастого командира, который не отважился стрелять из пистолета в лампочку на втором этаже. К счастью, адмирал не знал ни имени, ни фамилии этого командира. Вишневский промолчал: я числился в созданной им «оперативной группе писателей при Пубалте» и всякое уточнение было бы неприятно для всех.

26 сентября. Кронштадт — город, где нет обычного вольного населения. Он похож на гигантский линкор. Каждый, даже штатский человек, точно знает свое место по боевому расписанию. Это город моряков, морских семей и корабельных мастеров. В первую ночь войны с финской стороны прилетели самолеты, они обстреляли некоторые суда, корабли, сбросили в залив много мин. Была тревога, стрельба, но большинство кронштадтцев сочло это очередным учением — к тревогам и канонаде в крепости не привыкать. В то воскресное утро за городом, на Бычьем поле и на южном берегу залива, в Ораниенбауме, состоялись назначенные еще накануне традиционные гуляния кронштадтцев — с оркестрами, танцами, с буфетами в автобусах и на катерах. А несколько часов спустя, когда радио объявило о войне, началось строительство щелей, укрытий, мобилизация, переход на режим города-крепости по мобилизационному плану. Зная, что Кронштадт больше не получит из центра продовольствия, и особенно овощей, а на каменистом острове не очень-то разгуляешься с огородами, сотни кронштадтцев отправились на шлюпках на южный берег. Туда уже подошел враг. Огороды на линии фронта. Под пулеметным огнем кронштадтцы собирают урожай. На плотах и шлюпках, не отвлекая плавучих средств крепости, они доставляют на остров тонны овощей и все сдают в общий котел.

В начале сентября на Кронштадт обрушилась масса людей из Прибалтики — гражданские и военные, раненые и просто травмированные пережитым, лишенные крова, опоры, имущества, разутые и раздетые. И особо — матросы без кораблей. Помочь, утешить, одеть, уложить в госпитали, занять трудом, предотвратить панику, вполне возможную при таком скоплении обездолен-

ных людей, — флот мог с этим справиться только с помощью организованного населения, готового ко всякой беде. Кронштадтские женщины шьют брюки, пиджаки, шинели, белье, обстирывают раненых, моют полы и белят потолки в палатах, собирают по городу посуду и машинами возят ее в госпитали. Кронштадтские врачи, по горло занятые в госпиталях, нашли время, чтобы сформировать из учениц старших классов и продавщиц магазинов тридцать санитарных дружин. В ночь, когда бомбили «Марат», погиб девятилетний Витя Ростов, единственный сын работницы Морского завода. Он был связным группы самозащиты, бегал от дома к дому, выполняя поручения старших. На улице Урицкого возле дома номер 49 погибла от осколка бомбы кронштадтская девчонка Соня Власова, она перевязывала раненых и оттаскивала их в сторону от этого дома.

Сегодня ночью в гавани разорвался первый снаряд, брошенный с южного берега: фашисты уже там. Горит Петергоф. С крыш, с чердаков, с набережных кронштадтцы смотрят на пламя пожаров. Странно, дико, не верится. В порт, на Морской завод, в судоремонтные мастерские идут старики в черных распахнутых спецовках, в выцветших тельниках, едва прикрывающих почти древнюю синюю татуировку. Евгений Иванович Басалаев, секретарь райкома партии, сказал, что на работу вышли все старые кронштадтцы. Надо восстанавливать корабли, поврежденные при переходе из Таллина. И еще один факт сообщил мне Басалаев. Бомбы в восемнадцати местах повредили главную магистраль водопровода. Восстанавливать ее взялся Иван Алексеевич Володенков, кронштадтский водопроводчик, с бригадой слесарей и матросов. Трудно в это поверить, но скоро неделя, как вся бригада работает без единой минуты перерыва. Запасов пресной воды в Кронштадте нет, а без нее корабли не могут жить. Меньше всего кронштадтцы думают о себе. Женщины и дети в ведрах и бидонах носят воду из каналов домой, кипятят ее, хлорируют и несут на причалы к кораблям.

27 сентября. Добролюбов, он уже бригадный комиссар, сообщил, что сегодня от плавбазы «Литке» торпедные катера пойдут на Ханко! «Вечером будешь на полуострове. Зря не суйся. Напишешь книгу. А это — спрячь. Сейчас писать нельзя, а когда-нибудь пригодится», — Добролюбов протянул мне несколько машинописных страниц, озаглавленных: «О героическом поведении краснофлотцев Никишина Николая Андреевича, Зиновьева Василия Владимировича, Мазнина Александра Васильевича при гибели подводной лодки «С-11» Краснознаменного Балтийского флота». Листки я спрятал в карман, прочту в пути.

Худой и длинный капитан-лейтенант А. в скрипучем кожаном реглане, старший в отряде катеров, снаряженных на Ханко, категорически отказался брать меня с собой. «Хватит с меня этого, — он показал на палубу одного из катеров, загруженную рулонами типографской бумаги для гангутской газеты. — Я не извозчик». Начальник политотдела что-то ему выговаривал, но капитан-лейтенант стоял на своем. Я знал, он не вправе отказать мне: мое командировочное предписание подписано командующим флотом и членом Военного совета. Начальник политотдела побежал к телефону, а я топтался на пирсе возле плавбазы, с тоской поглядывая на вздрагивающие от работающих моторов торпедные катера.

В последнее мгновение, когда головной катер уже отошел, капитан-лейтенант махнул мне рукой, милостиво разрешив прыгнуть на концевой.

Меня подхватили матросские руки, и минуту спустя я уже не жалел, что попал именно на этот катер, к лейтенанту Пьянову, жгучему брюнету, с лицом, грубо высеченным природой по традиционным образцам маринистской литературы. Он мне очень понравился, этот Пьянов, явно сочувствующий и открыто разделяющий вспыхнувшую во мне неприязнь к капитан-лейтенанту А., человеку вздорному, пока знаменитому лишь тем, что он — однофамилец героя, тоже катерника, прославленного в боях в Ирбенском проливе. Быть может, это и послужило причиной всего конфликта: дернуло меня, услышав его фамилию, спросить, не он ли отличился в бухте Лыу...

Тут же, на мостике, Пьянов ввел меня в курс дела: нам надо скрытно пройти к Гогланду, ночью незаметно его покинуть, взять курс на Хельсинки, а потом вдоль шхер добраться до финского маяка Бенгтшер и прошмыгнуть к Гангуту. Там катера останутся в засаде против германских кораблей, укрытых в Аландских шхерах. Подобная откровенность была редкой и неожиданной, очевидно, лейтенант хотел сгладить предшествовавший инцидент, да к тому же ему пришлось по душе, что я иду на Ханко не впервые.

Мы вышли после полудня. Над Кронштадтом в ясном синем небе снова закружилась карусель бомбардировщиков. Катерники надели каски. Взяв в губы пипку, каждый из моих соседей надул спасательный жилет. На мне такого жилета не было.

Пьянов, очевидно не располагая запасным жилетом, заговорил о преимуществах конструкции нашего килевого катера перед реданным. Наш катер — деревянный, он более мореходен, и, глав-

ное, к нему не липнут магнитные мины, а их впереди хватает. Словом, можно обойтись и без жилета.

Четыре катера, урча моторами, мчались в кильватерном строю на запад. Через полчаса второй из катеров отвернул и стал отставать. На мостике кто-то сказал с иронией: «Моторы скисли у извозчика!» Это был катер, на палубе которого лежали рулоны бумаги.

Пьянов приказал боцману приготовиться с ходу принять груз. Он ждал, что капитан-лейтенант прикажет перегрузить бумагу к нам — ведь на Ханко её ждут. Но такого приказа не последовало. Катер возвращался в Кронштадт с бумагой. Мы расходились левыми бортами. Боцман и матросы молча стояли у борта, глядя на тот катер, словно в пустоту.

К Гогланду мы подошли в темноте. «Однофамилец героя» не знал входа в бухту. Самолюбие не позволило ему попросить помощи у Пьянова, он предпочел дать прожектором луч в сторону острова. С финских островов тотчас вонзилось в море несколько лучей. Прогремели далекие залпы, где-то в стороне упали снаряды, брошенные противником наугад. Пьянов заскрипел зубами, но смолчал.

28 сентября. Утро. Замерз, хотя спал не раздеваясь. Проснулся, услышав пальбу. Но это — не самолеты и не батареи противника. Упражняется «однофамилец героя», он пуляет в пустой каменный домик на берегу.

Боцман выдал мне изрядную порцию спирта и шоколад: ура, я взят на довольствие по нормам торпедных катеров!

В бухте отстаивается подводная лодка. Две другие ушли в Балтику, известий от них нет. Возможно, на одной из них и Василий Гусев, расспрашивать неудобно. Подводники пришли к нам на катер за «горючим для команды». Они здесь неделю, резервы исчерпаны. Комиссар лодки прислал за мной, я должен рассказать экипажу про Ленинград. Рассказывая, стараюсь и расспрашивать, слушать, записывать. Но я заметил, что после таллинского перехода подводники стали скупы на подробности. Положение сложное, неясное, о своем деле говорят нехотя. Зато охотно обсуждают поведение торговых моряков. Говорят, что от торпед наши капитаны уклоняются лихо, немцы атакуют скопом. Вот в воздухе они сильны, особенно когда им не противодействуют. Подумать только, флот шел из Таллина без авиационного прикрытия. Вспомнили и Александра Петровича Смирнова, семидесятилетнего капитана. Перед войной он сошел на берег. 22 июня явился в пароходство и потребовал снова дать ему судно. Ему дали «Папанина». Из Таллина Смирнов уходил в последнем эше-

лоне, взяв на борт более трех тысяч пассажиров. Теплоход уклонился от мин и торпедных атак, но его разбомбили. Тральщик взял горящее судно на буксир и помог ему дойти до Гогланда. Старый капитан, раненный, все время стоял на мостике, опираясь на обвес. Он командовал выгрузкой пассажиров на остров. А когда всех выгрузили, он упал. Его снесли на берег уже мертвого.

Вспомнив о не прочитанных еще листках, я спросил комиссара, знал ли он командира «С-11». Комиссар насторожился: про погибшие корабли не принято расспрашивать. Он сказал, что капитан-лейтенанта Середу сбросило взрывом с мостика и его подобрал сторожевик. Середа умер. Если б он выжил, возможно, его судили бы: нехорошо, когда лодка погибла, а командир остался в живых, не по-морскому это, хотя, возможно, он и не виноват, после войны все выяснится... Не зная сути дела, я не стал больше расспрашивать и вернулся на катер. До отхода еще есть время. Я сел читать листки, врученные мне Добролюбовым. Вот их текст:

«10 июля 1941 года подлодка «С-11», получив приказание о выходе на боевую позицию, покинула Кронштадт и 11 июля пришла в Таллин. 13 июля лодка вышла в море, прибыла в заданный квадрат 15 июля. 19 июля в 19 часов была объявлена боевая тревога, лодка вышла в атаку на немецкий минный заградитель. Торпедирование было неудачным: торпеда выскочила на поверхность, была обнаружена противником, он отвернул и атаковал лодку глубинными бомбами. Повреждений не было. С 19 по 28 июля лодку дважды бомбили фашистские самолеты, но безуспешно, лодка продолжала выполнять поставленную боевую задачу.

1 августа лодка получила радиограмму о возвращении в базу, указывалось место и время встречи с охранением. 2 августа в 16 часов лодка всплыла и увидела охранение — тральщик и два катера МО. В 17 часов 45 минут были отдраены переборки. Около 18 часов 00 минут подана команда «приготовить отсеки к ужину», личный состав разошелся по расписанным для него местам. В 7-м отсеке находились краснофлотцы: Н. А. Никишин, В. В. Зиновьев, А. В. Мазнин и Мареев — все четверо комсомольцы.

В 18 часов 11 минут лодка была торпедирована, сильный взрыв в центральном посту потряс ее, и она камнем пошла ко дну. Переборки между 7-м и 6-м отсеками захлопнуло силой давления. В момент взрыва вышли из строя все трубопроводы, глубомер, 7-я группа воздуха высокого давления была разбита, воздуха в баллонах торпедной стрельбы не оказалось, связь с цент-

ральным постом и первым отсеком прервалась, вырубился свет. Лодка легла на грунт, имея крен 40° левого борта. В отсек быстро поступала вода. Очутившись в полной темноте, Никишин, Зиновьев, Мазнин и Мареев бросились заделывать отверстия, в которые поступала в отсек вода. Закрыли пробкой вентиляцию, цистерну пресной воды, трубопроводы санитарной магистрали, поджали люк и т. д. Течь значительно замедлилась. Связь с другими отсеками и с центральным постом прекратилась в момент взрыва: телефон не работал, из переговорной трубы, идущей в рубку, шла вода, переговорная труба, идущая в центральный пост, была, по-видимому, перекрыта в 3-м отсеке. Все меры по спасению лодки Мазниным, Никишиным, Зиновьевым и Мареевым были приняты. После этого они решили выстрелить одну торпеду и спасаться через торпедный аппарат. Но где взять воздух для выстрела торпеды? Решили разрядить запасную торпеду (на стеллажах), использовать имеющийся в ней воздух. Торцовый ключ от запирающего клапана торпеды был в первом отсеке, работали одними отвертками, топором, молотком и плоскогубцами, последние быстро сломались. При открытии клапанов торпеды вырвало запирающий клапан, воздух из торпеды вышел в отсек, давление в отсеке быстро возросло, пришлось стравливать воздух через люк. Решили взять воздух из торпеды, находящейся в аппарате № 5.

После усилий, приложенных для открытия клапана этой торпеды, дали воздух непосредственно к боевому клапану. Ввиду большого крена подлодки торпеда не выходила. Только при четвертой попытке торпеду удалось выстрелить, и она легла на грунт недалеко от лодки. Запирающий и впускной клапаны торпеды были закрыты, чем предотвращалась возможность случайного попадания торпеды в какой-либо корабль.

Перед открытием задней крышки торпедного аппарата четверка отважных спела «Интернационал». После этого все четверо надели чистые тельняшки, взяли с собой партийные и комсомольские документы и решили выходить. Включившись в аппарат, первым стал выходить Никишин, который взял на себя руководство всей операцией спасения. Никишин захватил с собой буй. Между 23 и 24 часами Никишин вышел из торпедного аппарата. Условились, что он должен дать сигнал о благополучном выходе. Сигнала не последовало. Примерно через 30 минут решил выходить Мазнин. Когда он дошел до конца торпедного аппарата, он дал сигнал выходить следующему. Ответа не получил. Решил вернуться в отсек, узнать, в чем дело, почему не выходят Зиновьев и Мареев. В отсеке в это время Зиновьев уговаривал Мареева

выходить, но последний, не выдержав колоссального морального потрясения, помешался и на уговоры товарищей отвечал бессвязно. Мазнин сказал, чтобы они выходили вслед за ним. Пополз в торпедный аппарат. Дал сигнал, но ответа снова не получил. Оказалось, что веревку буя где-то заело и Зиновьев с Мареевым сигнала не слышали. Вновь вернулся в отсек, сказал товарищам, чтобы они выходили, не дожидаясь сигнала, включился в аппарат и пошел вверх.

Зиновьев решил обождать с выходом. Попробовал все еще уговаривать Мареева. Тем временем вода в отсек все прибывала и прибывала, воздушная подушка осталась величиной в 35 см, дышать становилось настолько трудно, что моментами Зиновьев терял сознание. Достали нашатырный спирт из мед. сумки. Зиновьев начал дышать через патроны регенерации, они моментально нагревались. Дальнейшее пребывание в отсеке грозило неминуемой гибелью, а помощи не было, от Никишина и Мазнина не поступило никаких сигналов. Мареев выходить категорически отказался. Простившись с Мареевым, Зиновьев включился в аппарат, вышел, взобрался на палубу подлодки, сверху виден был солнечный свет, следовательно, решил Зиновьев, глубина небольшая (в действительности она была 20 метров). Буя не было. Всплыл. Через 15—20 минут Зиновьев был подобран катером, через 4 часа лежал уже в госпитале. Зиновьев вышел из отсека в 10 часов 30 минут, пробыв в нем 15 часов 30 минут...»

Документ заканчивается разделом «Выводы»:

«Поведение краснофлотцев Никишина, Зиновьева и Мазнина было исключительно героическим, они проявили мужество, отвагу, хладнокровие, быстро ориентировались в сложной обстановке. Их опыт выхода из затонувшей подлодки в сложнейших условиях является весьма ценным, его следует распространить среди подводников. За мужество и отвагу следует представить товарищей Никишина, Зиновьева и Мазнина к награждению орденом Красного Знамени».

29 сентября. Такова докладная записка военкома Подплава, прочитанная мною вчера перед уходом с Гогланда, ночью едва не уничтоженная и теперь переписанная в дневник.

Вот что за сутки произошло. Спрятав листки в карман, я пошел в рубку, хотел взглянуть на карту и найти Даго. Мы стояли от Даго далеко. Перед Пьяновым лежала карта шхер Порккала-Удда с пометками и стрелками, мне еще непонятными. Показав на один из квадратов, Пьянов сообщил, что там в прошлый поход командир отряда Свердлов потопил большой транспорт и едва не погиб. Его катер был подожжен сторожевиком. Хорошо, что

Свердлов успел вместе с командой перейти на другой корабль отряда. Такова война на море.

Ночью мы ушли на запад. Катер так мчался, что его било и трясло, как автомашину на лесной лежневке. Ревели моторы, не поговоришь. Все молча всматривались в бессмысленную тьму за плексигласом. Впрочем бессмысленную только для меня, еще не знающего этих вод, но ждущего чего-то неожиданного и непонятного.

Справа далеко в небе зашарили прожектора. Мы были в районе Каллбоды. Не светил для нас финский маяк. А прожектора — это, возможно, в Хельсинки: засекли звук наших авиационных моторов.

Мы уже пришли в район острова Бенгтшер, когда капитан-лейтенант приказал заглушить моторы. Пьянов ворчал: он и ночью провел бы катера в порт, но приказано ждать рассвета.

На узкой баночке без бортов возле самого люка, ведущего на палубу, матросы устроили меня на ночь. Боцман запеленал меня в три промахоренные, но жаркие шинели, на откидном столике в изголовье он поставил поистине адмиральское угощение — жестяной чайник с какао и тарелку с сахарным песком. Какао и без того было сладким, захочешь пить — нагни только чайник к подставленному рту, а сахар — это так, от широты души.

Мне казалось, что в эту ночь я не сомкнул глаз. Всё мерещилась лодка, надувные жилеты, поплавки, встречи с какими-то чудовищами и участие в дальних заплывах. Я плавал, плавал и не тонул — и это было чудом: плавать я не умею. Спал я так крепко, что даже не слышал, а лишь сознанием воспринял происшедшее: какой-то удар, грохот, падение с банки на палубу и поток липкой жидкости на лице.

Неужели тонем?! «Спокойно, спокойно, — мысленно твердил я себе, глядя на качающееся в люке небо. — Наскочили на мину или нас таранили. Сейчас здесь будет вода. Будь что будет».

По тесному отсеку с грохотом прокатился порожний чайник. Тарелка с сахаром опрокинулась на меня, но не разбилась.

Высвободив руку, я нащупал и вытащил из нагрудного кармана доверенный мне Добролюбовым секретный документ.

Но мне не пришлось заглатывать клочки бумаги.

Сверху, в открытый люк, где качалось сереющее небо, донеслась такая виртуозная брань лейтенанта Пьянова, что я сразу сообразил: мы среди своих. Он гневался на «однофамильца героя», и поделом.

Не мина поразила нас и не таран врага, а нос головного катера, на котором капитан-лейтенант А., отстранив командира, за-

теял самостоятельные эволюции. В тумане. Возле чужого маяка. Пьянов неистовствовал: еще в бою не был, а катер подбит.

Заведя пластырь на бесславную пробоину, мы пошли к полуострову.

Примечание к дневнику. После войны, работая над книгой о Гангуте, я использовал этот документ для главы о спасении Богданова-большого со дна моря. Не обошлось, правда, без курьезов. Один из первых обязательных читателей рукописи написал на полях: «Богданов должен вернуться на Ханко не из погибшей подводной лодки, а как-либо иначе. Описание гибели подводной лодки может отпугнуть молодежь от подводного флота». Такие были времена, когда в моде было подсчитывать, сколько на страницах рукописи о войне героев погибших и выживших, как будто не знал всякий на земле человек, что фашистов победили мы, что победа досталась дорогой ценой, что война связана с самопожертвованием и смертями и что, чем больше и раньше юноша узнает о ее суровости и жестокости, тем тверже он пойдет опасности навстречу, если ему ясна его жизненная цель. Адмирал Головко, в то время начальник Главного морского штаба, сказал тому пугливому читателю: «А нам не нужны матросы, которые, прочитав книгу, испугаются службы под водой». Это говорил человек, не только знавший войну, но и настаивавший на строительстве большого и сильного подводного флота. Глава осталась в книге. Герои в ней были вымышленные. А потом в печати была названа и «С-11». После освобождения Прибалтики балтийцы подняли ее и похоронили останки экипажа. Лодка погибла не от торпеды, а от донной мины, сброшенной с самолета. Трое героев дрались до конца войны. Электрик Мазнин, тот, что не раз возвращался в отсек за товарищами, после демобилизации работал под Москвой в Домодедово машинистом электропоезда. Комендор Зиновьев стал депутатом городского совета в Бологом. А Николай Никишин, торпедист, первым вошедший в торпедный аппарат, долгие годы работал лекальщиком на заводе «Союз» в Ленинграде; в ночь на 28 мая 1961 года его убили на улице бандиты.

30 сентября. В гавань вчера нас не пустили. Был час сильного артиллерийского огня. Мы стали у внешней стенки. Сверху, с огромной высоты, катерникам что-то кричали дружки.

По скобам, вделанным в стенку, держась за свисающий канат, я взобрался наверх и тут же спросил, далеко ли продвинулся противник. Вопрос, привычный на Большой земле, здесь прозвучал обидно. «Продвигаемся мы, а не противник», — ответил встретивший нас Михаил Данилович Полегаев, командир местной «эскадры», в которую входили катера охраны водного района,

всякие мотоботы и шаланды. Он протянул мне номер гарнизонной газеты, переименованной из «Боевой вахты» в «Красный Гангут». Одного взгляда на ее страницы было достаточно, чтобы почувствовать перемены, происшедшие здесь после ухода флота из Таллина. Других газет здесь теперь не получают, и эта единственная, хоть и маленькая, стала местным ЦО — центральным органом. Нужда научила ее сотрудников дорожить каждой строчкой и быть лаконичными. Тон каждой заметки — с островов ли, с перешейка ли — наступательный, а под корреспонденциями с других фронтов пометка: «Принято по радио». Газета напечатана на толстой шершавой бумаге, к тому же цветной. Боцман нашего катера взял её, помял и сказал: «Из такой не свернешь...» Мы переглянулись, вспомнив катер с рулонами газетной бумаги.

Все на гангутском берегу изменилось, омертвело, обуглилось. На всем лежит густой налет гари, копоти, все пропахло порохом, пожарищем, и уютный курортный городок, поразивший меня в начале июня чистотой и мирным невоенным видом, теперь выглядит мертвым. Дома без окон, без крыш, улицы усыпаны стеклом и осколками металла, сине-красная вывеска отделения милиции, приписанного к Ленинграду, болтается и скрипит на куске проволоки. Нет вокзала, на перроне которого перед войной торговали мороженым. Нет трехэтажного дома за железной дорогой на пути к тому лесу, в котором меня испугала табличка: «Дальше не ходить. Стреляю без предупреждения». На месте дома торчат две высоченные трубы. В три яруса налеплены на них черные круглые печи, облицованные жестью с распахнутыми дверцами топок. Печь на третьем этаже вспорота снарядом.

Нет над бухтой обелиска фон дер Гольцу и гранитных львов. Но не снаряд сокрушил этот позорный памятник, его застропили матросы и трактором сволокли на строительство дота, а гранитных львов уложили на пляж рядом с сожженным бронированным «юнкерсом».

Финская артиллерия методически выжигает город и лес вокруг него. Наши отвечают скупо, экономя снаряды: кто знает, когда их доставят с Большой земли, если так сложно сюда добираться из Кронштадта, да и сами Кронштадт и Ленинград в кольце блокады. Тут отлично сознают сложность своего положения в сотнях миль от запутанной линии фронта, но каждый из встреченных мною сегодня ханковцев говорил о местных успехах, словно именно здесь решается судьба всей войны. Не только Полегаев сказал: «Мы наступаем». Начальник политотдела базы Петр Иванович Власов, к которому я явился со своим предписанием,

тоже сообщил об успешных десантах и предложил написать в центральные газеты о наступательном порыве гангутцев. Об этом же говорит и редактор газеты Або Эдельштейн, политработник, сменивший прежнего редактора Федора Зудинова, убитого осколком снаряда на двадцать девятом дне войны.

Редакцию я нашел не сразу. Она перебралась в подвал прежнего здания штаба и помещается теперь рядом с типографией и политотделом. А штаб базы — под скалой, там над бухтой под нависшим гранитом построен роскошный флагманский командный пункт.

Человек с Большой земли — редкий в редакции гость, и ему рады, хотя он принес недобрую весть о катере с бумагой, вернувшемся в Кронштадт. Даже Петр Звонков, корреспондент «Красного Балтийского флота», бросивший профессионально-мрачный взгляд на возможного конкурента — что поделаешь, все мы, газетчики, соперничаем и ревнуем друг друга там, где есть жгучий, необыкновенный материал, — даже он покрутил свои рыжие усы и смягчился, услышав свежие новости из Кронштадта. Эдельштейн предложил мне железную койку в сырой конуре редакционного подвала. Тут мрачно, но безопасно и есть тусклый электрический свет. Конура эта, кажется, была тюремной камерой, у финнов в этом подвале размещалась каталажка при полиции. Над подвалом — три этажа просторных светлых комнат, но никто на них не зарится, они пусты, как и все другие дома на полуострове. Итак, есть койка, — значит, есть стартовая площадка для поездок по Гангуту.

Мне рассказали сегодня, как погиб Федор Зудинов.

Было воскресное утро. В седьмом часу финны открыли сильный огонь по центру города. Печатники Борис Суворов и Костя Белов торопились пропустить через плоскую машину весь тираж. Редактор зашел в печатный цех, приказал прекратить работу и пойти в укрытие. Белов пошутил: «А нам не слышно, товарищ батальонный комиссар, что делается наверху. Машина стучит и всё заглушает». Зудинов вышел. И в этот момент печатники услышали грохот очередного разрыва, шум обрушенного кирпича и свист осколков. Выбежал встревоженный Борис Суворов. Его тотчас ранило в левую ногу осколком, и он упал. Белов остановил машину и тоже побежал к выходу из подвала, но наткнулся на Суворова. Он хотел помочь Суворову, но тот сказал: «Погоди, я сам... Там, кажется, ранен редактор...» На пороге типографии лежал Зудинов, раненный в спину и в руку. Белов поднял его и понес в укрытие. Следом полз Суворов. Зудинов очнулся, когда Белов отправлял его в госпиталь. Он сказал: «Милый мальчик,

как ты меня смог поднять. Ведь я такой тяжелый...» Зудинов умер в госпитале от ран. Надолго вышел из строя Суворов. В печатном цехе остался один Белов, ночью он выпускал газету, а днем печатал листовки и брошюры политотдела. Белов обучил работе на плоскопечатной машине еще двух матросов — Михаила Федотова и Александра Шокина...

Продолжение дневника с комментариями. Я продолжал вести на Гангуте дневник и потом много писал о гангутцах. Писал потому, что именно такими представляю себе людей сорок первого года, людей поколения, которое приняло на себя первый удар страшной войны. Всюду, на всех фронтах, люди были такие же, как на Гангуте, история показала, на что они были способны в первые часы битвы. Почему же гангутцы видятся мне людьми особенными?.. С первого часа войны здесь не строили иллюзий и были готовы к трудной борьбе в тылу противника. Еще до войны матросы и солдаты здесь понимали, куда они назначены служить: случись что — база отрезана от Большой земли. А когда человек трезво сознает сложность своего положения и не разоружает свою душу ложью о мнимом благополучии, ему легче выстоять в беде. На Гангуте было решительное, смелое командование, оно не растерялось от внезапности удара, не ожидало указания и одобрения издалека, многие решения тут были приняты сразу и самостоятельно, гарнизон выстоял при первом ударе, — это и определило устойчивость обороны. Успех, добытый в первых боях, удачное отражение превосходящих по численности десантных сил и наступление наших десантных отрядов на флангах полуострова — всё это вселило такую уверенность, что ни о каком унынии или панике и речи быть не могло. Была боль за то, что происходит там, на фронтах, было желание не сидеть сложа руки, помочь, всячески помочь Большой земле, помочь в бою, самим производить все, что возможно из оружия, и не обременять просьбами Кронштадт, и была вызревшая за месяцы неимоверно трудной борьбы, продуманной и осмысленной, железная убежденность в победе, оптимистическое отношение к перспективам войны, столь крепкое, что оно сказалось на боевом пути каждого, кто окунулся в атмосферу Красного Гангута. Не вина поколения, принявшего на себя тот первый удар, что на других участках фронта сложились иные условия войны. Гангут мог быть всюду. Были сотни Гангутов в ту пору, потому так ждали на всех фронтах каждую весточку с наших бесчисленных Малых земель той поры.

Теперь, спустя десятилетия, все цифры проверены, данные взвешены, исправлены по объективным документам. Известно,

что осенью на полуостров и острова противник бросал до шести тысяч снарядов и мин в сутки, а потери при этом были невелики. Гарнизон укрылся, ушел под землю, научился строить убежища в воронках, в скалах, в граните, ночью, скрытно, хотя противник просматривал базу вдоль и поперек. Так требовали командир и комиссар базы, заставлявшие работать на строительстве укреплений всех без какого бы то ни было исключения. Многое на войне зависит от твердости и ума командира; генерала Кабанова и гангутского комиссара Арсения Расскина за эти качества любили и уважали в гарнизоне, и, забегая вперед, скажу: не случайно Кабанов и Расскин ушли с полуострова последними, за час или два раньше подрывной группы — так уходят капитаны с кораблей.

Там, на Гангуте, выработались свои измерения опасности, свое представление о фронте и тыле. Городок, где день и ночь рвались снаряды, но куда не доставали минометы и стрелковое оружие, считался глубоким тылом. Здесь, в чудом сохранившейся рощице, капитан Гранин открыл однодневный дом отдыха для десантников-островитян. На площади имени летчика-героя Ивана Борисова, рядом с которым был похоронен и Алексей Касьянович Антоненко, в пробитом снарядом здании Дома флота, окна которого были заложены мешками с песком, регулярно крутили старые фильмы, особенно «Чапаев» и «Мы из Кронштадта», хотя в часы киносеансов противник открывал по зданию огонь. Передним краем считалась просека на перешейке, где линия фронта совпала с линией границы, и острова на флангах в сорока — семидесяти метрах от пулеметных точек врага. Но и там было свое деление: на Хорсен шли ночью, фарватер был пристрелян и мой довоенный знакомец «ПХ-3» сновал туда и обратно под огнем. Но с Хорсена на Эльмхольм уже не пройдешь на «ПХ-3» или на другом буксире. Мы шли туда со Степаном Томиловым, комиссаром десантного отряда, тоже ночью, верхом на термосах с горячим борщом, в шлюпочках на веслах, обмотанных ветошью, держась подальше от лунной дорожки, когда мы на мгновение все же попали в луч ночного светила, с вражеского берега тотчас заговорил пулемет. А с Эльмхольма на Фуруэн, где не поднимая головы лежало неделю без смены отделение Гречишникова, уже лучше было перебираться вплавь или вброд, держась за борт тузика и прикрываясь им от снайпера. На таких островках спали по очереди, в дневные часы, строили не дзоты, а норы под валунами, подогревали воду в ямах, на малых кострах, отвлекая противника ложными большими кострами, кое-как мылись этой водой, используя под умывальники коробки от пулеметных

лент, горячую пищу получали ночью, и лишь тогда, когда шлюпке с Хорсена удавалось проскочить сквозь завесу огня; и держались, не отдали противнику ни одного из захваченных десантниками девятнадцати островов.

Помнится, на Эльмхольме я залез в двухместную нору под валун поспать. Послышалась стрельба на мыске против финского полуострова Подваландет. Санитар Козьмин, сочинитель стихов — стихи писал, пожалуй, каждый третий матрос, — стал дергать за ноги моего соседа-связного, с которым мы лежали на боку, почти в обнимку: «Вставай, десант!» Связной не отвечал, притворяясь, что крепко спит. Тогда Козьмин дернул мои ноги, торчащие из-под валуна. Я вылез, протер очки, достал пистолет «ТТ» и вогнал в ствол патрон. Десанта не было. Козьмин, ухмыляясь, лег на мое место. Наверно, я злоупотребил гостеприимством, и санитар правильно рассудил, что гость успеет поспать и на Хорсене; а ему надо быть бодрым, чтобы воевать... Там, на Эльмхольме, я познакомился с москвичом Колей Никитушкиным, длинноногим командиром взвода «голландских матросов», как записано в моей тетради, — и взводный, и его матросы обросли голландскими бородками, они умудрялись бородки подстригать, но не имели возможности до прихода на Хорсен их сбрить.

Кстати, Никитушкина, автора сатирических стихов в «Красном Гангуте», я встречал потом и в Кронштадте, где он редактировал «Огневой щит», и в Москве, в «Литературной газете», в «Труде», в АПН, но никогда больше не видел его с бородой. Увлечение было временное и по необходимости.

Но вернемся к страницам ханковского дневника, в город Гангэ, в редакционный подвал — бывшую полицейскую каталажку. Редактор, отведя мне постоянную койку, тут же попросил написать что-либо для газеты. Я обещал, но так и не написал. До сих пор жалею, что, возвращаясь из частей, с островов, я заваливался на эту койку, все откладывая и откладывая выполнение просьбы редактора. После того как снайпер Гриша Исаков и матросы Ивана Щербановского на Хорсене обучили меня обращаться с фотоаппаратом, принадлежавшим ТАСС, я стал фотографировать. Один из таких снимков, сделанных на острове Эльмхольм, принес мне в шестидесятые годы весточку от человека, которого я не видел больше двадцати лет, от гангутского матроса Кочергина, теперь учителя географии в средней школе города Васильевка, Запорожской области, а в сорок первом году дежурного кока. Чтобы сварить в ведре кашу, Кочергину пришлось рядом, за каменным валуном, развести второй костер — ложный и туда отвлекать огонь противника; а то ведь бывало,

что пробьют ведро и выльется из него вся каша на головешки... Я заполнял блокноты всевозможными историями, биографиями, рассказами, схемами, нарисованными рукой командира десантников Гранина, его начальника штаба Пивоварова и телефониста Червонцева, вел пропагандистскую работу, которую мне поручил Пубалт, хотя до этого никогда в жизни не произносил речей — но здесь были такие слушатели, что всё рассказывалось само со-



Иван Кочергин варит кашу на Эльмхольме. Октябрь 1941 г.

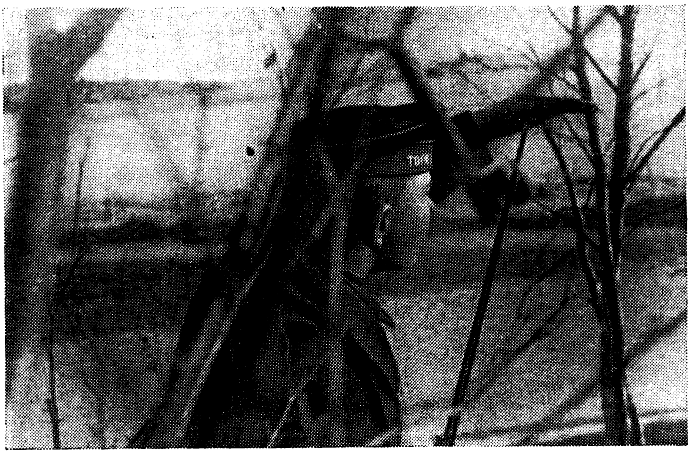
бой; затеял даже составление письма гарнизона осажденного Гангута гарнизону осажденной Москвы, напечатанного позже в «Правде» со всеми подписями, собранными мною в разных частях на переднем крае полуострова и островов, — тут сказалась старая газетная привычка к составлению таких писем-обращений во времена коллективизации; передал, наконец, в ТАСС телеграмму о ста днях обороны полуострова, использовав для этого драгоценный лимит «групп шифра», разрешенный комиссаром, — открытой радиосвязи не было, и только под «сто дней» удалось выклянчить этот лимит; а вот в газету местную не написал. По-

ленился или испугался труднодоступного ее лаконизма, мужественного и романтичного стиля.

В газете работали разные по характеру, темпераменту и способностям, но поразительные люди. А может быть, дух легендарного гарнизона сделал их такими. Коля Иващенко — легкомысленнейший парень, но там он был неистовым боевым репортером: ходил с десантами, командовал у Гранина во время боя на пристани, где разгружали боезапас, был ранен, а потом, отвоевав и перевязав рану, под сосной на ящике от патронов расстелил старую бумажную мишень и на ее оборотной стороне сочинил длиннющую корреспонденцию о матросах отряда — из этого полотнища на газетную страницу попало ровно десять строк. Женя Войскунский, матрос из Баку, писал фельетоны и очерки в несколько возвышенном стиле, и это нравилось матросам, столь склонным к сочинению стихов. Там вырос и настоящий поэт — Миша Дудин, красноармеец, автор стихов сатирических и лирических, ставший кумиром всех немногих гангутских девушек, особенно после стихотворения про Аню Молитвину «Девушка работает на складе». Дудин успевал писать и очерки о героях Гангута, и стихотворные лозунги, и стихи, пережившие газетную страницу и вошедшие в его сборники после войны. Почти все работники гангутского ЦО стали профессиональными литераторами, а медлительный Алеша Шалимов, добрейшей души человек, стал профессиональным военным журналистом.

В закутке под лестницей, сразу же против входа в подвал, где и воздух был чище, и света больше, только осколочная опасность острее, работал Борис Иванович Пророков, до войны карикатурист «Крокодила» и «Комсомольской правды». Его цинкография — линолеум, содранный с полов в покинутых домах. Он вырезáл на линолеуме портреты героев Гангута, заставки, карикатуры, рисунки для брошюр и даже латинский шрифт для листовок нашей контрпропаганды, забрасываемых через фронт во вражеский стан. Направленные против Гитлера и его многочисленных европейских союзников, листовки Пророкова и Дудина все были антифашистскими, но ни в коем случае не шовинистическими. Гитлер, Маннергейм и всякие квислинги — вот кого разили гравюры Бориса Пророкова. Он обучил многих матросов рисовать; к нему шли и с рисунками и с претензиями — почему одного нарисовали, а другого не рисуют?.. Летчик Семенов принес ему эскиз картины, посвященной только что проведенному им воздушному бою. Забрел однажды в закуток художника десантник, обитатель шхер, уверенный, что в редакционном подвале отменены все ранги и звания. Он увидел на кителе художника

белые интендантские нашивки, плюхнулся на табурет и потребовал: «Рисуй!» Надо бы скомандовать: «Встать!» Но Борис Иванович не такой человек. Он спросил только, за что же вояку рисовать. Ничего толкового тот сказать не смог, он только твердил, что жить на островах — не под лестницей сидеть. Ушел он обиженный, через неделю вернулся, снова плюхнулся на стул, сказал, что унес у финнов пулемет, и потребовал: «Рисуй!» Пророков рисовал его с полчаса. Начался артиллерийский обстрел, провода от движка вспыхнули, огонь перекинулся в закуток художника, сгорели наброски портрета. Когда пожар погасили, все надо было начинать сначала. Но матрос встал по стойке «смирно», извинился перед интендантом 3 ранга и ушел — признал.



Ключ от Гангута. Сентябрь 1941 г.

Гангутскую редакцию любили все. Бывали в ней и дивизионный комиссар Расскин, и ее прямой попечитель Петр Иванович Власов, и братья Борис и Федор Бархатовы, матрос и солдат, которым помогла найти друг друга газета, и закованный в кожу, как в бропю, любимец гарнизона капитан Гранин, которому приказали написать статью, объясняющую всем, как надо отражать десанты.

С Граниным я был дружен. Увидев меня с пресловутым наганом на боку, он спросил:

— Что это за пушка у вас болтается?.. Мелкокалиберный на-

ган?.. Скажи на милость, сколько лет искал я такой для командирской учебы — не нашел. А тут, нате: корреспондент — и разжился. Хотите меняться на ТТ? Настоящий, боевой, тульский — токаревский, а?.. Ну право же, выручите, махнем?..

Мы обменялись, и гранинский пистолет я носил всю войну. Я сразу понял, что это за человек и почему его так любили матросы, его дети, дети человека, в сущности, такого же молодого, как и они.

Дети, и верно, что дети, даже в грязи, в крови им хотелось хоть немного игры. Они повесили на ветку возле часового у базы торпедных катеров большой ржавый ключ и назвали его ключом от Гангута. Они разыгрывали сцены из «Чапаева» наизусть. Они называли себя «детьми капитана Гранина». Они вымазали бочкой тавота скалу на Утином мысу, чтобы противнику было скользко высаживаться, отлично зная, что против всех десантов, на все скалы тавоту не хватит.

В октябре я вступил в «должность» спецкора при мичмане Щербановском. Я жил на Хорсене в десантном отряде. Тетрадь каждый день пополнялась то рассказами Степана Томилова, то анекдотами веселого Анатолия Попика, частившего по телефону: «Я — Попик, я — Попик!», то записью о походе с комиссаром на Старкерн и Гунхольм, то ленивой повестью удивительного снайпера Гриши Исакова о себе, о том, как его забраковали когда-то из-за плохого зрения, а теперь на ложе его винтовки сто одиннадцать проверенных и подтвержденных товарищами зарубок.

Вот первая моя запись о главном снайпере отряда:

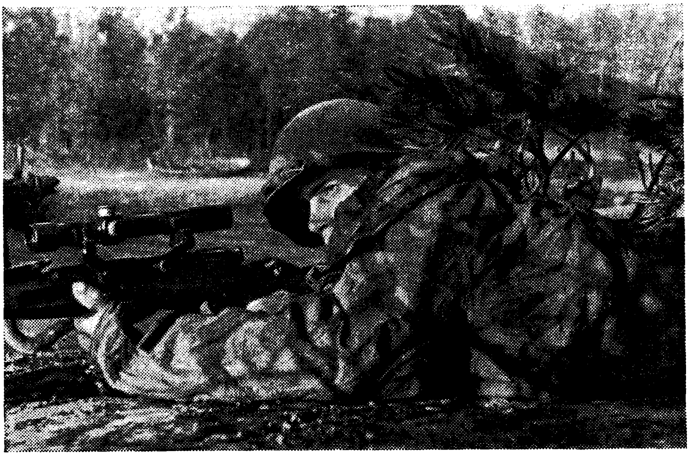
«*8 октября 1941 года.* Хорсен. Пришел Гриша Исаков, был на Гунхольме, против красного домика, сбил четырех. Утром, говорит, перебегаю — две пули у самых ног, фьють-фьють. Я не удержался, поклонился и даже «спасибо» крикнул. Не надо отмалчиваться, надо переговариваться с ними. Висит напротив моей позиции щит, закрыт елочкой, только видно по-русски: «...сдаваться», неизвестно, возможно, под елочкой вопросительный знак. Я предложил вывесить у нас ответ: «Да, сдавайтесь!». И чтоб ничем не загораживать. Они-то, вообще, с нами считаются, чутки до невозможности. Стрельнешь — тикай сразу: минами забрасывают. Покидают-покидают, можно возвращаться на место: считают, что обработали место, успокаиваются. Сегодня с шести утра лежал — ждал. Даже круженье в глазах, мутиться начало. Это после ранения стало так, зажмуришься — проходит. Все-таки дождался, четыре зарубки подтверждены ребятами».

Исаков в прошлом тракторист из деревни Пандуши под Медвежьегорском. Под его началом снайперы Резник, Симанов-

ский и Вася Желтов. Исаков никогда не говорит: «Убил». Либо «сбил», либо «снял».

Есть и такая запись:

«*11 октября.* Звонил начальник штаба сектора подполковник Кузьмин. Щербановского отсюда переводят, взамен посылают Рубцова. Капитан Тудер отвечает односложно, потом уткнулся в подушку. «Это подрыв всего, что я делаю. Пришел бы сюда и узнал, за что я его наказал. Это не по уставу». Степан Томилов его успокаивал, все к лучшему, без Ивана Петровича спокойнее



Григорий Исаков, гангутский снайпер. Октябрь 1941 г.

будет, с ним много хлопот. Попик что-то заговорил про пуговицы: как он был краснофлотцем в Севастополе и у тестя с обмундирования срезал все пуговицы, носит до сих пор. Снова пришел Недоложко за очередной порцией спирта для своих промокших «робят-плотовщиков».

Щербановский командовал еще при Гранине резервной ротой, умел пошуметь и начудить у противника в тылу, но по характеру был анархист, и капитан Тудер, сменивший Гранина в отряде, надумал характер Ивана Петровича ломать. А в это время на полуострове очень нуждались в «языке». Потом я узнал, что с гауптвахты, куда его направил капитан, Ивана Петровича, уже мичмана, вызвал Кабанов и сказал, что все ему простится, если он добудет толкового «языка». Но обязательно живого и способного говорить.

19 октября я снова записал: «Едем на дрезине в дивизион капитана Кудряшова. Всеми командует Иван Петрович. Предупреждает: «Не дай бог поправлять меня в бою». Куражится: «Увидите, что будет на островах — п-п-а-бегут, а мы их — в карман, и в к-арман, и в к-арман». Прибыли в двенадцатом часу ночи на Хесте-Бюссе, в какое-то подземелье. Промокли. Кудряшов дал мне носки, но с возвратом. Все прилегли перед выходом в десант, но не спят. Иван Петрович счастлив, что оперативный дежурный техник-интендант Филиппов, сменившись, попросил дать



Борис Гранин. Сентябрь 1941 г.

ему автомат и взять с собой. Филиппов идет «зайцем», как и краснофлотец Гриденко, сбежавший из госпиталя. Капитан Кудряшов, не найдя в кубрике, где мы лежали, «зайцев», пригрозил вслух всех по возвращении посадить на губу. Но по возвращении это уже не страшно. Иван Петрович подбадривает, каждый вспоминает, где родился и жил, а он о себе говорит: «Родился в Венеции. Но не б-удем говорить о Венеции...»

В эту ночь «языка» не было. Был захвачен остров Стушер, были взяты трофеи, автоматы, которыми в то время особенно дорожили, даже пулемет, но ни одного пленного. Иван Петрович боялся, что Кабанов исполнит угрозу: лишит его мичманского

звания. Но генерал решил обождать. Всю группу он направил на перешеек, в роту лейтенанта Хорькова, одну из самых боевых и вышколенных рот стрелковой бригады Николая Павловича Симоняка. О доблести Щербановского здесь много слышали и читали, но его анархический дух был всем чужд. Между тем, по телефону был получен категорический приказ содействовать Ивану Петровичу во всем — только бы привел живого «языка».

Я не буду рассказывать подробностей этой вылазки, уже описанной мною в «Гангутцах»: «языка» Иван Петрович принес, толкового «языка», разговорчивого, умеющего, но не желающего воевать и готового рассказать обо всем, лишь бы выйти из войны. В схватке перед финским дотом этот резервист успел наставить Ивану Петровичу и над глазом и под глазом фонари. Победа была омрачена. Стыдно мичману перед пехотой.

В землянке командира батальона Якова Сидоровича Сукача «языка» отогрели, обласкали, его окружили разведчики с картами и блокнотами наготове. Пленный неплохо говорил по-русски.

На столике стояла доска с шахматами. «Язык» взглянул на своего победителя и окружающих его матросов и предложил ему сыграть.

В шахматы Иван Петрович играл на уровне гроссмейстера из Васюков, где происходил описанный Ильфом и Петровым знаменитый блицтурнир: е2—е4 — и пешку в карман. Но не принять вызова Щербановский не мог.

Резервист был на шахматной доске более бдителен, чем возле дота, где его спеленали матросы. Он выигрывал пешку за пешкой и фигуру за фигурой. Щербановский, не глядя на окружающих, особенно на пехотинцев, приговаривал:

— П-адумаешь, пешка, мы вас и без пешек побьем... П-адумаешь, ладья...

Названия фигур он все же знал.

Когда он потерял ферзя, он вскочил, напялил мичманку, схватил автомат, смахнул шахматы с доски и прошипел:

— Знал бы, я бы тебя, гада, там п-рикончил...

И увел свое понурое войско из расположения пехоты.

Я поплелся за ним, как верный спецкор.

Мы пришли в городок, в Дом флота. Показывали в который раз «Мы из Кронштадта». В фойе перед сеансом толпился народ. Я держался ближе к Ивану Петровичу и его спутникам.

Кто-то взял меня за плечо и резко повернул. Вот не ждал: это был капитан-лейтенант А., однофамилец героя!

Когда мы прибыли на полуостров, я, конечно, рассказал генералу Кабанову про все его художества и про истинного ви-

новника повреждения боевого катера в тумане — не Пьянову же было отвечать за побитый корабль. «Однофамилец героя» по моей вине угодил на гауптвахту. Прошло много дней — это он стоял передо мной, держа меня за плечо и глядя мутными глазами. Неужели ему дали «полную катушку», и он до сих пор сидел?..

Он меня уничтожил взглядом, потом сказал:

— Знал бы, утопил бы тебя, гада, там, по пути...

Матросы рассмеялись, только мичман смотрел оторопело: он не мог понять, в чем дело, кто это так ловко его копирует. Неужели его шахматное посрамление уже получило огласку за пределами расположения пехоты?

«Однофамилец героя» принял смех матросов на свой счет. Он зарычал:

— Уведу свой флот в Кронштадт!

Гангут ему определенно не нравился. Но Кабанов уже отстранил его от командования флотом, и капитан-лейтенант А. в этот день заливал горе. С первой оказией его отправили в Кронштадт. Больше мне не довелось его встретить. Не знаю, может быть, война потом перевоспитала и его, может быть, он поумнел на фронте и стал другим. Потому я и не называю здесь его фамилии. Пусть так и останется: капитан-лейтенант А. — однофамилец героя.

Таинственный союзник

В одну из октябрьских ночей я находился на острове Хорсен.

Не ищите его на картах мира, он нанесен только на очень подробных мореходках, среди бесчисленных шхер возле Ханко. Издалека он кажется необитаемым. Над водами залива нагромождено безо всякого смысла множество скал, обломков гранита. Чуть подальше от берега есть и земля, будто насыпанная в громадный каменный горшок и прикрытая от ветров толстым слоем мха. На этой земле растут сосны, их было много, но каждый день их подсекала и жгла война. Вот таким и представляешь себе робинзонов остров.

Когда-то на Хорсене действительно жил какой-то финский Робинзон, он построил в лощине на северной стороне из дикого камня дом и посадил там картошку. Говорят, ночью он уходил на баркасе к чужим берегам, зачем — неведомо никому. В доме был погреб, в погребе надолго остался винный дух, но бочонка со спиртом, за-

копанного в песок, как это случилось на острове Осмуссаар, тут матросы не нашли, хоть и не отчаялись еще докопаться до него.

Остров достался нам таким же пустынным, как и весь Гангут. Владелец Хорсена сжег свой дом и куда-то уехал. Хорсен заняли пограничники и матросы поста наблюдения. Среди сосен осталась их вышка. Лестница наверх сгорела.

Война обнажила скалы острова, выжгла на нем лысины, покорежила лес и от единственного дома не оставила даже стен. Только труба торчит над половиной погреба, превращенной в лазарет. Пациенты отрядного врача Кротова не желали уходить из погреба в подземный госпиталь полуострова: то ли отсюда ближе до десантного отряда, то ли нравился им неистребимый винный дух, оставленный тут нарушителем скандинавских сухих законов.

Внезапно остров оказался нужен всем — и противнику и нам. Его отбили финны. Наши вернули. Он стал переходить из рук в руки, пока на нем не закрепился Гранин с отрядом. К осени Гранин покинул Хорсен, вернулся в артиллерию на Утином мысу, передав отряд Льву Тудеру, капитану.

В скале, в котловане возле восточного берега, в тесном капонире, отделанном со всем доступным на острове комфортом, был КП отряда.

Начальник штаба Попик, он сменил Федора Пивоварова, присмолил к столу свечку, насыпал из ракетного патрона в жестянку мыльного порошка и, взбив белую пену, намылил свои темные, давно не бритые щеки.

Тудер сидел по другую сторону стола на узенькой койке, перебирая струны гитары. Он вполголоса напевал:

Жил в Берлине Гитлер с Риббентропом,
На восток направился он с гопом...

А комиссар Степан Томилов, мой друг и почти земляк, крутил рычажки радиоприемника, ловя станцию имени Коминтерна и вовсе не интересуясь смачным сюжетом песенки, исполняемой командиром.

Эфир был засорен предельно. Пищали морзянки о кораблях, нашедших могилу на дне морей. Гундосила какая-то дама, убеждая жителей Суоми, что тощий паек и бомбежки — это от бога, надо терпеть. Гнусавил джаз

нейтрального кабака. Языков было много, но Москву, нашу родную Москву Томилов никак не мог поймать. Кто-то заговорил по-русски — с таким акцентом, что Томилов стукнул по динамику кулаком, бросил свое привычное «Бенц!» и врастяжку произнес:

— Я тебе погнусавлю, сорока прóклятая. Хоть бы научились по-русски Ленинград называть. А то: Лэнинград, Лэнинград... — И, переключив волну, снова побрел по свету.

За фанерной перегородкой сидел оперативный дежурный Коля Манин, писарь отряда. Возле него — несколько телефонов, связывающих Хорсен с передовыми островками. Манин, обхватив голову руками, читал чертовски интересную книгу Густава Эмара. Он проглатывал две—три строки о прериях, о лихих всадниках, но тут пищал телефон, Манин с досадой засекал ногтем интересное место, раскрывал штабной журнал, схватывал одной рукой трубку, другой — перо: «Утка» слушает, «Утка» слушает! Обстрел «Ворона» финскими минометами?.. Записал. Опять добро переводят зря. С пеленга 123? Понято. Продолжайте наблюдение». И снова — прерия, всадники, стрелы, далекий неведомый край.

Сегодня Манин получил из Москвы письмо. Пишет девушка. Она прислала ему фотокарточку.

Милая девушка. И мне она понравилась, когда я взглянул в этой конуре среди скал холодной Балтики на ее юное печальное лицо. Девушка, девушка, милая москвичка! Сколько радости ты доставила нам в ту беспокойную ночь, на чужбине, своей маленькой фотографией. Она не принадлежала Манину, нет. Это была наша общая ласточка оттуда, с Большой земли, где не один из нас оставил кусок сердца. Мы все грезили в ту ночь о тебе, нам хотелось, чтобы над тобой светила такая же луна, холодная, но спокойная, чтобы ее не затмила никакая тень и чтобы совсем не было больше этих теней над землей.

Томилов переключал приемник то на короткие, то на средние.

Слабо, едва слышно прорвалась Москва. Тудер отложил гитару. И Манин в своей дежурке оставил Густава Эмара, тише отзывался на телефонные вызовы. Мы слушали знакомый домашний голос, то далеко-далеко, то, кажется, рядом, за перегородкой.

Шум пришел извне, откуда-то со стороны. Послышался протяжный свист, потом свист за свистом и глухие удары, будто кто-то настойчиво, нетерпеливо стучал сверху в нашу нору.

— Ах вы, лоботрясы белобрысые, — рассердился Тудер, — послушать не дают. Манин, запросите острова об обстановке.

Манин вызывал остров за островом, тихо повторяя: «Обстановочка?»

Остров, зашифрованный под именем «Сокол», доложил, что слышит на Фурушере перестрелку.

— Так там Резник с ребятами? — сказал Томилов.

— Точно, — подтвердил Тудер. — Щербановского ко мне.

На финском острове Фурушер находились семеро разведчиков под командой снайпера Резника. Они вышли туда загодя, в единственный темный час вечера, когда солнце уже скрылось, а луна еще не взошла. Финны приходят на тот остров редко. Разведчики незаметно высадились, обшарили скалы и лес, отправили обратно шлюпку и сигнальным фонарем дали на соседний остров «буки». Там прочли этот сигнал и доложили на Хорсен, что разведка осталась в засаде. И вот теперь на Фурушере перестрелка. Видимо, там произошло столкновение и нужна помощь.

Щербановский явился на КП через несколько минут.

— Отправляйтесь на «Сокол», — приказал ему командир, — оставьте там часть своих людей, с остальными — к Фурушеру. Действуйте по обстановке. Все восемь должны быть сняты с острова. Ясно?

— Ясно, т-товарищ командир, — заикаясь подтвердил Щербановский. — Иван Петрович не п-адведет товарищей, — он ушел, закинув за плечо свой трофейный, добытый со дна залива автомат «Суоми».

— Неисправим, — сказал Томилов. — Но в бою — надежный человек.

Мы перешли к Манину. Судьба восьмерых наших товарищей зависела сейчас от быстроты действий Щербановского, и мы ждали вестей с «Сокола», с Фурушера, с других островов, настораживаясь при каждом писке телефонов. Манин отложил в сторону Густава Эмара. Он держал наготове перо и левой рукой прижимал к уху труб-

ку телефона, связанного с «Соколом». Оттуда докладывали ежеминутно.

Юное пухлое лицо Манина раскраснелось, вот блеснули его глаза:

— «Утка» слушает, да, Иван Петрович, это я, Манин! — прикрыв рукой микрофон, он радостно доложил: — Товарищ капитан, главстаршина уже там, у аппарата!

Тудер взял трубку:

— Что там происходит, Щербановский?.. Бой на Фурушере?.. Человек плывет? Следите за пловцом.

Манин записал в журнал, что с Фурушера на «Сокол» плывет человек.

Мы сидели молча. С «Сокола» то и дело сообщали: пловец приближается. Ему надо проплыть семьсот пятьдесят метров в ледяной воде. Кто он? Что там произошло?

— Т-оварищ командир, — докладывал с «Сокола» Щербановский, — луна п-роклятая здорово светит, финики всё видят... Т-оварищ командир, они бьют снарядами по воде... П-ловца заметили, бьют по нему... Ныряет, м-аладец, в т-акой холод ныряет... В вилку его взяли... Ох как бьют и в нас бьют... Держится, т-оварищ командир, держится... Что-то кричит, не разобрать... Шлюпку просит, шлюпку. Сейчас возьмем его...

«Сокол» замолчал. Наверно, там побежали к берегу вытаскивать пловца.

Но вот снова мы услышали голос Щербановского:

— Т-оварищ командир, это Родионов, мой Родионов. Совсем г-олый приплыл. Сейчас з-з-аверну его в шинель и дам к ап-парату.

Через минуту к аппарату подошел Родионов. Он докладывал с трудом, сбивчиво — замерз.

Оказывается, финны, готовя куда-то десант, решили перебросить ночью на остров большую группу солдат. Четыре катера спокойно шли к своему острову. Наши разведчики подпустили катера почти к берегу, но не дали десанту зацепиться, открыв перекрестный огонь. Внезапность обстрела да вдобавок еще несколько связок гранат привели противника в смятение. Катера заметались, один пошел ко дну, остальные развернулись и ушли. С них доносились стоны, крики. Но было ясно, что вскоре они вернутся с подкреплением, тогда горстке бойцов несдобровать. Нужно было просить помощи и дальнейших указаний. Родионов, молодой, худенький парнишка,

прозванный в отряде за политическую развитость комиссаром, быстро разделся и рискнул поплыть к «Соколу».

— Наш, — тихо сказал Манин, — московский...

Тудер, ярый ленинградец, свирепо взглянул на Манина:

— Занимайтесь своим делом. Передайте Щербановскому, чтобы Родионову дали спирту и обогрели. Сам пусть отправляется с катером на Фурушер и снимет всех разведчиков до одного. Всё. Исполняйте.

Тихая октябрьская ночь давно стала шумной. Финны били уже и по Хорсену, и по «Соколу», и по своему Фурушеру, по бухтам и фарватерам, мешая нашим катерам выйти на помощь разведчикам.

Щербановский, по донесению «Сокола», ушел на Фурушер. Долго не было известий. Наблюдатели видели разрывы возле катера Щербановского и потом потеряли его из виду. Это были тяжелые минуты.

Наконец наблюдатели снова увидели катер Щербановского. Но и противник, заметив маленькое суденышко, решил не упустить его. Финские батареи били с трех направлений. Разрывы приближались к катерку. Щербановский, опытный моряк, маневрировал, но гибель казалась неизбежной.

— На чудо рассчитывать не приходится, — сказал Томилов. — Придется поклониться Жене Вержбицкому. Давай, капитан, попросим у них огня.

Тудер соединился с полуостровом, доложил обстановку и попросил открыть контрбатарейный огонь. Ему обещали ввести в дело тяжелую артиллерию. Но не успел капитан назвать цели, как у Манина на столе запищали один за другим телефоны наблюдательных постов.

— Кто-то бьет по финским батареям трассирующими снарядами!.. Видим разрывы на финском берегу!.. Батареи противника прекращают огонь!.. Катер вырвался из зоны обстрела!..

Мы переглянулись. Кто же помог нам в самую тяжелую минуту, кто спас разведчиков и команду катера? Кто этот неожиданный союзник?

Мы вышли из командного пункта на волю. Над островом стояла удивительная тишина, нарушаемая редкими ударами каких-то орудий и гулом далеких разрывов. Даже плеска воды не было слышно. Мы осторожно пошли к заливу, прыгая с камня на камень, и по скользким

уступам поднялись на высокую скалу, где возле одинокого, из гранита выросшего дерева стоял краснофлотец-часовой. В сторону от Хорсена, среди темных массивов соседних островов, над черной водой, отполированной лунным лучом, вспыхивали орудийные выстрелы. По небу, вслед за вспышками, метеором пролетали трассирующие снаряды, оставляя красные следы.

— А-а, — протянул Тудер, — теперь я знаю. Это наш охотник. Он патрулирует в этих водах. Молодцы, вот молодцы! Вовремя и точно.

Вскоре все стихло и на нашей и на той стороне. Мы вернулись в скалу.

В журнале боевых действий Манин записал: «Разведка с острова Фурушер благополучно снята. Задание выполнено. Потоплен один катер противника. Есть раненые на других катерах. Сорвана высадка финнов на их же остров. Краснофлотец Николай Родионов проплыл под огнем 750 метров с донесением. Решающую помощь оказал катер МО».

С разрешения командира Манин добавил: «Наш таинственный союзник».

Разведчики сушились на «Соколе». Мы ждали их.

Манин опять открыл Густава Эмара.

Тудер шутливо произнес:

— Сражение при Фурушере окончено, — и, вновь взяв гитару, запел:

Жил в Берлине Гитлер с Риббентропом,
Он в поход отправился галопом.
На гангутцев он нарвался,
С перепугу он устал.
И домой... без Попика вернулся...

— Некультурно, — сказал Попик. — И не остроумно. Что значит, устал?!

— Не нравится? — удивился командир. — Как ты считаешь, Степан: не пора ли нашему начальнику штаба поработать с пополнением?

— А что, вполне возможно, — откликнулся Томилов, снова занятый у радиоприемника поисками голоса Москвы. — И ночь лунная, спотыкаться не будут.

Попик покорно надел каску, взял автомат и пошел обучать пополнение. Он знал свой грех: муштровать пополнение он не любил.

Позже я узнал, кто был тот таинственный союзник. Возле Хорсена патрулировал катер лейтенанта Феофанова, бывшего пограничника, еще до войны он трижды задерживал шаланды нарушителей. Теперь он входил в гангутскую «эскадру Полегаева». Не дожидаясь просьб с Хорсена, Феофанов сам и всегда вовремя открывал огонь, посылая трассирующие именно туда, куда требовала боевая обстановка. В отряде не знали ни командира катера, ни его команды, но за товарищескую помощь этот охотник прозвали на островах так, как записал Коля Манин: «Наш таинственный союзник».

Отголоски Моонзунда

В конце октября на полуострове появились люди, в которых легко было опознать нездешних. Пришельцы из других мест всегда как бы оттеняют качества людей, к которым привыкаешь, позволяют взглянуть на них со стороны и сравнить. Тем более во время войны. Люди с Эзеля и Даго были теми же балтийцами, но при этом людьми сданного противнику архипелага, и хотя к ним на Гангуте относились по-дружески и с сочувствием, но всегда звучал немой вопрос: почему? Этот невысказанный вопрос, отношение как к пострадавшим при кораблекрушении, влияли на поведение пришельцев. Одни были слишком молчаливы, другие суетливы и разговорчивы, словно все время оправдывались, уравновешенной середины не существовало.

На полуострове понимали: то, что произошло на Моонзундском архипелаге, может начаться и здесь. Покончив с Таллином и материком, противник в сентябре занялся Эзелем, в октябре — Даго, выходит, по логике войны, очередь за Гангутом. Похоже, хотят покончить с очагами нашего сопротивления на Балтике. Немцам, вероятно, казалось, что при общих колоссальных стратегических успехах такие очаги в глубоком тылу фронта — пустяк, не влияющий на разворот войны. Но в этой войне пустяков не было, каждый очаг нашего сопротивления играл роль двойную, если не тройную. Прежде всего окруженные и, кажется, обреченные войска сковывали значительные силы, отвлекали их от направления главного удара и становились препятствием, не учтенным в планах мол-

ниеносной войны: Моонзундские острова вместе с Осмуссааром и Гангутом помешали флоту противника проникнуть до ледостава в Финский залив, к берегам Кронштадта и Ленинграда. Для народа, потрясенного таким нашествием и крушением иллюзий о незыблемости границ, всякий мужественный пример становился ободряющим, разжигал негаснущую надежду на будущее, поддерживал упорное «а все-таки она вертится» в человеке, убежденном в правоте своего дела и в обязательном торжестве справедливости — иначе на черта жить. И третье несомненное последствие долгой борьбы горсток наших людей на малых землях — в море ли, в лесах, в горах — воздействие на противника, на его спесь и самоуверенность: ничто так сильно не обезоруживает нападающего бандюгу, как мужество и самоотречение противной стороны.

Пытаясь овладеть архипелагом, фашисты действовали по шаблону и обожглись. Их первые десанты успеха не имели, на дно моря отправилось до сотни катеров и всяких шлюпок с десантниками. Уничтожены были и парашютисты, сброшенные в районе батареи старшего лейтенанта Василия Букоткина, провалился и десант с семи планеров — на каждом по шестнадцать солдат, о чем с гордостью мне рассказывал тогда полковой комиссар Копнов, начальник политотдела, подчеркивая, что это у немцев — первая после Крита попытка использовать в войне планеры. Овладение архипелагом стало не просто «зачисткой», а потребовало серьезных военных усилий. Цифры потерь противника на Эзеле и Даго велики. Это не только потери сухопутных войск, но и урон, нанесенный нашими кораблями, батареями и авиацией германским морским силам в бухте Лыу, в Ирбенском проливе. К этому надо добавить и тот исторический факт, что с Эзеля морские летчики летали бомбить Берлин, во что немцы вначале не поверили, приняв это за налет англичан, а когда разобрались, нанесли такой ответный удар, что, казалось, остров затрещал. Но дело было сделано, и, несомненно, что бы теперь ни говорили о безумстве этого налета, о его фантастичности — ведь летчики летали на Берлин на старых изношенных, непригодных для такого рейда машинах, — его моральный эффект был велик. 1941 год, сорок первый! Немцы рвутся к Москве, Ленинграду, а наши летчики бомбят Берлин.

Архипелаг был впереди. Все силы обрушились на него. Гангут, тоже выдержавший немало штурмов, издалека помогал защитникам Эзеля и Даго всем, чем мог: мотоботы, катера, боевые, драчливые, хоть и старенькие, гангутские самолеты — все было брошено на помощь. Дело историков разбирать успехи и неуспехи войны за Моонзундский архипелаг, ошибки предвоенного строительства обороны и планирования операций, но бесспорно одно: гарнизон там дрался самоотверженно и герои неповинны в том, что многие их усилия оказались бесплодными. Еще тогда, осенью 1941 года, генерал Кабанов считал отход войск Эзеля на полуостров Сырве, или, как его называли, на мыс Церель, ошибкой: создать там свой Гангут не удалось — лучше бы отвели части на Даго, чтобы там сосредоточить кулак, такой же, как на Осмуссааре и Ханко.

Целые страницы в моей гангутской тетради заполнены рассказами командиров и политработников архипелага, цифрами, итогами, они справедливо говорили, что про оборону этих островов следует писать так, как пишут про Гангут. Я спросил дивизионного комиссара Зайцева: «А где же ваши газетчики, где редактор? Вот им бы и писать». Он помрачнел. Газетчиков не было. Ни одного из сотрудников газеты не смогли с Эзеля снять.

На Даго все происходило яснее: дрались до последнего рубежа, уходили с последнего клочка обороняемой земли — с маяка Тахкуна. С Эзеля ушли раньше. чем на нем окончились бои. Командир архипелага на Гангут не пришел, он улетел в Ленинград. О тех, кто согласно его приказу отходил на запад, на Церель, ничего вразумительного услышать не пришлось, говорили: возможно. они прорвались на побережье Рижского залива и партизанят на материке, возможно. ушли на плотах в Швецию.

Кто-то из островитян рассказывал про маленький Рухну в Рижском заливе — там смотритель маяка. из бывших белых офицеров. сформировал свое — уездное — правительство. сам он стал премьером, между сельским старшиной и его помощником распределил остальные портфели, но армию ему создать не удалось, и он подвел под всю свою государственную деятельность черту, заявив: «А полицейским буду я...»

Во всем этом слышался отголосок большой нераскрытой трагедии.

Много лет спустя я встретил в Таллине двух офицеров с Эзеля, которые имели возможность и право дополнить то, что сообщали о нем люди в 1941 году. Вениамин Михайлович Харламов был начальником артиллерии Балтийского оборонительного района. Иван Гаврилович Фролов — интендантом в штабе. Капитан Харламов — однокашник Гранина, Барбакадзе, Тупикова и других известных на Балтике артиллеристов; ему было 26 лет, когда Кабанов написал в аттестации: «Достоин продвижения на коменданта БОБР». Эту должность занимал человек, пострадавший в ежовщину и с тех пор испуганный навсегда, о котором говорили, что он боится шаг ступить без санкции уполномоченного особого отдела. В конце сентября капитан Харламов был аттестован майором и действительно продвинут по службе: его вызвали в штаб и предложили расписаться в приказе, которым на него возлагалось командование всеми войсками Эзеля. Прежний командир со штабом тут же погрузился на катера и перешел на Даго. Харламов и Фролов подтвердили, что организованная борьба продолжалась до 5 октября, потом сопротивлялись отдельные группы.

Мне рассказывали моряки с эсминцев, ходивших в Стокгольм с визитами дружбы, про странного господина, прозванного «вахтенным у трапа». Каждое утро он приходил на набережную к подъему флага, снимал шляпу и стоял «смирно» у трапа, слушая русскую речь и вглядываясь в лица матросов. Утверждают, что это военный инженер с Эзеля, занесенный морем в нейтральную страну, интернированный там и «вышедший из войны».

Харламов и Фролов скрылись на Эзеле в бункерах у эстонских подпольщиков. Фролову, как интенданту, довелось снабжать организуемое загодя подполье продовольствием. В трудную минуту он воспользовался былыми связями. Бункера приходилось менять, потому что часть подполья провалилась. Так они продержались на острове до глубокой зимы.

Когда Рижский залив покрылся льдом, оба решили перебраться на материк. Но Харламов и его спутник ночью заблудились и вместо материка попали на другой мыс того же острова, в руки эсэсовцев. Морозной ночью их погнали босыми по снегу к какому-то пункту на дамбе, гнали и били, загнали в какой-то склеп, снова били, раздели догола и швырнули в цементированную яму.

Так начались четыре года скитаний и мук по концлагерям и тюрьмам фашистского государства. Гестаповцы с помощью власовцев терзали Харламова, склоняя к предательству: от него требовали письма к старшему брату, советскому адмиралу, который возглавлял в то время нашу военную миссию в Лондоне.

В сорок пятом году Вениамин Харламов, возвращенный на флотскую службу, был арестован по оговору матроса-телефониста, в прошлом гитлеровского полицая. Сам полицай вскоре получил по заслугам, но оговор сделал свое.

Я рассказываю об этом коротко: Харламов восстановлен в партии, он человек поистине железной воли и силы духа, сумел после освобождения сдать экстерном экзамены на штурмана и судоводителя. Теперь он плавает на гидрографическом кораблике, поддерживает оснащенность и освещенность фарватеров в тех районах Балтики, где когда-то воевал. Он помнит героев Эзеля — и погибших, и живых. Мне хочется еще написать о нем, потому что это тоже рассказ о сложных судьбах нашего поколения — поколения сорок первого года, и знать об этих судьбах надо всё.

Две банки шпрот и краюха хлеба

Ночью я уходил на охотнике с полуострова. Карманы брюк, кителя, шинели были набиты всякой всячиной, вплоть до носков, полученных на Хесте-Бюссе у капитана Кудряшова «с возвратом», но так и не возвращенных. Мою полевую сумку забрал некий разбитной сотрудник, вытряхнувший все мои вещички прямо на койку: он ушел на Осмуссаар, пришлось эту вольность ему простить. Много набралось бумаги — обрывки из блокнота, заполненного каракулями при лунном свете так, что сам не разберу; пачка писем солдат и матросов родным — во все адреса Большой земли, часть из них пришлось потом прочесть перед микрофоном ленинградского радио, они были адресованы или в места, занятые врагом, либо туда, где шли бои; несколько листов ватмана, свернутого в трубку, на последних страницах — подлинные подписи гангутцев под письмом москвичам, текст письма я должен был тушью вписать на эти листы — они теперь хранятся в Военно-морском музее; и, наконец, тетрадь в твердой,

цвета корабельной брони обложке — гангутская тетрадь, заполненная записями не только про бои, но просто про жизнь на полуострове и островах: так и не удалось до сих пор написать про то, как очищали от змей остров Греншер и не очистили, пока не пустили туда ежей, или про конюха, который жил возле аэродрома. Этот конюх доставлял армейцам почту на старой гнедой кобыле, кобылу под ним убило осколком, он дополз с почтой до места, и армейцы подарили ему прекрасного белого коня, но на белом коне ездить нельзя было до снега, впору камуфлировать его, а когда выпал снег — гарнизон ушел с Гангута на новые рубежи.

На Гангуте я подружился с инструктором политотдела Юрием Наумовичем Полещуком, выпускником политпросветинститута имени Крупской, человеком страстным, хорошим лектором, с доброй душой и вечно грустными глазами. Его Галя, ожидающая ребенка, эвакуировалась в первые дни войны и жила на Урале или за Уралом. От нее не было вестей. Мы, конечно, обнаружили общих знакомых: в юные годы я работал в Свердловске, знал газетчиков Урала, а брат его жены был уральским газетчиком. Не так много требуется для дружбы на фронте: общая беда, общие знакомые, вместе пережитая опасность или вместе проведенная бессонная откровенная ночь. Это — дружба надолго, и военные журналисты дорожат друзьями, приобретенными в годы скитаний.

Полещук пришел на пирс. Он принес письмо Гале, незапечатанное — а вдруг представится возможность прочесть письмо по радио, — потом сунул в мои и без того переполненные карманы подарок: две банки шпрот и краюху хлеба. Я не хотел этого брать. Полещук не считался ни с какими доводами, молча пропустил мимо ушей даже аргумент о всемогущем аттестате, который вступит в действие в первый же час прибытия в Кронштадт. Откуда мне было знать, что положение в Кронштадте изменилось, и продовольственный аттестат не обладает прежней емкостью.

На Гангуте кормили отлично, даже сверх всяких аттестатов. Шел я однажды с острова Руссарэ на «ПХ-3», тащившем на буксире баржу. На фарватере рвались снаряды, за борт свесился матрос с ведром. он то и дело командовал рулевому: «Право руля! Лево руля!..» На барже был капитан 2 ранга Даймитов, начальник плаву-

чих средств: видя, как рыскает под огнем буксир, он схватил мегафон и крикнул: «Молодцы ребята, хорошо уклоняетесь!» Но вот обстрел прекратился, а буксир продолжал рыскать. Даймитов разглядел матроса с ведром, управляющего маневром. «Ах вы, крохоборы несчастные, — донеслось с баржи. — Мало вам морского пайка, ухи захотелось!..» Так что и глушеной рыбки на полуострове хватало, долго вспоминали потом матросы гангутский паек. При эвакуации корабли вывезли в Ленинград муку, ею кормили население блокированного города в течение шести дней. Но много продовольствия осталось на полуострове. Главное — вывезти всех людей, и Кабанов справедливо запретил всякую самодеятельную погрузку сахара или шоколада. А морякам, приходившим из голодного Питера, больно было смотреть на брошенный на причале мешок сахара, для которого не хватало на корабле места. Борис Митрофанович Гранин утверждал, что такому мешку с сахаром он и оставшаяся с ним группа заслона обязаны жизнью. Гранинцы закончили подрыв батарей, когда все корабли уже ушли. На пирсе лежал мешок сахара, явно приготовленный к погрузке. Гранинцы решили: за ним придут. И не ошиблись: вернулся за ним командир одного маленького тральца, нашедший на своем перегруженном кораблике место и для сахара, и для запоздавших матросов с их командиром. Так оно было в точности или нет, трудно сказать, во всяком случае, могло и так быть. Но это в декабре. А когда я уходил, про голод в Ленинграде почти никто не знал.

Существовало в те дни незыблемое правило: раз не пишут про это в газетах, нечего и разглагольствовать. Мой друг Полещук, как дисциплинированный работник политотдела, ничего не сказал мне, насильно сунув подарок в шинель.

На причале Кабанов и Расскин провожали гостей с архипелага.

Охотник лейтенанта Евгения Червонного вышел в штормовое море. Червонный нервничал: когда много начальников на корабле — лейтенанту худо. Тут знай одно: держись железно за корабельный устав.

На мостик то и дело выбегал молоденький адъютантик, спрашивая, не сбился ли командир с курса и не заведет ли он всех нас, в том числе и его начальников в

кают-компании, противнику в пасть. Лейтенант, сжав зубы, отвечал, что курс верный и лезть врагу в пасть ему тоже неохота.

Ни я, ни беспокойные пассажиры в кают-компании не знали тогда, что этот лейтенант, которого то и дело дергают обидными вопросами, уже побывал в пасти врага. Именно в пасти, буквально. Как практикант Херсонского мореходного техникума, он ходил на транспорте «Степанов-Скворцов» в республиканскую Испанию и попал в концлагерь Франко, где провел немало горьких дней, пока его не вызволило наше правительство. Такова была морская практика Евгения Червонного, юноши из Херсона, командира балтийского охотника № 212.

Меньше чем через год после нашего ночного похода Червонный, уже будучи командиром звена дивизиона, погиб в бою, его похоронили на кладбище возле балтийского аэродрома. Он много успел за год войны: отразил десять торпедных атак, сбил, сопровождая транспорты, четыре самолета, один сбил сам, своими руками, получил орден Красного Знамени и заслужил глубокое уважение друзей-балтийцев. В его кителе на берегу нашли незапечатанный конверт, адресованный Наталье Андреевне Бородай, с припиской: «В случае смерти — переслать» — и фотокарточку с надписью: «В дни войны и опасностей, когда познается дружба, Николаю Л. от Евгения Ч. 15.03.42 г. Ленинград». Карточка была предназначена катернику Николаю Ливому, другу Червонного. А письмо — жене, он с ней учился в школе, дружил с детства; она встречала его на границе, когда он возвращался из франкистского концлагеря, потом стала его женой, в июне приезжала в Таллин, но муж был в море, и ее встретил Степан Степанович Жамкочьян, батальонный комиссар, человек, которого очень любил Червонный и все балтийские катерники.

Степан Степанович в августе 1942 года на Кроншлоте дал мне копию письма Червонного жене. Тогда невозможно было переслать письмо адресату: Наталья Андреевна поселилась в Орджоникидзе, туда пришел враг. В Херсоне осталась мать Червонного с младшим братишкой. Письмо на Кроншлоте прочли, Степан Степанович решил, что оно должно стать достоянием всех воюющих людей. В копиях оно разошлось по всей Балтике.

Червонный писал, как человек, понимающий, на что

он ежедневно и ежечасно идет и к чему должен быть всегда готов. «Я не отношусь к категории мрачных искателей смерти на поле брани. Смерть находит оправдание тогда, когда приносит пользу. И играть жизнью без расчета недостойно человека. Это не значит, что надо бояться опасности. Много возможностей представлялось быть на берегу. Но я, как многие мои товарищи, выбрал море, где больше опасностей и риска, зато там можно найти полное применение себе и принести максимум пользы. Проще — было желание: отдать всё, что имеешь».

Письмо настолько простое, чистое и эмоциональное, что пересказывать его бессмысленно. «Будь умницей, — писал в конце письма Червонный. — Не надо сильно печалиться. Ведь этим не поможешь. Прими всё как должное. Устраивай свою жизнь счастливо, чтобы могла пожить и за меня. Вспоминай иногда Женьку, но без грусти, а с мыслью, что он погиб не напрасно. Будь счастлива. Любящий тебя Ж.»

В ту ночь я ничего этого о командире катера не знал. На мостике, нахлобучив капюшон куртки, стоял задерганный старательным адъютантом лейтенант, угрюмый, неразговорчивый. Он и сам, видно, тревожился, понимая, сколь ответственна поставленная перед ним задача. Она заключалась не только в благополучной доставке пассажиров к нашим берегам — этого Червонный уже хлебнул осенью, во время таллинского перехода, когда подобрал, спас в море почти три сотни тонущих, не спрашивая их рангов и званий. Командование поручило ему разведать путь, по которому пойдут другие корабли, тайно от противника снимая с Гангута гарнизон. Лейтенант терпеливо сообщал адъютанту курс, хотя знал, что в кают-компании этих сообщений все равно не поймут — там сидели товарищи боевые, но не мореходы. А когда испуганный адъютант снова прибежал на мостик с приказанием повернуть обратно, поскольку погода, мол, сложная, да ночь темная, да курс неясен, лейтенант впервые вышел из себя:

— Передайте тем, кто вас прислал, что катером командую я. И во время похода пассажиры любого звания не вправе вмешиваться в мои функции. Ясно?.. Можете идти и больше не возвращаться на мостик.

Мы продолжали поход. Под утро мы пришли на Гогланд. Пассажиры сошли на берег, желая отдохнуть и

дальше следовать на другом корабле. Я спросил лейтенанта:

— Не попадет?

Он воззрился на меня рассеянно, не понимая, что может тревожить в подобной ситуации нормально мыслящего человека. Сообразив, он сказал:

— Не беспокойтесь. Я действовал строго по уставу. Пусть жалуются в Военный совет. Только не думаю, чтобы жаловались. Не думаю.

Годы спустя, начав разбираться в морской жизни, я понял, что именно из таких, как этот лейтенант, вырастают настоящие адмиралы. Но ему было двадцать три года. И наивысшее его звание было — старший лейтенант. Так и осталось ему навсегда двадцать три, прожитые на свете не зря.

В Кронштадте в общежитии Дома флота я нашел Всеволода Вишневского и Анатолия Тарасенкова. Узнал, что зачислен в писательскую группу при Пубалте и должен отчитываться не перед Добролюбовым, а перед Вишневским. Для меня были приготовлены даже новенькие сапоги, не положенные во флоте. Правда, слишком шикарные, чуть ли не шевровые, лучше бы кирзовые, но все равно хорошо.

Рассказывая о Гангуте, я попросил поесть. Тарасенков принес кипяток и два тоненьких кусочка хлеба. «Как скупо», — подумал я, достал из шинели две банки шпрот и свою краюху, она больше походила на хлеб, чем ломтики на столе. Товарищи налегли на шпроты и краюху, а я пожевал их невкусное угощение и ушел спать голодный и обиженный.

Только на другой день я узнал, что значили эти два кусочка кронштадтского хлеба, предложенные человеку, который еще не предъявил аттестата и не стал на довольствие.

РАСПРОКЛЯТАЯ ЛОТТА

Петренко и Шостак никогда раньше не были друзьями и даже просто знакомыми, хотя оба в один и тот же день прибыли с Украины на флот — один с Черниговщины, другой из Бердянска, и обоих доставил на Гангут один и тот же воинский эшелон — транзитом через Хельсинки и Порккала-Удд. Служили они врозь — один на батарее зенитной, другой на батарее морской. Свела их и сблизила случайность, вернее, беда.

Оба уходили с полуострова в декабре.

Когда на минном поле подорвался громадный турбоэлектроход, Петренко и Шостак искупались в ледяной балтийской воде. Их подобрал невеликий кораблик по имени «Рым», что в переводе на человечий язык означает: «Железное кольцо».

Кораблик был действительно железным, если выдержал эдакую перегрузку. Извлеченные баграми из залива и снятые с тонущих судов, заледенелые люди стояли на палубе в затылок друг к другу, но командир, стиснутый на мостике со всех сторон, умудрился не раз подойти к борту турбоэлектрохода, чтобы поймать прыгающих сверху, прямо на головы уже ранее спасенным, десяток-другой счастливцев. Толпа с глухим стоном проглатывала их, а «Рым» проскакивал мимо махины, грозящей его раздавить, чтобы снова описать круг и еще разок проскользнуть под тем же бортом, уже кренящимся к воде. Казалось, командир, на все махнув рукой, действует как загипнотизированный, но наконец он сошел с заколдованного круга и лег курсом на восток.

Раньше своего будущего друга на борт «Рыма» был принят Петренко, потом подняли на палубу Шостака. Пет-

ренко стоял с краю, прижатый к леерной стойке, и его левый бок был открыт всем ветрам. Справедливее опоздавшему пристроиться с краю и прикрыть бок готового потесниться матроса. Но опоздавший, как тотчас выяснилось по его поступкам, был парень не промах. Он умудрился вывернуться вправо и оттеснить Петренко к борту. Петренко смекнул: с новичком надо держать ухо востро. Обоих тряс озноб, но оба безмолвно оттискивали друг друга, не желая уступать и миллиметра завоеванной палубы. Потом оба почувствовали друг в друге нужду и, перестав отталкиваться, прижались боками потеснее. Минимум свободы был потерян, зато стало теплее, и оба начали оттаивать и сыреть. Петренко не мог отогреть только ноги в примерзших к палубе флотских ботиночках. К тому же стыл незащищенный левый бок. Соседа окружающие прикрыли с четырех сторон, и Петренко зло подумал: «Ловкач». В следующие минуты его мнение о характере соседа круто изменилось.

С полубака то и дело доносился голос:

— Человек за бортом!

«Рым» шел настолько перегруженный, что уже походил не на боевой надводный корабль, имеющий ватерлинию, а на притопленную баржу или на Ноев ковчег, начавший погружение. На возгласы впередсмотрящего командир не реагировал.

Но вот вслед за криком: «Человек за бортом!» — раздался чей-то простуженный бас:

— Не человек, а женщина!

Странное дело: и командир, и умеющий устраиваться сосед Петренки среагировали одновременно, словно в них сработало одно и то же реле. Командир скомандовал: подойти к женщине левым бортом. А ловкий сосед с удивительной прытью вывернулся справа налево к леерной стойке и громко выразил готовность эту женщину спасать.

Как ни сжаты были на палубе люди, они потеснились. Стоящие рядом развернулись на шкафуте лицом к воде. Они подхватили охотника на руки, опустили его, крепко держа за ноги, головой за борт, готовые по первому сигналу поднять вместе со спасенной наверх. Разумеется, Петренко принимал во всем деятельное участие. Он убедился, что у соседа длинные руки, тощее костистое тело и не менее длинные ноги, обутые в новенькие кирзовые

сапоги. «Ловкач», — снова подумал Петренко, но уже без прежней злобы, а с досадой, что сам оказался лопухом и не обулся, уходя с Руссарэ, в сапоги, хоть и не положенные по штату, или даже в лётные унты, которых тьма-тьмущая валялось в брошенном охраной складе в порту. Впрочем, в унтах он наверняка пошел бы топором ко дну. Так что и в скромности есть свой резон.

«Рым» медленно двигался навстречу тонущей женщине, в сумраке трудно было подробно ее разглядеть. Спущенный за борт матрос кричал, чтоб она подала ему правую руку. Наконец она его поняла, но матрос благим матом заорал:

— Ратуйте!.. Тягайте!..

Его выдернули наверх, и, лязгая зубами, он объяснил, что женщина прямо ему в лицо выставила пистолет.

Корабль трижды повторял маневр. Снова спущенный за борт матрос уговаривал женщину бросить пистолет, но она, болтаясь на густой волне, очевидно, ничего не соображала и поднятую с оружием руку не могла опустить. Левой рукой она впилась в спасательный круг. Все поняли: если она не в себе, может и выстрелить.

— За волосы хватай! — советовали сверху, и «Рым» сделал четвертый заход.

Матрос схватил тонущую за обледенелые косы. Они были толстые и скользкие, лед хрустел в руках. Матросу удалось намотать их на кисть левой руки, правой он облапил ее лицо, пошевелил ногами, и снова его потащили наверх.

Женщина была почти голая — в темных плавках и в облепившем ее торс свитере. В следующее мгновение свитер затвердел и превратился в броню.

Матрос поднял женщину над головой, как неживую куклу, полагая, что толпа раздастся и пропустит его к люку машинного отделения. Но другие подхватили его добычу, из рук в руки передали следующим, женщина, хлеща косами по лицам матросов, поплыла по рукам и внезапно исчезла в чреве корабля.

Петренко добровольно уступил соседу прежнее место. Некоторое время он молча косился на тощего рыцаря в кирзовых сапогах. Потом спросил, как звать.

«Рым» продолжал путь на восток и за ночь дочапал до

Гогланда. Петр Петренко и Николай Шостак познакомились, хотя было произнесено не больше десятка слов.

На Гогланде многих пассажиров ссадили, освобождая палубу и мостик. Шостака, а заодно и его друга оставили на «Рыме», разрешив следовать в Кронштадт.

Оба тотчас отправились проведать спасенную. В лазарете сильно пахло спиртом. Корабельный фельдшер уже который час подряд приводил в чувство пациентку, энергично растирая ее стройное и без того красное тело. Она лежала на койке с закрытыми глазами, с оттаявшими на подушке, еще влажными, темного золота косами. Косы хотелось потрогать как чудо, Шостак запоздало жалел эту женщину за причиненную ей боль.

В руке она все еще держала зажатый пистолет.

Над изголовьем, на барашках задраенного иллюминатора, сушились синие с белой каемкой плавки и неопределенного цвета ворсистый свитер.

Фельдшер рванул на женщину простыню и нагло выдворил спасителей из лазарета.

Друзья притулились позади мостика, одурманенные запахом спирта и пережитым.

В Кронштадте девушка сошла на берег сама. Пистолет она выпустила из рук, но командир оставил его ей на память. Ее одели во всё матросское, и командир лично переговорил с ней в своей каюте. Приказав сопроводить ее до проходной, он предупредил: с вопросами — не приставать.

Говорили, что она эстонка, то ли служила медицинской сестрой, то ли была переводчицей. Под свитером как будто был зашит в клеенку объясняющий ее документ. Она была высокая, тонколицая и, кажется, сероглазая, но не умела улыбаться. Улыбка у нее была притушенная, улыбаясь, она не разжимала рта.

Сойдя с корабля, эстонка слегка кивнула всем сразу и зашагала к проходной, не обращая никакого внимания на провожающих ее Петренко и Шостака. А может быть, она не знала, кто именно ее спас.

Какой-то дежурный представитель долго ее опрашивал. В окошко проходной друзья видели, как спокойно она распахнула перед представителем шинель, как пожала плечами, когда тот отобрал у нее пистолет, как невозмутимо дожидалась результата телефонных перегово-

ров и с какой независимостью направилась к выходу в город, сопровождаемая краснофлотцем с винтовкой.

Оба матроса подскочили к решетчатым воротам порта. Шостак, глядя своей эстонке вслед, вздохнул:

— И верно, что чокнутая. Даже не обернулась.

Петренко сказал:

— Или наша, или шпионка. Одно из двух.

— А может и наша, и шпионка?

— Наши шпионками не бывают, — сердито сказал Петренко. — У нас разведчицы.

Оба вернулись на «Рым», чтобы отправиться в экипаж строем, вместе с остальными гангутцами.

Странную эту эстонку оба парня постарались забыть, хотя в лыжном батальоне, куда их определили служить, про рыцарство Шостака матросы еще долго чесали языки. Кончилось тем, что к нему прилипла благородная, но не отвечающая его натуре кличка Донкихот. Скорее уж Донжуан. Только прозвище себе не выберешь.

Потом иные дела заслонили эту историю, и она была напрочь забыта. Правда, Шостак иногда эстонку вспоминал, но внезапно он обнаружил, что не слышал ее голоса, не знает имени и даже не уловил цвета ее глаз. Воспоминания были расплывчатые, и образ постепенно блек.

Лыжный батальон нес вахту на льду. Пока залив не замерз, между Кронштадтом, Ораниенбаумом и Ленинградом ходили боевые корабли и транспортные суда. Немцы не совались в залив даже на веслах, зато на берегу они понаставили орудий и пулеметов, понавезли прожекторов, понавесили аэростатов, понапихали всюду наблюдателей и корректировщиков, но закрыть фарватеры им не удалось. Пространство между кронштадтским рейдом, Южным берегом, где на узкой полосе закрепились наши войска, и Невой стало фронтовой коммуникацией. Каждый переход — боевая операция. Фарватеры закрылись только зимой. Возникла нужда в боевом охранении между линиями фронта. Места дозорных кораблей заняли подвижные заслоны матросов-лыжников, секреты и заставы. Матросы сооружали на льду крепостцы из снежных кирпичей, как в детстве во дворах. Только строили по-взрослому, применяясь к местности, используя естественно сложившийся рельеф, всякие там торосы, ропаки и вмерзшие в лед корабли. От крепостцы к крепостце шел хорошо спрятанный телефонный кабель, он вел в Кронштадт,

на Военный угол, где находился дежурный резерв, оперативный штаба и главный телефон. Каждые два часа люди в саванах и с выкрашенными белой краской автоматами начинали оттуда путь по маршруту: Военный угол — вмерзшая на фарватере баржа с налезшим на нее буксиром. Там кончалась линия кронштадтских дозоров, секретов и застав. Оттуда строго на юг шла линия застав сопредельной фронтовой державы — ораниенбаумского дозорного отряда. Такое сочетание и взаимодействие попутало однажды агента, снаряженного немцами через Ораниенбаум в обход Кронштадта на финскую сторону. Ораниенбаумские посты шпион точно изучил и благополучно обошел, а на кронштадтские нарвался, считая себя уже на ничейной полосе.

Зима была лютой, службу несли на почти ровном, всем пургам открытом льду. Одевались потеплее: на бушлат — ватник, на ватник — маскхалат, белый, как саван, под капюшоном савана — ушанка, под ушанкой — шерстяная шапочка, подшлемник. На ноги накручивали портянки из байковых одеял: одеяло на куски — и порядок. Правда, при сорок втором номере обуви приходилось раздобывать себе валенки размера сорок шесть. На всякой приличной базе, как в магазинах в мирные времена, есть залежи обуви неходовых размеров, за что обычно матросы поругивают вещевиков. В ту зиму нерадивую обозно-вещевую службу благословляли: сорок шестой размер стал в Кронштадте самым модным и ходовым.

Петренко и Шостаку приходилось вначале отправляться на вахту врозь. Главный старшина, командир их особого резервного взвода, внушал, что для экономии кадров и сохранения сил лучше ходить в дозор по-одному. Чем больше сменщиков, тем больше между вахтами перерыв. Но два происшествия принудили главстаршину изменить свои взгляды: один из дозорных нарвался на шестьдесят немцев, не успел предупредить своих по телефону, завязал гранатный бой и погиб раньше, чем пришло подкрепление; другого дозорного немцы накрыли плащ-палаткой и унесли к себе — ведь не только мы, иногда и противник брал «языков». Главстаршина согласился на парные наряды, и с тех пор Петренко и Шостак всегда ходили в дозор или в секрет вдвоем.

Были на то и другие соображения. От голода мутнело в глазах, и вдвоем в таком состоянии всегда лучше, чем

одному. Между прочим, от голода спасали всякие фронтовые поощрения, положенные за успех. В Кронштадт или мимо Кронштадта к сестрорецкому берегу шли по льду и перебежчики, и шпионы. Свой перешел — ничего за него не дадут. Задержали врага — наградные обеспечены: шоколад, спирт, а то и шефская посылка из Ташкента или солнечной Алма-Аты — кишмиш, рахат-лукум и всякое такое прочее.

Доводилось и наших разведчиков пропускать на тот берег. В таких случаях всегда вызывали наверх главстаршину. Возвратясь, он так и сочился тайной, глухим голосом давал руководящие указания, все время, пока шла переброска, дышал в связанный с боевым охранением телефон, и, как только Петренко, Шостак или другой матрос подавали сигнал, что некая, лица не имеющая фигура миновала секрет, он клал трубку и куда-то исчезал. Остальным за такую переброску поощрений не полагалось, наверно, потому, что не следует возбуждать к подобным операциям лишний интерес.

В конце декабря в дозоре Петренко и Шостак услышали с той стороны странный шум. Сначала вроде бы заурчал мотор. Потом на льду рассыпался треск. Донеслись чьи-то голоса, после чего все стихло и дозорным осталось лишь ждать. Со стороны Петергофа кто-то шел будто напролом. Предупредив заставы, дозорные приняли шедшего как в западню, зажали, чтоб не пикнул, и поволокли.

Он был тяжелый и тяжело одет: в меховом комбинезоне, в настоящих унтах и без маскхалата. Назвался летчиком, но отвечать на вопросы не желал. Шостак, пугая, предложил его качнуть и даже раскулачить.

— Я вот те качну на берегу, — сказал задержанный таким тоном, что Шостак мрачно подумал: «Свой».

На Военном углу это подтвердилось.

Возле Петергофа сел на вынужденную на лед наш «МБР-2», сменивший поплавки на лыжи. Возле гидросамолета залег экипаж, летчик пришел за помощью в Кронштадт.

Главстаршина, тоже злой, что попался летчик, а не шпион, сказал:

— Нужен фрицам ваш «лапоть». Без шнапса они к нему и носа не сунут.

Шостака толкнуло:

— Товарищ главстаршина, у противника сейчас самый шнапс. Сочельник.

— Откуда тебе такое знать! Ты что, из немцев, что ли?

— Я ж с Приазовья, — Шостак даже не обиделся. — У нас там живут колонисты. Наши немцы, советские. Которые из лютеран, празднуют рождество раньше наших богомолов ровно на тринадцать дней. Так что сегодня есть шанс: у них там будет пьянка, можно к берегу подойти.

Нужны были добровольцы, потому что никто не обязан идти к вражескому берегу и вытаскивать оттуда неисправный самолет. Готов был пойти весь резерв: «лапоть» — «лаптем», а все же боевая единица.

Главстаршина отобрал десятерых: вместе с экипажем — вполне достаточно, чтобы толкнуть самолет к нашему берегу. Шостака и Петренко он в эту десятку не включил: после смены им положено было отдыхать.

Шостак лежал на койке в холодном кубрике резерва, ежился под тремя шинелями и размышлял. Черт дернул взять с Ханко не харчи, а сапоги. Наказывал же ему опытный человек: бери, мол, с собой килограммов семь сухарей, а он увлекся обмундированием первого срока. Не учел кронштадтскую обстановку. Шостак и не подумал, что все равно на всю зиму сухарями не запастись. Не вспомнил он и про то, как тонул и погибал. Ему мерещились ржаные сухари, говяжья тушенка в жиру и суп.

Петренко настолько сроднился с Шостаком, что ему в эту минуту тоже мерещился суп: перловый, на мясном бульоне, с паром. Не съеденный в день прихода с «Рыма». Надо же быть таким лопухом — отказаться от двух мисок супа с хлебом, предложенных ему и каждому из гангутцев на торжественном обеде в столовой. К ним подошли, как к героям. Уважили. Угостили. Оркестр выставили на эстраду. А они отвернули нос. Почему, видите ли, не приготовили компота. Оркестранты это отвергнутое угощение рубанули потом — будь здоров! А он с Шостаком обиделся. Скуповато, мол, встречают, прижимистый в тылу народ. Зачем только присылали на Руссарэ таких лекторов, как тот, что прилетел перед самым концом из Кронштадта! Два часа про всё на свете говорил, только про голод не сказал ни словечка. В кубрике, когда вернулись с неудачного обеда, кто-то заикнулся было про людей, умирающих в Ленинграде на улицах с голоду, но тут же испугался и добавил: «Сам лично не видел, может, и

брешут». Вот тебе и брехня. Говорили бы сразу правду, куда бы легче привыкать...

Когда друзья снова вышли на Военный угол, самолет уже стоял на нашей земле. Немцы по случаю сочельника действительно перепились, и, чтобы уволочь уже обнаруженный противником самолет, пришлось только снять часового с помощью экипажа, дожидавшегося прихода матросов. До середины залива самолет толкали сообща, а там летчику удалось на остатках бензина запустить мотор, и ребята прокатились на «лапте», как на аэросанях.

Поощрение летчики выхлопотали всем: по сто граммов спирта и шоколад. Посылок получить не пришлось: они, оказывается, входят в другой фонд. Вроде бы в фонд бдительности.

Так матросы тянули зиму, вспоминая Гангут, сытую жизнь под огнем и все легкомысленно упущенные добавки и угощения. К марту совсем ослабли — такие ЧП, как с самолетом, случались не каждый день. И проклятые шпионы не шли. Пришлось вахты в секретах и подвижные наряды сократить до сорока пяти минут. Чтоб не засиживался человек, не дремал и не поддавался миражу.

А миражи стали истинным бедствием, особенно в сумерках, на снегу, ослепительном и однообразном, — просто не преодолеть.

Однажды под вечер Петренко и Шостак пошли в секрет. Падал густой, теплый и пушистый снег. Все перед глазами заволокло — идешь по привычке, нюхом, чутье ведет, а не глаза.

Шостак вдруг тихо говорит:

— Гляди! Черт из-за Котлина на нас летит!

— Не черт, а облако, — спокойно сказал Петренко.

— Облако, — передразнил Шостак. — Это как смерч на море крутит. Никогда не видал?.. И я не видал. Говорят, вертит воронкой, столбом к небу. И петляет. Видишь, по льду петляет!.. Может, и пурга тоже закручивает смерчи?..

— Это у тебя от спиртяги петляет, — успокоил Петренко. — Ты свои пятьдесят закусывал?

— Локтем. Вернемся, может, у главстаршины разживусь.

— Без закуски и баба померещится.

— Верно, Петро. А пахнет-то как, чуешь?

— Бабой? — насмешливо спросил Петренко.

— Чесноком.

— Ну да: колбасой полтавской.

— Ага. Колбасой.

— И галушками?

— Не. Колбасой.

— А ну тебя к дьяволу.

Петренко замолчал. Облако ли, копна или снежный смерч, но что-то будто и верно надвигалось со стороны острова Котлин. Чтобы прогнать наваждение, он щелкнул автоматом и закричал:

— Стой, чертово отродье, на минах подорвешься!

И облако стало. Остановилось.

Петренко снова лязгнул автоматом — облако колыхнулось, взмахнуло крылами и окуталось вьюгой.

Чего только не померещится, когда заговоришь про горилку, галушки и полтавскую колбасу с чесноком.

Облетел, осыпался снежный пух. Волнами к подножию опал и лег полукружием мягкий, почти невидимый тюль. Перед матросами возникла стройная фигура в обыкновенном маскхалате. Женщина!

Петренко и Шостак не сводили с нее глаз и автоматов. Проклятый мираж. Неужели и запах — тоже мираж?..

А запах шел неотразимый, забытый запах довоенных времен. Таких галлюцинаций за всю зиму не бывало.

Боясь попасть друг перед другом впросак и не веря самим себе, оба, не опуская автоматов, робко двинулись навстречу миражу и на ощупь убедились, что это действительно женщина. Со всеми реальными признаками плюс пистолет калибра 7,65 марки «Зауэр», вещмешок с двумя десятками завернутых в пергамент бутербродов — всевозможных, не наших бутербродов, хрустких и таких тонюсеньких, что страшно бумагу развернуть, и два круга копченой колбасы — домашней, прочесноченной, точно такой, какую жрал в сороковом году финский жандарм на подножке транзитного вагона Выборг — Хельсинки — Гангэ, в котором и Петр Петренко и Николай Шостак следовали к месту назначения в арендованный район.

Шостак опустил вещмешок на снег и вызвался обыскать привидение поглубже. Бог его знает откуда он извлек блокнот с не распознанными в полутьме пометками, подробную карту с зигзагами и стрелами цветным карандашом и снял с запястья пленницы компас, — словом,

полное снаряжение на проход от финского берега к немцам в Петергоф.

Петренко зорко следил за каждым его движением, борясь со слюной и подавляя соблазны.

Ободренный успехом, Шостак готов был углубить поиск. Но Петренко, как старший в наряде, остановил его.

— Где надо — прощупают без нас, — сказал он, глотая слюну. — Это — Лотта. Как дважды два.

Пленница, окаменело сносившая обыск, шевельнулась.

— А ты почем знаешь, как её звать? — спросил Шостак.

— Темный ты человек, Николай, — строго произнес Петренко. — «Лотта Свярд» — это женская фашистская организация у белофиннов. «Лотты» — они жутко коварный народ. Способны на всякую подлость. Иди, доложи куда надо.

— А может, у нее там мина, — расстроился Шостак, он не спешил уходить. — Замедленная. Сам же говоришь, что подлая. Нажмет и взорвется. Потом за нее отвечай.

Но все же Шостак пошел в укрытие и позвонил главстаршине.

По вызову пришла смена. Охотников прощупать эту Лотту прибавилось. Сменщики сочли себя вправе сунуть нос в вещмешок. Начался спор. Ребята говорят:

— Вам с Шостаком за нее дадут по «азиатской». Это верняк. Оставьте нам бутерброды и колбасу. Ей-богу, всего не сожрем. Для взвода сохраним. А то попадет к особистам — ни вам, ни нам. Сами сожрут.

Петренко, в котором определенно тлел огонек будущего политработника, сказал:

— А вдруг пища отравлена?..

— Дай ей пробу снять, — нашелся самый нахальный из сменщиков.

— Съест, не подавится, — сказал Шостак. — «Лотты» — они все могут. Даже специально отравиться.

— Так уж они и носят с собой отравленное?!

— А что же ты думаешь? — вошел в роль Шостак. — Жутко коварный народ. Видишь, слушает она нашу баланду и хоть бы хны. А ведь знает, стерва, по-русски. Про мины сразу поняла.

— Может, у нее там крестиком помечено, что есть можно, а чего нельзя? — не сдавался самый нахальный из сменщиков.

— Ладно тебе с твоими крестиками, — рассердился Петренко; не встревая в спор, он пристально наблюдал за «Лоттой».

Она до сих пор не издала ни звука, не сдвинулась с того места, где ее остановил оклик, стояла как неживая, не поднимая головы в капюшоне, не встречаясь ни с кем взглядом и вроде бы даже не прислушиваясь. Такая выдержка и нарочитая невозмутимость встревожили Петренко. Он решительно скомандовал:

— Айда на берег. А то с вами тут с ума сойдешь.

Взяв пленницу за плечо, Петренко развернул ее лицом к Кронштадту, ткнул автоматом в спину и повел. Шостак подхватил вещмешок, поднял из снега и отряхнул легкое марлевое покрывало, сброшенное пленницей, и, комкая его на ходу и запихивая за пазуху, нагнал товарища.

Конвоировали молча. Пройдя полдороги, Шостак сказал:

— А ведь все, что с ней вместе сдашь — все пропадет. Скажут, к делу пришпилили. А на ней знаешь какой свитер — пуховый, как на моей эстонке.

Пленница молниеносно взглянула на Шостака. Петренко цыкнул:

— На какой это твоей эстонке, рыцарь?! Лишнее болтаешь!

На Военный угол вышли в полной тьме. Петренко наказал было Шостаку присмотреть за «Лоттой», а сам шагнул к дежурке. Но передумал, остался, забрал у Шостака вещмешок и послал его за главстаршиной.

Шостак в дежурке не задержался. Он сказал, что главстаршина велел его не ждать и вести задержанную в разведотдел, откуда уже трижды звонили.

Петренко, опять цыкнув на болтливого товарища, пнул пленницу в спину, и они зашагали дальше по кронштадтским сугробам.

Вскоре, запыхавшись, их нагнал главстаршина. Решил сопровождать лично.

У Шостака разыгрался аппетит: «Птица важная. Могут и по две дать!»

Возле разведотдела их поджидал малознакомый лейтенант.

— Надеюсь, не мародерствовали? — с подчеркнутой вежливостью осведомился он.

На такое оскорбление матросы не сочли нужным отвечать.

Им сказали, что они свободны, не пригласив даже войти. Пленницу ввел в разведотдел главстаршина, за ним входил вежливый лейтенант. Шостак вдруг вернулся, догоняя лейтенанта, наткнулся на часового, сунул ему смятый белый комок и заносчиво сказал:

— Передай эту тряпочку товарищу лейтенанту.

Он шел рядом с Петренко и поругивал главстаршину: одни задерживают — другие получают. Зря проманежились, пенки снимет главстаршина. Вернется, как всегда, веселенький и виноватый.

Петренко не одергивал и не возражал. Он был расстроен и озадачен. По всем правилам полагалось задержавших допросить: где, что, как, когда, при каких обстоятельствах, не выболтала ли чего важного эта «Лотта», не выкинула ли по дороге цидулки, явки, не пыталась ли раздавить ампулу с ядом — да мало ли еще о чем расспрашивают даже тогда, когда задержанный — не шпион, а ничего не стоящий перебежчик. А тут — женщина, с картами, с пистолетом немецкой марки, с иностранными бутербродами и белофинской колбасой! Что-то в этом деле разведчики мажут!

Шостак шел и балабонил:

— Правильно ты сказал, Петро, что они — стервы коварные. Название я запамятовал, я больше от колонистов про Лота из библии слышал и про его каменную жену. А про эту организацию тоже слыхал, но забыл. Говорят, одна такая «Лотта» в дупло под коронку прятала план наших фортов. Тонюсенький такой, на шелку, потоньше этого ее покрывала. В комочек — и туда. Могут даже на искусственный глаз пойти. Очень свободно. Как в брошюре про коварные методы. Фанатички. Здоровый — по боку, а под стеклянным — фотоаппарат. Она тебе моргает и — цок-цок — фотографирует.

Петренко не слушал. В его голове вертелся-крутился фантастический вариант. Если прошлепают разведчики, надо позвонить чекистам в особый отдел.

У самого кубрика их догнал вежливый лейтенант. Он извинился за свою шутку, обоих по-быстрому опросил и приказал поставить язык на якорь. В руки Петренко он сунул какой-то пакет.

Увы, не бутерброды и не колбасу. Дудки! В пакете

был свитер — пуховый, ворсистый, верблюжьей шерсти.

В кубрике Петренко напялил его на себя. Хоть зима к концу, свитер на крайний случай не хуже колбасы.

Шостак подошел, пощупал, сплюнул и сказал:

— С нее. На моей утопленнице был помягче — и то я не взял. В грудях не жмет?

Главстаршина вернулся под утро. Мрачный, угрюмый, как всегда, распираемый тайнами. Он сел на койку в теплом углу, дыхнул так, что на весь кубрик разнеслось, вопросов не дождался и сказал сам:

— Ноль целых, ноль десятых. Вот так.

Первым отозвался Шостак:

— То есть как так ноль. Не дадут?

— Дадут по шее — скажешь спасибо.

— Так она же «Лотта»!

— «Лотта» или не «Лотта» — не твоего ума дело. Сами не предупредили, как положено, а я виноват, что сорвалось. Тако-ой прокол! — словно передразнил он кого-то. — Ну, чего фонари вылупил? — рявкнул он на Шостака. — Скажи спасибо, что свитер получил.

— Какой такой свитер?

— А тот, что тебе эта чертова девка подарила.

Шостак ничего не понял.

Петренко поднялся с койки, содрал с себя свитер и швырнул его приятелю.

Шостак, как в дурмане, погрузил в него голову, глубоко и громко вздохнул, издал утробный звук, вдел руки в рукава и блаженно вынырнул из горловины.

— Вот это да, — произнес он, осененный. — Свитерок. Везет мне на утопленниц. Такого ворсу в жизни не носил.

Петренко лег на койку и отвернулся. Шостаку послышалось: «Распроклятая «Лотта»!»

— Лотты разные бывают, Петро, — сказал Шостак. — У нас в Бердянске тоже жили Лотты. Вполне свои. Как это я не догадался косу пощупать?..

КРОНШТАДТСКАЯ ТЕТРАДЬ

Не опускаться!

Зимой 1942 года районный комитет Коммунистической партии в Кронштадте издал самое короткое из постановлений тех времен: «Не опускаться!» Оно было обращено к партийному активу и ко всем гражданским жителям. В те месяцы работать секретарем сложнее всего было человеку, у которого и бабка жила тут испокон веков и считалась самой старой жительницей города, и отец тут родился и всю жизнь проработал на судоремонте, и братья тут выросли и отсюда ушли воевать. У такого секретаря не только много знакомых и друзей, но много родни. А секретарь в голодную зиму должен быть человеком, свободным от личных привязанностей, хотя трудно тому отказать в папироске, тому в куске хлеба, устоять, слыша человеческое: «Не дай умереть, Женя». Но благодетелем становиться нельзя. Секретарем райкома был Евгений Иванович Басалаев, кронштадтец, и ему тяжко было говорить старикам, знавшим его с пеленок: «Помрешь в постели — даже в морг не отвезут. Помрешь на улице, в сугробах, с лопатой в руках — похороним в гробу».

Жизнь складывалась именно так. В дни, когда люди падают на улицах, когда в морге — не просто трупы, а твои знакомые лежат, надо не дать городу стать арктической пустыней, позаботиться, чтобы по улицам можно было ездить и ходить, не допустить загрязнения нечистотами, помочь обзавестись саночками, чтобы возить из колонок воду — хоть одними на каждый жилой дом, сохранить, насколько возможно, от разрушения замерзшую канализацию, отопительные системы и водопровод, соби-

рать в детский дом ежедневно сиротеющих детей и самим не зарасти волосами и грязью, когда нет нормально действующих бань и парикмахерских. Райком стал штабом борьбы за человеческий облик кронштадтцев.

Что значило не опускаться? Прежде всего, следить за собой, бриться, мыться хоть снегом и, главное, быть занятым, даже если не можешь работать на заводе. Только не слечь без дела — тут конец наверняка.

Город остался без электроэнергии. Чтобы подать в трубы воду, надо запустить хотя бы движки. Но где взять горючее, если все, что на учете, забрано в Ленинград. Поставили трактор с компрессором и выжали сжатым воздухом все осадки из нефтепровода, со дна нефтеналивных барж и цистерн кораблей. Дали ток и воду.

Всю зиму работали баня и парикмахерская. Райком занимался устройством душа для рабочих на Морском заводе, вошебойками и сбором рухляди для топок. В городе не было ни одного случая тифа.

Кронштадтские школы начали занятия третьего ноября. Остались только пожилые учительницы. У Ольги Константиновны Тихоновой, кронштадтской учительницы, обучались несколько поколений моряков. После революции она преподавала в Народном университете — вечерней матросской школе. Ученики приходили на занятия строем, ротами. Учились год за годом, с единственным перерывом на время кронштадтского мятежа. Школа закрылась после двенадцатого выпуска. Ольга Константиновна осталась в Кронштадте в год блокады.

Зимой в школе на Ленинской улице надумали устроить елку. Город — под обстрелом, часто прерывали урок, чтобы школьники помогли старшим перенести малышей из яслей в бомбоубежища. В часы бомбежек и обстрела дети занимались под землей, в темноте. Дети, конечно, считали, что никакой елки не будет. А елку устроили как до войны — матросы доставили в Кронштадт ель высокую, разлапистую, украсили ее игрушками и даже осветили током от движка; но главное — в кафе на Ленинской улице Елизавета Яковлевна Малкина, педагог, устроительница елки, и Ольга Константиновна Тихонова приготовили ребятам праздничный обед — из трех блюд. Разумеется, с помощью моряков и райкома.

У Малкиной в Севастополе погиб сын. Она была донором. В день, когда до Кронштадта добралось печальное

извещение, она пошла сдать кровь. Попросилась повидать раненого, которому дала кровь. Сначала врачи разрешили, потом испугались, что она заплачет — раненый был тяжелый...



Кронштадтская учительница О. К. Тихонова и ее класс в дни блокады. Август 1942 г.

Райком предложил ввести в школах необычный для города-крепости предмет — агротехнику. К весне школьники должны были дать Кронштадту выставку полезных дикорастущих растений. На уроках рисования старались так нарисовать эти растения, чтобы любой человек мог при случае найти их самостоятельно.

Есть такое добровольное общество — РОКК. Зимой ячейки Красного Креста следили за чистотой жилых квартир, ухаживали за одинокими. Таня Корзинкина, медсестра из ячейки РОКК, рассказала мне: «Отца у меня нет, мать с младшим братишкой перед войной уехала в Новосокольники, там оккупанты. Здесь старший брат, он лейтенант в роте передвижных радиостанций. Видеть его не вижу, изредка он помогает посылочками. Меня спасает донорский паек, хоть урезан, но паек. Всю зиму ходила с девушками по квартирам. Придешь, откроешь дверь — темно, лежит еле прикрытый покойник. Надо хоронить, а мы с места не сдвинем. В одной квартире тронули с места — живой. Старушка лежала, ну, не старушка, а лет сорока, сил у нее не было выкупить хлеб. Принесли по карточкам ее паек, воды горячей, выпросили в РЖУ три полена, позвала я с улицы матроса, он расколол и печку протопил».

Некому было рыть братские могилы, долбить мерзлую землю. Женщины из Красного Креста собирали повсюду аммонал и с помощью старых рабочих-подрывников взрывали каменистую землю.

Те, кто выжил, весной очищали город от мусора. Начались походы на Южный берег, в «Ижорскую республику» — на линию фронта за травами и по весенние грибы. Старые кронштадтцы налаживали рыболовную снасть и шлюпки. Кронштадт кормил себя сам. Город не опустился.

„Сто одиннадцатый"

У военных заводов судьба как у разведчиков: подвигов много, писать нельзя. Кронштадтские предприятия за год войны выполнили гигантскую работу: оборудовали десятки шаланд, катеров и рыбацких суденышек под минные заградители, дымзавесчики и магнитные тральщики; установили на кораблях всех классов размагничивающие устройства; восстановили многие крупные корабли, поврежденные бомбами и снарядами во время таллинского перехода, при эвакуации Ханко и на рейде; вооружили артиллерией гражданские суда, выпустили несметное число гранат, мин, минометов и, кроме того, помогали Эпрону. Судоподъем — тоже элемент возрождения флота,

без кронштадтских рабочих Эпрон справиться с этим не мог. Пробу сил начали с «Водолея», потопленного у борта линкора «Марат». Потом подняли «Тазую», потом «Минск», тот лидер, с которого на берег Эстонии сошел торпедный электрик Евгений Никонов, разведчик морской пехоты, заживо сожженный фашистами на костре.

Большие корабли — это для рабочих Морзавода государственный план. В военное время каждому, кто не надел шинель, но совесть сохранил, нужен был и свой, дополнительный взнос в войну.

Осенью сорокового года торпедный катер № 111 попал в шторм. Волна выкинула его на камни и разбила. Авторитетная комиссия определила, что восстанавливать катер нет смысла — дешевле построить новый. С него сняли моторы и ценное оборудование, предназначив корпус на слом. Он стоял в эллинге на кильблоках, забытый всеми, кроме мотористов, таскавших с него по болтику, по винтику.

Вспомнили про списанный катер в начале блокады. Собрались, общупали, решили: хоть и дорого, надо восстанавливать. Требовалась «плазовая мастерская» — комната натурального чертежа, где на фанере вычерчивают весь корпус, до каждого шпангоута. Такой комнаты не было. Решили снять шаблоны корпуса с других подобных катеров и восстанавливать по ним.

Работали хорошо, только отвлекал оперативный ремонт действующих катеров, поврежденных в боях.

В декабре, когда катер был восстановлен, в эллинг угодил снаряд и свел на нет весь труд рабочих. Корпус «сто одиннадцатого» бросили в эллинге. Его занесло снегом, он обветшал.

Под огнем батарей, бьющих с петергофского берега, начали зимний судоремонт. В цехах завода не было ни воды, ни электроэнергии. Рабочие голодали. Умирали мастера — редкие специалисты корабельного дела. Есть точные специальности, известные только единичным рабочим, завод берег их, подкармливал, но и этих ломал голод. А между тем за зиму надо было ввести в строй все торпедные катера, предназначенные для прорыва в залив. Вместе с рабочими работали и команды этих катеров.

В Петровском парке — впервые в истории Кронштадта — работала под открытым небом мастерская, замаскированная среди заснеженных деревьев. Рабочие учили

матросов клепать металл, обрабатывать дюралюминий, собирать механизмы. Катера поднимали из воды, когда залив уже покрылся льдом. Поднимали так: вдоль всего корпуса окалывали лед; кран, подтащенный на руках к берегу, выхватывал из этой лунки кораблик, ставил на берег, на кильблоки. Вокруг корпуса оставалось ожерелье льда. Часть ожерелья можно сколоть, но нельзя окалывать лед с кормы, легко повредить дюраль. Будь катера в теплом помещении, лед стаял бы сам. Но цеха отапливать нечем, а мастерская на морозе, в ту зиму он доходил до тридцати пяти градусов. Пришлось каждый катер окутывать брезентом, под ним ставить бензиновые бочки, превращенные в печи, и в этих очагах разводить огонь. Брезент защищал огонь от ветра и сберегал тепло. Так постепенно освобождали корпуса катеров от наростов льда.

Без электроэнергии при ремонте не обойдешься, а где ее взять, неоткуда подвести. Нашли слабенький движок, установили его в ящике от моторов, наскребли, высосали в катерах с самого донышка цистерн остатки бензина и запустили блокстанцию на три киловатта. Бригадир судосборщиков Тихон Егорович Доронин, почувствовав себя плохо, привел в эту мастерскую шестнадцатилетнего сына Петра и сказал: пусть работает — с оплатой ли, без оплаты, но надо передать сыну редкую специальность. Петр Доронин работал с отцом в Петровском парке всю зиму. Простудившись, отец каждый день присылал с сыном подробную записку матросам, что надо делать на катерах, и требовал ежедневно полного отчета. Он давал точные советы: какой шпангоут менять, какой скрепить накладкой, он помнил, где в запасниках и тайниках и какой припрятан материал про черный день.

Набралось шестьдесят винтов для ремонта. А винтовики все умерли. Выжил только Федор Иванович Волков, да и то его специальность — винтообрубщик. А тут, наоборот, не обрубать, а отливать надо, шлифовать лопасти, для этого необходима специальная техника. Волков предложил свой способ ремонта винтов. На заводском кладбище нашлось немало старых сломанных винтов, сваленных туда в мирные времена. Волков отыскивал такие, которые можно частично использовать. Он отрезал части, приваривал, комбинировал, латал, составлял кусок с куском — за зиму с помощью четырех матросов — металли-

стов до призыва — он исправил все шестьдесят винтов. За это бригадиру дали медаль.

Но винт надевается на гребной вал. Править валы с большой точностью умеют только большой руки мастера. На улице такое дело не сделаешь. В токарном цехе расставили пять жаровен-камельков, их все же легче разжечь, чем отапливать весь цех, натащили, насобирали угля и по очереди подходили к ним греться. Один даже ногу сжег — до того замерз: сунул, сняв валенок, и не почувствовал огня. Трудно было станки раскручивать, в них застывало масло. Валы правил старый токарь Михаил Анисимович Кукулин с помощниками. Однажды он пришел на завод с палочкой, весь укутанный, присел возле застывшего станка и умер. Не первый это был случай, когда старые рабочие приходили умирать в цех.

Весной на заводе робко заговорили и про «сто одиннадцатый». Он стоял серый, потрепанный, оплывший льдом. Только оказалось, что о нем никто и не забывал. Это была личная страсть и тайна каждого — и мастера Доронина, и корпусника Сергеева, и механика завода Бурлакова, в прошлом механика дивизиона торпедных катеров. Каждый втайне что-то сделал для «сто одиннадцатого», подобрав для него нужную деталь на свалке и припрятав без ущерба для других кораблей, плановых. Даже токарь Кукулин успел перед смертью выправить для «сто одиннадцатого» гребной вал. Когда все сложили вместе, не пришлось доказывать, что «сто одиннадцатый» будет жить. Флот вновь назначил на него экипаж и командира.

Одиннадцатого июня капитан-лейтенант Иван Становнов повел катер на ходовые испытания. В сдаточную команду завод послал слесаря Укокина и мастера Басова. Тихон Егорович Доронин обиделся. Но слишком он был плох после пережитого зимой для выхода в море. Команда, а в ней были и те, кто знал «сто одиннадцатый» до войны, уверяла, что катер стал лучше прежнего: и скоростенка поболе, и крена нет на правый борт. «Сто одиннадцатый» ушел в море.

Теперь, возвращаясь из похода, командир обязательно звонит на Морской завод. Докладывает. Рабочие вправе знать, как воюет этот катер, и экипаж всегда готов ответить толково и подробно на обыкновенный будничный вопрос: «Ну как, товарищи, что у вас нового?»

Шестьдесят миль западнее Кронштадта

Августовским вечером сорок второго года на канонерской лодке «Красное знамя», флагмане отряда шхерных кораблей, я пошел на запад от Кронштадта к острову Лавенсаари.

После войны этот невысокий, заросший соснами и окруженный мелями и рифами островок переименовали в Мощный. Скорее, его следовало бы назвать островом Надежды — имя не оригинальное, но точно отвечающее его значению для балтийцев в сорок втором году. Подобно тому, как Ладога с ее ледовой трассой зимой и огненным фарватером в навигацию была окном из осажденного Ленинграда в питающий его тыл, кровеносной, хотя и кровоточащей, артерией, так и Лавенсаари в шестидесяти милях западнее Кронштадта стал для балтийцев отдушиной, маленькой, но живучей надеждой на выход в открытое море, единственной реальной возможностью маневра.

Фашисты твердили: выхода из Ленинграда и Кронштадта нет, да и выходить некому. Я сам читал в то время в фашистских газетах, в перехваченных радиосводках и оккупационных листках, издаваемых на русско-немецко-белогвардейско-фашистском диалекте, утверждения о гибели Балтфлота. Правда, «для достоверности», с неизменной оговоркой: «...кроме крейсера Киров» или: «...кроме трех эсминцев». При этом фашисты позаботились перегородить Финский залив вкривь и вкось, начинить его стальными сетями и тысячами мин, перекрестить директрисами дальнобойных батарей, установленных на обоих берегах и на островах, перекрыть курсами патрульных самолетов и дозорных кораблей в сочетании с шумопеленгаторными и радиолокационными станциями, таинственными для тех времен. И все для того, чтобы блокировать «погибший Балтфлот». Каждый выход корабля из Кронштадта противник мог точно фиксировать, что давало ему преимущество в нападении. Но движение замерло только зимой, а весной возобновилось — пошли тральщики, катера, буксиры, баржи и, главное, подводные лодки.

Когда от наших торпед стали тонуть корабли и транспорты фашистов, на коммуникациях между Финляндией и Прибалтикой и между райхом и нейтральной Швецией, щедро поставлявшей вермахту руду, повторилось то же,

что при налете балтийских бомбардировщиков с Эзеля на Берлин: в немецких штабах сначала решили, что это урон от мин, сброшенных с самолетов; затем предположили, что в море, объявленное внутренним бассейном райха, проникли англичане; потом поняли — Советы! И сразу засуетились, затормошили белофиннов, нерадиво стерегущих залив, уплотнили и без того плотные заграждения и, на всякий случай, перешли на шхерные фарватеры — на мелководье у шведских берегов, держась таких глубин, где торпеду не применишь. Но где-то море надо пересечь. Вот тут, да и в самих гаванях врага, ждали в засадах и нападали наши подводники.

Лавенсаари — самый западный выступ фронта, расположенный западнее партизан Брянщины, Белоруссии и Украины, стал маневренной базой Балтийского флота. Он облегчал героическую работу подводников. Остров Гогланд, захваченный противником, был зимой отбит десантниками с Лавенсаари, но не удержан. Остров Сommерс, каменный горб, господствующий над фарватерами, был летом нами взят, но десантникам не помогли закрепиться на нем. Остались Сескар и Пениссари, маленькие и слабенькие опорные пункты; вместе с Лавенсаари они составляли островной сектор. Лучшего не было. Их укрепили. В бухтах построили причалы. На Лавенсаари даже создали аэродром. Противник кусал эти три островка, грыз, долбил, но сокрушить не смог.

Канлодка «Красное знамя» — самый большой корабль, ходивший тогда к острову. Вместе с нами вышли два сторожевика, тральщики и охотники из соединения капитана 2 ранга Капралова, па смену тем, кто обеспечивал успех прорыва лодок первого эшелона. Подводников провожали до определенной точки западнее Лавенсаари, охраняя от самолетов и надводных кораблей, расчищая им фарватеры; там, в этой точке, с ними прощались, лодки уходили на глубину, исчезая на неопределенный срок. Надводные корабли ждали их возвращения до предельного срока. Встретив, они вели лодку в Кронштадт. Сейчас в маневренной базе ждали возвращения последних лодок первого эшелона и выводили в залив лодки второго эшелона.

На мостике «Красного знамени» толпилось много начальников: назначен новый командир шхерного отряда, в этом походе он принимал отряд у предшественника. Главной цели похода никто не знал. В Кронштадте перед

отплытием на корабль поднялся посыльный из штаба и вручил новому командиру отряда пакет, опечатанный сургучом — «вскрыть на острове совместно с командованием маневренной базы!». О содержании пакета многие догадывались. Мощная артиллерия канлодки нужна, очевидно, для обстрела берегов противника.

Всю ночь мы ждали атаки, но ее не было. Командир корабля мрачно пошутил, что противника устрашило скопление начальства. Это был крик души человека, не умеющего держать себя на мостике так, как лейтенант Червонный при уходе с Ханко. Командир был из старых волжских матросов, тип «братишки гражданской войны», он дослужился до «четырех средних» на кителе, но при старших робел и тушевался.

На рассвете мы увидели пирамидальную железную башню маяка, красную с востока. Канонерка вошла в спокойную бухту и бросила якорь на рейде. Захватив нераспечатанный пакет, начальники сошли на катер. У причалов стояли борт к борту охотники, освещаемые солнцем с моря.

Низко, будто из волны, возникли два самолета, похожие на «чайки». Зенитчики на канонерке медлили, полагая, что «чайки» возвращаются на лавенсаарский аэродром. Но у причалов охотники открыли огонь. Открыл и наш корабль. Самолеты, набирая высоту, задрали брюхо и показали на плоскостях белые полосы — финские опознавательные. Значит, по-прежнему противник использует для разведки наши «чайки» или похожие на них машины. Они покружились и ушли. Потом пришел «юнкерс», но тоже не сбросил бомб и не открыл огня. Вынырнули «мессера». Канлодка прекратила огонь, потому что с аэродрома поднялись наши. Но и «мессера» ушли, не приняв боя.

Снова тихо в бухте. Но тревожно. Матросы сосредоточенно смотрят на спокойную воду бухты: там, внизу, на дне, отлеживаются подводные корабли, они должны быть уже здесь, только днем им нельзя всплыть.

Я сошел на берег и сквозь густой сосновый бор отправился на аэродром. Тропа, обозначенная колышками, была нехоженая. Я держался правее, считая, что колышки обозначают границу минного поля. Только колышки не имели отношения к минам, хотя весь остров и был заминирован. Мне объяснили потом, что это остаток от пяти

миллионов таких же колышков, вбитых в раскорчеванное весной для аэродрома поле и обложенных дёрном.

Летчиками командовал майор Бискуп, друг Антоненко и Бринько, гангутский летающий комиссар. В тот год



Петр Бискуп на Лавенсаари. Август 1942 г.

фронт остро нуждался в командирах, сумевших осмыслить горький опыт начала войны, и многие политработники перешли на строевые должности.

Бискуп только что посадил машину и прошел к краю аэродрома, где в лесочке над спуском к заливу стояла брезентовая палатка. Нещадно жарило солнце, в синем

кителе и тяжелых армейских сапогах было жарко, спасал лишь ветерок с залива, он слабо струился по скалам. Майор легко взбежал на горку к палатке, как человек привыкший не медлить на подъемах, бросил там планшет и шлем и увлек меня на берег, на сухие от ветра скалы, где хаос камня и корчеванного с аэродрома леса напоминал, что это дикий, мало обжитый остров, не прибранный после многих и давних штормов. Он закурил, заложил левую руку с фуражкой за спину, взглянул на залив и невольно сощурился — там дрожал силуэт нашей канонерки. Майор перевел взгляд на небо, высокое и почти чистое, туда только что ушел на его машине Володя Абрамов, дежурный летчик; он нашел свою «чайку» за быстрым оборванным облаком — мне она казалась просто черточкой в небе, майор даже на расстоянии видел самолет, осязаемый, со всеми подробностями. «Чайка» скользнула по рубежу нашего зрения, приблизилась — монотонная, потом режущая, вспарывающая тишину над головой, и снова ушла, растаяла вдали.

— Змей, ох змей, — сказал Бискуп, не отпуская взглядом барражирующий самолет.

— Вспомнили Гангут, товарищ майор? — Эту кличку я слышал от Бискупа прошлой осенью на таких же, только более могучих скалах.

— Гангут? — живо повторил он. — Гангут не забыть. Только я о другом змее. Тот погиб.

Мы сели на камень, неожиданно холодный под солнцем, и, вероятно, подумали об одном и том же. Всё — и тяжелая волна, штурмующая валуны в бухте, и неспокойно-пустынное небо, и шершавый гранит под нами, всё уносило в недавнее прошлое, в первый год войны, жестокий и бурный. Бискуп заговорил о прожитом годе.

Стоило, бывало, открыть блокнот и вынуть карандаш, как собеседник тускнел, начинал сыпать эпизод за эпизодом, словно входя в готовое, нашим же братом проложенное русло. Досадуя на себя, прячешь блокнот, но рутина «боевого эпизода» уже непреодолима. С Бискупом мы разговаривали не впервые, но и на этот раз по привычке, въевшейся в кровь, я вынул блокнот. Бискуп словно его не заметил. Была на то причина: на остров пачкой пришли несколько номеров «Правды» с пьесой «Фронт», вытеснившей на этот раз наши обычные корреспонденции. Бискуп не обсуждал содержания пьесы, но

всё, о чем он рассказывал, было связано с размышлениями о тупых и чванливых горловых, о молодом Огневе, о ходе войны, о пережитом, о собственных ошибках. Самой большой травмой для него была гибель Антоненко.

Мы тогда умалчивали о гибели героев даже во фронтовых листовках. Антоненко, в трех войнах не знавший ни одного поражения, сбивший шестнадцать самолетов, погиб так нелепо, что об этом было тяжело писать. Я знал: Бискуп произнес над его могилой слова, быть может, слишком жестокие, но трезвые. Антоненко погиб при посадке под артиллерийским огнем, потому что не привязывался, не надевал шлема. Его выбросило из кабины, и он разбил голову о пень. Бискуп, его друг, сказал: «Нам дорог друг Антон, нам дорог и летчик Антоненко. Тяжело говорить, но он погиб глупо. И мы не оскорбим его памяти, если скажем отныне и впредь: позор — гибель на земле». Возможно, именно тогда Бискуп твердо решил перейти на строевую должность, чтобы летать.

Сейчас, вспомнив Антоненко, он сказал: хотя положение на фронте и хуже прошлогоднего, но состояние умов иное. Бомбами врасплох нас не накроешь. Не надо убеждать и себя и других, что выстоим. Военные люди озабочены уроками борьбы. Нет той беспечности, когда считали, что достаточно натянуть маскировочную сетку над головой, чтобы обмануть врага. Нельзя пренебрегать противником. Нельзя, конечно, и переоценивать. Враг серьезный — надо серьезно воевать. На Лавенсаари не пришлось агитировать, чтобы летные боги копали и строили. Строили без разговоров. И в противотанковой гранате толк понимают. Знают, что в любую минуту противник может высадить десант. Теперь это азбука военной жизни. Вот утром снова пожаловали разведчики на машинах типа «чаек». Опасно: увидят на дне бухты лодку, пробомбят и уйдут. Нельзя упускать время. Нужна молниеносная реакция, как у Антоненко и Бринько: взлетать, сбивать не колеблясь, хоть и силуэт свой. Нет оповещения — чужой. Да, тут может случиться и ошибка. Трагическая ошибка. Как с Петром Бринько. Бринько сбил «чайку» Козлова, летевшую без оповещения. Взлетел и сбил в течение трех минут. Не мог он при таком темпе что-либо разобрать. Сказал, до самой смерти не простит себе, он погиб под Ленинградом. Но не было в той беде

вины Бринько, хоть и готовы были «чаечники» его растерзать. Бискуп сам в ту осень пережил нечто подобное. Летел без оповещения торпедоносец. Силуэт чужой, а из ПВО настаивают: «Свой». Дали ракету — ответил правильно. Но и враг может знать наши позывные. Дежурил Алеша Лазукин, выученик Бискупа, прозванный за стремительность змеем. Смотрит из машины нетерпеливо: «Решайте же!» Собьешь своего — гроб. А прозеваешь — врежет бомбы в цель. Бискуп скомандовал: «Старт!» Через пять минут незнакомца вогнали в скалы. Когда Лазукин вернулся, Бискуп сказал: «С КП передали, что сбили своего». Лазукин потемнел: «Не может быть, он без опознавательных». Бискуп послал другого летчика осмотреть в скалах обломки торпедоносца. Летчик установил: на обломках ни одного опознавательного, наши так не летают. А потом время подтвердило — сбили правильно, пиратский самолет.

— Алеши тоже нет, — сказал Бискуп, прервав рассказ. — Погиб на Ладоге. А этого, — он показал на «чайку» Абрамова, шедшую на посадку, — этого я сразу обрезал. Нечего пижонить: вздумал летать без шлема — такие через год становятся глухими...

Время шло к вечеру, нас заели комары, доживавшие последние перед осенней стужей дни. Слушая, я давно отложил в сторону блокнот, лишь изредка помечая в нем что-то, механически и неразборчиво. Бискуп сказал:

— Ты только давай пиши скорей. Угробишься — все зря пропадет... А что ты думаешь, военный корреспондент застрахован? Случиться может с каждым. Важно, чтоб был толк. — Заметив, что я растерялся, он сказал, утешая. — Завтра, если будет дождь, приходи. Летать не будем — потолкуем...

В ожидании катера я зашел на командный пункт острова. Там обсуждали предстоящую операцию. На рассвете, после возвращения тральщиков, работающих в районе Большого Тютерса, авиация Лавенсаари должна произвести разведку со штурмовкой, чтобы на другую ночь наша канонерка смогла пройти в воды противника для демонстрационного обстрела. Последняя лодка первого эшелона уже вернулась, она действительно лежала на дне бухты в ожидании темноты, чтобы всплыть, подзарядить аккумуляторы, очистить воздух в отсеках и выйти в Кронштадт. Теперь начнут выводить на запад другие

лодки. Потому, наверно, и затевается траление, обстрел и всякие другие действия впереди маневренной базы. Новый командир шхерного отряда, капитан 1 ранга, нервно настаивал на точном исполнении плана. Командир островного сектора возражал: если сила ветра превысит три балла — самолеты он не выпустит. Такова инструкция. Договорились запросить Кронштадт.

Засветло я поспел на канлодку. На палубе у броневых щитов орудий стояли матросы в черных бушлатах и парусиновых штанах. Прислонясь спиной к нагретому солнцем металлу, они поглядывали на темнеющее море и неторопливо потягивали из жестяных кружек чай вприкуску, запивая серые, чуть присыпанные волокнами консервного мяса макароны. На дне бухты лежала подводная лодка. Ее называли «малютка Маринеско». Это внезапное словосочетание так поразило, что я без конца его повторял, как будущее заглавие, толком еще не понимая смысла. Малютка — лодка, Маринеско — командир. Я пошел искать замполита или старпома, чтобы меня переправили на берег. Маринеско. Мне надо его повидать...

В салоне, опустевшем с утра, независимо развалясь, сидел командир корабля, «волжский братишка». Выслушав мою просьбу, он сказал, что Маринеско одессит, из торгашей, на военном флоте вообще стало много купцов, и заговорил о литературе.

— Писатели! — растягивая гласные, с присвистом, сказал «волжский братишка». — Вот Пушкин — писатель. Или там этот, ну как его, Маяковский. А вот ваш, этот, — я понял, речь идет о Вишневском, — он же у меня пулеметчиком был! В гражданскую. Какой же он писатель, а?..

Я уселся напротив, положив перед собой блокнот и без конца рисуя: «Малютка Маринеско», «Малютка Маринеско»... Заметив это, «братишка» сказал:

— Вам бы все почуднее. А о простом народе не хотите. Давай, расспрашивай — поговорим.

— Чего ж говорить, — возможно равнодушней ответил я. — Вот Нахимов — адмирал был. Или Синявин... А то — что...

— Обиделся, — обрадовался «братишка». — Так я ж человек простой, академиев не кончал. Как Чапай. Может, с народом поговоришь, а?..

Катер он мне все-таки дал, и, когда стемнело, я снова был на пирсе.

Всплыла лодка. Она подошла к причалу и бесшумно ошвартовалась. Из люка вынырнули командир и матросы в таких же черных бушлатах и парусиновых штанах, как и все матросы на острове. Я не видел их лиц, но мне казалось: они стоят, запрокинув головы, и раскрытыми ртами ловят морской ветер.

Командир соскочил на берег, топнул несколько раз ногой и рассмеялся — земля! Он что-то крикнул, с лодки ответили, он отбежал в сторону от пирса, нагнулся, потом побежал к лодке, что-то держа в руках, — может быть, кусок дерна из ковра на песчаном берегу.

Погода портилась, не предвещая к утру ничего хорошего. В дежурке мне сказали, что катер пойдет в Кронштадт только на следующую ночь — он поведет «малютку». Пришел командир шхерного отряда с известием, что Кронштадт предложил майору Бискупу самостоятельно решить — лететь утром или нет, в зависимости от обстановки. Капитан 1 ранга попробовал дозвониться на аэродром, но там не отвечали. Он сожалел, что нельзя запросить Бискупа немедленно, но потом успокоился:

— Этого я знаю по Гангуту. Не подведет.

Я промолчал, вспомнив о приглашении на аэродром в случае ненастной погоды.

Утром на палубу посыпалась редкая водяная крупа, ветер нарастал и затягивал небо низкими облаками. Корабельный катер с трудом добрался до берега. По колышкам я снова шел на аэродром. Было сыро, как на болоте, мокрые ветви хлестали по лицу.

В стороне от пустынного летного поля над одноэтажной избушкой кают-компании вился дымок — повариха готовила компоты. Какой-то младший командир топором приколачивал под навесом доску с утренней сводкой информбюро. Там было жирно подчеркнуто про семь тысяч тонн, потопленных нашей лодкой в Финском заливе. Наверно, это про «малютку Маринеско». Я прошел в землянку к дежурному по штабу и спросил его, где майор.

— Майор и «змей», то есть, простите, старший лейтенант Абрамов, с рассветом пошли на штурмовку. — Он, конечно, ждал, что я спрошу о погоде, но я не спросил, он сказал сам: — У нас тут остров. Синоптика нет...

Я ушел на корабль.

11 августа 1943 года. Снова в Ленинграде — после Черного моря и Севера. Год разлуки. С полковником М. летели на самолете замнаркома, интендантского генерала. Какие-то две дамы в роскошных нарядах не выносят бреющего — шелка и даже шляпы безнадежно испорчены. Хороший признак: в прошлом году, когда над Ладогой нас преследовали «мессера», подобных пассажирок не было, значит, дела в Ленинграде поправляются. Мы высадились на «гражданском» в полдень, в дождь. Мой спутник теряется перед начальством. Дело корреспондента — раздобывать попутный транспорт. Летом прошлого года я добирался с аэродрома ночью на полуторке, груженной навалом говяжьими тушами, а потом пересел на переднюю площадку грузового трамвая, шедшего через пустынный город до Сенной; там я сошел, отрезав ошеломленной вагоновожатой полбуханки московского хлеба; через две минуты она догнала меня, задыхаясь от бега, предложила проехать еще несколько кварталов, переведя стрелку, почти до «Астории» — дальше не было проводов; я с трудом всучил ей на прощание вторую половину буханки... Сегодня мы доехали роскошно на легковой командующего ВВС Балтики.

Отделение газеты в номере «Астории». Нас, приезжих, пугают рассказами про обстрелы. Сотни жертв, особенно в трамваях и на остановках. Убито 16 девушек-милиционеров на посту, несколько вагоновожатых и дворников. Литейный прозвали «чертовым мостом», ему достается. Рядом с «Асторией» дома в дырках. Немцы научились стрелять «по нервам» населения — каждые пять-шесть минут снаряд из орудий разных батарей. Это террор, нельзя предусмотреть, где и когда упадет снаряд. Город, чувствуется, издерган. Блокада все же еще не снята, пробили узкое горлышко.

Из «Астории» в машине-душегубке редактора КБФ Л. Осипова поехали на Песочную в Пубалт, полчаса ждали внизу, в бюро пропусков, когда кончится обстрел. Добролюбов, снова начальник отдела пропаганды, обнял, расцеловал, тут же угостил «наркомовскими», накормил, предложил койку в отделе и работу, если Рогов отпустит, как отпустил назад его. Писателей раскрепили по многотиражкам, все недовольны. Тут служит инструктором и Юра Полещук. Ночевать я все же вернулся в «Асторию», в номер корреспондента радио Володи Уманского. Всю ночь сильно стреляли. Заходил Коля Бадеев, наш юный корреспондент, очерки которого со сталинградской переправы на флотах читали

взахлеб. В Сталинграде его контузило, он дергается, секунды не сидит спокойно при обстреле.

12 августа. Был у Вишневского в двухэтажном деревянном доме, там когда-то помещалось футуристическое издательство. Хозяйка дома, открывшая дверь, та самая Матюшина, которая написала страшную повесть о голодной зиме. Дом в артиллерийской вилке — позади, в саду, и впереди, на улице, упали снаряды. Жена Вишневского художница С. К. Вишневецкая ждет «накрытия», Всеволод Витальевич уговаривает прекратить болтовню о



Ленинград в блокаде. На Невском. Перед премьерой. Август 1942 г.

снарядах. Грудь его в медалях и орденах, правительство удачно разместило их на «обе груди». Написал пьесу «У стен Ленинграда», много работает для радио и Ленфронта, но флот под влиянием Рогова плохо его ценит, мало использует. Читает много документов, бюллетеней, радиоперехваты, разговаривает с пленными, записывает, впитывает в себя столько, что после войны должен написать нечто громкое. Один немец, бывший сапожник, ему сказал: «Война проиграна. Теперь надо выбирать: придут англичане — мы с ними договоримся, придете вы — будет резня, конец Германии. Вот мы и выигрываем здесь почетный мир». Судя по иностранным комментариям, «Свободная Германия» на-

сторожила союзников: а не лезут ли большевики в Европу? Может быть, они поторопятся со вторым фронтом в Европе?.. Вишневский рассказывал о провале наступления под Мгой. Опять та же беда: весь Ленинград говорил о наступлении, и противник заранее знал о нем. Немцы забрасывают шпионов-парашютистов



Николай Сергеевич Игнатьев, строитель флота. Кронштадт. Август 1942 г.

из наших, половина приходит в НКВД. На фронте появились «власовцы», одеты в нашу форму, но без погон.

Был у Добролюбова, читал разведсводку. Немцы изображают наше наступление как истощение сил на узком участке. В сорок первом так мы говорили о них.

13 августа. На бронекатере от Лисьего Носа перешли в Кронштадт. Был в райкоме у Басалаева. Учительница Тихонова жива-здорова, заведует методическим кабинетом. Кронштадтский слесарь Игнатьев, строитель чуть ли не всех кораблей Балтфлота, продолжает работать на Морзаводе, обучает мальчишек-беспризорников, присланных сюда из тыла. Библиотекарь Вера Алексеевна Борисова рассказала про жизнь библиотеки в блокаду. В прошлом году библиотеке исполнилось 110 лет. Угля в первую военную зиму не было, а книги надо было сохранить. Борисова собирала по городу щепу, дощечки, протапливала печурку. Во дворе, где раньше помещался Дом учителя, есть кухня с плитой. Туда Борисова отнесла часть ходовых книг, разжилась коптилкой и устроила абонемент. Библиотека не закрывалась ни на один день, хотя читателей мало было. Иногда книги возвращали в абонемент дружинницы Красного Креста, найдя их на груди умерших. Сейчас появляются читатели, не ходившие год и полтора. Спрашивают Толстого, Лермонтова и про войну.

Квартира Гранина

В августовское воскресенье 1943 года фашистская артиллерия совершила зверский налет на улицы Ленинграда. Над Петергофом они подняли аэростат с корректировщиком. Был ясный день, на аэростате — сильные оптические приборы, корректировщик точно направлял снаряды батарей на места скопления горожан: на перекрестки улиц, на скверы, на трамвайные остановки, особенно на угол Невского и Садовой, где в ожидании трамвая собиралось много ленинградцев. Туда била новая мощная батарея, и сотни жителей погибли.

Аэростат вскоре был сожжен снарядом, посланным из Кронштадта, корректировщик заживо сгорел. Но батарея довольно точно пристрелялась к той трамвайной остановке и повторяла налеты.

Контрбатарейную борьбу вела подвижная артиллерия Балтийского флота. На железнодорожных путях Ленинграда были разбросаны сильные дальнобойные морские орудия, установленные на бронеплатформах; их обслуживали матросы-артиллеристы, главным образом, с погибших кораблей. «Глаза» этой артиллерии находились на самых высоких зданиях города и на его переднем крае — на окраине Ленинграда. Корабельные сигнальщики стали разведчиками, они изучали и наносили на карту огневые

средства противника. Естественно, что каждую жертву в городе моряки воспринимали как укор своей воинской совести; и самым страшным укором была безнаказанность новой батареи. Ее надо было найти, засечь и уничтожить.



Ленинград. Железнодорожная артиллерия.
Расчет гангутца Лихожона

В те дни я снова разыскал дивизион подвижной артиллерии майора Гранина — он стоял теперь не на станции Пери, как в сороковом втором году, а на Варшавском вокзале.

Командный пункт размещался в двух классных вагонах. В одном из купе под сенью скрещенных кавалерийских клинков жил майор Гранин, по происхождению донской казак. Майора я не застал. Мне сказали, что после

августовского воскресенья он вместе с артиллерийскими разведчиками дни и ночи проводит на переднем крае. Я просил выяснить, скоро ли он вернется. Начальник штаба связался с командиром и вскоре сообщил:

— Майор назначил вам рандеву на частной квартире. Вот адресок. Щербановский живо доставит вас туда на своем драндулете...

Мичман Щербановский вскоре подкатил на обшарпанной полуторке, изрешеченной осколками. Я, конечно, сразу узнал старого спутника Гранина по десантам. Подражая Гранину, Щербановский носил на Ханко бороду. Я удивился, увидев его гладко выбритым. Он сказал:

— Мы с м-майором носим б-бороду для устрашения п-противника в десанте. В артиллерии культурнее б-без бороды. В-вот погодите, начнем наступать — снова будет б-борода...

Щербановский пригласил меня в машину, видимо побывавшую в горячих переделках. Заметив мой скептический взгляд, сказал:

— Надежнее машины нет в Ленинграде. Пусть майор скажет — я на Ханко ни одной шлюпки в десантах не потерял. Ни разу на банке не сидел. На губе с-сидел, на банке — нет.

Возле баррикады, внезапно преградившей магистраль, мы догнали переполненный трамвай: окна его были забиты фанерой, передняя площадка просвечивала, как решето. Трамвай дальше не шел. Пассажиры прошли через контрольно-пропускной пункт за баррикаду: на фронт шли штатские люди — кто на возделанный там огород, кто на завод рядом с окопами.

За баррикадой мы ехали под прицельным огнем. Щербановский так ловко лавировал, что я уже не сомневался: его полуторка — лучшая в Ленинграде.

Мы остановились перед домом, больше других побитым войной. Двери квартир были аккуратно запечатаны белыми бумажками с круглой печатью домохозяйства. Бумажки пожелтели, покрылись двухлетней пылью, жители покинули эти квартиры в сентябре 41 года.

На одной из квартир бумажки с печатью не было. Видимо, комендант дома вскрыл квартиру для военных нужд. Я сверился с адресом: так и есть — квартира номер тридцать три.

Звонок не действовал. Я постучал в дверь.

— Майор Гранин здесь живет?

— Здесь, — просиял рыжеватый главный старшина, стрельнув хитрым взглядом. — Не узнаете?

— Желтов? — я узнал гангутского снайпера Васю Желтова, «настойчивого добровольца», как его называли на Хорсене за двукратный побег к Гранину в десантный отряд. — Опять сбежал к Гранину?

— Почему — сбежал? — обиделся Желтов. — Майор сам затребовал. Из госпиталя.

— Были ранены?

— Под Рамбовом. Вчера чуть снова не попал: в ме́тре над ухом пролетел снаряд.

— И как?

— А я видел, что летит. По вспышке засек, в стереотрубу. Я дежурил на чердаке. Он в ме́тре позади пробил крышу, два этажа и только на третьем взорвался. Бывает же...

Мы вошли в квартиру и очутились в кругу матросов, в большинстве своем прежних спутников Гранина по десантам. Это была обычная ленинградская квартира: три комнаты, кухня, ванная — квартира, как говорят, со всеми удобствами. Теперь она очутилась в самом пекле войны, подобно доту или полевому блиндажу. Кто в ней жил раньше? Кому принадлежала оставшаяся тут мебель? Кто готовил на кухонной плите, там, где, гремя чумичками и жестяными мисками, возились теперь флотские коки? Установить это было трудно: может быть, люди, воюющие на другом фронте, может быть, рабочие ленинградских заводов, делающие для новых обитателей квартиры артиллерийские снаряды?.. Эта квартира, как и весь Ленинград, выдержала штурмы и обстрелы, в нее залетали осколки снарядов, в ней умирали, как умирают в окопе, и, как из полевого блиндажа, отсюда готовили наступление.

Возле кухни в каморке примостился с переносным коммутатором дивизионный телефонист; он то и дело повторял свой позывной: «Квартира Гранина слушает... Квартира Гранина слушает...» В комнате напротив усердствовал над чьей-то щетиной брадобрей артиллерийской разведки. В другой комнате происходило нечто странное для сорок третьего года: матрос красил полы.

— Текущий ремонт своими силами, — сказал Желтов, — без вмешательства управдома и жилищного управления.

В третьей комнате у стола сидел плотный, широкий в плечах Гранин, он склонился с лупой над огромным аэрофотоснимком.

— У вас тут весь Гангут, Борис Митрофанович. Всё старые знакомые.

— Что же, люди испытанные, надежные, с такими любо воевать, — ответил Гранин. — Конечно, теперь на фронте есть подвиги и погромче, но начало положили — вот что важно. До сих пор многие пишут, просятся в десант: наступать хотят, ждут...

— Находят вас?

— Да как находят, — Гранин рассмеялся. — Просто адресуют «на деревню дедушке»: капитану Гранину. Не признают майором. Кто-то даже написал: вы-де, Борис Митрофанович, в генералы выйдете, а для нас останетесь «капитаном Граниным»... Кажется, ущучили, — Гранин доверительно показал какой-то знак на фотографии немецких позиций. — Засекли ту самую, злодейскую. Сегодня будем уничтожать. На орудиях как узнали — загорелись. Хотите взглянуть в натуре?

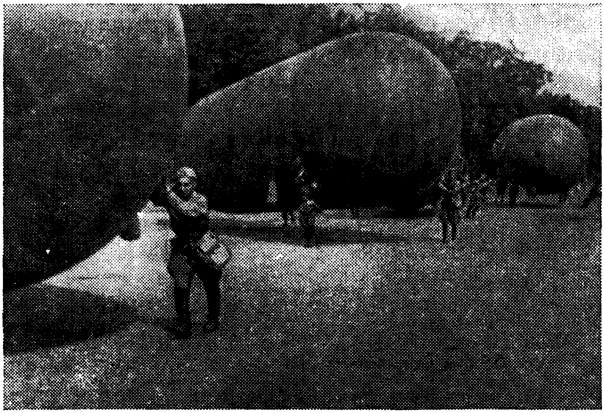
Мы вышли из квартиры и направились вверх по засыпанной штукатуркой и осколками снарядов лестнице.

Майор нырнул в узкую чердачную дверь, и вслед за ним я очутился на чердаке, под самой крышей, развороченной, как и всё вокруг, прямыми попаданиями. К присущим всем чердакам специфическим ароматам примешивался горький запах обгоревших стропил: этот ленинградский дом горел уже не раз, и моряки отстаивали его от огня. Сквозь сети проводов мы проникли в укромный уголок, облюбованный артиллерийскими разведчиками для наблюдательного пункта.

В тесной каморке за плащ-палаткой стояли телефоны, два стула и укрепленная на помосте стереотруба. К трубе приник худощавый и юный старший лейтенант, командир разведчиков. Над ним на стропилах я разглядел листочки всевозможных таблиц и схем — изображения ориентиров в сфере огня пушек дивизиона, схему «подведомственных» ему немецких батарей и прочие оперативные документы.

— Табурет не отсидел Курсков? — шумно окликнул старшего лейтенанта Гранин — я почувствовал в его го-

лосе ту особую мягкость и теплоту, с какой он говорил только с любимыми, наиболее смелыми командирами и бойцами. — Себя не жалеешь, хоть дерево пожалей. Подумайте, человек получил на нашем старом КП в самое щекотливое место пучок осколков. И надо же: часами сидит верхом на табурете. Никому не доверяет свой трон... Да тебе, Юра, диван нужен, пуховый диван!



Ленинград. Аэростаты ПВО. Август 1942 г.

— У меня зажило, товарищ майор, — ответил смущенный Курсков, уступая место у стереотрубы. — Почти никакой чувствительности.

— То-то и чувствительность потерял — сутки с чердака не вылазишь. — Гранин стал прилаживаться к окулярам. — И что у тебя за глаза — орлиные, я кручу-кручу, ничего не вижу. — Он установил линзы по своему зрению, повернул прибор на несколько делений, и, когда перекрестье остановилось на искомом месте, там, где за дымкой горизонта находилась всей душой ненавидимая цель, он заметил: — Слабоват глазами стал. Как, Курсков, она всё еще молчит?

— Молчит с утра, товарищ майор. Стреляют другие батареи.

— Хитрят. Хорошо бы их вызвать на огонь. Хотите взглянуть?

Майор уступил мне стереотрубу. Стекла прибора приблизили дачные места, где ленинградцы отдыхали летом, контуры разрушенных дворцов и лощину фронта, где сейчас вспыхивали огоньки перестрелки, там работала армейская артиллерия. На перекрестии я увидел тот же лесок, что и на фотоснимке, какие-то бугорочки, за ними, видимо, находилась батарея: майор советовал во время боя наводить бинокль именно на этот лесок.

Внезапно в поле зрения, где-то очень близко, на переднем плане, возникли фигурки, они заслонили горизонт за стеклами оптического прибора.

— Что это? — спросил я Гранина, уступая ему место.

Майор вздохнул и сквозь зубы процедил:

— Ленинградские дети. Дети войны. Бегают по переднему краю на огороды. Никакой огонь не прогонит. Знаете, куда легче воевать, когда их не видишь... Ребятишки мои вряд ли меня помнят в лицо... Эх, да что там! А ну, Курсков, дай-ка трубочку. Если корректировщик в воздухе — начнем работу.

Он назвал позывной — внизу, в квартире, в каморке возле кухни, телефонист соединил майора с классными вагонами. Оттуда начальник штаба доложил, что самолет в воздухе, связь с ним установлена, он просит дать контрольные залпы. Гранин отдал необходимые приказания. После контрольной стрельбы он опять вызвал начальника штаба.

— Ну, как «Голубь»? — речь шла о корректировщике. — Одобряет?.. Что, облачность?.. Так это я и без него вижу. Запросите; будет он корректировать? — Секунду-другую он дожидался ответа, выслушал и зло сказал: — Беда. Опять оттяжка. Доложу полковнику...

Самолет отказывался корректировать — над целью нависли облака. Командование согласилось с летчиком, и налет отложили.

Мы спустились в квартиру. Гранин опять склонился над фотоснимком. В комнату под разными предлогами забегали то Желтов, то еще кто-нибудь из разведчиков; они заглядывали через плечо майора и осторожно спрашивали, будет ли он в крайнем случае работать без корректировщика. Майор отшучивался и нелестно говорил про незнакомого ему «Голубя». Но он был несправедлив. Во второй половине дня самолет вылетел, и майор тут же очутился на чердаке.

Мы услышали характерный свист «входящих». Желтов доложил: цель «531» бьет по Ленинграду. Резким голосом майор сказал:

— Самое подходящее время начинать. Подумают, что работаем на подавление. Это запутает противника...

Я схватил бинокль и навел его на тот самый лесок: там вспыхивали огоньки выстрелов. Батарея била по Ленинграду. Значит, в эти минуты на улицах города лилась кровь.

Майор отдал команду — и в стеклах бинокля вспыхнули столбы дыма, пламя поднялось за буграми, казалось, дом сотрясался от нарастающего гула, одна за другой вступали в бой наши батареи, их могучий голос гремел над окраиной Ленинграда.

— Хорошо даете! — лаконично сообщил летчик; на чердаке, на всех батареях немедленно повторили его слова люди, понимавшие значимость этого дня для ленинградцев.

...На другой день я позвонил на «квартиру Гранина», интересуясь результатами стрельбы.

— Пока молчит, — сообщил Гранин. — По правилам артиллерии считается «приведенной к молчанию».

На третий день я снова позвонил: «Молчит?»

— Считаю подавленной, — ответил Гранин, строго придерживаясь установленной у артиллеристов терминологии. — На законном основании.

И дней через шесть на мой звонок Гранин сообщил:

— По всем правилам «подавлена надежно». Но, думаю, «навсегда». Пять дней ни одного выстрела.

— Ну что же, так и сообщим — цель «531» уничтожена. — Я сказал, что собираюсь написать в газете о «квартире Гранина».

Гранин помолчал, потом спросил:

— Вы хотите, чтобы жители этого дома вернулись в свои квартиры?.. Тогда забудьте адрес. Будете писать — пишите: дом за баррикадой, и всё. Никаких опознавательных. Иначе немцы завтра же обрушат на нашу квартирку огонь всех своих батарей...

Я знал, что этот дом получил уже двадцать три снаряда, но то были снаряды случайные: противнику не было известно, что именно этот дом — «глаза» подвижной артиллерии. И, разумеется, я постарался «забыть» адрес, написав об энской квартире за энской баррикадой.

РАБОЧИЕ И МАТРОСЫ

День рождения

Если говорить о жизни корабля, как о жизни человека, надо начинать его биографию с метрической выписи. Имя корабля — «Славный».

Класс корабля — эскадренный миноносец.

Место рождения — судостроительный завод.

Но когда мы доходим до дня рождения, тут надо обратиться к источнику этой метрической выписи — к корабельным журналам.

Ни одно из творений рук человеческих не имеет, пожалуй, столь тщательно составленной биографии, как военный корабль. Как только киль коснется воды — начинают писать его историю. Минута за минутой отмечено все: плавания, швартовки, ремонты, стоянки в гаванях и на рейдах, учения, вахты, приход и уход каждого человека, когда-либо ступившего на борт, смена экипажей и отдельных моряков, проступки, подвиги, бои, ранения, смерти, победы, встречи в море — все радости и беды, сопутствующие долголетней службе. У этой истории не один автор. Ее ведут офицеры, несущие вахту на борту.

Корабль, о котором идет речь, ровесник войны. Киль его коснулся воды осенью 1940 года. Буксирный пароходик отвел его от стенки завода. Но это еще не был военный корабль. За буксиром тащилась двухтрубная коробка, неспособная двигаться самостоятельно. Две команды поселились на ней — корабельные мастера и матросы-первогодки.

Мастера господствовали на корабле. Старшим был не командир, а главный строитель — инженер завода Васи-

лий Васильевич Самойлихин. Это тоже занесено в корабельные документы. На корабле ставили и испытывали машины, его вооружали пушками, оснащали и снаряжали в долгую ратную жизнь. Мастера заняли все жилые палубы и каюты. Матросы жили в трюмах и артиллерийских погребах.

С других кораблей прислали опытных старшин. Они формировали экипаж. Это были: командир кормового орудия главный старшина Кирилл Дерикот, командир центрального поста мичман Просвирнин, старшина машинной группы Леонтьев и боцман Алексей Колосов. Все четверо так и записаны на корабле, как его первые жители.

Буксир ввел корабль в док. Когда из дока выпустили воду, на дно гигантской камеры вместе с мастерами сошли матросы. Корабль стоял на клетках, обнаженный, как модель на столе. Матросы щупали днище, запоминали подводную часть корпуса: им на корабле плавать и, быть может, воевать.

В доке мастера установили винты. Эскадренный миноносец приобрел самостоятельность. 24 ноября 1940 года в котлах подняли пары. Корабль подал первые признаки жизни — на мачтах затрепетало сочетание сигнальных флагов: «Прошу разрешения сняться с якоря».

Весь экипаж собрался наверху, следя за мачтой на здании штаба флота в Кронштадте. Наконец-то там взвилось ответное: «Добро».

Корабль ушел в море, но без морского флага: он ходил еще под красным флагом — заводским — и не имел права гражданства на флоте. В гавани его называли, как юнцов-матросов — «салажонок». В штормах и ледовых походах оморячивался «салажонок». Кронштадтский рейд покрылся плавающими льдами. Корабль ушел в Таллин. Он прошел первые сотни миль, стойко перенес все невзгоды и непогоды, проверил маневренность машин и точность оружия — добрый корабль построили рабочие, и матросы смело вступали во владение им. 13 мая 1941 года эскадренный миноносец вышел в море вместе с миноносцем «Карл Маркс». Его повели на стрельбы в Нарвский залив. Пора было мастерам собираться на берег.

Накануне войны наступил день, официально празднуемый каждым кораблем. Его и следует считать днем рож-

дения. Корабельный журнал утверждает, что день был солнечный. В заливе — штиль. Толпы кронштадтцев собрались на берегу. Свежевыкрашенный эскадренный миноносец стоял на большом кронштадтском рейде. Горнист сыграл «большой сбор». Обе команды выбежали наверх.

— На флаг, гюйс, стеньговые флаги и флаги расцвечивания — смирно! — торжественно скомандовал вахтенный офицер, и два строя застыли на палубе эсминца: строй военных и строй рабочих.

На палубу по «большому сбору» вышел и невзрачный на вид старичок с пегой редковатой бородкой и усами. Его знал весь Балтийский флот. Когда-то, лет сорок назад, он служил кочегаром, ходил в дальние плавания, воевал с германцами, сбрасывал царя, громил Керенского, вершил и отстаивал революцию, а всю гражданскую войну провел в матросском отряде на суше. С флота он ушел только в двадцать первом, но флота не бросил. На судостроительном заводе он строил корабли. Его видели на линкорах, на крейсерах, на сторожевиках и прозвали «назойливым». Ничего обидного в этой кличке не было. Мастер-котельщик Петрович действительно терял покой, когда строился корабль. Он отлично справлялся со всякими корабельными специальностями, и завод часто назначал его «гарантийщиком», гарантийным механиком, отвечающим за действие механизмов.

Два года Петрович плавал на «Октябрьской революции». Его труд вложен в линкор «Марат», в крейсер «Киров», в черноморские теплоходы — каждому кораблю он родной человек. Высшее для него наслаждение — вместе с командой по большому сбору подняться на палубу новорожденного.

— Флаг, гюйс, стеньговые флаги и флаги расцвечивания — поднять!

Медленно поползли по фалам вверх — от кормы до носа — пестрые флаги.

Вахтенный матрос пробил склянки: восемь ноль-ноль. Все повернули головы к бело-синему Военно-морскому флагу, взвившемуся над эскадренным миноносцем. Офицеры и старшины взяли под козырек. Поднял тяжелую руку к козырьку кепки и мастер Петрович. В добрый путь!

День крещения

После подъема флага Петрович поселился в четырехместной старшинской каюте вместе с боцманом Колосовым и двумя главными старшинами. Машинист Леонтьев стал его учеником. Петрович остался на «Славном» гарантийным механиком на ходовых испытаниях. Механик должен проверить машины в походе и гарантировать, что они не подведут в бою. Случилось так, что эти гарантии Петрович дал в настоящих боях.

Война на море сложнее, чем иные ее себе представляют. Редко приводит она к сражению эскадр и кораблей. Чаще это незримая и незаметная борьба за морские пути, защита баз и коммуникаций, охрана флангов армии от вторжения и вторжение во фланг противника, война минная и противоминная, круглосуточная и неусыпная вахта людей, связанных общей судьбой: либо всем погибать, либо всем победить. Война на море — это труд, тяжкий и подчас неблагодарный, но труд настойчивый и повседневный.

«Славный» стремительно вошел в водоворот ратного труда. Вместе с минным заградителем «Ока» — тогда он назывался «Марти» — эсминец ставил мины на возможных путях врага. Сигнальщики впервые увидели фашистские самолеты. Зенитчики произвели первые боевые выстрелы.

Четыре дня спустя, на рассвете, как отмечено вахтенным офицером, матрос Москалев разглядел «справа 30° перископ». В том квадрате накануне «Славный» ставил мины. Через несколько минут последовал взрыв. Корабельный журнал требует абсолютной точности, и вахтенный офицер осторожно записал: «Возможно, на поставленных нами минах подорвалась немецкая ПЛ».

«Славный» провожал в Кронштадт линкор «Октябрьская революция», искал противника в открытой Балтике, ставил мины, сражался с самолетами, преследовал подводные лодки, разведывал пути для других кораблей. Ему еще случалось вести стрельбы по щиту — экипаж доучивался.

16 июля эсминцы «Статный», «Суровый» и «Славный» вернулись в Таллин. А в августе корабельные орудия уже били по врагу, окружающему Таллин. «Славный» отдал городу всё стрелковое оружие. На фронт ушли доброволь-

цы, и вскоре в корабельном журнале появилась запись о геройской гибели на суше старшины 1-й статьи пулеметчика Константина Кураева. Это была первая жертва, понесенная экипажем в войне.

26 августа из облаков внезапно ринулся на корабль «Ю-88». Четыре бомбы взорвались рядом с эсминцем. Корабль подбросило. Масса воды через трубу залила топку. Матросы машинной команды решили: корабль тонет. Но мостик молчал, машинисты остались на месте, внизу.

Из Таллина корабль уходил груженный, как транспорт. Во всех палубах и каютах разместились летчики и техники аэродрома. Бескрылые, они тихо сидели на палубах под шлюпками, возле орудийных постов. С разных направлений пикировали эшелоны самолетов. «Славный» стрелял — немецкие машины носились низко над морем. Летчики-пассажиры могли разглядеть лица летчиков-врагов. Сейчас они были только пассажирами и тоскливо смотрели в море и в небо.

Началась адская ночь — ночь перехода из Таллина в Кронштадт. Мрачен и тих был экипаж. Его лишали простора, из открытого моря корабли втягивались в узкости залива.

Выставив под водой в стороны щупальца-параваны, корабль шел по минным полям меж занятых противником берегов, под жерлами орудий Юминды и Порккала-Удда. Монотонно докладывали сигнальщики: «Справа мина», «Слева мина», «Прямо по носу...» «Славный» отворачивал то вправо, то влево. Это и стало истинным испытанием его маневренности, силы его машин.

Рядом с Леонтьевым у манипуляторного клапана бессменно стоял Петрович. Он следил, сколь живо и точно машины слушаются приказов с мостика.

Ночью в правом параване взорвалась мина и оторвала его. «Славный» сбавил ход, но не остановился — матросы на ходу ставили другой параван. Но час спустя новый взрыв приподнял эсминец, накренил его и бросил носом в воду. Волны залили часть палубы и смели всё на пути. За борт смыло матроса Ракитянского, он стоял у торпедного аппарата. Тяжело ранило старшину 1-й статьи Шевченко, волна понесла его за борт, но он успел схватиться за леер. В какие-то секунды определялось — рана это или смерть корабля. И в эти секунды никто не покинул своего места. Команда молча стояла на погружавшемся в воду

корабле: люди стали неотделимы от корабля, готовые с ним умереть.

И только тогда, когда погружение замедлилось и все поняли, что это не смерть, а рана, что есть еще время спасти корабль, — тогда всё вдруг ожило на борту «Славного».

Не было в ту ночь сторонних наблюдателей. Разорвало цистерну с мазутом в котельном отделении, мазут потек к топке одного из котлов, котел надо быстро погасить — это сделал главный старшина Седихин и его матросы... Всю ночь в котельном отделении люди работали у аварийных насосов, при шестидесятиградусной жаре, откачивая воду... Из залитых водой артиллерийских погребов вместе с матросами летчики-пассажиры выгружали на палубу снаряды для зениток... Одни матросы вырубали стеллажи, отворачивали целые листы переборок, разыскивая в трюмах пробоины. Другие под командой боцмана Колосова заводили снаружи пластырь. Третьи исправляли нарушенную систему управления огнем. Все, кто был на корабле — и матросы и пассажиры, — боролись за его жизнь.

Рана была тяжелой, и корабль лишился хода. Неуправляемый, в шквалистом ветре, в дождь и тьму, лишь изредка озаряемую взрывами, метался «Славный» по начиненному минами заливу.

Чтобы не наскочить на новую мину, пришлось отдать якорь. По бортам стеной стали матросы, вооруженные длинными шестами. Шесты на концах были обвязаны ветошью. Матросы склонились за борт и вытянули шесты вперед. Так стояли часами, спасая корабль. Мягко и ловко они встречали и отталкивали наносимые ветром черные шары.

С наветренной стороны дежурила шлюпка. Гребцы старались держать ее перед форштевнем, готовые либо отвести плавающую мину от корабля, либо подставить себя под ее удар.

Но мина, внезапно поднятая на гребень волны, обошла шлюпку. Ее разглядели с корабля, когда она была уже совсем близко.

— Прямо по носу мина! Идет на нас!

— На шлюпке! — закричали с корабля, но шлюпке уже не перехватить мину.

Корабль струной натянул якорь-цепь. Лишенный хода,

он стоял на пути мины как беззащитная мишень. Черный шар стал отчетливо виден всем — растопырив пальцы, он медленно переваливался с волны на волну, близясь к форштевню. Матросы сгрудились на носу, выставив навстречу шару плотной щетиной футштоки.

Так и неведомо, кто это крикнул, но в корабельных бумагах это отмечено:

— Крыса на корабле есть! На верхней палубе — крыса!..

Это помнят все старослужащие в экипаже.

Еще порыв ветра — и пальцы черного шара коснутся корабля: футштоками с высокого бака до него не достать, коротки футштоки.

— Трави якорь-цепь! — внезапно скомандовал старший лейтенант Василий Иванович Сергеев, имя которого навечно осталось в истории корабля, как имя спасителя.

Его осенила простая мысль: надо ослабить туго натянутую якорь-цепь, и ветер снесет корабль назад.

Загремели звенья цепи в клюзе — «Славный» подался назад. Еще звено — ветер еще немного снес корабль. Черный шар следовал за ним, но вот, сбитый волной, пошел в сторону, скользнул мимо форштевня и, подгоняемый нежными толчками футштоков, обошел эсминец справа.

В машине, конечно, всего этого не видели. Там, под палубами, в адской жаре, работали Петрович и его друзья. От их усилий в конечном счете зависела жизнь корабля, экипажа и частица всего военного успеха. К рассвету они починили машины и дали кораблю ход. Став в кильватер эсминцу «Суровому», «Славный» взял курс на Кронштадт.

Весь день «Славный» атаковали то батареи с острова Маккилуото, то самолеты, то наведенные ими торпедные катера из шхер. Но что значили эти атаки в сравнении с пережитой ночью. В ту ночь и экипаж и корабль выдержали испытание смертью. Они уходили в Кронштадт и в Неву. Но они не отступали. Они уже в те суровые дни пробивали флоту дорогу на простор.

Петрович мог быть доволен творением своего завода. Труд рабочих был проверен в бою, и он со спокойной совестью мог сообщить товарищам, что они вручили флоту надежный корабль. Был глубокий смысл в его пребывании на корабле в день боевого крещения: от лица рабо-

чего класса он как бы благословлял молодой экипаж в первых боях за Родину.

Когда корабль снова стал на клетки дока, чтобы залечить раны, команда вышла провожать старого мастера: обязанности гарантийного механика кончились. Но Петрович вскоре вернулся в док с группой рабочих завода и с женами тех строителей, которые ушли на фронт: они пришли помогать матросам.

Зимой 1941 года флот совершил немыслимое, опрокинув все представления о морской блокаде. Адмирал Дрозд трижды провел эскадру на двести миль в тыл врага и эвакуировал гангутский гарнизон. Снова «Славный» шел туда, откуда с боями, израненный, вырвался в конце августа. Опять мины, снаряды с берега, взрывы. Опять стена матросов с шестами вдоль бортов. Опять геройские поступки, самоотверженность, мужество при спасении людей. Четвертого декабря ночью, возле Сескара, вошли в сплошной лед. «Славный» шел к Кронштадту за «Ермаком». С берега стреляли финские батареи. Его защитила Красная горка.

В двух прорывах на Ханко участвовал под командой Михаила Дмитриевича Осадчего «Славный», и каждый раз его провожал в поход Петрович.

В голодную зиму «Славный» стоял на Неве, бортом к крейсеру «Киров». Однажды на заваленной сугробами набережной остановился старичок.

— Проходи, проходи, папаша, — сурово окликнул его часовой с крейсера. — Нельзя тут посторонним быть.

— Какой же я посторонний. Я и твой крейсер, сынок, раньше тебя знаю.

Старик хотел пройти дальше, но вдруг кто-то его окликнул:

— Папаша! Петрович! Ты ли это?

К Петровичу подбежал мичман Леонтьев.

— Идем, идем к нам. Вся команда «Славного» тебя ждет...

— Да не пустят меня через «Киров». Чужой, говорят, я...

— Как не пустят. — Леонтьев бросился к часовому. — Это мой батя, браток. Его весь корабль знает!

Петрович с трудом карабкался по сходням, поддерживаемый своим учеником. Его провели в ту же каюту, где он жил в походе. Не было в каюте Алексея Колосо-

ва — первого на эсминце боцмана; пробоина в переборке напоминала о его недавней гибели.

Петровича накормили постным борщом. Леонтьев дал ему борща и хлеба с собой и взял слово, что на другой день Петрович снова придет. Но он не пришел: был труден каждый шаг, даже ради хлеба.

Команда послала Леонтьева на завод — разыскать Петровича и доставить на корабль. Старик был совсем плох. Его усадили на салазки и отвезли в заводской стационар.

Матросы «Славного» навещали его семью. Дочку подкармливали. Носили ей баночки с супом, куски хлеба, щепу для печурки.

В ту зиму матросы сами с трудом перебивались, но все же помогали городу. Из своего котла команда подкармливала некоторых мастеров, делила хлеб с рабочими. Всю зиму на «Славном» жил один известный ученый. Не дал корабль погибнуть и семье Петровича. Так сообща и побороли голод. День, когда Петрович, окрепший, снова пришел на корабль, стал праздником для Леонтьева.

Артиллерия эсминца два года защищала город. «Славный» участвовал в прорыве блокады, поддерживал армию на Карельском перешейке и наконец снова вырвался в открытую Балтику.

В одном из корабельных журналов я прочитал: «Имя «Славный» — символ славы и могущества нашей Родины». Так записали еще до войны, когда окрестили корабль. Имя дано было авансом. Корабль его оправдал. Он прошел много тысяч миль. На броне орудий и на палубе остался след этих походов. Матросы старательно драят медную дощечку на кормовом орудии Кирилла Дерикота. На дощечке написано: «Это орудие в годы Отечественной войны дало 351 выстрел по врагу».

И еще одно: за все годы корабль не знал ни одного отступника.

Но все это — прошлое. Оно ушло в историю войны. Плавать, плавать круглый год! — вот что было долголетней мечтой и надеждой Балтийского флота. «Славный» первым открыл путь в незамерзающие порты Балтики.

Крестный

В 1946 году я жил на эсминце «Славный», когда он стоял в Балтийске. В корабельной истории я прочел: «Гарантийным механиком был мастер Петрович». Ни имени, ни фамилии, ни адреса. Я спросил мичмана Леонтьева, где Петрович. Леонтьев ответил:

— Георгий Петрович Ашарин звать его по-настоящему — мастер-котельщик судостроительного завода. Наш крестный, крестный корабля. Вот жив ли он — точно не знаю. В блокаду выдюжил. Потом сын у него погиб на фронте — это подорвало старика. Лечили его в заводской больнице. В сорок пятом он опять работал. В День Победы навестил нас. Пристрастие, говорит, питаю к вам, поскольку был с вами в бою. Но с тех пор не видел его, не довелось...

Петровича я нашел в одной из ленинградских больниц, куда он слег, сломленный годами труда и войны. Мы пришли к нему вдвоем с представителем завода, тоже котельщиком Ильей Григорьевичем Загидулиным, в это время — заместителем начальника цеха. А когда-то Петрович обучал Загидулина мастерству, как обучил он и десятки других известных на заводе людей. Война разлучила их. Загидулин воевал в пехоте, освобождал Севастополь, потом его перебросили на берега Кореи, он вернулся на завод после госпиталя подполковником в отставке.

Петрович сразу узнал своего ученика. Начались воспоминания: «А помнишь, как работали на «коммерсантах»?, «А помнишь, как ночью пожар тушили?» Каждое «а помнишь» было связано с названиями известнейших кораблей, с годами предвоенных пятилеток, с историей создания флота, с прошлым нашей Победы. Загидулин рассказывал старику о заводе и о судьбе знакомых ему мастеров.

— Ширшин? — шепотом вторил Петрович. — Аржанов? Суетин? — Фамилию Суетин он произнес несколько раз, радуясь, что его помнит давний ученик, и показал рукою невысоко от пола — знает он, воспитывал Суетина с малолетства.

Мы сидели подле его больничной койки. Расстегнутая рубаха обнажила татуировку на усохшей груди — сорок лет назад наколотый синий матросский крест.

— Старый матрос, — уважительно сказал мой спут-

ник, и Петрович обрадованно закивал: «Да, да, матрос, с крейсера...»

Ему трудно было говорить — и от волнения и от болезни. Правая рука поражена недугом, левой он пытался написать на клочке бумаги. Я разобрал три слова: «Богатырь», «Кадикс», «Палермо» — и понял, что на крейсере «Богатырь» Петрович ходил в годы своей юности в дальнее и вовеки незабываемое плавание.

— Эх, сколько кораблей создала эта рука! — не удержался Загидулин и, будто испугавшись, что совсем расстроит старика, поспешно добавил: — Что, Петрович, правая хоть немного действует?

Петрович сделал усилие, поднял слабую правую руку и дотянулся ею до лба. Счастливая улыбка осветила его лицо. Все-таки еще есть силенка в руке. Он все ждал, все надеялся встать и прийти на завод. Загидулин взял его кулак и разжал. Старик стал медленно двигать длинными бледными пальцами. Загидулин вложил палец ему в ладонь, и старик тут же зажал кулак. Ученику не хотелось огорчать учителя. Он тужился, высвобождая палец, и, к удовольствию Петровича, признал себя побежденным.

Но Петрович внезапно заплакал:

— Микстурами... микстурами лечат. На завод...

Он говорил невнятно, но мы его понимали.

Я заговорил о корабле. Петрович взволновался. Опять взял бумагу и нацарапал карандашом: «Плавает?.. Помнят?.. Кто?..» Я сказал Петровичу, что его имя навечно вписано в историю корабля, есть там его ученик, мичман Леонтьев, который всем рассказывает о крестном отце эсминца.

— Леонтьев! — пролепетал старик. — Служит?

— Заканчивает сверхсрочную. Скоро приедет.

— На завод... На завод пусть идет, — торопливо заговорил Петрович. — Строить... Корабли строить...

Он заговорил прерывисто, из последних сил, но настойчиво, пошевелил рукой, и Загидулин протянул ему руку. Старик просительно и требовательно смотрел на Загидулина: прояви свою власть и возьми обязательно на завод в свой цех мичмана Леонтьева. Эта мысль, как искорка, блеснула и передалась нам от умирающего человека, который отдал кораблям и флоту всю свою жизнь.



ЛЕВЫЙ ФЛАНГ

В ОСАЖДЕННЫЙ СЕВАСТОПОЛЬ

Фронтовой дневник

21 *апреля 1942 года.* Полет на Черное море неожиданный. Собрался на Балтику, но армейский комиссар Рогов назначил меня спецкором в «Красный флот». Павел Ильич Мусьяков, мой новый начальник, до «Красного флота» — редактор «Красного черноморца», предложил «начать» не с Балтики, а с Черного моря. Там нарастает борьба за Севастополь и Кавказское побережье, там действует флот — морской газете нужен корабельный материал. А на Балтике неведомо когда и как начнут плавать. Линкор «Парижская Коммуна» и черноморские крейсера, высаживающие десанты и поддерживающие фланги армий огнем главных калибров, базируются в Поти — туда мои пути.

«Дуглас» летчика Малиновского летел на бреющем через Воронеж, Ростов, Краснодар до станицы Крымская. В Краснодаре — тыл, весенний зной, следы бомбежки аэродрома — ангар без стекол. Дежурный сказал: немцы бомбили, когда наступали на Ростов. С тех пор — тихо.

В Крымской нас задержали: весь день бомбят Новороссийск — базу снабжения Севастополя. Штурман вытащил старенький патефон и запустил скрипучую пластинку — так развлекались на старте Антоненко и Бринько. Из Краснодара к Сочи пошли на большой высоте, над торчащими из облачного моря островками гор. Над Туапсе самолет повернул вдоль побережья. Внизу в полутьме на море заблистали корабельные зенитки — справа за окном кабины мгновенно возникали серые облачка, как клубки

пара, преследуя самолет. Штурман сказал, что армейцы из Краснодара не успели, наверно, оповестить флот о нашем вылете. Чувство двойственное: приятно, что рвется где-то в стороне, и досадно, что наши так мажут. Пусть, впрочем, мажут.

24 апреля. На попутных добирался до Сухуми. Странное смешение примет войны и глубокого тыла. Вдоль побережья в домах отдыха — госпитали, над шоссе на откосах гор в застиранных халатах сидят раненые. Отойдешь в сторону, в горы — войны нет. Представление о войне смутное. В Гудаутах взволнованы чрезвычайным происшествием на горном пастбище. Какой-то абхазец долго жил там в шалаше, пас корову. Подбитый «мессер» плюхнулся возле шалаша и корову задавил. Пастух навалился на летчика, схватил его за горло и дико закричал, показывая на корову. Немец предложил в возмещение убытков пулемет — не взял; пистолет — не взял; взял пачку денег — стоимость коровы — и отпустил. А тут примчались милиция, истребительный отряд — всё селение. «Куда фашист ушел?..» — «Какой фашист, товарищ?! — закричал пастух. — Он летчик: корову зарезал — деньги заплатил. И корову оставил. В горы ушел». Всем селением отправились ловить летчика. Поймали.

В сухумских гостиницах требуют справку о санобработке, хоть ты и прилетел самолетом. Дежурный посоветовал позвонить Предсовнаркома республики — только он может позволить сделать исключение. Обнаглев, позвонил, извинился, получил разрешение в баню не ходить. Мой попутчик, лейтенант, темпераментный грузин, тоже пожелал позвонить Председателю СНК. Еле отговорил его. Через четверть часа он вернулся в гостиницу и, торжествуя, помахал у меня перед носом справкой. «Вы, конечно, сэкономили пять рублей, — сказал он. — Такса всюду одинаковая, без расхода мыла и воды». Это — особенности тылового быта, раздражающие после Ленинграда.

В Союзе писателей встретил А. Ивича и Г. Гайдовского, прибывших из Севастополя. Читали фронтовые рассказы. Материал у всех интересный, но написан наспех. Впрочем, интеллигентные старушки из эвакуированных ахали: «Какой богатый замысел! Очаровательно! «Война и мир»! Абхазцы произносили что-то невнятное, хлопая к концу или при упоминании имени Сталина. Допуск на встречу с военными литераторами строго регламентирован. Читая про энское сражение за энский остров, я заметил: бдительная секретарша и дюжий парень из администрации союза ринулись грудью навстречу «подозрительному зайцу» богемного типа — в курортной тенниске, пиджак в руках и без билета. Но он прорвался, стал с ходу, хотя и невпопад, хлопать,

эвакуированные старушки моментально его поддержали, администрация была вынуждена отступить.

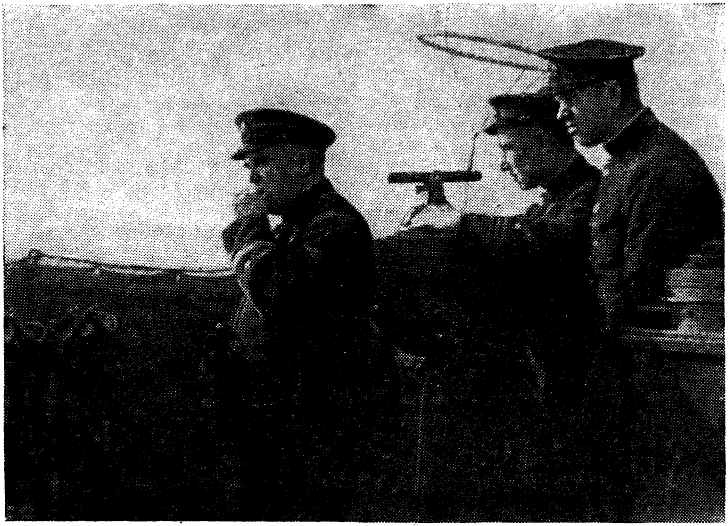
Вечером в театре мы смотрели в концерте Качалова и других мхатовцев. Только война смогла в такое время года привести на сцену сухумского театра столько заслуженных, народных и лауреатов.

7 мая. Живу на «Красном Крыме», в потийской гавани, жду выхода в Севастополь. Две сумбурные недели позади. В Поти добрался через Тбилиси. Там нет затемнения, город ярко освещен. Можно регистрироваться в комендатуре, можно и обойти ее. В парикмахерской при гостинице объявление: «Сотрудники гостиницы обслуживаются вне очереди». А жильцы?.. «Не будем волноваться. Этот товарищ еще вчера был здесь. Он очень хороший товарищ, он директор гастрономического магазина...» К подобной обстановке как нельзя кстати подходит мой старый знакомый Наумиков. Он покинул редакцию 16 октября, хотя газета осталась в Москве. Малолитражку из Прибалтики разморозил где-то на Волге и сдал в воинскую часть под расписку. Вроде бы в фонд обороны. Жена его, оправдывая бегство, уверяет, что в Москве «многие остались — немцев ждали». Кажется, оба собираются в Иран. Они долго сидели в номере, оправдываясь, «выясняли отношения», потом Наумиков спохватился и заспешил: он поехал переодеваться — нельзя вечером появляться в светлых брюках. В ватниках тут не ходят.

В Поти теплый, сильный ветер, но всё равно жарко. Евпаторийские линейки у вокзала. Башни линкора на горизонте — «Парижанка». На улицах патрули с кораблей. Это флотский город, но не Кронштадт. В штабе базы приезжего с севера кормят обильно и губительно. С непривычки — отравление, пять дней потеряно в госпитале. И вот — корабль. Объявлена готовность в $2^1/_2$ часа. Сную между берегом и кораблем, нервничая и надоедая ребятам с барказов. Пора бы знать, что при такой готовности крейсер внезапно не уйдет.

Со мной в каюте жил белобрысый лейтенантик. Он не успел окончить училище Фрунзе, с сентября командовал ротой таких же птенцов под Севастополем, был ранен, после госпиталя его прислали на крейсер. Показал мне «Красный черноморец» с заметкой «Героическая рота Андриенко». Это о его роте. Я сказал, что на Ханко вместе с Петром Сокуром воевал красноармеец Андриенко, в окопе в боевом охранении. «Всё может быть, — сказал лейтенант. — Где-то на фронте брат, но фамилия не такая редкая. Вы его имени не знаете?» Имени я не помнил. Днем лейтенант прибежал за вещами: назначен на «Парижанку»

адъютантом командующего эскадрой. Я остался в каюте один. Федор Павлович Вершинин, комиссар крейсера, участник гражданской войны, объяснил, что к Севастополю пойдем сложными курсами. В Новороссийске возьмем десант и боеприпасы. В охранении — два эсминца: «Незаможник» и «Дзержинский». Сначала пойдем в сторону Турции, а оттуда повернем к цели. Надо обмануть самолеты-торпедоносцы, поджидающие в засаде на фарватерах.



На мостике «Красного Крыма». Капитан 1 ранга Зубков, старший лейтенант Калитиевский и капитан 2 ранга Леут. Май 1942 г.

Крейсер, между прочим, за десять месяцев войны прошел 17 212 ходовых миль — насколько тут просторнее, чем на Балтике! Высаживали десанты в Григорьевке, под Одессой и в Феодосии. У главного старшины Бориса Сокольского из машинной команды — он по поручению комиссара показал мне корабль — медаль «За отвагу». Это — за Феодосию. О феодосийском десанте вспоминают с болью. Флот действовал отлично, высадили удачно, город захватили, а вот закрепиться не смогли.

Утром мимо нас прошел на охотнике нарком. Экипаж выстроился вдоль борта. Хорошо, что нарком не заглянул сюда,

меня пугает мой полуштатский вид. Сегодня играл на полубаке в шахматы с одним матросом. Старпом Леонид Леут сделал мне замечание: если хочу «общаться с личным составом», следует вызвать краснофлотца к себе в каюту, а не рассиживать с ним, поджав ноги, на палубе. Выслушал молча. Взял в библиотеке уставы корабельной службы и отправился в каюту. За переборкой слышен голос лейтенанта с бородкой, его зовут Иосиф Прупес. Скоро час, как он кого-то «воспитывает», подобно тому, как Леут «воспитывал» меня.

10 мая. Идем полным ходом в Новороссийск. В Поти на крейсере побывал адмирал Кузнецов, сообщил, что экипажу присвоят звание гвардейского.

Командир корабля Александр Илларионович Зубков, которого матросы втихую называют «батей» — таких вольностей на флоте не любят, — при знакомстве бросил странную фразу: «Надеюсь, не проспите, когда крейсер откроет огонь?» К концу беседы он извинился и объяснил: один политработник, в прошлом литератор-юморист, должен был написать о налете на берег противника, но во время боя не показался на палубе, уверял потом, что проспал. «Но он же юморист, он просто подшутил над вами», — сказал я, защищая коллегу, способного спать под грохот главного калибра.

Зубкову сорок лет. Он из крестьян Орловской губернии. В семнадцатом вступил в красногвардейский отряд. Мамонтовцы расстреляли брата. Остался на военной службе, окончил фрунзевку, служил на канлодках, на крейсере «Червона Украина», потопленном у причала в Севастополе, командовал и эсминцем «Дзержинский», который нас сопровождает.

В походе выдают положенные сто граммов чачи. Лейтенант из соседней каюты стал моим другом и собеседником: мне чача не по нутру.

Меня уже не тяготит необходимость гаркать при входе и выходе в кают-компании: «...шите к столу!», «...шите от стола!» Рублю, как Сеня Лифшиц, черноморский корреспондент нашей газеты, раненный в ногу и лицо при высадке десанта в Ялте, краснофлотец в прошлом и вообще свой на флоте человек, которому я завидую. Он и Борис Шейнин, фоторепортер, обожаемый на Черном море, идут тоже в Севастополь.

12 мая. Четыре двадцать утра. Колокола громкого боя всех вызвали наверх. Каждый на посту, я волен выбирать себе место, но испытываю неловкость от такой вольности. Светает. На небе узенький остаток луны, его потихоньку доедает утро. Испросив у Леута разрешения, поднимаюсь на мостик.

На мостике для командира поставлена коечка. Зубков сбросил на нее тулуп и остался в кителе. Курит по-солдатски, огонек в ладонь. Сигнальщики высматривают в тумане эсминцы, передают сигнал не отставать, иногда на корме включают прожектор — багровый проблеск. Заря в облаках.

14 мая. В Новороссийске хотел перейти на «Дзержинский», командир сказал: «Возьму на обратном пути». На эсминце — гранаты, мины, взрывчатка. Крейсер принял на борт красноармейцев, пополнение в Севастополь. И лейтенанта с чемоданом орденов, обвязанным толстой веревкой. Лейтенант в возрасте, говорит, что «на Амуре имел свой кабинет, отдельный».

15 мая. Туман. Ждем тральщиков из Севастополя, они должны были провести нас через минное поле. Блокнот заполнен записями о феодосийском десанте и о приключениях боцмана Ивана Диброва. Ночь провел на палубе, боясь что-либо прозевать. Матросы, беззлобно куражась над солдатами, непривычными к морю, все же старались их развлечь, подбодрить.

Под трапом ходового мостика, кутаясь в шинели, пристроились двое — солдат на корточках, небритый, похоже из выздоравливающих, и рядом, вытянув ноги, матрос, совсем юнец. Я присел в сторонке.

— ...а кругом все «вжик-вжик», — рассказывал солдат, посасывая в рукаве цигарку и пуская дымки в лунный луч. — Кто ее знает: сегодня мимо, завтра зацепит.

— Думаешь, у нас не бывает, — сказал матрос. — Нас «вжиком» не удивишь.

— У вас, конечно, плохо. Кругом вода. А так — жить можно. Масло вон, жиры. Кисель на третье. Когда в порту коптите, дают?

— Дают. И вдогонку добавляют, — обиделся матрос. — Удивительный вы народ, крупа. Сколько мы вашего брата десантом высаживали — все одно и то же. Сам дрожит, как бы не замочиться, а нас фронтом пугает да попрекает компотом. Да у нас даже труба навылет пробита!

— Это случается. Вон в Одессе я горевал: тоже трубу навылет. Кирпичом нас засыпало. А так вроде ничего. Не задело.

Зато матроса задело. Пренебрежения он не терпел.

— Гляди вперед, видишь? — приподнявшись, он толкнул соседа.

— Что видать — ничего не видать, — неуверенно сказал солдат. — Вода, она вода и есть.

— Эх ты, вода! Справа по носу зеленый буй, понятно?!

— Мне что буй, что не буй — разницы мало. Только б зацепиться.

— Потому и говорю про буй. Без буя — накроешься. Буй обозначает минное поле. Слева — смерть. Справа — смерть. А впереди, на воде, сидит, сволочь, торпедоносец. Ждет. Как подойдем — он в нас...

— Нас, землячок, немец год пугает, — огрызнулся фронтовик. — Молод скулить — сме-ерть... Кому прописана — тому, брат, не уйти...

— Умный, по-моему, всегда уйдет, — матрос был доволен, что шутка про буй дошла, задела.

— Пуля не разбирает, дурак ты или умный.

Солдат, сконфуженный. что попался мальчишке, отвернулся и закурил новую. Но юнец его не отпускал. Он спросил вдруг:

— А ты на фронте пулю в руку ловил?

— Зачем в руку. Я ее, стерву, в живот поймал. Два месяца выколупывали.

— То-то. А у нас есть морячок — он в руку поймал снаряд. Вот ей-ей: взял, подержал и в воду бросил.

Солдат молчал. Не купишь. Бреши, коли тебе приятно. А я подожду.

— Думаешь, баланда, да? — добивался своего матросик. — Могу тебе в любую минуту этого моряка показать. Ему за это дали медаль.

И я услышал обычную историю — на кораблях такое бывало не раз: упал снаряд, не разорвался, его столкнули за борт. Но матросик старался потрясти фронтовика, а тот не знал — верить байкам или нет.

— ...А он как зашипел, зашипел, — разорялся юнец, — рядом снаряды, рванет будь здоров, накроются все. Схватил морячок снаряд в руки и в воду его. У борта аж фонтан, как гейзер, понятно тебе, что такое гейзер? Вода шипит, пар идет, а парень даже не замечает, что руки пожег. Батя к нему подошел: действовали, говорит, правильно, с умом. Понимаешь: с умом. Больше ничего не сказал. Только от орудия отставил и перевел в сигнальщики. Без кожи руками снаряд к пушкам не подашь.

— Это что за батя такой, — строго спросил солдат. — Командира позволяешь себе так называть?

— Из уважения. Ты потише. Он наверху, над нами. Капитан первого ранга. По-вашему, пожалуй, будет не меньше, чем генерал. — Матрос показал наверх, где чуть заметным силуэтом, как корзина аэростата, выступал ходовой мостик.

Командир, человек плотный, но невысокий, и рядом старпом, намного выше командира, напряженно смотрели с мостика вперед по ходу корабля.

Утром в полосе густого бесцветного тумана корабль застопорил машины. Командир спал на мостике, прикрытый овчинным тулупом. Кто-то накрыл ему лицо фуражкой. Говорили вполголоса и мало. Ждали, когда прояснится горизонт и можно будет пройти минные поля без помощи тральщиков.

Всё нарушил лихой командир «Дзержинского». Зубков, старший в отряде, запретил ему в тумане, при сомнительных глубинах лезть вперед, но тот рискнул, ушел искать встречающие тральщики, и вскоре мы увидели, а потом и услышали взрыв. Блеск огня. Черный выброс, кажется раздернувший на мгновенье белый занавес, вскинутая над морем середина корпуса и раскат, приглушенный расстоянием, — нечто нереальное, фантасмагорическое, еще не дошедшее до сознания. Эсминец раскололся пополам и сразу затонул. Все продолжалось минуту-полторы. Без шума, без выкриков спустили шлюпки и барказы, только Леут что-то прорычал на администратора севастопольской киногруппы Левинсона, словчившегося прыгнуть в барказ с аппаратом. Ринулись туда, подобрали немногих, несколько десятков человек, подобрали и командира эсминца, но он перейти на крейсер отказался — его отправили на «Незаможник», который одиноко покачивался в стороне. Все понимали: спасенного командира будут судить.

Туман, отступивший только на время, как занавес над сценой, снова обволакивал «Незаможник» и минное поле над могилой «Дзержинского». Зубков смотрел в белую пелену над погибшим эсминцем — тральщики еще не показывались, хотя радист докладывал, что они на подходе. Только сейчас я заметил в густых, нависших над тяжелым лицом Зубкова бровях преждевременную седину. Тулуп валялся рядом на койке. Зубков курил. Туман обволакивал уже и наш крейсер. Связист лейтенант Прупес задрал вверх бородку, увидел, что туман дошел до фор-марса, и сказал:

— Есть надежда, что вражеская авиация примет нас за подводную лодку. Над фор-марсом торчит перископ.

— Слишком много народу на мостике, — процедил Леут, уловив едва заметное движение спины командира.

Я спустился вслед за Прупесом в кают-компанию. Он предложил сыграть в шахматы.

В дверях кают-компании появился тощий Боря Шейнин, наш вездесущий фоторепортер. Увидев, чем мы заняты, он зачастил:

— Вот так. Убьют мичмана Шейнина, а друзья сядут в шахматы играть...

Мы вернулись на мостик.

Под вечер, в час, когда тускнеет захлестнутый волной краешек солнца, мы миновали наконец минные поля и подошли к Севастополю. На мостике стало тесно, но по-прежнему было тихо. Даже посторонние, попутно следующие офицеры, рангом равные командиру, поглядывали на Леута с опаской и помалкивали. Слышны были только доклады сигнальщиков о встречающих нас катерах. Чаще других докладывал сигнальщик у правой стереотрубы, он следил не только за морем, но и за берегом, мы проходили Херсонесский маяк и приближались к опасному участку — к зоне огня фашистских батарей. Голос этого сигнальщика мне показался знакомым, я легко опознал в нем юнца-матросика, ночного собеседника солдата. Матросик суетился, Леут цыкнул на него.

Катера загородили нас дымом. Сквозь этот коридор командир вел крейсер стремительно — немцы не успели вовремя открыть огонь. Но вот где-то вдали дрогнул берег, не просвистел, а проскрежетал давно ожидаемый снаряд, его гнетущее приближение всем вжало головы в плечи, он грохнул где-то рядом, и впереди корабля дыбом поднялась вода. Всех посторонних сдуло с мостика. Остались только вахтенные, штурман и командир, отдававший резким голосом короткие приказания.

Рокотал, ввинчиваясь в ухо, следующий. Побелело лицо знакомого сигнальщика. Меня знобило, дрожал фотоаппарат, которым я старался поймать «боевой момент» — разрыв у борта. Ловя его в фокус, я присел и справа от себя увидел руки — странные, будто облитые спекшейся смолой и еще чем-то белым, не живые руки, они мелко дрожали. Я быстро выпрямился и взглянул сигнальщику в лицо, наверно, слишком пристально — он почувствовал это, густо покраснел, что-то пробормотал про холодную погоду и неожиданно громким голосом прокричал:

— Справа по борту двадцать метров снаряд фугасный!

— Что вы орете, товарищ краснофлотец, — сердито сказал Леут. — Снарядов не видали? В первый раз?..

Командир ровным и резким голосом продолжал управлять крейсером, давая ход то левой, то правой, то средней машинам и уводя корабль от разрывов.

Тут вмешался Севастополь — Малахов курган. Он открыл огонь на подавление, выручая крейсер. В сопровождении крейсера шел «Незаможник».

Я не видел швартовки, потому что к концу, когда мы уже

выходили из-под обстрела, случилась со мной маленькая беда: ловя в объектив разрыв снаряда, приседая и отступая, я неожиданно провалился в какой-то люк. Грешным делом, до сих пор не знаю, что при этом чувствует человек, но в то мгновение я подумал: вот так оно и случается — конец!..

Оказалось, что не так. Я отделался крупным синяком на неподходящем месте и сломал оправу очков. Не самый страшный перелом на войне. Но в походных условиях — трагический для пишущего и фотографирующего.

Мы вошли в осажденный Севастополь и стали под разгрузку к причалу возле Сухарной балки.

Земляки

В Севастополе при разгрузке уронили в море ящик с патронами. Середина мая, сорок второй год, нельзя на такую потерю махнуть рукой. Снарядили барказ с трапиком на борту, вызвали на него команду — моторист, старшина, даже санитара пригласили на всякий случай, Нагирняка. Под воду вызвался пойти сам Георгий Мефодьевич Борискин, старшина водолазов из Новороссийска, он плавал раньше на землесосах рулевым. Бухта ему знакома, когда потопили крейсер «Червона Украина», он доставал не только снаряды, но и ящики сливочного масла — тоже боеприпас.

Борискин патроны поднял и снова спустился на дно. Через несколько минут его приняли на барказ — поднимаясь по трапику, он держал в руках телефонный аппарат.

Старшина Четный забрал у водолаза аппарат. Потом он приложил трубку к уху и сказал:

— Алё, Васыль, слухаешь?

— Слухаю, товарищ старшина, — откликнулся моторист Васыль.

— Полный вперед!

— Есть полный вперед!

— Полный назад!

— Есть полный назад.

Барказ, конечно, стоял на месте. Моторист был не прочь сыграть со старшиной в телефон.

Нагирняк, которого в игру не приняли, подал голос:

— Кобыла расковалась.

Старшина, человек добрый, протянул Нагирняку аппарат: поиграй!



— Васыль, а Васыль! — обрадовался Нагирняк.

— Чого тоби?

— Ты откель, Васыль?

— З Каменец-Подольску. А ты?

— И я с Каменец-Подольску.

— З самого городу?

— Из Маньковцов. А ты?

— И я из Маньковцов. А не брешешь?

— Ни. А какая там ричка?—отставив трубку, спросил Нагирняк.

— Ушица,— ответил Васыль.

— И Днестр близко, — сказал Нагирняк и уронил в воду телефон.

— Надо же, — сказал старшина, — пять лет вместе служат и только сейчас узнали, что земляки.

Борискин уже снял скафандр и протянул его теперь Нагирняку:

— Ты уронил, ты с земляком и лезь. В третий раз я не полезу.

Санитар Нагирняк не был водолазом. Земляка выручил Васыль. Он быстро облачился в скафандр и достал со дна бухты аппарат.

Фронтовой дневник

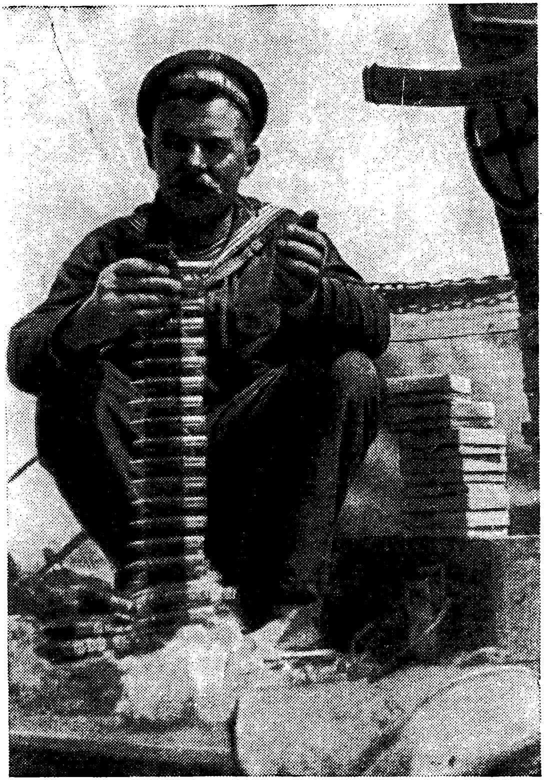
18 мая. В Севастополе много сирени — вопреки снарядам, дыму и огню. Сирень охапками несут на корабль матросы, возвращающиеся к Сухарной балке от Графской пристани. Тут все, кажется, вопреки войне — и трамваи еще бегают, хотя они изрешечены, как в Таллине в последние дни, и чистильщики на

улицах — по тревоге они ловко перевертывают стулья, прячут щетки в ящики и убегают в подвал, а после отбоя сразу возвращаются на свой пост и дочищают командирам сапоги; такое сугубо штатское учреждение, как бюро ЗАГС, продолжает регистрацию браков, рождений и смертей. Валя Кривошеева, заведующая бюро, дала мне любопытную справку за полгода: браков зарегистрировано 197, смертей 690, новорожденных 718. Есть двойняшки, больше всего мальчиков, самое популярное имя Виктор. Приходят оформлять усыновление. У двухлетней Раисы Бондаренко погибли при бомбежке родители. 31 марта ее взяли из приюта Надежда Семеновна Чернявская и ее муж Николай Дмитриевич, кочегар хлебозавода. Пришли при мне регистрировать смерть 72-летнего штукатура — «Севастополь построил и умер». Регистрировать естественную смерть.

Фотографировал корабельных зенитчиков. Александр Васильевич Вайчик, набивающий патронами ленту для счетверенной зенитной установки, считает, что участвует в четвертой войне: четырнадцати лет он пошел в десантный корабельный отряд во время первой мировой войны. В гражданскую войну был дважды ранен в кавалерии — под Перекопом и в Польском походе. Видел гибель эскадры в Новороссийске. Потом плавал бригадиром на рыбацкой шаланде в Одессе. В тридцать девятом году был мобилизован и зачислен в артполк, но поход в Румынию не состоялся. В Одессе у него остались жена и трое детей. Другой зенитчик, Василий Гаркушка, вдвое моложе Вайчика, но на счетверенной установке стал его начальником. Я запомнил его разговор с красноармейцами во время похода. Красноармейцы спросили, где лучше служить на корабле. Несколько поразмыслив, Гаркушка сказал: самая скверная служба — внизу, под палубой, сидят там как слепые, корабль пойдет ко дну — даже не узнают. Хороша, пожалуй, служба у дальномерщиков на формарсе: высоко, далеко видать, не пристают с вопросами, только сильно дует. Впрочем, все-таки лучше быть зенитчиком: только зенитчик не боится бомб, когда пикируют «юнкерсы» — он занят делом. «Так где все-таки лучше всего служить?» — настаивали красноармейцы. «Конечно, внизу, в машине, — неожиданно сказал Гаркушка. — Война кончится — будешь машинистом или токарем. А пулеметчик — кому он в гражданской жизни нужен».

19 мая. Крейсер собирается в обратный путь. Весь день грузили раненых. Три поэта уходят на Большую землю — Ромм, Длигач и Панченко. Длигач устроился в моей каюте. Дань — письмо моим в Москву. Появились женщины на корабле, две эстрадные бригады и медсестры. Медицину любят, на эстрадниц

матросы смотрят недоброжелательно и с затаенной тоской. Осуждают одну иллюзионистку. Она явилась к старшине Сокольскому и потребовала изготовить ей якорь и мундштук. Сокольский большой мастер этих изделий, снабдил ими многих коман-



Александр Вайчик. Май 1942 г.

диров. Он сказал иллюзионистке, что принимает лишь оптовые заказы. Пригрозила пожаловаться. Сокольский рассвирепел, та в истерику, вмешался инженер-лейтенант Воевода, он взял ее под локоток и повел наверх, на ростры, показать настоящий якорь: готов подарить, только немного подраить надо... Снова истерика. Хорошо, что моряки на хамство и барство умеют отвечать шуткой.

Вечером буксиры развернули крейсер, и он тихо пошел к выходу. В городе на берегу белая ракета. Осколок луны, мы смотрим на него с тревогой: вдруг вылезет целиком? Но лунные ночи наступят, кажется, через несколько дней. На мостике опять людно. Все нервирует — ракета, луч прожектора, вспышка выстрела, мигалка, красный светлячок набирающего высоту самолета, все это находит отклик и отзвук, перекатывается по всему крейсеру из уст в уста — до командира. Тихо поговаривают о шпионах: кто же это дал белую ракету?..

Корабль дрожит от работающих машин, трудно записывать. Проходим минные поля. Над «Дзержинским». Нервы. Но вырвались. Хотя немцы наверняка подстерегали выход. Все с уважением смотрят на молчаливого командира — мастерски провел в осажденный порт, мастерски выскользнул.

Внезапно вдогонку луч с материка — догнал белые паруса пены позади крейсера и погас, не дотянувшись до кормы. «Вторая искрит!» — выкрикивает знакомый голос сигнальщика, и тут же эхом, согнувшись над переговорной трубой, его слова передает в машину вахтенный командир. Все, кто наверху, на палубе, смотрят на вторую трубу — там внизу, в машине, не должны допускать, чтобы она искрила. Но все равно нас демаскирует светящийся след на море, его не загасить.

23 мая. «Ну вот мы и вернулись, — сказал старшина Сокольский, когда мы вошли в батумский порт для выгрузки раненых. — Ничего особенного. Обыкновенный грузовой рейс франко-Севастополь. Трудно ждать опасность. Хуже, чем встретиться с ней. Хотя кто знает, что хуже...»

Суббота. Генеральная приборка корабля, пустынного после выгрузки раненых и пассажиров. Босые краснофлотцы орудуют на палубе брандспойтами, швабрами, толченым кирпичом.

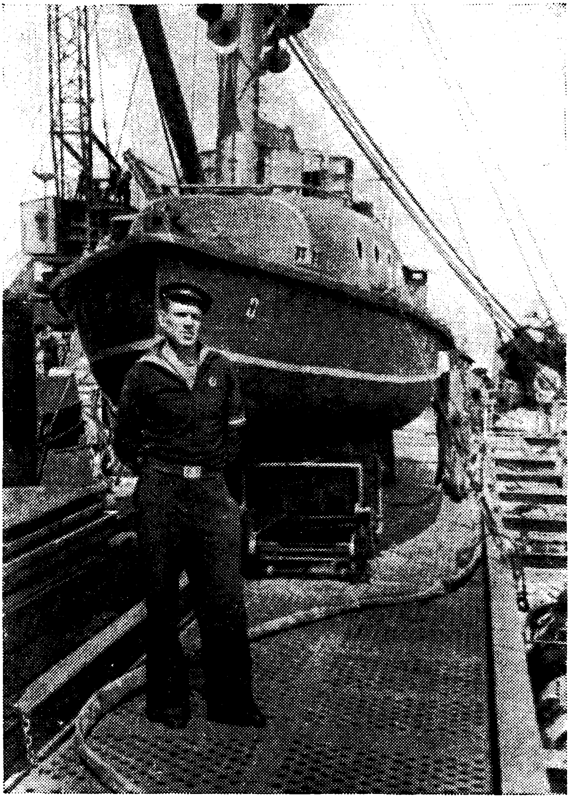
Воскресший боцман

На крейсере говорят: когда Дибров берегом к порту подходит — по морю зыбь идет. Волнуется море от могучей походки этого человека. Дибров — новороссиец. Когда «Красный Крым» заглядывает в этот порт, боцмана встречают не только родня и сынок Витька. Ходит к нему и всякий портовый народ, старые дружки.

— Ивану Иванычу! — слышно на берегу. — Морячку-гвардейцу! Читали, брат, читали...

И поглядывают на его орден Красного Знамени. Это

за феодосийский десант. Не первая награда. Еще в мирное время ему командующий вручил именные часы и портсигар — за греблю и парус.



Иван Дибров. Май 1942 г.

Иван Дибров из тех людей, что выросли среди портовых грузов и смоленых канатов. Шум гавани — музыка его детства. Норд-осты — колыбельная песня. Он начал юнгой на тральщике, рыбалил на шаланде, солил рыбу, а море Черное просолило его самого насквозь. В положенный законом год он занял штатное место на военном корабле — да иначе и быть не могло: он матрос от рождения и создан для службы только на море.

Службу Дибров проходил легко, с «аппетитом». Брался за самое тяжелое. И в войну вошел с той мужественной простотой, что свойственна сильному духом и мускулами человеку. Дерется он весело, с прибауточкой, как дрались русские матросы еще при Чесме и Синопе. Ни пуля, ни снаряд не могут заставить его пригнуть голову, вобрать ее в плечи.

В ледяную ночь, в декабре, в редкую на юге стужу, когда весь корабль оброс снежным чехлом и сосульками, как ледокол в Арктике, в одном бушлате нараспашку, чтобы видать было полосы тельняшки, стоял Дибров на корме барказа и доставлял с крейсера на феодосийский берег десантников. Именно стоял, невзирая на большую, сшибавшую с ног волну, стоял широко расставив ноги. Волной тряхнуло барказ так, что все с банок посыпались, и руль долой к дьяволу — он рассмеялся: «Плакать не будем!» Кругом море ревет, и рев этот перекрывает дикий грохот артиллерийской дуэли. А боцман рванул из-под ног десантников доску, чтобы пристроить ее вместо руля. Увидел в стороне три красные ракеты — сигнал бедствия в ночной тьме — и, недолго думая, доской своей повернул барказ туда, где гибнут люди, бойцы, неизвестные его товарищи. Там нашел он тонущий катер, взял к себе всю терпящую бедствие команду. Осипший от стужи и усталости, но довольный совершенным, он скомандовал мотористу Гаркуше: «Полный вперед» — и шепотом добавил: «Плакать не будем!..» Он промерз до печенок, но заговорил об этом только в кубрике, при виде редкого на корабле зверя — пленного Густава Гауфа. Дибров стоял перед врагом босой, мокрый, с него лилась вода, наган в посиневшей руке. Он махнул перед носом оторопевшего немца кулачищем, способным сокрушить десяток таких, как этот Густав Гауф, и во весь боцманский голос загремел: «Летаешь, сукин сын, бомбишь, подлюга! А я через тебя мокрый. Ух! Моя б рука — в плен бы тебя к архангелам!» — И — в сторону, подальше от греха, потому что сердце у него матросское, и долго ль до беды. Пошел в корабельный лазарет к фельдшеру Дроздову. А там — стаканчик спирта, жареная картошечка с камбуза в знак уважения к храбрости и мужеству боцмана, и снова Дибров на барказе, в ледяной волне. Он рассчитается с Густавом иным способом.

Любят боцмана на корабле и уважают, потому что не

могут смелость и простота не вызвать у людей этих чувств.

А было однажды, что Дибров исчез. Еще под Одессой, когда крейсер высаживал там десант. Дибров спустил свой барказ с ростр на воду, погрузил десантников и ушел к Григорьевке.

Тридцать пять дней не было боцмана. Многие уже похоронили его, поговорили, вспомнили всякое, но забыть не забыли. А он явился — живой.

— Дибров, жив? Глядите, товарищи, покойник прибыл!

— Надоел харч на том свете, — загудел он на всю палубу. — И ста граммов не дают. Решил податься к вам. Все-таки люди. Хоть есть и не люди. Среди сигнальщиков...

И широким шагом прошел по коммунальной палубе в кубрик, где пять лет прожил на одной и той же койке. Бросил туда свой бушлат, потому что больше нечего ему было положить, постоял минуту-другую, вроде бы после отлучки приходил в себя, и отправился в коридор командного состава. Час-другой он пропадал там в каютах командира и комиссара. Друзья сгорали от нетерпения, ожидая выхода боцмана, как в театре ждут знаменитого актера. И сигнальщики волновались: за что он их так сплеча приложил.

Освободился он от разговора с начальством, поднялся на ростры к барказам, где был закреплен уже и его «второй номер», и стал рассказывать товарищам о своих приключениях.

Дело обыкновенное. Высаживали десант. Конечно, шторм, обстрел. Стреляла канонерка противника. Куда надо — не достает, а по барказу пуляет. В пору готовить индивидуальные пакеты. Ну, высадили, отошли — это все не ново и не впервой. Дибров доставлял на берег четвертую партию десантников — ребята попались хорошие, из морской пехоты.

Повернул было к крейсеру, а с берега — стон. И стон и словцо русское вдогонку. «Не иначе — моряк стонет», — решил Дибров и подал барказ обратно. Санитары Нагирняк и Пятаков спрыгнули на берег и вскоре приволокли двух раненых, оба — моряки из первой доставленной Дибровым на берег партии десантников.

Все заняло не так много времени, но было сопряжено

с известной опасностью: десант-то уже ушел в глубь территории, а немцы только теперь спохватились и давай поливать берег огнем. Барказ полным ходом рванул обратно. До крейсера путь прямой, заученный даже в темноте. Но раненых полагалось сдать на «Безупречный», на эсминец. Потому и пришлось свернуть с уже известного Диброву курса.

«Безупречный» стоял невдалеке. Дибров кое-как переборол накат и подошел к борту корабля. Когда море подняло его барказ на гребень волны и сблизило с трапом эсминца, он передал туда раненых и пошел искать свой корабль.

Ушел корабль. Из-под носа ушел. Далеко на горизонте боцман и его товарищи увидали тающий силуэт.

Пошли к эсминцу. Кричит Дибров: «Куда идти?» Иди, говорят, в Одессу. Там и другие барказы есть. В Одессу так в Одессу. Тем более что у Саши Прохоренко там отец, подходящий случай его навестить. Как туда войти, даже спрашивать у Прохоренко не пришлось. Одесса горела. Встретили барказы с «Ташкента», с «Ворошилова» — все идут из Одессы, а Дибров туда. Но раз с эсминца приказали — надо идти. Зашли — все горит. Просто жарко стоять и дожидаться. Порт пустой. Одни ушли, другие не пришли. А Прохоренко куда-то пропал. Вернулся, нос повесил. Не видал, говорит, отца. Его теперь по катакомбам не найдешь. Времени на разговоры нет. Пора в море. Отошли подальше от Одессы. Дибров остановил мотор. Ребята говорят: надо обсудить. Началось новгородское вече. Один умнее другого. Прохоренко и Гаркуша твердят: в Севастополь! Раз некуда податься, куда же еще, в Севастополь, и всё. А Кустенко, был такой на барказе, в спор: не дойдем. Столько тут миль. И война. И волна. Давай, говорит, к берегу. Барказ притопим. Место запомним. А сами на поезд и в Новороссийск.

Дибров рассердился и во весь боцманский голос рявкнул: «Глуши, Кустенко, мотор!» Тот возражает: «Мотор и так заглушен, бензин экономлю». А Дибров ему: «Это я знаю без тебя! Не бубни. Будем действовать по обстановке». Это значило: на барказе есть командир, ему и решать. Чтобы сгладить впечатление — ребята все-таки свои, — Дибров сказал: «Сейчас смажем по сто грамм, толково закусим и пойдем. Или на Тендру или на Кин-

бурнскую косу». Полез в рундук, но там в аварийном запасе кроме консервов — две буханки да битое стекло. Впору горлышки пососать — только и уцелело от НЗ. Зато хлеб — куда там ромовая баба!..

Сразу, конечно, Дибров всего не пересказал, но с того дня, как он вернулся, на «Красном Крыме» ни книг не читают, ни газет. Как соберется кружок у «фитиля» — тащат туда курильщики боцмана и заставляют продолжать про свое воскрешение.

— ...Зашли, — говорит, — на Тендру и влипли. Сначала повезло. Вроде кто позаботился: на берегу лежит бочка с бензином, брезент и даже ящик гвоздей. Полная возможность соорудить над барказом тент. Только погрузились — бежит какой-то командир. Давай, говорит, раз пришли, помогать нам. Ну, запрягли — работа нашему брату всегда найдется. Грузили, возили, таскали, перетаскивали, там же все солдатики — волны боятся, укачиваются, только матросу и трубить. Вырвались. Ушли в море. В хорошую погоду ушли. А потом опять попали, как в плен...

Занесло барказ в порт. В порту война. Раз война — надо помогать. Десять суток помогали. Иван Щербина из ручного пулемета даже в самолет стрелял. Правда, не попал. Хотя самолет сбили. Зенитки сбили. А Щербина твердит: его самолет. Раз такие заслуги — пошли просить оперативного выпустить барказ на риск. Оперативный против боцманского риска не возражал, но на себя брать не хотел. Боцман погибнет, а отвечать ему?.. Пусть, говорит, кто-нибудь поднимет на борт. Но кто возьмет чужой барказ!.. Уговорили старпома на «Пестеле». На борт не взял, а на буксире до ближайшего маяка подтянул. Так и ушли ночью на привязи у купца. Полил дождь, брезент оказался худой, заливает братву. А старпом с «Пестеля» в мегафон орет: руби конец, некогда с тобой тут вожжаться. Дибров и своим голосом кого хочешь перекричит. Застопорите, говорит, ход, тогда отдам конец. Подошел на барказе к борту и просит хоть курс дать — куда идти. С «Пестеля» кричат: «Видишь, по корме огонек? Жми туда — не ошибешься».

Огонек-то светил, пока против маяка был пароход. Ушел пароход — погас огонек.

Пошли догонять пароход. Гнались — не догонишь. Хорошо, что бочка с бензином была. Потом дождь пере-

стал, взошла луна, и тихо стало, и светло. Установили даже вахты, компас зажгли, правда, обернули его простыней: ни противнику не видать, ни себе. Компас для виду или для невидимости. Но шли верно... Буксир нагоняет. Дибров развернулся, лагом стал — сразу буксир его заметил. Немного подмогнул. А потом — ему в сторону...

В общем, до Тарханкута дошли своим ходом, повернули к Евпатории. Зашли за маяк — зыбь меньше. Решили ломать хату, брезент на парус ставить: два крюка, посредине футшток — мачта готова, ставь парус, выигрывай время и бензин. Только в самую Евпаторию заходить не стали: а вдруг опять суток на десять работенку найдут?.. Сходили по очереди в город, в баню, помылись ребята — вода скатывалась с кожи, как бензин. И уже без всяких оперативных, без буксиров, взяли курс на Севастополь. А там — главная база. Через боновые заграждения просто так не пройдешь. За шпионов сначала приняли, хоть и помылись в Евпатории. Хотели телеграфировать своим. Телеграф, говорят, занят более важными сообщениями, чем депеша про какой-то барказ.

Тут, конечно, были и такие подробности, что можно целую книгу написать — как на «Червону Украину» подняли и хотели причислить навсегда к ней. Как снова десанты высаживали. Как с нее удалось удрать. Конечно, не потому удирали, что крейсер плохой или что пронюхали, какая ему написана на роду судьба. Не мог же Дибров знать, что с «Червонкой» беда случится. Отпросились, как положено: надо догнать своих. А когда догнали — вот и предъявил Дибров сигнальщикам счет: оказывается, пять чужих барказов взяли, а своего, Диброва, бросили. Боцман долго этого не мог простить сигнальщикам.

А потом начались десанты, походы то на Кавказ, то в Крым, то в район Феодосии, то в Севастополь. Об этой истории скоро забыли и перестали вспоминать.

Снова боцман Дибров гудит своим голосищем на юте, снова меряет шагами палубу так, что зыбь проходит тут же по морю, и море волнуется от его поступи.

НОВОРОССИЙСКАЯ ТЕТРАДЬ

Фронтовой дневник

13 *декабря 42 года.* Снова после Балтики — на юг. В Сухуми стало сложнее добираться, чем в блокированный Ленинград. Там три часа полета через линию фронта. А тут кругосветное путешествие через Куйбышев, Гурьев, Баку и Тбилиси. Под Туапсе бои, под Новороссийском бои и за Моздоком бои. Новороссийск — это левый фланг, моя цель. Редактор приказал лететь с Арсением Расскиным, начальником Политуправления ЧФ. Но в последнюю минуту нарком разрешил Расскину слетать в Ульяновск к семье. Я ждал другого самолета, неделю дежурил на аэродроме, нас не выпускали из-за пурги. Я решил сообщить о задержке в редакцию, тем более что оттуда раздавались какие-то странные звонки домой — расспросы и утешения. Оказалось, что Расскин погиб. Где-то в районе Тбилиси, не разрешившем в сумерках посадку, самолет врезался в горы. Самолет персональный, и никто не знал точного состава пассажиров. Так погиб гангутский комиссар.

Нас выпустили из Москвы в морозный и хмурый, но безветренный день, и мой коллега, улетавший под Ржев, с завистью сказал, прощаясь: «Все же юг есть юг, особенно в декабре». Кабину загрузили двумя тоннами авиационного лака с угрожающими ярлыками на огромных бутылях: «Берегись, смертельно, огнеопасно!» Мы, восемь пассажиров, или, как сказано в полетном листе, «8 × 80 = 640 кг», хотя во мне не полные шестьдесят, — разлеглись вдоль этих бутылей. Лучше всех чувствует себя фельдъегерь — в овчинном полушубке и пимах; с этим же самолетом он прилетел из Ленинграда, а теперь пристроился на своих секретных, опечатанных сургучом мешках; возле пилотской кабины закутался в бурку хмурый и неразговорчивый генерал-майор, кажется, его портрет напечатан в «Правде» среди фотографий участников боев в Сталинграде. Труднее всех нашему дипломату,

летящему в Афганистан, — он в модных ботиночках, в демисезонном пальто и в фетровой шляпе пританцовывает в кабине. Пассажиров развлекает, а может быть, и раздражает «заготовитель из Мосплодоовоща», уверяющий что два миллиона мандаринов — не бомбы, но они тоже важны для Москвы и «сам ГОКО» командировал его на юг на заготовки. В Куйбышеве наш самолет был тринадцатым среди задержанных бураном, нам не помогли ни угрозы, ни увещевания, ни сверхобещания заготовителя мандаринов, адресованные начальнику аэропорта Зеленову. Не помогло и мое льстивое обращение к нему, как к бывшему дежурному по перевозкам в Москве, отправлявшему меня в блокированный Ленинград. Беда, что пилот наш, хотя и много летает, но молод и не завоевал еще права на риск. Зато Николая Ивановича Новикова, летчика-«миллионера», выпустили в Среднюю Азию «под его ответственность» — время военное. До войны Новиков с группой московских корреспондентов отправился в первый рейс на самолете-гиганте «СССР—Л 760», построенном вскоре после гибели «Максима Горького». Перед вылетом я спросил его мнение о самолете. «Вы видели картину «Праздник святого Иоргена»? — ответил Новиков. — Народ просит чуда. Ему дали чудо». Он был прав: для «чуда» еще не было взлетных полос на аэродромах, и мы застряли надолго в Харькове при первом же дожде. Я спросил в Куйбышеве Новикова, как поживает «чудо». Вспомнив, он рассмеялся, сказал, что на войне и «чудо» работает на нас — доставляет кое-какие грузы от союзников в Ташкент, а он, Новиков, летает на более надежных транспортных самолетах в любую погоду: вчера сбрасывал парашютистов в тылу противника, сегодня доставляет в Ташкент инженеров — промышленность не может ждать погоды, надо лететь.

Через трое суток выпустили и нас, мы пошли низко над снегом и черным на снегу лесом, люди в приволжских деревнях задирали вверх головы, разглядывая наши опознавательные — война идет на берегах Волги. Потом мы летели над Каспием, над караванами нефтеналивных судов, над железнодорожным паромом, пересекающим море из Красноводска в Баку, — на его палубе на рельсах стоял цуг вагонов и цистерн. На тбилисском аэродроме нас приняли не сразу, дрогнуло сердце — не отправят ли через перевал; но вот мы сели среди южной зимней зелени, и комендант обругал нашего летчика за то, что машина, выкрашенная под снег, демаскирует аэродром. Сегодня днем я уже добрался после семисуточного путешествия до Сухуми, где каждый милиционер теперь рассказывает о недавних боях с немцами в снегах на перевале возле селения Псху. Начальник республи-

канской милиции Шалико Бокучава носит орден Красного Знамени за эти бои, он утверждает, что остался без милиционеров — все его подчиненные ушли дальше с армией. Мне нужна оказия, чтобы добраться к Цемесской бухте, на участок фронта, именуемый в сводках «район Новороссийска». Иду искать транспорт «Одесский горсовет».

14 декабря. Автобусом в Сочи.

17 декабря. На «У-2» с летчиком Ждановичем долетел до Туапсе. Все разрушено бомбежкой.

18 декабря. Геленджик. Познакомился с капитан-лейтенантом Олегом Ильичом Кузьминым, командиром 142-го отдельного батальона морской пехоты. Этот батальон летом регулярно поминался в сообщениях Информбюро о боях под Новороссийском. Сейчас батальон готовится к десанту в Новороссийск. Завел для него тетрадь «Отдельный батальон».

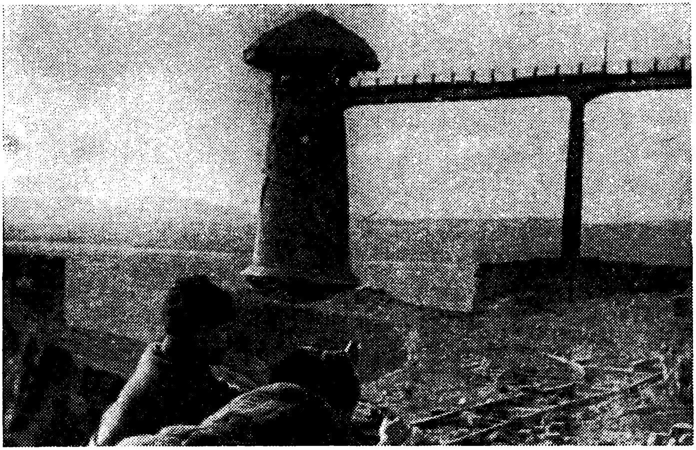
29 декабря. КП в скалах. Отсюда на машине со снарядами к Новороссийску. Мимо развалин курортного Геленджика, по пепелищам черноморских санаториев, через черные, обугленные виноградники Кабардинки я проехал к левому флангу фронта. За Кабардинкой видна передовая — город Новороссийск. По шоссе до фронта оставалось больше десятка километров, но на поворотах, впереди, над Цемесской бухтой, в лунную ночь ясно обозначен передний край — сплетение огненных трасс и вспышки разноцветных ракет. На море постукивают дозорные катера — они сберегут вход в занятую немцами бухту. А в небе гудят наши «эмбеэры» — в городе что-то пылает. Шофер остановил машину на пятом километре от центра города. Все. Дальше пойдем пешком.

По узкому тротуару, то попадая в освещенные луной развалины, то спотыкаясь в тени мертвых кварталов о груды щебня и кирпича, мы шли с капитаном Инюткиным через рабочий поселок цементного завода «Октябрь». Каждую развалину Инюткин считает исторической, он пережил здесь тяжелые бои. Сеть трассирующих и ракет теперь плетется над головой.

Мы вошли в огромную нишу — не то бывшее окно, не то дверь — и очутились в комнате, освещенной коптилкой и сквозь дырявый потолок лунным лучом. Вдоль полуразрушенных стен стояли никелированные кровати, почти все занятые. На столе рядом с коптилкой — стопка пластинок и патефон. Инюткин сказал, что немцы к музыке прислушиваются, кричат: «Рус, давай «Катюшу», им отказу в этом нет: приезжают машины гвардейских минометчиков и дают немцам «катюшу»...

Пришел командир батальона капитан Леонид Андреев. Его батальон держит оборону на цементном заводе. Он разложил на

столе карту и объяснил мне, что такое «район Новороссийска». Это, прежде всего, сам Новороссийск. Он достался противнику не как город и порт, а как огромное поле битвы. Это побережье Цемесской бухты — под огнем морских артиллеристов. Это лощины и сопки, уходящие от моря в глубь материка. Это та горная стена, о которую испокон веков бьется новороссийская бора.



Левофланговые. Над Цемесской бухтой. Декабрь 1942 г.

Фронт проходит по границе двух климатов. Внизу, на побережье, южная приморская зима: резкие переходы от лунных ночей и солнечной прохлады к неуемным ливням, штормам и гнусной сырости; за горами — добрая кубанская зима, недобрая для немцев. А в горах природа, перемешав зиму и осень, создала какой-то невыносимый гибрид всех непогод. В слякоти, в непролазной грязи тонут машины, повозки, тягачи и люди, и только вьючные обозы упрямо пробираются вверх и вниз. На горном хребте и на укрепленных развалинах завода ценою крови и смерти был остановлен враг — армией и моряками.

...Мы прошли с Инюткиным из «дома отдыха» в развалины заводских цехов. В просветах стен пустынно блестело море. Был ясно виден узкий и длинный новороссийский мол. У высокой, похожей на гриб башни, пробитой навылет снарядом, капитан сказал, что это и есть левый фланг. Край нашей обороны. Край всего фронта — от Баренцева до Черного моря.

— Добывают немцы цемент? — спросил Инюткин у наблюда-

теля и снайпера Малюкова, когда мы поднялись на вершину башни, возле Малюкова стояла винтовка с оптическим прицелом.

— Моряки пушками помогают им добывать, — ответил сержант Малюков. — Только вывозить не даем.

Эта тема самая злободневная в батальоне: все тут знают про опровержение Советского информбюро, высмеявшее хвастовство Геббельса о добыче цемента на новороссийских заводах. Где тут цемент добывать, если фашисты не успевают убирать трупы.

Внизу, в таких же развалинах, размещалась немецкая оборона. Дальше сквозь амбразуру виднелись смутные силуэты городских строений, дотлевающее пожарище у холодильника, всё мертво. Вот он, Новороссийск, всегда шумный черноморский порт.

Резкий ветер гнал по небу плотную тучу. Она скрыла на время луну, и тотчас на море, в порту зарокотали моторы.

— Торпедные катера, — сказал я Инюткину. — Торпедные катера входят в порт. Неужели проскочили?

— Не может быть! — Только что он утверждал, что порт мертв, что в порту не бывает ни одного судна, и вдруг звуки моторов. — А если проскочили, — тихо сказал Инюткин, — их сейчас накроют Челак и Давиденко. Или Зубков. Он бьет точно. Правда, днем бьет.

Мы молча вслушивались. Мы ждали огня наших батарей. Но позади было тихо и впереди тихо, только рокот моторов в бухте нарастал. Было слышно, как маневрируют торпедные катера. А потом что-то вспыхнуло, загрохотало, и сержант Малюков, наблюдатель, радостно закричал:

— Это наши, морячки!

В порт прорвались наши торпедные катера. Все ожило на линии фронта. И слева от нас какой-то пулемет странно стал выбивать чечетку: «Тра-та-та-та, тра-тататата...» Инюткин объяснил, что это чудит бывший повар батальона, ныне пулеметчик самого левого края Александр Широков. «Сколько раз его ругали: из пулемета надо давать очередь, а так вредно для механизма. А он твердит: оружие трофейное, не вредно».

Цитадель в сарайчике

Генерала Гречкина — командира левофланговой дивизии советско-германского фронта — я застал на командном пункте в складах под Новороссийском, в стороне от приморского шоссе. Он диктовал адъютанту оперативное донесение в штаб армии.

— Добавьте, — сказал генерал, — обе атаки на сарайчик отбиты с большими для противника потерями. Гарнизон сарайчика держится непоколебимо.

Я спросил генерала, о каком сарайчике идет речь.

— Сарайчик? Это, знаете ли, целый Верден, — рассмеялся генерал. — Мы его барометром называем, барометр нашего фронта на цементных заводах...

Я отправился к морю на берег Цемесской бухты посмотреть, что же это за сарайчик.



Сарайчик. Капитан Модин. Январь 1943 г.

В батальоне сказали, что консультацию по этому вопросу может дать лейтенант Джербинадзе. Георгий Антонович Джербинадзе — командир роты, в хозяйство которого входит и упомянутая цитадель. Я отыскал его под одной из разрушенных стен завода «Октябрь», в узкой, невыносимо тесной дыре, приспособленной под командный пункт.

Джербинадзе спал, сидя на табурете и положив руки и черную кудрявую голову на какое-то возвышение: при ближайшем рассмотрении оно оказалось тумбой от письменного стола.

— Лег немножко отдохнуть,— смущенно сказал Джербинадзе, даже не замечая своей оговорки. — Уже почти совсем отдохнул. Хорошо отдохнул...

Он взял автомат и повел меня по заводскому лабиринту.

Мы перелезли через порожки, вышли из одного здания, вошли в остатки другого, пересекли канаву, поднялись по лестнице, спустились без лестницы, — словом, Джербинадзе шел с уверенностью человека, шагающего по хорошо знакомым ему путаным переулкам.

Перед кручей Джербинадзе остановился и заявил, что территория нашего фронта кончилась. Дальше — боевое охранение, а за ним немецкая оборона. Надо подняться на эту кручу и по ходу сообщения проскочить к цели.

Мы быстро взбежали наверх, окунулись в ход сообщения и услышали позади разрывы гранат, а впереди окрик часового.

Джербинадзе произнес пароль. Нас пропустили в какое-то сооружение, сложенное из дикого камня, как все хозяйственные постройки на юге. По коридорчику мы прошли в маленькую дверь, очутились в продолговатой комнате барачного типа с темным низким потолком; позже я узнал, что эта комната на схематическом плане сарайчика громко именуется «комнатой отдыха». В углах стояли полупустые бочонки, в них еще остался цемент — довоенная продукция новороссийских заводов.

На стене мерцал фонарик. На земляном полу, в очажке, трещал костер. Вокруг тесно сидели бойцы.

— Турсумбеков! — позвал Джербинадзе. — Где Турсумбеков?

— У третьей амбразуры с капитаном Модиным, товарищ командир роты, — ответил кто-то из полутьмы. — Сейчас позовем.

Я присел к очагу. Все молчали, сохраняя вежливую сдержанность, хотя чувствовалось нараставшее по случаю появления незнакомого человека любопытство.

— Товарищ из Москвы приехал, — сказал Джербинадзе. — Военный корреспондент.

— Из Москвы? — услышал я удивленные голоса. — К нам сюда из Москвы?!

И через сколько-то мгновений:

— Егорушкин, Кошеленко, Серомолот, будет спать! Тут из самой Москвы человек.

— Кто тут из Москвы? — докатился вдруг бас; не глядя можно было сказать, что он принадлежит рослому, могучему человеку. — Где тут из Москвы? Где земляк?

Подошел огромный капитан — сапер Борис Модин, знаменитый тем, что он взрывал со своими молодцами немецкие блиндажи. Он протянул руку и тут же установил, что, во-первых, мы соседи или почти соседи и, возможно, ездили по столице в одном трамвае; и, во-вторых, независимо ни от чего я обязан по возвращении проведать его отца и вручить ему письмо от капитана Модина, а после войны мы обязательно выпьем, и выпьем в Москве, у Модина на квартире.

Все это было высказано одним залпом и так шумно, что я усомнился, действительно ли тут до немцев только пятнадцать метров. Трескучие разрывы гранат над головой вернули нас к действительности — я инстинктивно съежился. Но Модин тут же честным словом сапера заверил, что крыша сарайчика несокрушима; он сел рядом и стал расспрашивать о Москве.

Я рассказывал все, что мог припомнить, — о московских театрах и о московских милиционерах, ходят ли троллейбусы и куда тянут новую линию метро. Этим людям дорога была всякая новость из жизни столицы. Но меня интересовал сарайчик, и, улучив момент, я заговорил об этом с молодым казахом, присевшим скромно в стороне.

— Командир гарнизона, — шутливо представил его капитан Модин. — Казахский полководец хан Турсумбеков.

— Нурмахан Турсумбеков, — сердито поправил юноша; в полутьме блеснули его темные восточные глаза. — Командир взвода, обороняющего передовой опорный пункт.

— Какой сердитый ты человек, Нурмахан, — рассмеялся Модин. — Я же тебя так представляю, чтобы скрыть от гостя твою молодость. Понимаете, счастливый он человек, этот младший лейтенант: бреется раз в неделю, и борода не растет. Неоценимое качество для фронтовых условий. А смотрите, какими бородами командует, — Модин показал на прикорнувшего у камелька бородатого солдата-пулеметчика Алексея Серомолота.

Турсумбеков действительно был самым юным среди всех обитателей сарайчика. Но слава командира этой небывалой крепости создала ему на фронте надежный авторитет.

Он открыл планшет, вынул карту участка фронта над

Цемесской бухтой, именуемого в то время в сообщениях Советского информбюро «районом Новороссийска», — маленькой красной точкой был помечен на этой карте пункт, в котором мы находились. У этой точки была своя боевая история, тут же рассказанная мне Турсумбековым.

В октябре 1942 года, когда немцев остановили под Новороссийском, самые кровопролитные бои разыгрались на цементных заводах. Сражения шли в цехах «Октября» и «Пролетария» за каждую площадку, за каждый пролет. Постепенно возникла разграничительная линия — мы на «Октябре», немцы на «Пролетарии». Обе стороны чувствовали, что фронту стоять тут не день и не неделю, и каждая из занявших новые позиции частей старалась улучшить свое положение. В один из этих дней штурмовым ударом Нурмахан Турсумбеков захватил маленький каменный сарайчик на высоте за цехами «Октября» ближе к «Пролетарию». До блиндажей противника отсюда всего пятнадцать метров. В руках немцев находилась высота «Сахарная головка» — она господствовала и над сарайчиком, и над заводами. Но Нурмахан со своим взводом прочно засел в сарайчике, готовясь к длительной обороне. На другой день противник пытался отбить потерянный пункт, и тут все убедились, до чего это замечательный рубеж. Фашисты пробежали ничтожные метры между позициями, намереваясь захватить гарнизон живым. Но взвод Турсумбекова открыл такой огонь, что будь тут целый полк — и тот не смог бы проскочить в сарайчик. Противника расстреливали в упор: фашисты, кто успел, отошли обратно. С тех пор новоявленная крепость стала подвергаться методическим жестоким штурмам. Ее забрасывали гранатами — сыпался кирпич, частями рушились стены. К ней подползали во тьме. Ее не прочь были, вероятно, смести с лица земли. Но бомбить или обстреливать тяжелыми орудиями сарайчик немцы не решались — слишком близко находились их собственные позиции, а все вылазки и штурмы были тщетны: турсумбековская цитадель выдерживала всё, крепла день ото дня. Ночью сюда зачастили разведчики фронтовых частей — сарайчик стал для них исходным пунктом. Постоянными обитателями его были отныне и саперы капитана Модина. Они углубили ход сообщения, соединявший сарайчик с нашей передовой, или, как здесь говорили, с тылом, и возвели дополнительные фортификации. Одна-две гранаты подчас

разрушали плоды многочасового труда, но сарайчик постепенно укрепляли, и внутри него возникала по простейшему чертежу распланированная крепость. Она превратилась в своеобразную многокомнатную квартиру: амбразуры, индивидуальные одноместные каюты для автоматчиков и пулеметчиков, комната отдыха — то помещение, где мы сидели у камелька. Каждый боец определил себе точный сектор обстрела, и теперь гарнизон пресекал любую попытку противника не только сделать шаг в направлении сарайчика, но и высунуть из блиндажа нос. Сидеть в обороне, даже в неприступном сарайчике, особенно когда на всех фронтах идет наступление, не по душе гарнизону Нурмахана Турсумбекова: он перешел к активным действиям. Почин сделал пулеметчик Алексей Серомолот, которого здесь прозвали «Серп и Молот» — слесарь из Ворошиловграда: крючком, чуть больше рыболовного, он притянул с вражеской стороны труп накануне убитого нашим снайпером офицера. Вместе с трупом в сарайчик попал планшет с оперативными документами немецкого штаба. После этого случая рыболовные снасти Алексея Серомолота решено было взять на вооружение: начались еженощные хождения к немецким блиндажам. Саперы Бориса Модина прорыли подземный ход к немцам, в одну из темных ночей они взорвали три блиндажа с солдатами и штаб. А днем работали снайперы. Тогда фашисты вкатили на гору небольшую пушку. Прямой наводкой эта пушка разнесла правый задний угол турсумбековской крепости, и вслед за этим начался новый штурм. Турсумбеков с группой защитников сарайчика встал возле пробитой артиллерийскими снарядами бреши, остальные заняли позиции у амбразур и выходов, и сарайчик все-таки отстояли. А Модин залечил нанесенные штурмом раны все тем же новороссийским цементом — отличным довоенным портландом.

...В разговорах прошла ночь. Когда взошло солнце, мы с Турсумбековым отправились осматривать его владения. Нам сопутствовал почти весь маленький гарнизон.

Мы заходили к пулеметчикам — там царили полумрак и сырость; мы останавливались у амбразур, слушая, что творится совсем рядом — у врагов. Над сарайчиком свистели снаряды — то наш, то фашистский. Сарайчик стоял в «мертвой зоне», между двумя огнями.

Модин с гордостью показывал свои нехитрые, но спасительные для людей сооружения. Я спросил:

— А что здесь раньше было?

— Товарищ Епимахов, — обратился Турсумбеков к гранатометчику, стоявшему на вахте возле амбразуры. — Что здесь раньше было?

— Водонапорный бак стоял, товарищ командир взвода. А потом — баню устроили; только я тогда здесь уже не работал.

— А вы здесь разве работали? — заинтересовался я.

— Я тут еще до войны работал, — ответил Епимахов. — В карьерах, подрывником.

— Подрывником? — Модин всполошился. — Что же вы скрываете у себя саперов, товарищ Турсумбеков. Я ищу специалистов, а тут такой пропадает. Мы его живо к себе заберем.

— Никак нельзя, товарищ капитан, — хмуро сказал Епимахов. — Мне обязательно здесь надо быть. Не иначе.

— Что же тут, теща у тебя или жена? — иронически произнес Модин.

— Именно, что жена, — серьезно ответил Епимахов. — Отсюда мне родной дом видать.

— Вы оттуда? Из Новороссийска? — спросил я Епимахова.

— Семья там, — ответил Епимахов, — жена, детишек двое.

— А что с ними?

— Бог его знает что. Может, фрицы и погубили. Отсюда не видать.

— Смотрите?

— Каждый день в трубу гляжу. Улицу вижу. Дом вижу. А своих нет. Только фрицы...

— А что там происходит, не видно?

— Не видно, но слышно. Первые ночи такие крики шли, ну, стоишь у амбразуры, прямо сердце скрипит. Все кажется, будто моя баба воет. Тогда бы мне, да под горячую руку...

— Много их накрошили?

— Да нет. Штук шесть или семь. Это — которых видно. А не видных — бог его знает сколько.

— Ты, Василий Иванович, не скромничай, — сказал Алексей Серомолот, — накосил фрицев целый овраг.

— Все может быть, — сказал Епимахов. — Каждый день гранаты кидаем. Стараемся...

Тут нас немного потревожили: фашисты, наверно, услыхали голоса — они бросили на сарайчик несколько гранат. Мы замолчали.

Епимахов, осторожно опустив крышку люка, размахнулся и от всей души отправил врагу парочку гранат своих, советских.



Епимахов открыл люк. Январь 1943 г.

Расстались мы на следующее утро. Турсумбеков долго не решался о чем-то спросить. Потом набрался храбрости и тихо произнес:

— Скажите, вы специально в наш сарайчик приехали?

— Специально.

— Вам командир батальона сказал?

— Нет, генерал.

— А вам про нас в Геленджике говорили?

— И в Геленджике.

— И в Сочи?

Мне хотелось сказать ему приятное, я сказал:

— И в Сочи.

— Так, может быть, вам даже в Москве про нас рассказывали? — Турсумбеков пристально оглядел притихших товарищей и взволнованно продолжал: — Конечно, про Турсумбекова, может, там и не знают. Нурмахан Тур-

сумбеков небольшой человек. Но про сарайчик, я думаю, знают. Это ведь крепость. Маленькая крепость, но очень серьезная крепость. Как вы думаете, товарищи?

Весь гарнизон: и Алексей Серомолот, и Егорушкин, и Епимахов, и сапер Модин, и командир роты Джербинадзе — все охотно подтвердили, что это очень важная крепость.

— И вы знаете, о чем бы я вас очень просил? — Турсумбеков дал знак бойцам.

Не успели они подать жестяные кружки, как лейтенант Джербинадзе вытащил из кармана своих брюк литровую флягу с грузинской чачей и подхватил:

— Я знаю, о чем ты хочешь просить, Нурмахан. Ты хочешь предложить один маленький тост.

— Выпить этот бокал, — торжественно продолжал Джербинадзе, наливая чачу в кружки, — за то, чтобы наша маленькая крепость не сегодня-завтра стала самым обыкновенным сарайчиком. Так я тебя понял, Нурмахан?

— Толково сказано, Георгий Антонович, — присоединился Модин. — Такой тост и я охотно поддержу. Так грохнем по чарке за завтрашний день! А вы, земляк, об этом так и напишите. Добро?

И мы выпили за это близкое будущее.

* * *

Вскоре мне прислал письмо Борис Федорович Модин, с обратным адресом «Полевая почта 911, часть 165». Он напоминал о времени, проведенном в сарайчике, о фотографиях, которые я там сделал, и сообщал мне, как корреспонденту, «интересные дела» — какие, я не смог прочесть, «интересные дела», разумеется, вымарала почтовая цензура. Только через несколько месяцев удалось об этом узнать: наши части заняли Новороссийск, сарайчик сыграл свою роль, как опорный пункт для разведки и саперов, — это и были «интересные дела», которые подготавливали Модин и его друзья. Рота лейтенанта Джербинадзе штурмовала город. Василий Епимахов нашел свою улицу и номер дома на сохранившихся воротах. За воротами не было ни дома, ни семьи. С Нурмаханом Турсумбековым он ушел вперед по берегу Черного моря.

А на цементные заводы тут же пришли строители — восстанавливать разрушенное производство такого крепкого цемента, какой помог Нурмахану и его товарищам

выстоять. И цитадель снова стала обыкновенным сарайчиком — простой постройкой на холме над Цемесской бухтой.

Над Таманью

Вот уже два месяца идут по Приморскому шоссе вдоль кавказского побережья новенькие пушки и «студебеккеры» с пехотой. Идут от самых границ Ирана. На перевалах и в горных щелях немцев уже нет. Исчезла из сводок строка — «северо-восточнее Туапсе». Рушится «голубая линия» врага на Кубани. Враг держится за Тамань и Новороссийск. Тамань под огнем морской авиации. Тихоходные морские ближние разведчики — бомбардировщики «МБР-2» из полка, прозванного «морской-непромокаемый», — бомбят ночью эшелоны с войсками, цистерны, переправы и боевые порядки в Керчи, в Анапе, в Темрюке и в Новороссийске. Самолеты старые, сбивать их «мессерам» не так уж сложно. Но полк расположен почти у самой линии фронта и работает на коротком плече. Едва противник расчухается, «товарищ эмбеэр», как прозвали солдаты урчащий ночью над передовой гидросамолет, уже возвращается в бухту на гидродром.

Мне разрешили участвовать в таком полете. На гидродром я пришел днем, когда удары рынды возвестили о боевой тревоге. С сухопутного аэродрома на Тонком мысу поднялись соседи штурмовиков — истребители. Открыли огонь морские зенитчики. Над побережьем был воздушный бой, истребители сбили два «юнкерса», третий зажгла зенитная батарея, «юнкерсы» упали среди гор, не успев освободиться от груза — грохот взрывов долго катился по ущельям к берегу новороссийских бухт, пугая на Приморском шоссе еще не обстрелянных. Только на гидродроме было безлюдно. Летчики спали. Спали под землей, не ведая про тревогу, воздушные бои и разрывы бомб в горах.

В комнате оперативного на КП под землей я ждал, когда летчики проснутся. Ни один из телефонов не звонил. Оперативный сказал:

— Пятьдесят три вылета в прошлую ночь. Поработали.

Вечером все собрались на КП. Снова наступала рабочая пора.

Через вентиляционные трубы сверху дошел звук запу-

щенных моторов. Две машины ушли на разведку погоды.

Вошел майор Мусатов, командир полка, поздоровался, молча прочел допуск на полет, ознакомился с моим «Разрешительным удостоверением», приказал выдать мне унты и вышел взглянуть на море.

В бухту забегала большая волна. Свежело. Грозил норд-ост. Майор что-то сказал про карусель с погодой на юге и распорядился перевести гидросамолеты на правую сторону бухты, где волна поменьше. Взлетать и садиться только там.

Возвратясь на КП, майор зашел в оперативную комнату и присел, дожидаясь разведчиков. Я зашел следом и присел в стороне. Майор молча наблюдал за работой оперативного дежурного и начальника штаба.

Подполковник Павлов, начальник штаба полка, гулко разговаривал по всем телефонам сразу, то связываясь с командованием авиагруппы, то уточняя карту в армейских штабах. Иногда он поднимался во весь рост, почти подпирая бетонные своды, и, волоча за собой телефон, подходил к стене, к полевой карте, завешанной большим холстом; подполковник нырял с трубкой под этот холст и, уже невидимый нами, гудел в телефон, нанося на карту последние оперативные данные; оперативный дежурный покорно стоял на подхвате, спасая аппарат.

— Живая мишень, — кивнул Мусатов на своего начальника штаба. — Нельзя его брать в полет. А еще обижается...

Мусатов встал, отдернул занавес, на мгновение показал мне полевую карту и тотчас ее закрыл.

— Обратите внимание, — сказал он, закрыв занавес,— армия не дает нам работать. Вчера квадрат бомбили, сегодня — нельзя. Наши уже там...

Вежливость надо понимать: командиру неудобно секретничать перед человеком, который, придя в полк, предъявил допуск во все военно-морские части, на все аэродромы и корабли, во все походы и полеты с правом даже фотографировать — так было сказано в моей волшебной книжечке с фотографией и особой печатью; но тайна — есть тайна, у каждого командира своя голова на плечах. Идет трудное наступление, и эта карта — величайший секрет. Я вышел в соседнее помещение.

Там летчики играли в шахматы и, конечно, в «козла», ожидая сигнала на вылет. Буфетчица готовила порции —

двести граммов за каждый полет и «премиальный» шоколад к чаю. Возможно, шоколад дадут и мне.

Подошел лейтенант с серебряными крылышками на кителе и спросил, пьющий я или нет. Значит, всем уже известно, что корреспондент собирается в полет. Лейтенант спешил поставить «заявочный столб». Он готов заранее уступить мне шоколад. Разумеется, на джентльменских началах. Я пожал плечами, еще не зная, чем кончится полет и полагается ли мне порция. Как будто полагается.

Из оперативной комнаты вышел Мусатов. Он подошел ко мне и дал возможность себя расспросить. Отвечал он отрывисто, сдержанно, но вдруг я почувствовал, что, хотя спрашиваю я, знакомится со мной он. Мы, оказывается, оба уроженцы Тулы, хотя в Туле он, как и я, не был много лет. И его война застала на Балтике, воевал под Нарвой и под Ленинградом. Командовал восемнадцатой эскадрильей «эмбеэров», с которыми и прилетел сюда. Мне знаком ораниенбаумский гидроотряд?.. Ну как же, это старейший на Балтике отряд морской авиации, оттуда вышел полярник Чухновский. Эскадрилья — продолжение отряда. В ней воспитывались знаменитые Крохалев и Губрий. Полком Мусатов командует недавно. Прежний командир, майор Нехаев, уехал учиться. При Нехаеве полк участвовал в боях от Днестра до Новороссийска. В обратный путь полк поведет он, Мусатов.

— Вы не стесняйтесь, пройдемте к оперативному, — сказал Мусатов, обрывая короткое интервью. — Если хотите, летите со мной.

Сведений от разведчиков все еще не было. Майор рассердился: время не терпит, надо запросить разведчиков о погоде по радио. Оперативный тут же ушел к радистам. Он вернулся с неутешительными известиями: над перевалом низкая облачность.

— Есть надежда, что рассеется?

— Ветерок подходящий, часа через два, возможно, всё разнесет.

— А как Тамань?

— Видимость хорошая. Только от Новороссийска идет бора.

— Ничего. Надо лететь.

Игра в соседней комнате прекратилась. Командиры экипажей собрались перед картой фронта у оперативного.

— Ну что ж, товарищи, задача ясна каждому, — сказал майор, и командиры, сверив каждый свою карту, отправились по машинам.

Мы вышли на берег. Светила полная луна. Облака редкие, но ветер дул резкий и холодный. Южная зима. В бухте мерцали огоньки, это створные знаки для самолетов. Вздымая фонтаны брызг, мимо них скользили летающие лодки. Полк Мусатова уходил в воздух, открывая в эту ночь седьмую тысячу боевых вылетов.

Мы поднялись в самолет, стоящий на колесах над спуском в бухту. Стрелок Мамонов помог мне надеть парашют. Я сел рядом с командиром, на место второго пилота, на мешок, наполненный шелком, и выполнил приказ: закрыл крышку люка.

Машину покатили на воду — сразу стало холоднее, а может быть, так показалось, потому что я знал: мы на поверхности зимнего моря. Теперь я видел только море и небо.

Водолазы отняли колеса, самолет сел на поплавки. Мусатов дал газ.

Над головой зарычал мотор. Сквозь шум едва прорвался плеск воды за поплавками. Машина выскользнула из бухты, и вода ушла вниз.

Мы летели прямо на луну. Сейчас догоним облако. Море — косо слева. Мусатов сделал движение, и море выпрямилось.

Справа под плоскостью — черные пузатые бомбы. В них весь смысл полета. Они тоже частица большого наступления. Только бы не прозевать миг, когда они оторвутся и полетят вниз.

В носовой кабине, одетый как полярник, работал штурман. Он сигналил нам то рукой, то плечом, то кивком головы. После каждого жеста машина послушно меняла либо курс, либо положение. Что ж, машина старая, и связь примитивная. Она, конечно, скоро будет снята с вооружения. Но пока ее возможности вычерпывают до дна.

Берег находился по правую руку, как раз на моей стороне. Напрасно я старался разглядеть места, где недавно побывал: не видно ни цементных заводов, ни сарайчика, сплошной лунный туман. Редко мелькнет язычок костра где-то за высоткой. Но вот внизу вспыхнули

летящие вперед трассы, и Мусатов крикнул мне: «Новороссийск!»

Красная трасса летела внизу параллельно нашему курсу, словно указывая нам путь. Я вспомнил башню над Цемесской бухтой и пулеметчика Широкова — он крикнул, когда над нами заурчал самолет: «Товарищ эмбеэр» летит!» — и дал вперед очередь трассирующими. Может быть, и сейчас он показывает нам дорогу?!

Мы пересекли линию фронта и пошли над приморской землей, занятой немцами. Притихло становище врага. Раньше там разжигали костры. Теперь строго соблюдают светомаскировку.

— Они и папиросы маскируют, — крикнул Мусатов, угадывая, о чем в эту минуту может подумать его сосед.

Но тут внизу разлилось пламя.

— Мои бьют, — сказал Мусатов. — Разведка навела на эшелон. Смотрите, как горит.

Из пламени вырывался черный дым. Рвались вагоны с боеприпасом. Мусатов прижал машину ближе к берегу, чтобы лучше рассмотреть результат работы товарищей, вылетевших чуть раньше нас.

Штурман энергично подавал какие-то знаки, но командир продолжал вести машину тем же курсом. Потом он снова резко повернул к морю и пошел на Тамань.

Мусатов подходил к цели. Он предупредил:

— Буду планировать и с малой высоты бомбить.

Я тут же скосил глаза вправо, под плоскость машины. Удалось различить причалы, какие-то посудины возле них. Бомбы оторвались неожиданно и на удивление бесшумно, они просто отделились от самолета.

Мусатов развернул самолет — я увидел внизу такое же пламя, как на железнодорожной станции.

— Сейчас мои добавят, — крикнул майор. — Еще три машины придут.

Он вел самолет в обратный путь, за новым грузом.

Штурман снова и руками и всем корпусом указывал в сторону моря: надо идти мористее. Мусатов прижал машину ближе к берегу: там — пожары, он должен видеть результат работы полка.

Штурман не унимался и энергично требовал отойти от берега. Мусатов крикнул мне:

— Мой Телегов в отпуске, этот — новичок, опасается за командира, — но все же повернул мористее.

Бухта обозначилась условным лучом прожектора. Мусатов ввел машину в этот луч, и через несколько секунд море обдало нашу кабину хлестким душем. Ветер усилился. Самолет заливало волной. Мы с трудом подрулили к берегу.

Подошел катер. Мусатов заглушил мотор и открыл люк. Экипаж выскочил из машины.

— Что, штурман, страшновато? — спросил майор, когда катер направился к берегу.

Штурман обиделся.

— От самого Новороссийска до цели и на всем обратном пути зенитки провожали нас трассирующими, — зло сказал штурман. — Вы заговорились и забыли выключить хвостовой огонь, товарищ командир.

Мусатов смутился:

— Подумайте, какая наглость: на бомбежку, и с огнем!

Мы сошли на берег.

— Все вернулись? — спросил майор на КП.

— Все.

— Противодействие было?

— Незначительное.

— Ветер?

— Идет «морячок», — доложил оперативный. — Сильно треплет при посадке.

— Знаю. Задание из группы войск есть?

— Благодарят за результаты и дают новую цель.

— Надо лететь, — майор вышел из оперативной комнаты. — Клавдия Ивановна, чай есть?

Буфетчица ответила со значением:

— Все, что положено, товарищ майор. С шоколадом.

— Это — потом. А товарища в список включили?

— Нет, — Клавдия Ивановна фыркнула.

— Сколько я должен учить вас порядку, — строго выговаривал Мусатов оперативному. — Каждый член экипажа получает за вылет плитку шоколада и двести граммов. Тем более — корреспондент. — Он повернулся ко мне: — Летим?

Сверху через вентиляционную трубу донесся режущий вой: это «мессера» обстреливали спуск. Так заведено: придут следом, обстреляют и уйдут. В бухте уже подвешивали бомбы. «Морской-непромокаемый» снова улетал к причалам Тамани и Керчи.

После очередного полета мы спускались с Николаем Алексеевичем вниз, под землю, в обнимку. Я почувствовал себя своим среди своих и был готов на радостях осчастливить заработанными порциями лейтенанта, маячившего впереди.

В «предбаннике» оперативной комнаты, там, где буфет и шахматы, все стояли по стойке «смирно». Мусатов сделал шаг вперед, вытянулся и доложил:

— Товарищ генерал-лейтенант, майор Мусатов...

Авиационный генерал выслушал рапорт, задал вопрос-другой и бросил хмурый взгляд на меня:

— А это что за летчик?

Приложив руку к ушанке, я сообщил: корреспондент.

— Корреспондент, — передразнил генерал, оглядывая меня с ног до головы, я был в армейском полушубке, в унтах да еще в очках. — А почему небритый?

Был грех — впервые в жизни я пытался отрастить усы. Я стал объяснять, что усы, прежде чем стать усами...

— Какие это усы! — вскипел генерал, недоумевая, кто это, нарушая устав, противоречит ему и выкаблучивается перед всем личным составом. — Это рыжая щетина!.. Вы мне не подчинены, но здесь моя территория!..

Словом, не очень ласково он предложил мне удалиться.

Я выскочил наверх в момент очередного захода «мессеров». Слушать их вой через вентиляционную трубу куда приятнее. Такого страха я не испытывал никогда, хотя «мессера» действовали далеко в стороне. Ноги сами понесли меня прочь от моря. Как я вернусь вниз? Как предстану перед людьми, с которыми уже сблизился и которых полюбил?.. Уйти ночью куда глаза глядят я, конечно, мог, но внизу мои флотские ботинки, обмененные на унты, и, главное, полевая сумка со всеми моими фотокассетами и интервью...

Разрешить все так просто и легко могли только такие люди, как летчики славного «непромокаемого» полка. Они вышли наверх стенкой, и впереди всех шагал подполковник Павлов, гигантская мишень. Растопырив руки, он меня укорял:

— Ну как же так! Я же тебе сигналил, знаки подавал. Надо было сказать: «Виноват, товарищ генерал!» — и порядок. Он добрейшей души человек. А ты — развел

бодягу про усы... Ну пошли, не бойся, он уже уехал, тебя там наш лейтенант дожидается, извелся весь...

Утром из набитой кассетами, блокнотами и шоколадом сумки я тихонько извлек бритву и помазок и сбрил усы. Навсегда. Личный состав «непромокаемого» снова отдыхал. Уходить из подземелья не хотелось, но надо было попасть к штурмовикам. Днем наступала их пора.

Тонкий мыс,
февраль 1943 года.

Одесский угольщик

Зимой, когда в предгорьях Кавказа шли тяжелые бои и немцы добрались до знакомой всем альпинистам деревушки Псху на перевале в двух десятках километров над Сухуми, я пришел в гостиницу «Рица» к старшему морскому начальнику и спросил, нет ли оказии на Геленджик. Он сделал мне замечание: пункт назначения называть вслух нельзя. Потом он сказал, что в порту у головы причала грузится транспорт — ночью, при благоприятной погоде, он отойдет в нужное мне направление, направо.

Было время декабрьских штормов, норд-осты гуляли по морским путям, но даже шаланды не отстаивались в порту, потому что для моряка вспомогательного флота существовало в те дни правило: больше двух раз подряд не появляться в одной и той же кают-компании на берегу. Все спешили — шаланды, катера, буксиры, солидные канонерские лодки и невзрачные каэмки, все боялись запоздать, лишить армию и морскую пехоту того, чем они могут остановить штурмующего берег противника.

В назначенный час я пришел на сухумский мол за пальмовой аллеей и в южном ночном сумраке, среди силуэтов двух тральщиков, обнаружил небольшой пароходик, весь облезлый, закопченный, замученный скитаниями по портам. Палуба его находилась ниже мола. Среди нелепых надстроек не было видно даже трубы, хотя он бессовестно дымил — дым, казалось, исходил из его чрева, из трюма. Это был настоящий портовый работяга, обреченный до войны на заштатные дела в гавани. Вряд ли он ходил дальше рейдовой стоянки. Очаков и Тендровская коса были для него недосягаемы. Но сейчас война забросила его на другую сторону Черного моря, немыслимо далеко.

На борту я осветил фонариком два неожиданных слова, невольно вызвавшие улыбку и почтение: скорлупку звали «Одесский горсовет».

— На «Горсовете»! — окликнул я с мола, ожидая услышать привычное, военно-морское: «Есть на «Горсовете»!»

— Що надо? — протяжно, с акцентом прозвучало снизу.

— Старшего помощника наверх.

— Сэйчас, — ответил всё тот же голос и, конечно же, крикнул: «Жёра! Вас тут кличут навэрх!»

На палубу вышел Жора, молодой человек в капитанке, какую можно встретить только в черноморском порту. Он меня выслушал, разрешил по сходне спуститься вниз с мола, проверил документы, оговорившись, что «хотя мы и не военные, но порядок есть порядок».

— Вы будете у нас первый военный корреспондент на борту, — сказал Жора. — Нас никогда не посещали военные корреспонденты, хотя мы тоже кое-что сделали. О нас даже писали в газете «Черноморская коммуна», когда она еще издавалась в Одессе. И в знаменитой многотиражке «Моряк». Если хотите знать, у нас есть переходящее Знамя за выполнение плана перевозок. Но теперь пишут только о военных кораблях. Вам это интереснее. Идемте к Пете — это наш радист. Пока я приготовлю вам каюту, вы посидите у него и соберете материал.

Я прошел к радисту Пете и почувствовал себя на кусочке одесской территории.

В каютке было так тепло и уютно, как в том порту, к которому приписан «Одесский горсовет». Петя уверил меня, что в часы, когда передаются «Последние известия», в этой каютке вмещается весь экипаж «Одесского горсовета» — вместе с Жорой и капитаном.

— Хотите — садитесь на мою койку, хотите — на табурет, — предложил Петя. — Если вы любите музыку, я вам могу сейчас дать какой-нибудь заграничный фокстрот по нашей рации. Может быть, вы играете в шахматы?..

Петя повозился у своей рации, извлек из нее веселую музыку, вытащил шахматы и молниеносно дал мне мат — он играл блиц так стремительно, как играют только на скамейках бульвара Фельдмана возле Лондонской. Потом он сбегал на берег, мигом, я даже не успел осознать, что он отлучался, принес бутылку свирского, заставил выпить

за наше обоюдное здоровье, за благополучный рейс в Геленджик и, разумеется, за Одессу.

— Вы думаете, легко было уходить из Одессы? — сказал Петя. — Очень тяжело было уходить из Одессы. Мы все одесситы. Сейчас возим раненых, снаряды, бойцов, муку, уголь — раньше возили только уголь. Уголь — наша старая профессия. Должен вам признаться, наше судно — одесский угольщик. Бункеровали пароходы дальнего плавания. Не думайте, что я всю жизнь болтался на этом угольщике. Я плавал и на более крупных кораблях. Я уходил из Одессы в такие плавания, какие моей маме не снились. Я был в Порт-Саиде, в Гамбурге, в Маниле, Константинополе, Салониках, Сингапуре. Но теперь я люблю эту чертову скорлупу. Кусочек нашего города. Ведь я на ней уходил оттуда. Знаете, кто уходил последним из Одессы?..

Он не дал ответить, хотя я мог назвать уже многих «последних». Он сказал:

— Последним уходили двое: один барказ и наш «Одесский горсовет». Не спорьте, — острое лицо его вытянулось от тоски и боли. — Если я вам говорю, это точно. Я видел брошенную машину с шоколадом. Можно было грузить шоколад ящиками. Мы ничего не брали. Мы брали только людей, одесситов. Если бы мы могли погрузить в трюм нашу всемирно известную Оперу, мы бы взяли. Думаете, я музыкант?.. Стыдно признаться, но я в жизни не был в Опере. В здании бывал, но на спектаклях не был. Не успел. У меня же необыкновенная жизнь...

Петя стал излагать свою необыкновенную жизнь.

— Я детдомовец, — сказал он. — Еле спасся из этого детдома. Мне было восемь лет, когда я ходил по Одессе и завидовал: чистенькие ребятишки идут в школу, а я нет. У меня был большой длинный карандаш. Я подходил к белому плакату на стене и начинал рисовать, потому что, наверно, всем ребятам хочется рисовать и писать, если есть что-то белое. Так идет по улице какой-то человек, который сам никогда, наверно, не рисовал на плакатах. И подумаешь, ай-яй-яй — поднимает такой тарарам, будто я разрисовал там всю Советскую власть. А это был всего-навсего плакат «Храните деньги в сберегательной кассе!». Какие у меня могут быть деньги для сберегательной кассы?.. Только когда я заимел наконец мореходную книжку, я стал прилично жить. И то всё рухнуло: я по-

шел работать контролером на железную дорогу. Я же мог стать вором, как бывший беспризорник. Но не стал. А у меня какой-то москвич украл в поезде мореходку. Зачем ему в Москве мореходка?.. Он лишил меня всяких надежд на заграничное плавание. Ведь это не так просто восстановить мореходную книжку.

— А почему вы, Петя, стали железнодорожным контролером?

— Так, — ответил Петя, опустив глаза. — Некоторые думают, что загранплавание — это сплошной разврат. Ну, там, кабаки, девочки. Начитались всякой чепухи...

— Вы женаты?

— Не совсем. Но не в этом дело.

— У вас есть там девушка?

— Если ее не увезли в Афины или в Рим, то она там.

— Почему так далеко?

— Папа у нее грек, мама — итальянка. Ее зовут Анжелика. Раз уж вы так любопытны, так это из-за нее я бросил дальние плавания. Она сказала, что не выйдет замуж за моряка. Лучше — железнодорожный контролер. Но я не мог оставаться на железной дороге. Я пошел на угольщик. Это ей тоже не нравилось: грязно. Темперамент. Помесь Италии с греческой классикой.

— Почему же вы думаете, что она может эмигрировать?

— Она?! Никогда. Плюньте мне в глаза. Хотя ее мама и итальянка, но она не может итальянцам простить союза с Гитлером. Она вся в отца. Вы знаете, что такое одесский грек? Это еще более воинственный мужчина, чем грек из Акрополя. Я уверен, что он воюет в катакомбах. Но она же чертовски красива. Я ей никогда этого не говорил, но от нее можно сойти с ума. Если она не облила себе лицо серной кислотой, ее мог похитить какой-нибудь оккупационный генерал. Анжелика...

Его прервал старший помощник Жора — он пришел в каюту и сообщил, что место уже приготовлено и я могу идти отдыхать.

Я стал медленно собирать свои вещи. Петя застенчиво смотрел на эти сборы и нерешительно сказал:

— Вам очень хочется идти в отдельную каюту?.. Если не очень, оставайтесь здесь. Мы ляжем валетом. Видите, какой я тощий?.. Я занимаю очень мало места, серьезно. А когда выйдем в море — я все равно спать не буду,

начнется вахта. Оставайтесь, честное слово, не уходите...

Я остался. Мы легли валетом на узкую койку. Петя пристроился на самом краешке, твердя, что он должен быть ближе к радиоаппаратуре. Мы еще поговорили о всякой всячине, только не про Анжелику. Потом я заснул и сквозь сон слышал, как Петя тихо встал и чем-то меня укрыл. Утром я спросил его: почему он не спал?

Петя сказал, что в два часа ночи передавали «Последний час»: там перечисляли столько трофеев, что он не успел все записать, ему пришлось дожидаться шестичасовой передачи — иначе команда его загрызет.

За бортом плескалась вода. Нас стукало о стенку.

— Мы уже пришли? — спросил я Петю.

— Мы еще не выходили, — с улыбкой ответил он. — Нам не дали сопровождения, а теперь без сопровождения не выпускают в море. Торпедоносцы, конечно, нам не страшны. Даже немцы не станут тратить на нас торпеду. Но эти «мессершмитты» и «фокке-вульфы» — ужас...

Расставаться было тяжело, но я поспешил на автобусную станцию. Автобусы ходили без сопровождения катеров. Места в них распределял комендант.

В этот день на автобусах была артистическая пробка — две концертные бригады тбилисских актеров заполонили буквально всё. Но я кое-как пристроился и с пересадками на самолет и катер, добрался все же до Геленджика.

По тому же Приморскому шоссе я возвращался из района Новороссийска уже весной. Карманы шинели были набиты письмами — от летчиков, от Нурмахана Турсумбекова из «сарайчика», от капитана Модина — отцу в Москву, я уже привык к роли военного почтальона. До Туапсе я доехал с трудом: дорогу запрудили колонны наступающих войск, а я двигался против течения.

В сожженном туапсинском порту я пришел к старшему морскому начальнику в дощатый барак на берегу и спросил, нет ли какой-нибудь посудины на Сочи или Сухуми. Я забыл о предупреждении сухумского старморнача.

— Налево пойдет транспорт, — строго ответил туапсинский старморнач, воспитывая меня не словами, а взглядом.

— «Одесский горсовет»? — спросил я.

— Точно. А вы на нем ходили?..

Я замялся и выяснил, у какого причала его искать.

Меня приветствовали на «Горсовете» Жора и Петя. Как старого друга.

— Мы уже о вас беспокоились, — сказал Петя. — За это время произошло столько событий, что вы можете получить у нас великолепный материал. Мы даже отбили налет «мессершмитта».

— Да?! У вас уже есть оружие?!

— Нет. Но мы маневрировали. Сегодня нам обещали, правда, дать пулемет... А он все-таки сбросил на нас бомбы, обстрелял, но не попал. Мы удачно уклонились. Пойдете с нами налево?

— Мне вообще-то нужно попасть в район Сочи, на аэродром, — ответил я уклончиво.

— Вы на меня обиделись, что я вас обыграл в шахматы?.. Я больше не буду вас обыгрывать, это случайно. Вы опять будете спать у меня в каюте. Конечно, лучше бы пойти вместе направо. Даже ишаки и те сейчас идут туда караванами, вы знаете, их здесь называют «горные троллейбусы», а я их называю «ишакси». Я не ездил на такси с тех пор, как мы покинули Одессу... Я понимаю: вы торопитесь и не рискуете ждать. Но налево с нами неинтересно идти. Вот когда пойдем туда, пойдете с нами?

— Обязательно, Петя. Я хочу попасть и в Ялту, и в Севастополь, и в Одессу.

— И вы согласны войти в Одессу на нашей скорлупке? — Петя не верил своим ушам, все-таки он знал цену своему угольщику. — Тогда пойдемте ко мне в каюту: для друзей «Одесского горсовета» у меня всегда есть бутылочка свирского...

Много оказий было на пути наступления, много попутных машин, самолетов, кораблей и шаланд. Я спрашивал иногда про одесский угольщик, но не такая уж это единица, чтобы каждый моряк мог про нее рассказать. Только потом я узнал, что «Одесский горсовет» добрался до Тендры и, чтобы не потонуть от пробоин или от старости, выбросился на косу.

Когда я услышал про такой печальный конец, сердце защемило только на секунду. В следующее мгновение я подумал, что это к лучшему, возможно, теперь Пете повезло: может быть, его Анжелика, если ее не увезли в Афины или Рим, сменит гнев на милость и даже разрешит ему выхлопотать новую мореходку — не идти же

боевому моряку снова на угольщик, когда одно судно он уже вывел на мель.

Много лет прошло после той истории. В конце пятидесятых годов, зимой, выбираясь из Ялты в Москву, я попал на Симферопольский аэродром, забитый самолетами и раздраженными пассажирами со всех концов страны. Все торопились. Но никто не решался расстаться с иллюзией и голубой билет самого быстрого, самого комфортабельного, самого надежного и самого выгодного вида транспорта обменять на обыкновенную желтую карточку с плацкартой.

В тесном аэровокзальчике шумела стайка взволнованных женщин. Это были жены одесских моряков дальнего плавания, для которых нелетная погода оказалась буквально трагедией. Рушилось всё — семья, любовь, будущее.

Одна из этих женщин, худенькая, быстрая, большеглазая, с очень красивыми белыми волосами, порхала то на летное поле, то в бюро погоды, куда, конечно, нас не допускали, то к дежурному по полетам, то к начальнику аэропорта — она обворожила всех, в том числе и автора этих строк, но погода зависела не от симферопольцев, а от главного диспетчера в Москве; а он не видел ни глаз, ни волос этой неотразимой женщины.

Она присела на скамью рядом со мной — ей надо было с кем-то поделиться своим горем.

В Одессе получили радиограмму, что грузо-пассажирский пароход заграничного плавания возвращается из долгого и дальнего рейса, но не в порт приписки, а в Новороссийск. Жены моряков знали: в Новороссийске пароход могут снова загрузить пшеницей или цементом и погнать куда-нибудь к черту на рога. Пароходство посадило жен на теплоход «Победа» и отправило встречать мужей. Но около Ялты, куда «Победа» из-за шторма не смогла зайти, ее капитан получил радиограмму, что мужья изменили курс: они-таки добились разрешения зайти в Одессу и повидать жен. Капитан не решился эту радиограмму скрыть, ему пришлось, несмотря на шторм, спустить на воду и отправить в Ялту катер, чтобы ссадить на берег всю стайку этих шумных путешественниц. В Ялте они наняли несколько такси, домчались до Симферополя и на последние деньги купили билеты на самолет.

Можете себе представить, что их ждало в будущем, если бы мужья пришли в родной порт, но не нашли там своих жен.

Все это она обрушила на меня фонтаном, распаляясь с каждой фразой и с каждым этапом уже в сотый раз повторенной истории. Это от нее не зависело: рассказывая, она не стремилась собеседника увлечь или очаровать. Но всех своих слушателей она так возбуждала, что по первому ее знаку каждый готов был ринуться хлопотать за нее и за всех ее подруг. Она была какая-то электрическая, эта маленькая женщина, и все кругом нее были наэлектризованы. Она внезапно вскочила и снова помчалась на аэродром.

Через короткое время она влетела в аэровокзал, скомандовала девочкам — всем бежать за ней, потребовала, чтобы я нес ее чемодан, и снова понеслась на аэродром. Я послушно побежал вслед.

Какой-то самолет уже запустил моторы. Маленькая женщина выхватила у меня чемодан, взбежала по трапику в кабину, крича мне:

— Я-таки уговорила их лететь. Может, вас тоже выпустят в Москву... Но мы летим. Летите с нами в Одессу. Если будете в Одессе...

От запущенных винтов шел такой грохот и такой ветер, что я едва разбирал её слова. Я подбежал к кабине, от которой уже убрали трап, и спросил, где она в Одессе живет, как ее найти. Я только разобрал, что она живет на Лонжероновской и что зовут её Анжелика.

Дверь захлопнулась, меня оттолкнули от старта, самолет улетел.

Анжелика. Но не может же этого быть. После встречи с Петей прошло не меньше пятнадцати лет. А ей не больше двадцати двух или двадцати пяти. Впрочем, женщины в Одессе умеют за собой следить. Тем более дочь итальянки и грека.

А может быть, это была только Петина мечта, его утешение в скитаниях на работяге-угольщике.

Но Анжелика, такое редкое имя...

КИНБУРНСКАЯ ТЕТРАДЬ

Главный чин

Зимой, в начале сорок четвертого года, я получил предписание снова вылететь на юг: ожидалось наступление на Крым, Николаев и Одессу. Как оно пойдет — сначала Крым или сначала Одесса, — никто еще не знал. В редакции запасся двумя тетрадями из нелинованого газетного срыва, нанес все необходимые надписи на желтую картонную обложку, наклеил на первый лист постоянную спутницу своих скитаний — фотографию — подобную хранил, наверно, каждый фронтовик, и спустя несколько дней уже далеко от Москвы сделал в тетради первую запись — о старике.

Улетал я в сумрачный январский день. В Москве падал мокрый снег. Шинель стала волглая. Я был в ботиночках и с завистью смотрел на сапоги снующих по аэродрому армейцев, на унты летчиков и на старика в валенках с галошами: он — штатский, перед ним заискивают, как перед генералом, ему все можно.

Лучше бы я улетел позавчера самолетом старшины Макаревича.

Самолеты старшины Макаревича — это «дугласы» армейских военно-воздушных сил, которые отправлялись с подмосковных аэродромов на разные фронты во время дежурства диспетчера ВВС Макаревича. Я был знаком с ним только по телефону, но почему-то он ко мне благоволил и безотказно отправлял в любом направлении, даже когда генералы, от которых это зависело, отказывали в разрешении посадить на попутный самолет корреспондента весом в пятьдесят шесть килограммов. Старшина Ма-

каревич просто вписывал в составляемое им для передачи на аэродром по телеграфу полетное задание фразу: взять на борт капитана такого-то. Иногда даже добавлял: «Сесть на Центральном и взять...», а потом звонил жене и сообщал о благополучном полете. Уже к концу войны я узнал, почему Макаревич мне заочно так покровительствовал: он писал стихи. Только очень плохие.

На самолетах Макаревича все было просто. Обычно я был единственным пассажиром, довеском к тоннам лака или к упакованным в ящики моторам. Никто не мешал мне залезть в промасленный моторный чехол, закутаться и спать до места приземления.

А сегодня, в этот день, я улетал с аэродрома военно-морских сил за Измайловом. Я был в списке — чин чином и все по чинам: передо мной значились еще и полковники, и майоры, даже штатский этот старичок тоже был впереди, его с почетом провожали и даже поддерживали, когда он поднимался по лестнице в кабину. Как капитан, я был замыкающим и уселся в своих ботиночках в неотепленной кабине напротив выхода, почти возле кормового гальюна, куда то и дело на полусогнутых пробегали с передних мест чины, начинающие свой путь в исповедальню с положенным достоинством и завершающие его как раз возле меня на пределе выдержки. Естественно, что, замерзая, я был зол на всех и вся.

Унты, возможно, никто не запретил бы надеть и мне. Но где взять унты, когда в редакции не допросишься и валенок. В валенках морякам не разрешает ходить по Москве комендант московского морского гарнизона, знаменитый полковник Карпецкий — это он не допустил комиссара легендарного Гангута Арсения Львовича Рассказина в наркомат лишь за то, что тот пришел зимой в унтах. Этот Карпецкий стоит, наверно, в своей драповой шинели на шерстяном ватине, который греет лучше овчины, и в теплом егерском белье у входа в офицерскую кают-компанию и вылавливает — не столичных, нет — приезжих с флота лейтенантов с плохо надраенными пуговицами. Вообще, с одним просветом не жизнь. Вон полковник впереди, он отлично чувствует себя со своими двумя просветами; его жирный затылок подпирает черный каракулевый воротник. Одному просвету каракуль не положен. А за полушубок и ватник я едва не угодил в прошлом году

на гауптвахту. Зато в отличие от двухпросветных меня не укачивает. Я не бегаю то и дело в корму. Даже если мне и нужно туда пойти. Чтобы не подумали, что меня укачало. И я очень этим горжусь.

Тетрадь лежит в боковом кармане шинели и греет меня. Еще рано ее вынимать, и нет настроения что-либо записывать. Да и запись выйдет брюзжащая, потому что ноги начинают коченеть.

Никогда я не завидовал во время войны штатским за то, что они штатские. Но меня раздражала их независимость среди военных, где нашему брату приходилось тянуться, вскакивать и соблюдать все внешние формы дисциплины, к которым я никак не привыкну. Впрочем, все это быстро проходило, потому что чем ближе фронт, тем проще и строже становились взаимоотношения.

Взглянув на старичка, перед которым так лебезили на аэродроме, я подумал, что он, наверно, из шефов. Точно: шеф. Так обычно одеваются шефы — в грубошерстное пальто на толстой вате с теплым воротником из крашеной кошки, в шерстяное кашне неопределенного цвета и в шапку-ушанку с ботиночными шнурками. Возможно, это мастер с какого-нибудь завода — уже не раз моими спутниками были мастера-вооруженцы, всегда очень секретные и сверхсдержанные, но жаждущие расспросов, на которые они могут позволить себе многозначительно не отвечать.

В списке старик значился передо мной — так мы и уселись в самолете: он впереди, я позади. От нечего делать, чтобы забыть о холоде, я пытался втянуть его в разговор. Но он отвечал односложно и, как мне показалось, важничал.

Полковнику на другой стороне кабины, вероятно, не нравились мои расспросы. Он бросал на меня сердитые взгляды. Я, конечно, продолжал настойчиво допрашивать старичка, кто он и откуда.

Открылась дверь кабины. На мгновенье мелькнули приборные щитки, штурвалы, светлое небо — другой мир за перегородкой. Оттуда вышел командир экипажа. В своих унтах он тоже шагал в корму, но был, конечно, вне подозрений.

Проходя мимо нас, он кивнул старичку и даже осведомился, как тот себя чувствует. Старичок, видите ли, сострил:

— Как положено в авиации.

Словно он был в авиации в доску своим человеком.

Командир посмотрел на него грустными глазами и проследовал дальше.

Ну что ж, он прав, командир: когда старики хорохорятся, это очень смешно.

Потом тот же путь проделал радист — самый молодой в экипаже. А потом — штурман, будто они заражались друг от друга, как заражаются люди от зевка.

Мне тоже захотелось последовать их примеру, но я не мог позволить себе такой роскоши, потому что уж тогда-то я наверняка не буду выглядеть в пассажирской кабине самым стойким, и все они моей виноватой улыбке не поверят, как не верил я их виноватым улыбкам.

А эти, в унтах, всё шли и шли. И каждый из экипажа, подобно командиру, бросал старичку что-нибудь ласковое, одними и теми же словами осведомлялся о его самочувствии и тоже смотрел на него с грустью.

Это меня настолько заинтриговало, что я решил выжать все же из шефа кое-какие подробности. Благо, оказалось, что его замкнутость — деланная, ему очень хотелось поговорить. Впрочем, я приписал это своему профессиональному умению интервьюировать.

И вот я узнал, что никакой он не шеф. И не мастер. Вернее, он мастер, но летит на юг не как мастер, а как отец. Родитель Николая Алексеевича Токарева, которому за два дня до этого присвоили звание генерал-майора.

Это имя я хорошо знал. Да и кто на флотах не знал имя черноморского летчика Героя Советского Союза Токарева, торпедометателя, которому вот уже несколько лет сопутствовала исключительная удача. Я знал, что у него в подчинении находится балтийский штурман Хохлов, тоже герой, он летал вместе с Евгением Преображенским с острова Эзель бомбить Берлин еще в сорок первом году.

Перед самым отлетом я разговаривал с женой о предстоящей поездке на юг и о том, что хорошо бы слетать на торпедометание, слетать именно с Токаревым, который всегда побеждает, то есть всегда возвращается. Интересно бы о нем написать.

Во время таких разговоров жена всегда смотрела на меня молча и с укором. Но нам, очевидно, свойственна такая слабость — и щадить, и щекотать нервы своим лю-

бимым, эгоистически наслаждаясь проявлением тревоги и любви. И я торопился тут же заверить, что с Токаревым лететь надежнее всего, и вообще торпедоносец «Бостон», на котором он летает, — машина отличная, почти неуязвимая, я, мол, уже примерялся, ложился под ее стеклянный колпак — дышишь прямо в шею летчику, все видишь и даже можешь во время торпедометания фотографировать.

И вот — отец Токарева. Все озарилось иным светом. Теперь этот старик казался мне симпатичнейшим из людей. Вся его сдержанность и напыщенность выглядели естественной гордостью родителя, у которого такой сын. И тем более я запрезирал полковника в шинели с каракулевым воротником, который, наверно, сам от фронта далек, а к старику относился без должного уважения, не удостаивал отца героя и генерала хотя бы улыбкой, а меня, капитана, одергивал.

Мы сели на аэродром под Новороссийском, фонтанами разбрызгивая грязь.

Только что кончился дождь, и ветер был сырой, пронизывающий. Ветер дул с гор, порывами, он гонялся по небу за рваными облаками, сбивая их в лохматый караван к горизонту. Горизонт был еще чист и светел, подсвеченный снизу водой. Там было море, и каждый, прыгая с самолета в грязь, смотрел туда, на подсвет. Но там быстро темнело, и подсвет исчезал в дожде.

А небо над нами становилось сизым и сухим. Но тепла не было. Потому что над землей густела сырость, и земля тоже становилась сизой. На такую землю не хотелось ступать. Земля чавкала, и на белом, выкрашенном в Москве под снег самолете налипли черные кляксы.

Старику было лучше всех — на нем были галоши.

Радист хотел снять его на землю, как ребенка. Но старик отвел его ручищи и спрыгнул самостоятельно.

Сухарь-полковник принял руку радиста и, спрыгнув, молча козырнул ему и отвернулся к морю.

Я тоже постарался спрыгнуть на землю независимо и лихо и тут же почувствовал, что ботинки полны воды.

От дальнего домика к самолету плыла черная автомашина. Это был комфортабельный катафалк «ЗИС-101», автомобиль командующего. Он лавировал, выбирая дорогу почище.

Из машины выскочили два полковника и в ногу зашагали к нам.

Старик чуть подался навстречу, приложив ладошку к глазам, он по-стариковски вглядывался в идущих.

Все понимали, что встречают его и машина командующего подана в его честь.

Обстановка требовала торжественной тишины. Мы все молчали, и тишина стала тягостной, потому что шесть часов подряд перед этим гудели моторы.

Полковники были в кожаных на белой овчине регланах и в грубых фронтовых сапогах.

Кожа взвизгнула на сгибах, когда они дружно взяли перед стариком под козырек.

Мне стало чуть-чуть смешно и обидно за старика: не так уж он слеп, чтобы не раскусить фиглярства друзей его сына.

Но все мои спутники стояли смирно, как на параде, словно сговорились принять участие в этой игре встречающих и считали игру не только естественной, но даже закономерной.

Только сухарь-полковник, которого я уже необратимо презирал за равнодушие, продолжал смотреть на потемневшее море, будто завидовал почестям, отдаваемым другому, у которого и звание-то единственное — отец.

Отец держал голову высоко и важничал, отчего, казалось, его короткие усы сделали стойку. Он смешно вскинул руку к своей ушанке в ответ на приветствие полковников в регланах, но, передумав, резко уронил — получилось неожиданно лихо и красиво.

Сдвинув остатки рыже-белого репейника на лбу, он потушил хитроватый блеск глаз и спросил сурово:

— А где же Николай? Коля не приехал?

Полковники молчали. Старик заговорил ворчливо, заглушая вечную тревогу:

— Ах, негодный, отца родного не нашел времени встретить. Неужели генералу не по чину батю встречать...

Меня давно распирало нарушить гнетущее молчание, и я не выдержал:

— Действительно, он прав. Чины и звания кружат нам голову и затмевают все человеческое.

Никто не обратил на мои слова внимания. Только сухарь-полковник, не отрывая глаз от моря, выдавил через плечо:

— Прекратите, капитан. Не суйтесь не в свое дело.

Все это слышали, и я задохнулся от обиды. Я был готов взорваться, нагрубить сухарю, солдафону, одному из тех, кому не нравились мои очки, мой непочтительный взгляд, моя строптивость, моя ранимость, мой сугубо штатский вид человека, который ни за что не променяет гражданскую вольницу на чинопочитание, — словом, за короткое мгновение в моей возбужденной голове вихрем промчались все накопленные обиды и подготовили меня к самому саркастическому, разящему удару по грубияну.

Но кто-то взял меня ласково под руку и отвел в сторону. Это был командир экипажа. Он смотрел на меня грустными и насмешливыми глазами с высоты один метр восемьдесят пять и говорил:

— Не надо. Токарева вчера сбили. Над евпаторийским заливом.

Я раскрыл рот, глотнул и не смог выдавить ни звука.

Сухарь-полковник по-прежнему смотрел куда-то в сторону моря.

Все остальные стояли смирно у плоскостей нашего самолета, и руки у них повисли плетьми.

Отец шагал к горбатому лакированному катафалку на полкорпуса впереди полковников, разбрызгивая галошами вязкую черную грязь.

Его белые сибирские пимы облепило кляксами чернозема, что только подчеркивало их белизну.

Когда автомобиль командующего уехал, сухарь-полковник оторвался наконец от моря, долгим взглядом проводил машину, кому-то едва заметно кивнул и пошел прочь. Я так и не увидел его глаз — жестоких или грустных.

Фронтовой дневник

5 *февраля 1944 года.* С аэродрома по грязи я поплелся к домику, где в прошлом году жил в отдельном батальоне у капитана 3 ранга Олега Ильича Кузьмина. Всё знакомо, даже рваные раны в штукатурке над входом — мы сидели за столом и ели блины, когда этот домик внезапно обстрелял «мессершмитт». Он тогда сжег легковую автомашину возле домика, а шофер, лежавший у автомашины, остался жив. Даже не поцарапался. Я зашел в комнату, где когда-то спал, и у стола,

под которым мы с Кузьминым спасались от внезапной штурмовки, увидел оперативного дежурного гвардейского авиаполка, разговаривающего по телефону. Он положил трубку, встал и посмотрел на меня вопросительно. Погруженный в свои воспоминания, я обрадованно сообщил, что жил тут год назад. «Возможно», — сдержанно ответил дежурный. Пришлось перейти к делу — попросить разрешения позвонить по телефону. Я разыскал оперативную группу газеты «Красный черноморец», с ней находились и наши корреспонденты Саша Баковиков и Илья Бару. Бару ленив, как, впрочем, и я, но пишет хорошо, и только о том, что видит на войне сам, а не по «госпитальным» беседам и сводкам третьего эшелона. Ночь прошла в сердечных разговорах — чем дальше мы от редакции, тем лучше мы себя чувствуем, не омрачают настроения сухари типа X. из отдела пропаганды, вечно прорабатывающие фронтовых корреспондентов «за неповоротливость», но предпочитающие отсиживаться в пределах Сущевской улицы. Мне уступил свою койку Семен Клебанов, секретарь «Красного черноморца», он из тех газетчиков, которые умеют клещами вытягивать нужный материал: в прошлом году я получил из-за него выговор от армейского комиссара за то, что очерки о «районе Новороссийска» и о «сарайчике» напечатал в газете флотской, а не центральной.

Утром я отправился в Новороссийск к цемзаводам, пересек бывшую линию фронта между «Октябрем» и «Пролетарием», где над бухтой стоит все та же башня, пробитая снарядом; гриб разбит, и дырок в башне стало больше, теперь она не левофланговая — левый фланг ушел вперед. Абсолютно мертвый город. Исковерканные переезды и тупики, вздыбленные рельсы, ржавые вагонные скелеты, безглазые стены и черные палисады, груды бетонной рухляди и неразоруженные лабиринты мин, проволока, головешки, а в море у причалов трубы и мачты затопленных кораблей, жуткий путь в полутьме развалин в давящей тишине, в какой-то мистической пустоте; легче наткнуться на обглоданного временем мертвеца, чем встретить живого человека. Но из руин вылетали дробные стуки молотков по железу и камню и грохот работающих экскаваторов. Разбирают стены, латают то, что можно залатать. А пока живут даже в нишах туннеля под мостом. Только ближе к центру стали попадаться навстречу люди — большинство из них бывшие партизаны, они спустились в город и порт с гор. В городе трудно найти ночлег. Из 12 тысяч домов 11 с половиной тысяч разрушены дотла. С трудом можно узнать улицы — не по названиям, не по домам, их опознаешь по морю, по параллельным берегу остаткам стен, по изрытым

траншеями и воронками мостовым, пересекающим эти улицы, — сопоставляешь и вспоминаешь.

7 февраля. Перелетел в Скадовск — внезапно и головокружительно. Находился на батарее капитана Андрея Зубкова, однокашника северянина Федора Поночевного, передал ему от Федора привет с полуострова Рыбачьего, где был в прошлом году, засел читать дневник Зубкова — он ведет его с 38 года, в окошко внезапно проглянуло солнце, я немедленно позвонил на аэродром и от генерала Пурника узнал, что в Скадовск летят бомбардировщики. В Скадовске на аэродроме базируется авиация, блокирующая группировку немцев в Крыму. Там «бостоны», подчиненные генералу Токареву, там знают все о его гибели. Пришлось извиниться перед Зубковым и отложить чтение его дневника на будущее. Зубков отвез меня на аэродром, я втиснулся в самолет «ДБ-ф» летчика Сафонова, в бомболюк позади стрелка-радиста, отупел от запаха касторки, но благополучно пересек моря Черное и Азовское и снова Черное. Живу в землянке на аэродроме, в эскадрилье Петра Николаевича Обухова. Он тихоокеанец, «ночник» — таких немного. Воевал на бомбардировщиках под Керчью, Севастополем, Анапой. Потом летал в Иран, переучивался на торпедоносце «бостон», принимал эти машины от американцев и перегонял их на берег Черного моря. Теперь эскадрилья Обухова охотится за фашистскими караванами на путях между Крымом, Одессой и Констанцей. Когда не хватает торпед — подвешивают бомбы.

Лежим на соломе в полутьме. Обухов сегодня не полетел с эскадрильей, он прислушивается, ожидая возвращения подчиненных. На аэродроме базируются не только «бостоны», но и «кобры», «илы», и «петляковы-2», «пешки», как их называют. Командные пункты каждой из эскадрилий на разных краях лётного поля. И там, на тех КП, наверно, точно так же волнуются и ждут.

Услышав визг идущего на посадку «бостона», Обухов вскочил, бросился наверх и оттуда крикнул мне, что вернулась «семерка». Вернулась раньше времени. В чем дело?.. Сверху донесся голос флагштурмана эскадрильи Писарева, он же парторг: «Без торпеды вернулась, товарищ капитан». Значит, «семерка» нашла цель.

Потом с моря на бреющем ворвался еще один «бостон» и так низко проскрежетал над нами, что мне показалось, будто кто-то ссек мне голову до ушей. «Восьмерка». Капитан Смирнов. «А «четверки» все нет», — произнес Обухов. Мы вышли наверх и остановились возле землянки. Обухов несколько раз повторил: «А «чет-

верки» нет». Самолеты еще не садились, они пристраивались друг к другу в кильватер и цепочкой кружили над аэродромом. Очередь на посадку. Когда наконец появилась «четверка», Обухов сказал: «Ну ясно: Илья Волынкин фотографировал. Это — летчик. Обязательно задержится, чтобы сфотографировать результаты».

Наконец самолеты пошли на посадку. Не было трактора, чтобы их оттаскивать в сторону к укрытиям. Все, кто был на земле, побежали к посадочной полосе — откатывать машины.

К Обухову подошел младший лейтенант Борис Поляков, командир «семерки», доложил о выполнении задания. Потом весь экипаж стал наперебой рассказывать о найденном караване, о транспортах, шедших в Севастополь, о торпедированной самоходной барже, о торпеде, брошенной Волынкиным с близкого расстояния — так близко, что немцы могли зенитками срезать его, но он же смельчак. Потом подошел и сам Волынкин, он успел все сфотографировать.

Приехал главный штурман дивизии подполковник Хохлов, Герой Советского Союза. Хохлов сказал: «Пешка» из соседней эскадрильи тоже фотографировала этот караван, только до атаки. Вот сличим фотографии соседей и ваши, товарищ Волынкин, тогда и определим точно результат».

Сейчас, когда я заканчиваю эту запись, результат уже известен, у эскадрильи успех, все разъехались по квартирам на окраине Скадовска. Мы все залезли в кузов грузовика. Кто-то в сумраке запел грустную: «Подруга моя дорогая, дожить бы до свадьбы, родная...» Другой перебил его озорной частушкой: «Жил да был на свете «ил», на штурмовку он ходил, и была на нем броня...» Было трудно петь, машину подбрасывало на ухабах. Кто-то вспомнил про местного попа, встретившего эскадрилью хлебом-солью, яичками да маслом со сметаной. «Фашисты попадью разбомбили, вот он им этого и простить не может», — сказал Илья Волынкин, ярый атеист. Штурман Хохлов ехал с нами, тоже в кузове. Он сказал, что в авиации ему везет. Под Ленинградом собрался он с тремя «дебухами» на бомбежку, флагштурманом. Уже сидел в кабине. Примчался полковник Преображенский — кричит, ногами топает, знаками показывает, куда, мол, дел какие-то бумаги. Хохлов из кабины показал ему руками: бумаги-де под подушкой на койке. Преображенский знать ничего не захотел, приказал вылезти из кабины, а в полет послал другого. Все три бомбардировщика на аэродром не вернулись. Вот и с Токаревым — тоже полагалось лететь Хохлову. Вылет внезапный. Токарев увидел, что штурмана нет на месте, взял Маркина,

«Погиб Маркин за меня», — сказал Хохлов. Летчики молчали. До самого Скадовска уже никто не проронил ни слова.

На окраине машина остановилась, мы спрыгнули в грязь и разошлись, — каждый к своей мазанке. Я шел с Ильей Волынкиным, длинноногим и худым. Он молчал. Возле белой мазанки, где он квартировал, Волынкин, прощаясь, сказал: «Это я навел Токарева на караван. Я виноват. Он не должен был лететь, а полетел из принципа. Я ходил в разведку, обнаружил транспорт — всего тысяча тонн. Вернулся, доложил Николаю Алексеевичу. Он спросил, можно ли торпедировать. А я брякнул, что нельзя. Почему, спрашивает... Говорю, мелко там, торпеды зароются... Он заспорил, там, говорит, был до войны полигон для торпедных стрельб, я, говорит, вам это докажу... Распалился, полетел сам. Торпедировал. А обратно вышел низко над Евпаторией, нарвался на зенитки и погиб».

12 февраля. Только было нашел приличный угол в домике на берегу моря, в комнате у больной хозяйки, как пришлось снова собираться в путь. Шла машина к Днепру. Мне нужно попасть на лиман, там на косе теперь левый фланг фронта, если не считать Крыма, оставшегося позади, где еще держится сильная немецкая группировка.

Прождал эту машину в Скадовске на улице не сходя с места ровно пять часов. Подкатил «студебеккер», я залез в кузов и попал в приятное общество: двое водолазов, гидрограф, шесть минеров, отправлявшихся минировать выход из Днепро-Бугского лимана в море и пятеро краснофлотцев из «выздоравливающих» после ранения — они возвращались на береговые батареи. Спутники веселые, всю дорогу забавляются. То припрятали во время ночлега в Михайловке мой фотоаппарат — я уже хотел вернуться пешком за ним, но ребята сжалились и отдали аппарат. То подменили своему товарищу, ночевавшему в санвзводе, ремень флотский на армейский и убедили его, что бляху с якорем забрали на память девушки — ремень оказался в кармане у парня, вышло, что он сам стащил у девушек второй ремень. Поближе к Днепру ребята притихли, слышен фронт. Мы остановились в Старой Збурьевке на берегу реки, сегодня здесь упало пять снарядов, и хата, в которой я ночую, без стекол. Нещадно жгу хозяйскую свечу, моя, восковая, горит тускло, трудно записывать. Хозяйка вытопила печь, но теплее не стало. Всё выдувает. Она накормила меня «яечней с салом» и напоила кипятком, закрашенным сушеными абрикосами, потом согрела воды, принесла щербатый эмалированный таз, я сел мыть ноги, она смотрела-смотрела, вздохнула и сказала: «Может, и мой старик моет вот так ноги у чужой

тети». Ей за пятьдесят, как и мужу. Он летчик, «летал еще при царе». В эту войну воевал под Керчью в пехоте, попал в плен, бежал, жил здесь дома, теперь опять пошел воевать. Хозяйка отдала мне свою перину и подушку, а сама легла на лавке. Ни за что не хочет брать перину, а мне неловко этим пользоваться.

Был сегодня в Голой Пристани — этот городишко с ласковым сокращением Гопри сожжен и разбит. Весь день над нами летала «рама»-корректировщик, рвались снаряды. Это город хлеба, соли, рыбы, меда и фруктов, родина многих черноморцев и речных капитанов. Немцы превратили его в гестаповский застенок, сюда тащили на казнь жертвы со всего района и здесь исчезал их след. Сейчас это фронтовой город, но жители не хотят его покидать. В камышах они напрятали для нас катеров и шаланд, думали, что армия с ходу форсирует Днепр. Я стоял на ветхой обгорелой пристани возле полузатопленной баржи с солью и шхуны без снастей, когда мимо прошел против течения черный, смоленый, подобный длинной пироге каюк, груженный четвертями с молоком, рыбой и брезентовыми торбами с хлебом. Два старых рыбака с трудом выгребали веслами, и старая рыбачка правила каюк ближе к нашему берегу. Каюку поклонились с пристани, пожелали рыбакам добра в их опасном пути по Конке на Алешки под Херсон к сыновьям с подарками. На пристани стояли мужчины в синих выцветших куртках и курили черные короткие трубки. Это водники, гопринские и херсонские, пока они без пароходов, выглядят как осиротелые. Ждут, не уходят со старой прогнившей пристани, даже когда начинается обстрел. Они ожили, когда к ним подошли с расспросами мои спутники — военные водолазы, пошли показывать места, где лежат затопленные суда, повели к исправному немецкому катеру, спрятанному ими в камышах. Мы долго добирались до этого катера, я провалился в болото, промок; берегом мы обогнали пирогу, кто-то кричал в камышах: «Э-го-го!». Пирога подошла ближе и приняла на борт какого-то отставшего рыбака — ему тоже надо в Алешки.

13 февраля. В Старой Збурьевке я познакомился с Андреем Романовичем Висовиным, 60-летним капитаном, бежавшим от немцев из Херсона со всей командой. В старом кожаном бумажнике он хранит удостоверение: «Дано настоящее капитану маломерного судна «Днепр № 110» Висовину Андрею Романовичу в том, что он погрузил в Херсоне для немецкой армии станки и электромоторы Консервной фабрики № 3, а также продукты — масло, сахар, консервы, водочный спирт, канаты, нитки — и вышел с караваном других судов под охраной немецкого конвоя курсом

на Одессу. Выйдя в лиман, капитан Висовин воспользовался плохой видимостью, ушел из-под наблюдения немцев и доставил судно и баржу на буксире вместе с грузом в село Рыбальчье, передав все это в руки Красной Армии». Под документом написано, что его удостоверяет «местная власть села Рыбальчье». «Местная власть» — председатель сельсовета Катя Стрельченко, 1923 года рождения, дочь рыбака, повешенного немцами в Гопри, и жена партизана.

14 февраля. Ночевал в Ивановке на косе в хате бывшего старосты деревни при немцах. Его арестовали. В хате живет семья расстрелянного фашистами директора школы из деревни Прогнои. А сейчас я добрел до Васильевки и попросился на ночлег к рыбачке на окраине села. Здесь редко встретишь мужчин, одни старухи, у всех горе — или кто погиб, или кто вести не подает о себе. Хозяйка говорит, что привыкла сама рыбалить, и сетки добрые есть, и ставить бы под ветер на судака, благо соли в озерках уродило — про соль тут говорят, как про хлеб. Но ловить нельзя, немцы не выпускают в лиман. Хозяйку преследовали за то, что ее муж на фронте — полицаи отобрали у нее корову и теленка. Как придет из Очакова шаланда с картошкой и другим добром, выстраивается очередь. Другим продают, а жен красноармейцев полицейский Дмитро Руденко выгоняет. Кричит: «Вы знаете, кто вы такие?» — «Да такая же людина, як ты». — «Вы ждете?» — «А ты не ждешь? Сына своего не ждешь?» — «Сын как хочет, я не жду», — кричал Руденко. А сейчас его забрали, а от сына-лейтенанта пришло письмо — жив, воюет...

Я вышел на крылечко хаты. Сумеречный вечер. Пустынная улица впереди, вся деревня вытянута вдоль этой улицы, а людей нет, многие дома без окон и дверей. Где-то в камышах грохнул снаряд — вспыхнуло и погасло. Из какого-то двора выскочила тощая корова. Я вглядывался в улицу, мне казалось, что издалека кто-то приближается. Идет человек. Я долго ждал его, закрыл глаза, думая, что мне это мерещится, снова посмотрел — нет, идет. Я позвал хозяйку, показал ей на идущего, спросил, кто это там топчется. Она потащила меня в хату испуганная: «Та це ж висельник. Кат. Полицай. Много людей порешил. Судили его. Перед школой повесили». Записываю все это при свете лампадки перед иконой.

Старуха сидит у стола, поглядывает на мои записи и с удовольствием, маленькими кусочками отправляет в рот американскую колбасу, которой я угостил ее. Жует медленно. Ее лицо темное, в глубоких морщинах и крупное. Брови дугами — густые, черные.

Завтра пойду на Хутора, а там к Форштадту — конечной цели моего путешествия. Говорят, немцы украли тут на дороге одного командира батареи и командира взвода. Приятная перспектива!..

Смелая крепость

За селом Прогнои на берегу Днепро-Бугского лимана дороги и тропы уводят в безлюдный высокий камыш, и путь дальше на Кинбурнскую косу лежит через множество мелких озер, где летом оседает соль и рыбаки возами собирают обильный урожай. Мостки и переходы либо сгнили, либо уничтожены войной. Озерцо за озерцом преодолеваешь вброд; путь тут тяжелый — пески да пески, и не только машине, даже фуре с парой добрых коней трудно проехать от села к селу. Здесь больше ходят пешком, в поту покрывая за день двадцать-тридцать километров.

Между селами пустыня — ни дерева, ни куста; только телеграфные столбы одиноко торчат на поросших кураем песчаных дюнах — кучегурах. Да и сами села, разбитые и сожженные, война превратила в пустыню. Когда ветер дует с моря, над берегом и развалинами поднимается трупный запах; немало погибло народу на этом берегу, и еще не успели живые предать погибших земле.

С берега косы отлично виден Очаков и гранитный маяк на острове Первомайском у выхода из лимана в море. Остров каменной глыбой выступает из воды, господствуя над оконечностью Кинбурна — Форштадтом. На острове и в Очакове находились немцы, и позиции их, конечно, были выгоднее наших.

Коса, безлюдная и мертвая, стала противнику поперек горла, и в конце ноября 1943 года он пытался вернуть ее, высадившись десантом. Немцы пришли сначала на Форштадт, где находились наши редкие посты. Бои длились несколько суток. К утру 5 декабря десант был сброшен в море так же, как два века назад дважды сбросил отсюда в море турок Суворов. Вскоре и немцы, и наши убедились в значимости всего происшедшего. Теснимые Третьим Украинским фронтом фашисты завязли в южной грязи. Днепро-Бугский лиман стал единственной для них дорогой спасения. Немцы не думали, что здесь, на виду у Очакова и острова Первомайского, русские смогут создать сильную артиллерийскую позицию и запереть выход из

Николаева в море — к Одессе. Коса обычно молчала, не отвечая немецким орудиям и минометам. Но стоило на лимане появиться какой-либо посудине — коса открывала огонь. Вступали в дело одна батарея за другой. Последней, окончательно замыкающей выход в море, была батарея на развалинах рыбацкого селения Форштадт, сразу же против фортов острова Первомайского. Эта батарея моряка Анатолия Вязметинова расстреливала немецкие суда в упор.

Под вечер в феврале я разыскивал оказию к Вязметинову. Я бродил среди развалин Покровских хуторов, на этот раз покинутых жителями надолго. После зимнего десанта сюда никто не хотел возвращаться, пока война не уйдет из этих краев совсем.

В развалинах старой школы я нашел камбуз батареи. У жаркой, уставленной чанами плиты, под открытым небом, но под защитой черных облупленных стен, стоял кок — в ватнике поверх матросской робы. Мешая борщ, он напевал:

Дует теплый ветер. Развезло дороги.
И на южном фронте оттепель опять,
Тает снег в Ростове, тает в Таганроге.
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать...

— Вы собираетесь с ужином на Форштадт? — прервал я лирические излияния кока.

Он поднял нежные голубые глаза и с южным акцентом спросил:

— Разрешите узнать, с кем имею честь?

Я представился. Кок с подозрением поглядел на меня и куда-то исчез, наверно, побежал звонить по телефону командиру.

Вернувшись, он подтвердил, что собирается на Форштадт, сообщил, что ездит туда за ночь дважды: с ужином и завтраком, и назвал себя:

— Анатолий Гринчук, старший краснофлотец с крейсера «Коминтерн». Конечно, в прошлом. Ныне кок морской артиллерии.

— Скоро ли думаете отправиться, товарищ Гринчук?

— Как только наступит вполне темная ночь, — ответил кок, — мы запряжем наших трофейных першеронов, взятых у противника под Мариуполем, и ляжем на курс нашей кают-компании, стоящей всего лишь в шестидесяти километрах от знаменитого памятника дюку Ришелье.

— Вы, кажется, одессит?

— Я лично родом из Николаева. Но если человек знает шестнадцать ходов в одесских катакомбах, он может себя считать одесситом?

Видимо, я затронул чувствительную для южанина струну. Кок вернулся к борщу и прерванной моим вторжением песне:

Снова нас Одесса встретит, как хозяев,
Звезды Черноморья будут нам сиять.
Славную Каховку, город Николаев —
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать.

Он не пел. Он страдал, бередя душу тоской и надеждой.

Ночью, настолько темной, что не видно было впряженных в фуру трофейных першеронов, мы сели верхом на термосы, и кок, насвистывая все ту же фронтовую песенку, погнал лошадей.

Подвода долго скрипела по вязкому песку. Слева шумело Черное море. Завывал штормовой ветер.

На лимане — справа и впереди — мигали немецкие створы и тусклые огоньки очаковских причалов. Днем оттуда стреляли. Иногда немцы и ночью бросали на косу снаряды наугад. Казалось, что мы плывем на нашей фуре прямо на эти огоньки.

Не видя дороги, кок «прокладывал курс» по огням на чужом берегу. Когда лошади тянули в сторону, к минным полям, кок обрушивал на них град проклятий, попрекая их мамалыжным прошлым. Он с тревогой внюхивался в воздух, уверяя, будто любую мину учует по запаху, и то и дело грозил куда-то во тьму, в сторону немецких мигалок: погодите, мол, вот даст вам командир еще «той жизни».

Мы проехали мимо перевернутой фуры.

Кок любезно пояснил, что это тоже кухня, такая же, как наша, фура армейской батареи, и взлетела она на мине всего лишь позавчера: двое убитых, третий жив, но без ноги...

Становилось холоднее. Коса все сужалась, и уже стало ощутимо, что недалек ее конец. Дуло со всех сторон, будто мы выехали на перекресток ветров.

— Що говорить, — сказал внезапно кок, очевидно продолжая мысль о погибшей позавчера фуре. — Каждый дорожит за свою жизнь... Эти проклятые першероны

имеют гнусную привычку — идти по минному полю напрямик.

Я не откликнулся, и кок обиженно замолчал.

— Мотор кока прибыл! — неожиданно прозвучал сердитый голос во тьме. — Доскрипела дура на задней скорости.

— Дети, тише, надо иметь терпение, — откликнулся кок. — Сейчас только полночь — нормальный обеденный перерыв. Все три блюда получите без промедления.

Он придержал лошадей возле какой-то ямы, откуда пахло горьким дымком, и жестом пригласил: прыгайте!

Я спрыгнул в эту яму, наткнулся на дверцу, открыл ее, пролез согнувшись за занавес — плащ-палатку, ударился обо что-то головой и услыхал странное приглашение:

— Ложитесь, товарищ.

Я находился в землянке. Впрочем, то была не землянка, а нора — метра полтора на два. На шинелях и плащ-палатках лежали в ряд два офицера и старшина.

Было трудно дышать — коптила бензиновая свеча. Она бросала мертвенный свет на все окружающее — на бурый ящик полевого телефона, на черное истлевшее бревно, на котором висел планшет, на светло-синюю, расчерченную квадратами морскую карту лимана под слюдой этого планшета и на сизые, выскобленные лица обитателей землянки.

Чтобы снять шинель, пришлось стать на колени. Я втиснулся между хозяевами, лег и обрадовался, почувствовав под собой мягкий диван: выяснилось, что это кожаное сидение из кают-компании подбитого батарейцами немецкого катера. Просунув под свое ложе руку, я нащупал холодный сырой песок.

Лежа мы познакомились.

Слева возле чугунной печурки и ведра с углем находился старшина Петро Евдокимов, вестовой командира батареи. Это был широкий кряжистый парень, видно добрый и простодушный: улыбался он во все лицо и улыбкой своей внушал успокоение.

Капитан Король, командир взвода управления, в прошлом, как я вскоре узнал, архитектор в Заполярье, казался рядом с Евдокимовым пожилым человеком, много старше своих лет — он редко улыбался, разговаривал раздраженно и устало, видимо, был крайне утомлен.

Справа от меня лежал самый молодой из обитателей землянки, худощавый и смуглый; на нервном лице его сверкали темные цыганские глаза. Это и был командир батареи на Форштадте старший лейтенант Анатолий Вязметинов.

— Уют ограничен профилем местности, — произнес он, помогая удобней устроиться. — Рад бы принять лучше, да обстановочка не позволяет.

— Однако вы недурной себе дворец выкопали! — пытался я в тон хозяину пошутить.

— Во-первых, не мы выкопали, а кладбищенские сторожа, — мрачно отрубил капитан Король. — И, во-вторых, не для нас, а для более доблестных покойников.

— Не пугай гостя, Король, — перебил его Вязметинов, — он же не знает твоего характера. Понимаете, странный у нас человек капитан: в бою — лихач, среди девушек, верно, что король, а как в нору заляжет — донимает нас с Петром своими мрачными шутками...

— Какие ж тут шутки, — не сдавался Король. — Не шутки, а истина. Лежим под развалинами какой-то хаты, в бывшей могиле. Нашли тут самодельные гвозди... Прах неизвестных покойников... Оцинкованные гробы... Так что, не пугайтесь, — заключил он, адресуясь ко мне, — есть основание полагать, что это не простая могила, а могильник суворовских времен. Вас устраивает?

— Ничего, Король, мы из этой могилы еще таких могил немцам настрогаем — держись! — раздраженно сказал Вязметинов. — Курите?

Он протянул кисет с табаком, закурил сам, затем, обращаясь к моему соседу слева, сказал:

— Петро, чего ж ты экономишь трофейный уголек. Шуруй, пока ночь.

— Экономить не приходится, товарищ командир. — Петро Евдокимов перевернулся на живот и стал подбрасывать в печку вместе с углем длинные макаронины артиллерийского пороха. — На барже еще стулья есть. Разрешите притащить их на растопку, товарищ командир?

— Стулья не трожь, — серьезно сказал Вязметинов. — Сюда люди придут — стулья пригодятся. Что тебе, пороху трофейного мало?

— По моим расчетам, на год нам хватит, — улыбнулся Евдокимов.

— Типун тебе на язык, — разозлился вдруг капитан Король. — Думаешь, мы год будем в этой могиле торчать?

— Отчего год, — деловито сказал Евдокимов, — это я к слову. А я, товарищ капитан, тоже эту самую Одессу хочу скорей посмотреть. Что, думаю, там все такие баламуты, как наш кок Гринчук...

— Що вам кок не нравится, товарищ старшина, — донесся знакомый голос, и сквозь плащ-палатку просунулись две руки с мисками дымного борща; старшина взял борщ, поставил на печурку, и полулежа мы приступили к ужину.

А кок, поглядывая на нас сквозь щель плащ-палатки, продолжал:

— Все ругают кока. Старшина тоже ругает кока, хотя кок не жалеет для него навара, как для командира. Кок сегодня доставил на третье горячее молоко. Вы где-нибудь встречали, товарищ старшина, дойных коров на косе, кроме той, что смердит перед амбразурой вашего НП? — Поймав хмурый взгляд Вязметинова, кок изменил тон. — Товарищ командир, на хуторах баня готова, санобработка тоже. Можно первую партию вшивых отправлять?

— Надо справиться до рассвета, — сказал Вязметинов. — Иначе немцы увидят дымок да такую нам «баньку» устроят.

— Не беспокойтесь, товарищ командир, — откликнулся из-за плащ-палатки кок. — Из Скадовска с санобработкой прибыл мой дружок, одессит. На первоклассном агрегате. Наших он пропустит без очереди.

— Ну, раз у Гринчука на вошебойке земляк, — рассмеялся Вязметинов, — отправляйся-ка, Король, с народом поскорее. Заодно и сам в медсанбат заскочишь...

После ужина Король, явно повеселевший, с группой бойцов ушел на хутора в баню.

Вязметинов проводил его взглядом и вздохнул:

— Бедняга. Опять вернется ни с чем.

— С лоскутом, товарищ командир, — обрадованно воскликнул Петро Евдокимов, но под взглядом Вязметинова проглотил язык.

Я понял, что уточнять пока не следует.

Вязметинов расспросил меня о фронтовых новостях и о Новороссийске, где он когда-то воевал, вылез из могильника и пошел по косе.

Свежело, и с моря на узкую песчаную стрелку наваливались шумные гребни, словно стремясь прорвать сушу и войти в лиман.

Вязметинов шел от орудия к орудию. Он наслаждался возможностью свободно, расправив плечи, ходить под покровом ночи по косе.

Орудия стояли за развалинами, врытые в песок. Рядом находились землянки расчетов — такие же норы, как и командирская. Их нельзя было углубить — и без того там полно грунтовой воды. Их нельзя было и поднять, не нарушив однообразия отлично видимой противнику песчаной плеши.

Мы вползали внутрь — там не только было немыслимо сесть, но трудно было даже приподняться. Жаркий огонь освещал воспаленные лица матросов, было душно, и в духоте матросы плотно прижимались друг к другу. Было не только душно, было мокро. На песке хлюпала вода. Кто курил, кто спал, но никто не разговаривал. Приходилось терпеть такую жизнь, так нужно и лучших условий тут не может быть.

Днем и ночью они лежали так в этих песчаных берлогах, слушая, как шумит море и рвутся немецкие снаряды. Немцы обрабатывали косу квадрат за квадратом. Во время таких налетов ни один человек не смел нарушить запрет командира и выбежать из норы, которая в любую минуту могла стать братской могилой.

Батарейцам удивительно везло: снаряды ложились рядом, впереди и позади, но только не там, где были убежища; постреляв, немцы, вероятно, изучали с помощью дальномеров косу, но им казалось, что там все мертво.

Стоило только появиться на лимане кораблю, стоило прозвучать сигналу боевой тревоги, как из-под земли выползали закопченные, почерневшие люди, вскакивали, подбегали к орудиям и открывали огонь.

Воевать было опасней, чем лежать под землей, — на косе батарейцам нечем было закрыться от немецких снарядов. Но гнилые норы до того осточертели, что матросы почитали за счастье, когда бой звал их на свет, на воздух, хотя воздух этот становился тотчас раскаленным.

Утром, когда над Кинбурнской косой взошло солнце, мы забрались в землянку и снова легли: Вязметинов, Петро и я. Не было только Короля.

Лежать было тошно. Мы молчали. Вязметинов разглядывал какую-то карту. Он сказал:

— Знаете, на наших картах коса пишется: «Кинбурнская». А вот на этой — смотрите...

Он протянул трофейную немецкую карту — там, где в Черное море выступает узкая стрелка косы, я прочитал: «Ди Кюне Бург».

— Это значит — «Смелая крепость», — перевел я.

— Ишь, — усмехнулся Вязметинов. — Хорошая опечатка. — Подумав, он добавил: — По-русски ведь нельзя сказать «Смелая крепость». Неправильно звучит. Смелый может быть человек. Смелые люди. Смелая батарея. Смелый батальон. Смелая армия. Смелый народ. А смелая крепость?..

— Да тут и крепости никакой нет, товарищ командир, — вставил Евдокимов.

— Как нет? — сердито сказал Вязметинов. — А мы? Мы разве не крепость? Глупости ты говоришь, Петро. Настоящая мы крепость. Смелая крепость. Немцы-то нас знают. Знают, как назвать! Пусть попробуют столкнуть!..

На том мы и заснули.

Проснувшись, я почувствовал сильный холод и сырость. Печка погасла — днем на косе нельзя было дымить. Над нами по-прежнему бушевал ветер.

Проснулся и Вязметинов. Он протянул руку за сапогами и обнаружил, что висевшие на голенищах портянки упали и плавают в воде.

— Черт возьми, — выругался он, — неужели и при Суворове на этой треклятой косе была такая же гнусная сырость. Каждый раз, как ветер с моря, — в нашей могиле потоп.

— Зато воздух чистый, — утешил Петро Евдокимов. — Сегодня корова будет смердить на них...

Мы обулись и выползли из могильника.

Теперь можно было, скрываясь за развалинами, окинуть взглядом местность, где мы путешествовали ночью.

По ходу сообщения маячил часовой: ему нельзя отойти ни вправо, ни влево — днем по косе не ходят.

Шагах в десяти наверху валялся труп коровы, той самой коровы, которая сегодня должна доставить неприятность противнику — ветер дует в ту сторону. Убило ее бог весть когда, наверно, еще в декабре. Убрать труп нельзя — нельзя менять пейзажа.

Насколько хватало взгляда — возле разбитой школы, подле остатков домов бывшей рыбацкой фактории — зияли в песке воронки от снарядов и ложбинки от мин. Было



Анатолий Вязметинов на НП. Февраль 1944 г.

много мусора, обломков металла. И даже деревцо, уцелевшее деревцо, низкорослое, разлапистое, но, очевидно, очень выносливое и цепкое, Вязметинов сказал, что это дерево оливковое, только, наверно, оно не плодоносит.

Впереди к песчаной стрелке прижалась огромная немецкая баржа, опа сидела па мели: из этой баржи батарейцы таскали по ночам трофейный уголек.

За баржей воды лимана и моря сходились вместе, и белая пена накипала там, где Черное море проглатывало Днепр и Южный Буг.

Было до жути безлюдно. Вязметинов сказал, что единственным живым существом в Смелой крепости, когда пришли сюда люди, был голубь. Но его пришлось убить, потому что голубь привык к людям, через амбразуру он влетал на наблюдательный пункт и демаскировал батарею.

Моросил дождик. Видимость была слабая, и Вязметинов разрешил добежать по ходу сообщения до наблюдательного пункта: обычно туда отправлялись затемно.

В искусно замаскированную дыру в какой-то стене и без оптики можно было рассмотреть фронтальную сторону очаковского берега и Первомайский остров. В ясный день этот остров просматривался в глубину.

Возле нашего берега по лиману громоздились разбитые батареей и выброшенные на мель суда. Вязметинов сказал, что там и баржа с трупами десантников, которые пытались захватить Смелую крепость.

— Ничего нового не обнаружили? — спросил Вязметинов вахтенного.

— Ничего, товарищ командир. Только на месте разбитого вчера орудия они поставили макет. Берут на пушку.

— На деревянную, — рассмеялся Вязметинов. — Вчера им разбили настоящую, сегодня думают купить нас макетом. Фокусники. Армейцы ничего не передавали?

— Разведка соседа доносит, что из Николаева идет пароход.

— Пароход? Отлично. Сообщите об этом Ушакову и Ахундову. Вести наблюдение.

И мы снова вернулись в нору.

Мучительно тянулся день — в полутьме, в холоде, в воде. Тяжко лежать и лежать, не двигаясь, говорить о том, что уже переговорено, и ждать, не появится ли противник. Не имея возможности навестить товарищей — молчаливого застенчивого юношу младшего лейтенанта Николая Ушакова, азербайджанца лейтенанта Ахундова — оба находились с бойцами, Вязметинов изредка вызывал их по телефону.

— Мамед-Али Гулам-Али-оглы-Ахундов? — весело

произносил он полный титул лейтенанта. — Пока тебя провеличаешь, фрицы батарею разобьют! Не разобьют, говоришь? А как жизнь? Не отсырел?.. Сколько у тебя воды?.. По щиколотку? Ну, это отлично. У меня вон портянки потонули...

Я представлял себе землянку, где нельзя было даже сесть — и там холодно, как у нас, вода с моря все прибывает через песок, и до вечера ее нельзя будет отвести. А ведь эти люди так живут и воюют вот уже пятьдесят дней и пятьдесят ночей подряд.

Вязметинов мигом выскочил наверх, когда с НП доложили, что ожидаемый противник выглянул из устья Буга. Он посмотрел в бинокль и рассердился:

— Какой же это пароход! Обыкновенный плавучий кран. Не трогать его. Объявите готовность, посмотрим, куда пойдет!

Кран медленно шел по лиману, направляясь к стрелке, где стояла подбитая баржа.

— За твоим угольком, Петро, да за стульями, — заметил Вязметинов. — Далась им эта баржа. На днях к ней штормом прибило нашу лодочную пристань, так они решили, что мы собираемся баржу буксировать. Будто у нас своих моторов нет, нужны нам немецкие. Там ведь не только уголек, там авиационные моторы. Видно, прижало их на фронте, если из-за этих моторов они поднимают такую возню...

Вязметинов на корточках уселся возле амбразуры на наблюдательном пункте. Он прильнул к ней, следя за краном, готовый дать команду.

Весь гарнизон косы воспаленными бессонницей глазами следил за краном.

Молча прижал трубку к разгоряченному лицу телефонист.

Когда командир кивнул — телефонист передал приказ, батарейцы выскочили из траншей, и грохот орудий погасил все звуки моря.

Кран оказался в кольце поднятых снарядами фонтанов, он крепко и надолго врезался возле самой баржи в мель.

А над позициями Смелой крепости высвистывали десятки снарядов, руша и без того разрушенные стены двухэтажной школы и поднимая на косе вихри песка.

Вязметинов скомандовал было матросам уйти в укрытие, но тут же, ко всеобщему удовольствию, команду отменил — из Очакова на помощь крану шел немецкий сторожевой катер.

Огонь по косе усилился. Коса опять молчала, словно пораженная насмерть. Вязметинов не только подпустил катер к крану, он позволил немцам даже завести буксир; но тут батарея накрыла их таким точным огнем, будто весь предыдущий бой был только пробой сил.

Катер занял должное место возле баржи и крана, дополнив своеобразный пейзаж перед косой.

Вечером, столь же темным, как и накануне, но звездным и спокойным, я услышал знакомый скрип фуры и возгласы, приветствующие «мотор» одессита.

Вернулся Король с матросами. После санобработки от них пахло карболкой и дустом. Они шли за фурой гуськом, и Гринчук громко твердил, что это они — по трусости: если, мол, на пути случится мина, то пусть его фура подрывается первой.

— Но они же дурни, — сказал кок. — Есть ли смысл в жизни, если подорвется харч и весь положенный после бани дополнительный паек...

Вязметинов спросил Короля:

— Как баня?

— Как баня, — ответил Король.

Он вытащил из кармана брюк белый лоскут с грубым кружевом и переложил его во внутренний карман ватника.

Вязметинов отвернулся, я так и не разобрал в темноте, смеется он или осуждает.

— До встречи в Одессе, — сказал я Вязметинову.

— Живы будем — встретимся, — ответил он, прощаясь, и я понял, что этот человек готов ко всяким бедам на своем посту в Смелой крепости.

Снова на термосе, теперь пустом, мы отправились с коком на хутора. Кок уже знал все подробности боя, осведомился о здоровье всех товарищей и похвастал, что батарее снова повезло: она не понесла никаких потерь.

— Я тоже кое-что сделал сегодня для батареи, — доверительно сообщил мне кок. — После бани сегодня будут отличные пончики и нечто покрепче за здоровье Анатолия Гринчука. Уверяю вас, это не горячее молоко. Конечно, мне попадет от начпрода за превышение норм бе-

регового пайка. Но вы понимаете, что ради таких людей, как наши ребята, не грех заработать и выговор!

Кок спохватился, он же знал, что я намерен про батарейцев писать, и поспешил исправить все свои ошибки.

— Вы думаете, они действительно сдрейфили и потому шли сзади моей фуры? — спросил кок. — Ничего подобного. Это я продиктовал им свои условия. Не в обиду будь сказано моему земляку, но из его душегубки люди вылезают не столько промытые, сколько насквозь пропитанные химией. Он их хлорирует. На целый месяц вперед. Так пусть лучше надевают противогазы там, в Очакове, — он показал в сторону лимана, — чем они будут благоухать впереди меня. Я предпочитаю в подобных случаях лидировать. Даже на минном поле.

Гринчук присвистнул на своих першеронов, увозивших нас от матросов Смелой крепости. Мы проехали мимо все той же подорванной фуры — мне показалось, что кок готов был печальную историю этой фуры повторить, но вовремя вспомнил, что он меня ею уже пугал.

Приближалась минута расставания. Коку Гринчуку явно хотелось поговорить по душам.

Но я задумался и молчал. Молчал и Гринчук, он деликатно сдерживал себя. Я размышлял о виденном, примеряя все к себе, к своим далеким надеждам, они были у всех на войне, и наступали минуты внезапной тоски, приступом. Может быть, тому виной был пресловутый лоскут Короля.

Кок, у него было удивительно чуткое сердце, скорее всего, от привычки иметь по ночам дело с минными полями, — заговорил именно про то, о чем я думал.

— Вы видели у капитана лоскут? — спросил он и, как всегда не дожидаясь ответа, продолжал: — Могу вам показать, где хранится вся эта знаменитая сорочка. Точнее, половина сорочки. Ма-де-па-лам. С брюссельским кружевом. Куплено за двенадцать пятьдесят в военторге, когда батарея проходила через Скадовск. Отвергнутый дар. Это же совершенная стерва. Сестра милосердия. Превратила такого мужественного человека в тряпку. Не подпускает к себе ни на шаг, как какая-нибудь недотрога. Обыкновенные коричневые глаза, к тому же в крапинку. Капитану они кажутся маслинами. Ей, видите ли, по душе цыганские глаза моего тезки, извините, я имею в виду товарища командира. А старший лейтенант чихал на нее.

Но, понимаете: капитан извелся от любви и самолюбия. Кругом же матросы! Кроме того, это между нами, мы очень соперничаем с армейской батареей лейтенанта Хаббибулина. Там кое у кого тоже есть цыганские глаза. После каждого свидания капитан демонстрирует очередной лоскут. От той знаменитой отвергнутой сорочки. Перед нами, мужчинами, он рисуется. А перед этой сопливкой он нем. Хотя все должно быть наоборот. Мое низкое воинское звание не позволяет мне вмешиваться. Все-таки он капитан. Архитектор...

Желая успокоить Гринчука, я сказал — про лоскут Короля мне все ясно!

* * *

Месяца через два, когда мы уже пришли в Одессу, я встретил в порту батарею с Кинбурнской косы.

В Смелой крепости ей везло до конца. Целой и невредимой, не потеряв ни одного бойца, ни одного орудия, она ушла с Форштадта за лиман, наступала на Очаков и Николаев и пробила себе путь в Одессу.

Вязметинова на батарее не было. Под Николаевом, когда пушкам не стало работы, он не хотел сидеть в стороне и добился у командира отдельного батальона морской пехоты разрешения пойти в бой. В этом бою Вязметинов был тяжело ранен, мне сказали, что он потерял ногу, отправлен в тыл и пишет на батарею письма. Рядом с Вязметиновым воевал его верный вестовой Петро Евдокимов, в бою он погиб. Батарею принял самый младший из офицеров Смелой крепости — Николай Ушаков. Он ждал отправки к Днестру.

— Простите, пожалуйста, — заговорил со мной Ушаков. — Но вы много разъезжаете, может быть, вы встречали где-нибудь товарища Хаббибулина? Это наш сосед по косе, армейский артиллерист.

— Не только встречал, но даже слышал от него точно такой же вопрос. Он спросил меня, не видел ли я батарею Вязметинова. Извините, товарищ Ушаков, но мы с ним не знали, что батарея уже вручена вам. Хаббибулин находится на берегу Днестровского лимана.

Ушаков снова покраснел и, огорченный, отошел в сторону. Невесело стоять в тылу, когда другие наступают.

Некоторое время спустя батарея снялась и пошла впе-

ред. Она участвовала во взятии Сулина, Констанцы, Варны, Бургаса. Участвовала уже как батарея Ушакова.

Только в Бургасе мне удалось снова повидать кое-кого из батарейцев, этим «кое-кем» был Анатолий Гринчук. В Одессе я с ним не встречался — кок получил длительное увольнение к семье. Мне хотелось именно через кока узнать что-либо новое про страдания Короля.

— Что вы, товарищ корреспондент! — воскликнул Гринчук. — Всяким страданиям приходит конец. Это же война. Кончилась военторговская сорочка, иссяк роман.

Так я и не узнал, где воюет капитан Король, архитектор.

МЕЧ БАТАЛЬОНА

1

Вьюжным зимним вечером, когда от мокрого снега раскисли и без того топкие тропы Кинбурнской косы, я пришел пешком из Форштадта в крупное приднепровское село Черниговка и постучал в первую попавшуюся хату.

В чистой, освещенной керосиновой лампой комнате была приятная деревенская теплота. У стены под кавалерийским клинком соблазнительно высились пуховые подушки на широкой кровати. Посапывал на столе не остывший еще самовар. У стола сидели хозяева — моложавая на вид женщина и две ее дочери, красивые украинские девушки, похожие как близнецы. Я спросил, не потревожил ли их в такой поздний час, но хозяева заверили, что они привыкли теперь поздно ложиться, потому что война и часто в ночь приходят путники и просят ночлега.

— Откуда у вас эта фотография? — спросил я, заметив под кавалерийским клинком над кроватью всем морякам знакомую карточку героя Малой Земли Цезаря Куникова.

— То не наша, то нашего майора, — ответила хозяйка. — Дружок его или брат... Родня...

В хате, оказалось, квартировал какой-то майор, накануне уехавший на бричке в Скадовск. Судя по всему, он был люб хозяевам. Они охотно рассказывали, какой он добрый, как читает им вслух газеты и старую растрепанную книгу, лежавшую тут же передо мной на столе: «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова.

На другой день я проснулся, услышав в сенях мужской голос. Высокий, забрызганный дорожной грязью че-

ловек, в такой же, как у катерников, куртке, вошел в хату и, растягивая слова, с улыбкой произнес:

— Здравствуйте, хозяюшка. Здравствуйте, красавицы. Ну как тут дела без нас?

Это и был майор, который читал девушкам вслух книжки. Звали его — Федор Евгеньевич Котанов, имя, достаточно известное в те дни на Черном и Азовском морях. Фашисты боялись его десантов в тыл; наши любили его за храбрость и вечную молодость; о Котанове говорили, что ему никак не исполнится тридцати лет, хотя в армии он больше пятнадцати, с тех пор как мальчишкой был взят в воспитанники музыкантской команды.

Майор присел и с той же обаятельной улыбкой продолжал:

— Поздравляю вас. Наши войска освободили Херсон. Правда, без нас. Но уже освободили...

— Без нас и Одессу возьмут, — донесся вдруг молодой звонкий голос из сеней, и в дверях возникла фигура лейтенанта в морском кителе: даже в сравнении с моложавым майором лейтенант казался птенцом, только что выпорхнувшим из десятого класса. — Разрешите, товарищ майор?

— Моя гвардия тут как тут! — рассмеялся Котанов. — Не терпится узнать, что привез?

— Ваша гвардия скоро разучится воевать, Федор Евгеньевич, — обиженно сказал лейтенант. — Сколько же мы будем сидеть в этой Черниговке? Мужики в бой просятся. Мы тут с Гришей кое-что разработали...

— Не иначе, собираетесь брать Констанцу?

— Да нам бы хоть Очаков. Морской город.

— Жаль, не было вас у адмирала, товарищ Ольшанский. Вы б его убедили — и за себя, и за меня. А то вот придется заняться кое-чем другим. Передайте Волошко, чтобы ждал меня в штабе.

— Мы, значит, опять без дела? — схитрил Ольшанский.

— Идите, Костя, идите. Автоматчикам всегда дело найдется...

Многообещающая фраза майора подняла на ноги батальон. В последние месяцы воевали только разведка и батарея на Форштадте. Десантникам надоело стоять в резерве в то время, когда наступает весь фронт. Ольшанский и его друг, офицер оперативной части штаба лейте-

нант Волошко, вдоль и поперек исчертили все карты от Днепра до Дуная, надеясь на морской десант. Но Котанов привез приказ форсировать лиман.

Рота Ольшанского пробивала путь каждому десанту. Это была отборная матросская рота первого броска. Отличные пловцы, выносливые ребята способны были штурмовать любой берег в лоб, идти на пролом: никогда они не бросали на поле боя раненых, они выносили и хоронили каждого убитого. Рота перешла лиман вплавь. Вслед ей на лодках и плотах переправился батальон и вскоре вступил в бой.

Костя Ольшанский нарвался на замаскированный в дзоте пулемет. Аркадий Буторин, парторг роты, сержант, всегда оберегал и остерегал в бою командира. Заметив, что Ольшанский увлекся, он выскочил вперед и сильно толкнул его в сторону; но самого скосила трасса этого пулемета. Ольшанский наклонился к нему — поздно, Буторина убило наповал. На лицо сержанта капала кровь. Ольшанский схватился за свое лицо: пораненное осколком, оно было в крови.

Бой продолжался. Ольшанский услышал голос Жоры Саченко, матроса с погибшего эсминца: «Ух, твари, я вас задушу!» Сразу взрыв лимонок и — внезапная тишина. Пулемет смолк. Дзот разнесло вместе с расчетом, там погиб и Жора Саченко от своих же гранат. Саченко шел с Ольшанским от самого Мариуполя.

Рота проскочила вперед, увлекая батальон; он обогнал соседей и вышел к южной окраине селения Широкая Балка.

Тут Котанова срочно вызвал командарм.

Шел проливной дождь. Грязный и промокший, Федор Евгеньевич приехал к генералу. Командарм его узнал:

— Вы штурмовали на Малой Земле школу, товарищ майор?

— Так точно, товарищ генерал-лейтенант. По вашему заданию.

— Так вы — куниковец? Если не ошибаюсь, были начальником штаба высадки на Мысхако? — генерал обернулся к стоявшему рядом полковнику: — С таким наследником можно воевать. Как вы думаете, полковник?

— Мы вместе идем от самого Азова. Золотой батальон. Матросы!..

— Матросы! — сердито перебил командарм. — А вот

командующий фронтом интересуется, почему от моряков поступают раненые, когда в глубине суши должны действовать вы, полковник. Выходит — морская пехота выполняет вашу задачу?

— Мы увлеклись боем, товарищ генерал, — поспешил вступиться Котанов. — Нельзя удержать народ. Привыкли идти впереди.

— Ох, вижу, вы сдружились. Взаимодействуете и в бою и у начальства. — Командарм смеялся, с удовольствием глядя на Котанова. — Так вот, полковник, — продолжал он, — к утру извольте занять его место и очистить Широкую Балку от немцев. А вы будете действовать на воде. Задача: проникнуть в порт Николаев, в район элеватора, создать там плацдарм и отвлечь противника от направления главного удара. Держаться до взятия нами города.

— Будет исполнено, товарищ командующий.

— Как настроены ваши люди?

— Хорошо. Всё поймут.

— А плавучие средства?

— Понтоны против течения Буга не пойдут. Нужны рыбацкие шлюпки. Но мы раздобудем их.

— Кто будет командовать отрядом?

— Я.

— А батальоном?

— Начальник штаба.

— Ясно, где вы учились, товарищ майор. Очевидно, у партизан. Вы будете командовать полсотней матросов, а батальон — начштабу в руки. Так, может быть, насовсем?

— Нет. Займу плацдарм, а начальник штаба приведет батальон.

— Геройство оставьте для книг. Батальон пойдет с фронтом. Вы будете командовать батальоном, а не двумя взводами. Для десанта отберите отряд надежных молодцов. Чтобы знали, на что идут. Объясните в открытую: надо спасать Николаев...

2

Весь батальон осаждал Костю Ольшанского просьбами зачислить в десант. Костя отобрал пятьдесят четыре человека. Двенадцать саперов прислал армейский полковник. В числе шестидесяти шести был, конечно, и Гри-

ша Волошко — он шел начальником штаба отряда. Костя был шестьдесят седьмым.

— Ну, мужики, — приговаривал он, прохаживаясь вдоль строя, — не робеть! — Он заметил хмурого бойца из пополнения. Боец смотрел на мальчишку-лейтенанта с недоверием. Ольшанский остановился. — Плохое настроение?.. Отставить. Лейтенант Волошко, замените этого товарища плясуном. Пусть подлечится в санроте. У кого плохое настроение — выйти из строя. В десант беру только веселых.

Теперь все, к кому подходил командир, старались улыбаться, отвечали ему в тон, сыпали прибаутками.

Снаряжали матросов местные рыбаки. Они проконопатили шлюпки, весла вынули из уключин и прикрепили так, чтобы скрипу не было. Предстояло идти вверх против течения меж занятых немцами берегов. Единственная надежда была на ловкость матросов, темную ночь и не слишком сильный ветер.

Никогда еще батальон не видел в таком состоянии Котанова. Провожая десантников, он каждого обнимал, целовал, напутствовал.

Люди поняли, что их ждет.

К Ольшанскому подошел комсорг отряда матрос Михаил Мебш.

— Вот, товарищ командир, бойцы просили передать...

Мебш протянул несколько листочков — обрывки школьных тетрадей, клочки из блокнотов. Ольшанский стал читать вслух:

— «Я, воспитанник комсомола, клянусь, что приказ командира выполню, не жалея сил и жизни...» Это кто пишет? Старшина 2-й статьи Иван Индык? Хорошо пишет... А ну, что лихой Киненко написал. — Лейтенант взял следующий листок: — «Я слышу стон украинской земли. Я вижу, как горит Николаев. Прошу принять меня кандидатом в члены ВКП(б)...» Ну, что же, Мебш, комсомол рекомендацию даст? Вторую дам я. Передайте все это замполиту. Теперь Говорухина ко мне.

Радист Иван Говорухин уже потрузил на шлюпку свое хозяйство. Он нервничал: перед этим он поссорился с приятелем, батальонным радистом Кунгуровым. В десант был назначен Кунгуров. Говорухин пошел к Ольшанскому и стал его убеждать, что Кунгуров нужнее в штабе. Штаб держит связь не с одним «Маяком», а, воз-

можно, с несколькими группами. Ему, Говорухину, это не под силу. А вот Кунгуров здесь справится. Лучше справится. Словом, Иван Говорухин так старательно убеждал Ольшанского, что тот сдался. А теперь Говорухин испугался: уж не передумал ли командир?..

— Говорухин, какой у нас позывной?

— «Маяк», товарищ командир.

— Отставить «Маяк».

Говорухин не сразу понял смысл этих слов:

— То есть кого отставить, товарищ командир?

— Вы что-то тупеете, Говорухин. Мне нужен быстро соображающий радист. Позывной отставить.

— Так это же штабом утверждено.

— Отменяю. Передайте Кунгурову новый позывной: «Меч». Понимаете? «Меч»! Меч батальона. На такое дело идем. Как меч в руках фронта...

В 21.00 25 марта 1944 года «Меч» батальона открыл вахту. Связь с ним держал «Якорь» — приятель Говорухина, главный старшина Кунгуров.

С чердака дома на окраине Широкой Балки открывался вид на далекий Николаев. Здесь Федор Евгеньевич ждал рассвета. Рядом с ним на КП пристроился радист. Каждое слово, каждый звук «Меча» он заносил в вахтенный журнал и докладывал командиру.

В 21 час 52 минуты «Меч» в четвертый раз вышел в эфир. Он радировал «Якорю»: «Идти невозможно. Заливает лодку».

Через две минуты он повторил: «Идти невозможно. Тонем».

«Якорь» передал приказ командира: «Выгребать воду, идти по указанному маршруту». «Меч» не ответил.

Уже кончались сутки, а Кунгуров повторял в журнале одну и ту же запись: «Работа «Меча» не обнаружена».

— «Меч»... «Меч»... Я — «Якорь»... «Меч»... «Меч»... «Меч»... Я — «Якорь», — Кунгуров охрип, час за часом повторяя эти слова. — Молчит, товарищ майор...

— Связь не умеете поддерживать! — майор нервничал и впервые был так резок и груб. — Командира отряда к микрофону.

Но «Меч» обнаружился только в 00 часов 35 минут следующих суток. Говорухин доложил, что работать не

мот, потому что все, кто были в шлюпках, касками и бескозырками вычерпывали воду. Он тут же добавил:

— Прохожу ворота порта... Прошел...

Со стороны Николаева не доносилось ни единого выстрела. Наверно, все внимание немцев было сосредоточено там, выше по реке, где гудел фронт.

В 4 часа 15 минут утра «Меч» доложил:

— Новую Малую Землю открыл. Следите за мной по ракетам.

Но ни одной ракеты в предрассветной мгле не было видно. Отряд, вероятно, не встретил сопротивления.

В 8 часов 6 минут «Меч» вновь заговорил:

— Координаты — 84.443. Жду ваших действий. Прошу огня по скоплению пехоты и минометных батарей противника в районе железнодорожной будки...

Говорухин стал корректировать огонь морской и армейской артиллерии. Он указывал то одну, то другую цель, и наши снаряды нежданно для врага поражали его тылы.

В 9 часов 40 минут «Меч» доложил, что ведет бой. Сообщения стали поступать редко и отрывочно.

— Веду бой, противник отходит, — сообщил Говорухин 14 минут спустя и снова на час замолчал.

В 11 часов на чердаке глухо прозвучал его голос:

— По квадрату 84.442... беглым...

Наши батареи перенесли огонь на соседний с «Мечом» квадрат.

В 11 часов 10 минут голос «Меча» зазвучал вдруг звонче и сильней: говорил сам командир.

— Клятва! — внятно произнес он. — Мы, бойцы и офицеры — моряки отряда Ольшанского, клянемся перед Родиной: задачу, стоящую перед нами...

Грохот ворвался в эфир. Дрожащей рукой Кунгуров поставил в скобках в вахтенном журнале: «Пропуск».

Он ждал. Он боялся дать счет, вызов, перебить такую высокую минуту. Он знал, что «Меч» продолжает говорить, что голос его вновь прорвется, пробьется к товарищам.

И майор и радист — оба приникли, прильнули к рации. Стало внезапно тихо, и на полуслове вернулся внятный голос «Меча».

— ...до последней капли крови, — произносил Ольшанский. — Не жалея жизни... Подписал весь личный состав.

И тут же глухо зачастил Говорухин:

— Как поняли? Как поняли? Я — «Меч». Как поняли?..

Двенадцать минут длилось молчание. И опять — Говорухин:

— Беглым огнем по квадрату 84.443...

И майор и радист — оба отшатнулись от рации: 84.443? Квадрат «Меча»?

Майор медлил с решением. Он схватил бинокль — смутные силуэты городских строений открылись перед ним, и даже не силуэты, а какое-то расплывчатое марево, дымы, вспышки и тонкие, скорее воображаемые, чем видимые, нити пулеметных трасс.

— Противник атакует при поддержке сильного артиллерийского огня... — опять донесся внятный голос Ольшанского, и майор, бросив бинокль, согнулся над рацией. — Положение тяжелое. Прошу...

Голос звучал неправдоподобно ясно — ни один шорох, ни один звук не перебил его властного требования:

— 84.443. Дайте быстрей...

Голос захлебнулся, повторил квадрат, спросил: «Как поняли?», снова повторил квадрат и умолк.

Умолк совсем.

Больше на чердаке не слышали «Меча».

Больше никогда Кунгуров не слыхал голоса своего дружка Ивана Говорухина.

Никогда больше не звучал юный голос Ольшанского.

3

Спустя некоторое время стало известно, что произошло в десанте.

Начало было неудачным. Когда шлюпки залило водой, выяснилось, что одна непригодна. Матросов пересадили в остальные шлюпки, а непригодную затопили. Шлюпки продолжали путь, Иван Говорухин бескозыркой вычерпывал воду. Но не только поэтому он не открывал вахту. Ольшанский решил прекратить работу рации, чтобы не обнаружить себя до поры до времени перед противником.

В порту высадились без шума. За ночь Костя Ольшанский решил подготовиться к круговой обороне. Он занял три здания. Сам с радистом и группой бойцов разместился

в конторе порта. Контору элеватора и длинное, разделенное цементными перегородками помещение свинарника заняли две другие группы.

До утра Ольшанский точно распределил сектора обстрела и передал для артиллерии первые координаты немецких резервов.

Часов в восемь к конторе порта подкатили на телеге два немца. Они стали нагружать пустые ящики. Один из немцев заглянул в здание, увидел матросов и с криком побежал.

Старший матрос Дементьев открыл по нему огонь, свалил. Но другой, раненный, скрылся за углом.

Ольшанский приказал прорубить в стенах амбразуры и подготовиться к бою.

Час спустя район элеватора был оцеплен батальоном охранных войск. Десантники пропустили батальон к конторе порта и взяли его под перекрестный огонь. Охранники увидели тельняшки: матросы! Вызвали на помощь артиллерию, пехоту и танки. Но прежде чем помощь пришла, охранный батальон был уничтожен.

Слух о десанте быстро катился по Николаеву, радуя жителей и страша и без того деморализованных нашим наступлением на юге фашистов. Их командование решило, что в порту — весь котановский батальон. Значит, над фронтом нависла угроза с тыла. Немцы поступили так, как этого хотел наш командарм: сняли с фронта несколько танков, два батальона пехоты и батарею 75-миллиметровых пушек. Такая сила против шестидесяти семи матросов и солдат.

Немцы подряд предприняли восемнадцать атак одну за другой. Но нельзя было сломить «Меч». Немцы в упор расстреливали из орудий здания порта, зажигали их термитными снарядами, душили матросов газами и огнем, но в порт войти не могли.

Переданную по радио клятву Ольшанский произнес, видимо, тогда, когда подошли танки. Контора порта полыхала огнем. Танки разносили здания в прах. Ольшанский вызвал огонь наших пушек на себя.

В соседних домах матросы вслушивались в бой, стараясь уловить, жив ли еще командир.

Когда они поняли, что командир и его группа погибли, матросы решили восстановить систему обороны и заполнить возникшую брешь. Бреши быть не должно. «Меч»

по-прежнему разит врага. В дыму и огне к развалинам конторы порта пробралась группа бойцов, и снова командный пункт десанта вел огонь.

Пуля пробила левую руку Степана Голенова. Осколок снаряда ранил его в плечо.

— Братки, гранаты! — просил он у товарищей; раненые подавали ему гранаты, одной рукой он метал их в амбразуру.

Комсорг собрал на развалинах сарая комсомольцев. Шла вторая ночь десанта — ночь на двадцать седьмое. Было темно. Захлебнулась шестнадцатая атака врага. Комсорг объявил, что считает собрание открытым.

— Лютый! — тихо выкликнул он. — Дермановский. Киненко.

— Погиб коммунистом, — ответил кто-то во тьме.

— Медведев. Хакимов...

Он называл подряд — и живых, и мертвых, но меньше было живых.

— Вопрос один, — произнес комсорг Мебш, — выполнение задачи...

— Говори решение, — гудели во тьме голоса.

— Решение одно. Писать его не будем. Пусть каждый, кто останется жив, запомнит.

— Решение! — произнес Мебш раздельно. — В минуту смертельной опасности...

Все эхом повторили за комсоргом:

— В минуту смертельной опасности...

— Перед лицом Родины...

— Даем обещание...

— Драться до последней капли крови...

Новая атака. Огонь вспыхнул, осветил всех и погас. Комсорг, чувствуя, что дым душит его, с трудом продолжал:

— Всем оставить по одной гранате... Живыми в плен не сдаваться... Решение обязательно для всех комсомольцев...

— Решение обязательно для всех, — повторили голоса во тьме; все были комсомольцами.

...На следующий день наши взяли Николаев. Батальон Котанова бегом пробежал двенадцать километров к элеватору. Порт был цел. Среди немецких трупов, среди воронок и развалин конторы и свинарника матросы нашли обугленные тела десантников. Только двенадцать

бойцов «Меча» остались в живых. Обожженных и израненных, отравленных газами, их доставили в санроту.

Много тысяч людей, обнажив головы, стояли на Краснофлотском бульваре в Николаеве. Над могилой Ольшанского и его товарищей говорил Котанов.

— Кровью наших боевых друзей добыта победа, — сказал он, и матросы впервые увидели слезы на его глазах. — Их кровь не даст нам устать в бою, не позволит уступить врагу, никогда не оставит нас в покое. Всегда их кровь будет нашей силой, огнем нашей души. Они оставили его нам, этот огонь. У нас впереди большой путь, друзья. И еще есть где огонь разжечь!

* * *

В домике на Французском бульваре в Одессе, в отгороженной фанерой комнатушке, сидел Котанов. На столе перед ним стояли два огромных букета — он посылал их в Николаев, на Краснофлотский бульвар. На стене висела все та же карточка Цезаря Куникова. Он говорил все с той же обаятельной улыбкой, растягивая слова и старательно втолковывая собеседнику свою мысль. Но была в нем неуловимая перемена. Похудел, а может быть, и постарел, но мне не хотелось показывать, что я это замечаю.

— Вам все еще не исполнилось тридцати, Федор Евгеньевич?

— Нет, уже исполнилось. И даже много больше стало, — серьезно произнес Котанов. — Смотрите, как я поседел, себя не узнаю. И толком даже не знаю отчего: то ли от пережитого в Николаеве, или оттого, что не пришлось мне спасти Одесский порт, как Костя спас порт в Николаеве. Сижу здесь вдали от фронта и жду.

— Вы понимаете, — тихо продолжал он, — все мои матросы рвутся за Днестр. Воевать надо. Я просто не могу не воевать после того, что произошло.

...20 апреля 1945 года шестидесяти семи героям «Меча» — и погибшим и живым — было присвоено звание Героя Советского Союза. Одну из улиц Николаева назвали именем Константина Федоровича Ольшанского, защитника Севастополя и освободителя побережья Азовского и Черного морей — до самого Буга.

Батальон Котанова ушел из Одессы за Днестр, на Дунай, в порты Румынии и Болгарии — Констанцу, Варну и Бургас.

ОДЕССКАЯ ТЕТРАДЬ

Фронтовой дневник

6 *апреля 1944 года.* Вчера провел ночь в единственной уцелевшей хате в деревушке под Березовкой на одесском направлении. Одесса стала центром стремления наших южных армий. На оперативных картах красные стрелы пучком сходятся к ней с разных сторон. Армия Цветаева идет берегом моря. Армии генералов Шлемина и Чуйкова наступают в лоб, с севера. Казаки Плиева обошли Одессу с запада, отбили все попытки немцев вырваться к Румынии, помешали им взорвать Беляевский водопровод, питающий город. Неделю назад член Военного совета фронта генерал-лейтенант Желтов выделил для нашей газеты самолет «У-2» на пять дней, чтобы побывать на всей дуге наступающих на Одессу армий. Это дало возможность получить общее представление о наступлении, информацию в штабах, но материала для очерков мало. Желтов спросил: «Где же ваши моряки? Хорошо бы им высадиться в Одессу с моря. Все-таки — морской порт...» Больно такое слышать. Моряки есть и рвутся в Одессу, но флотские тылы неповоротливы. Был у Федора Евгеньевича Котанова в батальоне. После десанта в Николаеве все ждали: «Будем брать Одессу». Котанов просил подбросить батальон с боеприпасами на машинах до лимана. Там — или на рыбацких подручных средствах, а то и сушей уже можно было пробиваться к порту, чтобы спасти его от разрушения и помешать противнику грузиться на транспорты. Тыл флота не смог дать батальону автомашин. Обратиться непосредственно в армию за помощью командиру не разрешили. А ведь армейцы умеют быстро перебрасывать войска. Котановцы идут пешком, застряли где-то на побережье.

Но моряки есть в каждой армии. В армии Чуйкова я встретил тихоокеанца Виктора Медведева, он попал в морскую пехоту

на Волге и форсировал с тех пор уже с десяток рек. Его командиром и учителем в Сталинграде был главный старшина Зайцев, известный снайпер. Теперь Медведев — Герой Советского Союза. Он сказал, что Одессу надо взять целой, и только в солнечный день.

Сейчас разъезжаю вместе с корреспондентской группой фронта. В этой хате мы спали вповалку на полу, в нее набилось столько солдат, что непонятно, как и где мы разместились. На печи хозяева — ребятишки, женщины, а может быть, там и соседи. Провел ночь на одной койке с Токаревым из «Красной звезды» и Василием Гроссманом. Его звали на ночлег куда-то к командованию, в другой населенный пункт. Но он остался с нами, и мы все ему молча благодарны. Вместе шагает по дорогам, еле вытаскивая сапоги из грязи. Распутица уравняла весь наш корреспондентский корпус — лошадных и безлошадных: легковые машины не проходят. Пехота тащит на себе пушки, вязнущие в топи, впрягается в артиллерию и минометы. Солдаты ворчат, ругаются, но технику не бросают, а когда заговоришь об этом, всегда находится мудрец, острый на язык: лучше, мол, помоги, чем расспрашивать. «Хлеб не тяжесть, он сам себя несет», — сказал мне пожилой солдат после того, как мы, корреспонденты, сообща подтолкнули застрявший в грязи грузовик и полковую пушку. Он, конечно, знал, что мы журналисты и такие поговорки для нашего брата находка. Нас взяли в этот вызволенный из ухаба грузовик, и мы добрались до ночлега. А сегодня утром все помчались на узел связи к бодисткам. До этого момента все были друзьями, а тут каждый стал сам по себе, появилось «фитильное настроение». Формальное преимущество у «Красной звезды», Совинформбюро и у Вани Лапоногова из ТАССа. Но девушки на узле связи поняли, что значит одесское направление для военно-морской газеты, кроме того, морскую шинель тут нечасто видят, словом, надеюсь, что корреспонденция пошла вне всякой очереди. Я закончил корреспонденцию фразой: «Море дышит нам в лицо», это понравилось телеграфистке, она обещала «полное содействие».

10 апреля. Сегодня Одессу очистили от врага. Как и хотел Виктор Медведев, город заняли в солнечный день. Вчера к концу дня бойцы генерал-полковника Цветаева прорвали оборону немцев на перешейке между Куяльницким лиманом и побережьем и вышли на северо-восточную окраину Одессы. Артиллеристы получили возможность держать под огнем выход из одесского порта. Петр Захарович Базилевич, подполковник, начальник артиллерии одесской военно-морской базы, рассказал мне: «17 мар-

та вместе с Краснознаменным Новороссийским Отдельным подвижным артиллерийским дивизионом Солуянова мы добрались по бездорожью в Чолбасы на пути в Херсон. Неделю спустя удалось переправиться через Днепр — бензина не было. Слили со всех машин бензин для одной батареи, но к Николаеву не успели. 6 апреля пришел долгожданный флотский бензовоз, заправил машины только одной батареи — старшего лейтенанта Бирюкова, — это позволило нам догнать 5-ю армию, мы явились к генералу Цветаеву, он обрадовался морякам, поставил нам задачу занять в Старо-Дофиновке позиции и бить по удирающим из Одессы оккупантам». В 13 часов 20 минут 9 апреля батарея Бирюкова открыла огонь по каравану быстроходно-десантных барж, выходившему от Воронцовского маяка. Сразу же были потоплены две баржи. Батарейцы видели, как взорвался нефтепирс в гавани, а за ним и таможенная гавань. Бухту окутал сплошной дым. Надо бы помешать разрушению порта, но на позиции стояла только одна морская батарея, она справлялась лишь с блокированием выхода из гавани. Опять неповоротливость тыла. На эти темы и летчики, и десантники, и артиллеристы разговаривают со мной охотнее, чем на любые другие. Рассчитывают на помощь газеты, понимают, что начался новый этап войны и для флота — возвращение в базы. Мне рассказали еще в Скадовске такой случай: из Поти в Скадовск от начпрода главной базы подполковника С. пришла директива вернуть пустые бочки из-под квашеной капусты, в противном случае скадовцы будут сняты со снабжения. Подумать только: еще в Крыму держится группировка противника, транспорт занят перевозкой войск, снарядов, эвакуацией раненых, а начпрод требует загрузить железную дорогу пустыми бочками из-под капусты и отправить их вокруг света в Поти. Написал об этом фельетон и послал несколько дней назад редактору вместе с докладной запиской о художествах флотского тыла. Получил тогда телеграмму от генерала Мусьякова: фельетон не пойдет, о работе флотских тылов нужна критическая передовая. Обидно, что не пошел фельетон, но приказ написать передовую утешил. Когда-то в редакциях я увиливал от сочинения передовых статей. Эту статью написал с удовольствием.

Побывали всем корреспондентским корпусом на знаменитой одесской лестнице, всем памятной по фильму «Броненосец Потемкин», у памятника Пушкину, постояли над бухтой — там что-то пылает и рвется, и заняли «позиции» в доме № 15 по Греческой улице. Весь дом «оккупирован» представителями московских газет. С Василием Гроссманом и Володей Лясковским из «Комсо-

мольской правды» живем на втором этаже в квартире у старой одесской машинистки, она сохранила машинку «Ремингтон» и охотно для нас печатает.

15 апреля. Получил газеты из Москвы. Напечатаны и передовая, и одесские корреспонденции. Рядом с моей корреспонденцией — стихи Бориса Пастернака, посвященные освобождению Одессы.

Одесситы возвращаются

На подходах к Одессе говорили: «Густо пошли одесситы!» В каждом доме жили одесситы. В каждой машине ехали одесситы. Одесситы становились героями в каждом бою. И все настолько было пропитано духом этого живого южного города, что даже коренные рязанцы назначали друг другу встречу на десятой ступеньке одесской лестницы в пять часов вечера энского дня. Только одного печального одессита я встретил за все время скитаний по Кинбурнской косе, Херсонщине и лиманам. Это был санитар Володя Скадовский.

На фронтовой дороге меня не брали попутные машины. Они проходили мимо, боясь остановиться: станешь в грязи — не стронешься с места. Тогда я перешел к глубокому ухабу, и первый же застрявший автомобиль — фургон, похожий на собачий ящик, подобрал меня. Рядом с шофером сидел офицер. Он крикнул, постучав в фургон:

— Скадовский, примите капитана вовнутрь.

Из фургона протянулась рука — я был принят вовнутрь.

Дверь захлопнулась. Я почувствовал цинк под ногами, цинк сбоку, цинк наверху: я сидел в каком-то цинковом или оцинкованном ящике. На очередном ухабе кто-то схватил меня за ворот шинели.

— Не бойтесь, — раздалось из темноты. — Это крючки для подвешивания.

— Где я? В холодильнике?

— Наоборот. Это — вошебойка. Не волнуйтесь: за полчаса до вас мы дезинфицировали жителей села Черниговка. Ни одной тифозной твари. Пар убивает все микробы.

Я понял, что попал в ту самую машину, о которой мне рассказывал кок Смелой крепости Гринчук. Поняв, что спутник, очевидно, человек веселый, я попросил его помочь мне освободиться от крючка.

— Это смех сквозь слезы, — печально возразил мне Володя Скадовский. — Если бы я обладал талантом моих многочисленных земляков-писателей, я, может быть, излил бы на бумаге трагедию моей души.

— Вы одессит?

— Во всех портах мира меня знают как одессита. Я ушел из Одессы на последней шлюпке. Не спорьте: именно моя шлюпка была последней. От Туапсе до Макапсе известно, что лучше Скадовского нет разведчика в морской пехоте. И теперь я должен возвращаться в родной город на этой душераздирающей коломбине. Если в одесском порту узнают, что Скадовский вернулся в Одессу на вошебойке, — меня не возьмет в загранплавание ни один приличный капитан. Перед взятием Одессы я еще надеюсь пересесть на другую машину...

Через час мы застряли в непролазной грязи. Была ночь и апрельская вьюга — снег с песком. В ближайшем селении мы разбудили председателя колхоза и попросили о помощи. В вошебойку впрягли двух верблюдов — они попали сюда из калмыцких степей, какая-то из наступающих частей обменяла этих двух верблюдов на четырех кобыл — по весу! Ни колхозники, ни Володя Скадовский не умели обращаться с верблюдами. Пришлось идти дальше пешком.

Жива Одесса

Десять дней советские войска в Одессе. Десять дней назад облака дыма ползли по ее прекрасным улицам и в синей бухте металось желтое пламя. Теплый морской ветер развеял дым. Погас огонь над Пересыпью, над руинами заводов. Только в порту продолжались взрывы. Пришли краснофлотцы-саперы, они разыскивают в порту мины. Над причалами Карантинной гавани еще держатся серые облака.

На каждом шагу сталкиваешься со следами и последствиями пережитого кошмара. Больше двух лет оккупанты убивали Одессу. Первые виселицы на улицах появились осенью сорок первого года, аллеями вдоль тротуаров Александровской и Преображенской, в Петропавловском саду, на Куликовом поле, на стадионе, в парке Шевченко. Вешали над самой землей, полукругом, по пять

человек на одной виселице, лицом друг к другу. Городской голова Герман Пынтя бегал и покрикивал: «Ниже, ниже!» Издали казалось: стоят люди, о чем-то беседуют. Это была расправа за взрыв, который устроили партизаны в зале, где происходил банкет по случаю «передачи города немецкими властями румынским». Губернатор пресловутой «Транснистрии» — «великорумынского Заднестровья» — от имени маршала Антонеску объявил, что за каждого убитого офицера будет казнено двести одесситов, за каждого рядового — сто. На виселицу потащили тех, кого захватили на улицах во время облавы кавалеристы, первых попавшихся прохожих. Вслед за этим фашисты учинили расправу над десятками тысяч одесских евреев. Босых, голых, избитых, истерзанных патриархальных стариков и женщин с младенцами на руках выгоняли на улицы, на мороз, морили голодом в лагере на Слободке, а оттуда с улюлюканьем гнали на дикую казнь в Березовку, в Богдановку, в Доманевку. Туда собирали евреев из Одессы, из Бессарабии, из Молдавии.

Вот документ, страшный по своему цинизму, опубликованный оккупационными властями на четвертой странице «Одесской газеты» 10 марта 1943 года. В нем сказано: «Лица, знающие что-либо о евреях, упомянутых в помещенной таблице, и особенно знающие, где кто-нибудь из этих евреев скрывается, должны немедленно сообщить об этом в ближайший полицейский участок. Можно анонимно, но только с точным указанием, где, у кого разыскиваемый находится». Дальше следует список на сто человек с точным указанием имени, фамилии, возраста и профессии разыскиваемого. Кого же они искали для истребления?

По профессиям: 8 слесарей, 3 жестянщика, 2 кузнеца, 4 токаря, 3 парикмахера, 8 стекольщиков, 6 механиков, 1 бондарь, 1 каменщик, 1 санитар, 3 портных, 1 маляр, 1 наборщик, 1 инженер, 2 хлебопека, 1 адвокат, 17 служащих, 24 чернорабочих, 1 фотограф, 1 дантист, 2 сапожника, 1 художник, 2 часовщика, 2 повара, 4 шапочника.

В доме № 15 по Греческой улице семья грузчика-украинца два с половиной года прятала от оккупантов трех еврейских детей. Я присутствовал при поразительной встрече: к спасенным ребятишкам пришла их мать. Два с половиной года ее прятала под Одессой украинская крестьянская семья.

Одесса устремилась в катакомбы. Тысячи ее обитателей спускались в подземные пещеры, селились в нишах на сыром камне — возникла вторая Одесса, под землей, под городом. Год за годом ее душили газами, истребляли, убивали, но она жила. Со страниц оккупационных газет не сходил обширный отдел «В военно-полевом суде». Вот несколько таких сообщений — они говорят сами за себя: «Петр Платонович Краснюк, Александр Иванович Чернышев, оба из села Еленовка, Березовского уезда, и Петр Григорьевич Заболотный из села Викторовка, того же уезда, приговорены к смертной казни по обвинению, что работали в пользу врагов. Кроме того, при них найдено оружие. Анатолий Васильевич Гончаров, Анатолий Михайлович Балан, оба из села Марьяновка, Березовского уезда, Иван Григорьевич Лупов и Михаил Степанович Калчий из села Еленовка приговорены к пожизненным каторжным работам. Они знали о существовании группы партизан и не сообщили об этом властям». (11 апреля 1943 года.) «Севастьянов Михаил, проживающий по Ришельевской улице, № 11, приговорен к смерти за организацию заговора с целью пропаганды в пользу врага и за хранение револьвера. Сопалов Георгий, проживающий по Преображенской улице, дом № 17, приговорен к смерти за организацию такой же группы и хранение револьвера. Журавлев Иван, Францкевич Валентин, Фищук Аркадий приговорены к пожизненной каторге за то, что, зная об организациях Севастьянова и Сопалова, не сообщили об этом властям. Хоровенко Владимир и Хоровенко Иван приговорены к смерти за хранение оружия». (12 апреля 1943 года.)

Днем 10 апреля в Одессе еще нельзя было подойти к окну: в каждого, кто в нем показывался, отступающие фашисты стреляли из автоматов.

В доме № 15 на Греческой, где живем мы, корреспонденты, нашли в подвале три мужских и два женских трупа. Установлено, что гестаповцы привели сюда этих людей и расстреляли утром 10 апреля. В доме № 84 по Новосельской улице находилась гестаповская «секретка». Несколько дней назад гестаповцы устроили облаву на окраинах Одессы, арестовали десятки мужчин призывного возраста, привели их в подвал «секретки», втолкнули туда еще женщин и детей, забили выход и подожгли дом. 11 апреля я присутствовал при раскопках подвала. Из

него извлекли восемьдесят семь обгорелых трупов. Среди них я видел тельце девочки лет семи. Собралась огромная толпа. Казненных опознавали по остаткам одежды. Я был в мертвом пригородном селе Усатово, где оккупанты накануне своего бегства вырезали все население: в вербную субботу они казнили всех собравшихся в церкви прихожан вместе со священником.

Одесса приходит в себя. Десять дней стоит солнечная погода. Весна, черноморская теплынь. Долой с плеч шинель, пропитанную грязью и пылью дорог, скорее в пеструю уличную толпу. Одесса сейчас похожа на человека, вышедшего после долгих лет подземной жизни на воздух. Свет брызнул в глаза, ошеломил. Я видел такого человека на одесской лестнице, он закрывал лицо ладонями, потом мгновение смотрел на море, гладил свою дикую бороду и снова закрывал глаза. Он только что вышел из катакомб.

На улицах города

Набережная, бульвар, городской сквер, лестница над морем, Дерибасовская, подъезды театров — все полно людей. Идешь и думаешь: жива Одесса! Жива ее темпераментная душа. Не удалось оккупантам убить ее вольный дух, ее юмор, ее южный колорит.

Невозможно спокойно, молча ходить по улицам. На второй день освобождения я добрый час шел от дома № 15 по Греческой до памятника Ришелье. На каждом шагу надо было давать разнообразнейшие справки.

— У нас был городской голова Герман Пынтя — смешнее фамилии не придумаешь. Все приказы он начинал словами: «Я, Герман Пынтя...» Как какой-нибудь Николай Второй. Мою улицу он назвал именем Муссолини. Как узнать, когда поймают этого Пынтю?..

— Скажите, Москва в порядке?.. Ну, слава богу...

— Скажите, где сейчас находится наградной отдел Приморской армии: я не успел получить награду за строительство баррикад...

— Может быть, вы встречали моего братишку — такой черненький, техник-интендант 2 ранга, очень храбрый человек...

Вопросы, желания, стремления — бесконечны. Молодые ребята житья не дают военным комиссарам. Идет

призыв, они требуют: «На флот, только на флот, мы же природные моряки».

На террасе кафе «Фанкони» старички в чесучовых пиджачках снова обсуждают международное положение и стратегические проблемы фронта. Кафе еще закрыто. Старики сидят у пустых столиков.

Пожилой человек остановил меня на улице, нежно взял в руки медаль и спросил:

— Скажите, она из чистого золота?.. Ах, из бронзы, красота! Это за оборону Ленинграда?.. А скажите, за оборону Одессы тоже из бронзы? Или золото с бронзой?..

Девушка на Лонжероновской спрашивает:

— Какие теперь поют песни? Вы знаете, мы так отстали, так отстали...

Вечером, когда из окон какой-нибудь квартиры раздаются звуки аккордеона и голос поющего новую песню бойца, под окнами собирается толпа. Песню слушают, записывают, стучат в окно и просят повторить.

На четвертый день освобождения на Дерибасовской зазвучало радио — передавали «Последние известия». Собралась, разумеется, толпа. Тут же в управление связи прибежал солидного возраста человек:

— Слушайте, нельзя ли повторить? Я не разобрал: там передавали про Одесское пехотное училище, в нем учится мой племянник...

В первый же день на Дерибасовской появились мальчишки-чистильщики. Отбивают чечетку щетками, зазывают. Я поставил ногу на ящик. Мальчишка обмакнул щетку в какую-то черную жидкость.

— Что это у тебя такое?

— Новый одесский крем, — он показал мне банку с этикеткой: «Негрязин».

Идет по улице милиционер. Он несет под мышкой сине-красную вывеску: «Седьмое отделение милиции». Толпа мальчишек кричит: «Дяденька, дяденька, отделение сгорело». У развалин дома, где помещалось отделение, милиционер постоял, подумал. Подошли прохожие и помогли ему прибить милицейскую вывеску на телеграфный столб.

Идет красноармеец с миноискателем. На Дерибасовской к нему подходит симпатичная девушка:

— Скажите, вы не сержант Михеев?

— Откуда вы меня знаете?

— Ваша подпись на всех домах. У меня к вам личная просьба.

— Проводить? — красноармеец краснеет.

— Да, до Оперного театра. Проверьте еще раз, может быть, там особо замедленная мина...

Бывает и такое. При оккупантах тут действовали комиссионные магазины. Частные. Наша комендатура выдвинула ультиматум: или немедленно их открыть, или магазины будут конфискованы. Но владельцам магазинов еще неясен курс рубля и положение оккупационной марки. На всех магазинах появились дощечки: «Уже открыт. Производится ремонт».

Возле кинотеатра скандал. Публика на улице требует вмешательства военных или милиции. С утра до ночи идут бесплатные киносеансы: показывают «Два бойца», фильм об одесском герое Косте, защитнике Ленинграда. Зрители, попавшие в зал, смотрят картину в четвертый раз. Они уже поют «Темную ночь» и «Шаланды, полные кефали» вместе с Марком Бернесом. А на улице нервничает публика, ожидающая с билетами сеанса.

На улицах часто можно видеть пленных: каждый день их находят в подвалах и развалинах, жители вытаскивают их на божий свет и конвоируют к коменданту города. Дети ведут по Ришельевской длинноногого верзилу в трусах — покоритель Европы заискивает перед одесскими мальчишками. На тротуарах комментируют: «Он совершает отходное движение с малыми потерями...»

Пленных много — одни не успели удрать, другие спрятались, чтобы сдаться. Возле гостиницы «Красная», где уже стал на вахту знаменитый швейцар с длинной черной бородой, толпа жителей допрашивала пойманного ею капитана Попеску Караджа, воспитанника офицерской школы маршала Антонеску. Он уверяет, что с первого дня войны искал возможности сдаться в плен. Толпа над ним смеется, как смеется над всей бутафорской «Транснистрией», — так была названа подаренная Гитлером маршалу Антонеску украинская земля между Днестром и Днепром. Один одессит, поднеся к носу оккупанта спичечную коробку с белой этикеткой «Транснистрия», сорвал эту этикетку и показал под ней марку нашей спичечной фабрики и старую милицейскую рекламу: «Переходите улицу только на перекрестках».

— Так и с вашей Транснистрией! Понимаете? Капут Пынтя!..

Толпа грянула хохотом.

На четырех углах шумного перекрестка Дерибасовской и Преображенской весь день стоят толпы людей: они смотрят на виртуозные манипуляции фронтовой регулировщицы. Ей завидуют, ею восторгаются. Одесские девушки бегут в военкомат.

Я не видел еще ни одного города, так быстро ожившего после страшных дней оккупации. Одесситы и те, кто оставался в Одессе, и пришедшие с Большой Земли, чистят и моют улицы и дома, стеклят Лондонскую гостиницу, сбрасывают в воду битый кирпич и осколки. Круглые афишные тумбы заклеены новыми плакатами и театральными рекламами.

Я видел позавчера старого человека, директора одесского зоопарка Бейзерта, ученого натуралиста. Одесса существует полтораста лет, зоопарк — сорок, все эти сорок лет Бейзерт работает директором. Никому не пришло в голову вывозить зоопарк из осажденной Одессы. Бейзерт остался в оккупированном городе. Герман Пынтя отказал зоопарку в поддержке. Надо было чем-то кормить животных. Сотрудники зоопарка открыли трикотажную мастерскую, чтобы заработать зверям на пропитание. За несколько дней до сдачи Одессы немцы приказали старику эвакуировать зоопарк в Румынию. Ему дали для этого один грузовик.

Старик оттягивал эвакуацию сколько мог.

Утром девятого апреля к нему явился чин из комендатуры и предупредил: если Бейзерт немедленно не вывезет зверей — и он, и его семья, и его животные будут уничтожены. Бейзерт погрузил на грузовик жену, свои вещи и клетку со львом. Выехав за город, он долго колесил по дорогам, потом вернулся в Одессу в надежде, что оккупантов уже нет.

В городе шли бои. Машину со львом остановил фашистский офицер. Он крикнул Бейзерту:

— Почему не эвакуируетесь? Ждете расстрела?

— Что вы, герр офицер, — невозмутимо ответил семидесятилетний Бейзерт, по национальности немец, хорошо знающий язык. — Я уже вывез одного льва и теперь, как видите, вывожу другого.

Он снова уехал за город.

Так он возил своего льва вокруг Одессы до ночи, пока мы не заняли город. Тогда он водворил клетку на место.

Сегодня на углу Екатерининской и Дерибасовской открылся цветочный магазин. Десятки одесситов покупали букеты фиалок и сирени. Хоронили разведчика Лаврова, он первым вошел в город, его убили возле Оперного театра. Толпы провожали прах разведчика на кладбище. Гора живых цветов выросла на его могиле. Он стал одним из самых великих граждан города.

Финал оперетты

Оперетта, о которой не может спокойно вспоминать ни один одессит, называлась «Транснистрия». Постановка маршала Антонеску. Один из главных ее героев — Герман Пынтя. На заре своей государственной деятельности он прославился продажей с торгов мостовой города Кишинева. Да, представьте себе, пустил с молотка кишиневский булыжник. В Одессе Пынтя прославился эпопеей с семечками.

Полицаи затеяли выгодное предприятие: они подбирали сброшенные нашими самолетами листовки, продавали их на рынке по пять марок за штуку, тут же устраивали облавы, отбирали листовки вместе с кошельком «за прекращение дела» и снова пускали листовки в оборот. Герман Пынтя и его супруга Лючия были готовы лопнуть от зависти. Аферу с мостовой в Одессе повторить не удалось. Все собаки и кошки были обложены налогом — извещение об этом исправно публиковала газета губернатора Алексяну «Молва» и орган Пынти на русском языке «Одесская газета» ценою в сорок пфеннигов.

В июле сорок второго года Пынтю осенила идея: семечки. Это же Украина. Украинский шоколад. Пынтя издал приказ № 51:

«Я, Герман Пынтя, именем короля Михая I... запрещаю жителям Одессы лузгать семечки. За нарушение штраф».

Но кто-то упорно заплевывал шелухой приемные возле кабинетов Пынти и его коллег по оперетте.

13 апреля 1943 года орган Пынти опубликовал приказ № 88, который я приведу целиком дословно:

«Я, Герман Пынтя, Городской Голова гор. Одессы, имея в виду постановление № 1559 от 1941 г. г-на профессора Алексяну,

Гражданского Губернатора Транснистрии, согласно которому мне вверены полномочия Городского Головы гор. Одессы,

имея в виду, что наш приказ № 51 от 9 июля 1942 года относительно запрещения продажи и потребления семечек продолжает нарушаться, что доказывает, что население города не считает нужным исполнять принятые нами меры для того, чтобы город принял цивилизованный вид,

имея в виду и заключение юридического отдела Муниципалитета,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Ст. 1. Категорически запрещается продажа и потребление всякого рода семечек на всей территории города Одессы (на улицах, в садах, в парках, кино, площадях, базарах, спортивных стадионах и т. д.).

Ст. 2. Виновные в нарушении настоящего приказа будут арестовываться на месте и привлекаться немедленно к уголовной ответственности с применением к ним следующих наказаний: в первый раз штраф от 10 до 100 марок, а при повторных случаях штраф от 50 до 500 марок.

Ст. 3. Установление указанных выше нарушений будет производиться чинами уголовной, гражданской и военной полиции, органами Медико-Санитарной Дирекции Муниципалитета, а также и специальными делегатами Муниципалитета.

Ст. 4. Административная, Продовольственная и Медико-Санитарная Дирекции Муниципалитета уполномочены привести в исполнение настоящий приказ. Настоящий приказ дан нами 6 апреля 1943 года.

Городской Голова г. Одессы Г. Пынтя.
Генеральный Секретарь А. Костинеску».

Приказ несколько дней подряд повторяли газеты оккупантов рядом с расписанием работы бани «Гигиена» в страстную неделю и угрозами профессора Алексяну, губернатора Транснистрии, заключить в концлагерь всех одесситов, уличенных в контрабанде. Имелся в виду ввоз в Транснистрию извне предметов и товаров личного пользования. Появилось наконец и сообщение о «массовой конфискации семечек»: в первые два дня действия нового приказа на заставах была конфискована целая тонна.

Через неделю госпожа Лючия Пынтя открыла два комиссионных магазина и один бакалейный: в продаже были часы, кольца, подсолнечное масло и... семечки.

За исключительно полезную деятельность Антонеску пожаловал Пынте звание генерального примаря. Но в это время упал занавес: оперетта «Транснистрия» кончилась.

1944 г.

СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ТЕТРАДЬ

Фронтовой дневник

29 *апреля 1944 года.* Третий Украинский фронт далеко за Одессой, а Крым еще не освобожден. Редактор, как только я прилетел из Одессы, сказал, что надо лететь в Крым и «дежурить» под Севастополем: «Севастополь — столица флота. Мы должны выступить раньше всех и лучше всех».

Итак, лечу в Мелитополь с предписанием: на Севастопольский фронт. Только бы не прозевать. В кабине самолета — ящики с моторами и бутыли с вонючим авиационным лаком. На фюзеляже самолета нарисована красная стрела — эмблема подразделения транспортной авиации.

Летчик устал, только что вернулся с другого фронта, он лег поспать, самолет вел штурман. Оказалось, самолет не оборудован нужными приборами, мне потом объяснили, что над Курской аномалией мы сбились с курса, пошли куда-то в сторону. Я вздремнул, очнулся — взглянул в окошко над плоскостями, увидел, что из мотора вылетают одна за другой какие-то пружины, бросился к пилотской кабине, застучал кулаками в дверь: «Мотор рассыпается!» Дверь открылась, высунулся штурман: «Знаем, ищем, где сесть». Для этих машин не страшно и на одном моторе лететь. Но почему они ищут, где сесть, когда время уже быть в Мелитополе?..

Сели на какой-то луг на окраине города, очевидно, тут недавно был полевой аэродром. Сейчас луг пустынен, война далеко. Бегут к нам военные. «Вы за нами?» — «Нет, товарищ военврач, не за вами». — «А мы все ждем, что за нами прилетят. Эвакогоспиталь. Раненых всех отправили, фронт ушел вперед, а мы остались в Донбассе».

Мы в районе Славянска. А мне нужно в Крым. Летчик Красилов успокаивает: до первого мая город не возьмут, успею. Он тоже понимает, что значит для морской газеты Севастополь.

В Мелитополь мы прилетели под вечер, почти в темноте. Летчик помог найти «У-2», чтобы перелететь через Сиваш в район Симферополя.

3 мая. На попутных машинах перебираюсь с одного участка фронта на другой, по создаваемой на севастопольском направлении подкове: ее левый фланг в районе Балаклавы, правый нацелен на северную бухту. Дорогу за Ялтой обстреливают. Впереди машины, метрах в десяти упал снаряд. Пронесло, шофер резко затормозил. У «виллиса», который шел впереди нас, пробило стекло. Жертв нет. Фронтовые шоферы мчатся по обстреливаемым горным дорогам с сумасшедшей скоростью.

Еду в корпус Константина Ивановича Провалова, Героя Советского Союза. Его направление — Балаклава, Генуэзская башня, левый фланг фронта. В корпус Провалова входит 255-я Краснознаменная ордена Суворова II степени Таманская морская стрелковая бригада, она пришла сюда через Керчь и Митридат. Бригадой командует Иван Афанасьевич Власов, гвардии полковник, сорока шести лет, он из красногвардейцев революции, парашютист: на его счету 136 прыжков. До морской бригады он был в 8-й гвардейской на Малой Земле. Высаживался на Мысхако.

6 мая. То, что я видел в эти дни с высот над Балаклавой, незабываемо. От моря все впереди просматривается почти до Северной стороны, особенно через амбразуру старинного форта, на который мы поднялись по внутренней полуразрушенной каменной лестнице с Константином Ивановичем Проваловым. Город скрыт горами. Генуэзская крепость с этой стороны разрушена. Немцы построили в Севастополе узкоколейку к бухте, сталкивают в воду железнодорожные составы. Форт над морем взяла морская бригада, теперь здесь край фронта.

Внутри форта за каменными стенами лежит на железной койке Иван Афанасьевич Власов — болен, температура под сорок, но продолжает командовать бригадой.

Следующая высота — немецкая. Мы друг друга отлично видим, таковы особенности Крыма. Правее — высота Полумесяц, за ней — Безымянная, здесь ее почему-то называют Сахарной, хотя Сахарная Головка значительно правее. Эту условную Сахарную Головку тоже взяла морская бригада, и флаг на ней водрузила девушка. Но на обратном склоне холма все еще держатся в траншеях немцы.

Одной очередью «мессер» срезал нашего корректировщика. Два летчика выбросились на парашютах, за ними следили и мы и противник, куда отнесет их ветер, но, как только определилось, что летчиков несет к нам, немцы открыли по ним огонь из зениток. Летчики шли один над другим — верхний с дырявым парашютом, это отлично видел в телеобъектив кинооператор Владик Микоша. У него такой сильный телеобъектив, что им иногда пользуются работники штаба бригады. Микоша ездит и спит в фургоне, иссеченном осколками. Говорят, что летчиков снесло в соседнюю часть.

Снова — на ялтинской дороге. Перебираюсь в армию Якова Крейзера, в 77-ю дивизию полковника Родионова. Ее направление — Сапун-гора.

Был в батальоне Разуваева, в прошлом заместителя командира полка по политчасти, который стал комбатом. Этот батальон на самом трудном направлении. Надо рискнуть и остаться именно здесь, хотя в город могут раньше войти и части с севера. Тут, кажется, все решает журналистская интуиция: конечно, она основана на советах, сопоставлении фактов. Я поверил и Разуваеву и Родионову, что Севастополь возьмет эта дивизия.

Три дня

1

Под вечер шестого мая полковник Родионов вернулся от командующего армией и приказал адъютанту собрать офицеров штаба. Он присел на брус пористого крымского камня у входа в дот, где помещался командный пункт, снял фуражку, расстегнул китель и, опершись локтями о колени, подставил грудь вечерней прохладе.

Воздух в провалах гор был синим. Острые короткие лучи солнца били в глаза, предвещая час наибольшей активности немецкой артиллерии. Беззвучно вспыхивали и вырастали в лощинах и на вершинах черные, похожие на минареты, башни, и спустя секунды эхо скал разбрасывало вокруг хлесткий свист и разнообразные голоса разрывов. Позади, за холмами, возникали языки ответного огня дальнобойных. По склонам на передовой били минометы. За облаками шли стаи двухмоторных «фазанов» — наших бомбардировщиков — в кольце зенитных пятен. Уже несколько дней и ночей не прекращалось это состязание звуков и красок над долинами перед Сапун-

горой, на Федюхиных высотах, на Сахарной Головке. Родионов подумал: в сравнении с тем, что начнется завтра, все это ерунда; завтра будет такой дикий грохот, который заранее трудно даже вообразить, грохот, спрятанный сейчас в длинных штабелях тяжелых снарядов.

Родионов взглянул на бойца, стоявшего невдалеке у дота: широкое лицо его было озарено мыслью, он смотрел на дымные горы и, кажется, витал где-то далеко-далеко, в тиши родных холмов, у прозрачного ручья, среди чистой живой природы милой земли. Да, Жигули этому спокойному волжанину, должно быть, милей картинных вершин Крыма. Но вот и он стремится туда, к Севастополю, хотя того города в жизни не видел и не увидит теперь, потому что там, на берегу моря, — одни руины. Что же тянет, толкает его вперед?.. Каждый шаг приближает его к дому. Потому он и ждет дня наступления, быть может не зная, насколько день этот близок и велик.

Родионов подумал, что и сам всю войну живет этим ожиданием: когда отступали, он ждал дня, когда остановят врага, когда остановили, — дня, когда пойдут вперед. В горах Кавказа Кубань была вершиной надежд. Потом Кубань осталась позади, и столь же остро влекли Ростов, Донбасс, Днепр. А лишь месяц назад в непролазной грязи у Сиваша он опять ночей не спал в ожидании сигнала ринуться со своей дивизией в разъедающую жижу гнилого моря — Сиваша — под огонь, смерть и первым ступить в Крым. Грязь казалась таким бедствием, что он мечтал о пыли, о сухих знойных днях лета. А сегодня люди жалуются на пыль, как на бич войны, и на жару, как на истязание, потому что тут негде умыться и не хватает питьевой воды. Теперь, когда он прошел столько рубежей, столько ступеней, теперь то, что недавно казалось великим, стало малым в сравнении с тем, что впереди, в сравнении с ожидаемым штурмом Севастополя; какая огромная лестница — война, как крута дорога к победе.

Сегодня в штабе армии Родионову показали приказ Ставки о присвоении его дивизии наименования «Симферопольской». Родионов усмехнулся при воспоминании о Симферополе: в армии злословили, что Родионов отбил этот город и у гитлеровцев, и у соседа. Вольно было соседу зевать в решающую минуту боя. Хорош будет он сам, если допустит, чтобы кто-то другой взял у него под носом Сапун-гору и Севастополь. Вверху, на командном

пункте армии, твердо обещали, что именно он, полковник Родионов, а не сосед справа или слева пойдет взламывать немецкое кольцо.

— Офицеры штаба собрались, Алексей Павлович, командиры полков прибыли, — тихо доложил вынырнувший из соседней воронки молоденький адъютант. — Разрешите позвать начальника штаба?

— Зови.

Родионов поднялся и вошел в дот.

Под бетонными сводами продолговатого помещения на самодельной, покрытой ковром тахте, на циновке, на табуретах у столика с телефоном и радиоаппаратом расположились офицеры штаба. В прорези плащ-палатки, заменявшей дверь, и в глубокую, узкую амбразуру скупо проникал с улицы вечерний свет.

Родионов зажег на столе аккумуляторную лампочку — резкий белый луч упал на букет сирени, утром доставленный из Чергуня, и на большой выгравированный в бетоне стены якорь: он всегда напоминал Родионову о прежнем хозяине этого дота — о полковнике Горпищенко, погибшем у него на глазах под Большой Лепетихой на Днепре.

Там, па Днепре, Родионов много слышал от Горпищенко об этих местах, где каждый камень полит матросской кровью. Теперь, когда он сам пришел сюда, он реально представил себе тяжелые битвы, выдержанные здесь два года назад морской бригадой. Вот отсюда, из этого дота, морское орудие стреляло по немцам на Итальянском кладбище. А сейчас Итальянское кладбище в тылу дивизии, амбразура дота обращена в тыл, и сам дот стал его, Родионова, командным пунктом. Многие солдаты побывали на Итальянском кладбище. Солдаты рассказывают о непогребенных матросах в ржавых тельняшках, об истлевших бушлатах и хранят, как амулеты, морские пуговицы с позеленевшими якорями, такими же, как этот на бетонной стене. Родионов, глядя на якорь, выгравированный в бетоне, каждый раз думал о незримой связи с теми, кто двести пятьдесят дней и ночей стоял здесь насмерть против фашистов.

— Горпищенко, между прочим, как вы все должны помнить, не раз говорил, что Сапун-гору немцам взять не удалось, — начал Родионов, обращаясь к собравшимся в доте офицерам; большинство из них знало и помнило

полковника Горпищенко, попавшего после Севастополя в эту дивизию. — И вообще, учтите, никто не брал эту гору в лоб: никто и никогда. Мы возьмем — возьмем штурмом.

Родионов строго всматривался в лица офицеров, освещенные неровным светом, словно проверяя, как понято его решение командирами полков — осторожным Слижевским, хитрым и храбрым Камкиным, горячим, увлекающимся Сташко.

— Штурм назначен на завтра, товарищи офицеры, — продолжал он. — Час уточнят. Перед началом надо взять «языка». Ночью. Командарм приказал... — И Родионов стал излагать задачу, поставленную дивизии.

Все вынули карты, нанося ориентиры согласно указаниям полковника.

Когда разошлись, была уже ночь. В мутном небе повисла неполная майская луна, было холодно, и над землей, как ночные кузнечики, верещали верткие «У-2».

— Пошла «кукуруза», — добродушно приветствовали их на земле. — Заведут сейчас фокстрот на всю ночь...

За горами на вражеских позициях лучи прожекторов заметались по небу, судорожно прощупывая облака и лунную тень. Лучи скрещивались, дрожа, перебегали то выше, то ниже, схватывали, как щипцы орех, ослепительный, похожий на светлячка самолет. Горы откликались тяжким стоном.

Красные нити доверху прошивали меч прожектора, не выпускавший цепко схваченный им самолет. Сердце останавливалось в тревоге за судьбу летчика. А он и не пытался увертываться. «У-2» трещал и трещал своим моторчиком, хотя с земли казалось, что со всех сторон его прострочили насмерть. Вспыхивало пламя: внизу рвались бомбы. «У-2» уходил от пораженной цели вместе с пленившими его клещами прожекторов, будто не они его, а он их держал цепко-цепко; он тянул эти клещи за собой к самой земле и внезапно исчезал. Лучи отскакивали вверх, как упругие пружины, освобожденные от груза. Они снова метались, находили другой самолет и вели его по небу.

— Ох, дьяволы, до чего дьяволы! — восхищался наш неспавший передний край. — Трещат, верещат, сыплют бомбы, идут в прожекторе — и хоть бы что.

— Не дьяволы, а дьяволицы. Девушки наши.

Всю ночь раскаты бомбовых ударов чередовались с раскатами артиллерийского налета, предпринятого на участке перед Сапун-горой. Под этот шум две группы разведчиков с разных направлений вышли к безымянной высотке у Сапун-горы; Родионов прозвал эту высотку «Зернышком», которое трудно, но во что бы то ни стало нужно взять, — так и вошло это название во все сводки и оперативные документы. Одна из групп отвлекла огонь противника, демонстрируя попытку разведки, а другая забралась в глубь вражеских линий и притащила двух «языков»: худого, как жердь, обер-ефрейтора и черноволосого унтера с бурым сгустком над рассеченной правой бровью — он оказал разведчикам сопротивление.

Разведчики доставили немцев к доту под утро, сдали штабной охране и отошли в сторонку дожидаться, когда начнется и чем кончится допрос.

Очевидно, сегодня это имело значение.

Унтера вытащил из блиндажа на той стороне разведчик-штрафник, солдат с серебряными крылышками на немятых небесных погонах, натянутых на алюминиевые дощечки. Он стоял возле гранитной глыбы, опершись на ствол автомата, и не сводил глаз с пленника.

Этот солдат был летчиком, разжалованным в рядовые за какую-то пьяную провинность; только накануне он прибыл в разведроту искупать свою вину и теперь боялся, что унтер, которому он в рукопашной рассек бровь, не даст показаний. Разведчики уверяли, что за сегодняшний подвиг ему все разом будет прощено, но он сильно сомневался в этом, убежденный, что ему простят только в том случае, если от подвига будет толк.

Пропагандист политотдела, жестикулируя и коверкая чужой язык, спешил тут же, возле дота, выяснить степень разложения немецких войск и установить, почему немцы, обреченные, не сдаются в плен, а также осознали ли они наконец неизбежность краха всей гитлеровской системы. Худой девятнадцатилетний ефрейтор юлил и на радость нашему политотдельцу угодливо повторял: «Капут-капут». Второй молчал, по-бычьи склонив голову, молчал, будто назло солдату с небесными погонами, за которым он следил злым, неестественно выпяченным левым глазом: правый, под рассеченной бровью, был почти закрыт опухолью.

— Довольно болтовни, — прервал все расспросы Ро-

дионов. — Спросите этого сопляка: есть ли там минное поле и вторая линия укреплений? Спросите также, где находятся проходы в проволочных заграждениях.

— Нихтс, нихтс,— частил ефрейтор.— Ничего там нет.

— Врет. Сам знаю, что есть, — Родионов сердито повернул голову к переводчику: — Введите ко мне второго, унтера: он хоть волком смотрит, но, видимо, толковей.

Немца с рассеченной бровью ввели в дот.

Родионов сел у стола, дал ему чистый лист бумаги, наметил ориентиры немецкой обороны и приказал обозначить расположение траншей, точек, артиллерии, мин и проволоки.

Унтер все это нарисовал, и довольно точно, — все совпадало с уже известными разведке данными: фашисты использовали наши старые укрепления и, кроме того, усилили их цепью новых.

— Из какой дивизии? — спросил унтера начальник штаба.

— Сто одиннадцатой, семидесятого полка, — отчеканил, видимо, предельно вымуштрованный унтер.

— Сто одиннадцатой, семидесятый полк? — все удивленно переглянулись. — Но ведь этот полк, товарищ полковник, разбит нами у Томашевки на Сиваше?

— Спросите его, давно он в этом полку?

— Четыре дня, после излечения в госпитале, прибыл из Констанцы.

— Морем?

Унтер угрюмо усмехнулся:

— Морем до берега не доходят. Самолетом.

— И много прибыло?

— На каждом самолете по восемнадцать человек. Тридцать самолетов в прошлую ночь и еще больше в эту ночь.

— Ну вот вам и семидесятый! — Родионов развел руками и рассмеялся. — Номер прежний, а полк новый. Они и с дивизией такое выкидывают уже два года. Спроси его, кто командует дивизией?

— Генерал-лейтенант Грюнер.

— Где он?

— Где-то позади.

— Когда они ждут нашего наступления?

— Сейчас и всегда, — отчеканил унтер. — С минуты на минуту.

— И каков приказ?

— Зайти в бункера и стоять насмерть. Фюрер обещал помочь.

— А солдаты?

— Солдаты не верят, но выхода нет. Морем никто уходить не хочет — верная смерть. На самолетах летают только генералы и оберсты.

— Но вы же летели?

— Солдат может лететь на самолете в Крым, но не обратно. Фюрер велел стоять.

— И долго думают стоять?

— Наш оберст вчера сказал: русские стояли восемь месяцев, мы будем стоять восемь лет. Одну дивизию с пути вернули обратно в Крым...

Раздался телефонный звонок — из армии торопили с доставкой «языков». Немцев увезли.

Родионов вышел на воздух. Он сел на тот же камень у входа в дот. Поодаль все еще топтались разведчики, с ними и солдат в небесных погонах. Подошел начальник штаба. Родионов отдал приказание заполнить на разведчиков наградные листы.

— А летчику оформить орден немедленно, — приказал Родионов. — И заготовьте на него реабилитирующий документ. Заслужил. Пусть летает. Только чтобы снова свой подвиг не пропил! — Последние слова Родионов произнес погромче, зная точно, что прощенный летчик их услышит.

Утро быстро разгоняло ночь, и луна меркла в белеющем небе. Над долиной не утихали привычные звуки методичной перестрелки. Родионов расправил плечи, устало потянулся и, сморщив свое обгоревшее на солнце лицо, сказал:

— Опять сто одиннадцатая! Под этим номером уже три состава было. Три дивизии мы перебили. Сколько в ней командиров сменилось — не перечтешь. Первая встреча была тут же в Крыму, в Керчи. Неприятная встреча. Они нас столкнули... на Тамань. Потом мы с ними бились на Кавказе под Тихорецкой и Ново-Джарлиевской. Перебили почти весь состав — все с крымскими нарукавными знаками, черт побери. Догнали их дивизию у Славянской и, уже пополненную, растрепали под Темрюком. Через Крым немцы отвели остатки этой дивизии к Таганрогу, пополнили свежими батальонами из Германии и бросили

в бой против десанта моряков. Там ее снова подсократили морячки, котановцы. На никопольском плацдарме мы опять встретили эту дивизию — она не досчиталась всего своего хозяйства и тысяч четырех солдат. Фашисты вытащили ее остатки в Одессу. Там пополнили — и в Крым. Ее семидесятый полк мы встретили уже на Сиваше: от него остались рожки да ножки. И вот снова она против нас — на Сапун-горе. На ключевой позиции. Сразимся, товарищи офицеры?

— Побьем и на этот раз, — ответил кто-то из окружавших Родионова молодых командиров.

— Тут они начали, тут мы их и кончим.

— Это верно, — согласился Родионов. — Отсюда, пожалуй, не уйдут даже и остатки этой дивизии. А сейчас хорошо бы часика два соснуть. До самого Севастополя. Ну, все по местам! Марш!

Он ушел в дот, и все разошлись по землянкам, но мало кто спал в эти последние перед решающей битвой часы. Все жили в завтрашнем дне, жили стремлением к Севастополю. Только один человек не захотел в этот день идти с дивизией в Севастополь. Это летчик, уходивший с орденом и отличной боевой характеристикой пешком в тыл по дороге к аэродрому. На все уговоры разведчиков остаться еще на денек, повоевать на земле, он отвечал:

— Нет, друзья, пехоту я больше с воздуха уважаю. Высокое, знаете ли, положение позволяет оценить вас, браточки. Так что из уважения к вам я должен поскорее уходить. Мы еще свидимся, скоро свидимся. Над Севастополем.

Когда солнце разогнало утренние туманы, Родионов уже был на наблюдательном пункте, спрятанном в траншеях среди кустарника напротив Сапун-горы.

Все сверили свои часы с часами приехавшего к началу операции генерала из штаба армии.

Наступало первое утро штурма.

2

В 9.00 7 мая по всему фронту от Балаклавы до Качи, от Генуэзской башни до северных маяков, на старинных бастионах Севастопольской обороны, над каменными лестницами славных редутов, над скалистым утесом Кая-Ба-

ша, над Сапун-горой, над Сахарной Головкой, над долиной Инкермана и Бельбеком, над Мекензиями, над бетоном батарей Северной стороны началось то, что участникам битвы запомнилось на всю жизнь.

В одну и ту же минуту вдоль высот пробежала круговая цепь орудийных вспышек, сотни и сотни орудий взорвали воздух над железным поясом вражеской обороны и подняли в небо смерч земли, камня, железа, стали. Разрыв налетал на разрыв, и над горами росли и росли сплошные стены дыма. Небо впереди становилось все темнее, густая мгла закрыла солнце, горы во сто крат усиливали грохот штурма. В гуле канонады тонули не только голоса людей, но и рокот бесчисленных самолетов, сходившихся к Севастопольской крепости с севера, юга, востока и запада, и тяжкие разрывы сброшенных ими бомб. Белые столбы мешались с черными, языки пламени окутывали все впереди, нельзя было уже разглядеть ни Сапун-горы, ни Зернышка перед нею — все стонало, горело, дрожало, а в небе, в воющей синеве метались десятки машин: «яки» бились с «мессерами», и хвостатыми факелами падали подбитые самолеты.

— Четвертую войну воюю — такого не видал! — крикнул Родионов. — На равнине, пожалуй, такого не увидишь. Какая баталия!

И действительно, узкий Крымский театр, горы и долины открывали перед ним эту битву во всем ее страшном многообразии. Он видел одновременно и работу артиллерии, и воздушные бои, и падающие самолеты, и летчиков, повисших под куполами парашютов, и зенитный огонь наших и вражеских батарей, и огоньки минометов на передовой, и танки, залезающие на скалы, и даже цепи пехоты, поднявшиеся и выходящие в атаку. Ему казалось, что он слышит, чувствует, как кричат там «ура!», видит, как сверкают глаза у рвущихся вперед бойцов.

— Сташко, Сташко! — надрывался на наблюдательном пункте телефонист, заткнув пальцем свободное от трубки ухо.

— Не могу вызвать Сташко, товарищ полковник, — жалобно докладывал он, не бросая трубки, — не слышно!.. Связь исправная, товарищ полковник... Но ведь не слышно, такое творится!.. Есть накрыться плащ-палаткой.

В землянке рядом с наблюдательным пунктом радисты в наушниках следили за эфиром. В эфире звучали — то

команды наших пехотных командиров, то возгласы артиллерийских корректировщиков, то жаркие переговоры летчиков между собой в воздухе, то спокойный голос станции воздушного наведения, находящейся где-то неподалеку на вершине одной из гор:

— «Фазаны», «Фазаны»! Заходите справа. Вниманию замыкающего: на хвосте «мессер», на хвосте «мессер»!

— «Коршуны», «Коршуны»! Лучше прикрывайте «Фазанов». На замыкающего сел «мессер». Справа два «фокке»!

— «Шарики», «Шарики»! Там пошла наша пехота. Не бейте по нашей пехоте. Левее, левее возьмите. Противник левее!

Из землянки видны были все эти бои, заходы бомбардировщиков, драки наших истребителей с «мессерами» и атаки штурмовиков впереди наступающих цепей.

Прошел час, другой, третий. Солнце выползало из надземной мглы к зениту; но, нагоняя солнце, росла зыбкая стена пыли, дыма и огня. Воздушная битва шла уже в солнечном, ослепляющем свете. А на земле канонада не стихала, наоборот, она достигла своего апогея, когда из лощины с каменным скрежетом помчались огненные бруски «эрэсов», когда заговорило это страшное для врага советское оружие, все сжигавшее и сметавшее и на Зернышке, и на Сапун-горе.

Тут же из-за Мекензиевых гор, из Инкерманской лощины, из самого Севастополя ответили немецкие дальнобойные орудия. Но их огонь терялся в шквале нашей артиллерии, как терялись управляемые асами «мессеры» и «фокке-вульфы» в массах нашей авиации, все утро и весь день висевшей над полем битвы.

Пехотные цепи перевалили за Зернышко и залегли в лощине перед горой, где вьется дорога на Севастополь.

С наблюдательного пункта эта лощина не просматривалась: ее скрывала только что взятая высота. Видно было лишь подножье Сапун-горы, где цепочки пулеметного и автоматного огня ясно обозначали линию немецких траншей. Родионов и наблюдающий за действиями дивизии генерал следили в стереотрубы, надеясь увидеть там наступающих. Но фашисты держались, и наша пехота не шла. Связисты докладывали, что пехота лежит в лощине, не поднимается.

Из траншей противника по этой лощине били и пулеметы, и минометы, и противотанковые пушки. С гребня их поддерживали «фердинанды», и даже немецкие зенитки перенесли огонь с неба на землю. Гитлеровцы понимали, что эта лощинка — последний рубеж перед горой, и именно сюда, на этот маленький участок, они нацелили всю мощь своей артиллерии.

Родионов нервничал. Сила внезапности артиллерийского удара прошла, а позиции на горе, главные позиции еще не прорваны. Согнанный с Зернышка противник сможет прийти в себя и даже контратаковать, если сейчас же, немедля, не опрокинуть его на этом главном рубеже, — иначе впору все начинать сначала. Из армии запрашивали точную обстановку. Родионов в пятый раз вынужден был повторить неприятное «лежим», и это проклятое слово, вероятно, пошло сейчас по штабам, по соседям, как дурная слава о его дивизии.

Родионов попросил у генерала разрешения отлучиться в полки.

Саша, верный шофер, накануне благополучно промчавший полковника через облако разрыва, запылил по долине к Зернышку.

На НП не отрывали глаз от машины и вздрагивали, когда поблизости падал снаряд. Потом машина скрылась за холмом.

Начальник штаба и генерал стали ежеминутно теребить телефониста:

— Узнайте, как полковник?.. Где полковник?.. Да шевелитесь же!..

Но вскоре с НП увидели, скорее, поняли, где он: поднялись цепи, и по лощине во весь рост пошли на гору, не пошли, а помчались в бурной атаке бойцы. Их вел Родионов, вел за собой сквозь огонь. Не редели наши цепи. Живые занимали места павших. Это был порыв, порыв солдат, верящих в необходимость своего подвига.

Когда Родионов вернулся на наблюдательный пункт, радист доложил о перехваченном открытом тексте радиограммы командира одной из немецких частей. Он докладывал своему начальнику:

«Оборона прорвана. Отступаю. Примите меры!»

Вал нашего огня передвинулся дальше, следом за ним отошла вперед и граница относительной тишины, грани-

ца пространства, куда редко падали немецкие снаряды.

Противник засел на вершине горы.

Мимо наблюдательного пункта вели пленных. Родионов спрашивал переводчика, нет ли среди них кадровиков, старослужащих сто одиннадцатой дивизии с нарукавными знаками «За Крым». Но это все шли солдаты недавнего пополнения, молодые и пожилые, сброд из разных частей и батальонов, наспех собранный в эту дивизию. Они растерянно смотрели на наших людей и на горы, на мирный лик земли, обрушившей на них такое возмездие.

День шел к концу. Фашисты еще стояли и держали наших на середине склона; по различным признакам Родионов определил, что они даже готовятся к контратаке.

Снова звездным налетом нависла над противником наша авиация. Артиллерийский вал поднялся на вершину штурмуемой горы и перешагнул ее. Нестерпимы стали острые запахи гари, серы и пороховых газов, за день пропитавшие воздух над долиной. К грохоту и дрожи гор все стали уже привыкать. Но Родионов сердцем и разумом военного почувствовал, что именно сейчас, в кажущуюся минуту спада, наступает кульминационный момент, когда чаша весов должна дрогнуть и определить успех сегодняшнего боя.

Генерал в волнении закурил и, обращаясь к Родионову, заметил:

— Ну, дорогой, сейчас — или мы опоздаем.

Генерал подошел к армейскому проводу и через секунду сообщил Родионову, что началось движение у Балаклавы, у Карани и на правом фланге за Сахарной Головкой — морская бригада штурмовала гранитный утес Кая-Баша, а гвардейцы брали Сахарную. Все глянули вправо и влево на видимые в мутнеющей дали высоты на краях подковы фронта — там сейчас были и авиация, и стопушечный жар неутомимой нашей артиллерии; оттуда, с побережья бухт, доносился подобный утреннему скрежет скал и гор, и всем стало ясно, что там тоже пошли в генеральное наступление.

В землянке радистов прозвучало хлесткое морское слово, долетевшее, наверно, оттуда, где моряки штурмовали Кая-Баш.

— Полундра! — гремело в эфире, вызывая у радистов улыбку и восторженный шепот: «Моряки пошли».

Родионов вспомнил командира моряков — гвардии полковника Ивана Власова, с которым он виделся за день до штурма; Власов, больной, в жару и лихорадке, избрал для командного пункта полуразбитую Генуэзскую башню. Верно, он стоит сейчас на развалине, как на мостике корабля, и, опираясь на руки друзей, командует штурмом.

— Полундра! — донеслось снова по эфиру, и вдруг кто-то из радистов крикнул:

— Да это же наши, пехота по-моряцки кричит! Наши пошли!..

По склону Сапун-горы бежали вверх бойцы, бежали под матросский клич, занесенный ветром из Балаклавы, подсказанный севастопольской землей, — эти люди опять поднялись, ободренные движением на флангах. Рывком, в какие-то два десятка минут, взлетели они на вершину, где немцы уже поднимали руки. На НП смешались голоса телефонистов, вооруженных биноклями командиров и наблюдателей:

— Вижу флаг! Второй! Третий! Пятый! Седьмой! Много флагов!

— Двести немцев подняли руки!

— Сташко доносит, что он на гребне!

— Сліжевский перевалил на ту сторону!

— Победа, товарищи, победа!

— Будем купаться в Севастополе!..

Родионов расцвел от удовольствия, и его морщинистая улыбка как-то сразу показала, в каком напряжении он жил весь этот день.

— Ох и будет мне морока решать, кто первый на гору взобрался! — добродушно сказал Родионов. — Глядите, товарищи, сколько флагов понатыкали! Где только кумач берут! И каждый докладывает — первый!

Новая партия пленных шла по тропе под конвоем одного нашего солдата, да и то раненого. Родионов сказал начальнику разведки:

— Смотрите, не упустите мне кадровиков! Собрать все знаки «За Крым». Это нужные трофеи. Я хочу посмотреть, сохранился ли кто-нибудь из тех завоевателей...

Стало удивительно тихо. Вернее, после такого дня затишье казалось глубокой тишиной. Из наблюдательного пункта можно было высовываться сквозь маскировку пря-

мо наверх, не страшась, что увидит противник, хотя он еще сидел слева на высотах, а отдельные группы и корректировочные посты остались и справа в скалах. Родионов махнул на них рукой, как бы говоря: «Теперь пусть обнаруживают, вопрос все равно решен». В окружении штабных офицеров он стоял на высоте в сумраке заката, над полем недавней битвы. Исподлобья глядя на генерала, он сказал:

— Ну, товарищ генерал-майор, теперь пойдем в Севастополь!

— Уж ты хочешь, Алексей Павлович, все себе заграбастать,— усмехнулся генерал.— Дай и другим повоевать.

— У кого ключ, тот и входит! — в глазах Родионова сгустилась тревога: неужели теперь, когда сделано главное, когда перейден рубикон, его оставят во втором эшелоне и другая дивизия, другой командир будет добивать его врага — сто одиннадцатую вместе с ее номером, с теми ее офицерами, которые два года назад нашивали себе на рукава бронзовую карту Крымского полуострова с готической надписью.

Он молча побрел на командный пункт к доту, куда сходились для доклада командиры частей. Он выслушивал их, вел строгий деловой разбор, указывал на ошибки, был, как всегда, точен, резок и справедлив, но все, близко знавшие Родионова, чувствовали, что он чем-то глубоко встревожен, что-то беспокоит его. И, быть может, все понимали, что именно беспокоит Родионова, потому что все в эту ночь думали о следующем этапе боя, о близком Севастополе, о завтрашнем дне.

3

В ночь на восьмое мая радио передало сообщение Совинформбюро о прорыве немецкой обороны на Севастопольском фронте. Ужиная в доте Горпищенко, Родионов услышал из Москвы о том, что он накануне сделал и видел. Родионов подумал, что сейчас в его доме на Чистых прудах тоже, наверное, включено радио, и, слушая сообщение о Сапун-горе, жена вспомнит о нем; но никому не понять, как он счастлив и несчастен в эти минуты, с какой тревогой он ждет решения командарма о завтрашнем дне.

С этой тревогой он не расставался всю ночь. Придя на командный пункт, он увидел серию белых ракет над

нашими позициями. Они возвещали начало фашистской контратаки: передовые части требовали артиллерийской поддержки. Родионов снова увлекся боем. Забыв обо всем, он стал готовить врагу отпор.

Наши подтянутые вперед легкие батареи открыли ураганный огонь, они клали снаряды прямо перед нашими позициями, а тяжелая артиллерия отсекла атакующих немцев от их тылов, замкнув таким образом противника в ловушке. В яростном бою была не только отбита попытка противника заткнуть брешь, но и развит достигнутый накануне успех. Сташко, Слижевский и Камкин заняли следующий ряд траншей противника, а наша разведка дошла почти до хутора Дергачи.

Мимо наблюдательного пункта, где Родионов провел всю ночь без сна, опять вели пленных. Их сводили в воронку от тонной бомбы, бегло опрашивали и, как только собиралась солидная группа, маршем отправляли в тыл.

Родионов уехал в санбат навестить раненых героев штурма и вручить им ордена. Вернулся в полдень восьмого мая и получил приказание, которого больше всего опасался: пропустить соседа через свои боевые порядки, самому же оставаться во втором эшелоне и готовиться к действиям на девятое мая.

Родионов с обидой сказал генералу, что невелика, мол, честь стоять во втором эшелоне в пяти километрах от такого города, как Севастополь, имея в кармане ключ к нему. Генерал пожурил его за горячность, не свойственную старому вояке, и твердо заверил, что завтра, в решающую минуту, дивизия будет выведена вперед и завершит штурм.

То, что было накануне под Сапун-горой, в этот день повторилось на флангах. У Балаклавы и на Северной стороне не смолкала канонада. Там сжимали подкову фронта тяжелым, но упорным движением вперед: здесь же, в центре подковы, хозяином дня был Морянов, заместитель Родионова по тылу; он бросил на горные дороги все повозки, все тракторы, в течение дня подтянул склады почти к самой горе, пополнил боекомплектами батареи и патронные сумки стрелков, развернул на месте недавних боев санитарные пункты и похоронил убитых.

Саперы расчищали от мин лощинки за Зернышком, а связисты тут же опутывали высоты километрами провода.

К концу дня Родионов вышел на новый НП среди развороченных немецких блиндажей и разметанных нашей артиллерией дотов. Это было пристрелянное немцами место, куда они сейчас бросали снаряд за снарядом. Родионов стоял под разрывами и ругал дивизионного инженера:

— Какого дьявола выбираете «глаза» на таком месте, где не видно противника? Мало ли что — во втором эшелоне! Что ж я, век здесь буду стоять? Я должен видеть, как сосед ведет бой!

Ночь на девятое была тяжелой. Немецкие самолеты бомбили квадрат за квадратом все занятое дивизией пространство.

А далеко над Севастополем поднималось зарево.

Родионов сказал:

— Жгут. Выбрасывают весь запас бомб. Значит, все. Всегда так.

Утром он перебрался ближе к вершине Сапун-горы под большой, изрытый дождем и ветрами камень и расположился на открытом месте, подчеркивая временность своего пребывания там.

Саша поставил машину тут же возле дороги и сел рядом с полковником.

Чуть ниже вились тропы, по которым сейчас шли бойцы более счастливой дивизии, выдвинутой генералом вперед.

Кто-то, увидев шагавшего вверх матроса, шутя сказал:

— Ну вот, Алексей Павлович, все ясно: моряк идет к Севастополю, и наверняка у него за пазухой флаг.

Как ни примитивна была шутка, Родионов тут же послал узнать, что за матрос, не идет ли он действительно с флагом к Малахову кургану.

Комдив то и дело вызывал по телефону командиров полков:

— Ну как там сосед, продвинулся?.. Смотри, не зевай, Сташко. Не отрывайся, на плечах иди. Мало ли что они воюют. И мы повоюем... Надо будет — вырвемся вперед, не спросим!.. Ничего, ругать не будут. Делу лучше...

На той стороне шел бой, ревниво переживаемый Родионовым. Другая дивизия приближалась уже к хутору Дергачи, и Сташко время от времени докладывал, что он тоже не отстает: «На пятки наступаю!»

Свистели снаряды — они поддерживали соседа.

Шли раненые — раненые соседи.

Шли пленные — тоже захваченные соседом.

Какой-то солдат той, воюющей, дивизии, увидев полковника, подвел к нему здоровенного шофера из немецкого артиллерийского дивизиона, оставил «на сохранение», а сам побежал обратно — на передовую.

Немецкий шофер сказал, что пушки дивизиона разбиты, и все кончено. Час назад ему дали автомат, и вот он сдался.

Пленный осведомился, скоро ли отправят его отсюда в тыл, в лагерь... Внизу из лощины раздался в это время скрежет «катюш»; пленный побледнел.

Саша смотрел на пленного презрительно. Он сказал, что сейчас, мол, придется принимать все недолеты и перелеты, которыми ответит противник на работу ненавистного им орудия. И действительно, разрывы застучали по склонам Сапун-горы. Все прижались к камню.

Обернувшись, Родионов увидел согнутую в три погибели фигуру пленного, нахлобучившего на голову каску и спрятавшего лицо в колени. И Саша и Родионов отвернулись.

— Скажите ему, что отпускаю его в Севастополь, — бросил через плечо Родионов. — Пусть идет, если хочет.

— Найн, найн, — испуганно ответил пленный. — Нет, я не хочу в Севастополь!..

Внезапно в гулкий грохот боя ворвался рокот низко летящего самолета; какой-то «У-2» мчался по долине между гор в самое пекло, приветливо покачивая крыльями.

— Смотрите! — закричал Саша. — Это наш летчик летит к Севастополю.

И Родионов ревниво подумал о том же; он запросил полки об обстановке. Но вдруг зазвонил телефон командующего. Телефонист доложил:

— Товарищ полковник, генерал вызывает...

Родионов с жадностью схватил трубку и приник к ней, дрожа от волнения:

— Слушаю, товарищ генерал-майор. Одну минуточку: тут «катюши» играют, не слышно вас. Сейчас кончат... Все. Слушаю... Есть вынуть карту.— И шепотом адъютанту: — «Давай, давай скорей двадцатипятитысячную, севастопольский лист». — Так. На Дергачи? Так. Затем — сто шестьдесят пять и один? Есть. Что? Не разобрал. А?.. «Мессер» бомбы бросает, товарищ генерал, не слышно. Да, кончил... Сбили... Благополучно. Шофера ранило. Да,

продолжаю: Малахов слева?.. Разрешите, товарищ генерал, и на Малахов? История, товарищ генерал, история!.. Есть, слушаюсь... У меня ничего... Оправдаем... Есть... Перехожу вперед на новый НП.

Родионов положил трубку, мигнул телефонистам, чтобы собирались вперед в облюбованную уже разведчиками траншею, откуда прекрасно виден был театр войны до самого Севастополя, и мягко спросил Сашу, бинтующего раненную осколком ногу:

— Так в санбат, Саша?

— Да тут осколочек, товарищ полковник. Пустяк, перевяжу. Уж я с вами в Севастополь...

— Ну, смотри. Дело хозяйское. Если так — ладь машину и жди меня впереди за Дергачами. Я пока пойду напрямик, а там двинем в Севастополь.

Через полчаса Родионов стоял за горой в немецких траншеях и хриплым голосом командовал по радио:

— Сташко, Сташко, у тебя двадцатипятитысячная? Дергачи видишь? Дальше балка, там курган... Малахов курган? Дело твое. Я твоей разведкой не командую... Раз флаги заготовили, значит, знают, что делают... Ты вот не на Малахов, ты на фланги смотри, фланги держи!.. То-то.

— Панкул! Скажи своим бомбардировщикам, чтобы обеспечили фланги Сташко и Слижевскому. Да смотри, пусть по своим не кроют.

— Пушки выкатывай вперед, пушки! Побежали фашисты, не отставай!

Впереди в долине, у Дергачей, за Килен-балкой, на последних подходах к Севастополю развернулась панорама решительного завершающего боя. Гитлеровцы дрогнули, и видно было, как поднимается и бежит толпой враг, ища спасения от артиллерийского урагана, от штурмующих самолетов, от вихря свинца, от верной смерти, настигающей его и с неба и с земли. И все поднялось в долине, все двинулось вперед в стремительном темпе преследования; люди уже перестали обращать внимание на огонь, на снаряды, на вой бомб, люди видели только Севастополь, море, падающее к закату солнце и восходящую победу.

В Дергачах настигли и разгромили штаб сто одиннадцатой. В разоренных блиндажах, среди разбросанных термосов с горячим, отдающим морковкой чаем валялись трупы фашистов. Возле шоссе стояла группа пленных

офицеров. Это и было ядро дивизии. Какой-то пожилой солдат, взмокший, седой от пыли, срывал с них нарукавные знаки «За Крым» и бросал на дорогу; на шоссе росла горка бронзовых карт Крымского полуострова, эмблема «покорения Крыма», учрежденная Гитлером в июле 1942 года.

— Что вы делаете? — в ужасе крикнул Саша; по заданию Родионова он перегонял машину вперед и увидел на дороге кучку бронзы. — Это же трофеи! Это то, что искал полковник!

Саша выскочил из машины и заковылял, волоча ногу, к немецким значкам.

Но по дороге мчалась колонна грузовиков с пушками на прицепе.

Тяжелая гаубица колесом наехала на бронзу, смяла ее и вдавила в землю.

Потом люди и кони шли и шли, наступая на этот поверженный в прах знак фашистской самонадеянности. Саша махнул рукой, влез в машину и поехал догонять Родионова.

Первыми доложили Родионову о выходе к Севастополю Сташко и Камкин. Сташко, высокий смуглый человек, без шапки, в маскхалате, бежал по Килен-балке впереди радиста, навьюченного рацией и шестом для нее. Охранявшие своего командира разведчики отстали. Сташко стремительно выбежал на холм над Килен-балкой. Ветер с моря, севастопольский ветер, взъерошил его черные волосы. Сташко крикнул:

— Вот он!

Впереди, внизу, справа, слева был виден Севастополь. Сверкающие бухты, ярусы улиц, купол разрушенной Панорамы, мачты и трубы затонувших кораблей, огонь и дым пожаров, фонтаны воды, земли и камня, поднятые минами и снарядами, трассы пулеметного и автоматного боя, неразбериха самолетов, бьющихся в небе. Все, кто поднялся на гребень высоты, остановились потрясенные. Люди упоенно произносили: «Севастополь!»

— Развертывайте рацию! — резко приказал Сташко.— Вызывайте командира! Товарищ полковник! Товарищ полковник! Я — Сташко. Я — Сташко. Нахожусь над Севастополем, над Севастополем! Мои подразделения вошли в город. Ведут бой на Корабельной стороне. Прошу перенести огонь артиллерии...

Сташко остался на командной высоте. Он махнул офицерам рукой вперед, что означало: спешите, догоню.

Не чувствуя ног, люди пересекли бесчисленные воронки и ложбинки от мин, развороченные доты, разбитые снарядами бетонные бастионы, перепаханные огнем и железом противотанковые рвы, разметанные проволочные заграждения.

Об этих подступах пленные еще утром говорили как о неприступном поясе внутреннего городского обвода. И вот все это в течение нескольких часов превращено в мусор, уничтожено, сметено в одну кучу вместе с гарнизоном.

На Корабельной стороне у палисадника дома на Истоминской улице стояла машина полковника. Родионов сидел у рации и передавал:

— Корабельная сторона очищена. Веду бой в городе. Противник не прекращает пулеметного и минометного огня. Его артиллерия бьет по наступающим и по переезду у вокзала.

Окончив разговор с командующим, он вытер платком влажное, опаленное солнцем лицо, улыбнулся, сощурил красные от бессонницы глаза и добродушно сказал Саше:

— Жене бы передать: вошел, мол, Алексей Павлович в Севастополь...

Он хотел еще что-то сказать, но тут подбежал запыхавшийся Сташко. Он произнес:

— Товарищ полковник, — осекся и тихо завершил: — двигаюсь в город с резервом.

— Дожил, Сташко, дожил, — усмехнулся Родионов. — Командир дивизии тебя обгоняет. Камкин-то уже дале-е-е-ко впереди. Так-то, брат...

Он кивнул Саше и поехал вперед, туда, где шел уличный бой.

Вечером на переезде у Севастопольского вокзала, где, как на полевом бивуаке, дымили костры, я останавливал машину за машиной, спрашивая, не подбросит ли кто в тыл.

Шоферы смеялись:

— Кто теперь в тыл... Сейчас все в Севастополь!

На случайной полуторке, когда-то захваченной у нас гитлеровцами и теперь отбитой и угоняемой расторопным

артиллеристом к Сапун-горе, я выехал в эту ночь в обратный путь. Дорогу недавнего боя запрудил сплошной стремившийся в город поток. Нас догнал только один «виллис» — там сидел Родионов. Я перешел к нему и увидел на груди у шофера Саши полученный им сегодня орден Славы.

Освещенное луной лицо Родионова было счастливым и усталым после трех дней и трех ночей штурма.

— А ведь подумайте, — сказал он. — Вот так сразу и кончилась тут война. Теперь мы в глубоком тылу. На курорте.

— Был фронт, стал курорт, — сказал Саша.

— Сто одиннадцатую вы добили, генерал, ее командир в плену. Теперь отдыхать, Алексей Павлович? — спросил я.

— Вот еду на старый КП, помыться надо, поспать.

— Ну, теперь вы уже суток на двое заляжете?

— Пожалуй, нет, — в раздумье ответил Родионов, кивая на непрерывный встречный поток машин, повозок и людей. — Видите, что творится, все в Севастополь. Придется часика через два повернуть обратно: буду выводить дивизию. Впереди большие дела, воевать еще надо...

Фронтовой дневник

9 мая, 10 часов 7 минут утра. Нарвались на «фердинанды», зарытые на Английском кладбище. Бьют из тяжелых пулеметов. Родионов вызвал на них огонь «катюш».

Находимся на склоне Сапун-горы против Федюхиных высот. Дивизии дано направление на букву «С» и на Малахов курган. Пришел командир взвода Безгубов, он был в плену, потом в партизанах в Крыму, хорошо знает местность. Доложил, что ликвидировал корректировщика и пулемет, который нас обстреливал.

Саперы сняли по дороге до гребня Сапун-горы 152 мины. На горе подняли сразу три флага — из разных подразделений. Немцы бегут, все бросая в блиндажах и траншеях. Один фотограф, командированный на фронт не газетой, а какой-то выставкой, прыгнул в траншею, схватил генеральскую шубу на лисьем меху и потащил ее за собой. На него прикрикнули, он тут же шубу бросил. К таким трофеям и солдаты, и командиры относятся с презрением. Только боевые трофеи. Да вот бы похарчить еще — кухни отстали, жажда всех мучает.

15 часов. В Севастополь на Корабельную сторону мы вбежали с подполковником Сташко. Он — впереди полка. Сташко остался на командной высоте, махнул рукой: сейчас, мол, догоню. Не чувствуя ног, все мчатся вперед, не обращая внимания на воронки, остатки проволочных заграждений, на сдающихся в плен немцев, настойчиво твердящих: «Итальяно, итальяно!» Знают, что итальянцам солдаты симпатизируют. Но никто сейчас не собирается уточнять — там на сборном пункте разберутся. Сборный пункт позади Сапун-горы, его охраняют два пожилых солдата, они уже угощают пленных махрой и «ведут политработу».

Вдруг среди стремящихся к Севастополю раздались крики, обращенные в небо: «Свои, свои!» Кто-то дал ракету, другую, потом все сразу залегли. Это наши «илы» бьют по своим — не успели оповестить аэродром о продвижении вперед наших частей...

«Где Малахов курган? Где Малахов? Вы должны знать!» — теребит меня на ходу красноармеец с полотнищем на шесте, на полотнище мелом по красному написано: «Да здравствует Севастополь!»

Ему поручил замполит поставить флаг, а он не знает Севастополя. Я показал ему влево на Малахов курган, но там уже кто-то установил флаг. Красноармеец побежал вперед искать своему флагу другое место.

Истоминская улица, дом № 25. Я записал этот адрес, потому что здесь встретил первых севастопольцев: Анну Павловну Галич, 60 лет, и ее мужа Захария Федоровича Галича, 57 лет, старого моряка, работавшего в дни обороны на Морзаводе. Анна Павловна, обнимая меня, зарыдала: «Моряк, моряк, а мы ждали...» Больше никого кругом нет в морской форме. Немцы ушли отсюда пять минут четвертого, убежали. Анна Павловна уже раздала бойцам целую ванну воды — в балках и на курганах не было ни одного колодца. У соседнего дома стояла Феодора Васильевна Васильева с ведром и кружкой, поила бойцов. Воду из колодца ей доставляет сюда сынишка.

Много сирени, как два года назад, когда мы пришли на «Красном Крыме» в Севастополь. Но бойцам некуда ее девать. Все спешат.

Горит Корабельная сторона. Горит Телефонная пристань. Взрыв вдалеке, на той стороне, немцы что-то уничтожают.

Догнал красноармейца с полотнищем, он скрылся в каменном доме на берегу бухты и через несколько минут уже был на крыше. Нашел флагу место. Немцы тотчас открыли по этому дому огонь с Исторического бульвара. Фамилия красноармейца Волов-

ский Ефим Степанович, разведчик, командует взводом разведки в 279-й Лисичанско-Симферопольской Краснознаменной дивизии.

Возле железнодорожного переезда горит склад с продовольствием. Немцы держат переезд под огнем. Со второго этажа склада какой-то лихой солдат выбрасывает на общее пользование ящики с банками консервированного компота. Банки вскрывают штыками, пьют компот — жара, жажда. Я тоже запустил руку в какую-то жестянку, вскрытую штыком, и вытащил оттуда липкую грушу.

На той стороне из щели в щель перемещаются какие-то фигурки. Они отступают. Стук автоматов и пулеметов удаляется в сторону Графской пристани. Бой идет уже там.

Сумерки. Я поднялся по откосу на набережную и вышел по лестнице на улицу Ленина. На пустынной разоренной улице обломки машин, убитые лошади, трупы фашистов. Подбежала женщина, предупредила, что в некоторых домах еще сидят автоматчики, постреливают. Разыскал редакцию «Красного черноморца» — редактор о ней обязательно спросит. Но там все разорено.

Добавление к дневнику. В ту ночь я Севастополя как следует не разглядел. И в городе, и в Херсонесе еще шли последние бои, но в Москве уже дали салют, и следовало торопиться. Родионов усадил меня на радиатор «виллиса», довез до старого КП на Сапун-горе, оттуда отправил на какой-то малолитражке в Симферополь на военный телеграф, а потом в Сарабуз на аэродром. В кармане лежала непроявленная пленка горящего, штурмуемого города. На аэродроме стоял бомбардировщик специальной связи, он ждал очеркиста и фоторепортера из другой газеты — они только что прилетели из Москвы и уехали в Севастополь. Летчик смотрел на меня с сочувствием, но ничего сделать не мог. Я лег под плоскость бомбардировщика и впервые за трое суток по-настоящему заснул. Меня разбудил кто-то из экипажа — было уже позднее утро. Подъехала машина, из нее вылезли знакомые газетчики, хозяева самолета. Очеркист Евгений Кригер охотно разрешил мне занять место в самолете, но его спутник, фоторепортер Г—й, строго спросил: «С вами никто не передавал фотопленок?.. Честное слово?.. Тогда летим». Я мог дать честное слово — он же видел на мне фотоаппарат, но мои снимки, очевидно, его не беспокоили. Шесть часов я дремал в хвосте самолета под ногами у стрелка-радиста. Ночь провел в редакции — пленку проявили и напечатали снимки вместе с моим очерком. А потом опять полеты, погоня за наступающими фронтами...

Год спустя в Берлине я видел у одного солдата удивительный сувенир, завернутый в обрывок газеты «Сын отечества» —

она издавалась под Севастополем. Это был немецкий железнодорожный билет с обозначенным на нем маршрутом «Симферополь — Берлин».

«Купил в Симферополе, — сказал солдат, довольный произведенным эффектом. — Как ворвались на станцию — в разбитой кассе подвернулся. Дай, думаю, запасусь. Раз билет в кармане — доеду...»

Жаль, не записал фамилии солдата. Жаль, не сберег я и свой билет, купленный 21 июня в Риге на Каунас, хотя попал туда и без билета в сорок четвертом году летом.

Но вот в 1964 году мне пришлось ехать из Севастополя в Симферополь на аэродром с фоторепортером Борисом Шейниным на такси. Мы с ним не виделись много лет — последний раз в Берлине в дни победы. Он, как и тот солдат, проделал путь от Севастополя до Берлина и теперь подготовил книгу фотоновелл об этом пути. Естественно, мы предались по дороге воспоминаниям. На железнодорожном переезде, где в мае сорок четвертого года горел склад, я показал на знакомые строения и сказал: «Это был немецкий продовольственный склад». Борис Шейнин, коренной севастополец, знающий в нем каждый вершок, поспорил: «Это холодильник». — «Нет, склад. Он горел. На втором этаже стоял солдат...»

Шофер такси тронул мою руку и продолжал за меня: «...и бросал из огня ящики с компотом, а вы штыками их вскрывали». Он коротко повторил то, что записано в моем дневнике и о чем я не раз рассказывал за эти годы друзьям и близким.

Это был тот самый солдат, наш благодетель в последний день штурма. Он работает шофером такси в Севастополе. Зовут его Иван Васильевич Нагаев, бывший рядовой советской пехоты.



ПРАВЫЙ ФЛАНГ

СЕВЕРОМОРСКАЯ ТЕТРАДЬ

Фронтовой дневник

Эту тетрадь я начал в день, когда получил предписание отправиться в Заполярье, на правый фланг советско-германского фронта. Только что вернулся из-под Новороссийска, с левого фланга, где нашим десантным частям не удалось овладеть городом; там, на второстепенном, вспомогательном направлении, возник плацдарм в тылу врага — Малая Земля на полуострове Мысхако, захваченная матросами Цезаря Куникова, бывшего редактора московской газеты «Машиностроение». Левый фланг остался у цемзаводов, а к Малой Земле из Геленджика и Солнцедара регулярно ходит теперь в любую погоду «тюлькин флот», снабжающий матросов боеприпасами и пищей и вывозящий оттуда раненых. Все, что было передано с фронта по телеграфу, напечатано, остальное осталось нерасшифрованным в репортерских блокнотах, «отписываться» предложили потом, сейчас газете нужен северный материал. Но не знаю, удастся ли потом восстановить бегло записанное при беседах. Пришел к убеждению, что лучше вообще не вынимать блокнота и карандаша при других, сохраняется лишь то, что занесено в дневник. Вот я и завел себе еще одну тетрадь — северную, надо себя заставить вести ее день за днем. Итак, 14 апреля 1943 года мы отправились в Заполярье вместе с Борисом Андреевичем Лавреневым, рассказчиком и фантазером. Для меня Лавренев, человек старшего поколения, прежде всего автор «Ветра», «Сорок первого» и «Рассказа о простой вещи». Я, конечно, видел «Разлом», но лавреневская проза о гражданской войне так романтична, что я перечитывал ее не раз и влюбился в Леона Кутюрье — чекиста Орлова, так смело и так ловко обманывающего белую контрразведку.

Нам не везло. Я привык перемещаться с фронта на фронт в течение нескольких часов. Впервые за последние полтора года поехал поездом. Мы ползли через Вологду, где застряли на двое суток, через Кемь, в объезд по ветке, построенной для связи с Мурманском — прямая магистраль была перерезана противником. В Вологде мы даже ходили в театр и смотрели «Жди меня», а потом катаевский «Синий платочек»; в каком-то магазине мы купили с Борисом Андреевичем две фляги с чернилами и поразили прохожих, опорожнив эти фляги в местную «Яузу» — фляги пойдут под фляги. Сутки мы стояли в Кеми. Возле станции валялся разбитый «харрикейн» — летчики прозвали этот несвежий дар союзников «харитоном» — не шибко современный самолет. Лавренев сходил к нему и вернулся с куском дюралюминия. Он быстро изготовил из дюраля дощечку с прорезью — для чистки морских пуговиц. «Учитесь быть моряком всюду и везде», — сказал мне Борис Андреевич, как сосунку.

Но «харрикейны» мы видели и в воздухе, они успешно гонялись за «юнкерсами», защищая железнодорожную магистраль.

Нас обогнал поезд, вышедший из Москвы на четыре дня позже. Мне стало обидно, как может быть обидно человеку, у которого в Москве остались жена и маленькая дочь.

Потом мы несколько дней торчали на станции Лоухи, километрах в тридцати от фронта. Немцы были раньше в девяти километрах отсюда, их отогнали. Налево уходит ветка в Финляндию. Все разбомблено — депо, вокзал, домишки; над станцией все время воздушные бои, одни остаются в вагонах, другие ползут в сугробы — ведь наш поезд и линия — главная цель противника. Нас гоняют с места на место, то на финляндскую ветку, то на главную магистраль. Недаром эту станцию уже давно прозвали «Олухи». Чертово место! Все стали воздушными стратегами — обсуждают состояние и положение дел в авиации, качество самолетов, перспективы господства в воздухе. Пассажиры начинают ссориться — результат безделья. Невозмутим только Василь Васильич, проводник. Он перед носом запирает уборную, рекомендуя умываться снегом, так как пользоваться туалетом на местах стоянок не положено.

20 апреля. Мы еще торчим в Лоухи. Дорожный мастер после очередного налета самолетов послал жену проверить, чист ли путь впереди. Она вернулась и сказала, что путь чист. Мастер с помощниками завел двигатель дрезины и отправился в контрольный рейс, чтобы выпустить нас в путь. Через двадцать минут его жена стала вдовой: дрезина подорвалась на замедленной мине, сброшенной вчера с самолета.

Есть один очень спокойный человек в нашем вагоне: Алексей Матвеевич Гущин, командир черноморского крейсера «Красный Кавказ», командированный зачем-то на Север. Он не убегает из вагона при налетах. В соседнем купе майор из запаса, бывший работник какого-то совхоза, ныне начальник, как он выражался, «особо важных складов», злой, нервный, при каждой тревоге истерически кричит «бомбят» и мчится в сугробы. К—гин улепетывает подальше от железнодорожного полотна ползком; наш интендантский генерал Дубровин не бегает, держится достойно — северная школа. Поезд переводят с места на место. Снова остаемся на ночлег.

22 апреля. В пять часов вечера проехали станцию Чупа, преследуемые самолетами. Немцы разбомбили станцию Полярный круг, на этот раз задержка нас спасла: мы пропускали встречный товарный эшелон, а в это время на Полярный круг был налет. Нас повели куда-то обратно, потом потянули в сторону, в лес, вывели на берег залива Белого моря, где штабелями лежат доски и бревна. Это лесобиржа. Поезд стоит в тупике, у подножья скалы, среди приготовленной для вывоза древесины.

— Мальчик, что это за поселок?

— Чупа-град.

Василь Васильич поит пассажиров соленым чаем, воду берет из залива. Действует как касторка. Вся земля кругом в слюде. Мы прошли с Борисом Андреевичем на скалу под маленькую елочку, он, как бывший артиллерист, выбрал «удобную артиллерийскую позицию» и развел на ней костер. Какой-то капитан-лейтенант подсел к нам и стал с голоду рассказывать про «походы капитана Вральмана за селедкой». Другой пассажир силен в теории вероятности применительно к бомбежкам на железных дорогах. Словом, весело. Главное, ни у кого нет продуктов. Все сухари братски поделены. Последнее подкрепление — два сухаря — получено от главного старшины Никитина, бывшего шофера Дома флота на Ханко, он развозил актеров. Ныне он служит на Рыбачьем. Как старому знакомому, он принес гостинец.

Генерал Дубровин, начальник тыла Северного флота, пытается связаться с Кемью, чтобы оттуда разрешили местной роте связи всех нас накормить. На весь лес слышен голос связиста:

— Лоухи, Лоухи! Дайте Кемь! Воздух?.. Воздух, товарищ генерал-майор. Лоухи, Лоухи! Зачем Беломорск? Мне нужно Лоухи, срочно, для генерала... Настя, ну отвечай же генералу. Настя, ну, Настенька... Настя, худо будет... Беда с Настей, това-

рищ генерал, у нас тут работала — беда. А в Лоухи перевели — хуже стала... Настя, ну Настя, для генерала...

Через два часа Настя соединила генерала с Кемью, комендант обещал прислать дрезину с продовольствием. Если, конечно, дрезина проскочит...

24 апреля. Наконец выехали на магистраль. Вся дорога в воронках и сваленных с насыпи искореженных составах. «Мессершмитт» обстреливает из пушки наш паровоз, сбросил три бомбы. Вот уже мост через Ковду — мечта немцев, но ни одного попадания. Наконец Кола, водопады, выглядит красиво и тяжело.

Мы в Мурманске — через десять дней после выезда из Москвы. Мурманск в руинах, говорят, за ним первое в мире место по интенсивности бомбежек. Приятное первенство!.. Облик Мурманска, порта, его быт, Интернациональный клуб в нем, даже то, что сюда ходят международные вагоны, — все это связано с особым значением города для страны. Это ворота на Запад и с Запада. Вот почему мы так долго ехали. Сюда приходят конвои, отсюда идут на фронт заморские грузы, им уступали мы все эти десять суток боевую заполярную магистраль.

25 апреля. Густо-синие горы, снег, черная вода. С нами на катере идет в Полярное библиотекарша с Соловков, она москвичка. «Когда я пришла служить на флот, — рассказывает она, — все гадала: куда меня пошлют. В Полярном начальник отдела кадров Политуправления говорит: пойдете начальником библиотеки на Соловки. Вероятно, я побледнела. Представляете себе, как это звучит — «Соловки». Туда же ссылали. Была богатая тюремная библиотека. Ее увезли вместе с заключенными».

В Мурманске, в политотделе тыла, Борис Андреевич рассказывал, что бывал в Полярном в 1932 году: тогда там стояли три домика, скелет кита возле домика академика Клюгге, который жаловался, что у него из банки с осьминогом студенты-экскурсанты выпили спирт. Подполковник И. сказал, будто академик «оказался шпионом». Рассказывая эту историю на катере, Борис Андреевич имя академика опустил. На всякий случай.

Полярное. Проходим мимо английских корветов в суровую гранитную бухту. Мы внизу, кругом высокие каменные громады, ущелье, на скалах снег — картинно и неправдоподобно. Ночь, но светло. Вернее, сумрачно. Военная суровость. Я бы построил массивные ворота у входа в бухту и назначил ключаря к ним — для полного колорита. Гранитная морская улица.

Дежурный по Политуправлению флота старший лейтенант

Любович устраивает нас на ночлег к себе, комната его в эти часы пустует. «Только у меня там огромная крыса, не бойтесь». Неожиданно он спрашивает Лавренева:

— А как Юрка ваш?

— Юрка? Вы его знаете?

— Я учился с ним в школе в Ленинграде.

— Вот как. Это вы с ним стекла оранжерейные били?

— Стекла... Нет, мы в сад лазили...

— Юрка теперь артиллерист. На курсах усовершенствования командного состава.

Поселился у Михайловского. Слышал час назад разговор о нем генерал-майора Торика. Мы сидели с Лавреневым в кабинете начПУ, когда раздался звонок.

— Слушаю, товарищ командующий. Не разрешал. Михайловский дал без разрешения от Николаева по ВЧ. Да. Есть. Я уже говорил Шавкину: мы должны быть в курсе того, что передают с флота. — Он положил трубку и сказал: — Командующий не хочет, чтобы пока писали о Мюллере, это сбитый нами фашистский ас, он жив и готов нам помогать. Не надо, чтобы немцы знали, что он в наших руках. А ваша братия пишет...

Пришел Илья Львович Фейнберг, пушкинист. Про него тут шутят, что он работает над темой «Пушкин и море». Он может часами наизусть читать Пушкина. Читает матросам на кораблях и на берегу, много работает, но на сто процентов штатский человек. Его здесь ценят и любят.

Был в офицерском клубе, видел союзников навеселе. Обстановка кафе. Тут много литераторов. Лебедев-Кумач, Ставский, Юрий Герман, Саша Марьямов, Исидор Шток, Николай Панов, больше известный мне как поэт времен конструктивизма «Дир-Туманный»...

2 мая. Первое мая мы провели в Полярном. В прошлом году в этот день я был на крейсере «Красный Крым» на Черном море.

Говорят, что под влиянием английских и американских моряков тут распространяются суеверия. Говорит это, собственно, Аня Ф., жена одного из сотрудников газеты, в которой я работал до войны. Она служит в Главном политическом управлении, лейтенант. Прибыла сюда, отправилась на лидер «Баку», «организует статьи» для Прессбюро. Ей отвели каюту, хорошо приняли. Но был назначен внезапный выход в море, на учебные стрельбы — лидер недавно прибыл на Северный флот с Дальнего Востока, он прошел Северным морским путем. Командир не пожелал, чтобы лейтенант оставалась на корабле. Но она женщина упрямая,

устроила скандал, связалась с начальством на берегу и добилась своего. Получив разрешение идти в поход, она поднялась на мостик и стала в стороне.

Командиру принесли на мостик хлеб с солью — заесть беду. Он это проделал на виду у всего экипажа. Когда вышли в море, сигнальщик крикнул: «Справа по носу подводная лодка противника!» Но это был всего лишь кашалот. Поход был неудачным, командующий отменил торпедные стрельбы. На лейтенанта Ф. злился весь экипаж, но потом ей все простили и пригласили даже на полубак побеседовать...

Ходил к подводникам, снова встретился с Александром Трипольским, после Таллина не видел его, теперь он служит здесь, на Севере. Он познакомил меня с худеньким харьковчанином капитаном 2 ранга Фисановичем, которого все здесь зовут «Фис», он Герой Советского Союза, любит читать стихи. Душа полярного общества. Хороший, видимо, человек, любит показать себя, уверен, что погибнет. Познакомился с капитаном 3 ранга Львом Сушкиным, он вернулся в базу с победой в момент открытия торжественного первомайского заседания и дал салют — два выстрела. Капитан 1 ранга Морозов, старый подводник, отличный баянист, знает любимые песни каждого из командиров лодок. Живут здесь очень дружно, подводников любят, много рассказывают о Колышкине и Гаджиеве. Говорят, что подводникам особенно покровительствует адмирал Головко, командующий флотом, сдерживает ретивых представителей комендатуры, забывающих, что нервы у этих людей предельно напряжены, они уходят в океан, из которого часто не возвращаются лодки, а на берегу они проводят считанные дни.

4 мая. Вечером на охотнике ушел на Рыбачий, где рассчитываю встретиться с бывшим командиром Гангута — Сергеем Ивановичем Кабановым. Лавренев тоже ушел из Полярного, но в другую бухту: в Кувшинку. Катерники в теплых канадских куртках и в таких же брюках — все на «молнии». Идем вдоль высокого обрывистого и складчатого берега. Скалы в снегу, — кажется, снег лежит там уже много лет. Потом пошли вдоль занятого противником берега. Всех с палубы прогнали: «Проходим квадрат». Мне разрешили остаться. Обычно здесь обстреливают, но сегодня немцы молчат. Это не то что идти ночью на острова в Финском заливе. Здесь ночи нет, нас разглядывают. Ощущение неприятное. Командир уверяет, будто немцы боятся пушек охотника. И «Раису» — он имеет в виду «эрэсы». «А то как подойдем к берегу, как дадим!»

Ветер резкий, холодно. На берегу, чем дальше от Полярного,

тем больше снега. Матросы в бескозырках — привыкли. Видим на отмели выброшенное волной разбитое суденышко.

Вот развилка: налево — к ним, направо — к нам. Налево — к Титовке, там немцы, направо — Восточное Озерко в Мотовском заливе. Это семидесятая параллель. На карте Европы полуострова, они похожи на флажок, воткнутый в берег кольской земли: полуостров Рыбачий на древке полуострова Среднего, который соединен с материком. Там, где воткнуто древко, там фронт.

Трап наверх крутой, почти как у стенки на Ханко.

Кому-то поданы сани в упряжке. Мы идем пешком по грязи, снегу и воде. Зато нас много — армейцы и матросы с сундучками и чемоданами, чувствую себя среди них уже по-свойски.

Иду в политотдел, забыв, что два часа ночи. Дежурный советует пройти в саперный батальон к капитану Майорову — тот устроился на горе, надо подниматься туда по вырубленным ступенькам. В третьем часу ночи вваливаюсь к человеку, не понимающему спросонья, в чем дело, но всегда готовому приютить нуждающегося. Он тут же сообщает, что в Москве у него жена и двое детей, не видел их два года, как там с продуктами?.. Раньше Майоров служил на острове Кильдин, он на Севере с 1936 года. Майоров уложил меня спать на узкой лавке, на вшивых тулупах. Мне казалось, что всю ночь я не спал — едят насекомые. Весь искусан. Чувствую себя плохо.

5 мая. Накормили завтраком. Вестовой Майорова Кржижановский, пожилой человек, отправил семью в Мордовию, там картошка двести рублей пуд. Вестовой спрашивает, не был ли я в Киеве — это его родной город.

О Кабанове тут говорят хорошо. Любит строить, а это на фронте уже умеют ценить даже моряки.

Сижу и записываю. Неожиданный голос: «Граждане, проверьте ваши часы». Москва. Но мне проверять поздно: часов уже нет, их ловко сняли у меня с руки, когда я по пути с Черноморского флота зашел в одном тыловом городе в баню за справкой о санобработке.

Пошел в штаб СОРа — Северного оборонительного района. Идти надо наверх, мокро, талый снег. Чем выше, тем снег крепче. Местами мох и неожиданная каменная сыпь — крупная галька. Потом снова снег, всюду снег, на бесчисленных высотах, острых и мрачных. Ни одного деревца на горизонте. Говорят, был тут кустарник, мелкий северный березняк, но его сожгли в печах — нет топлива, дрова провозят под огнем батарей, как снаряды. Солнце стоит очень высоко, оно затушевано туманом, но ослеп-

ляет. Пара лошадей тащит розвальни. Где-то выстрел. Идут военные люди, с подозрением смотрят на меня, сидящего на камне над заливом и пишущего.

У командного пункта спросили: «Пропуск!» Я сказал, что не знаю. Тут же меня обогнали двое бойцов, их тоже спросили, я услышал: «Диск». Теперь знаю и я. Прошел свободно.

Ходы к землянкам в глубоких снежных траншеях. Всюду льет талая вода. Тяжело тут жить. В Политотделе встретил капитана 3 ранга Вырелкина, это он ночью дежурил и отправил меня ночевать к Майорову. Обещал позвонить генералу, доложить обо мне.

Весь Политотдел — две комнаты. Одна служебная, вторая — нары, где живут офицеры. Начальство находится в другой землянке.

Майор Гайтеров провел меня к капитану 1 ранга Тузу, он начальник штаба СОРа. Огромный мужчина, высоченный, на погонах неимоверно блестят белые звезды, сделанные из жести: погоны только ввели, и военторг еще не прислал знаков различия. Туз — человек приветливый. Между прочим, встречу назначает на двенадцать часов ночи: здесь это все равно, сумрачно, как и днем.

Снова пришел в Политотдел и встретил там временного редактора газеты Колю Букина, он принес номер на просмотр. От редакции сюда десять километров, лошади нет, ходит, конечно, пешком. А зимой на лыжах. Он пишет стихи, окончил в Перми литературное отделение педагогического института, здесь служит уже три года. Роста он небольшого, какой-то весь очень северный. Радушно приглашает к себе жить, только, говорит, с едой плохо, какая-то рота стоит возле редакции, в ней и кормятся сотрудники.

Зимой слабо слышна Москва, кажется, из-за северного сияния. Норвегию вот слышно хорошо, но материал надо принимать не из Норвегии, а из Москвы. Букин сам принимает все сводки Информбюро и сообщения ТАСС. Газету печатают на «американке», крутят ногой. Букину удалось достать в Полярном метр линолеума, только некому вырезать клише, здесь нет своего Пророкова. Сюда должен приехать редактор из Полярного, из газеты «Огонь». Есть надежда, что редактор перетянет за собой резчика, в Полярном обойдутся и без гравюр на линолеуме.

— Вы давно из Москвы-то выехали? — спросил Букин. — Небось тепло там. Даже странно слышать: в середине апреля — и тепло. Вот не представляю себе, что такое мороженое. Треску знаю, а мороженое — у нас тут круглый год мороженое.

6 мая. Вчерашняя запись, вероятно, связана с Днем печати. Я и забыл вчера про День печати, но запись сделал про местных журналистов.

Ночью я постучал в землянку начальника госпиталя Михаила Семеновича Попова, военврача 1 ранга, здешнего старожила,



За ключевой водой. Май 1943 г.

до Рыбачьего он формировал отряд санитарных кораблей, в который входит часто сюда курсирующий «МСО-1». Все корабли этого отряда — бывшие рыболовные боты, на «МСО-1» опытный моряк Груздев, был раньше в Мурманске капитаном траулера. Трюмы на этих корабликах оборудованы для раненых, в каждом до три-

дцати пяти мест — это для лежачих. Остальные — сколько влезет. Санитарные боты участвуют в десантах наравне с боевыми кораблями. Попов пригласил меня принять душ. Мы вышли на улицу. Было три часа ночи. Снова стало совсем светло. Тонкой белой сетью со стороны открытого моря шел снежный заряд. «Пройдет стороной», — определил доктор.

Возле ручья стояла запряженная в легкий возок лошадь. Боец наполнял огромный стеклянный баллон ключевой водой. «Для медицинских нужд на передовую, — сказал Попов. — Самая чистая вода, мы ее даже не проверяем».

Доктор живет один, жену он отправил в Полярное, в родильный дом. И у меня во время войны родилась дочь. «А здесь, на полуостровах, рождались дети?» Доктор сказал, что родилось двое, их принимал молоденький врач сорок первого года выпуска, теперь его называют акушером, хотя он терапевт.

Попов сам вологодский, здоровяк, высокий, блондин, у него очень простое русское лицо и глаза — с хитринкой и добринкой. Он сразу заметил, что я болен, и потому отвел меня в душ. После душа мне выдали чистое госпитальное белье, доктор уложил меня на свою кровать в землянке, запер, чтобы не беспокоили, а сам ушел на партактив. Потом он вернулся и оставил мне ключ.

Землянки наши расположены по склону крутого берега над Восточным Озерком, как норы в горе. Отсюда хорошо видны приливы и отливы — необычное для меня зрелище.

С доктором Поповым мы так много говорили, что у меня возникла отдельная тетрадь с любопытными записями. Попов очень много рассказывает о других — и о врачах, и о командирах, и о матросах. Врачам тут приходится заниматься не только ранами, иногда, особенно зимой, замерзают ночью люди в пути. Спасают санитары и врачи.

Есть и другие сложности медико-санитарной жизни. Госпиталь — это женщины, медицинские сестры, банно-прачечный отряд, прозванный здесь мыльным пузырем. Иногда тут скрещиваются сложные фронтовые интересы и взаимоотношения, и надо обладать не только дипломатическими способностями, но и решительным характером, чтобы всякий узел разрубать. Особенно когда приходится защищать своих подчиненных от ретивых наскоков со стороны.

Я готов слушать Попова бесконечно, но ему надо готовить раненых к эвакуации: ночью в Пуманки придет «МСО-3».

8 мая. Иду на флагманский командный пункт к Кабанову. Встретил политработников из Полярного. Сообщили новости: взя-

та станица Крымская, кроме того, англичане взяли наконец Бизерту и Тунис. Может быть, откроют второй фронт...

Оперативный дежурный подполковник Шашкин на ФКП показал мне записку об обстановке на перешейке, о немецкой артиллерии на той стороне, о группе «Норд» и о новой горно-егерской дивизии, переброшенной сюда с Карельского фронта. Шашкин собирается в Москву на какой-то сбор артиллеристов и обещал позвонить ко мне домой.

Кабанов живет в скале, как и на Ханко: только тут надо не спускаться вниз, а подниматься вверх. Советует мне побывать в космачевском дивизионе на батарее Поночевного, там столько наработали, что море все время выбрасывает на берег трофеи: бочки, пушки и бревна, а это — золото. Подобрали даже полный костюм фашистского матроса, обещал мне подарить бескозырку с надписью на ленточке: «Кригсмарине».

— У нас есть не человек, а уникум, — сказал Кабанов. — Его фамилия Казаков. Завтра у меня будет его наградной лист. Он стрелял из пушки, немцы попали в нее снарядом, прямо в дуло, пушку разворотило, всех зацепило, Казаков цел. Оказал раненым первую помощь, доложил, его поставили на вторую пушку. Не поверите: повторилось то же самое. Добро бы один раз, а то два раза подряд.

— Так его нельзя к орудиям допускать.

— Если быть суеверным — да. Но он настоящий человек.

Кабанов рассказал мне о матросе Сидорове, который в октябре проплыл в Баренцевом море двести метров. Мы вспомнили Алешу Гриденко и Родионова с Ханко. Но все-таки тут не Балтика, а Заполярье.

С Кабановым здесь жена и двенадцатилетняя дочь.

До батареи Поночевного генерал советовал побывать в 12-й бригаде.

Пришел вечером ездовой с двумя лошадьми. В бригаду поеду верхом.

На краю земли

Отлив обнажил каменистую прибрежную полосу на перешейке между полуостровами, кусок песчаного в ракушках дна и устья впадающих в гавань Восточного Озерка ручьев. Дожидавшиеся этого часа подводы и автомашины с продовольствием и прибывшими накануне с Большой земли снарядами для полевой артиллерии двинулись

напрямик с Рыбачьего на Средний, по пути, где только что человек не мог пройти даже вброд.

Лошади, легко ступая по гальке, протаптывали колею, машины оставляли на мокром песке узоры шин — все это лишь до очередного прилива, он сгладит следы волной, как утюгом. У шоферов и ездовых путь этот наиболее популярен. Он не только короче, тут легче проехать; на верхней дороге зимой тонешь в снегу, а летом — и в снегу, и в воде, и в грязи. За перешейком блаженству приходит конец, снова начинается подточенный ручьями снежный наст и кустарник на нем, переплетенный проводами полевой связи. Надо пригибаться к луке седла, чтобы не задеть за провод и благополучно выбраться наверх.

Наши кони с трудом проходили сквозь эту чахлую, но плотную чащу и по сланцевым плитам скал, как по ступеням, карабкались на вырубленную трассой вдоль вершины горы дорогу. Снег стал чередоваться с лужами, и внезапно дорога круто оборвалась над желтым потоком — он разлился и затопил мостки. Пришлось спешиться, чтобы помочь впереди едущим матросам перетащить груженные какими-то ящиками сани на другой берег потока, а потом под уздцы перевести и своих коней.

Говорят, что только один на полуострове человек способен без натуги работать на этой дороге, — это матрос Смыслов, москвич, мастер по классической борьбе, съедающий, как шутят в его части, по одному аттестату два пайка: он и в морозные дни на ветру обливается холодной водой, переносит вязанки хвороста один за десятерых и, как утверждают, однажды вытащил на гору обессилевшую лошадь с возом хлеба. Может быть, это и преувеличено, но истина в том, что фронтовая дорога требует исключительного напряжения сил от людей, самоотверженно работающих на ней под огнем.

Мы подъезжаем к фронту. У подъема на снежную равнину, ограниченную зеленым болотом, возле трупа лошади торчал над сугробом столбик с черной надписью на фанере: «Проезд группами воспрещен!» У столбика стояла колонна матросов — пополнение. От нее по двое отделялись бойцы и, соблюдая большой интервал, быстро пересекали опасный участок. На снегу они становились для противника отличной целью. Дальше, за снежной равниной, по мшистому болоту они вновь шли строем — до следующего опасного места.

Ездовой посоветовал придержать коней, пропустить очередную пару бойцов. Но как только наши кони миновали столбик, в стороне от дороги разорвался снаряд, он вырвал в снегу черную бесформенную рану и осыпал все кругом осколками и гарью. Ездовой, вологодский колхозник по второму году службы, сердито сказал:

— Поспешим, распсиховался фриц-то, дьявол его побери. По двум-то конникам — шестидюймовыми! Видно, наши-то нагрели ему морду. Это уж всегда — как им дзоты раздолбают, так и псих в голову...

На перешейке, соединяющем Средний с материком, пришлось спешиться. Дальше шли пешком. Ноги насквозь промокли, но ездовой утешил, что в мае и в июне здесь все ходят с мокрыми ногами. Топей хоть отбавляй, а сушиться негде, леса нет, нет и дров, кустарник пожгли, и даже для камбуза приходится топать за хворостом по той самой мокрятине за двенадцать километров. Так что тут, как он выразился, не до личного туалета.

Землянка полковника Рассохина — командира 12-й Краснознаменной бригады морской пехоты — помещалась на глубине станции московского метрополитена: спускаться в нее надо по вырубленным в снегу ступенькам. С каждым летним днем ступенек все меньше, снег таял и затоплял жилище полковника. Время от времени полковник вызывал срочную помощь: двое матросов за полчаса откачивали из землянки воду; а через час-другой снова начиналось половодье.

Воду только что откачали. По мокрому настилу я спустился в землянку. Подтянутый молодой человек с двумя орденами Красного Знамени сидел у карты и что-то отмечал цветным карандашом; полковник долго служил на знаменитых курсах «Выстрел», и Кабанов предупредил меня, что это один из самых боевых и образованных командиров морской пехоты. Рассохин сказал, что проводит небольшую операцию: генерал приказал разбить коекакие точки у противника и как следует погонять немцев на переднем крае. Три дзота уже разбиты, сейчас минометчики и артиллеристы бригады добавят еще. Значит, полковник занят. Я объяснил, что стремлюсь к самой крайней точке правого фланга. Полковник рассмеялся, что-то произнес о «причудах газетчиков», вызвал связного и приказал проводить меня к Ивану Ребристому.

Связной довел меня до тылов батальона — там Ребристый смотрел кинофильм «Котовский», пришлось немного обождать. Кончился киносеанс. Меня познакомили с командиром третьей роты, он показался мне усталым пожилым человеком, но по пути в роту мы разговорились, оказалось, что перед самой войной он окончил Ленинградское инженерное училище и ему всего двадцать три года. Он все еще оставался под впечатлением картины, не часто здесь, на переднем крае, такое удовольствие. Ребристый шел по перешейку вниз, к расположению своей роты, и приговаривал: «Ну и хлопцы, давали панам пить...» Бесчисленные скаты и лощины он знал вслепую, заботливо инструктировал новичка, где нужно перебежать, а где можно и спокойно пройти, он обходил снежные пласты, чтобы не стать мишенью, рекомендовал в случае обстрела не хорониться за камни — все заметные ориентиры у немцев пристреляны; он вел себя ровно и достойно, как человек, бывалый на войне, не пыжился, но и не слишком хоронился. У одного дзота часовой предупредил командира, что за двадцать минут до нас в этом месте обстреляли минами лейтенанта и ходить там пока, мол, не рекомендуется. Ребристый сказал: «Еще не родился тот фриц, что закроет дорогу к нашему правому флангу. Проскочим...»

Мы подбежали к неглубокой траншейке перед бугорком — она вела в еле заметную нишу в камнях. Вход был завешен плащ-палаткой, за ней оказалась дверь. Ребристый открыл ее, и навстречу пахнуло дымом и жареной рыбой.

— Опять сырым хворостом топите, — сердито сказал он кому-то в темноту. — Когда вы, товарищ Чистяков, научитесь порядку?

— Еле такой раздобыли, товарищ командир, — виновато ответил связной, раздувавший огонек в маленькой чугунке. — Немцы сегодня по дровосекам бьют. У Емельянова одного ранили.

— Ранили? — Ребристый выругался. — Еще что произошло в мое отсутствие? Докладывайте, товарищ Агейченко.

Откликнулся из темноты главный старшина Агейченко: на немецкой стороне отмечены два взрыва. Наверно, враг ведет фортификационные работы — Агейченко пояснил, у какой именно высоты.

— Доложили оперативному?

— Так точно, товарищ старший лейтенант.

— А как раненый?

— Доставлен санинструктором в санроту. В полном сознании.

Неожиданно раздался девичий голос.

— Личный осмотр матросов и младших командиров на всех точках мною закончен, — докладывала в темноте девушка; наверно, это и есть санинструктор. — Санитарное состояние удовлетворительное. Но завтра надо понемногу выводить бойцов в баню.

— У вас всегда это «но», товарищ санинструктор, — сердито сказал Ребристый. — А если нельзя будет выводить бойцов, пожалуетесь?..

Девушка ничего не ответила. Ребристый положил в пустую консервную банку кусок масла и нитяный фитиль — слабый огонек осветил земляночку в камнях, часы-ходики на стене и под ними вырезанную из «Правды» фотографию чехословацкого бойца, сражающегося на советско-германском фронте,— боец был удивительно похож на девушку.

— Мы используем жиры для освещения,— сказал Ребристый и, поймав мой недоуменный взгляд, по-своему его истолковал. — Это масло из моего командирского пайка. Приятнее, когда есть свет. А без масла можно и обойтись. Как вы думаете, товарищ Чистяков?

— Если всегда будет такая жирная треска, как сегодня, можно и без масла, — ответил связной, он жарил на чугунке рыбу.

Ребристый присел на ящик, разулся, передал связному мокрые сапоги — тот поставил их поближе к огню, потеснив котелок с водой, вынул из сумки письма и, оглядев полутемную землянку, сказал:

— На всю роту. Мало пишут, черт побери. Во второй роте завели переписку по радио — двести писем им сегодня принесли. Да небось с фотографиями. А тут всего три.

— Мне нет, товарищ командир? — не вытерпела девушка-санинструктор, так и не вылезшая на свет из своего полутемного уголка.

— Вам, Лида, вот это, — Ребристый протянул девушке какой-то сверточек. — Из политотдела ваша подружка прислала. А тут из трех писем — два Емельянову, одно — мне...

Ребристому пришло из Мурманска — открытка с видом на гору Машук. Он прочитал ее и снял трубку американского телефонного аппарата, неожиданного в этой обстановке.

— «Одесса»! — вызвал он полевой караул у залива. — Емельянов? Ты просил прислать палку. Длинную палку. Палку, я говорю, длинную, понимаешь... Побить тех, что в термос попали, ясно?.. Будет палка... «Линкор» обещал...

Ребристый объяснил мне, в чем дело. Напротив нашей правофланговой точки появился дотошный вражеский пулеметчик: день и ночь он стрелял по подходам к заливу. Сегодня он ранил матроса, ходившего за хворостом. Накануне пробил единственный термос, в котором доставляли горячую пищу, а до этого продырявил ведро — пришлось носить воду из ручья в больших банках из-под американской колбасы. Лейтенант Емельянов — командир полевого караула — решил, что пора избавиться от назойливого пулеметчика; будь все это в полярную ночь — двое разведчиков отправились бы на ту сторону и прикончили его. Так делали не раз. Но когда круглые сутки светло, на ту сторону не пройдешь. По просьбе Емельянова Ребристый потребовал «на гастроли» расчет противотанкового ружья. «Линкор» — командир батальона — удовлетворил это требование, и расчет вместе с «длинной палкой» пришел вслед за нами.

— Так как, Емельянов? — снова позвонил в полевой караул Ребристый. — Пройдут к тебе сейчас двое с палкой? Пройдут? Ну, тогда встречай, пусть Овсянников их обеспечит...

Он предупредил все остальные точки участка. Все приготовились: надо провести невредимыми под прицельным огнем врага бойцов расчета противотанкового ружья вместе с их громоздким оружием и боеприпасом.

Повел стрелков главный старшина Агейченко. С хребта Муста-Тунтури открыли сильный огонь — все им тут видно как на ладони. Ответил пулемет — Ребристый сказал: «Овсянников работает». Подбросил огоньку из своих сорокапяток артиллерист Бурханский — хорошо работают его наблюдатели. Агейченко петлял под пулями, наверно, замучил своих спутников, но вскоре из полевого караула доложили, что все дошли в целости вместе с «длинной палкой».

Когда Агейченко вернулся, он сказал:

— Ну вот, Лида, сегодня не пришлось тебе меня похоронить. Пока цел.

— Могут подумать, что вы трусите, главный старшина, — одернул его Ребристый. — Не все же знают про ваш вредный характер.

Агейченко молчал, молчала в своем уголке Лида, она копошилась там, шурша какими-то бумагами.

— Чего вы стесняетесь, Лида, — сказал Ребристый. — Вылезайте на свет и занимайтесь своим делом. Пока масло не выгорело.

Маленькая, почти круглая фигурка в ватнике выкатилась ближе к печурке и пристроилась под ходиками и фотографией чехословацкого бойца, похожего на девушку. Не глядя на меня, Лида поздоровалась издалека, потом разложила что-то на патронном ящике и, полуотвернувшись, занялась «своим делом». Я чувствовал, что всех стесняю.

Мы вышли с Ребристым из землянки, и он сказал, что Лида из Архангельска, училась в какой-то музыкальной школе, никто не может понять, как ей удалось пробраться на полуострова — особисты и те до этого не докопались, она потребовала, чтобы ее зачислили санинструктором и послали на передовую. Служит уже полгода, ловкая, смелая, даже песни поет, но каждого пришельца дичится — все боится, что отправят ее на Большую землю, домой. А дело, которым она занялась, интересует всю роту: Ребристый привез ей от подружки ноты «Полярного вальса» — она должна их переписать и вернуть в политотдел...

Была солнечная ночь. Огромный раскаленный шар остановился низко над Баренцевым морем, и мы шли ему навстречу.

Опять оттуда затарахтел пулемет, но теперь на него ответил не только наш Овсянников, но и расчет «длинной палки». На той стороне стихло.

Возле обычной землянoчки с амбразурами мы остановились. И Ребристый протиснулся внутрь — места там только для двоих. Трудно построить тут укрытие попросторнее.

Ребристый вскоре вылез из землянки и уступил место мне. Там сидел матрос-наблюдатель — судя по всему, старший лейтенант ему все про меня разъяснил. Матрос осторожно открыл заслонку амбразуры, показал мне однообразный горный кряж впереди и сказал:

— Вот, товарищ корреспондент, тут самая крайняя точка правого фланга. Всего советско-германского фронта. Имеем по уставу все основания держать, как правофланговые, Знамя всего фронта. Вы из Москвы, товарищ капитан?.. Я тоже. Верно, до той стороны, как через Манежную площадь перейти? Не дальше. А так просто, пожалуй, и не перейдешь. Хотя наши ребята тут ходили. Ночью, конечно. Гранатами их блиндажи забрасывали...



Правофланговый Иван Ребристый над Варяжским заливом. Май 1943 г.

Потом он предложил посмотреть в бинокль, — может быть, я увижу телеграфный столб на той стороне и на нем флаг. Столб я увидел, флага не разглядел. Матрос подсказывал:

— Вы покрутите, на фокус наведите. Ну как же — видите, телеграфные чашечки, а там красный флаг, белый круг посередине и черная свастика. Мы все просим старшего лейтенанта разрешить нам срезать его, поджечь. Наши туда близко подходили, за дровами лазали да за шоколадом — там целый ящик валяется, его немцы бросили, а наши снайперы не подпускают их к этому ящику. Не разрешает нам комроты. Говорит, туманы будут, тогда снимем и принесем цельный. Как трофей. А в туман они сами шоколад заберут...

Мы пошли с Ребристым дальше к заливу и прилегли в ложбинке, на самом краю нашего материка, где мне хотелось его сфотографировать. Угрюмой грядой от залива до залива, в вечном снегу, в тумане неполного заката лежит хребет Муста-Тунтури. Там, на Черной горе, за заливом, начинался враждебный мир и враждебный край.

— Какая все же большая страна, — задумчиво сказал Ребристый. — Лежишь тут как над пропастью, а вспоминаешь свою Каменку. Вы были в Каменке на Днепре?.. Ну, напрасно. Какие там сады — ох, сады, не то что эти горы проклятые. Я иногда на них смотрю и думаю: с каким же это удовольствием поеду я после войны в поезде через всю страну. Поезд пойдет долго-долго — и все березы, березы мимо, и сосны, и снова березы, а потом сады, сейчас самый цвет в садах. Май. А тут — не поймешь что...

Здесь, на Крайнем Севере, и мне вспомнились южные края, где тоже есть крайняя, последняя точка фронта, где левый фланг венчает на суше башня над Цемесской бухтой, похожая на гриб, и где воюет рота другого старшего лейтенанта — рота Георгия Джербинадзе. Перед башней фашистское кладбище, как барьер между нашим и их станом. Но там, за их станом, опять наша земля, облитая родной кровью, Тамань, разоренная врагом, сожженные сады и обугленные виноградные лозы. С вершины той башни видишь знакомые строения, дома, порт, причалы. А тут, на правом фланге, на последнем куске русской земли над Варяжским заливом, где близко, совсем напротив, просит пули волчье сердце фашиста, тут только скалы и скалы и черные отроги холодных гор, и все же чувствует боец и тут Родину, думает о ней, и сердце его бьется вровень с сердцем бойца на юге, бьется ненавистью к врагу, стремится воздать врагу сполна и за Тамань, и за Украину, и за всю Россию.

В Мертвой долине

Лейтенант Анатолий Бородин за эти сутки смертельно устал. Накануне вечером из фиордов Норвегии поплыл долгожданный туман. Как мутный паводок, он залил перешеек между полуостровом Средним и материком, и лейтенант поднял на ноги свой отряд.

Передний край проходил над перешейком — от губы Кутовая до губы Малая Волоковая в Варяжском заливе. Напротив, на материке, от залива до залива угрюмой черной грядой, перевитой белыми полосами вечного снега, лежал хребет Муста-Тунтури. На его вершинах сидели немцы. У подножья этих гор на гряде обрывистых скал и сопок держалось наше боевое охранение. Между передним краем и опорными пунктами простиралась Мертвая долина. Зимой снежные бури хоронили в ней людей. Летом всю ночь, как фонарь, над ней торчало солнце. Под бурым мхом громоздились обломки шифера и гранита, похожие на холмики могил; в неглубоких ложбинках стыла черная вода; голая каменистая долина была открыта вражескому огню. Но и зимой и летом матросы лейтенанта Бородина спускались в долину, доставляя своим товарищам в боевое охранение пищу и оружие. Туман облегчал эти походы: лейтенант доложил о нем на флагманский командный пункт на Рыбачий и тотчас отправил в путь первую группу подносчиков.

К их возвращению лейтенант получил приказ помощника командира батальона создать на опорных пунктах трехсуточный запас; в помощь пришла группа автоматчиков из соседней роты.

Туман уже рассеялся, однако и вторая группа прошла удачно. На обратном пути немцы обстреляли ее, но все же к исходу ночи все вернулись на сборный пункт, выполнив задание.

Лейтенант собирался уже отпустить людей на отдых, но утром начальник санитарной службы потребовал немедленно вынести из блокгауза в боевом охранении раненых для эвакуации в госпиталь. На этот раз лейтенант пошел сам.

За ночь солнце покинуло карнизы гор, перекатилось за океан и вновь выплыло на востоке, за нашей спиной. Теперь ясное утреннее солнце освещало Мертвую долину, оно било немцам в глаза, и противник, к счастью, не мог вести прицельный огонь.

Разгрузив на опорных пунктах термосы с горячим завтраком и мешки с гранатами, матросы взяли на плечи раненых и двинулись за лейтенантом в обратный путь.

Все было бы хорошо, не подведи Виноградов — новичок, только накануне присланный на этот фронт с пакетом из трибунала. При первых же выстрелах он бросил

свою ношу и весь мокрый от пота предстал на сборном пункте перед лейтенантом и товарищами.

Рука лейтенанта невольно потянулась к кобуре. Он с трудом сдержал себя и отвернулся. Ему противно было смотреть в мокрое лицо этого рыжего малого.

Он скользнул взглядом поверх плеча Виноградова — матросы позади, в ватниках, в ушанках, а то и в затвер-



Пошли «ботики». Май 1943 г.

девших повязках на голове, стояли темнолицые, на Виноградова смотрели злые, беспощадные глаза.

— Значит, — процедил сквозь зубы лейтенант, — струсили?

— Струсил, — безвольно и равнодушно повторил Виноградов.

— Раненого товарища бросили? Знаете, что за это полагается?

Виноградов вяло смотрел в землю; он качался, словно не находя в ней опоры.

Матросы двинулись к нему.

В круг протиснулся худощавый и такой же длинный, как и лейтенант, матрос — он только что бережно положил на носилки двоих раненых. Это был Степан Борцов, одессит, отчаянный и бывалый человек, известный тем,

что однажды он пролежал в Мертвой долине сутки без движения, обманывая снайпера: на спине у него был тогда мешок с продовольствием, он грыз землю и не шевелился, сутки не ел и все же перехитрил врага, потерявшего цель на однообразном мшистом склоне. Борцову лейтенант поручил присматривать за новичком.

— Раненого я подобрал, товарищ лейтенант, — доложил Борцов.

— Подобрал? — резко повторил лейтенант. — Мне ваше геройство и так известно. Остановить надо было и заставить поднять.

— Виноват, товарищ лейтенант,— смутился Борцов.— Разрешите, я потренирую этого сачка. Может быть, из него хоть половина матроса выйдет?

— Давайте. И запомните, Виноградов: вы уже должны считать себя снова под трибуналом. Посмотрим, как сумеете искупить свою вину. Можете идти.

Борцов вывел Виноградова из круга, и до лейтенанта донесся его шипящий голос: «Шоб ты, козявка рыжая, дурочку из себя не сочинял. Тут половину ребят крестил прокурор. А теперь отмечены наградами. Лейтенант за нас отвечает головой. Или ты хочешь узнать неприятный характер Степана Борцова?»

Вскоре лейтенанту доложили, что Борцов — в четвертый раз за сутки — взял груз и вместе с Виноградовым ушел на самый тяжелый опорный пункт, на пути к которому помимо Мертвой долины надо было преодолеть еще одно препятствие: по веревочному трапу влезть на абсолютно отвесную скалу.

Было пять часов дня, когда лейтенант, измученный событиями этих беспокойных суток, забрался в свою землянку и прилег на топчан; а в шесть его уже трясли за плечо, и сквозь сон он услышал назойливый голос связного:

— Заряд... Заряд идет, товарищ лейтенант... Пурга...

Он спустил ноги с топчана.

В печурке гудел ветер. У окошка, выходящего прямо на скалистую землю, прижалась к стеклу полевая мышь — на ее шубке таяли неустойчивые хлопья свежего летнего снега.

Лейтенант надел ватник и вышел из землянки.

Со стороны Норвегии быстро надвигалось темное сетчатое облако пурги: оно росло над Варяжским заливом

и вскоре должно было затуманить всю Мертвую долину плотнее любой дымовой завесы.

Лейтенант потер снегом лицо и прошел за высоту к землянке помощника командира батальона.

Там, в лощине, закрытой от противника склоном сопки, уже собирались матросы.

Помощник командира батальона, мужчина пожилой и грузный, распределял между ними полные бугристые мешки, аккуратно разложенные на снегу.

— Вот что, архаровцы, — ворчал он, — мешки вернуть мне без дырок. Штопать некому...

— Дырки страшны не в мешках, а в термосах, — сердито сказал лейтенант.

Он пересчитал людей и приказал брать поклажу.

— Помните, товарищи: вы несете врагу смерть! — сказал вдруг лейтенант, не глядя на хмурого помкомбата. — То, что у вас за спиной, нужно товарищам, чтобы бить врага. Не донести — преступление. А уж бросить...

Ему надоела эта речь, но во внезапно оборванном напутствии прозвучала угроза.

Лейтенант хрипло спросил:

— Борцов вернулся?

— Нет, товарищ лейтенант.

— Черт. Поглядывайте по пути. Не попутал ли его там этот...

По знаку лейтенанта все двинулись к исходному рубежу.

У гребня сопки передние обождали отставших, и возникла колонна, подобная вьючному каравану в горах.

Лейтенант один поднялся на гребень сопки, последней перед спуском в Мертвую долину. Он окинул взглядом безмолвное пространство внизу и угрюмые отроги Муста-Тунтури, поднял руку и крикнул:

— Ну, друзья, поплыли...

Вслед за лейтенантом подносчики гуськом поднялись на гребень.

И тотчас на немецкой стороне, вдоль горной цепи, каскадом посыпались огоньки, всю долину заволокло сизым дымом разрывов и подброшенным к небу подснежным мхом.

Над передним краем завязался огневой бой. С нашей стороны, сзади, из тылов, раздельно и экономно отвечали батареи полевой артиллерии и минометы; постепенно,

впереди, к ним присоединился едва слышимый треск — там, в опорных пунктах боевого охранения, открыли по противнику встречный огонь из автоматов и винтовок.

Колонна на гребне смешалась и исчезла. Она растаяла в зелени спуска, в дыму, в снегу и в тумане надвигающейся пурги, как ныряющий в бурное море пловец. Люди бежали в долину не отстреливаясь, по двое и поодиночке, они то плашмя бросались на землю, становясь обычным на местности бугорком, то снова вскакивали и бежали, бежали — либо в сторону, либо вперед. У каждого на пути было свое — не раз проверенное — укрытие, ложбинка или камушек, каждый по-своему петлял и чертил маршрут, и в этом проявлялось не только чутье человека, чувствующего себя мишенью, но и тонкое умение, искусство маневра, подобное маневру самолета в воздушном бою или корабля в морском сражении. Разница лишь в том, что, лавируя по открытой долине, никто из этих ребят не мог стрелять — они были безоружны.

Зато за спиной они несли врагу смерть.

Первые цепи пересекли долину и уже подходили к подножию скал, а на высоте возник силуэт следующей колонны; как и группа лейтенанта, эта колонна тоже рассыпалась по долине, и трудно стало за каждым из подносчиков уследить.

Все происходило в нарастающем темпе, как при психической атаке, очень темпераментной и настойчивой, когда атакующие идут и идут под прямой огонь. Только в атаке этой второй колонны подносчиков было еще больше хитрости и выдумки. Рассыпавшись по долине, матросы запутали противника и рассеяли его внимание.

А вскоре над ними закружилась и завыла летняя пурга.

Не зря на полуостровах этим людям дали ласковое морское имя «ботики», равняя их работу с действиями кораблей малого флота, с отвагой экипажей мотоботов, проникающих в любую погоду в самые опасные и глухие уголки моря. Именно мотоботы наиболее ловко проскакивали под огнем немецких батарей к Рыбачьему из Полярного, доставляя те грузы, толику которых несли в этот час на себе «ботики» в боевое охранение. Быть «ботиком» на переднем крае полуостровов считалось опаснее всего. Многие тут искупали всякие свои проступки и воинские прегрешения, возвращали утраченные звания,

а то и получали ордена. За три ходки через Мертвую долину полагалось поощрение. В Заполярье каждый знал, что «ботик» — геройски храбрый человек. Ему приходится преодолевать два-три километра под плотным огнем, он идет навьюченный под огонь не только в редкие часы туманов или снежных зарядов, но и при ясном летнем небе, пересекает долину по два и по три раза в день, сколько ему прикажет командир.

Мертвая долина вся была в огне. Заряд прошел, и над землей снова стояла ясность.

«Ботики» возвращались — кто в копоти, в зелени, в земле, кто перехваченный свежим, быстро темнеющим бинтом.

Лейтенант встречал их на сборном пункте. Каждый вручал ему расписку, полученную у старшин в боевом охранении взамен сданного груза.

Кроме официальных отметок многие приносили оттуда, со скал, наспех написанные карандашом на обрывках газетной бумаги слова благодарности «подносчикам жизни»; эти боевые характеристики они сдавали лейтенанту с напускным безразличием.

Борцова все еще не было.

Лейтенант опрашивал по телефону каждый из опорных пунктов.

Из некоторых отвечали, что приходило много матросов с грузом, и был ли именно Степан Борцов, запомнить трудно. Из того опорного пункта на отвесной скале, куда он направился сразу, подтвердили, что еще днем Борцов с каким-то веснушчатым парнем приходил, но после того как будто не появлялся.

Лейтенант стал спрашивать каждого вновь прибывающего матроса, не видел ли тот Борцова в долине раненым.

Все утверждали, что в Мертвой долине никого нет.

Лейтенант не понимал, что могло произойти с человеком, которому шестнадцать раз сопутствовала удача.

«Ботики» разбрелись по землянкам.

Землянка лейтенанта всегда привлекала «боевой актив» — тех, кто ходил через долину уже второй десяток рейсов и, кроме дырок в мешках, беды не знал. Сам собой тут возник не каждому открытый клуб храбрецов, где после удачного похода было дозволено петь песни и «травить» всякие морские побасенки.

И сейчас в землянке лейтенанта от тесноты стало темно и жарко. Люди, не спавшие вторые сутки, не склонны были отдыхать. Принесли гармонь, она попала в искусные руки, и под ее звуки кто-то затянул:

...После боя сердце просит
Музыки вдвойне...

Можно было подумать, будто все забыли о пропавшем товарище и, довольные своим благополучным возвращением, наслаждались наступившим покоем.

Но это было не так.

Каждый телефонный звонок настораживал матросов. Они молча смотрели на лейтенанта.

Время от времени дверь землянки поскрипывала, всовывался делегат из другой землянки и тихо спрашивал: «Не пришел?»

Лейтенант ждал утреннего часа, когда солнце снова будет бить противнику в глаза, чтобы послать на розыски.

И когда все истории уже были пересказаны, все песни — перепеты и гармонист вернулся к той песне, с которой начали, заскрипела дверь и в ней появилась фигура Борцова.

Он был весь в ссадинах и в грязи и еле стоял на ногах.

За ним боком протиснулся Виноградов.

В землянке стало совсем тихо.

— Где пропадали? — спросил лейтенант.

— Тренировались, — хрипло произнес Борцов. — Сани разгружали. Те, что застряли там с весны...

— Целый воз?! — хором, сразу, спросили несколько человек.

Лейтенант поморщился.

— Так точно, товарищ лейтенант. Можете проверить...

Борцов протянул расписки старшин опорных пунктов на боевой груз с тяжелых саней, застрявших в Мертвой долине в полярную ночь.

Лейтенант отложил расписки, не глядя, в сторону, на врытый в землю самодельный столик. Он зло взглянул на Виноградова, отвернулся и спросил Борцова:

— А этот как?..

— Товарищ лейтенант, — Виноградов, по-прежнему потный и даже в темноте сверкающий своими веснушками, выступил вперед,— стыдно мне, товарищ лейтенант,—

он задыхался и говорил шепотом. — Стыдно. И страшно было... в первый раз, — он заплакал и прислонился к двери.

Никто в его сторону не смотрел.

— Спать-то вы сегодня будете, архаровцы?! — загудел помкомбат, грузный мужчина, взыскивающий за каждую пробоину в мешках. Никто не приметил, когда он появился в дверях.

Лейтенант обернулся. Дверь хлопнула.

Гармонист рванул что-то неразборчивое, завел было прежнюю песню, не совладал с нею, бросил гармонь на койку и ушел.

Поскрипывала дверь. Молча разбредались все.

Борцов шагнул к печурке, ища где бы присесть.

Лейтенант знаком подозвал его.

— Ну как? — тихо спросил он.

— Погода удачная, товарищ лейтенант, — лениво ответил Борцов. — Еще потренируем. Носить будет. Голову немножко подбирает.

Они стояли посреди землянки. Борцов оглянулся на своего подопечного, тот, прислонясь к двери, все еще всхлипывал. Борцов пожал плечами:

— Так что через месяц-другой, товарищ лейтенант, сможете ему подписать. Если не схватит шальную... Разрешите быть свободным?..

Он вышел из землянки, вытолкнув перед собой Виноградова.

На батарее Поночевного

1

Вечером в привычный грохот переднего края ворвались звуки далекой артиллерийской дуэли и бомбежки. Кто-то вбежал в землянку и, волнуясь, крикнул: «Поночевного бомбят!..» Захватив бинокли, мы поспешили на соседнюю сопку.

В ослепительно синем пространстве над Матти-Вуоно, где, как корабль на рейде, на ночь бросило якорь незаходящее солнце Севера, шныряли самолеты врага: мы насчитали девять «юнкерсов» и четыре «мессершмитта». В небе их преследовали мохнатые пятна разрывов.

На море мы увидели густую дымовую завесу и множество гидросамолетов, уплотняющих ее. Мы поняли, что за этой завесой скрываются фашистские транспорты с войсками либо снарядами — цель, которую должна поразить наша правофланговая береговая батарея; но различить, что там происходит, не представлялось возможным.

Немцы повернули второй раз к позициям батареи — девять пикировщиков опрокинулись за далекий снежный барьер, оттуда докатились глухие разрывы. «Выходят, выходят! Раз, два, три... восемь... — считал мой сосед, офицер морской пехоты, разглядывая в бинокль силуэты бомбардировщиков, выходящих из пикирования. — Восемь, черт возьми! Сбили девятого, товарищи! Сбили! Одного лупанули!..»

Что было на земле, на берегу залива, где стояли пушки Поночевного, — мы тоже не видели. Мы только слышали отдаленные раскаты бомб и солидное уханье дальнобойных орудий.

Когда все улеглось, мы вернулись в землянку. Заспорили, удалось ли артиллеристам потопить транспорт. «Ось побачим, будут ли фрыци устраивать побудку», — сказал один. «Если боезапасу подбросили — обязательно устроят», — поддержал другой. «Не беспокойтесь, дал им Федя жизни! — вставил третий. — Вот заяц, тот, верно, совсем оглох!» Вспомнили зайца-звукоуловителя, уже, говорят, попавшего в «Крокодил»: задолго до появления бомбардировщиков заяц навострял уши, и Поночевный мог наверняка объявлять на батарее тревогу. Помянули и сову Соню, живущую на КП, и собаку Леди, и кошачью пару Руслана и Людмилу. Говорили о командире — о его любви к домашним животным, гостеприимстве, молодости, храбрости и даже холостяцких проделках, пока всем этим суждениям не положил конец глухой голос из темноты землянки: «Каково-то им сейчас...»

На другой день, оседлав батальонную кобылу, по имени Треска — по медлительному характеру она была сущей воблой, — я отправился к батарейцам.

Примерно на полпути, в расположении штаба бригады полковника Крылова, у коновязи стояли несколько оседланных лошадей и среди них молодой некованый жеребец Ревель с батареи Поночевного. Оказалось, что капитан приехал сюда по вызову Кабанова на разбор последней стрельбы.

Возле дороги многочисленная группа штабных и артиллерийских офицеров ждала генерала. Среди них был и Поночевный — румяный, светловолосый крепыш; он почти не встревал в общую беседу, лишь изредка щурил глаза, морщил невеликий свой нос и, по-украински смягчая согласные, немного надуваясь, приговаривал:

— Будет сегодня нам драйка! Ох, Хведор Мехводьевич, я так чую, что на двадцать шестом году твоей холостяцкой жизни будет тебе свадьба с бубенцами...

Рядом молча стоял Соболевский — командир соседней батареи. К ним подошел однокашник по училищу Захаров — тоже командир батареи; он бросил взгляд на кителя товарищей, на дырочки от орденов над клапанами их карманов; потом он глянул на свой орден Красного Знамени и, покраснев, пробормотал:

— Пожалуй, и я свой орден спрячу. Так-то лучше будет.

— Далеко ли убираете свою славу? — иронически спросил стоявший среди офицеров толстяк полковник.

— Не на парад приехали, товарищ полковник, — за Захарова ответил Поночевный. — В баню в орденах не ходят.

— Чует кошка за собой грешок?

— Генерал вызвал — драйка будет, — уклончиво подтвердил Поночевный. — Так что мы уже подготовились.

— Да, генерал не любит в сводке слово «повредили». Он требует топить транспорты, — сказал полковник и отвернулся в сторону бухты Пуманки, где уже показалась машина командующего.

Я вскочил на Треску и направился к морю, решив обождать капитана на батарее.

Командный пункт был расположен в обычных на безлесном берегу Матти-Вуоно нагромождениях камней. Темный, сложенный из плит коридор вел в помещение командира. Переборка из тонких досок, выброшенных морем с какого-то потопленного корабля, делила это помещение надвое — на дежурную комнату впереди и каюту позади, где жил Поночевный.

В дежурной комнате возился с планшетом недавно прибывший на батарею новый помощник лейтенант Зайцев. Он тоже окончил севастопольское училище, но уже во время войны, побывал на Южном фронте и охотно вступил в беседу о знаменитом «регулировщике уличного

движения в Новороссийске» Зубкове, тоже однокурснике Поночевного.

— Здорово у них получилось, — заметил Зайцев, — один на правом фланге командует, другой — на левом. Как в книге!..

Щупленький паренек, краснофлотец, подбегал к телефону и, скороговоркой называя позывной батареи и свою фамилию, отвечал:

— «Остров», Степушонок слушает! Вестовой капитана, так точно! Капитан у командующего, очень занят! Есть помощник. Передаю трубочку!

Степушонок по приказанию помощника принес «Журнал боевых действий». Среди протокольных подробностей двухлетней боевой жизни батареи, потопившей много вражеских кораблей у входа в Петсамо, были записи и о последнем бое. В ожидании командира я занялся чтением.

Вечером, в 18 часов 38 минут, как отметил боевой журнал, у входа в залив Петсамо появилась поставленная противником с мысов Риста-Ниеми и Нуура-Ниеми, а также с гидросамолетов дымовая завеса. Батарея приготовилась к бою. Десять минут спустя со стороны Петсамо на небольшой высоте показались девять «юнкерсов» и четыре «мессершмитта». Залпом из двух орудий Поночевный заставил шесть «юнкерсов» отвернуть, три же прошли к пустынному островку Хейнесаари и, к великому удивлению наших артиллеристов, пробомбили в три захода птичий базар на скалах. После этой «операции» противник стал уплотнять и без того густую стену дыма у выхода из Петсамо, и вслед за этим сигнальщики обнаружили кончики мачт первого транспорта: они тут же совсем исчезли в дыму. Дальнейшие события развернулись мгновенно и почти одновременно. Поночевный поставил заградительный огонь, а на его позиции сразу же обрушились батареи противника, «юнкерсы» и «мессершмитты». Из Петсамского залива последовательно вышли три транспорта, скрытые плотной стеной дыма. Каждый выход сопровождался огневым налетом немцев и бомбежкой позиций Краснознаменного дивизиона. Но Поночевный огня не прекращал и, несмотря на завесу, все три транспорта повредил. Пулеметчик Виноградов сбил один «юнкерс». С нашей стороны трое были убиты и двое ранены. К этим официальным данным «Журнала боевых действий» на батарее добавили еще кое-какие подробно-

сти. Среди погибших был любимец всей батареи командир орудия Вениамин Кошелев; он повредил первый из транспортов и разогнал первую группу самолетов. Среди раненых — установщик прицела Стахиев, в прошлом художник из Коми, разрисовавший дворик своего орудия всевозможными картинками. О Стахиеве рассказывали, что, уже раненный, он вытаскивал из огня своих товарищей, обжег лицо, но работал до тех пор, пока не упал без памяти. Поночевный нес потери, но из боя не выходил. Его не поддержал сосед, в задачу которого входило уничтожать дымзавесчиков, и все три транспорта, подбитые батарейцами, приткнулись где-то в бухточке у противоположного берега. «Повреждены» — это не «потоплены», и батарейцы вместе с командиром переживали неудачу, не виня соседа: они-то знали, что там, у Соболевского, пушки старые и далеко не достают. А недоразумение с бомбежкой птичьего базара на скалах Хейнесаари разъяснилось быстро. На этот пустынный островок, оказывается, ходили за птичьими яйцами матросы из морской пехоты. Обнаружив там выброшенные морем бревна, они из озорства соорудили нечто вроде макета батареи. Вот «юнкерсы» и клевали этот макет.

Поночевный вернулся лишь ночью, едва не загнав своего Ревеля. Он был не в духе, ворчал и на вопросы отвечал нехотя.

— Ругал нас генерал, учимся плохо, — мрачно сообщил капитан. — Такой был раздолб, на всю жизнь запомню. Я думал, руку на прощанье не пожмет. Руку он мне протянул, но сказал: «Предупреждаю тебя, Поночевный, хоть один транспорт пропустишь — поедешь на юг. На отдых». На юг. Три года я с полуостровов не выезжал. Забыл, как вишня цветет. Так что, Степушонок, держите чемодан наготове, — капитан деланно засмеялся и со вздохом сел за стол.

Степушонок принес с камбуза котелок «союзной каши», блины с медом и северный деликатес — лук с маслом. Желая отвлечь командира от его мрачных дум, он вдруг таинственно произнес:

— Товарищ капитан, с Русланом ошибка получилась.

— Какая ошибка?

— Не кот, значит. Кошкой оказался.

— Как не кот? Целый год был котом, а теперь не кот? Вы что-то путаете, товарищ Степушонок.

— Точно, товарищ капитан. Военфельдшер Иванов тут без вас обследовал. Так и сказал: «Капитан ругаться теперь будет».

— Осрамили вы меня, Степушонок, — расстроился Поночевный, — здесь же не Москва. Тут за сто верст никакой живности не сыщешь. Выходит, теперь не «Руслан и Людмила», а две Людмилы? Приедет генерал, спросит: «Где твои сказки, Поночевный?» Что я ему отвечу?

— Найдем кота, товарищ капитан, — заверил сконфуженно Степушонок. — У лейтенанта Соболевского на батарее можно одолжить.

— Бориса генерал снял. На юг поедет, — Поночевный при воспоминании о Соболевском снова помрачнел. — Он сдает теперь батарею Захарову. Пойдите, Степушонок, к Соболевскому, скажите, что капитан просит на время кота... И без кота на КП не появляться...

Поночевный с аппетитом взялся за блины, приговаривая:

— Ну, Хведор Мехводьевич, коли лиха не хочешь, держись! С завтрашнего дня будем тренироваться по ПАСу, — внезапно обратился он к помощнику. — Придется вам, лейтенант, попотеть вместе со своим командиром, если вы не имеете тайного желания спровадить меня с позором на юг. Поночевный с полуостровов не уедет ни-ку-да!..

2

Федор Поночевный сдержал обещание вогнать своих помощников в пот, но добиться точности управления стрельбой и мгновенной реакции на его приказания. Даже в воскресенье, после шести часов дивизионной командирской учебы, он занялся с лейтенантами Зайцевым и Шкутником тренировкой по ПАСу — по Правилам артиллерийской стрельбы. Степушонок расстелил на столе морские карты, и до вечера в дежурной комнате слышны были щелканье приборов и возгласы команд: «Шаг один меньше — очередь. Батар-рея... залп!»

Зайцев от волнения и малоопытности немного путал, внимательнее был Шкутник, и Поночевный подумал, что из этого лейтенанта, пожалуй, выйдет неплохой командир огневого взвода.

Вечером капитан прошел по позициям, убедился, что на орудии, где погиб Вениамин Кошелев, Шкутник и но-

вый командир расчета Покатаев навели порядок. Капитан зашел в землянку третьего расчета и остался там, соблазненный гитарой и такими запевалами, как Косульников и Субботин. Прибойничий Косульников, прозванный «генералом» за свой рост и лихие черные усы, и маленький рыжеватый Субботин — «хитрый артиллерист», наводчик, которому во время стрельбы для удобства приходится влезать на ящик, затянули «Варяга», капитан аккомпанировал им на гитаре, старинную морскую песню поддержали все обитатели землянки. Песни пели, пока не был подан сигнал заступить до четырех утра на дежурство.

Шла уже ночь на понедельник. В дежурной комнате сержант Ковальковский, севастополец по рождению и кронштадтец по морской службе, принимал по телефону пятиминутную сводку погоды. Ветер все время менялся, а видимость колебалась от ноля, когда налетал снежный заряд, до девяноста кабельтовых, когда заряд проскакивал мимо, оставив на камнях быстро тающую снежную пленку.

Капитан сел ужинать.

В дверь постучали. Вошел незнакомый пожилой лейтенант в армейской форме. Отряхнув с шинели летний снег, он отрекомендовался командиром вновь прибывшей зенитной батареи Павловым и просил помочь немедленно выбрать позиции для его скорострельных автоматов-«бобиков». Капитан пригласил гостя поужинать; тот, однако, выпил лишь стакан чаю и вновь напомнил о цели своего прихода, подчеркнув, что генерал приказал установить орудия именно сегодня. Капитан в душе с удовольствием отметил, что как будто прибыла надежная защита.

Он снова ушел и вернулся к утру, когда все батарейцы после отбоя отдыхали.

Принесли газеты за десять дней, капитан сел их читать. В одной из газет он нашел свою фотографию, решил, что «не похож, слишком красив», потом увидел под фотографией дружескую эпиграмму: «Удел врага всегда плачевный, когда стреляет Поночевный». Он прочитал эти строки вслух и расстроился:

— Хорошо бы эта газета генералу на глаза не попалась. Слава все-таки тяжелая штука. Попробуй теперь промазать — позор на весь флот. На разборе генерал так

и сказал: награды вас ко многому обязывают, хотя вы их и попрятали по карманам...

В девять утра капитан лег, приказав Степушонку до одиннадцати ни в коем случае не будить. В десять, услышав сквозь сон спокойный голос Ковальковского: «На Риста-Ниеми зажгли дымовые шашки», я бросился к постели капитана: «Федор Мефодьевич, будет бой!..»

Постель была пуста и заправлена. Поночевный находился в рубке.

Я вышел из командного пункта. Море было на редкость спокойным, и даже простым глазом можно было различить далекие берега Норвегии. На пределе зрения колебались силуэты транспорта, двух тральщиков и четырех маленьких катеров. Караван приближался, он шел ко входу в Петсамо. На скалистых мысах, ограничивающих вход в бухту, немцы жгли дымовые шашки. Оттуда по воде навстречу транспорту ползли две черные распухшие змеи, они вырастали в две стены длинного сплошного коридора. Низко над водой летели шесть гидросамолетов. Они чуть опередили черный дым и брызнули позади себя белыми облачками — эти облака столь стремительно распространялись, что вскоре белое смешалось с черным, затмило и солнце, и море, и чужой берег и образовало такую муть, что самый зоркий глаз не мог ее прошибить.

Вдоль протянутых по камням и земле проводов к орудийным позициям пробежали связисты. Расчеты зарядили орудия.

Транспорт подхо́дил к предельной дистанции доступной батарее, он спешил войти в дымовую завесу — пора начинать бой.

И вот на нашем берегу вспыхнуло пламя первого и второго залпов; все видели всплески снарядов впереди транспорта и за ним — он сразу же попал в вилку, но успел войти в дымовую завесу. Дальнейшая прицельная стрельба была исключена.

Тут же с занятого фашистами берега и из порта Петсамо открыли огонь тяжелые дальнобойные батареи: нас обдало землей и сланцевой крошкой.

На море появились новые катера. Они повели еще одну стену белого дыма прямо навстречу каравану. За ними волокли облако гидросамолеты — фашисты старались прикрыть караван тройной стеной. Соседняя бата-

рея, которую только что принял от Соболевского старший лейтенант Захаров, открыла огонь по катерам и гидросамолетам.

А над дымом из чистого неба вынырнула группа «мессершмиттов» и «фокке-вульфов»: девятнадцать самолетов шли к нам на штурмовку.

В рубке — тесной каютке в скалах, разгороженной плащ-палаткой надвое, находились Поночевный, его помощник и радист. Капитан сидел на высоком стульчике у стереотрубы в той части рубки, которая выходила к морю. Одной рукой он держал трубку телефона, соединенного с флагманским командным пунктом и с орудийными позициями, другой — поворачивал в смотровой щели стереотрубу, стремясь поймать силуэт исчезнувших в дымовой завесе немецких транспортов.

Стоял сплошной гул, скалы во сто крат умножали его. В сизо-синий воздух над батареей взлетали кусты сухой северной березки вместе с налипшей на корнях землей. Поночевный ворчал:

— Вся Европа им снаряды подает! Тратят без совести и без толку. Четырьмя батареями на меня одного работают!

Он зло отфыркивался, когда в рубку залетала мелкая щебенка, и не сводил глаз с однообразного дыма на горизонте; он искал и искал цель, понимая, что немцы не зря ее так оберегают. И вдруг, видимо желая ободрить батарейцев, капитан пропел в телефон:

Любил я очи голубые...

«Сверху», с флагманского командного пункта, пророкотал смешок — генерал слушал.

— Товарищ Покатаев,— окликнул Поночевный командира одного из орудий, — как себя чувствуете на новом месте?

— Лучше всех, товарищ капитан.

— Будет сегодня треске кормежка?

— Обязательно, товарищ капитан. Свеженького ей поджарим.

Порыв ветерка внезапно раздвинул дымовую завесу, и в возникшем окошке мелькнул расплывчатый игрушечный силуэт.

— Помощник! Что там дальномерщики, ослепли, что ли?

— Видят транспорт в просвете дымзавесы, — спохватился помощник. — Дистанция шестьдесят восемь кабельтовых. Курс — зюйд-ост. Пеленг...

— Наводить! — закричал Поночевный. — Быстрее наводить!

Батарея дала залп, помощник быстро взял поправку и скомандовал новый залп. Над нами, штурмуя позиции, летали самолеты, черные тени мелькали перед смотровой щелью. Бомбы падали близко, но расчетам некогда было даже оглянуться и посмотреть. Батарея вела огонь. Поночевный скомандовал очередь, и у всех нас радостно дрогнуло сердце, когда в замыкавшемся уже над фашистским транспортом окошке дымзавесы блеснул огонь. «Ура-а-а!» — отдаленно донеслось с орудий, и Поночевный тут же откликнулся по телефону: «Молодцы, товарищи! Добавить им еще, скорей, помощник!..»

Когда ветер открыл новое окошко в дыму и мы увидели пораженный снарядом транспорт и возле него шлюпки и катера, новые снаряды добили врага: мутный силуэт его накренился и пошел ко дну.

Телефон донес с какого-то орудия тенорок:

— Вечная память, вечная память!..

И снова «сверху» пророкотал смешок генерала.

От первого попадания до гибели транспорта прошло девять минут. Караван повернул, скрылся в дыму и вышел из него лишь на границе горизонта. А вражеские артиллеристы навалились на батарею.

— Шесть батарей по мне работают! — не то сердито, не то с гордостью подсчитывал Поночевный. — Доставляю я им хлопот. О, слышите? — он обрадованно поднял палец и прислушался: с тыла донеслись раскаты наших дальнобойных. — Теперь ими займется Кокорев. Помощник, дробь! Передайте личному составу поздравление по поводу победы! — капитан закрыл футляром окуляры стереотрубы и вышел из рубки.

Вскоре помощник доложил, что противник выпустил по батарее 264 тяжелых снаряда и сбросил 19 бомб.

— Месяц назад за один бой они дали сюда семьсот двадцать восемь снарядов, — похвастал Поночевный, — и тоже толку ни на грош. Учитесь, товарищ помощник, как не надо стрелять...

Когда все кончилось и с дымом сражения улетели последние самолеты, а на обоих берегах смолкли раска-

ленные орудия, с моря внезапно донеслась стрельба. Мы выбежали из КП. Поночевный тревожно взглянул вдаль, потом в небо и расхохотался:

— Ох, жулики! Над морем боезапас расстреливают, чтобы от начальства не попало...

Вечером я пошел с Поночевным на берег к заливу.

Он переходил от воронки к воронке, по побитым, израненным скалам, отмечал, где рана новая, а где новая попала на старую, еще глубже расковыряв гранит и сланец.

Он нагибался к чахлым ветвям северных растений, поломанным и изрезанным осколками, с жалостью смотрел на вырванный из земли куст, замечал какой-нибудь листок, зеленый, молодой, и восклицал: «Смотрите, настоящая весна. Растет все-таки...»

В побитом кустарнике возле моря заливалась неведомая птица; у нее был голос соловья; Поночевный заметил, что вот уже три года он ее слушает и не может ни в одной книге найти ее имени. Он остановился над северной вербой.

— Подумать только, до чего природа живуча, — сказал он.— Нетронутого камня тут нет. А верба цветет...

В холоде Баренцева моря еще струился пороховой чад.

Поночевный приник к слабому растению, жадно впитывая в себя ароматы скупой весны. Было до странности тихо кругом, только птица пела и море ей подыгрывало, вечернее море, похожее в этот час на расплавленный металл.

3

Отчет о потоплении последнего транспорта был послан еще днем. А вечером, когда я собрался уезжать с батареи, Поночевного вызвал к телефону командир дивизиона:

— Капитан, кто может подтвердить потопление?

— Как кто, товарищ майор? Все, все видели! Неужели генерал не верит?

— Тут позвонили из морской пехоты, уверяют, что видели прошедший в Петсамо транспорт.

— Они шлюпку от линкора не отличают! — возмутился Поночевный. — Туда катера прошли, товарищ майор, я сам видел. Я три года на этом месте изучаю силуэты кораблей.

— Знаю, что катера, — сказал командир дивизиона. — Но генерал требует проверки. Так что имей в виду.

Поночевный повесил трубку.

— Не знаю, прямо не знаю, фотографа, что ли, приглашать специально? — расстроился он. — Мое дело топить, а не доказывать. Слышали раньше, чем порадовал меня в разгар боя полковник Плаксиенко? Я смотрю на эту проклятую дымзавесу, а он мне в телефон говорит: «Помните, Поночевный, разговор с генералом?» Зачем мне напоминать в такую минуту, я сам навсегда это запомнил...

Он прошел по шаткому полу дежурной комнаты к столу, сел и, поразмыслив, утешил себя:

— Ничего, Хведор Мехводьевич, генерал разберется и рассудит. Он же сам — истинно морской артиллерист и должен душу нашего брата вполне понимать.

Капитан вышел меня проводить.

Пролетели два самолета. Капитан брезгливо сморщился:

— Пошла разведка. Пускай ищут. Водолазов надо посылать...

Я уехал на флагманский командный пункт.

Кабанов только что вернулся с переднего края. Он назначил мне встречу в этот поздний час в расчете на спокойный разговор. По каменистому трапу я поднялся в маленькую тесную квартирку в скале — она состоит из трех комнаток и тамбура. В передней комнате — длинный покрытый белой скатертью стол и буфет: здесь к обеду и вечернему чаю собираются старшие штабные командиры. Кабанов находился в своем кабинете — узенькой, увешанной морскими картами каютке; туда вела невысокая фанерная дверь, проходя через нее, генералу приходилось сгибаться. На радиоприемнике лежал местный трофей — бескозырка с надписью готическим шрифтом: «Кригсмарине», зимой море выбросило ее на берег полуостровов вместе с обломками потопленного Поночевным корабля.

— Нос не вешает Поночевный? — суровым басом спросил Кабанов.

— Обиделся за недоверие. Очень переживает разбор.

— Зря полковник Плаксиенко напомнил ему об этом в разгар боя, — сказал генерал. — Я прервал его, зачем нервировать командира?.. Помните Гранина на Ханко?

Как он после разбора эльмхольмской операции дзоты строить начал? Зверь стал, а не строитель...

Мы заговорили о Балтике.

— Скучаю по Балтике, — сказал Сергей Иванович, — работы тут много, воюем и будем воевать. Но только хочется снова повоевать на старых базах. Все-таки вся жизнь на Балтике. Я думаю, скоро вернемся на старые места, вышвырнем немцев...

Звонок телефона прервал его. Усилитель донес до меня лаконичный доклад оперативного дежурного: на пеленге «Н» девять «Фокке-Вульфов-190» преследуют буксир. Идет бой. Пришла наша авиация. Генерал нахмурился и приказал соединить с начальником штаба. Он отдал необходимые распоряжения и продолжал разговор, тревожно поглядывая на телефон. Ежеминутно оперативный докладывал о ходе боя и продвижении буксира: на корабле уже были раненые. Генерал ввел в действие зенитную и береговую артиллерию и приказал госпиталю обеспечить врачебную помощь и прием раненых с корабля. Снова зазвонил телефон, на этот раз из Мертвой долины. Полковник Рассохин докладывал, что полевая артиллерия разбила несколько немецких дзотов. Так эти ночные спокойные часы превратились в напряженные и беспокойные. Я чувствовал, что генералу уже не до беседы, и собрался уходить. Кабанов приказал адъютанту запросить у авиации данные разведки.

Вскоре адъютант принес шифровку из штаба флота.

— Ну вот и отлично, — сказал Кабанов. — Авиаразведка подтвердила победу Поночевного. Зря пехота путала. Действительно, им надо силуэты кораблей подзубрить.

Я вышел от Кабанова и побежал в ближайшую землянку звонить.

— Федор Мефодьевич, слышал?

— Порядок, — урчал в трубке довольный голос. — Я же говорил: мое дело топить, а не доказывать. Три года силуэты изучаю, то-то...

Идут корабли

В ту ночь, когда оперативный доложил Кабанову о нападении девяти «Фокке-Вульфов-190» на наш буксир, на полуостровах многие бодрствовали в ожидании кораб-

лей. Еще с вечера стало известно, что в бухту, где вечно ждут оказий с Большой земли, идут четыре охотника, буксир и две баржи с грузом. Начальник тыла загодя приказал заготовить на берегу запас дымовых шашек и снарядов малого калибра в расчете, что катерники на подходах порядком поизрасходуются. Из тылов морской пехоты и артиллерийских частей за грузом мчались автомашины и команды грузчиков. В штабе спешно визировали командировки тех, кто рассчитывал с этой оказией уйти в Полярное. У пирса собирался народ — многим приход кораблей сулил письма от родных, устные приветы от друзей по флоту либо встречи с приятелями из команд катеров, часто посещающих эту отдаленную бухту в море Баренца.

Как бы часто ни приходили сюда корабли, на полуострове каждый раз встречали их с волнением. В последние дни противник практиковал налеты большими группами авиации на буксиры и мотоботы. Наши самолеты затевали над морем воздушные бои. Сейчас тоже где-то далеко шел воздушный бой, но боя этого на полуострове не слышали, и в спокойной бухте меж рыжих замшелых сопок безмятежно покачивались две старые парусные шхуны.

Когда у пирса остановилась пустая санитарная машина, присланная по приказанию генерала, всем стало ясно — с караваном что-то стряслось. Машина простояла час, к пирсу за это время не подошла даже шлюпка.

Один из санитаров сбегал к телефону в землянку на высоту и вернулся мрачный: начальник госпиталя приказал «не рыпаться и ждать».

Но сам Попов волновался больше других. Подполковник не спал ночь не только потому, что пирс рядом, а на баржах шли медикаменты для госпиталя и консервированная кровь; больше, чем буксир и баржи, его интересовали охотники — единственная возможность срочной эвакуации тяжелых. Госпиталь теперь редко отправлял раненых с полуостровов: большинство возвращалось в строй в свои же части тут, на Рыбачьем. Раны стали вовремя обрабатывать на переднем крае. В блокгаузе боевого охранения в каких-нибудь десятках метров от противника уже несколько месяцев работали молодые хирурги Баранов и Козлов, к ним на помощь туда пробирались и более опытные врачи. На Большую землю эва-

куировали только нуждающихся в длительном лечении. В светлое время морской переход в Полярное столь опасен, что генерал разрешал эвакуацию только на охотниках. Попов получил «добро» на отправку «девяти пакетов», как называют здесь эвакуируемых: каждого пакуют в теплый ватный пакет. Генерал еще раз предупредил: только на катерах МО.

Всю ночь Попов теребил оперативного дежурного запросами — будут ли сегодня катера. Оперативный, приятель Попова, терпеливо сообщал ему, что посты СНиС видят падающие самолеты, наши или немецкие — не установлено, караван, отбиваясь, продвигается ко входу в залив, где предстоит еще встреча с батареями противника.

— Чертовщина какая-то, — возмутился Попов, — что это сегодня немцы к ним привязались?.. Только бы не свернули в Пуманки — морока мне будет доставлять туда больных через весь полуостров...

Часа в три ночи я снова зашел в госпиталь. На косогоре у самой бухты, над землянками палат плелись дымные узоры. В палатах царил сон. Сквозь открытые двери туда залетал ветерок прилива.

Часть больных спала на воздухе в зашнурованных ватных конвертах защитного цвета. Первые же выстрелы, докатившиеся издалека, разбудили их, они начали глухо стонать. Сестры успокаивали раненых.

— Значит, идут! — обрадовался Попов, услышав выстрелы. — Надо готовить пакеты...

Он прервал игру в шахматы, за которой убивал эти ночные часы с начальником санслужбы Дибнером, и пошел в приемный покой.

Караван вошел в Мотовский залив и пересекал сейчас зону артиллерийского огня. Шум нарастал стремительно, мы уже слышали не только орудийную канонаду, но и скрежет воевавших самолетов.

Я бросился к телефону, чтобы позвонить на флагманский командный пункт. Добиться соединения оказалось немыслимо — линия была занята «воздухом» и «морем»; сняв трубку, я расслышал отрывистые фразы донесений: «Сто шестой» ставит дымзавесу»... «На «сто одиннадцатый» пикируют два «фокке-вульфа»... «Огонь на корме «сто двадцать второго»... «Попадание немецкого снаряда в баржу»... Это матросы-наблюдатели с выступающих далеко в море утесов отмечали все фазы боя.

Немцы, видимо, решив, что на баржах груз особой ценности, если их прикрывают сразу четыре охотника, садили в воду снаряд за снарядом и бомбу за бомбой. Катера в узком заливе уклонялись от снарядов и от бомб и одновременно били по самолетам. Немецких машин в небе было двадцать четыре против девятки наших.

Бой подошел уже совсем близко к бухте, мы увидели две выползающие из-за сопок полосы дымовых завес.

Кто-то сказал, будто половина каравана потоплена и в воздушном бою есть потери с обеих сторон.

Раненые стремились из палат на берег, санитары не могли с ними сладить.

Вскоре всю бухту окутал дым. Мы не видели подошедших катеров, мы только слышали шум моторов.

Из сплошного белого тумана одна за другой выскочили несколько автомашин с грузом, — значит, караван все же дошел и разгрузка кораблей началась.

С майором Дибнером я побежал на пирс, чтобы разузнать о судьбе шедших в бухту кораблей. По пути нас остановил обеспокоенный Попов.

— Товарищ начсан! — доложил он. — Только что звонили с флагманского командного пункта и приказали выслать на полуостров Средний санитарную машину и опытного врача. Там упал самолет, возможно, наш. Надо найти летчика. Сейчас возвращается машина, дежурившая у пирса. Разгружу ее и отправлю на Средний. Думаю послать Тимофеева. Разрешите позвонить в санроту, чтобы встречали?

— Прикажите им от моего имени выслать пока к самолету своих санитаров,— сказал начсан.

Попов ушел в приемный покой, а мы побежали к пирсу, тревожась: «Целы ли корабли, что с ними?..»

Бухта встреч

Санитарную машину мы встретили по дороге на пирс — она везла раненых с буксира. Санитары успели только крикнуть, что в госпиталь идут сейчас командиры охотников, и машина промчалась дальше. Через несколько шагов мы встретили двух моряков, устало шедших по дороге — только двух, сердце тревожно екнуло.

Я хотел спросить, где остальные командиры, но нач-

сан Дибнер вдруг бросился вперед и одного из моряков бурно обнял.

— Товарищ капитан второго ранга, Черное море! Керчь! Пермский! Какими судьбами!

— Все верно, все правильно, — шумно подтвердил капитан 2 ранга.— Куда море не забросит — закинет нашего брата война.

— Это же Пермский! — захлебнулся от восторга майор Дибнер. — Тот самый Пермский, который увел у немцев из гавани транспорт.

— Совершенно верно, товарищ майор, тот Пермский, что увел на буксире немецкий катер, а сейчас посылал фрицам жаркие поцелуи, от которых они тут же шли на дно. Верно, товарищ Рябухин?

— Капитан второго ранга уморил сегодня всю команду, — ответил второй из встреченных нами командиров, старший лейтенант Виктор Рябухин.— Как немецкий снаряд мимо — он фуражку долой, фрицам машет и раскланивается.

— А где же остальные командиры, целы? — тихо спросил я Рябухина, когда мы двинулись к госпиталю.

— Конечно целы! На катерах. Только на «сто двадцать втором» командир опалил лицо, гасил дымшашки.

— Тут говорили, будто половина каравана потоплена.

— Нашего каравана! Кто это набрехал такую ерунду? — возмущенный Рябухин повернулся к командиру дивизиона: — Товарищ комдив, обратите внимание, нас уже похоронили тут из-за одного несчастного попадания в баржу. Баржа и та стоит под разгрузкой у пирса. В отлив ее поставят на обсушку, дырку заделают, и пойдет обратно. А наши! — он показал энергичным жестом на бухту, где дым редел и уже можно было разглядеть помимо барж и буксира четыре морских охотника и две ранее стоявшие там парусные шхуны.

— Конечно, если бы я знал, что там находится мой друг Пермский, я спал бы спокойно всю ночь, — сказал Дибнер. И тут же поправился: — За «сто одиннадцатый» я тоже никогда не беспокоюсь, товарищ Рябухин.

Пермский хмыкнул. Рябухин, задетый, молчал.

У госпиталя нас встретил подполковник Попов, он сообщил, что летчика нашли, летчик наш.

— Какого летчика? — тревожно спросил Рябухин. — Нашего? Жив?

— Машину посадил на скалы, но сам как будто цел,— пояснил Попов.— Мы послали лучшего врача. Если только летчик хоть чуть дышит, все в порядке, Тимофеев спасет.

— Этого бы орла мне повидать, — сказал Виктор Рябухин. — Мы с ним в некотором роде друг другу обязаны. Он сбил «фокке-вульфа», который зашел на меня, а я срезал «мессера», который его подрубил. Вот мы сбили, с капитаном второго ранга, — смущенно добавил он.

— Вы его не только повидаете,— сказал Попов. — Вам придется доставить его в Полярное. А пока, товарищи, приглашаю на бережок отобедать. Вы сегодня наши самые желанные гости. Есть у нас тут живописное место, как над кавказским водопадом, хотя я, признаться, сохранил о Кавказе весьма отдаленное представление. Я думаю, товарищ начсан не заругает нас за бутылочку коньяка по случаю удачного исхода боевых событий?..

Над оврагом в стороне от бухты поставили столик и накрыли его белой скатертью. Внизу шумел прозрачный северный ручей. Но открыть бутылку мы так и не успели: подбежал санитар и доложил Попову, что напротив, на другом берегу Озерка, застряла санитарная машина: на ней, вероятно, Тимофеев с летчиком.

Попов поспешил к телефону. Он вызвал своего приятеля на той стороне бухты — артиллериста Кавуна:

— Майор? Будь добр, выручи. Там моя телега застряла, дай Тимофееву шлюпку через бухту проскочить. У тебя же есть, рыбалят там?..

Мы спустились с горы к приемному покою. Бухта опять была спокойна и чиста от дыма. Только с пирса доходил до нас шум разгрузки и по дороге изредка скрипели обозы с грузом и автомашины.

Шлюпка вскоре пересекла бухту, она подошла к берегу, и санитары подхватили под руки какого-то человека. Они вели его медленно, бережно, хотя он сам, повидимому, мог идти. Вперед пробежал высокий, очень штатский на вид, военный врач в тонких роговых очках — известный на флоте хирург Тимофеев. Он сообщил про все обстоятельства аварии и о состоянии летчика.

— В общем, он в порядке, — заключил хирург, — надо только посмотреть на рентгене черепок, нет ли трещин.

— Черепок? — подхватил Пермский. — Так вы, эскулапы, наши головы называете, черт побери?

— Каждая профессия имеет свой жаргон,— Тимофеев улыбнулся.— Для нашего начальника госпиталя от берега движется не просто раненый, а «десятый пакет», поскольку предстоит его эвакуация. Вы любите говорить — не «сбил самолет», а «ущучил», вероятно... Все мы повернулись навстречу летчику подходившему к нам с помощью санитара. И тут произошла сцена, подобная встрече Дибнера с Пермским. Рябухин бросился вперед.

— Капитан! Какая встреча! — Старший лейтенант едва не раздавил летчика в объятиях.— Товарищи! — восторженно продолжал Рябухин.— Я даже не знал, что мой спаситель — старый дружок. И надо же так встретиться! Ты спас меня, дружище. «Фоку» срезал!

— Значит, это ты там внизу бегал вьюном? — обрадовался летчик. — А я и то думаю: какой это сукин сын так ловко вертится вокруг барж и буксира, ни бомба, ни снаряд его не берут, да еще по «мессеру» так шпарит, того и гляди, угодит в меня.

— Я твоего схарчил, — похвастал Рябухин, — он когда тебе под хвост зашел, тут мы его, значит, с капитаном второго ранга и срубили.

— Знать бы, что внизу мой друг Рябухин, сам понимаешь,— сказал летчик, и Рябухин при этих словах торжествующе глянул на Дибнера.

— Тут у нас сегодня встреча за встречей,— сказал Дибнер.— Я с товарищем Пермским, а вы — с товарищем Рябухиным. Придется, пожалуй, переименовать эту бухту в Бухту Встреч, как думаешь, Пермский?

— По нашему черноморскому обычаю встречи надо обмывать, — напомнил Пермский. — Я думаю, и капитан не откажется испить с нами стакан славной Грузии на этих хладных скалах Севера, хотя предпочитал бы, вероятно, на них и не падать?

— Капитану нельзя, — строго сказал Тимофеев, недовольный этим нетактичным выпадом, — капитану...

— Черепок? — язвительно перебил его Пермский.

— Вы правы, — рассмеялся Тимофеев, — у нас тоже свои североморские обычаи.

Мы вернулись к обрыву над водопадом, а хирург повел своего пациента к автобусу походного рентгеновского кабинета.

Я вновь увидел его на катере, когда мы покидали Бухту Встреч. Было свежо на заливе. Бухта и парусные

шхуны в ней остались позади. Мы шли мимо черного скалистого берега, занятого немцами, по фарватеру, где недавно происходило жестокое сражение. Небо было мрачное, густо начиненное облаками, хотя накануне, когда шел воздушный бой, над катерами стояла синяя чистота. Мы ждали с берега огня, немцы дали три залпа, с большим перелетом — катер ловко вильнул от снарядов, и летчик, наверно, вспомнил картину, которую он наблюдал сверху. Летчик сидел на палубе возле рубки, над машинным люком, и нехотя разговаривал. Немцам дорого обошлась его сбитая машина: они потеряли в том бою девять самолетов. Что может быть лучше такого счета — 9 : 1 в нашу пользу? Обидно, что этот «один» — именно он — теперь пассажир на катере...

В открытом море волна усилилась. Видимость была плохая, на катере следили за небом.

Когда сигнальщики заметили по носу на большой высоте неизвестные самолеты и командир, дав свисток, поднял бинокль в небо, летчик еще острее почувствовал досаду на свое «пассажирское положение». Мы насчитали девять машин. Пулеметчики взяли их в прицел. Самолеты развернулись и пошли к нам на снижение. Они не пикировали, они пристроились чуть впереди, так и застыв там, словно привязанные к нашей мачте.

— Свои,— твердо сказал летчик.— Девятка «яков».

— Сопровождение? — удивленно спросил Рябухин.

— Встречают, — сказал летчик. И словно про себя, тихо добавил: — Сбит — это не значит побежден.

Шел дождь. Боцман прикрыл казенную часть орудий брезентом. Нарастал ветер, и катер переваливался с одного высокого вала на другой. Мы приближались к базе, и все время над нами в небе висели девять советских истребителей.

То, что дорого

Перед уходом с полуостровов я позвонил Поночевному.

— В Москву? — спросил Федор Мефодьевич. — Адресок не забыли? Тот, что дал вам майор Кушнир?.. Обязательно зайдите. Так и передайте: помнят и любят...

В Москве я вынул записную книжку и под буквой «В» нашел карандашную запись: «Москва, Арбат, дом № 54...»

Я вспомнил дни на батарее, дни между боями в тиши безветрия и свисте пурги. Вспомнил ночи в прибрежных скалах, солнечные северные ночи и ту ночь на командном пункте, ночь воспоминаний и открытой души. Мы сидели тогда у длинного дощатого стола возле земляной стены, где висит телефон, — дежурный, я и Поночевный. В стороне, на скамейке, молча прислушивался к разговору вестовой Степушонок. Дежурил вежливый старшина Ковальковский, живая летопись батареи. Капитан вполголоса читал мне письма от девушки. Я платил ему таким же доверием: показал фотографию любимой, и мы говорили долго и хорошо о больших чувствах, столь неоценимых в огне войны. Капитан тоже решил что-то мне показать — он открыл ящик стола, не нашел в нем то, что искал, и сердито повернулся к Степушонку:

— Опять хозяйничали без моего разрешения?

— Я убрал его в чемодан, — оправдывался Степушонок. — Чтобы карточки не растаскали...

— От теперь посмотрим, как уберегли, — наверно, половину этих фотографий отдали дружкам...

Степушонок принес из-за перегородки старый дерматиновый чемодан, капитан извлек оттуда серый, невзрачный альбом, купленный где-то в Крыму на набережной с лотка у продавца «солнечных фотоприветов из солнечной Ялты». Мы склонились над его грубыми картонными листами, разглядывая любительские фотокарточки и открытки с виньетками моментального фотографа. Матросские лица, очерченные овалом головки девушек, курсантские группы — на заднем плане я узнал бронзу Исторического бульвара Севастополя, решетку набережной Невы и серую скалу Севера.

— Единственный раз хорошо меня сняли, так это в училище еще курсантом, — капитан показал на лихого матроса в новой форменке и бескозырке с белым чехлом, с буквами «ЛКСМУ» на ленточке. — По крайней мере, приличная физиономия. — Он рассмеялся, перевернул лист и задержался на фотографии какой-то молоденькой девушки: — Хороша? В жизни лучше. Можно надеяться на Хведора Мехводьевича...

Он поспешно перевернул еще лист — полстраницы следующего занимал снимок большой группы краснофлотцев на снегу у моря, капитан стоял в центре, людей рядом с ним трудно было различить, видимо, снимок был сделан

в полярные сумерки. Но и капитан, и Ковальковский, и Степушонок с интересом вглядывались в эту фотографию, водили по ней пальцем, называя имена боевых соратников, друзей — живых и погибших, переведенных на другие батареи и отправленных после ранения в тыл.

— Стульба, Мамин, Кошелев, — перечислял капитан.— Вениамин Кошелев, погиб на днях, знаете? А вот ваш крестник, товарищ Ковальковский, командир орудия Ефремычев.

— Точно, — сказал старшина, — забыть не могу его. Все слышу стон: «Добей, старшина, добей, бога ради».

— Забыть не можете, а письмо написать нет времени?

— Вчера отправил, товарищ капитан. Некогда было.

— Некогда, да еще для товарища без ноги. Знаете, как он вашим письмом там в Тюмени гордиться будет? Дорог, скажет, я всей батарее, не забыли, не вычеркнули!..

Старшина промолчал, капитан, взглянув на пустую часть листа рядом с групповым снимком, спохватился:

— Степушонок! Тут был Виленкин!

— Может, в чемодан выпала, — Степушонок растерялся.— На той неделе вы в руках держали...

— Давайте чемодан...

Карточку не нашли, капитан расстроился:

— Впору запирать КП на замок. Лучшего друга фотографию увели. Это был комиссар мой. Большая потеря для батареи.

— Он что, погиб?

— От меня пошел по госпиталям, ему все лицо изуродовало. А дальше — кто знает. След его потерялся в Мурманске. Знаю, что в госпиталь бомба попала. — Капитан задумался, потом добавил: — Хотя бомба — не семьсот с лишком снарядов. Может, и уцелел. Во время боя он всегда, бывало, на бруствере орудия стоит, информирует расчет — куда какой снаряд немцы положили: «Недолет, перелет, недолет, перелет».

— Давно он ранен?

— Больше полугода. Был знаменитый бой — немцы собирались проводить большой караван и перед этим навалились на батарею. Если бы не Виленкин, вы бы вместе с Ефремычевым погибли, товарищ Ковальковский.

— Верно, товарищ капитан, — вздохнул старшина, — меня так оглушило, что я обо всем потерял представление. Даже кровь не смыл с лица, пока вы потом на КП

не приказали. Чувствую — кто-то лежит на мне, просит добить. Я стал было Ефремычеву сапог ножом вспарывать, слышу голос старшего политрука: что, мол, случилось, давайте скорей в укрытие, иначе вас с сапогом вместе к дьяволу разнесет. Мы в один миг всех раненых в укрытие перенесли. И во-время: тут же по позиции второй снаряд стукнул. Корректировщик им помогал, «Фокке-Вульф-189».

— «Гитара»,— вставил вдруг Степушонок,— или еще «рама» называется.

— Ишь, Степушонок что знает, — насмешливо сказал Поночевный. — Не зря пулеметчиком был.

— Так точно, товарищ капитан, — обрадовался Степушонок. — Второй номер. Вы еще нам по телефону пошутили, чтобы на этой «гитаре» мы жарчей играли.

— Какая же это шутка? Я вам приказал сбивать, а не гонять по небу. Раньше бы сбили, может, и не потеряли бы мы Виленкина...

— Я вынул у него из кителя осколок, вот такой большой, — вспомнил старшина. — А он спокойно крутит папиросу и говорит: «Вот и хорошо, сохраним на память, а теперь понесем с вами раненых на КП». Ну, тут снаряд так стукнул, что я только помню, как с земли подымался: старший политрук рядом лежит, лицо в крови, голова бурая, и, как Ефремычев, стонет: «Глаза... глаза...»

Мы листали альбом и долго говорили в эту ночь о комиссаре Виленкине, обо всем, что так дорого человеку на войне и теплится в его душе живым огоньком.

— Хоть мы и в камнях живем, но ведь не каменные,— сказал капитан.— Взрослые люди вообще не любят объясняться в чувствах. А вот уедет, скажем, Степушонок на курсы младших лейтенантов, — капитан с усмешкой посмотрел на Степушонка, потом бросил взгляд на нещадно коптившую керосиновую лампу, — уедет, значит, Степушонок, пожалуй, помянем его добрым словом да скажем: как это мы его ругали, что он карточку потерял из альбома да лампа у него всегда коптит и в стекле темно, что у негра в носу? Лампу, конечно, он мог и наладить, но парень он, в сущности, был неплохой...

Степушонок схватил старую газету и, осторожно сняв с коптившей лампы стекло, занялся правкой фитиля.

В дверь постучали. Вошел заместитель командира дивизиона майор Кушнир. Он принес с собой ветер и легкий снежок.

— Воспоминаниями занимаетесь? — кивнул он на раскрытый альбом.

— Тут у нас пропажа, — ответил капитан, — карточка Виленкина исчезла. Ты, Семен Абрамович, не брал ее?

— Сам отправил с наградным листом, а наверняка ругал Степушонка, — сказал майор. — Хорошо, что вспомнил о Виленкине. Получил от него письмо! Жив!

— Что ты говоришь?

— Да, да. Жив, пишет, что врачи вытащили из могилы. Операцию делали в военно-морской академии — есть надежда, что будет видеть. Живет в Москве. О награждении надо известить.

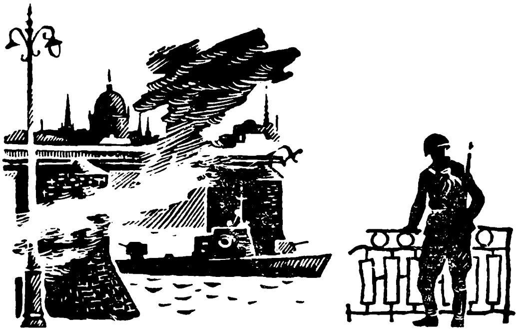
— Адрес есть?

— Конечно. Я думаю, — майор обратился ко мне, — вы, когда поедете в Москву, зайдете к нему?

Я вынул кожаную книжку в красном переплете и под буквой «В» записал: «Москва, Арбат, дом № 54/2, квартира 155, Яков Виленкин».

В Москве я пошел по этому адресу. В светлой комнате на шестом этаже углового дома на Смоленской площади я нашел слепого моряка в синем кителе с нашивками старшего политрука на обшлагах и орденом Красного Знамени на груди, полученным в Кремле, — в июньский день 1943 года его водила туда жена. Орден ему вручал Калинин. Я рассказал ему о батарее, о людях, с которыми он жил и воевал, о тех, кто на скалистой земле у моря Баренца думает о нем.

Июль 1943 года.



ДНЕПР, ДУНАЙ, ШПРЕЕ

КИЕВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Фронтовой дневник

13 *октября 1943 года.* Редактор сказал, что начальник Главпура флота разрешил расширить оперативную зону морской газеты и время от времени перебрасывать корреспондентов на сухопутный фронт. Волга осталась позади, впереди Днепр и Днестр, наступление, в котором будут участвовать и военные флотилии. Пусть будет так. Я убедился, что моряков, воюющих и на Севере, и на Балтике, и на Черном море, интересует не только то, что связано с флотом и флотилиями, но и ход всего наступления, особенно судьба людей в освобождаемых районах Белоруссии и Украины. В редакционной библиотеке Фаня Ароновна Довжик снабдила меня обширными справками о Днепровской флотилии — со времен Петра и до наших дней. В справках мелькают такие слова, как «струг», «кончебас», «дубель-шлюпка», «канонерская лодка» и, наконец, «монитор»; из географических пунктов поминаются больше всего Смоленск, Брянск, Киев, Пинск, Кременчуг и все, что связано с устьем Днепра и Буга, с лиманами, с Очаковом, с Кинбурнской косой. Не думал, что у Днепровской флотилии такая богатая предыстория. В сорок первом году флотилия долго воевала в тылу наступавших немцев, и многие матросы ушли в партизаны.

Вчера в мутный час рассвета летчик связной авиации старший лейтенант Пиряскин из дивизии полковника Шарыкина прочертил на карте в своем планшете кратчайшую между двумя водными рубежами — рекой Москвой и Днепром. Мы вылетели на юго-запад, и час спустя самолет открывал нам — панорама за панорамой — события минувшего лета. Курский выступ. Курская дуга. Прохоровский плацдарм. Орловская битва. Укреплен-

ная полоса немцев, шипами окопов выгнутая в нашу сторону, и черные пятна воронок в ней, окопы и траншеи, клином устремленные то справа, то слева, как таран, во вражеский тыл; новые линии на берегах рек и озер, по опушкам рощ и скатам холмов. Уже дымятся трубы над недавними развалинами. То, что отбито у врага, воскресает. Летчик повел машину ниже, совсем низко над землей, — мы приближались к Днепру. В стороне от дороги больше уцелевших сел, тут немцы бежали быстро, и факельщики не успевали все сжигать. Мы сели посреди огромного летного поля. На аэродроме — множество самолетов, все в движении; когда летчик заглушил мотор нашей машины, мы услышали рев десятков других. Холодный днепровский ветер поднимал над аэродромом туманные облака. Это Киевщина. Пиряскин предупредил: найти ночлег трудно — от соседнего городка осталось несколько домов возле разрушенной колокольни. Он улетел в Москву. На горке у края аэродрома был командный пункт авиации. Два полковника следили за взлетом и возвращением боевых машин. Я спросил, как попасть поближе к Киеву. Один из полковников показал на другой край аэродрома, где стайкой собрались «У-2». Возле них, на листе фанеры, брошенном на свежую, еще не убитую осенней стужей траву, полулежа пристроились летчики «фронтовых мотоциклов». Тут самые свежие вести с Днепра, потому что все эти летчики побывали сегодня и на Днепре и за рекой. Худенький чернявый мальчишка, с которым мне предстояло лететь дальше, сообщил, что утром он был над переправой южнее Киева, туда летело тридцать немецких бомбардировщиков под прикрытием восьми «ФВ-190», с ними вступили в бой наши «лавочкины», отогнали немцев от наведенной переправы, но ему, Полубабину (такова фамилия этого мальчишки), помешало «навязать фрицам бой» то, что за спиной был важный груз. Как настоящий фронтовой курьер, он знал все. «Каждый день в Киеве что-нибудь жгут или взрывают. В деревнях много народа, сбежавшего из Киева через Днепр».

На летном поле появлялись новые машины, вернувшиеся из Заднепровья. Одна из них проковыляла до середины аэродрома и не вырулила в сторону — на помощь ей тут же затарахтел тягач. Полубабин вел счет вернувшимся — вернулись все. Он собрался было вырулить на старт. Но оружейники в эскадрилье бомбардировщиков уже успели подвесить новые бомбы, и старт оказался занятым. Полубабин с досадой махнул рукой — надо ждать.

На фюзеляже его машины нарисован лихой заяц, стремительно прыгающий сквозь кольцо. Я спросил Полубабина, что значит

эта эмблема. «А как же! — сказал Полубабин. — Не знаете? На всех наших примусах такая картинка. Эскадрильей командует знаменитый капитан Зайцев. Не слышали?! Награжден орденом Александра Невского».

Я познакомился с капитаном Зайцевым через сорок минут после того, как терпение Полубабина лопнуло и он выскочил на занятый старт, вырулил, взлетел и доставил меня на лесную посадочную площадку возле линии фронта. Он тут же доложил капитану, что нарушил правила взлета, но сказал, что свободного старта в такой день можно и не дождаться — такая горячая идет работа. Это было в день, когда наши войска в среднем течении Днепра на правом берегу реки южнее Киева развернули серьезные бои за расширение плацдарма, прорвали оборону противника и продвинулись вперед на шесть километров, — так сообщил вечером диктор, читавший сводку Совинформбюро. Разговаривал с Зайцевым пять минут. Он успел сообщить, что летал на «илах», после ранения вынужден был «принять это примусное хозяйство», два брата служат на Черноморском флоте — «один матрос, другой командир крейсера», и улетел куда-то на своем «примусе» с таким же зайцем на фюзеляже, не дав мне спросить: может быть, не крейсером командует его брат, а чем-нибудь поменьше?.. Мы тут же перелетели на посадочную площадочку возле станции Барышевка, куда доносится канонада, посидели у телефона странной односторонней связи — надо ждать, когда сюда позвонят, вызвать другую точку отсюда невозможно; дождались разрешения и перескочили к Днепру. В стороне от нашего маленького самолета под склонившимся уже к западу солнцем блеснула вода, и было трудно ошибиться: это была ширь Днепра, его неугомонная стремнина. Полубабин понимал, что́ нужно корреспонденту — на бреющем он проскочил почти над самым Киевом, дал возможность увидеть сброшенные взрывом в воду фермы мостов, Лавру над обрывом и холмы в сером дыму пожара. Оттуда, из города, с Печерских гор, из-за каменных стен Лавры, била артиллерия, сверкали вспышки орудий, внизу — на воде и на земле — рвались снаряды. Я получил право передать по телеграфу фразу, столь ожидаемую читателем: «Я видел Днепр». Полубабин посадил самолет возле станции Бровары и тут же улетел, оставив меня одного среди обгоревших каменных стен и разбитых печей. Пахнет гарью пожара. Безлюдно.

15 октября. Сейчас утро, я снова в украинской хате, в Красиловке, на «корреспондентской улице» — все дома на этой улице заняты корреспондентами центральных газет. Я поселился у старухи с двумя дочерьми. На стене фотокарточки, технически вы-

полненные отлично. На груди у сфотографированных таблички: «Ост». Это внуки хозяйки, угнанные в Германию. Хозяйка сокрушается: вернутся ли они с неметчины домой, не отступим ли снова?.. Утром в хату вбегает бригадир Дмитро и скороговоркой требует: «Бабка, посылай Ганку, Приську на работу. Картохлю копать». Бабка отрывается от печи, оборачивается к бригадиру и медленно отвечает: «На рабо-оту! Приська пийде, Ганка не може». Бригадир уходит не возражая. Приська идет на огород, а Ганка, чернобровая, с длинными косами, остается на печи. Иногда она слезает и проходит по дому, держась за стены. Сядет у окошка, улыбнется. Улыбка старческая, неестественная. Ганка говорит, что ей больно. Я осторожно спросил ее, почему она так ходит. Она показала язвы на ногах: «На окопах». Но ведь все село ходило на окопы?.. «У меня были добры чоботы. Немец увидел, говорит: «Корош-корош сапок». Я говорю, плох, а он говорит, нет, хороший, снимай. Я побежала, он догнал, поднял споднину и при всех ударил. Сняла чоботы. Он говорит: «Почему Дойчлянд не поехала, скажу господину коменданту». Я кричу: «У меня киндер». Он регочет: молодая, нема киндер. Тогда все бабы закричали — киндер у нее. Он на них как рявкнет, испугались, а Грицаиха сказала: «Беги, Ганка, ховайся». Я взяла на руки хлопчика сэстры Марины, убежала, когда немец не видел. Пошла до села, там снова — окопы роют, другой солдат увидел меня, кричит: «Иди рой!» Я говорю — киндер. Он тоже регочет, киндер рано быть, без киндер в Германию ехать. Схватил мальчишку, бросил в яму, а меня толкнул к окопам...»

Вошла старуха, мать Ганки, девушка так и не досказала про свои больные ноги, залезла на печь...

Но надо продолжить предыдущую запись о ночи на развалинах. Не прошло и двух минут после отлета Полубабина, как из развалин на краю поляны появилась туча оборвышей — малыши в драных ватничках, бесштанные, босые. Вышли какие-то люди в таких же лохмотьях, несколько мужчин и женщин, черные, закопченные, как и все это выгоревшее от фашистской руки место. Один из них, высокий, обросший сивой щетиной, с клюшкой в руках, хромой дядька, успокаивая остальных, сказал:

— Флотский. Це морская одэжа.

Дядька пригласил пройти до хаты.

«Хата» эта стояла рядом, на первом пожарище. Таких «хат» кругом было множество. Подле обвалившейся кирпичной стены — небольшая земляночка, вырытая на скорую руку, в нее вела узкая щель, завешенная рядном. Там было темно и тесно. На соломе копошились люди. Хозяин засветил плошку — подарок

какого-то красноармейца. Женщины развели слабый огонек под жаровней, стало дымно, тяжко дышать. В землянке жили три семьи, остатки трех семей.

Пришлось больше рассказывать, чем расспрашивать. Каждое слово об армии, о флоте, о ходе войны, о событиях за рубежом тут слушали как откровение. Два года жили в абсолютном неведении. Лучше всего им известен Сталинград, немцы в последний год часто между собой склоняли это название. Зарубежные дела известны лишь по косвенным фактам. Двое немцев из Гоголева и Броваров ездили в отпуск на родину, вернулись, напились горилки, плакали, шумели и оба разом застрелились. Крестьянин умеет делать выводы из таких фактов — прошел слух, что англичане дюже гарно бомбят Германию.

Мы просидели в землянке ночь, и всю ночь я слушал про лагерь смерти возле Дарницы, где расстреливали пленных, про Дарницкий бор — место казней, про смерть знаменитой на Киевщине колхозницы Дуни Бессмертной, участницы сельскохозяйственной выставки в Москве. Она шла на эшафот с годовалым ребенком на руках. Ребенка отняли, бросили с высоты помоста на землю, а Дуню вешали дважды — рвалась веревка в руках палача... Под утро я ушел из землянки в Красиловку; вот сижу в хатенке с низким потолком и земляным полом, записываю.

Вчера все корреспонденты были у генерал-майора Т-шкина, начальника оперативного отдела штаба. Его называют «главным дезинформатором прессы»: информируя, он все время боится, как бы через нас что-либо не просочилось к противнику. Поэтому в итоге записано много «эпизодов», но самого главного о боях за Киев он не рассказал. Правда, дополнили офицеры штаба, доверяющие корреспондентам больше, чем их начальник. Советуют отправиться в район Десны, к северному плацдарму. Там действовало соединение Болдырева — бывшая бригада морской пехоты. Мучают сомнения: Эренбург улетел в Москву, Гроссман тоже, Кригер в Москве, туда же собрался Леонид Первомайский, может быть, генерал Т-шкин говорит правду, и действительно штурм Киева откладывается?.. Евгений Габрилович предлагает лететь на самолете «Красной звезды» в район Пятихатки и Кривого Рога, где немцы контратакуют, — это Второй Украинский фронт. Заманчиво, но сначала надо побывать на северном плацдарме. Туда пойдет фургон радиокомитета с бригадой в составе Вадима Синявского, Ардаматского и Кассиля.

21 октября. Нахожусь в 1-й гвардейской Бахмачской артиллерийской дивизии РГК, прошедшей к Днепру путь от Сталинграда через Орел. В этой части 36 Героев Советского Союза,

четверо получили звание посмертно. Связист Чертков, пятидесяти двух лет, когда подошли к Днепру, переплыл под огнем на правый берег с аппаратом и проводом и оттуда корректировал огонь артиллерии. Командир орудия Кашаган Джамангариев из Алма-Аты, герой днепровской переправы, служил под Москвой у генерала Панфилова, один из немногих уцелевших в боях под Воло-



Все, что у нее осталось. Октябрь 1943 г.

коламском. Заместитель командира дивизиона Алексей Лапочкин, в прошлом моряк, капитан-лейтенант. Научился разговаривать по-казахски, в дивизионе много казахов. Увидев на мне морскую форму, то и дело подходят солдаты — или бывшие моряки или братья матросов.

Пришли партизаны из Высшей Дубечни — Терентий Науменко, Карандофилов и Андрей Матюшко. Партизаны сохранили рыбацкие суда, утянули их от немцев — есть на чем переправлять войска. До этого они захватили пароход, добрались на нем до другого, полного солдат и оружия, и оба судна затопили на фарватере, чтобы лишить противника возможности пользоваться рекой.

Сфотографировал девочку возле остатков ее хаты — у печи. Вся ее семья погибла. Ее приютили партизаны.

ДУНАЙСКАЯ ТЕТРАДЬ

На Дунай!

Июнь 1944 года. Снова в Одессу. Самолет идет через Харьков, Днепропетровск, Николаев. На аэродромах, где еще весной были одни боевые летчики и военный народ, только и слышишь теперь: «смета», «стройматериалы», «отоварить», «разместим заказ», «вызову из эвакуации». В Днепропетровске хозяйственник в сером габардиновом клеше повис на винте персонального «У-2», помогая своему летчику запустить мотор. Ручку автомашины он, возможно, и не стал бы крутить, на то — персональный шофер. А летчика чин на учрежденческой лестнице еще четко не обозначился, потому этот хозяйственник старательно гаркал: «От винта!», тужился, терял килограммы в поту, потом отскочил от запущенного пропеллера и полез в кабину, бычась наперекор ветру и прижимая набитый сметой и прочей канцелярией портфель. Штаны его падулись колоколом, когда он, переваливаясь через борт, занес на самолет ногу, как на коня. Военные пассажиры тушуются среди столичных профессоров и уральских инженеров, хотя фронт еще рядом: от Николаева к Одессе самолеты идут на бреющем.

В Николаеве наш «СИ-47» минут сорок ждал заправщика. Летчик, длинный и худой майор Лебедев, повел экипаж и пассажиров к Бугу купаться.

В раскаленной кабине самолета маялась старушка в облезлой обезьяньей шубке: в воздухе она боялась закоченеть, на земле отстать. Под плоскостью, на выжженной солнцем траве спасался от зноя незнакомый армейский

капитан. Я лег рядом. Капитан сказал, что эта старушка вместе с ним летит из Кисловодска: «Купалась там в нарзане». Звания у нее нет, но она хирург и извлекла у капитана из грудной клетки четыре осколка.

— Странно, — сказал он. — На этом аэродроме меня весной ранило. Чуть ли не на этом месте. Я потерял сознание, и последнее, что запомнил,— горящий город. Смотрю туда, где наши спутники купаются, а перед глазами фонтаны грязи и горячий туман.

Часа через два мы были в Одессе. Знакомой дорогой, памятной по апрелю, я шел в город. Мастеровые возились над скелетом трофейного тягача, подбирали последки. Все лучшее сняли фронтовые шоферы. Деревенские девушки грузили на фуру радиатор разбитого «мерседеса». На переезде, где в тупик забились дачные вагоны из Мюнхена, «кукушка» тянула состав с песком и шпалами по второму пути. За переездом стучали молотки кровельщиков и каменщиков.

Одесса не похожа на ту, апрельскую. Город занят генеральной расчисткой улиц и развалин. Начали еще тогда, когда город горел. Колыбанов, секретарь обкома, шел по Пересыпи с пехотой, находил возле пылающих корпусов старых знакомых — рабочих и инженеров, назначал тут же временных директоров и начальников. Когда его помощник буркнул, что была же оккупация и мало ли что, он отмахнулся: «Потом, потом, сейчас огонь надо гасить...»

На улицах много моряков, армейцев и летчиков, но все они тут проездом. Хозяева те, кто вывешивает плакаты «Требуется». Только ранний час начала спектаклей в опере, зенитные пушки над портом, регулировщицы на перекрестках, методичные удары уничтожаемых мин и противодесантные ежи на переполненных пляжах напоминают: фронт близок. В бухте, еще малолюдной, мечутся катеришки. Но два месяца назад опасно было бросить в воду даже камень: мины. Порт расчищен. В штабе базы у контр-адмирала Белоусова, водившего когда-то из Кронштадта в Англию на коронацию короля линкор «Марат», сидят иностранные корреспонденты, сопровождаемые представителем Наркоминдела Саввой Дангуловым. Интервьюируют. Контр-адмирал просит помощи у нас, советских корреспондентов: мы тут были в первый день. Рассказываю представителям союзной прессы о моряках юга,

хотя лучше бы поспрошать о Ла-Манше. Василий Гроссман дает консультации на темы армейские — ему есть что рассказать и про бои на Волге, и про поход армии через весеннюю распутицу к Черному морю. А от офицеров штаба уже слышишь новое: на Днестр, на Дунай. Тут обосновалась Дунайская флотилия. Кочующая флотилия. Были на Волге. На платформах везли катера на Азов. Керчь. Таганрог. Херсон. Теперь их место — Дунай. Пойдут наверх.

На юго-западной окраине Одессы на развалине дома возле шоссе намалевано дегтем: «На Дунай!» Кто пишет эти самодеятельные приказы на пройденных рубежах?! Все началось еще под Москвой. Помню краснофлотца морской бригады, малюющего на окраине Солнечногорска: «Вперед, на Запад!» В бескозырочке с ленточкой «Тихоокеанский флот», с обмороженными ушами, но при полном флотском шике, так дорого стоившем в ту зиму морякам, он под этой своей надписью оставил и мету — ловко нарисованный якорек. А теперь безвестный фронтовой маляр пишет кистью точнее: «На Прут!», «На Днестр!», «На Дунай!».

Фронт вдоль берега Днестра выдвинулся по низовьям на Измаил. За Днестр вынесен небольшой, с ходу захваченный плацдарм. В гирле реки — нынешний левый фланг. И раз уж в редакции решено, что это мой пунктик, надо двигаться туда, где фронт упирается в море. На Севере проще — там правый фланг на самом рубеже. Здесь фланг в движении. Оно означает возвращение флота, наступление. Возвращение многих на те боевые рубежи, с которых их сбил сорок первый год.

Над Царьградским гирлом

Матрос Сероус из штаба Дунайской флотилии вел машину от Тирасполя к Царьградскому гирлу без карты, словно не три года назад, а вчера отступал отсюда за Днепр и на Кавказ. По выжженным степным дорогам мы въехали в зеленый Приднестровский край. Белые молдаванские хаты дрожали от гула орудий. Улицы Овидиополя, чистенькие, пустынные, но в воронках от снарядов и мин. Женщины и дети в тылу, в безопасности, возле хат остались старики, они сидят с высокими посохами в руках и не хотят никуда уходить.

Под зрелыми абрикосами, среди кустов роз замаскированы штабеля снарядов, орудия и стереотрубы. Горит костер под черным чугуном, в котором матросы поста СНиС варят абрикосовый компот. Сахару мало, компот кислый, но все же похоже на флотский порядок. Спрашиваю у Бориса Боброва, старшины 1-й статьи, начальника поста, бьют ли сюда немцы. Бобров говорит: «Сейчас сюда не кладут. Только по дорогам. Чем-то заняты — передвижки, переезды, можете посмотреть в стереотрубу». Вижу в замаскированную стереотрубу: идут вдоль правого берега две БДБ, ползут эти баржи медленно, осторожно, побаиваются — теперь не Анатолия Вязметинова, господствовавшего на том лимане, на Кинбурне, а лейтенантов Стеценко и Гармоты: их батареи господствуют теперь над левым флангом. Стеценко здесь же, в районе Овидиополя. Ниже на лимане расположился УР — армейский укрепленный район, формирование чисто оборонительное, пограничное; он, как и Дунайская флотилия, был кочующим — отходил до Волги, вернулся на предвоенный рубеж гвардейским.

Мы возвращаемся с Сероусом на фронтовую дорогу и едем вниз, к морю. Дощечки извещают, где комнаты отдыха для офицеров и бойцов, где под полевыми шатрами можно заправиться человеку и машине. Возле КПП на стендах «Окна ТАСС», сводки с других фронтов и сообщения из-за рубежа. Читают путники, приговаривая: «Наш Глаголев-то в Белоруссии», «Наш Плиев обошел Минск». Теперь другие армии входят в состав фронта Толбухина. За холмами, за околицами селений спрятаны колонны грузовиков, как в Крымских горах накануне штурма Севастополя. Всюду под абрикосовыми деревьями орудия и снаряды. Громадные понтоны сливаются с зеленой местностью, к ним прижались машины-амфибии. В камышовых заводях накапливаются лодки, плоты, всевозможные катера — хозяйство переправы, уже испытанное на десятках рек. Это армия генерала Шлемина готова форсировать Днестр. В расщелинах берега повсюду у стереотруб матросы. А в сводках с этого фронта повторяется одна и та же строка: «Ничего существенного...» Враг и тот знает, что это значит: канун броска. Теперь они уже не могут предотвратить наших бросков.

В Каролино-Бугаз мы приехали рано утром. Сережа Сероус завернул машину к морю и сказал:

— Должны быть здесь. Три года назад я приезжал сюда на пост за Андрюшкой Филатовым, возил его в Аккерман. У него не глаза, а линзы. Армейцы пригласили его в Аккерман на два часа: он высмотрел две замаскированные батареи, армейцы их трахнули, а нам по полтораста грамм с зáкусом. Мне, как шоферу, нельзя, отдал Андрюшке. Едет пассажиром и измывается надо мной. Теперь он не Андрюшка, Андрей Никифорович, начальник поста.

Мы нашли Андрея Филатова там, где и предполагал его найти Сероус: на старой позиции над морем, у пеленгатора, нацеленного на какое-то судно вдали. Он сказал, что отстоял здесь до войны ровно тысячу вахт — вернулся, будто не уходил. Только сады запущены, частично сожжены. А земля прежняя. Филатов и его помощник краснофлотец Салих Кономатов и были в этот день, 16 июня 1944 года, левофланговыми всего советско-германского фронта.

Справедливости ради Филатов сказал, что настоящим левофланговым он считает гвардейский батальон Краснознаменного УРа — батарея старшего лейтенанта Хаббибулина из этого батальона стояла прежде на Кинбурнской косе, а стрелковые роты шли берегом Черного моря, воюя бок о бок с матросами Котанова.

Батальон занимал позиции правее поста Филатова, но впереди, на самом берегу Днестровского лимана, у Царьградского гирла. Там, на песчаной косе, открытой наблюдателям противника, расположилась рота старшего лейтенанта Леонида Пархоменко. Чтобы добраться до ее боевых порядков, пришлось попросить огонька у минометчиков.

Был знойный день. Над косой стоял отвратительный густой дух — немцы, отступая, расстреляли тут табун лошадей, их трупы занесены песком. Расчистить косу сейчас невозможно. Стóит подуть ветру — он поднимает песчаные тучи, песок заносит снарядные ящики возле трофейной зенитной пушки, в песке землянка. К берегу лимана у гирла приткнулись подбитый пароход и баржа. На лимане остатки разбитого моста, а на той стороне, всего в двухстах метрах от нас, здание санатория и рыбацкие домики. Изредка там перебегают немцы. Птица улетела от нас, и минуту спустя она уже была над НП противника.

Командир роты жил в полуразрушенном вагоне. Тут на ветке над самым лиманом немцы бросили железнодорожный состав с самоходными пушками и химическим имуществом. Из этого состава гвардейцы наскребли четыре сверхштатные батареи трофейных орудий, главным образом французских, двадцатимиллиметровых, полностью обеспеченных боеприпасами — экономить не приходится, в армейских фондах снаряды не учтены. Наиболее спокойное место здесь — ремонтная яма под паровозом, куда мы спустились с Пархоменко для перезарядки фотоаппарата. Прохладно и безопасно, только дух тот же. Над нами — наблюдательный пункт роты — в будке машиниста и в паровозной трубе — туда, как перископ, поднята стереотруба. Пархоменко много времени проводит теперь у стереотрубы или с биноклем в паровозной будке и под разбитыми платформами. В роте говорят: раз лейтенант не уходит с линии — будет дело. Рота охотно покинет эти смрадные позиции, но только для того, чтобы двинуться вперед к Дунаю.

Прощаемся: до встречи за Днестром! Меня перебрасывают на Третий Белорусский фронт. Там намечается балтийское направление. Но к Дунаю я еще вернусь.

Добре дошли!

В Бухаресте военные корреспонденты и кинооператоры поселились в отеле «Амбассадор» — с ванными, горячей водой, лифтами и телефонами. Первый такой город на фронтовом пути: не разрушен, магазины торгуют, рестораны работают и после полуночи, улицы ночью освещены, с утра бегают газетчики, выкрикивая сногсшибательные новости из свежих газет, а у королевского дворца вышагивают картинно одетые часовые. Король Михай, говорят, молодой, живет в загородной резиденции с библейским названием «Синай», — может быть, поэтому нас пускают во дворец без препятствий. Там уже побывали матросы из одесской военно-морской базы и обнаружили свою пропавшую кинопередвижку. Михай просил оставить ему передвижку, предлагая взамен любую киноустановку из дворца в столице.

10 сентября 1944 года мы узнали, что в Болгарии революция: царь, регенты, министры, сотрудничавшие вопреки воле болгар с германскими фашистами, сброшены

Отечественным фронтом — так именуется коалиция различных партий во главе с Рабочей партией Болгарии. Из штаба Второго Украинского фронта нам выделили «студебеккер». 18 корреспондентов и кинооператоров уселись в грузовик и отправились к границе между Румынией и Болгарией. Есть ли по ту сторону наши войска — никто еще не знал. Старший группы — Вадим Кожевников, специальный корреспондент «Правды».

В румынский пограничный городок Джурджу мы приехали поздно вечером. Городок спал. Лучи фар выхватывали из мрака его узких улиц огромные кричащие вывески. На перекрестке мы осветили молоденькую регулировщицу в берете, такую же, как всюду на дорогах Кавказа, Молдавии и Украины.

— Здорово, землячка! — окликнул ее шофер. — В Болгарию куда?

— Направо, — по-деловому ответила девушка и так непринужденно выставила вправо флажок, будто всю жизнь только и указывала путь из страны в страну.

— Настя рязанская над Дунаем, — шофер рассмеялся. — Как у себя дома. Небось вся полиция перед ней шапки ломает. Вот времена пошли!..

Плутая в поисках переправы по захламленной набережной румынского порта, мы набрели на двухэтажное здание с балконом на реку. Красный огонек над балконом свидетельствовал, что там кто-то есть. Наверх поднялись осторожно. В лицо неожиданно блеснул фонарик.

— Да ведь мы старые знакомые, товарищ капитан! — заговорил по-русски светивший. — Лейтенанта Стеценко помните?..

Я помнил юношу, командира батареи Дунайской флотилии, тяжелой батареи — не по его годам. Тяжела она была, когда пришлось отступать — от Измаила до Одессы и от Одессы до Туапсе. В июне сорок четвертого я встретил Стеценко под Аккерманом на Днестре. Он тогда сказал: «Черт возьми, пушки, что ли, легче стали? Прыгаем десантами из порта в порт. Как полагаете, не поставят тут, у Царьградского гирла, наш калибр на стационар?»

— Значит, не поставили на стационар, теперь пойдете на Измаил?

— Какой там Измаил! — сказал Стеценко. — Измаил внизу. Нахожусь на международном положении: одно орудие в Румынии, другое — в Болгарии.

— Где же вам больше нравится?

— На ридной Украйне, — Стеценко рассмеялся. — Но, говорят, Дунай до Вены судоходен. И даже выше...

Он повел нас к берегу на переправу. Старенький румынский буксир потянул паром на ту сторону Дуная. Румынский берег исчез во мгле. На болгарской стороне сверкал огнями город Русе — Рущук.

Вторые сутки в Рущуке действовала совместная советско-болгарская комендатура. Еще были тут чины в старо-российской форме и даже городовые. Трудно было разобраться, кто сотрудничал с немцами, кто был нейтрален. Но их уже оттесняли массы простых болгар, партизан, спустившихся с гор, крестьян, рабочих, солдат с двумя буквами на повязках: «О. Ф.» — Отечественный фронт. Утром у дома, где мы ночевали, собралась толпа. Нас забросали листовками Болгарской рабочей партии. Я спрятал такую листовку на память. Вот ее текст:

ТОВАРИЩИ КРАСНОАРМЕЙЦЫ,

Второй раз в истории Болгарского народа раньше наши отци, а тепер мы встречаем Вас как освободителей. Приветствуем Вас с приездом! Здравствуйте товарищи!

Это было начало. Майор Яков Семенович Янковский, наш комендант в Рущуке, не мог сказать, что происходит на дороге в Софию — наших войск дальше не было. Мы колебались — все-таки война, незнакомая страна, где несколько лет хозяйничали германские фашисты. Но у нас был приказ из Политуправления фронта ехать в Софию. Комендатура выделила нам несколько легковых машин.

По совести говоря, я чувствовал себя человеком, едущим, как у Ильфа и Петрова, «впереди автопробега». Будто бы пожинаешь лавры, предназначенные другим. С 9 сентября день и ночь по всем дорогам возле арок, увитых цветами, толпы болгар ожидали Красную Армию. Никто не хотел слушать, что мы только корреспонденты — на нас была советская военная форма, и нас принимали жарко, как офицеров армии-освободительницы. Вытаскивали из автомашин, несли на руках, качали, обнимали, целовали, поднимали на импровизированные трибуны и требовали сказать хоть несколько слов по-русски. «Всичка хуба разбирам!», — хором кричали болгары, когда кто-либо из нас мямлил про незнание болгарского

языка. Действительно, мы понимали друг друга отлично, не только потому, что корни языка общие, но и потому, что здесь произошла настоящая народная революция. «Добре дошли!» и «Смрть на фашизма!» — эти пять слов, слышанных и читанных тысячи раз, не забудутся, наверно, всю жизнь.

В Софии 12 сентября во всех газетах появилась наша коллективная фотография и сообщение о том, что первые советские офицеры прибыли в болгарскую столицу. Мы были огорошены: не воспользуются ли этим сообщением недруги в западной прессе, не истолкуют ли его как вмешательство армии в болгарскую революцию?! Нас собрал Вадим Кожевников, и мы договорились держаться вместе, газет своих пока не называть и вообще не «выпячиваться». Но что поделаешь, коли увлеченные радостными событиями болгары не считались с этими тонкостями дипломатии и нашей боязнью, они просто от души приветствовали советскую военную форму.

Мы стояли стайкой на площади у царского дворца, возле огромного «тигра», захваченного восставшими, жадно, но растерянно поглядывая на возбужденную толпу, на молодых людей с красными повязками, снующих в массивных дверях какого-то министерства, кажется военного. Нам предстояло пойти на прием, мы к этому готовились, гордились и трепетали — шутка ли, первый прием советских людей у военного министра новой, революционной власти. Дверь, за которой мы следили, распахнулась, и оттуда на площадь вышел — меня подтолкнули коллеги,— вышел наш матрос, в бескозырке, в бушлате, из-под которого, конечно, выглядывал краешек тельняшки, только штаны на нем не наши: серые суконные брюки были заправлены в щегольские сапоги. Я быстро подошел к матросу, он не дал мне вымолвить слова, обнял, расцеловал, потом вытянулся и доложил, что является бойцом 384-го Отдельного батальона морской пехоты Героя Советского Союза майора Федора Евгеньевича Котанова, следует после выздоровления из госпиталя в болгарский порт Варна, где, по его сведениям, должен высадиться этот батальон. Был только что на приеме у военного министра — до нас был. Тот ему и подарил новенькие штаны с сапогами — не посмел отказаться из уважения к революции. Из госпиталя он прибыл в Констанцу, узнал там, что батальон ушел в море, в десант. Сел в поезд — поезда

ходили без задержки. Болгарские железнодорожники пленили его — довезли до Софии, как первого советского бойца на территории революционной страны, сбросившей оккупантов. Теперь он, разумеется, намерен следовать к месту службы...

На другой день болгарские газеты дали полный список и нашей корреспондентской группы, полученный у нас репортерами хитростью: нас поместили в отель «Болгария», наполовину разбомбленный американцами, и мы поверили, что для «прописки в номерах» нужны наши имена. В газете было напечатано: «Майор В. Кожевников («Правда»), майор М. Сиволобов («Правда»), майор П. Белявский («Известия»), майор В. Лясковский («Комсомольская правда»), капитан Р. Июльский («Комсомольская правда»), майор К. Сухов (ТАСС), майор Е. Капланский (ТАСС), И. Константиновский (Радиокомитет), капитан В. Рудный («Красный флот»). Кинооператоры военной хроники: капитан 3 ранга В. Микоша, капитаны А. Кричевский и Д. Рымарев. Военные фотокорреспонденты: капитан С. Коротков («Правда»), капитан О. Кноринг («Красная звезда»), старший лейтенант Б. Лосин (Фотохроника), капитан А. Григорьев («Фронтовая иллюстрация»)». Несколько позже, на шоссе по дороге в Бургас я показал эти газеты командиру мотомеханизированной бригады, стремившейся в Софию: он не верил, что корреспонденты побывали в болгарской столице до него. Прочтя газеты, он тихо сказал: «Значит, салюта не будет?» Мы с кинооператором Рымаревым подтвердили, что салюта не будет, Софию освободила революция. Но каждый житель Болгарии понимал, что своим успехом болгарская революция обязана героической Красной Армии.

Я проехал всю Болгарию — от Рущука до Софии, от Софии до Казанлыка и Бургаса и от Бургаса до Варны и Добруджи, иногда путь лежал через села, куда Красная Армия еще не заходила, но всюду ее ждали и не уставали ждать, советский и болгарский флаги были рядом на каждом перекрестке, на каждом доме, буквально на каждом дереве у дороги, и толпы людей неделями дежурили у околиц в надежде встретить представителя родственно-близкой страны-освободительницы, как называли везде нашу Родину.

В городе Тырнов владелец одного магазина вывесил в витрине номер «Известий» двухлетней давности, — это

сделало магазин самым популярным среди населения, тем более что сохранять этот номер в годы оккупации было рискованно.

В городе Карлов в Розовой долине во время обеда в придорожном кафе ко мне подошел какой-то старик, обнял, вылил на китель флакончик розового масла, расцеловал и, не сказав ни слова, быстро ушел. В городе Пирдоп юноша, бывший матрос болгарского флота Иван Анастасов Тутев, подарил мне на память свою фотографию. Четырнадцать месяцев он просидел в тюрьме, осужденный на 15 лет каторги за томик Пушкина на русском языке, найденный у него под подушкой в кубрике. В партизанских отрядах были крестьяне, учителя, врачи, разоренные фашистами торговцы, солдаты, не желавшие участвовать в походе против греческого и югославского народов.

Мне рассказали в Софии о народном герое Славчо — учителе и студенте права. Два года назад он создал партизанский отряд, выросший в бригаду, действовавшую в Западной Болгарии. К бригаде Славчо присоединился батальон солдат, посланный правительством филовых и божиловых в Югославию против войск Тито: командир батальона Дича Петров увел солдат с фронта, уничтожая оккупантов, пробивался через Грецию и Македонию, чтобы сражаться против фашистов на родине. Я разговаривал с болгарским поэтом и журналистом Веселином Георгиевым, мужественным юношей, известным среди партизан под именем Андро. Это он и его товарищи поймали Богдана Филова — местного квислинга. Георгиев рассказал, как возник его отряд. Их собралось пятеро с одним пистолетом калибра 6,35 и двумя патронами. Годен ли пистолет, никто не знал, проверить — жалели патроны. Напали на полицейский участок, раздобыли пять автоматов и тогда решились проверить пистолет: он не стрелял. Так возник один из крупнейших партизанских отрядов в районе Софии...

...В черной туманной пелене возникла бухта. Далеко в море уходят ее утесы. В котловине на берегу — портовый город. Бургас. У пирса трофейные буксиры и катера, высадившие сюда батальон Котанова.

К одному матросу подбежал пожилой болгарин, обнял его:

— Добре дошли! Приветствую братушку от партии Звена!

— Это какая такая партия? — матрос насторожился. — За Гитлера или против? — Услышав ответ, он при одобрении окружающих сказал: — Ну, раз против — давай расцелуемся. Коалиция, значит!

Майор Котанов, стоя рядом со мной, искоса наблюдал за этой сценой.



Котанов с матросами в Бургасе. Сентябрь 1944 г.

— Дипломат,— сказал он.— Не десантный батальон у меня теперь, а дипломатический корпус. Понимают ребята, что за границей и бдительность нужна, и такт нужен.

* * *

Мы все волновались: получат в наших редакциях «радиоперехват», и каждый из редакторов скажет себе: «Я же его не посылал в Болгарию! Кой черт его понесло туда?!»

В Софии два дня мы были именинниками, на третий день туда залетел случайно фронтовой «дуглас» да еще с женщиной в экипаже, и мы отошли на задний план — банкеты прекратились. Наконец мы все вернулись в Москву — каждый своим путем. Да, в редакции читали «ра-

диоперехваты». Степан Сергеевич, заместитель нашего редактора, прищурился, назвал ореликом и сказал, что пока материал не требуется, можно пока посидеть дома. На третий день после этого вынужденного отдыха я позвонил Вадиму Кожевникову. Он сказал, что был у А. С. Щербакова, начальника Главпура, тот одобрил нашу поездку. Можно писать. Но время шло. Уже надо было лететь на новое направление — сначала на балтийское, а потом на Дунай, под Будапешт.

Фронтовой дневник

20 декабря 1944 года. Несколько дней не записывал — скверное настроение. Ежедневно с утра и до вечера дежурю на аэродроме: Трансильванские Альпы закрыты облаками и самолеты в Венгрию, где идут бои за Будапешт, не выпускают. Сидим неделю в Бухаресте, в маленьком отеле «Рояль-Палас», специально отведенном для экипажей московских «дугласов», ожидающих погоду. В лифте объявление: «Правление отеля извещает господ русских офицеров, что отель реквизирован для нужд советского военного командования. Господам русским офицерам платить за каморы не надо». И дальше, словно под диктовку наших коммунхозовцев: «Правление извещает господ русских офицеров, что не может нести ответственности за сохранность багажа, и обратилось с просьбой к военному командованию установить охрану». В августе, когда я жил в шикарном «Амбассадоре», подобных объявлений не было. Корреспонденты провинились перед хозяином «Амбассадора», увезя на память фирменные ключи от номеров почти целого этажа. Владелец и портье тогда еще не очнулись от первого шока, связанного с приходом нашей армии, они пускали всех, кто говорил по-русски и требовал номер — так их приучили немцы; был там и мой старый знакомый Наумиков, неожиданно прилетевший в Бухарест «на фронт» и заявивший, что хочет «участвовать в наступлении». Правда, больше я его в этих краях не видел, ожидает в Москве, когда армия возьмет Будапешт и Вену. Впрочем, в Будапеште, очевидно, иная обстановка — там жестокие бои, разрушения, а Бухарест освобожден нашей армией целехоньким. Только на окраинах разрушения, там бомбила авиация союзников. Городская буржуазия, лавочники, владельцы кабаре и ресторанов уже очухались и поднимают головы. Работает черная биржа, рядом с банком — биржевое кафе, муравейник дельцов. В шумном торговом квартале поперек улицы

огромные вывески: «Здесь говорят по-русски»; кажется, они тут висят вечность, хотя, несомненно, раньше на этом месте было: «Здесь говорят по-немецки». У дверей отеля толкутся комиссионеры, сватая все что угодно: наборы открыток, богатых невест с недвижимым приданым, жаждущих застраховаться покровительством советского офицера, пикантные встречи и леи в обмен на рубли. Тут же предприимчивый врач-венеролог, объяснивший, что русский язык он изучал в Одессе во времена «Транснистрии», вручает каждому входящему в отель и выходящему свою визитную карточку с адресом.

В кинотеатрах идут американские боевики. «Она отравила его газом ради любовника, а любовник отверг ее ради другой, которая по его вине попала под автомобиль», — так перед сеансом объяснил «господам русским офицерам» содержание фильма услужливый владелец кинематографа. В другом кино смотрел американский боевик из жизни летчиков: летят, бомбят, горят, падают, чинят, сбивают, бомбят, снова летят — примитивно, но любопытны съемки боев, авиационного быта и особенно бомбежки японской эскадры. Выходит много газет, газетчики бегают по улицам и вопят «о капитуляции Германии» — уже два раза появлялось такое сообщение. Тираж, разумеется, раскупают. Возле типографии газетчики лупят друг друга пачками свежих вечерних выпусков разного политического направления. Один из них объяснил мне, что газеты, дабы вовремя попасть в провинцию, выпускаются с датой на сутки вперед, возможно, потому и сообщения, в них печатаемые, опережают события.

Ездил в мрачный день, когда погода была определенно нелетная, в городок в сторону Темишоары вместе с кинооператором Кубой Берлинером на его автомашине. Мы постучались в богатый дом, желая поставить во двор машину и переночевать. Дверь открыл солдат — «ордонанс дона капитана». Дон капитан на фронте в новых румынских формированиях, помогающих Красной Армии. Его супругу обслуживает ордонанс, здесь у каждого офицера два денщика, а у каждого генерала — четыре. Целая армия холуев за народный счет. Это еще осталось от старого. За спиной солдата показался высокий седой человек, хозяин, — как мне показалось, маленький помещик. Выяснилось, что он бывший кавалерийский капитан, в отличие от своего зятя нас не поддерживает. Он все время что-то кричал, размахивая записочкой примаря: квартира занята, ночевать нельзя. Но как только я показал ему случайно попавшее под руку удостоверение московской газеты на английском языке «Москау Ньюз» — я им иногда корреспондирую по просьбе Совинформбюро, — он бросился ко мне,

сказал «Энглез», потащил в комнату. Словом, мы получили ночлег, а мой друг кинооператор, поскольку он без погон, вынужден был выступать в роли моего «ордонанса», таскать дрова и растапливать печку. Хозяин спросил вдруг, как будет по-английски «тепло». Не моргнув, я ответил: «Соу». Сошло. Утром, когда мы возвращались в Бухарест, он с подозрением нас разглядывал, особенно моего «ордонанса», брюнета, и шофера, курносого. На «энглезов» не похожи

...А сегодня, кажется, летим в Сибиу. Дали погоду.

21 декабря. Симунин набрал высоту в три с половиной тысячи метров, и мы благополучно перелетели над Трансильванскими Альпами, покрытыми снегом. На такую высоту я поднимался до войны только с парашютистом Евдокимовым на самолете «Р-5», когда он прыгал затяжным прыжком «ласточкой». Внизу густые облака, но впереди над облаками торчат более высокие вершины — летчик решил заночевать в Сибиу. В отеле «Римский император» предложили номер, но за него надо платить леями, а у меня их нет. Комендант направил на частную квартиру.

Большинство населения здесь немцы, и город по-немецки называется Германштадт. Доктор Эрнст, гинеколог, «ассистент берлинской клиники женских болезней», как он представился, устроил мне постель в приемной перед кабинетом. Жена доктора — подвижная высокая блондинка, учившаяся в Вене в Академии художеств, старательно штудирует русский язык. Доктор сообщил, что у него квартирует некто Евгений Евгеньевич, «полурусский, полуеврей, уроженец Сочи, сидел в Темишоара в концлагере, теперь учится здесь в университете». Мне тут же показали изящно переплетенную «книгу для наших гостей» — в ней автографы двух групп русских офицеров. Господин и госпожа Эрнст надеются, что завтра и «господин маринекапитан» оставит здесь свой автограф.

24 декабря. Венгрия. Обстановка фронта. Пленные и беженцы на дорогах. С аэродрома на мотоцикле добрался в морозный день до селения Тиссафельдвард, где находится Военный совет и оперативный отдел Второго Украинского фронта, штурмующего Пешт. Буду берет Третий Украинский фронт. Дунайская флотилия — своеобразный мост между фронтами. Ее штаб на правом берегу. Генерал Селезнев, начальник штаба 5-й Воздушной армии, сказал, что могу не спешить, до середины января Будапешт не возьмут, сейчас дело не в Будапеште — два фронта кольцом охватывают большую немецкую группировку. Мне рассказали здесь историю генерал-майора Маргелова, командира дивизии в 10-м корпусе на Втором Украинском фронте, его имя часто поми-

нается в приказах. Маргелов был балтийским матросом, попал в морскую пехоту, остался в сорок первом году с отрядом в окружении на эстонской земле, принял на себя командование и действовал в тылу противника настолько удачно, что ему присвоили звание капитана и утвердили командиром части. Зимой он воевал на оккупированном балтийском побережье, вывел часть из окружения да еще доставил в Ленинград обоз с продовольствием. Ему присвоили звание майора, назначили командиром пехотного полка. Командующий флотом, поздравив его, предложил батальон морской пехоты. Маргелов остался в армии, рассердив прежнее начальство, назвавшее его «штрейкбрехером флота». Потом он форсировал Днепр, стал Героем Советского Союза, полковником, ныне генерал, командир дивизии, но флот он любит до сих пор, хотя на его письма с Балтики не отвечают. А в дивизии все солдаты говорят: «Наш генерал — матрос».

Генерал Леонов в штабе фронта дал мне «У-2», летчик Беляков доставил на правый берег, и вот я наконец в Дунапентеле, в штабе Дунайской флотилии. Живу в доме крестьянина-колесника Йожефа, который в ту войну побывал в России в плену — в Челябинске, в Перми, в других городах. Его дочь Элен работает сейчас в нашем госпитале. Топится железная плита, хозяйка предложила постирать мне, если нужно. Йожеф неплохо отзывается о Хорти — «адмирале без флота», но фашиста Салаши, главу «Скрещенных стрел», называет «прохвостом, по которому плачет веревка».

Командующий флотилией адмирал Холостяков познакомил меня на карте с обстановкой и обещал завтра перебросить в керченскую бригаду бронекатеров к Павлу Ивановичу Державину, у которого я бывал в сорок втором году в Туапсе, в дощатом бараке среди портовых развалин — тогда он командовал дивизионом.

26 декабря. Мороз, ветер. Катерники боятся, что Дунай скоро станет. На бронекатере лейтенанта Фризе — с бородкой и мутноватыми глазами, он удивительно похож на Ивана Петровича Щербановского — мы поднялись вверх по реке, к Надь-Тетеню, предместью Будапешта. На нашем катере Державин, следом шли другие бронекатера. Двигаться по реке — это не значит приближаться к цели по прямой. Недаром реку здесь зовут «кривым морем». Мы шли против течения, разбивая встречные еще хрупкие льдины, рассекая «сало». Мой чемоданчик, поставленный на ветру у носового орудия, обледенел и стал шершавым. Бронекатер замаскирован кустарником и похож на плавучий островок. Тут везде кусты и камыши, потому немцы, бомбя переправы, не

находят катера. В районе Надь-Тетеня катера остановились и открыли из «катюш» огонь по острову Обудай.

Потом я спал в кубрике на катере командира отряда Макоберидзе, когда проснулся, узнал, что Державин с остальными кораблями ушел вверх. Зашагал берегом и сразу понял, что без дороги и троп идти не так просто: ямы, колючая проволока, зигзагообразный ход сообщения между окопами полного профиля тянется на многие километры — это вчерашняя немецкая оборона. Быстро наступила ночь, но светила луна, и стало жутковато: холодная луна, шуршащая льдом чужая река, чужой берег в проволоке, вдали ракеты, трассы огня — я прошел всего километров пять, но мне казалось, будто все десять и вот-вот я войду в Будапешт, произойдет неприятная встреча... Как на Кинбурнской косе, когда я шел и боялся, не украдут ли меня в камышах немцы. Хотел повернуть обратно, но услышал шум моторов, истошно закричал: «На катере!», никто, конечно, не откликнулся, но я побежал на звук, два раза упал на проволоку и добрался до стоянки. Потом по какому-то поселку, стуча в окна и пугая жителей, искал Державина, нашел, он повел меня на катера — ночью «катюши» вели огонь по фашистским позициям. А под утро пришел полковник — начальник артиллерии корпуса — и поблагодарил катерников за хорошую артиллерийскую поддержку.

27 декабря. Павла Ивановича Державина любят в бригаде. Он в двадцать шестом году окончил в Балаклаве водолазную школу, спускался на глубину до тридцати четырех метров, потом попросился на Дальний Восток и хорошо «познал Японское море в разрезе». Служил боцманом на «Воровском», перешел с этим кораблем в погранохрану, ходил задерживать хищников-краболовов. С Дальнего Востока он попал на охрану черноморской границы, а потом — фронт. Державин участвовал в высадках всех десантов под Новороссийском, за высадку на Мыс Любви был награжден орденом Суворова, но не успел его получить, ушел с катерами в район Керчи... Он Герой Советского Союза. Сегодня при мне произошло нечто, сразу раскрывшее его характер.

Приехал глуповатый паренек «с полномочиями Военного совета флотилии» — несколько дней назад мы с ним ночевали в Дунапентеле у крестьянина-колесника, он говорит, что там все дома теперь разбиты бомбами вдребезги, а о колеснике и его семье ничего сообщить не может. Паренек не воевал, но лихо пошел по канцелярской стезе, держится с апломбом, «начальственно». В его присутствии Державин весело рассказывал историю про неудачную тренировку азовского десанта в сорок втором году — десант не состоялся. Тренировкой занимался человек

до того нудный, что его все прозвали «холодец». Боцман докладывает ему свои соображения, а он в ответ: «Вы удачно подхватили мою мысль, товарищ боцман». Но все переиначивает по-своему. Терпение у боцмана однажды лопнуло, и он сказал: «Личный состав больше не в состоянии подхватывать вашу мысль, товарищ Холодец». Боцман оговорился, но товарищ тот обиделся. Державин рассказывал эту историю ночью людям, уставшим от только что проведенного боя и благодарным своему командиру за то, что он их развеселил. Только паренек с полномочиями, чувствуя себя «представителем», мрачно молчал, потом что-то промычал о нравственности и безнравственности и, поскольку никто его всерьез не принимал, решил «нажать на педали» и заявил, что в бригаде «по его данным» не все благополучно. Державин изменился в лице и потребовал сказать яснее. Говорить нечего было, но парнишка не мог уже остановиться. Он не ожидал, что Державин вызовет шифровальщика, продиктует радиограмму в Военный совет и удалит из бригады «представителя». В пареньке заложено что-то чиновничье, он считал, что одни лишь «полномочия» должны приводить нижестоящих в трепет. А когда все так повернулось, он стал просить перед всеми извинения. Державин сказал: «Мальчишка! Я не в белых перчатках пришел на флот, хоть и Державиным зовусь. Я матросом, боцманом был, — это не фунт изюму, а изюма фунт — дойти до комбрига и капитана 2 ранга. Бригада пять благодарностей имеет от Верховного Главнокомандующего. А ты часа не пробыл в бригаде и ее позоришь». Он налил чарку, чокнулся с лампой, сказал: «Будь здоров, Павел Иванович», выпил, вызвал шифровальщика и отменил радиограмму. Хорошо, если для паренька это послужит уроком.

Всю ночь бьют орудия. Танковый бой. Стоит невообразимый гул.

31 декабря, 23 часа 55 минут. Канун Нового года. Нахожусь в 83-й Новороссийской дважды Краснознаменной ордена Суворова бригаде морской пехоты на окраине Буды. Когда-то она состояла из черноморцев, теперь моряков в ней мало. Дмитрий Дмитриевич Мартынов, командир батальона, в начале войны главный старшина, теперь майор, всегда идет впереди атакующих, участвовал почти во всех десантах на Днестре, в низовьях Дуная, на Драве, в Вуковаре. Его любят разведчики — авангард бригады. Командует бригадой полковник Леонид Константинович Смирнов, в прошлом пограничник, в сорок первом году служил в Московской комендатуре. Он человек экспансивный, напористый, хорош во время штурмов, но основной воз на себе тянут работники штаба, опытные кадровые офицеры. В штабе есть

«группа малоземельцев» — так называют офицеров, воевавших на Малой Земле под Новороссийском. Это майор Петр Татаринцев — начальник оперативного отделения, гвардии подполковник Иван Пруссаков — зам. комбрига, майор Загреба — начальник разведки. Начальник штаба — полковник Власов. Бригада входит в состав Дунайской флотилии, но оперативно подчинена Третьему Украинскому фронту. Ее используют как штурмовую силу, пробивающую правому флангу фронта путь вдоль Дуная.

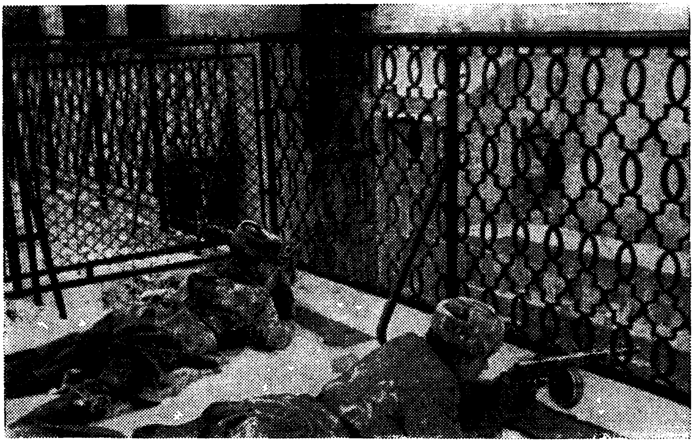
Весь день идет бой за железнодорожную насыпь и кварталы



Бой на окраине Буды. Декабрь 1944 г.

предместий. У всех офицеров в планшетах подробный план Будапешта. В восемь часов вечера майор Беляк сообщил о немецкой контратаке. Одновременно противник контратаковал соседний батальон Фролова. «Немцы рассчитывают сегодня прорваться на нашем участке, думают, что тут будет встреча Нового года, благо вина в Будафоке много», — сказал мне начальник штаба. Потому сегодня введены особые строгости: вина тут действительно много, под нами винные подвалы, есть шампанское для встречи Нового года, но больше одного бокала выпивать запрещено. С комбригом Смирновым едем на НП. Когда близко падает снаряд, он говорит: «Мы здесь». Его торопят, подстегивают из штаба корпуса. Он в свою очередь подгоняет комбатов. Стиль его разговоров с ними

таков: «Зеленое здание видишь? Завтра буду там ночевать, мое владение, дядя мне завещал в наследство». «Все сердишься, Фролов, что ругаюсь? Завтра орден получишь, если выйдешь к дворцу, помеченному в квадрате, и найдешь мне хату. Обед приготовь...» Работники штаба к подобному стилю относятся с иронией, но во время штурма это, кажется, действует на командиров положительно. Смирнов проскочил на автомашине до кондитерской фабрики, только что отбитой у противника взводом Евдокии За-



Волжане на крыше в Пеште. Январь 1945 г.

вали́, сюда уже протянута связь, он звонит в батальоны: «Твое место, Беляк?.. Так, так. А мой квадрат... Выходит, комбриг впереди тебя, комбата?! Учти, отрываешься от комбрига...» Это побуждает комбата ценою крови продвинуться вперед. Штурм. Штурмуют и они и мы.

В город ходят наши разведчики. Они задались безумной целью — проникнуть в центр Буды по канализационным тоннелям.

24 января. Неделю отлеживался после контузии в мадьярской хате на той стороне Дуная. Теперь нахожусь в Пеште в частях Второго Украинского фронта. Огромный, красивый город разбит, он под артиллерийским огнем. Немцев приободрили успехи у Секешфехервара и южнее Балатона. Бьют наугад, просто по улицам. Дома без окон и стекол, много руин. Но тут под домами

большие и очень удобные подвалы — бункера. А крыши плоские, я снимал на крыше дома на Ракоци-утт двух автоматчиков-волжан — ефрейтора Михаила Илларионова из Куйбышевской области и младшего сержанта Ивана Булавочкина из Ульяновской области; обоим по девятнадцать лет, но они уже почти два года на фронте. Они вели огонь с крыши по верхним этажам соседнего дома, где еще держались немцы или салашисты. Сюда, в Пешт, приходили дунайские разведчики под командой Виктора Калганова, вели бои в здании банка. В подвале того дома на Ракоци-утт я провел ночь среди мадьяр, измученных и испуганных многодневной осадой, пальбой, бомбежкой и голодом. На улицах рвались шальные снаряды, груда вырванного из стены кирпича перегородила тротуар, на узкой мостовой валялась искромсанная голодающими жителями туша огромной лошади. В пустых квартирах гулял холодный ветер, и на забрызганных кровью лестничных площадках валялись гильзы, консервные банки, диски от автомата, каски, осколки. А в подвале относительно уютно, он еще со времен американских воздушных налетов на Будапешт превратился в своеобразный Ноев ковчег. Места в нем распределялись соответственно социальному положению. Чиновники, врачи, адвокаты, какие-то старички и старушки стлали свои перины и матрацы у подпирающих бетонные своды колонн. Значительную часть площади занимала явно мешающая всем ширма домовладельца. Широкий диван у стены принадлежал какому-то шведскоподданному турку, — видимо опасаясь покушения на часть его просторного ложа, он спешил подчеркнуть, что в этой войне он дважды нейтрален и к происходящему никакого отношения не имеет. На самом проходе располагался многосемейный трамвайщик, погорелец, недавно вселенный в этот дом нашими бойцами. Чувствовалось, что он здесь чужой. Он лежал молча, укрывшись своей форменной курткой, посасывая пустую, без табака, трубку и не принимая участия в беседе.

Естественно, что темой разговора в ту ночь была война, ее превратности и сроки. О фашистах, ввергших Будапешт в эти переживания, отзывались недоброжелательно, но сдержанно, косясь на ширму, ограждавшую островок домовладельца. Люди нетвердо верили в совершившееся и беспокойно спрашивали, не прорвутся ли немцы от Балатона к Будапешту, — этими слухами переодетые в гражданское платье молодцы из «Скрещенных стрел» терроризировали город. Когда я заметил, что в масштабе гигантского наступления Красной Армии немецкие контратаки у Балатона ничтожны, из-за ширмы поднялся сам владелец дома, рослый, средних лет человек с двойным шерстяным флюсом на холе-

ной морде, плохо маскировавшим его вчерашний военный облик.

— Немцы, конечно, мастаки по лживой пропаганде, — заискивающе произнес он, — но как вы думаете, применит Гитлер какое-то новое оружие, которым он в ближайшее время грозит изменить ход войны?

— Довольно нас пугать, господин, — резко перебил человека с флюсом молча сосавший до этого трубку трамвайщик. — Немцев не спасут теперь никакие «фау». И наших фашистов тоже.

Все обернулись и, я бы сказал, потрясенно посмотрели на человека, посмевшего поднять голос протеста против хозяина дома, властного еще вчера выбросить его на улицу. Наверху бой, рвутся снаряды, контратаки, бомбежка, но этот человек уже в нас твердо поверил, он знает, что вчера не вернется.

Дунайский мост

У Володи Гусятникова были свои счеты с «кривым морем»: оно приносило ему и неприятности, и ордена. По призыву ЦК комсомола он поступил в военно-морское училище, мечтая стать моряком; но война сломала его планы и бросила сперва в морскую пехоту под Одессу и Севастополь, а потом — на Волжскую флотилию, на старый речной буксир, из таких, что в мирное время шли на слом, а в дни Сталинградской битвы становились кормильцами фронта. Гусятников утверждал, что свой первый орден и благодарность маршала бронетанковых войск он получил именно за потопление этого допотопного буксира. Доля правды в этой шутке была: Гусятников сам подставил свой буксир под бомбу, сброшенную немцами на нефтеналивную баржу, и спас тем самым необходимый танкам бензин.

Полумертвым его вытащили тогда из реки, откачали и дали другой корабль — не лучше первого: колесный пароходик девятнадцатого века, превращенный в санитарный транспорт. Шлепая плицами, пароходик развозил по волжским госпиталям раненых. Гусятников избавился от него, когда тот вмерз в лед затона. Блеснула надежда выбраться из «кривого моря» на простор. Гусятников погрузил на железнодорожную платформу новенький бронекатер «134» и доставил его на Азовское море. На первом же смотре перед боем он получил от адмирала трое суток гауптвахты за «речные порядки на морском корабле».

Азовская флотилия еще не имела тогда не только своей гауптвахты, но даже приличной базы — она была кочующей и вместе с армией отвоевывала побережье. Лейтенант Гусятников отбывал арест «при боевом мостике», высаживая в тыл врага десанты и диверсионные группы, за что заслужил свой второй орден. К бригаде Героя Советского Союза Павла Ивановича Державина он примкнул на керченской переправе под Эльтигеном и сразу же после этого снова угодил на «кривое море» — Дунай.

Он был самым молодым из командиров бронекатеров — где-то между Белградом и Будапештом ему исполнилось двадцать два года.

В декабре сорок четвертого года бригада стояла уже под Будапештом. В домике против резиновой фабрики, в своем походном штабе, капитан 1 ранга Державин показывал офицерам план венгерской столицы и говорил:

— Видите на улице Ракоци отель «Империал»? По данным разведки, там живут гестаповцы. Проветрим и разместимся. Приглашаю вас, товарищи, встречать там Новый год!

Офицеры неловко смеялись, понимая, что комбригу хочется их подбодрить. Югославские лоцманы, сопровождавшие бригаду от самого устья, утверждали, что Дунай со дня на день должен стать — стоит он обычно январь и февраль, а очищается лишь в марте, когда фронты, должно быть, уйдут вверх.

Лейтенант Гусятников чувствовал себя несчастнейшим на свете человеком: бронекатер только изредка выходил ночью к острову Обудай, поддерживал огнем «эрэсов» наш десант на заводах Чепеля и быстро уходил вниз, под обрыв берега у Надь-Тетеня, Гусятников боялся, что Будапешт будет взят без него. Вынужденное бездействие настраивало на саркастический лад.

— Попал из моряков в «рекаки» — теперь век не выберусь из «кривого моря», — ворчал Гусятников.

Дунай тяжелел, и на его широком течении возникали и громоздились одна на другую острые и ломкие льдины. Ночи были лунные и стылые, комбриг то и дело гонял на берег вестового — смотреть лед. Но Дунай в тот год не стал.

Лед двигался по реке, как в весенний ледоход, застревал в затонах, на излучинах и у мостов. Накануне Нового года лед сорвал все переброшенные через Дунай пере-

правы. Фронт наш на правом берегу оказался в трудном положении — прервалось сообщение с левобережьем: понтонеры не могли справиться с бурным натиском льда. Командование фронта решило использовать для переправы бронекатера.

Капитан 1 ранга Державин, получив шифровку, собрал офицеров.

— Уходим вниз обеспечивать переправы, — коротко сообщил он. — И не скисать! Фронт считает это важнее нашего самолюбия. Понятно?.. Мое место — в Байе. Ваши места...

Он указал командирам отрядов их новые позиции и распустил офицеров по кораблям.

Такой поворот событий всех ошеломил. В Будапеште успешно развивалось наше наступление. Спутница катерников — бригада морской пехоты — продвигалась уже кварталами Буды. А тут — прощай наступление на Будапешт — впереди черная тыловая работа.

Катера разошлись по переправам...

В морозное январское утро я выехал из Буды к правобережному венгерскому селению Дунапентеле, где находился штаб Дунайской военной флотилии. До Эрчи дорога была пустынной, но в городе творилось невероятное. Все улицы и переулки Эрчи были забиты автобусами, зенитками, повозками, тягачами — «виллис» с трудом их обходил. В Эрчи работала переправа, и сутолока тут была естественной.

Однако за Эрчи я увидел, что движение идет только в одну сторону — встречное.

Я проехал еще несколько километров, и поток, запрудивший дорогу, внезапно кончился. Донеслись раскаты орудий.

Впереди был фронт, внезапно возникший ночью в нашем тылу. Немецкие танки в результате многосуточных боев прорвались от Балатона к Дунаю, они заняли Дунапентеле, где был штаб флотилии, и двинулись к Эрчи. Этот рейд по нашим тылам дорого обошелся врагу, ему не удалось изменить ход гигантского сражения за Будапешт. Наше командование спешно разгружало правобережный плацдарм от тылов. С этим потоком обозов и госпиталей и встретился я в то морозное январское утро.

Мне с трудом удалось вернуться к Дунаю. Оба берега в Эрчи были забиты войсковыми колоннами. На левой сто-

роне в лесочке маскировались танки и длинноствольные орудия — это наши резервы, предназначенные для нанесения ответного удара, ожидали очереди у паромов. На правой стороне суетились тылы. Оба берега изрыгали в небо огонь из всех видов зенитного и стрелкового оружия. «Мессеры» и «фокке-вульфы» зажигали у переправы костры из автомашин. Иногда в небо взлетали лед и вода: немцы били по бронекатерам, безостановочно таскавшим от берега к берегу паромы.

Несколько охрипших майоров регулировали на правобережье разгрузку и погрузку. За ними ходила толпа шоферов, госпитальных врачей, военторговцев. Майоры грузили в первую очередь раненых. На противоположном берегу повторялось то же самое — командиры боевых частей рвались в бой и требовали от катерников переправить через Дунай вне очереди каждый свое подразделение.

Но на катерах властвовал приказ маршала Толбухина: переправлять строго по фронтовому плану. Огромная ответственность легла внезапно на дунайцев. Бронекатера держали на себе гигантский мост через Дунай.

* * *

После очередного налета «мессеров» я увидел подошедший к берегу бронекатер «134».

Гусятников стоял у рубки в огромном залатанном кожухе, в ушастом шлеме, с усов его, по молодости лет отпущенных в угоду фронтовой моде, свисали ледяные сосульки.

— Приходи обедать, Алешечкин! — кричал он кому-то из регулировщиков погрузки. — По-морскому примем!

Он торопил понтонеров с погрузкой, покрикивал на шоферов, мешкавших у парома, на солдат, не успевших принять брошенную на берег чалку, и не упускал случая поострить.

— Как извозничаете, товарищ Гусятников? — крикнул я ему с берега.

— А, приветствую! Да вот, как видно, новую квалификацию получил. Приеду в Москву — буду работать на речном трамвае!

Он приказал бросить на берег сходню, протянул руку и втащил меня на катер.

— Конечно, это не совсем мое дело,— продолжал он.— Однако же мне теперь многие кланяются. Нельзя ли, мол, товарищ лейтенант, побольше оборотов дать. Спасаем положение!

С причала дали сигнал, и Гусятников сам повел свой корабль к другому берегу. Бронекатер со скрежетом оги-



Гусятников и Алешечкин на переправе. Январь 1945 г.

бал льдины и разгребал шугу. Маршрут был короткий, но необычайно трудный. Приходилось бороться и со льдом, и с течением, сносившим катер и тяжелый паром вниз.

Когда командир поставил паром у левобережного причала, к катеру подскочил какой-то полковник и, размахивая пистолетом, потребовал немедленно переправить именно его часть, чтобы к вечеру он смог вступить в бой на месте прорыва. Гусятников стоял навытяжку перед полковником, твердо отказывая: в первую очередь он переправлял артиллерию.

— Я вам приказываю, лейтенант, или по законам военного времени...

Гусятников пожал плечами и повел головой в сторону катера — зенитчики, по-своему понимая его жест, стали усердно вращать на турелях пулеметы...

На паром погрузили пушки. Снова взревели моторы — катер потянул через Дунай. Гусятников, вздохнув, сказал:

— Так каждый рейс на горло наступают: переправляй, и баста! Кто-нибудь шутя и шлепнет...

На правом берегу сквозь скопище машин к переправе пробирался какой-то генерал. Из свиты его махали фуражками. Володя опять вздохнул:

— Еще кто-то стращать собирается. Не возьму! Подчиняюсь только Державину и маршалу Толбухину!

Однако быстро подвернул катер к берегу.

— Ты что же, лейтенант, начальство не признаешь? — добродушно окликнул его генерал, и Володя признал в нем начальника тыла армии. — Да ты не беспокойся, не перегрузим твой самовар. Мы к тебе вдвоем, и груз небольшой — чемоданишко.

— Я, товарищ генерал, на моем, как вы говорите, самоваре психовать уже стал. Все стращают. А мне приказ твердый — не поддаваться.

— И не поддавайся. Правильно действуешь. В интересах фронта. Ну, принимай чемодан. Да смотри не урони. Пожалеешь...

Все сопровождавшие генерала рассмеялись, и Гусятников быстро отрапортовал и снова стал на мостик. И опять катер потянул за собой паром.

Адъютант пристроил на мостике чемодан, раскрыл его и разложил на крышке красные коробочки. Эти приготовления все объяснили Володе.

— Извините, товарищ генерал, построить команду не могу. Для этого надо остановить переправу.

— Ни в коем случае! Вручим на ходу! Читайте! — сказал он адъютанту.

— Власов Георгий Никитович! — торжественно прокричал адъютант, будто он стоял на плацу перед строем, а не на мостике боевого корабля, дрожавшего от ударов льдин по бортам.

— Позовите Власова из машины, — приказал Гусятников.

Из моторного отсека вылез матрос в замасленной робе и в противогазе. Он снял маску — лицо его было бледное, мокрое, глаза воспаленные; он жадно дышал.

— Травится, — тихо пояснил Гусятников. — Отработанным газом травится. Трое суток не отдыхали...

— От имени и по поручению командования вручаю вам...

Генерал не докончил фразы, шагнул навстречу матросу и сам прикрепил к его замасленной робе орден.

— Служу... Советскому... Союзу! — все еще жадно дыша, произнес моторист, и казалось, он нарочно растягивает слова, чтобы продлить пребывание на воздухе.

Генерал хотел еще что-то ему сказать, но адъютант уже прокричал следующую фамилию, и моторист с сожалением повернулся, опять надел на себя противогаз и исчез в люке машины.

— Гордиенко Николай...

— Здесь! — гаркнул рядом на мостике рулевой Гордиенко, и адъютант, вздрогнув, отшатнулся: не привык в такой обстановке вручать награды.

А матрос Гордиенко даже не оглянулся — громадная льдина неслась на катер, и рулевой не спускал с нее глаз. Здоровой рукой он крепко держал штурвал: раненая висела на марлевой перевязи, для верности подхваченная флотским ремнем с бляхой. Гусятников ухмыльнулся: он знал, что рулевой — парень отличный, но любит порисоваться. Из всех матросов он единственный не защищен на посту броней, и всегда после боя команда слышала его прибаутку: «Слева — трасса, справа — трасса, трасса между ног, а рулевой Гордиенко на боевом посту».

— Орел! — нарушая церемонию, восхищенно произнес вдруг генерал. — Ну, дай бог, не последнюю... — и прикрепил рулевому медаль «За отвагу».

Следующим по алфавиту шел Гусятников, за ним еще двое. Катер уже был близко от левого берега, когда адъютант выкрикнул фамилию боцмана, но на берегу забили зенитки: на Дунай опять заходили «мессера», — и боцман подскочил к пулемету.

— Ну, Худяев, имеешь шанс два заработать! — крикнул боцману Гусятников, показывая на открытый чемодан. — Видишь, какой богатый выбор. Жми!

Боцман, обычно скупой на патроны, нажал — звонко посыпались гильзы на палубу. Но «мессер», сбросив бомбы, ушел.

— Какой шанс упустил! — Гусятников рассердился на боцмана.

— Шанс, лейтенант, еще впереди, — рассмеялся генерал. — Дунай через всю Европу проходит.

— Это мы знаем, товарищ генерал, понаслышке. Говорят, Будапешт там есть. Потом еще городок — Вена...

— Боитесь, не попадете?

— Нет, зачем же? — лейтенант пожал плечами. — Попасть мы всегда попадем, только — в гости к победителям.

— Молод, а какой занозистый! — засмеялся генерал.— Ничего, вас в приказе не обойдут. Видишь, победители у тебя в очереди стоят. Надеются...

Полгода спустя я встретил катер Гусятникова у подножья горы Каленберг за Веной. Команду отметили в приказах фронта и за бои под Братиславой, и за австрийскую столицу. За Дунайский мост ее благодарили с двух фронтов — с берегов правого и левого. Катер был свежевыкрашен и надраен. Над ним был поднят Гвардейский флаг.

Лейтенант Дуся

Лейтенант Дуся командует взводом автоматчиков в Краснознаменной 83-й бригаде морской пехоты. Матросы как на подбор все парни высокие, крепкие, отчаянные. Когда Дусю назначили их командиром, в других взводах смеялись: «Дуськин взвод». Так оно поначалу и прилипло — «Дуськин взвод». Потом стали называть «Дусин взвод», а теперь все чаще: «Дусины гвардейцы». Все автоматчики этого взвода имеют по нескольку наград, сама же гвардии лейтенант Дуся — кавалер трех боевых орденов, четыре других ей должны еще вручить по месту прежней службы, может быть, ей удастся получить их после войны сразу, в Кремле, из рук Михаила Ивановича Калинина.

В нарушение всех уставов ее так и зовут: гвардии лейтенант Дуся.

— Лейтенанта Дусю к телефону... Лейтенант Дуся атакует насыпь. Дусин взвод ушел в тыл...

Когда мне потребовалось в ее отсутствие узнать ее подлинные имя, отчество и фамилию, в штабе бригады поднялся переполох.

— Фамилию комвзвода автоматчиков? — растерянно переспросил меня оперативный дежурный. — Так им же

лейтенант Дуся командует. Ах, Дусину фамилию!.. Действительно, как же ее по-настоящему?.. Надо запросить четвертую часть.

Оттуда сообщили, что лейтенант Дуся — это Евдокия Николаевна Завали́, украинка, из Нового Буга, до армии работала бригадиром швейной мастерской в колхозе «Коцюбинка». И — самое любопытное — ей всего двадцать лет: год рождения — 1924.

Дуся ушла на фронт семнадцати лет, разумеется, добровольно, в первый же день войны. Она служила санитаркой в 96-м кавалерийском полку. При отступлении наших войск на юге Дуся участвовала в бою на берегу Днепра, переправлялась через реку вплавь и была тяжело ранена. Из госпиталя она попала в десантную бригаду.

Первая ее самостоятельная боевая операция — пленение немецкого офицера и его ординарца под Моздоком. Офицер спал в автомашине, его вестовой полез за водой в колодец, оставив наверху оружие. Санитарка Дуся подобрала его автомат, подождала, пока он напьется, усадила в автомашину к офицеру, которого уже успела связать, и привезла их в свою часть. Она стала разведчицей.

Дуся в боях на Кавказе под станицей Крымской и в Горячем Ключе была трижды ранена, один раз контужена, десятки раз ходила во вражеский тыл. Однажды ей пришлось даже притвориться мертвой — немец ткнул ее штыком, она не издала ни звука, пролежала так до ночи, а ночью выползла к своим. В другой раз Дуся, командуя отделением разведки, попала в окружение на берегу бурной горной реки. Несколько дней разведчики лежали на снегу без патронов и без пищи. Ели падаль. Дуся трижды переплывала реку, доставляя патроны и продовольствие — она привязала к дереву на берегу конец длинного провода, намотанного на руку, и с двумя плащ-палатками стала курсировать туда и обратно. В третий раз, когда она возвращалась с упакованным в плащ-палатку хлебом, немцы заметили ее. Но провода они не видели и потому не открыли огня, считая, что все равно она не переплывет через горный поток. А она почти голая выскочила со своей ношей на берег и побежала по снегу. Немцы открыли огонь — но поздно.

Дуся форсировала с морской пехотой Днестр, а потом поднялась с матросами по Дунаю до самого Будапешта.

Я нашел ее взвод в Буде на консервном заводе после штурма железнодорожной насыпи у первого будапештского моста. Дуся получала в штабе бригады боевую задачу, а взвод поджидал ее возле ограды. В этот день взвод



Лейтенант Дуся. Декабрь 1944 г.

пополнился солдатами из выздоравливающих. Предстоял бой за очередной квартал Буды.

— Боитесь свою Дуську-то? — спросил пожилой солдат из пополнения.

Матросы молчали. Только один, помоложе, браво произнес:

— Дусю?.. Что Дуся — она, конечно, баба. Как все бабы. Совсем мы не боимся ее...

Он не договорил, потому что вышла Дуся, и матросик скользнул в строй.

Потом был бой, в бою Дусин взвод всегда шел впереди — на таран. То ему приходилось проникать в спальни замка через канализационные коллекторы Буды, то штурмом захватывать площадь или перекресток. И в этот раз по карте продвинулись всего ничего — на один сантиметр, а на местности — целая улица. Ясно, что продвигались под штурмовым огнем. Пожилой дядька из пополнения сиганул в какую-то яму, наверно, воронку, каких тут было немало, предоставив «пенки снимать» молодым. Дуся заметила, что дядька из пополнения скромничает и не торопится вперед других. В пылу боя она подскочила к яме, ткнула новичка автоматом и заставила бежать вперед. Он обозвал ее нехорошим словом.

Когда кончился бой, Дуся снова привела свой взвод к консервному заводу, приказала построиться и ждать ее. Она исчезла в подвале под заводом, где расположились все службы штаба и санитарная часть, ровно на тридцать минут. Взвод ждал ее.

Когда Дуся вышла, старшина скомандовал: «Смирно».

Достав из кармана кителя какую-то бумажку, Дуся передала ее старшине и приказала пожилому дядьке из пополнения выйти на четыре шага вперед и стать перед строем.

— Этот боец сегодня обозвал меня в бою так, как он привык называть всех женщин на свете, — тихо сказала Дуся, обращаясь к взводу. — Товарищ старшина! — продолжала она командирским голосом. — Приказываю зачитать перед строем врученный мною вам документ, после чего взвод может отдыхать.

Она четко повернулась кругом и строевым шагом ушла к штабу.

Старшина стал читать: «Штаб Краснознаменной 83-й бригады морской пехоты. Санитарная часть. Справка. Дана сия гвардии лейтенанту Евдокии Завали в том, что медицинское освидетельствование, произведенное сего числа, подтвердило, что она действительно является девственницей, что сим и удостоверяется. Печать гербовая. Подпись».

Не буду подробно рассказывать, что произошло после того, как старшина кончил читать и распустил строй.

Говорят, что потом в бригаду приезжал инспектор или инструктор расследовать чрезвычайное происшествие, но уехал ни с чем. Пожилой солдат из выздоравливающих ни на что и ни на кого не жаловался. Он даже просил командира бригады оставить его в Дусином взводе. Но этому воспротивился весь взвод, и его списали в другую часть. К другим выздоравливающим.

Матросский корреспондент

Каждому корреспонденту при описании каких-либо событий или подвигов хочется других опередить, дать своей газете самый свежий и оригинальный материал. Поэтому, придя на бронекатер Гусятникова в Эрчи, я осторожно осведомился у командира, не бывал ли до меня тут кто-либо из коллег.

Гусятников рассмеялся и сказал:

— У нас тут есть товарищ, которого вам, москвичам, в жизни не обогнать. Он всегда приходит первым, при всяких событиях. В десанте десантники и те от него отстают. Ноги длинные: шагнет с борта — уже зацепился за берег...

Характеристика юмористическая. Я спросил, о ком же речь.

— Наш корреспондент! — гордо пояснил Гусятников.— Или, как это у вас пишут: «Наш корр.»? Из «Дунайца». Такой высоченный — «мессера» головой задевает...

Кто-то из команды добавил:

— Главный старшина этот корреспондент.

Это прозвучало так, словно говоривший хотел подчеркнуть: матросский он корреспондент, из матросской газеты и матросского звания.

В тот же вечер на перекрестке двух придунайских дорог я увидел долговязого главного старшину. Через плечо у него висели набитая блокнотами полевая сумка и старенький «ФЭД». Он настойчиво «голосовал»,— собственно, ему и не требовалось поднимать руку, чтобы его заметили. Но он поднимал руку, а машины не останавливались: машины везли боеприпасы, и на снарядах не полагалось возить пассажиров.

Приглядевшись, я сразу понял, что именно о нем так весело и любовно рассказывали на катере. Мы оказались

старыми знакомыми и вспомнили, что уже встречались в сорок втором году примерно при таких же обстоятельствах. Он работал тогда корреспондентом в маленькой газетке, выходившей всего на восьмушке листа, — в многотиражке Новороссийской военно-морской базы «На страже», которую шутя называли газетой базы без базы: Новороссийск был в руках немцев, и, размещенная в развалинах Геленджика, эта редакция своим оружием дралась за возвращение моряков в родной порт. Главный старшина все с той же полевой сумкой и «ФЭДом» через плечо стоял тогда на размытой грязной дороге, возле аэродрома штурмовиков. Дорога бежала с гор к морю, и оттуда, с гор, из штаба партизанского отряда, с трудом вытаскивая кирзовые сапоги из раскисшей земли, возвращался в редакцию матросский корреспондент.

Напрасно поднимал он руку: машин в то время шло мало — под Новороссийском стоял тяжелый фронт, и наши войска набирали силы для начала гигантского наступления. Мы пошли с ним в Геленджик пешком, и видно было: ему не привыкать месить грязь на фронтовых дорогах — немало верст измерили его длинные ноги с первых дней войны.

С тех пор — до встречи под Будапештом — он исходил все приморские тропы, высаживался с Куниковым на Малую Землю, был на Тамани, на Чушке, в Керчи, в Мариуполе, изведал десанты и вылазки в тыл, переправлялся на лодчонке через лиманы Днепра и Днестра, форсировал Дунай, участвовал в освобождении румынских городов, врывался в воюющий Белград, ходил на катерах к югославским партизанам — всюду он был в группе штурмующих, в первом броске, среди тех героев, о которых писал, — словом, хлебнул он военного лиха немало, добывая сжатые строчки для своей маленькой газеты: строчки, стиснутые на малой газетной полосе заметками других товарищей и скромно помеченные черным шрифтом в скобках: «Наш корр.».

Его не баловала война. Редакция ничем не могла помочь ему в его скитаниях по фронту, его уделом была попутная машина, попутный самолет, попутный катер и даже попутный телеграфный провод, редко свободный для депеш корреспондента из матросской газеты.

Вечно он искал оказию, вечно «голосовал», он бредил оказией в беспокойные ночи наступления, мучаясь над

тем, как быстрее доставить в редакцию материал; он бегом мчался за тридевять земель, чтобы с каким-либо надежным человеком переправить редактору свои выстраданные и выхоженные сто строк, которые по неумолимому редакционному закону — «газета не резина» — при сдаче в набор превращались в пятьдесят, а иногда и в десять строк. Только в десять строчек, где не скажешь ни о погоде, ни о глазах бойца, где нужен не пейзаж, а факт, где надо суметь изложить в нескольких словах подвиг.

И вот он снова стоял на фронтовой дороге, куда-то спешил, отчаиваясь, что может опоздать.

— Не берут, дьяволы, на снаряды, — ругал он шоферов. — А ведь сегодня без снарядов ни одна машина не пойдет. Мне же дозарезу нужно в Буду!

— Боятся — взорветесь, товарищ главный старшина...

— Формалисты! — искренне возмущался он и, вспомнив вдруг песенку о корреспондентах, пропел: «Жив ты или помер, главное, — чтоб в номер...» Эх, не понимают шоферы нашу газетную душу...

Он многозначительно намекнул мне, что спешит на весьма стоящее дело. Однако выдать тайну, не столько военную, сколь его профессиональную, тайну своей газеты, он категорически отказался.

— Сами понимаете, — с хитрецой пояснил он, — как это там дальше поется: «...и чтоб между прочим был фитиль всем прочим».

Он не успел допеть — шел какой-то полупустой грузовик, главный старшина уцепился за борт, перемахнул в кузов и исчез.

Вскоре я узнал, куда так спешил матросский корреспондент. Узнал из газеты, из его же заметок, присланных оттуда, куда он так стремился с фронтового перекрестка.

Старый его дружок — а у настоящего корреспондента всегда среди боевого люда много друзей, — старый его дружок, черноморский моряк, партизан и разведчик лейтенант Калганов, отправлялся на левый берег Дуная в занятые врагом кварталы Пешта, чтобы разведать состояние проходов у взорванных мостов.

По Дунаю стремительно шел лед, к тому времени сорвавший все переправы. Трудновато было перебраться с берега на берег, да к тому же под огнем, у немцев на виду. Под командой лейтенанта на маленькой лодочке

пошло семеро храбрецов — в их числе был и наш корреспондент.

Лейтенант надеялся на его «ФЭД», которым удастся точно запечатлеть состояние взорванных мостов. Но в нескольких метрах от берега лед перевернул лодку, разведчики искупались в ледяном Дунае, и «ФЭД» главного старшины основательно намок. Тогда он заверил лейтенанта, что не хуже «ФЭДа» сработает карандашом, тем самым карандашом, которым пишет свои боевые заметки. Он обещал все с фотографической точностью зарисовать, лишь бы была позиция, откуда можно разглядеть разбитый мост.

Такую позицию найти в левобережной части города было нелегко — всюду сидели немцы. Только в массивном здании венгерского банка на берегу Дуная держалась группа наших солдат, штурмом захвативших первый этаж. Неделю эти солдаты вели бои в банке, выкуривая оттуда эсэсовскую часть, плотно засевшую на втором, третьем и четвертом этажах.

Матросы пробрались к банку. Солдаты встретили их с радостью: «Матросы, полундра!» Главный старшина записал себе это в блокнот и этим возгласом озаглавил первую же свою корреспонденцию из банка.

Но матросам нужен был не первый этаж. Им надо было проникнуть наверх, к окнам, выходящим на Дунай, чтобы оттуда зарисовать мост. И они пробрались с боем наверх. В этом бою — бойцом, санитаром — участвовал и наш матросский корреспондент.

Добравшись до окна на втором этаже, он стал на время разведчиком и художником: быстро нанес схему моста, зарисовал берега, взорванные быки и опытным, не в одной операции натренированным взглядом определил, где смогут надежно проскочить вверх корабли.

Вместе с донесением штабу он отправил и маленький конверт для редакции — корреспонденцию о совместной борьбе матросов и солдат с немецким гарнизоном на этажах банка.

* * *

Прошло три года. Я получил письмо из Сальска. К письму приложен был маленький плакат, знакомый каждому, кто выбирал депутата в местные Советы: в этом плакате рассказывалось о боевом пути Дунайской флотилии, и с этим путем была связана биография кандидата

в депутаты Сальского районного Совета. Там было сказано, что кандидат — сын донецкого горняка, имеет тринадцать благодарностей за честное служение Родине. «Советское правительство,— говорилось в плакате,— наградило Григория Никитича Тарасенко орденами Отечественной войны первой степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», «За освобождение Белграда», «За взятие Будапешта», а правительство Румынии — военным орденом». Человек, о котором говорилось в этом плакате, впервые попал в сельскохозяйственный район, в какой-то мере познал и увлекся жизнью и делами деревни. «Район очень интересный, люди здесь хороши, — писал он мне в письме, — работяги, настоящие труженики. Первыми в области мы закончили сев колосовых. И наша толика в этом есть, корреспондентская. Так что держим и тут флотскую линию».

Это было письмо от моего старого знакомого по фронту Гриши Тарасенко, редактора газеты «Сальский большевик», бывшего главного старшины — от матросского корреспондента.

БЕРЛИНСКАЯ ТЕТРАДЬ

У границ Германии

Я пишу эти слова в сожженной деревушке у прусской границы, и рука дрожит от волнения — настал день, когда корреспонденцию с фронта можно так озаглавить. В Москве был «парад немецких войск» во главе с двадцатью плененными на белорусских фронтах фашистскими генералами. В час «парада» я улетал с центрального аэродрома на Вильнюс. Летчик сделал круг, еще раз взглянул на шествующих по столице «покорителей Европы». Наш «Ли-2» сел среди боевых самолетов на вильнюсском аэродроме, возле разбитых и разоренных капониров, и мы сразу окунулись в атмосферу наступления, горячего движения всех родов войск к Германии. На траве, возле истребителей дальнего действия «Як-9», сидели летчики, едва взвивалась сигнальная ракета, пары и шестерки боевых машин улетали туда. Один летчик сказал: «Вчера в воскресный день на большой высоте подошли к Кенигсбергу, спикировали и прошли над улицами на бреющем. Переполох на всю Германию: днем, над улицами Кенигсберга — истребители с красными звездами!»

По пыльному шоссе я шел с аэродрома в только что освобожденный Вильнюс. Возвращающиеся в город жители катили впереди себя тележки с узлами и чемоданами. Обгоняя всех, шагал ксендз в черной сутане с зеленым вещевым мешком за плечами.

Старинная башня знаменитых ворот «Остра Брама». В просвете ворот на полуосвещенной солнцем узкой улочке видны были коленопреклоненные католики в черных одеяниях — они молились перед установленной на той

стороне башни иконой острабрамской божьей матери. Молоденькая белобрысая регулировщица направляла поток военных грузовиков, пушек и подвод налево, туда, куда указывал пучок трафаретных стрел на дорожном столбе; ближайшие населенные пункты: «Техпомощь», «Заправочная станция», «Комендант». И над всем этим неожиданно: «На Берлин». Это не лозунг, а деловой указатель пути на военно-автомобильной дороге. За городом



Перешли границу. Октябрь 1944 г.

к подобным указкам прибавились названия прусских городов. Германия рядом. Тут жили прусские помещики. Тут гауляйтеры дарили бюргерам из Мюнхена и чиновникам из Тильзита — кому фабрику, кому кафешантан. Тут встречаешь партизан, которые несколько дней назад были в Восточной Пруссии, или чудом выживших узников девятого форта под Каунасом; или обезумевших, почти невменяемых людей, требующих от каждого военного, чтобы он свернул в Понарский лес и увидел ров с трупами, в который и они должны были лечь... А на полдороге к Каунасу в комендатуре дорожного управления

группа бойцов готовила трафареты для прусских дорожных магистралей. Мы еще не вышли к границе, а солдаты рисовали карты маршрутов — на запад и на север, готовили «обстановку пути»: вывески для контрольно-пропускных пунктов, указки «объезд» для тех мест, где противник, вероятно, взорвет мосты. В недавние времена они размечали расстояние между какими-нибудь Поповками и Ивановками, сейчас они подсчитывали, сколько километров от Ширвиндта до Инстербурга. В эти дни за Неманом у нас был только алитусский плацдарм. Каждому понятно, тут не просто предусмотрительность, такова теперь система работы, новый порядок войны, организованность, приобретенная за годы, и особенно за последние месяцы. Иначе нельзя воевать. Мы смогли наступать и зимой в непролазной южной грязи, когда каждое движение стоило огромных усилий, когда отставали склады и тяжелая артиллерия. Теперь мы научились использовать преимущества летнего времени, разветвленность дорог Литвы, чтобы в несколько часов осуществлять огромные переброски. Я видел, как штаб одной армии в течение дня трижды менял свое место, делая скачки вперед на 10—20 километров. Я видел, как перебазировались аэродромы истребительной авиации вместе со всем обслуживающим персоналом и хозяйством, следуя за наступающей пехотой. Большое искусство — двигать вместе с наступающей лавиной армий все тылы, обозы, заставить всю машину работать четко и выверенно. Тут помогает все возрастающее ощущение финала. Завтра, нет не завтра, а сегодня фашистская Германия становится зоной наших военных действий.

Мне пришлось ехать в сторону Каунаса на попутной машине, в день, когда пришла центральная газета со статьями о положении в Германии и покушении на Гитлера. Люди, чувствующие границу, пропитанные ее воздухом, понимающие: все рубежи перед Германией пройдены, говорили: «Ну и хорошо, что его не убили. Сами повесим. Не фашистским генералам наводить в Германии порядок. Сами разберемся. Так будет надежнее».

Везут по дороге снаряды, стандартные ящики с веревочной ручкой: все это — туда, в их сердце, в их логово, туда, откуда все было начато, откуда вышла на наши поля война. Входишь в Каунас и узнаешь: три дня назад в Тильзит ушел последний немецкий пароход — до Прус-

сии рукой подать. Стоишь за Каунасом у такого же дорожного столбика, как в Вильнюсе, читаешь: «Кенигсберг». Да, вперед до Кенигсберга ближе, чем назад, до Минска. На берегу Немана у прусской границы лежит множество приготовленных к сплаву бревен. Это — шло в Германию. Эта вода течет в Германию. Эта река впадает в море в Германии. Кто-то предложил на переправе бросить в Неман бутылку с письмом в стиле послания запорожцев турецкому султану — пусть, мол, дойдет до Мемеля. Его высмеяли: «К чему? Фашисты в Мемеле и без того получают наши визитные карточки. По сто раз в день. На Немане были такие бои, им есть что вылавливать».

Летят «яки», «илы», «лавочкины». Мы уже твердо знаем, что они идут штурмовать, бомбить и охотиться за «мессерами» в Пруссию — там уже сбиты десятки самолетов, сожжены сотни вагонов, там зона действий нашей фронтовой авиации, вытеснившей авиацию дальнего действия в глубь Германии. И когда над нами вдруг прожужжал «По-2», я услышал: «Гляди-кось, и «кукурузник» туда же...»

Я видел в Каунасе лейтенанта, поднявшего на тротуаре немецко-русский календарь на 1944 год. Литературы подобной встречается тут много. Лейтенант хотел было бросить находку, но обнаружил в конце календаря немецко-русский разговорник. Он оторвал эти несколько страничек, спрятал в карман и сказал: «Сгодится».— «Но это же немецко-русский, товарищ лейтенант». — «А мы в обратном порядке воспользуемся. Нам не привыкать ставить их с головы на ноги».

Под Мариамполем вчера задержали пленного. Вернее, не задержали, он вышел на дорогу и сдался сам. Это был одичавший, в лохмотьях, заросший сивой щетиной человек. «Куда вы идете?» — «Я шел в Германию». — «Откуда?» — «Из Смолевичей. Из-под Минска. Я прошел Минск, Молодечно, Вильно, Ковно и вот пришел сюда». — «Почему вы раньше не сдались?» — «Я все надеялся, что окружение будет прорвано. Я думал, вот-вот дойду до линии фронта». — «И что же?» — «Ничего. Я хочу есть и пить».

Я был на аэродроме, расположенном в десяти минутах полета до прусской границы. Там находится Краснознаменный Севастопольский истребительный авиационный

полк, командир которого подполковник Алексей Устинович Еремин стал известен в Крыму успешным боем 6 наших истребителей против 48 немецких.

— Никак не думал в мае, — сказал мне Еремин, — что уже в начале августа буду не только у границ Пруссии, но Пруссия станет моим повседневным объектом.

Подполковник занял аэродром накануне: сюда еще падали снаряды. Сегодня тут работают кухни, созданы укрытия для самолетов.

Послушайте доклады летчиков, возвращающихся из полетов. Они уже освоили немецкие названия. Они без запинки произносят все «бурги» и «штадты». «Ширвиндт горит!» Оперативный отметил его донесение у себя на карте и сказал: «Пусть жгут. Теперь свое жгут». Полеты на Кенигсберг и Тильзит когда-то рассматривались как дальние. Теперь Пруссия стала зоной действия всей нашей авиации от бомбардировщика до штурмовика. В планшетах летчиков исчерченные карандашами километровки Германии. Лейтенанту Пивоварову было поручено разыскать в лесу за прусской границей танки, тщательно замаскированные. Он нашел их, направился было на свой аэродром, но передумал, решив, что штурмовикам будет трудно без его помощи только по координатам обнаружить противника. Он полетел к аэродрому соседей, пригласил штурмовиков следовать за собой, навел их на танки, сам участвовал в штурмовке и, вернувшись на свой аэродром, доложил дежурному офицеру не только о найденной цели, но и о ее уничтожении. В это же время другой летчик — Иван Федоров, девятнадцати лет — вернулся и доложил, что сбил над Ширвиндтом «мессершмитт» — тридцать шестой по счету.

Я был у гвардии полковника Героя Советского Союза Степана Дмитриевича Пруткова; когда-то он работал грузчиком в Рославле и сортировщиком льна. Боевой счет его дивизии огромен. Я был у него в день, когда он подписывал необычные наградные листы: он и его летчики получают от НКПС значки Почетного железнодорожника. Штурмовики Пруткова в разгар наступления спасли от разрушения большой участок железной дороги, забитый немецкими эшелонами, уходящими на запад с техникой, продовольствием и снарядами. Разведка насчитала сорок эшелонов, они шли по двум колеям почти без интервала — все в одном направлении. Командующий приказал

Пруткову: запереть немцев на этом участке и сохранить железнодорожный путь. Летчики взяли железную дорогу под контроль, разбили хвостовые и головные эшелоны, создали несколько пробок, пустили под откос поезд немецких подрывников, не дали противнику ни восстановить движение, ни подрывать. Они висели над этим участком до того момента, пока не подошли наши части и не захватили эшелоны и груз.

В лесном домике, недалеко от прусской границы, я беседовал с одним из самых молодых командующих авиационными армиями генерал-полковником авиации Тимофеем Тимофеевичем Хрюкиным. Ему тридцать четыре года, он Герой Советского Союза и кавалер девяти орденов. Моряки-дальневосточники знают его еще по тридцатым годам. Северяне тоже с ним знакомы: его авиация прикрывала караваны союзников на пути к Мурманску. Он участвовал и в освобождении Севастополя. Мы говорили о нашей и немецкой авиации, Тимофей Тимофеевич сказал: «Немцы застыли на тех же методах и формах боя, которые раньше можно было считать шедевром. Наша тактика теперь более новая и молодая, мы гибче. Нам помогают золотые руки тыла. И люди у нас другие...»

...И вот я сижу в пограничном селении на груде камня, еще не остывшего от огня, возле обломков какого-то немецкого вооружения, среди пепла и мусора, среди обрывков июльских номеров журналов «Вермахт» и «Адлер», затоптанных в землю. Здесь, на этой земле, не было первого дня войны. Тут была первая минута, когда они перешагнули через рубеж. Теперь ветер несет на Запад мусор и пепел. Неман тащит в Балтику их трупы. Это пожарище — последнее пепелище на нашей земле.

* * *

Возле хутора Михнайце у пограничного шоссе лежит пестрый столб. Под табличкой «СССР — Германия» выжжен номер «56».

Столб обшарпан, исцарапан временем. У столба сидит боец в зеленой фуражке пограничника, подкрашивает косые полосы. Мимо быстро идут люди; фуры и автомашины, груженные снарядами, обдают пограничника пылью. Ему говорят: «Малюй, браток, малюй. Пора ставить на место». Пора! Об этом говорят и рядовой и генерал.

Последние дни я провел на прусской границе, на берегу реки Шешупа против города Ширвиндт. Ничтожна по виду эта речушка, видели мы реки и пошире. Но Шешупа аллегорически равна величайшему водоразделу: это не только граница, это рубеж, где начинается эпилог. А моряку не грех вспомнить, что и Шешупа впадает в Балтийское море. Двинутся и балтийские фронты.

Стоит сухая, свежая погода. Резкий ветер разметывает по полям колосья ржи, покрывает серой пеленой остовы черных с белыми крестами сожженных танков. Прохладны ночи. Осень, надо спешить. На границе только об одном и говорят: вторжение. Солдаты стояли на многих рубежах. Смотрели из амбразуры сарайчика на Новороссийск. Лежали на Трухановом острове под Киевом. Понимали: можно брать город и в лоб, штурмом, но лучше его обойти и сохранить. Видели солдаты со своих позиций Херсон, Очаков, Одессу, Севастополь. Теперь впереди — Пруссия. За ничтожной речушкой — крутой берег, засеянные клевером поля, кустарник, деревья, опутанные колючей проволокой и траншеями, огромные сараи, крытые черепицей, красные и светлые крыши домов под яблонями и липами. Неужели и та земля на одной с нами планете, под одним небом? Нет, там враг, оттуда, из того домика, писали в Солнечногорск письма с благодарностью за отнятые у русского крестьянина вещи, из той усадьбы посылали в русские степи эрзац-валенки тому, кто повесил Зою Космодемьянскую.

На границе стоит батальон капитана Павла Юргина — сибиряка-охотника из Нарымского края. Его пять братьев на фронте. Сам он был пулеметчиком еще на КВЖД, во время конфликта. 5 августа 1941 года он начал войну под Старой Руссой сержантом. На Волховском фронте его ранили — рука не поднималась. Ранен пять раз. Пришел на прусскую границу. Вышел первым к пограничному знаку № 56, рискуя при этом жизнью. Он сохранил карту, с которой выходил на границу. Понимает, что карта — музейный экспонат, подарил ее мне. Я, не подумав, сказал ему: «Отличный финиш, капитан». «Что вы, только начало», — обиделся Юргин. Он рассказал: весь батальон превратился в разведывательный, все просятся в разведку на ту сторону.

В этом батальоне служил сержант Алирзаев. Он не дошел до цели несколько шагов — его ранило в ногу оскол-

ком перед самой границей. В газете «Уничтожим врага» напечатана его записка, написанная на поле боя после ранения: «У меня в кармане красный флаг, но меня ранили. Столько верст прошагал, и вдруг перед самой границей... Я увидел красноармейца Волощука и отдал ему флаг. Он поставит его на границе за меня».

Теперь каждый на фронте видит: мы победим. Кому не хочется дожить до победы! Но вот, выйдя к границе, батальон Юргина попал буквально в броневые тиски, до двадцати танков с каждого фланга. А никто не берег себя больше, чем положено себя беречь храброму, разумному бойцу.

Всяких фашистов мы видели за эти месяцы. Попался на берегу Немана один в слезах — он удирал от нас, удачно скрывался, но, добравшись до реки, не смог ее переплыть — без паромов и тодтовских мостов он не вояка. Мы видели уже «тотальных» вояк — калек, слюнявых мальчишек, пожилых бюргеров, взывающих к сочувствию, привыкли к разношерстным пленным. Но вдруг я встретил среди пленных настоящего пруссака, ефрейтора, уроженца Инстербурга, он служит восемь лет, был во Франции, занимался слаломом в Норвегии, теперь попал на настоящий фронт. Я спросил его, не было ли у него в дивизии офицеров или солдат — участников заговора против Гитлера. Он ответил: «Наша дивизия — первая восточнопрусская!» Правда, через три часа он показывал расположение траншей и укреплений. Но наши оценили его точно: «Дайте ему в руки автомат, положите туда, в окоп, он снова будет в нас стрелять». Он — надежда Гитлера.

Артиллеристы капитана Шалимова первые открыли стрельбу прямой наводкой по Ширвиндту, пристрелялись к одному домику, мирному на вид, разнесли в прах и крышу и стены — перед нами открылся бетонный пуп дота. Это оболочка и лицо фашистской Германии.

* * *

Еще в Вильнюсе на аэродроме я видел группы авиатехников в морской форме, они готовились к приему флотских самолетов. Сейчас начались челночные полеты: вылетая из-под Ленинграда, торпедоносцы и бомбардировщики атакуют фашистов в море и в портах Прибалтики, оттуда летят в Вильнюс за горючим и боеприпасом, за-

правляются и снова уходят на задание. Но на аэродромах за Каунасом я не встречал ни одного моряка.

Я был на полевом аэродроме истребительной дивизии, когда внезапно на посадку пошел самолет «Петляков-2». Из него вылезли моряки.

— Иди, иди, твои там прилетели, — закричали прибежавшие за мной в дежурку армейские летчики.

Балтийский экипаж Ивана Никитина не дотянул до Вильнюса — не хватило горючего. Нужно 1200 литров бензина. Армейцы могут и дать и не дать — не обязаны заправлять без специального указания. Я взялся выхлопотать у командира дивизии разрешение на полную заправку, но с условием, чтобы Никитин захватил меня с собой в Ленинград. Шутка ли, полет на бомбардировщике над пятью фронтами — находка для газеты. Никитин колебался: нельзя брать в боевой полет человека, даже имеющего специальное разрешительное удостоверение. После того как самолет заправили, он все же сдержал слово. «Попадет мне за вас», — сказал Никитин и предложил место в хвосте над застекленным люком, под ногами у стрелка, — кажется, это место стало уже моим штатным во время бесконечных полетов на попутных боевых самолетах. Стрелок протянул ко мне провод и снабдил наушниками: Иван Никитин понимал, что корреспондент мало что увидит в таком полете, но ему надо помочь разъяснениями. Мы летели три с половиной часа, и летчик добросовестно объяснял: это — Паневежис, это — Шауляй, это — Митава; стремительно движутся пехотные корпуса и танковые соединения армий Баграмяна, отрезающие группировку немцев в Прибалтике от Пруссии; затем мы резко свернули на Двинск, оттуда на Режицу, Остров, Псков; беспрерывно менялся пейзаж и курс полета: то равнины и холмы Литвы, то озера Латвии, то болота Псковского края. Границы фронтов не начертаны на земле, и, разумеется, трудно отличить, где кончается Первый и начинается Второй Прибалтийский фронт. Но оказывается, это можно понять, следя за направлением движения на шоссейных дорогах. Все движется к Балтийскому морю по радиусам — с запада Первый Прибалтийский, с юга — Второй, с юго-востока — Третий, с востока — Ленинградский фронт. Это радиальное движение наступающих войск дает реальное представление о железном кольце, в которое попала прибалтийская группировка немцев.

Мы встретили несколько групп боевых машин — одни возвращались после боя на свои аэродромы, другие шли на цель. Внезапно я услышал голос Никитина: «Хотите послушать, что происходит в эфире?» Он присоединил меня к своей радиоприемной станции, и я сразу почувствовал, как населено пустынное, казалось, небо над Прибалтикой. Буквально тысячи голосов команд, донесений, переговоры летчиков, реплики станций воздушного наведения. Все заглушил вдруг властный голос: «Кобры»! Становитесь ко мне на левый фланг! «Лавочкины», берите на себя ведущих... Я — Рубакин. Я — Рубакин». Рубакин в воздухе! Эту фамилию я уже слышал на аэродромах даже Третьего Белорусского фронта. Рубакин — майор, летчик-истребитель, знаменит искусством организации воздушного боя. Говорят: если Рубакин в воздухе — будет большой бой. Я думал, это одна из гуляющих по аэродромам легенд «Рубакин в воздухе», но вот, лежа в хвосте бомбардировщика, сам услышал его голос...

Мы сели на аэродром под Ораниенбаумом уже в сумерках. Пошатываясь, я вылез из хвоста машины. Летчик Никитин докладывал о полете генералу Шугинину — начальнику штаба балтийской авиации. Выслушав меня и проверив документы, генерал сказал: «Корреспонденту дать «У-2» на Смольнинский аэродром, еще сегодня попадете в Москву. А экипаж — на гауптвахту за нарушение правил боевого полета». Никакие мои просьбы и объяснения не помогали — генерал был, в общем-то, прав, подвел я экипаж летчика Никитина. Но ведь после этого ни одного корреспондента не пустят на балтийские аэродромы?!

Генерал Бортновский, к которому я бросился, прилетев в Москву, хлопотать за обиженных по моей вине летчиков, посмеялся над моими тревогами: ничего, пустяк, а порядок в авиации должен быть. Думаю, это происшествие не нарушило дружбу балтийских летчиков с корреспондентами.

Прусский бастион

Осень. Октябрь. Пограничная земля — свидетель того, что стоило армии вторжение в прусский бастион. Порох. Металл. Траншея за траншеей. Лабиринт канав и окопов. Штабеля извлеченных саперами мин. Ярусы проволоки.

Раздвинутые ряды ежей и эскарпов. Бетонные казематы, потерявшиеся в хаосе ратного поля. Почти три месяца тут шла битва за метры земли. Протаранив это преддверие Германии, наша армия вторглась в новую полосу укреплений за рубежом. Теперь на многих участках границы уже не слышишь канонады, — она ушла вглубь. В Германии теперь широкий фронт. Там наши базы, ты-



На улице Штаупенена. Октябрь 1944 г.

лы, аэродромы, штабы, редакции газет, госпитали. Немецкие карты все знают наизусть. Немецкие названия пишутся в путевках автоколонн. Письма с родины идут в Германию, и московскую газету боец читает у костра на прусской земле. А письмо домой начинается многозначащей фразой: «Пишу тебе, родная, из самой Германии...»

Врачи госпиталя рассказывали, что у них прибавилось работы: каждый раненый при эвакуации в тыл требует справку, что ранен именно на территории Германии. Шофер попутной машины, нехотя принявший на пропускном пункте перед Кибартаем пассажиров, остановился на мостике между пограничными столбами, вытащил из-под сиденья заветную бутылку вина, налил всем нам по чарке, сказав:

— Не поверите, товарищи, — три месяца берег ради такого случая...

Секунду спустя на другой стороне мостика, в немецком городе Эйдткунене, все мы прочли на стене: «Вот она, Германия!»

Против этой фразы на круглой тумбе плакат полугодовой давности с картой «Остфронта». Черная линия, проходившая на востоке за Минском, утешала немцев, что фронт еще далек от райха. Прямо на карту — то ли случайно, то ли умышленно,— прикрыв часть потерянных на Востоке пространств, немцы наклеили приказ командующего 3-й танковой армией генерал-оберста Рейнгардта от 2 августа 1944 года «Война подошла к границам райха». Генерал угрожал расстрелом, требовал в приказе, чтобы солдаты усвоили: в райхе мародерствовать нельзя.

Мы в Германии, мы на их земле. Это чувствуешь и не глядя на надписи, плакаты, приказы и пограничный столб. Все здесь чужое — от неба до земли. По городу Эйдткунену проезжаешь, как по системе дотов, дзотов, траншей. Укрепленный район, а не город. Разница лишь та, что у домов-дотов есть витрины, а траншеи улиц залиты асфальтом.

За городом на каждом километре — красные стены хуторских зданий, опоясанные ходами сообщений. Это маленькие прусские поместья, богато обставленные, полные нажитого на горбу русских, польских и французских рабочих добра. Бесчисленные указки: «Цум Бюргермейстер», «Цум Бруннен», «Нах Арбайтслагер 17», «Нах Кенигсберг». Расстояние до Кенигсберга сокращается.

По обочинам широкого шоссе, толкая перед собой тележки с ничтожным скарбом, идут те, чьи руки обрабатывали для пруссаков эти поля, доили брошенный сейчас скот; возвращаются домой русские и польские батраки.

Тут же рядом — дощатый лагерь с огромной цифрой «17» над воротами, обнесенный колючей проволокой в четыре ряда — она была под током высокого напряжения. Это лагерь, где жили рабы. Такой лагерь есть возле каждого немецкого городка. Они пусты — и лагеря рабов и города рабовладельцев. Бродит только скот, собаки, кошки...

Немецкий город — Шталлупенен. И снова — ряды казенных домов, готические вывески, трупы лошадей и тру-

пы немцев в траншеях, окопы, бойницы в дверях, в стенах и окнах.

За разбитой витриной немецкого магазина блестит шитье генеральских, эсэсовских и всяких других форменных фуражек, набор значков и ленточек. До сих пор мы находили это только на их трупах или на мундирах пленных. Здесь покупали они позументы, отправляясь в нашу страну на разбой. Сюда, возвращаясь из Майданека и Понар, они заходили, чтобы нацепить на мундир еще один знак.

Лавка колониальных товаров. Несет аммиаком. Неимоверное количество порошков. Это эрзац-Германия. Пудинг в порошке. Кисель в порошке. Хлеб в порошке. Порошок от икоты. И бесконечные пакеты «фусспудер» — порошок от пота ног.

В домах следы поспешного бегства — мундиры, брошенные не оккупантами, а постоянными жильцами, альбомы фотографий, катушки пленок с изображением парадов, ящики с гранатами возле бойниц и дверей.

Дом на площади в Шталлупенене. На двери квартиры первого этажа табличка: «Д-р Штейнке». В почтовом ящике торчит пачка газет — д-ру Штейнке было не до них.

Д-р выписывал эсэсовскую газету «Дас шварце Кор». В извлеченном мною из почтового ящика номере напечатана речь Геббельса, произнесенная в начале октября в каком-то прифронтовом городе. Господин доктор не успел прочитать, что сказал «райхсминистр», не учел, что «каждый дом в Германии — крепость», и поспешно смылся. Фашисты действительно стремятся превратить каждый дом в своих городах в крепость, в узел сопротивления не только армии, но и самого населения. Русские рабочие рассказывают, что всему гражданскому населению в пограничной прусской полосе было роздано оружие. Я видел оружие и гранаты в домах Эйдткунена, Ширвиндта и Шталлупенена. Гранаты д-ра Штейнке аккуратно сложены горкой в ящик с песком в коридоре.

Кабинет д-ра Штейнке. В столе многолетний архив нотариуса. Д-р Штейнке — нотариус. Дальше — альбомы семейных фотографий. И отдельно — альбом фотографий фашистских парадов и празднеств: так сказать, идейное содержание жизни нотариуса. Д-р Штейнке — добропорядочный фашист. Альбом задуман в полном соответствии

с фашистской программой: победный марш по Европе и земному шару. Парад в Берлине. Парад в Вене. Парад в Бухаресте. Парад в Шталлупенене, надпись: «22 июня 1941 года». Крестиком отмечена фигура д-ра Штейнке в толпе. Какая выправка! Так было. Так они думали пройти непобедимыми по всему миру. Но альбом не завершен: он заканчивается открыткой с призывом участвовать в кампании «зимней помощи». Д-р пожертвовал свои любимые шерстяные носки замерзающим в снегах России соотечественникам и на этом закрыл альбом. Семейный альбом производит более цельное впечатление. В нем есть начало и конец. Он открывается фотографией новобрачной пары — д-ра Штейнке и его супруги. У д-ра шикарные усы. В мундире кайзеровского офицера он отправляется на русско-германский фронт. Перейдем сразу к заключительной части альбома. Наследники д-ра Штейнке. Альфред Штейнке — на берегу моря в Голландии. Готфрид Штейнке — на фоне Эйфелевой башни. Гайнц Штейнке — на скалах Симеиза. В заключение — три скромные траурные карточки с «железными крестами» в левом верхнем углу.

Еще один ящик письменного стола. Там — книги, яркие, блестящие обложки: «Поход в Норвегию», «Биография Рихтгофена», «От Киля до Нарвика». Победы и победы. Книг о разгроме еще нет. Будут.

На книгах — три пачки писем, аккуратно перевязанные черными ленточками крест-накрест: от Готфрида; от Альфреда; от Гайнца. Некогда их читать, да и не к чему: мы знаем, о чем все эти годы они пели в своих письмах. Рядом с письмами лежит другая пачка — тоньше. Она тоже аккуратно перевязана крест-накрест черной тесьмой. На верхней бумажке написано: «Квиттунг цум эмпфанг айнес фельдпакетс» — «Квитанция на получение посылки с фронта». Сорок семь квитанций на сорок семь посылок из России: из Крыма, из Гжатска, из Смоленска, из Пуховичей...

Тяжелые шаги прервали мои занятия в кабинете д-ра Штейнке. Кто-то вбежал, топая сапогами. Я услышал позади лязг затвора и ломкий мальчишеский голос: «Руки вверх!»

В городе еще идет бой. Приказ о его взятии и салюте опередил события. Ночью парторг полка, придя в роту и увидев там неожиданную для него морскую форму, проверял мои документы и устроил мне эдакий экзамен —

знаю ли я Москву, ее улицы, арбатские переулки... За ночь меня проверяли еще несколько раз...

С трудом удержал руки по швам моего черного флотского плащ-пальто с золотыми погонами, — все это здесь непривычно, на всех пропотевшие гимнастерки, полевые погоны и самодельные звездочки, — я повернулся кругом, увидел направленный на себя автомат и мальчишку в солдатской форме — не старше моего племянника Симки, погибшего под Старой Руссой, ему было всего семнадцать лет, он ушел на фронт добровольцем в сорок первом году. Сейчас много в армии ребят такого возраста, они присоединяются к войскам во время наступления по освобождаемым от оккупантов районам нашей страны, и каждому парню хочется настигнуть врага — лицом к лицу.

Я произнес что-то грубое, резкое и длинное, удостоверяющее мое с этим бойцом землячество, он опустил автомат и расплылся в улыбке:

— А я думал — встретил, — разочарованно сказал мальчишка. — Ни одного их здесь нет. А вы, товарищ капитан, в какой-то чудной форме. И головной убор непонятный, очки золотые...

Он еще колебался и надеялся. Он никогда не видел морской формы, таких погон, да еще фуражки с золотой эмблемой и высокой тульей на пружине. Совсем как у них, как у тех, кто столько лет мучил его односельчан, а быть может, истребил его семью...

Я вышел на площадь. Какой-то боец лопатой сдирал вывеску с углового дома — «Адольф Гитлерплац». Так вот как называется эта площадь!

В Риге они переименовали в «бульвар Гитлера» бульвар Райниса — так он и остался бульваром Райниса. В Минске, в Киеве, в Смоленске — всюду они впечатывали это или другое ненавистное нам имя, но мы восстановили старые имена. Здесь мы не спрашиваем имен этих улиц, переулков, площадей. Нам все равно. Нас не интересует, как называлась эта площадь раньше — именем Гитлера или другого милитариста. Мы не спрашиваем здесь, с какого года вон в том островерхом доме помещается гестапо и давно ли рядом с ним публичный дом. Это милитаристское гнездо.

Был уже вечер. За городом шел тяжелый бой. Туда била наша артиллерия и вместе с ней захваченные у немцев батареи шестиствольных минометов — их называют

«скрипунами». Немцы отвечали. Снаряды падали на город и зажигали дома. Мрачно блистал в зареве пожара чугунный орел на высоком постаменте с изречениями Гинденбурга и Вильгельма о превосходстве немца.

— Горит Германия! — произнес кто-то из бойцов, собравшихся на перекрестке.

Мы видели много пожаров на войне — в селах, дотла сожженных немецким факельщиком. Мы помним зиму 1942 года под Москвой, когда немцы кострами из наших сел освещали ночь, страшась внезапной атаки. Мы помним пламя под Киевом и Черниговом, выжигавшее пространства на пути их отступления — мертвую зону пустыни, кладбища вместо украинских сел и городов. Огонь был нашим врагом — тяжко, больно было смотреть, как он пожирает нашу страну. И вот первые огни на прусской земле: отблеск гигантского пожара нашей Родины мы увидели у них в Пруссии, и я услышал, как пожилой красноармеец произнес: «Красиво горит. Дай, браток, закурить». Ему предложили трофейную сигарету. Он отказался: «Нет, дорогой, лучше уж я нашей самосадочки скручу. Крепче московской водки да русской махорки не найдешь. Я с этой махорочкой вон до какого пожара дотянул...»

В стране рабовладельцев

1

Недалеко от берега залива Куришес Гафф и устья реки Неман, здесь именуемой в начале Мемель, затем Русс, находится городок Клайпедской области Шилутэ. На фашистских картах он известен как Гайдекруг. Так и будем называть его, поскольку речь дальше идет о фактах и явлениях, свойственных исключительно фашистскому быту и фашистской Германии.

Город Гайдекруг цел. Прорыв наших войск в Клайпедскую область был столь стремителен, что этот город взяли без боя. За лесопильней и пивоваренным заводом — ряды каменных домов и лавок под вывесками. На вывесках крупными готическими буквами названы имена владельцев. Все двери и окна открыты. Все брошено. Фашисты бежали во весь опор. Исключая двух-трех старух, бежали все — все чувствовали себя виновными.

Жизнь города для нас темна. Мы только ощущаем что-то неприятное и враждебное. Восстановить картину этой жизни можно лишь по внешнему облику улиц, домов, по отдельным, впопыхах забытым документам, по надписям, по вещам.

Говорят, что облик всякого города определяет его главная улица. Центральная улица города Гайдекруг — Гитлерштрассе. На ней есть все, по штату положенное такой улице: казино, публичный дом, тюрьма и собачий питомник.

Пусть никого не удивляет упоминание о собачьем питомнике в центре города. Немцы всегда слыли рациональными в устройстве своих городов: рядом с биргалле они обязательно строили полицейский участок и воздвигали тюрьму. С некоторых пор в стандартный готический пейзаж германского города внесены соответствующие духу времени дополнения: окраину обрамляют крытые толем деревянные бараки рабочего лагеря, окруженные четырьмя рядами колючей проволоки под током высокого напряжения; центр украшает питомник немецких овчарок.

Чтобы понять назначение этого питомника, зайдем в двухэтажный каменный дом под липами за чугунной оградой, в дом, которым начинается улица Гитлера в городе Гайдекруг.

Видимо, в этом доме жил богатый немец, и, видимо, он бежал столь же поспешно, как и другие. Он бросил в конюшне шарабан, нагруженный красными перинами. В умывальной комнате остались тазы с мыльной водой и упавшее на пол полотенце.

Дом подавляет своим богатством. Двадцать четыре жилые комнаты и множество служб и кладовых набиты всевозможным добром. В каждой комнате антиквариат. Коллекции музыкальных инструментов. Коллекции редкой мебели из разных стран. Коллекции фарфора и хрусталя. Разностильные, но дорогие вещи со всех концов Европы. Невольно задаешь себе вопрос, откуда такое богатство.

Узнать фамилию владельца этого «комиссионного магазина» не представляло труда. В спальне валялась пачка крахмальных воротничков. Думается, хозяин не сдавал их в прачечную. Однако на внутренней стороне каждого воротничка он поставил лиловый штампик: «Принадлежит

д-ру Шой». Такой штампик есть абсолютно на всех оставшихся в доме вещах: на воротничках, на манишках, на буфетах, на туалетных принадлежностях и даже на изящной эмалированной плевательнице, что стоит у входа в обитель д-ра Шой: каждый входящий должен знать, что он плюет в сосуд, принадлежащий вышеупомянутому господину.

В одной из комнат на втором этаже я нашел ящик библиотечного типа, похожий на каталог. В нем была какая-то картотека. Я вытащил из ящика четырехстраничный картонный формуляр и прочитал: «Рабочая карточка для рабочей силы».

От руки вписано: «Из старосоветских областей».

Передо мной был каталог рабов. Я находился в доме рабовладельца.

Слева на первой странице этого рабовладельческого паспорта отведено место для оттисков пальцев: левого указательного и правого указательного. Справа — фотография раба или рабыни и рабочий номер. Карточка составлена точно по системе регистрации преступников в уголовном розыске и проштемпелевана во всех соответствующих инстанциях фашистской государственной машины. Мелким шрифтом внизу первой страницы помечено: «Форма А — 5 — Д, выпуск № 50», отпечатано в ноябре 1942 года, в количестве 100 000 экземпляров. Тираж всех форм рабовладельческих паспортов, вероятно, достигает многомиллионных цифр.

Вторую страницу венчает правило на немецком языке:

«Настоящая рабочая карточка дает право на работу только у поименованного работодателя и теряет силу с оставлением данного места работы».

Правило повторено на третьей странице на двенадцати языках: на русском, итальянском, французском, голландском, норвежском, венгерском, румынском, чешском, словацком, польском, болгарском и украинском. Фашисты заготовили этот рабовладельческий документ для всех народов Европы.

В дополнение к установленной форме красный штамп на второй странице предупреждает: «Оставление места работы и местожительства без разрешения ведомства труда наказуется».

Для большей убедительности этого пункта рядом приклеен листок для полицейских отметок и прикреплен

пакетик с шестью проштемпелеванными фотографиями: на случай розыска беглого раба.

В заголовке вклеенной на вторую страницу анкеты есть слово «Бефрайунгсшайн», что означает «Свидетельство об освобождении». Это слово за ненадобностью тщательно зачеркнуто во всех формулярах: фашисты считали, что не может быть и речи об освобождении. Самая анкета как анкета, все с тем же полицейским душком: имя, фамилия и... кличка.

Я вытаскивал формуляр за формуляром. Все это были документы порабощения русских людей — детей, женщин, преимущественно жителей Ленинградской области. Вот два формуляра матери и дочери Кононовых.

Номер 810. Валентина Кононова. Рождения 11 апреля 1930 года из города Наволоки под Ленинградом. Прибыла в Германию 5 апреля 1944 года — за неделю до своего четырнадцатилетия. В графе о подданстве и национальности небрежно сказано: «Не установлено, восточная работница из оккупированных восточных областей». Профессия — батрачка. На фотокарточке — простое детское лицо. Рядом с этим лицом два страшных оттиска. Маленькая четырнадцатилетняя рабыня!

Шесть фотографий на случай побега малолетней рабыни тут же приложены в пакетике. На каждой фотографии штамп и печать фотографа: «Филипайте, член ремесленного цеха фотографов, организации в Гумбиннене, Гайдекруг, Адольф Гитлерштрассе, 5, телефон 253». Каждый по способностям приложил руку к судьбе русской девочки.

В другом формуляре под номером 811 зарегистрирована Агриппина Кононова — мать Валентины.

Кто же владелец этих рабынь? За кем закрепляет их этот позорный документ и правило на двенадцати языках?

В формуляре отвечено: д-р Шой. Рабовладелец с высшим образованием.

В ящике я насчитал 84 таких формуляра. Возможно, были и другие ящики, возможно, у д-ра Шой было несколько сотен рабов. На всех — его штампик. Лиловый штампик, такой же, как на воротничках, на буфетах, на антикварных сервизах, на плевательнице и на чернильнице.

Я обошел дом в поисках живого существа, которое могло бы рассказать, что происходило в этом страшном

средневековом месте. В подвале я нашел только собаку-овчарку и старуху немку. Старуха сказала, что д-р Шой выехал в неизвестном направлении со всеми домочадцами и рабочими. Старуха арендовала у него участок земли. Землю обрабатывали те же русские. Д-р Шой сдавал ей в аренду и землю и рабов. Рабов он увез, ее не взял с собой.

Так выяснилось, что немец рабовладелец был одновременно и работорговцем. Гитлер брал с него десяток марок за каждую русскую женщину и девочку. Он продавал этих рабов арендаторам. Вернее, он сдавал их напрокат. Прибыль оставалась в его кармане. На эту прибыль д-р Шой содержал свой двадцатичетырехкомнатный «комиссионный магазин».

Я спросил старуху:

— Кто-нибудь из рабочих бежал?

— Пытались бежать, но всегда их ловили, — проскрипела старуха. — Одна бежала до самой границы. Все же ее настигли.

— Что с ней было?

— Собаки ее поймали. Вот такие...

Старуха указала на лежавшего рядом огромного пса. Нам сразу стала ясна судьба беглянки.

Овчарка принадлежала городскому собачьему питомнику Гайдекруга. Здоровая, откормленная. Городское управление предусматривало специальный паек для нее. Собака должна была отлично питаться, чтобы бдительно охранять восточных рабов. Такую овчарку за плату мог взять себе в питомнике каждый рабовладелец.

Вот почему в центре немецкого города на улице Адольфа Гитлера рядом с публичным домом, казино и тюрьмой находится и образцовый собачий питомник.

Питомник во время войны давал большие прибыли. Все, что связано с рабовладением, приносило и горожанам и хуторянам самые обширные дивиденды. Как акционерам рабовладельческой компании. В каждом доме Гайдекруга и на каждом хуторе были рабы, рабовладельческие паспорта и нужда в собаках для охраны. Такие документы, как в доме д-ра Шой, я видел всюду, где только ни был,— и в Клайпедской области и в Восточной Пруссии.

Вот почему так много лавок в фашистской империи. Вот почему так богато обставлены их дома. Вот почему

они пошли за фюрерами в разбойничий поход. Виновны. Виновны все, кто участвовал в убийствах, в грабежах, в дележе прибылей.

Рядом с домом д-ра Шой находится ателье фотографа Филипайте, «члена ремесленного цеха организации в Гумбиннене», печать которого стоит на карточках четырнадцатилетней русской рабыни.

Рядом с фотографом — магазин художника Курца, тоже урвавшего свой куш в рабовладельческом предприятии. Быть может, он когда-то писал сентиментальные пейзажи. В последние годы он нашел более выгодную музу. Он открыл магазин, в котором продавал самый ходкий в стране рабовладельцев товар — деревянные таблички в тряпичном чехле с буквами «Ост», «П» и прочими знаками для русских, польских, французских и других рабов. Каждый знак стоил 50 пфеннигов. Отбоя от покупателей не было. В мастерской живописца разбросаны трафареты для изготовления рабских знаков и номеров большим тиражом. Работа прервана в самом разгаре.

Я вышел из этого города на шоссе Мемель — Тильзит. Эта широкая асфальтированная дорога разрезает всю Клайпедскую область, отторгнутую Гитлером у Литвы. Удобное шоссе, но и на нем работали наши братья, наши сестры, маленькие девочки, которым в пору бы ходить в школу, расти в радости в родном доме, чтобы стать учеными, инженерами, летчиками. Шоссе обсажено березами. Березы подстрижены — подстрижены руками наших людей, которых фашисты сделали рабами. На каждом километре — высокие деревянные помосты для посадки на попутные грузовики. И это построили наши люди. Но вдоль дороги — кладбище: машины, повозки, тягачи, красные перины и чемоданы. Это — возмездие. Это бежали фашисты. И они узнали то, что по их злой воле испытала Европа: горе беженцев.

Вдоль обочин шоссе двигаются длинные пароконные фуры, крытые брезентовыми шатрами. Фура за фурой — целые обозы. Из-под брезента торчат колеса велосипедов, швейные машины «Зингер», белобрысые головы и выглядывают испуганные бесцветные глаза. Это — немцы, это те, которым не удалось удрать за Неман, потому что наша армия внезапно перерезала все дороги. Они тронулись с места. Начались их скитания. Их никто не трогает, но

они боятся, потому что прекрасно знают цену преступлениям фашизма.

Я остановил одну из подвод, запряженную парой откормленных битюгов, и спросил сидевших там людей:

— Дойтше?

— Литауэн, литауэн! — испуганно затрещали хором из повозки, забыв, что по-литовски надо было сказать иначе: «летувис».

Кто-то из наших бойцов, услышав это, сказал мне:

— Чего их спрашивать, товарищ капитан? Они ж теперь все открещиваются — и активные, и которые втихую поддакивали. Теперь в кусты.

2

В домах города Гайдекруг разбросаны любительские фотопленки. Все снимки, кажется, сделаны одной рукой. Всюду запечатлены демонстрации и манифестации. Барабан, гусиный шаг, рогатые каски — однообразное зрелище. Однообразен и фон — кирпичный дом на главной площади города.

Мы уже знакомы с центральной улицей города — от притона работорговца доктора Шой до собачьего питомника. Это, можно сказать, главная артерия их жизни.

Парад обычно происходил перед кирпичным домом на площади.

Этот дом — самый большой в городе. На нем — портреты фюрера. На нем — флаги райха. На нем и герб — скрещенные в виде свастики топоры в скрюченных когтях орла. Но не подумайте, что это ратуша. У орла — подходящее обрамление: в доме нет окон, вместо окон — решетки. Над решетками и орлом — черная надпись:

«Герихтсамт унд Герихтсгефэнгнис».

Это суд и тюрьма.

Почему парады устраивали именно перед тюрьмой? Быть может, тут присягали правосудию и справедливости?..

Городская святыня окружена высоким каменным забором. Верх забора усеян острыми стальными шипами. Дубовая калитка заперта на семь замков. Но нашлась лазейка — незарешеченное окно. Оно вело в кабинет квартиры тюремщика. У окна письменный стол. На столе —

стопка изящных в тисненой коже «Гезангбух»: это именные лютеранские молитвенники семьи тюремщика. Его звали герр Вилли Якумайт.

Как и доктор Шой, богобоязненный тюремщик Якумайт питал страсть к коллекциям. Страсть носила профессиональный уклон. В соседстве с томиками псалмов — богатый выбор всевозможных плеток, дубинок и никелированных наручников. Достижения современной германской научно-исследовательской мысли в области истязания людей представлены довольно разнообразно: от искусных наручников с сигнализацией и автоматической застежкой в виде стальной свастики до усовершенствованного кастета.

Здесь же я обнаружил и связку тюремных ключей.

Через кухню тюремщика — ход в тюрьму. Все двери были заперты. К каждому замку пришлось подбирать ключ. Тюрьма пуста, пусты каменные склепы и коридоры. Гитлеровцы бросили в панике город. Доктор Шой не успел вывезти свои богатства в Кенигсберг. Якумайт забыл на столе именные молитвенники и свою коллекцию. Но обитателей тюрьмы они поспешили эвакуировать прежде всего. Они нашли даже время все в ней запереть. Не забудьте, это — их святыня.

Однако где совершено столько преступлений, там вопиют камни. В безмолвных казематах стены разоблачают. Изобличают случайно оброненные бумажки. Идем по тюрьме и читаем, как в книге зла.

Рядом с квартирой тюремщика Якумайта — одиночная камера номер три. Дверь окована железом и снабжена сложными запорами и засовами. Камера узка, как колодец. Высокая стальная решетка из толстых прутьев делит ее надвое. Такие решетки бывают в зверинцах. В решетку вделана стальная дверь. За дверью — закуток. Это шкаф пыток.

На каменном полу «шкафа» рассыпана солома. Не подозревайте герра Якумайта в милосердии: солома рассыпана, дабы скрыть кровь. Под соломой на полу бурые пятна. Здесь герр Якумайт испытывал свою коллекцию. Быть может, перед этим он распевал псалмы?

Стена за решеткой изъедена страданиями. На ней много выщербленных мест. Истязуемые ногтями царапали камни. При свете спички я разобрал следы полустертых слов:

«Константин»... «муки»... «чужие»... «Днипро»... «батько»...

Тюремщики бдительно следили за царапинами. Это — бунт. Это — протест. Опасно для райха. Они красили и полировали стены, уничтожая написанное.

Одну фразу им не удалось вытравить — настолько глубоко она выбита в камне. В ней сказано: «Хай живе коммунизм! Смерть фашизму!»

Какой-то мученик выдолбил ее в камере № 2. Его истязал Якумайт. Кастет «хайль Гитлер» дробил его кости. Но у него хватило сил оставить в камне этот след. Тут же не понятая мною надпись по-литовски и подпись: Елена Балмайте. В соседней камере надпись по-немецки: «Зачем я родился? Ведь для того, чтобы жить?..» Это рядом с камерой № 3. Камера № 3 — место пыток.

Кто эти люди? Кто поминал в этой клетке батьку? Кому в тумане обморока мерещился славный Днипро? Кто герой, вложивший душу свою в неистребимый призыв на тюремной стене? Где они, узники богобоязненного Вилли Якумайта?

В его кабинете я нашел книгу «входящих и исходящих». Не бумаг — людей: в ней регистрировали входящих в тюрьму и исходящих в могилу. В книге много имен и много национальностей: литовцы, поляки, украинцы, белорусы, молдаване, русские. Все, кого фашисты смертельно боятся и кого задумали истребить. Против некоторых фамилий есть параграфы обвинения. Этого нет только против фамилий русских. О русских сказано просто: русские. Достаточно для смертного приговора.

Русские записаны в книгу смерти семьями. Особенно много — в месяцы нашего летнего наступления: фашисты гнали советских людей на запад. Первый этап на пути — тюрьма.

«21 августа. Входящие: Евдокия, Феодошка и Василий Федоровы».

«22 августа. Входящие: Нина Чечевиц, Алена Чулкина, Федор Чаков, Николай Кларин».

«23 августа. Входящие: Иван Томилин, Владимир и Евдокия Рыбины».

Русских в этой тюрьме долго не задерживали. Книга «входящих». Шкаф пыток. И в тот же день — в гестапо. Против каждой фамилии — пометка: «политический».

И против каждой пометки — приговор: «в гестапо». Такова судьба мучеников камеры номер три.

В комнате тюремщика разбросаны детские черновики. У герра Якумайта были дети школьного возраста. Они упражнялись в арифметике на листках устаревших служебных бумаг: «$2 \times 2 = 4$».

Листок пробит скоросшивателем — это бланк из папки папаши. Типографским шрифтом на обороте напечатано: «Елена Отто, 1887 года рождения, учительница, 8 мая 1939 года объявлена вне закона, согласно декрету о соблюдении чистоты расы». Старая учительница подлежала уничтожению. Вероятно, она скрылась от палача. Об этом государство предупреждает все тюрьмы. Каждый, кто ее встретит, должен ее убить. И потомку тюремщика надлежит помнить: $2 \times 2 = 4$, учительницу Отто нужно убить.

Крематории в Майданеке фашисты камуфлируют под оранжереи. Но они настолько преступны, что, заметая следы, не в силах уничтожить все улики: для этого им нужно сжечь землю под собой. И вот мы находим устаревшие документы эпохи «становления гитлеризма». Их много, таких карточек. Ими пользовались как закладкой в книге «входящих и исходящих». На одной из закладок напечатан смертный приговор четырехлетнему мальчику: «Михаэль Оппенгеймер, 1936 года рождения, берлинец, объявлен вне закона 14 июля 1940 года». На этом они воспитывались. Это выглядит, как выцветшая от времени кровь. Но на обороте — свежие пятна: телефонограмма судьи. Она записана в августе прошлого года и к четырехлетнему смертнику не имеет никакого отношения:

«Отправьте приговоренных в распоряжение хозяев».

Запись в книге расшифровывает эту телефонограмму:

«Ионас Бордникас, Анна Бордникас и Иноцас Петунас 18 августа 1943 года взяты фрау Грёгер, арендатором из Коллешен, для отбывания срока наказания в ее хозяйстве».

До сих пор мы слышали о страшной каторге в гитлеровских концлагерях. Мы знали, что фашисты раздобывают рабов для своих фрау в военных походах. Волчий закон фашизма внес нечто новое: человека передают в рабство по судебному приговору. Так система рабовладения охватила в Германии все, вплоть до судебной камеры.

В Берлине существует специальный регистр прокуратуры «по наказанию иностранцев». В деле литовца Иоганнуса Зомаса я видел директиву этого «отдела». Берлин подчеркивал, что дело Зомаса — политическое, он же литовец и советский подданный. В чем преступление Иоганнуса Зомаса?

Иоганнусу Зомасу — 48 лет. Он — крестьянин из пограничного хутора Мемельской области. Когда Гитлер захватил эту область, дом Зомаса оказался в нескольких метрах от границы — в Литве. Когда они оккупировали Советскую Литву и произвольно передвинули пограничную черту, дом Зомаса оказался в нескольких метрах от рубежа — в Германии. Зомас попал в список «советских подданных на германской территории». В тюрьму, как сказано в деле, он попал без продовольственных карточек, ибо семь недель не был дома: три недели копал под Таурагеном окопы и четыре недели сидел в полиции. Иоганнус Зомас обвиняется в злоумышленном нарушении границы райха.

Все обвинения крестьянин разбил житейским фактом. Летним вечером принадлежащий ему гусь убежал к соседу, и Зомас пошел за своей собственностью. Он по-крестьянски утверждает, что границу не нарушал, а ходил за гусем в соседский двор.

Но Зомас — литовец. Он должен быть виновен. Это твердо указывает «Регистр по наказанию иностранцев, Главная Прокуратура — Берлин — Вестен 35. Потсдамерштрассе, 178». Дело чиновников Гайдекруга и Мемеля — подобрать обвинение и параграф.

Свидетель Михаэль приходит на помощь. О нем значится — «вполне проверенный член национал-социалистской партии». Этим все сказано. Михаэль утверждает, что Зомас вернулся без гуся. Он присягает: «От Зомаса пахло литовским шнапсом».

В псковских лесах фашисты жгли пятки партизанам под звуки веселенькой патефонной пластинки. У себя дома они не прочь похихикать, медленно убивая крестьянина. Они учиняют экспертизу о приметах гуся и происхождении шнапса. Гусь был, но исчез. Из Главной Прокуратуры Берлина пишут: «В дополнение к перечисленным параграфам литовца Зомаса следует оштрафовать за исчезнувшего гуся, видимо, он унес его в Литву, чтобы не платить налога райху».

Зомас вновь опровергает. Он утверждает, что гуся сожрали фашистские солдаты, отступавшие с Восточного фронта. Уж не хочет ли он этим сказать, что солдаты мародеры?

От этого дела пахнет не анекдотом, а каким-то государственным садизмом. От Мемеля до Берлина фашистские чиновники наслаждаются, издеваясь над беззащитным литовцем. И теперь его не бросили: убегая, прихватили с собой.

В тюрьме были не только невинные. В тюрьме были и преступники. Для них были отведены камеры третьего этажа. Там тоже стены говорят — о фашистском духе. Каждая пядь этих стен разрисована похабщиной. Это тоже краски их быта.

Я перелистал бумаги жителей третьего этажа. Все до единого — уголовники. Преступники в возрасте от четырнадцати до тридцати лет. Это — молодежь гитлеровской формации, те, что писали школьные черновики на смертных приговорах.

Эдит Лаукандт. О ней сказано: «Чистокровная арийка. В предосудительных поступках против райха не замечена». Обвинение: «дибшталь» — воровство, 2 сентября арестованную навестил муж — обер-ефрейтор Вильгельм Лаукандт. Он приехал на побывку с фронта и обнаружил супругу за решеткой. Обер-ефрейтор возмутился: ведь Эдит Лаукандт «взяла» чемодан с вещами из литовского дома. Несколько дней спустя в дело подклеили телефонограмму из Мемеля: «Супругу обер-ефрейтора срочно освободить».

Иоганн Эрдманн. «Немец. 1913 года рождения. Рост — 168. Высокий лоб. Серо-голубые глаза. Острый нос, оттопыренные уши, маленький рот, гнилые зубы» — таковы приметы чистокровного представителя арийской расы! Он ловко обчистил вдову кавалера Железного креста Грету Каншадт из Тракседена. Иоганн Эрдманн, вероятно, недоумевал: за что его посадили? Он по-своему, по-фашистски, продолжал боевые традиции германского оружия. Что он укрыл — краденное... Муж Греты Каншадт воровал и грабил в России. Почему же его соотечественнику не обокрасть жену грабителя в тылу?..

Куда исчезли жители третьего этажа?

В деле Иоганна Эрдманна 9 октября — накануне вступления наших войск в Гайдекруг — помечено: «Комиссар

Оборонительного округа Мемель по телефону приказал: выпустить герра Эрдманна из тюрьмы и срочно направить в его распоряжение».

Все ясно: «Рост — 168, руки и ноги — в порядке». Фольксштурм нуждается в экстренном пополнении. Третий этаж тюрьмы подготовил надежные контингенты. Защита райха в проверенных руках.

Долгие годы война далека была от Гайдекруга. Фашисты маршировали перед тюрьмой и били в барабан. Нам понятно, почему тюрьма для них была святыней: это — их оплот против других народов. Сюда они сажали тех, кого сами грабили. Фашисты украли и город этот и край. Когда-то вся эта местность принадлежала литовцам. Тут жили и трудились мирные землепашцы. Они и теперь бывали здесь — в одиночке, за кирпичной стеной. Фашисты захватили их дома и поля. Тюрьма помогала им господствовать на уворованной земле. Не правосудию они присягали перед красным домом на площади, а волчьему закону. Их закон создан для истребления других народов. Их судьи судят всех, кроме настоящих преступников. Сами судьи — преступники, надо судей судить. Они мечтали весь мир посадить за решетку. Поэтому все человечество их ненавидит.

Что и говорить — грохот барабана им был приятнее гула орудий. Они бежали от этого гула за Неман. Но мы придем и туда. Мы помним, что здесь еще преддверие. Там найдем и доктора Шой и герра Якумайта. Там разыщем и главных тюремщиков и палачей.

Фронтовой дневник

21 апреля 1945 года. Вторую неделю нахожусь на берлинском направлении. Позади Варшава, Познань, Ландсберг, Штраусберг. До Познани летел с Львом Славиным на самолете, дальше мы с ним добирались на попутных грузовиках. Все города и городишки до Одера в белых флагах. В Ландсберге мы пришли с Ильей Бару к Всеволоду Вишневскому, он от «Правды» вместе с Золиным. Вишневский обрадовался балтийцам, развернул на столе карту и стал объяснять «обстановку и замысел предстоящего Берлинского сражения». В нем гибнет талант полководца. Золин помешал нашей беседе, «оберегает» Вишневского. К Берлину подтягивались кинооператоры, художники, корреспонденты

с других фронтов, много писателей — Борис Горбатов, Всеволод Иванов, Александр Бек, Василий Гроссман, Галин. До Штраусберга все держались вместе, потом разлетелись по разным направлениям. Из нашей газеты кроме Ильи Бару есть еще черноморцы: Борис Шейнин, «неистовый репортер», и Сеня Лифшиц — хромой, израненный, он имеет право идти на Берлин больше, чем все мы.

Две армии — 3-я Ударная генерала Кузнецова и 5-я — генерала Берзарина — перешли кольцевое шоссе и вступили в предместья Берлина. Вероятно, и другие армии ворвались в город. Нахожусь в армии генерала Перхоровича, его части тоже вступили в Гросс Берлин, как говорят встречные немцы, подтверждая, что мы уже в Большом Берлине. Это понимаешь и без них, когда пересекаешь выложенные брусчаткой первые трамвайные пути. Пригород ли, предместье, но это уже Берлин.

Взят в плен командир 563-го полка подполковник Вернер Панков, 1897 года рождения, уроженец Кенигсберга, по образованию врач. Участвовал в его допросе. Он служил в армии до двадцатого года, был на первой мировой войне. Дивизия «Берлин», в которую входит его полк, сформирована в начале сорок пятого года из резервных частей, ранее дислоцировавшихся в Дании. Командир дивизии генерал-майор Фойгтсбергер. Оружие полка: «штурмгевер, панцершрекк», — так сказал подполковник. Это о фаустпатронах. Подполковник показал, что, ожидая наступления, строили укрепления от Одера до Берлина. Концентрировали артиллерию. 13 и 14 апреля на его КП побывали 10—12 командиров артиллерийских батарей, интересовались обстановкой и противником. Подтянули резервные части для контрударов. Фюрер приказал обороняться на Одере до последнего солдата. Там решалась судьба Берлина. «16 апреля после ураганной артподготовки части нашей дивизии не сумели задержаться на рубежах,— рассказывает подполковник, — пытались отойти на главную оборонительную линию севернее Зеелова. Но давление русских было так сильно, что мы не удержались и там. Связь со штабом дивизии потеряли 17-го. Решил отходить без санкции дивизии. Но к вечеру 17-го мой полк и приданные ему две саперные роты и два батальона учебного авиаполка были окружены. Два раза пробовал прорваться. К 18-му дивизия была разгромлена».

К концу беседы подполковник попытался было «высоко оценить» действия наших войск, даже разобрать их с военной точки зрения, но потом сник и произнес: «С иллюзиями покончено».

На стенах домов, на каменных оградах надписи черной краской: «Берлин блайбт дойч!» — Берлин остается немецким! Это,

как объясняют пленные, из «суточного приказа фюрера». Там еще сказано: «Вена снова будет немецкой. Европа никогда не будет русской. Будьте бдительны по отношению к небольшой группе офицеров и солдат, которые ради спасения своей жалкой жизни станут бороться против нас. Судьба убрала одного из величайших во все времена поджигателей войны. Решится поворот



Помешали. Берлин. Апрель 1945 г.

этой войны. Адольф Гитлер». Это — о смерти Рузвельта. Иван Николаевич Королев, член Военного совета армии, дал мне копию такого приказа фюрера, адресованного солдатам 3-го танкового корпуса СС. На нем пометка: «Немедленно». Не помогло.

Генерал Перхорович получил приказ изменить направление — не в глубь города, а в обход, на соединение с частями Первого Украинского фронта.

25 апреля. Нахожусь в дивизии генерал-майора Павла Шафоренко. С плацдарма за Одером это соединение вышло на канал Берлин — Шпандауер — Шиффартсканал вчера в 16.00. Из района Панков пересекли железную дорогу. Теперь мы в Вед-

динге — первое знакомое для моего слуха название берлинского района. Веддинг. Красный Веддинг, рабочие баррикады, о которых читал в пионерские годы. Теперь здесь баррикады фашистского фольксштурма. Многоэтажные дома. Разбитые витрины магазинов. Станции метро. Это уже Берлин.

Гвардии генерал-майор Шафоренко, увидев у меня фотоаппарат, сказал гвардии майору Михаилу Жукову, командиру полка самоходок:

— Ну что ж, друг, воспользуемся случаем и снимемся для истории.

Мы вышли из подвала наверх, на угол Зее- и Мюллерштрассе. Я хотел снять генерала на фоне многоэтажных домов и самоходки, но замешкался в поисках точки и фокуса. На углу загорелась машина — ее поджег из соседнего дома какой-то фаустник. Генерал, которого не заподозришь в слабости духа — он впереди своих бойцов первый вошел накануне в этот район Берлина, — сказал:

— Знаете что: идёмте сниматься во двор. Сегодня я, пожалуй, обойдусь без фона. Хочу не потерять возможности сняться на фоне рейхстага.

Мы вошли во двор. Но и там нам помешали.

Пришел пожилой господин, он хотел разговаривать с генералом лично. Он доложил, из какой квартиры стрелял фаустник. Так я и снял генерала с этим господином.

Май в Берлине

Цветут вишни и яблони в окрестностях Берлина. Короткие весенние дожди проносятся над запущенными и заброшенными полями. Дуют холодные ветры. Но в городе — духота. Над городом горячий туман. Красное облако огня, дыма и кирпичной пыли окутывает Берлин. Белые флаги на домах быстро темнеют от гари. Немцы каждое утро заменяют их свежими.

Война здесь только стихла. Вчера и сегодня молчит артиллерия. На площадях, на улицах стоят украшенные цветами и алыми полотнищами наши танки и орудия. Май, майский праздник. Война позади. Не рушатся дома. Одна за другой исчезают баррикады. Их разбирают те, кто строил. Мимо баррикад бесконечными колоннами идут те, кто их защищал. Но воздух сражения еще не остыл. Еще звучат отголоски битвы, изредка где-то взрывается

мина. Бьет из подвала не выкуренный оттуда эсэсовец. Город, земля, армия — все накалено до предела, все живут еще в только что отзвучавшей битве. Не такая это была битва, после которой сразу наступает затишье.

Двенадцать дней прошли, как одни сутки: без отдыха, без сна, в стремлении к маю все закончить, выйти в центр города. Я видел генералов, которые все эти дни не смыкали глаз. Видел бойцов, четырежды перевязанных, обмотанных бинтами, но не уходивших с берлинских улиц в эти последние часы.



В центре Берлина. Тридцатое апреля 1945 г.

— Ведь это же всем битвам битва!

Да, именно так: всем битвам битва. Еще немыслимо охватить сознанием ее масштабы. В памяти лишь штрихи. Мы знаем, что у наших армий позади грандиознейшие сражения. Может быть, где-то дрались дольше, горячей и тяжелей. Но здесь каждый понимал, что дерется за окончательную победу. Здесь дрались за то, о чем мечтали четыре года. Четыре года этим жили — прийти сюда, в Берлин.

Две недели назад наши командиры сменили карты на подробный план города. У генерала Перхоровича — его

войска первыми вошли в предместье Берлина Виттенау — затуманились глаза, когда он остановил машину у столба с немецкой надписью: «Берлин. До центра 12 километров».

— Смените, — приказал он. — Напишите по-русски, чтобы каждый боец понимал...

И кто бы ни проезжал или ни проходил мимо этого столбика, каждый останавливался здесь и повторял: «Берлин!»

Скорее, как можно скорее прорваться к центру, к рейхстагу.

Три крестика появились на плане города в планшете каждого командира: рейхстаг, Бранденбургские ворота и здание Имперской канцелярии. Если видишь бойца, разговаривающего с немцем, знаешь заранее, о чем боец расспрашивает: дорогу туда, в их последнее гнездо.

Настали дни, когда штабы стали измерять расстояния на метры. В дивизии гвардии генерал-майора Павла Шафоренко на Мюллерштрассе мне сказали в конце апреля: до рейхстага осталось 1250 метров. «Ну, что же, мы метров на пятьдесят ближе, — серьезно сказал генерал из соседней дивизии, он слышал наш разговор. — После пятичасового боя мы заняли большой дом. Он тянется метров на полтораста».

Трудно пришлось артиллеристам. Они били прямой наводкой по немецким баррикадам. Орудия стояли на открытых позициях посреди широких центральных магистралей. Немцы стреляли расчетам в спину из окон домов, из-за развалин. Но не это страшно было артиллеристам — страшней была опасность попасть в своих, фронты сближались, в городе стало тесно, даже на прямой наводке нужна была осторожная стрельба. Вперед выкатывали пушки малых калибров.

И вот перед майским праздником над рейхстагом уже реял наш флаг. И не один, а несколько флагов, поставленных разными подразделениями на различных углах здания. Каждая из частей оспаривала первенство. Подойти к рейхстагу еще было трудно. В нем и в соседних зданиях крепко засели немцы. Они стреляли по флагам, но не могли их сбить. В развалинах домов шел бой за каждый пролом, за каждую нишу. В этот день фронта уже не было — была какая-то изломанная линия боев, где



Мы идем... Тридцатое апреля 1945 г.



Они уходят... Тридцатое апреля 1945 г.

29*

перепутались кварталы, захваченные нашими, и кварталы еще немецкие.

Настало утро 1 Мая. Наши войска подошли к Фридрихштрассе и Александерплацу. Бой шел у ратуши. Утром у дворца Вильгельма остановилась машина с огромным радиорупором. В центре Берлина бойцы услышали голос Москвы, звон башенных часов с Красной площади, речь с трибуны Мавзолея. Транслировался первомайский парад. Люди, лежавшие с автоматами на карнизах зданий, у перевернутых трамвайных вагонов, возле разбитых станций берлинского метрополитена, были потрясены — они тоже участвовали в московском параде. Над всеми орудиями, над командными пунктами, над танками — всюду, где был советский человек, вопреки правилам военной маскировки, появились красные флаги и флажки. Весь Берлин был в красных флагах — наша армия праздновала Победу. Немцы это видели. Тысячные толпы пленных проходили по улицам. В ночь на 2 мая их радиорупоры кричали:

— Русские, не стреляйте! Мы хотим сдаться!

И тут же слышалась стрельба на их стороне. Приходили пленные и рассказывали, что эсэсовцы расстреливают фольксштурмовцев.

2 мая они капитулировали. Весь день происходила сдача гарнизона. Но эсэсовцы, выбрасывая из подвалов белые флаги, в упор стреляли в подходивших к ним красноармейцев. Весь день артиллеристы, танкисты, саперы, пехотинцы — все, кто воевал в Берлине, занимались одним: принимали пленных и выкуривали из подвалов эсэсовцев.

Закоулками, по развалинам домов пробирались к нам в тыл переодетые в штатское платье гестаповцы. Они стремились скрыться туда, где стало спокойнее, надеясь потонуть в общей массе беженцев. Я видел берлинских чиновников, которые стояли на Франкфуртераллее и указывали работникам нашей комендатуры переодетых гестаповцев и крупных нацистов. Немцы выдавали немцев. Они делали это легко и охотно, спасая себя. Юрист, один из директоров райхсбанка, услужливо предлагал себя в качестве опознавателя.

В этот день я проехал по всему городу — от Нойкёльна до Веддинга, когда-то Красного Веддинга, и Моабита, где тюрьма Моабит, и от Лихтенберга до центрального Берлина. Многих кварталов не существует. Остовы домов,

многоэтажные скелеты улиц, стены, стены и стены без окон, без дверей, без крыш. Выжженная зелень посреди широких магистралей. Вспоротые тоннели метрополитена. Входы на станции метро завалены щебнем, разбитыми машинами и трупами. Ближе к центру трудно проехать. Мостовой нет, она вся засыпана кирпичом, металлом, загорожена перевернутыми трамваями, полусгоревшими омнибусами, столбами и электропроводами. Мы пробираемся на Унтер-ден-Линден, где уже нет знаменитых лип, к рейхстагу, где рядом с алыми флагами орудуют на крыше кинооператоры и фоторепортеры, к дымящемуся зданию Имперской канцелярии, на правительственную улицу Вильгельмштрассе.

Вот в редакции газеты валяются кипы последних номеров берлинских листков. Никто их не разносил по киоскам, никто не читал.

Лежат пачки последнего номера газеты «Дас цвёльф Ур блатт» от 21 апреля. Мне отдал такой номер газеты старый служака немецких колониальных войск штабсфельдфебель Август Штральберг, он служил в главной комендатуре Берлина, ушел оттуда 18 апреля и сдался в Виттенау 22 апреля. Под вывеской этого номера — № 93, суббота — укрылись названия пяти других газет фашистского Берлина — последний объединенный листок гитлеровской столичной прессы. Он вышел в день, когда наши войска уже дрались на улицах города, о чем сказано скромно: «Сегодня, в девять часов утра, в городе будет проведена пробная стрельба полевых артиллерийских батарей. Берлинцев просят не волноваться». Номер, очевидно, верстали в бреду и в панике. Заголовки гласят: «Сильный напор врага в Северной Германии», «Мужчины и женщины Берлина, теперь нужно себя проявить!», «С панцерфаустом, винтовкой и ненавистью!», «Призываем к фанатическому сопротивлению!», «25 немецких самолетов уничтожили 4800 русских!», «Наш фронт — туго сжатая пружина!» И тут же — холодный душ для удирающих: «Действительны только красные проездные документы». Половину второй страницы занимают объявления: «Двух лошадей и повозку покупаю». «Детскую коляску меняю на хороший велосипед и два рюкзака». Среди всей этой истерики кладбищенский юмор: «Страховое общество против несчастных случаев — фирма существует с 1875 года — рекомендует обращаться к дирекции в разных горо-

дах Германии». Следуют адреса «разных городов», где в это время жители аккуратно меняли по утрам загрязненные за ночь белые флаги на чистые.

По поводу «туго сжатой пружины» Август Штральберг сказал мне:

— Наши войска имеют теперь большое преимущество: одни и те же сражаются и против запада и против востока.

У него были основания для горечи: сам — четырнадцать лет служил в Африке, вернулся ни с чем — Германия потеряла колонии; сын погиб на Западном фронте, дочь — от бомб...

И вот нераспечатанные кипы этого последнего фашистского листка, экземпляр которого я сохранил, как исторический трофей. Мимо редакции проходят десятки тысяч пленных — тут и тотальные старики и подростки, и охранные батальоны министерств, и полицейские, и морская пехота, и подводники из Киля, и спешно обмундированные служащие метрополитена, и «батальон желудочнобольных», и «подразделения печеночников», все, кого спешно мобилизовали гитлеровцы.

Бойцы смеются: «Ишь, фанатики пошли...» «Фанатики» идут по Берлину навстречу бесконечному потоку наших автомашин, танков, орудий, повозок, в эти дни все, кто воевал здесь, кто воевал в этом городе, стремятся обязательно побывать в центре германской столицы, у самого рейхстага, у Бранденбургских ворот.

Только и слышишь на улицах: «Земляк, как тут на Фридрихштрассе эту проехать?» — «Да понимаешь, дорогой мой, я сам первый раз в Берлине...»

Ночью с одного из берлинских аэродромов в Москву уходил самолет. В нем летели корреспонденты, штабные офицеры. Мы пролетели затемненную Германию. Позади осталась Польша. Под нами советская земля. Огни городов указывают нам путь. Мы проходим Витебск, Смоленск, родные края, где еще недавно пылали пожары, где фашисты разорили жизнь миллионов людей. Сейчас здесь снова горят огни. Самолет идет над ними прямым безопасным путем в Москву.

Летчик лейтенант Анисимов говорит, что это его сто двадцатый ночной перелет за время войны. Сто девятнадцать раз летал с потушенными огнями, вслепую, садился на лесные площадки, по кострам.

— Боюсь, не сяду теперь на такой аэродром, — смеется летчик, делая вираж над освещенным аэродромом. — Отвык, черт возьми, отвык!

Мы садимся в Москве.

Поверженный райх

Сегодня День Победы. Сегодня кончилась война. Мы не знали заранее, в какой из дней календаря это произойдет. Мы не знали, с какой стороны и в котором часу войдем в Берлин. Но мы знали твердо, что войдем в него — через Потсдам ли или через Лихтенберг. Мы знали: война не может кончиться где-либо в Инстербурге или Аахене. Война может завершиться лишь тогда, когда мы придем в Берлин.

В день, когда берлинские газеты обещали, что вот-вот должно наступить какое-то чудо, в этот день наши первые снаряды разорвались на Александерплац. Может быть, в тот день немцы не прочь были бы повесить на Бранденбургских воротах Гитлера. Но события развивались без чудес, реально, с неумолимой последовательностью. Мы овладели Берлином. Мы повергли нацистский райх в прах. Мы принудили его к безоговорочной, к полной сдаче на милость победителя.

Мы в Берлине. Что же это за город?

Он создавался столетиями, он фундаментален, он опоясан парками, озерами, рощами, лужайками, он разрезан и переплетен каналами и шоссейными дорогами. Вероятно, в нем было много великолепного и величественного для любознательного человеческого глаза, заманчивого — для туриста, занятного — для исследователя, поучительного — для путешественника. Но мы пришли сюда не туристами, не путешественниками по европейским столицам. В минувшие годы этот город стал понятием, синонимом, олицетворением зла. Мы оставили свою любознательность на другое время. Для нас Берлин — не столица. Больше десяти лет Берлин — столица зла.

Мы это видим, мы чувствуем, сталкиваясь и с городом и с людьми, теперь мечтающими из «сверхчеловеков» превратиться в невидимок.

Я объехал вокруг Берлина не по шикарной кольцевой автостраде, а по его пригородам. Нет слов, красивы окрестности этого города. Но эта красота обезображена колючей

проволокой, сквозь которую был пропущен электрический ток, темно-зелеными бараками, где в скотских условиях обитали рабы. Лагеря и лагеря.

Обершёневайде на востоке — лагерь, Карлсхорст — лагерь, Фридрихсфельде — лагерь, Херцберге — лагерь, Вайсензее — лагерь. Хайнерсдорф — лагерь. Розенталь — лагерь. Виттенау — лагерь. Фронау — лагерь. Хённигсдорф — лагерь. Шёнвальде — лагерь. Фалькензее — лагерь. Дёбериц — лагерь. Фарланд — лагерь. Потсдам — лагерь. Драйвиц — лагерь. Штансдорф — лагерь. Тельтов — лагерь. Лихтенфельде — лагерь. И так до конца — с востока на север, с севера на запад, с запада на юг и с юга на восток — замкнутый круг рабовладельческих лагерей для десятков, сотен и сотен тысяч русских, поляков, французов, сербов. Даже в Потсдаме, который когда-то в Германии гордо именовался Версалем Берлина, даже там эти темно-зеленые бараки за колючей проволокой.

Это только внешнее кольцо лагерей. Они разбросаны и в самом городе, во всех его промышленных районах — в Нойкёльне, в Веддинге, в Сименсштадте — всюду, где дымили трубы немецкой промышленности. Вот уже две недели из этих лагерей по расходящимся от Берлина шоссейным трассам идут представители всех городов и национальностей мира, носители всех флагов земного шара, освобожденные от позорного рабства советским бойцом.

Это — измученная, истосковавшаяся по родине, но радостная толпа. Хотя родина иных лежит на западе от этого страшного города, они идут на восток, в страну, откуда пришло спасение. И господа, вчера топтавшие эту толпу рабов, вчера плевавшие этим людям в лицо, вчера уверявшие, что арийцы — господа, избранная раса, а все остальные — ничтожества, сегодня эти господа не прочь присоединиться ко всему этому странствующему Вавилону, сегодня фашисты срочно разыскивают эльзасские паспорта, фабрикуют антифашистские документы, выискивают в своей родословной дальних родственников евреев, тех евреев, миллионы которых они истребили. Сегодня они, бывшие господа, просят у своих вчерашних рабов справки о благонадежности, аттестации о гуманности и характеристики о добропорядочности.

В лагере немецкого завода по производству пулеметов для «мессершмиттов», в Норд-Виттенау, через два часа после вступления сюда советских войск я разговаривал

с русскими девушками из Донбасса и Воронежской области. Я расспрашивал их о Германии, они — о Родине. Вдруг к нам подошел человек в черной фетровой шляпе. Он назвался «лагерфюрером» и потребовал, чтобы девушки подтвердили, будто он, маленький фюрер, значительно лучше и гуманнее фюрера большого. Девушки сказали ему:

— Герр фюрер, оставьте нас в покое. Мы встретились со своими, вы понимаете — со своими!



«Катюша» у Бранденбургских ворот. Тридцатое апреля 1945 г.

Но фашист назойливо требовал охранной грамоты.

— Почему же вы служили на такой позорной службе?

— Во-первых, здесь не брали на войну. Во-вторых, тут было сытно. Мы получали посылки Красного Креста.

Я видел много таких посылок в квартирах лагерной и фабричной администрации, у берлинских чиновников, у нацистских деятелей, но только не в бараках военнопленных и рабочих. Палачи жили отлично. А узники — бельгийцы, французы, русские, голландцы, поляки, сербы, болгары, итальянцы — получали в день по три картошки и по литру баланды.

Я разговаривал с очень многими берлинцами. Тут, в Берлине, собрались и те, кто постоянно обитал в нем, и те, кто бежал сюда с востока и запада. Я задавал себе вопрос — на чем же держалось это гитлеровское чудовище, почему они так сопротивлялись?

— Вот вы ругаете Гитлера, вы все валите на него, — спрашивают наши люди у берлинцев, — но почему вы шли за ним?

— Гестапо и террор. Нас заставили, нас принудили...

Гитлер старался заинтересовать население наживой, насаждал и развивал самые низменные, самые гнусные черты, которые и до него насаждали в Германии немецкие милитаристы.

На берлинских заводах сравнительно мало немцев рабочих, но зато много немцев — бывших рабочих, ставших мастерами и надсмотрщиками. Я был у немецких крестьян, многие из них — это бывшие крестьяне, ставшие эксплуататорами, кулаками, рабовладельцами. Гитлер сулил обывателю не только богатство, награбленное в походах по Европе, не только господство над восточными пространствами, опустошенными огнем и мечом; Гитлер соблазнял его и более мелкой, но конкретной перспективой — повелевать в маленьком мирке своего дома, быть королем в своем свинарнике, как скотиной, владеть людьми и чужим горбом умножать пресловутое «айгентум» — собственность, исконную мечту бюргера.

Мы прошли с боями многие страны Европы. Наша армия вывела из нацистской игры многих сателлитов Гитлера. Но только в Германии можно видеть эту назойливую картину — белый флаг на каждом перекрестке, белую повязку на руке каждого жителя — от ребенка до старика. Пыжились, изображая свою борьбу в последние месяцы, как некий «истинно германский эпос». Тужились, призывая всевозможные фольксштурмы к сверхфанатизму. Изобретали всевозможные «фаусты», «фау», «панцершрекк», десятки вычурных названий нового оружия, стремясь любыми средствами сохранить миф о своей непобедимости. Изобрели оборотней. Поставили рекорд в коварстве и подлости на войне. Стреляли и стреляют, когда это не очень опасно, в наших солдат из-за угла. И выбрасывают белые флаги, где только можно. Стирка белых повязок вошла в обиход, как стирка носков. Аккуратность и педантизм даже в этом доведены до умопомрачения.

На окраине Берлина я спросил почтенную фрау:

— Почему вы носите белую повязку?

— Позвольте! Капитуляция!

— Но это касается армии, войны?

— Я тоже капитулировала.

— Зачем это нужно подчеркивать?

— Чтобы вы не подумали, что я состою в вервольфе.

Она, очевидно, предполагает, что оборотней мы будем распознавать по белой или черной тряпке. Вот к чему приводит: «Немцы, я буду думать за вас!» Вот до какого опустошения доходит человек, если он позволяет себя низвести до уровня исполнителя и не рассуждающего последователя, не отвечающего ни за что. Трудно в человеке, погрязшем в животном эгоизме, пробудить здоровое общественное сознание. Трудно, но нужно.

Однажды во время боев на Мюллерштрассе командный пункт подполковника Василия Антоновича Гиги перешел на другую сторону улицы в только что отбитый у противника многоэтажный дом — это было здание Веддингского комитета нацистской партии. Во дворе этого дома были и переодетые фольксштурмовцы и штатские. Подполковник Гига считал, что господа эти не случайно оказались именно возле такого учреждения. Один господин, приняв меня в черной морской форме за представителя комендатуры, подошел и сказал:

— Герр командант, каков будет порядок снабжения хлебом и другими продуктами? Гитлер капут, пришла новая власть. Нас интересует новый порядок.

В эти дни уже было создано самоуправление и разработан порядок снабжения населения хлебом. В очищенных от фашистских войск кварталах красноармейские кухни раздавали жителям еду. Но тут стояли люди, еще не вышедшие из боя. В разгар боя, когда решалась судьба третьего райха, за который десятилетие этот господин кричал: «Хайль!», его уже интересовал приварок от «нового порядка».

Многие жители уверены в присоединении Берлина к России. Они осторожно спрашивают наших бойцов:

— Теперь Берлин будет ваш?

— На хрен он нам сдался, — отвечают красноармейцы. — Нам этот воздух не по нутру.

— Но вы его завоевали!..

И вот идут наши бойцы по городу, который по замыслу Гитлера должен был стать столицей мира. Идут и видят нагую страну, со всеми ее отвратительными язвами. Как страшно было для мира, для всех народов то зло, до корня которого мы добрались. Еще после прошлой мировой войны Ленин сказал о германском империализме: «Сначала он невероятно раздулся на три четверти Европы, разжирел, а потом он тут же лопнул, оставляя страшнейшее зловоние». Этим зловонием несет сейчас из разбитого, лопнувшего райха.



На Шпрее. Дошли. Второго мая 1945 г.

Сегодня, когда смолкают пушки на фронтах и звучат фанфары народного празднества, сегодня, когда свободно вздохнула после многих лет кровопролития земля, сегодня, как никогда, трезво смотрим мы не только на пройденное, но и в будущее. Люди, пережившие такую войну, не могут стать беспечными. Эти люди вправе требовать, вправе обеспечить, обезопасить будущее — для этого они жертвовали кровью и жизнью. Будем зоркими. Не упустим из виду ни оборотней, ни их покровителей. Мы очистим воздух нашей планеты от зловония лопнувшего чудовища. Залог этому — наша неслыханная победа.

9 мая 1945 года.

11 мая. Снова в Берлине. Я пришел в комендатуру к генерал-полковнику Берзарину на прием и беседу с первым военным комендантом германской столицы. Генерал-полковник сказал:

— Понимаете, какой парадокс: всего неделю назад я знал одно — разгром немецких армий в Берлине. Теперь я должен кормить немцев и восстанавливать город.

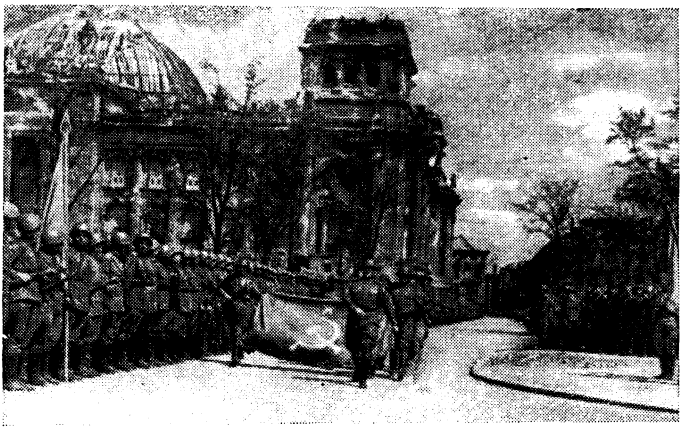
Берзарина уже знают все жители Берлина. Наши части еще только входили в город, когда появились кипы «Приказа № 1», отпечатанного как плакат на развернутом листе цветной бумаги на двух языках — немецком и русском. Это был приказ начальника гарнизона, обращенный к населению. Осталось только проставить дату и расклеить. Точнее: осталось еще взять город. Но исход войны был настолько ясен, что в приказе, где не был указан день его издания, точно стоял месяц: апрель. Берзарин еще вел бои на улицах города, но уже надо было думать о том, что будет после боя. Уже тогда командующий армией был назначен на должность военного коменданта. Главный пункт — роспуск и запрет деятельности всех и всяких нацистских организаций. Объявлены продовольственные нормы. Красная Армия налаживает снабжение.

Живу в Кёпенике у герра Насса, фотографа или хозяина фотографии. У него вытянулось лицо, когда я принес и бросил на стол пачку «грамот», подписанных «самим фюрером» для вручения кавалерам «золотого рыцарского креста с мечами». Этими грамотами, как сувенирами, снабдил меня майор Платонов — комендант райхсканцелярии. Высшая награда. «От имени немецкого народа». Какое крушение...

12 мая. Первые киносеансы в Берлине. Работают семь кинотеатров района Пренцлауэрберг. Показывают захваченные здесь советские фильмы: в «Колизее» — «Ленин в Октябре», в «Скала» — «Учитель», в «Пратере» — «Груня Корнакова», «Последний табор», в «Унионе» — «Богатая невеста», «Комсомольск». Фильм «Ленин в Октябре» снабжен вступительным немецким текстом, часть кадров в нем вырезана. Всюду идет документальный фильм «Сталинград». Цена билета одна марка. На семнадцати киносеансах побывало 9 тысяч человек. Наибольшим успехом пользуется фильм «Сталинград».

14 мая. В 12 часов дня у генерал-полковника Берзарина совещание директоров театров. На 18 и 20 мая назначен концерт немецкого оркестра в Радиозале: Бетховен, Бородин, Чайковский.

...Июнь. Семнадцатое. Вчера нелепо погиб генерал-полковник Н. Э. Берзарин. Погиб во время утренней прогулки на мотоцикле, попал под задний мост грузовика. В конце мая он принимал парад войск возле рейхстага по случаю торжественной передачи одного из победных Знамен представителям Центрального музея Красной Армии.



Берлин. У рейхстага. Двадцатого мая 1945 г.

Своеобразно реагируют на это несчастье берлинцы. Герр Насс сказал, что все взбудоражены, в магазине толпа. Считают, что раз новый комендант, то будут новые порядки. Я пытался объяснить ему, что порядки не зависят от одного человека, это политика государства. «Но Берзарин установил нормы снабжения, — возражает герр Насс. — Мы же знаем, как много зависит от того, к т о у власти». Я согласился, что они знают. Но преувеличивают роль своего фюрера. У фюрера был миллион подфюреров. «А политику подфюреров вы сами покорно поддерживали, герр Насс. Вы же видели, что творится!» — «Мы всего не знали». — «Или не хотели знать?» — «Возможно, — сказал мой хозяин. — Когда едят мясо, не думают о бойне. Просто жуют, глотают и даже рыгают...» Он, оказывается, философ, этот фотограф.



УДАР СПЛЕЧА

ВВЕРХ ПО СУНГАРИ

На эту войну я опаздывал. Самолет майора Бахтинова вылетел с Измайловского аэродрома в Москве на рассвете 9 августа; через несколько часов он сел в Новосибирске, но там пришлось ждать московского поезда — на нем ехал Нарком Военно-Морского Флота адмирал Кузнецов; дальше мы летели с адмиралом до Читы; в Чите я пересел на другой самолет — до Хабаровска; в Хабаровске начальник штаба Краснознаменной Амурской флотилии Алексей Матвеевич Гущин, в прошлом командир крейсера «Красный Кавказ», отправил меня связным самолетом к устью Сунгари — здесь я нагнал флотилию.

Речная эскадра шла вверх на Харбин. Предстояло пройти 725 километров против течения. За восемь дней мы преодолели большую часть пути, хотя путь этот был нелегкий.

Флотилия в первую ночь войны выдвинула корабли к устью Сунгари и приняла на траверзе острова Татарский десантников. Началась переправа частей Красной Армии на противоположный берег Амура. В тот день флотилия высаживала десанты не только здесь, но по всему Амуру, на Уссури, в районе озера Ханка. Сунгарийское направление было для флотилии главным. Отсюда, из устья этой реки, долгое время амурцам угрожали японцы. Ежегодно они проводили тактические учения наступательного характера — десанты, стрельбы, форсированные переходы, — играли на нервах наших дальневосточников. Из устья Сунгари в Амур выскакивали корабли японской речной флотилии, наводя пушки на наш берег. Теперь наша флотилия вошла в это устье.

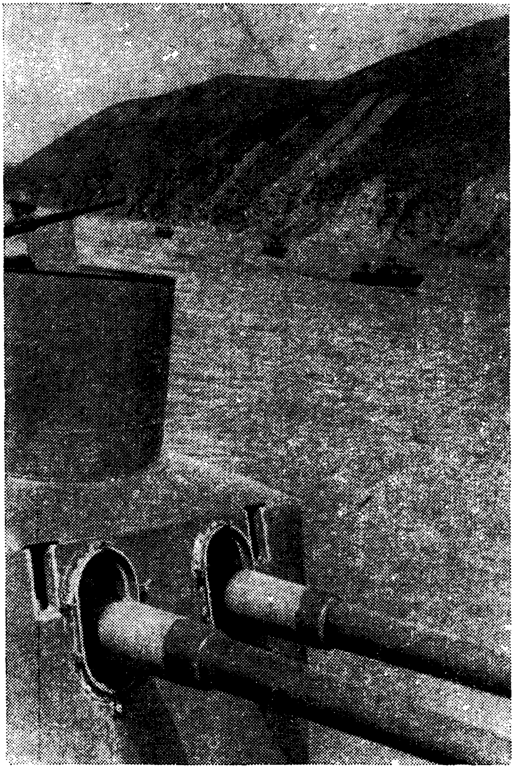
Первые десанты в Лахасусу были высажены без особого сопротивления: японцы отступали к Фуцзиню. Шли частные бои с отдельными, особо упорствующими группа-

ми. В этих боях корабельный огонь решал, и армейцы были довольны такой поддержкой. Самый трудный бой был в районе Фуцзиня, где японцы закрепились на заранее подготовленных оборонительных рубежах и упорно цеплялись за каждый клочок суши. Прошли проливные дожди. Дороги размыло. Танки и пушки с трудом продвигались вдоль берега в глубь Маньчжурии. Вот тогда амурцы почувствовали, что значит их флотилия для фронта. К берегу Сунгари стали подходить танки. Флотилия должна была не только высаживать десанты и поддерживать эти десанты огнем, не только нести на себе линию фронта, но и питать этот фронт, обеспечивать его тыл. Катерники делились с танкистами горючим, с мониторов их снабжали продовольствием.

Потом корабли пошли вперед, опережая подчас береговые части на 70 и 100 километров. Японцы не стали минировать реку: в связи с распутицей Сунгари превратилась в единственную коммуникацию и для них. Но на фарватерах японцы затопляли баржи. Мы обходили их. Навстречу плыло несметное число бревен распущенных плотов. Но и это не снизило стремительности похода. Уже шел в эфире разговор о капитуляции Японии. Но здесь, на этом театре войны, действовала Квантунская армия — самое жестокое и сильное милитаристское формирование империи. Эта армия долго «не верила» в приказ своего императора, пленные утверждали, что такого приказа вообще нет. Флотилия с боем взяла порт Цзямусы, высадив в нем десант и поддержав его действия артиллерийским огнем. Японцы пытались взорвать железнодорожный мост через Сунгари, рассчитывая преградить путь вверх по реке. Бронекатера Кринова подоспели к мосту и предотвратили его полное разрушение — противник успел подорвать лишь две фермы.

И вот на рассвете девятого дня войны флотилия заняла крупный сунгарийский порт Саньсин у устья реки Муданьцзян. Лидировали в этом походе мониторы «Сунь Ят-сен», «Ленин» и «Красный Восток». Я шел то на «Сунь Ят-сене», то на «Ленине». На траверзе деревни Хуньхедао японцы обстреляли наши мониторы из орудий и минометов. Был бой с батальоном японских смертников — «камикадзе», засевшим в деревне. Под скромным прикрытием фанз скрывались бетонированные доты — совсем как в Пруссии.

В Саньсине наш монитор высадил на берег особый разведывательный отряд матросов капитана Кузнецова. Этот отряд уже захватил немало боевых трофеев — десятки самурайских флагов и клинков.



Амурцы проходят Малый Хинган.
Август 1945 г.

* * *

Адмирал Неон Васильевич Антонов, командующий флотилией, ушел с отрядом бронекатеров вверх. Вслед за ним потянулись тральщики, санитарные транспорты и штабной пароход. В Саньсине остались только самые крупные корабли — мониторы — в ожидании приказа идти

вверх или вниз. Еще ночью командующий запросил по радио у высшего начальства «добро» на поход речных броненосцев вверх по реке. Тревожили известные всем плававшим по Сунгари саньсинские перекаты. Местные лоцманы уверяли, что корабли с такой осадкой, как у мониторов, через перекаты пройти не смогут, тем более что японцы сняли все вешки и бакены, определяющие проходы.

В обычные годы, действительно, о таком походе нельзя было и мечтать. Но август 1945 года на Дальнем Востоке был дождливым. Половодье вздуло широкие реки амурского бассейна. В иных местах Сунгари подступила к отрогам Малого Хингана. Нам это было на руку, и мы стремились использовать большую воду и забраться подальше в Маньчжурию. Правда, вода с каждым днем спадала. Но можно рискнуть и пройти на мониторах в Харбин.

Я тоже остался в Саньсине: ожидался гидросамолет из Хабаровска, и у меня на руках было приказание командующего флотилией летчику вылететь со мной в Харбин.

В ожидании самолета я ушел в город. На набережной расположились пленные японцы. Они сидели на корточках правильным четырехугольником, поджав под себя ноги. Их охранял краснофлотец с автоматом на ремне. Над ними торчал транспарант с расписанием движения пассажирских пароходов — нелепо выглядело рядом с иероглифами русское слово: «Прибывает». Из одноэтажного здания разбитого речного вокзала еще струился дымок. Над дверью в багажное отделение два краснофлотца с мониторов прибивали вывеску: «Помощник коменданта города по морской части». Слово «морской» было старательно выведено над зачеркнутым «речной». На пристани еще был беспорядок, сопутствующий вторжению. За мешками сои валялся японец, часа два назад вспоровший себе живот самурайским мечом. Он стонал и, может быть, просил добить его...

Пока я ходил по городу, погода испортилась. Ветер взбудоражил разлившуюся реку. Пелена песка окутала берег, подобно привычному в эти дни дыму пожаров. Мониторы отошли к противоположному берегу. Ясно, что самолет не прилетит — теперь единственная надежда на мониторы. Если они пойдут в Харбин, попаду туда и я.

Я отправился к помощнику коменданта «по морской части» с просьбой вызвать с кораблей шлюпку. Через некоторое время к берегу пристала едва не выброшенная волной на камни шлюпка монитора «Красный Восток», и я отправился на корабль. До тех пор «Красный Восток» я видел лишь издали. Он первым вошел в Сунгари и открыл боевые действия у порта Лахасусу. Накануне прихода в Саньсин во время боя у маньчжурской деревни Хуньхедао этот корабль поддерживал артиллерийским огнем высадку десанта. За его стрельбой я наблюдал с корабля, который высаживал десант.

Поднявшись на монитор, я увидел плечистого капитан-лейтенанта в выцветшем морском кителе с потускневшими золотыми нашивками. Его смуглое, грубоватое лицо показалось мне знакомым. И, протягивая командиру корабля руку, я уверенно сказал:

— Мы с вами знакомы, капитан-лейтенант.

— Знакомы? Что-то не припомню. Вы ленинградец?

— Нет, москвич. Может быть, мы встречались на других фронтах?

— Не может быть, — с досадой сказал офицер, и я почувствовал, что задел больную струнку: вынужденное пребывание в годы войны в далеком, хотя и не очень спокойном тылу тяжело переживали на Дальнем Востоке. — Я уже закоренелый азиат, — продолжал офицер, — после училища ничего, кроме тайги и сопок, не видел...

— А все-таки мы с вами где-то встречались!..

Я всматривался в его лицо. И эти резкие, словно вычерченные карандашом, толстые губы, и суровый, пронизывающий взгляд, и его атлетическая фигура, «типичная для моряка», поразительно напоминали мне кого-то. Я подумал: именно такими изображают моряков в кинофильмах.

Мы стали перебирать даты и события нашей жизни в надежде установить, где могли скреститься наши пути. Нашлись десятки общих знакомых. Я узнал многие подробности об Алексее Диомидовиче Никитенко. Он воспитанник Ленинградского военно-морского училища имени Фрунзе. Ему 33 года. Дослужился до командира такого крупного корабля, как монитор. До войны увлекался спортом, шлюпочными гонками, брал призы. Мне уже казалось, что мы не только знакомые, но и старые друзья, хотя установить место встречи так и не удалось.

— Не встречались, так встретились! Будем хорошими знакомыми теперь, — мягко, с украинским выговором, заключил Никитенко и пригласил меня в каюту.



Матросы-разведчики отряда Кузнецова,
их пленные и трофеи в Саньсине. Август 1945 г.

Там мы перешли к другой, волновавшей нас обоих теме: пойдем ли в Харбин?

— Десять лет я тут корпел в Азии для того, чтобы в разгар похода застрять в этом чертовом Саньсине! — сказал Никитенко. — Неужели не дадут «добро»? Пройти

можно, сейчас вода большая. Надо только идти с промером...

Я думал о том же. Девять сумасшедших дней, 10 000 километров позади, бессонные ночи в воздухе, на аэродромах, на кораблях — и вдруг очутиться где-то в Саньсине, в 300 километрах от фронта, от Харбина, без связи и средств передвижения. Мы ругали и Сунгари, и Лахасусу, и погоду, но все же верили в удачу. И удача пришла. Под вечер приехал начальник политотдела флотилии и сообщил, что трем мониторам разрешено отправиться в Харбин.

Мы шли вверх днем и ночью. Саньсинский лоцман отказался нам помогать. Он привык к вехам и огням и боялся взять на себя ответственность за ночной поход кораблей. На носу несли круглосуточную вахту краснофлотцы с шестами. То и дело они брали глубину и докладывали на мостик. В Харбин мониторы прибыли поздно вечером и осторожно прошли под мостами к центру города. До конца суток оставалось несколько минут, когда со штабного корабля, стоявшего у набережной Харбина, замигал прожектор и все мы хором прочли поздравление командующего. Путь от Саньсина до Харбина мониторы проделали быстрее, чем передовой отряд бронекатеров, двигавшийся только днем.

Когда монитор бросил якорь, Никитенко прошел в каюту, вынул из письменного стола толстую папку с записями и сказал:

— Пришли быстрее, хотя ход катеров — не чета нашему. Так и запишем!..

В папке мелькнула фотография. Я полюбопытствовал:

— Покажите, Алексей Диомидович.

— Ах, это! — Никитенко протянул мне вырезку из журнала «Архитектура СССР». — Воспоминание далекой юности...

На снимке было изображение скульптурной фигуры моряка, опоясанного пулеметными лентами, — известная москвичам статуя, установленная на станции метрополитена «Площадь Революции». Лицо, вылепленное скульптором, поразительно походило на лицо Никитенко.

— Да ведь это вы!

— И я, и не я, — рассмеялся Никитенко, — а разве похож?

— Еще бы! Теперь понимаю: мы с вами встречались

в Москве, капитан-лейтенант, тысячи раз, иногда по два и по три раза в день! Но что общего между вами и этим героем гражданской войны? Вы так молоды!

Никитенко рассказал, как он «попал в герои гражданской войны». В 1937 году в Военно-морское училище имени Фрунзе обратился скульптор Манизер с просьбой подобрать ему натурщика для работы над фигурой матроса гражданской войны по заказу московского метрополитена. Начальник посоветовал скульптору провести день в вестибюле училища и самому выбрать подходящего курсанта. Он и выбрал Никитенко.

— Я и знать не знал. Вызвали и приказали: отправиться в Академию художеств в распоряжение товарища Манизера.

— И надолго?

— На полгода. Каждый день по четыре часа. Опоясанный пулеметными лентами, с наганом в руке, стоял так, как на этой фотографии. Жаль, не видел скульптуру в метрополитене! Кончил училище, так и не был в Москве.

На другое утро мы расстались. Из Харбина я улетел на Тихий океан, в Корею, в Порт-Артур, во Владивосток. Месяца через три мне довелось снова встретить Алексея Диомидовича Никитенко, на этот раз в Хабаровске. Он сумел провести свой корабль вниз по Сунгари так же искусно, как и вверх на Харбин. На кителе выросла новая планка орденов. Козырек фуражки сверкал дубовыми листьями, и на рукавах вместо выцветших ленточек капитан-лейтенанта блестело золото нашивок капитана 3 ранга.

А потом я был у него на корабле в Кронштадте, когда отмечали его двухсотпятидесятилетие. Конечно, годы идут и люди меняются — в капитане 1 ранга труднее было узнать натурщика-курсанта, который позировал скульптору, изображая рядового матроса. Но там, на Сунгари, он был удивительно похож.

И теперь, когда я прихожу на станцию московского метрополитена «Площадь Революции» и смотрю на устремленную вперед фигуру русского матроса, я вспоминаю широкую желтую реку в Маньчжурии, дым пожаров, песчаный вихрь, грозный броненосец в дерзком походе и его славного командира, нашего общего знакомого Алексея Диомидовича Никитенко.

В БУХТАХ КОРЕИ

1

Владивосток я покидал незадолго до рассвета. После полной света бухты Золотого Рога тьма в море казалась кромешной. Только красные створы маяков да едва видимый белый бурун за кормой разрезали этот мрак. Торпедный катер быстро уносил нас в открытое море. Мелкая водяная пыль над палубой создавала иллюзию дождя. Стало прохладно; но вниз спускаться не хотелось. Думалось о прошедших годах войны, о странных течениях жизни, бросающих человека то на Запад, то далеко на Восток. Каким протяженным казался фронт от гор Кавказа до Баренцева моря, от субтропиков до арктических широт. В те трудные годы, пешком пройденные солдатом от Волги до Карпат и от Москвы до Берлина, каждый километр оплачивался жизнями, иная пройденная пядь земли стоила тысячи миль. Обставленные вехами сражений и могил, эти военные дороги решали судьбу всей земли. Но только теперь, проделав гигантский путь от Москвы к Тихому океану, понимаешь, как велика была земля за спиной т о г о фронта, представляешь истинный простор и размах нашей земли. День и ночь летел на восток от Москвы самолет, тысячу за тысячей отсчитывал «Дуглас» километры, а впереди были еще тысячи и еще реки, тайга, моря, широкий необозримый мир.

Я видел многослойные заоблачные хребты Балкан, Карпаты, неповторимую крутизну Трансильванских Альп — на Дальнем Востоке эти пейзажи меркнут. Другой масштаб. Сопки Азии широки. Долины рек не стеснены ущельями, нет границ морю — одно переходит в

другое, сливаясь с океанами. И человек на Дальнем Востоке, иногда сам того не замечая, все измеряет иными, отличными от Европы масштабами. Сотня миль для дальневосточника не расстояние. Многие, даже молодые моряки не раз пересекали океан. Здесь привыкли выписывать командировки из Владивостока куда-нибудь в Петропавловск на Камчатке, как в Севастополе выписывают направление в Поти или Новороссийск. Сахалин считают соседним районом края, хотя до него от Владивостока несколько суток перехода. И в планах, в замыслах операций был тот же океанский размах, расчет на большие, долгие переходы. В дни короткой войны, стремительность которой никто не мог в такой степени предугадать, амурцы пересекли на речных кораблях всю Маньчжурию, не находя в этом ничего исключительного. За то же время тихоокеанцы ходили и в южносахалинские порты, и на острова Курильской гряды, и в Корею, и в Порт-Артур. Сейчас карта дальневосточной войны исчерчена фарватерами, трассами огромных расстояний. Эта война на Востоке была недолгой. В субботу 18 августа я прочел в харбинском белоэмигрантском листке «Время»: «17 августа с самолетов был повсеместно разбросан следующий приказ командующего Квантунской армией чинам ниппонской армии: 1. Повинуясь высочайшей воле, все части Квантунской армии обязаны немедленно прекратить всякие боевые действия. 2. Прекратив боевые действия, части Квантунской армии должны быстро сосредоточиться в близлежащих соответствующих районах (в крупных городах — по возможности, в пригородах). 3. При входе советских войск следует в каждом пункте, согласовав вопрос путем непосредственных переговоров делегатов, сдать оружие там, где таковые укажут. 4. Всякие разрушения воспрещаются. 17-го числа 8-го месяца 20-го года Сиова. Командующий Квантунской армией».

Это не значит, что приказ был выполнен немедленно и по всем пунктам: и стрелять продолжали, и жгли города, и отказывались оружие сложить — я сам все это видел. Но сложили. Короткая война. И все же то, что пройдено за короткий срок летчиками, катерниками, всеми моряками, даже сами по себе эти переходы в былые времена достойны были вызвать всеобщий интерес — в них заключены и чкаловские прыжки через материк и плавания исследователей, открывателей земель и стран.

Наш путь в эту ночь был недалек. Торпедные катера шли в Корею по дорогам недавних десантов, в бухты и порты, освобожденные Тихоокеанским флотом и морской пехотой от японцев.

Что знал я до этого о Корее? У каждого из нас далекие страны вызывают ожидание неведомых романтических открытий, и с таким чувством смотришь на желтый хвост полуострова, свисающий на карте мира между двумя морями — Желтым и Японским. В справочниках изложена история этого полуострова и населяющего его народа. Эта история древняя и горькая. По древности Корея следует за Китаем. Корее как государству более четырех тысяч лет. Вначале, как утверждают энциклопедисты, Корею именовали «Чосен», что в переводе значит «страна утренней свежести». Теперь корейцы не любят это поэтическое название: японцы вложили в него иной смысл. Всюду японцы настойчиво называют этот полуостров Чосен — в книгах, в учебниках, даже в военных сводках не существует иного имени для Кореи. Японские милитаристы говорят, что весь мир держится на «стране восходящего солнца», — это основа мироздания, и за ней следует по старшинству «страна утренней свежести», а дальше идет Россия — «страна росы». От лучей «страны восходящего солнца» роса испарится, и Россия погибнет. Столь примитивную легенду восточной избранности внушали учащимся в школах Кореи. Корейцы предпочитают иметь свое государство — Корею.

Полуостров богатый, но именно его природные богатства издавна стали причиной всех бед и несчастий, постигших Корею. Древнее государство давно потеряло самостоятельность, долгие годы оно служило ареной войн. Иногда Корея восставала, но вновь приходили захватчики и превращали ее в доходную колонию. Корейцы привыкли видеть в иноземце врага. Ее правители запретили общение с иностранцами.

Корея отгородилась от всего цивилизованного мира, но не смогла выстоять перед напором хищной японской империи. Злой ветер дул на полуостров с островов «божественного» микадо. Самураи объявили, что Корея — орудие, направленное в их сердце. Они решили превратить ее в мост для наступления на материк, благо мост этот довольно выгоден — на нем рис, уголь, железная руда, гидроэнергия, цветные металлы и двадцать три миллиона

корейцев, созданных, по теории японских расистов, для рабского обслуживания сынов метрополии. «Страна-отшельница» сорок лет назад стала японской колонией. Японцы установили над ней свой протекторат. Три года спустя корейский император «уступил» императору Японии полуостров и населяющий его народ «всецело и навсегда». Власть перешла в руки японского генерал-губернатора. С первых же шагов своего владычества он заявил: «Корейцы должны подчиниться Японии или погибнуть».

Эти элементарные сведения из справочников создавали весьма слабое представление о береге, к которому мы подходили.

Близился рассвет. Уютно устроившись на пробковых поясах возле мостика, я вздремнул. Когда открыл глаза — из глубин моря вылезало солнце. Оно стряхивало утреннюю прохладу и красило спокойную зеленоватую воду в изумрудный цвет восхода. Мы уже вошли в залив. Неожиданными показались окружившие нас массивные скалы и утесы. Заросли девственного леса на островах вполне гармонировали с романтическими мечтами о неведомой стране. В проливах между островами маячили парусные шлюпы рыбаков. Вдали был черно-синий берег, горы на горизонте и обглоданная приливами и отливами песчаная отмель.

Мы вошли в бухту. Это был первый на пути из Владивостока корейский порт Юки. От залива Петра нас отделяли 89 миль, но воздух был душным, полутропическим. Кругом торчали мачты и трубы японских кораблей и пароходов, потопленных в порту и у причалов. Я спешил на берег навстречу экзотике. Экзотика оказалась жестокой.

2

По длинному шаткому трапу с берега на корабль поднялась группа бойцов морской пехоты. Они принесли муку — печь хлеб. На берегу печей нет, и, как сообщили бойцы, местное население не знает печеного хлеба.

Экзотика начиналась с бойцов. Их измучили зной и чужбина. На поясе каждого висел бумажный японский веер с изображением легкомысленной гейши и пушистый волосяной хлыстик — для обороны от мух и комаров. Командир корабля, капитан-лейтенант, сказал с иронией: «Акклиматизировались товарищи. Чистые корейцы...»

Вместе с «корейцами», большинство которых были курскими и воронежскими парнями, я спустился на берег. На отмели плескалась туча голых ребятишек — черных от солнца и грязи. Их было тут видимо-невидимо, роем они носились по набережной, бросались в воду, забирались поглубже и быстро, во все лопатки мчались назад, к берегу. Ребятишки окружили бойцов, в сотый раз щупали обмундирование, притрагиваясь к кожаным ремням и сапогам и время от времени выкрикивая единственное ныне известное детям всего побережья слово «ура». Меня они с любопытством разглядывали издалека, и пехотинцы объяснили, что, вероятно, мои очки схожи с японскими. Но перед фотоаппаратом ребята позировали с восторгом истых европейцев и даже несколько раз прокричали «ура». Я остановился, чтобы сделать снимок, но был тут же атакован мириадами мух. Они облепили меня с головы до ног и, казалось, заслонили мир. Я остервенело истреблял их, вероятно, сотнями, новые полчища тут же набрасывались на все не защищенные одеждой части моего тела. Я беспомощно смотрел на спутников — бойцы смеялись, они уже привыкли. Катерники даже кают-компанию открыли на берегу, на вольном воздухе. Надо и мне обзавестись веером и хлыстиком.

Поближе к берегу, у штабелей сои и риса, сидели корейцы. Они были в белой легкой одежде — кто в коротких штанах, кто в длинных, внизу перетянутых тесемками кальсонах, здесь используемых как верхняя одежда. Поджав под себя ноги, корейцы неподвижно смотрели в море и курили местный заменитель махорки, зловонный до ужаса; говорят, лучше раскуривать это зловоние, нежели вдыхать отравленный нечистотами воздух гавани. Изредка кто-либо из корейцев вытаскивал из-за пояса длинное полотенце, утирал им с коричневого лица пот, водворял на место за кушак. Говорят, что мухи — зло портов Юки и Расина, где люди жили в самых жутких антисанитарных условиях. Но ведь рядом — советская гавань Посьет. Как будто та же земля и тот же климат — ни мух, ни зловония там нет.

Я пошел в порт. Корейцы один за другим вставали и, снимая соломенные широкополые шляпы с узкими высокими тульями, отвешивали нижайший из нижайших поклонов. Они кланялись так низко, что едва не касались головой сплетенных из рисовой соломы лаптей, надетых

на босу ногу. Это было странно и неприятно, будто я сам виноват в таком нелепом унижении человеческого достоинства. Кланялись и дети, старики и женщины с младенцами в люльке на спине, либо спереди на груди. Я остановил проходившего мимо краснофлотца — он оказался старожилом, из первых десантников, — и спросил, всегда ли они так кланяются. Он сказал:

— Всегда. Ничего с ними поделать не можем. Всем гарнизоном, сообща, ведем борьбу с этим низкопоклонством, но отвыкнуть не могут. Японцы приучили их.

Да ведь я нахожусь в колонии, на земле, где сорок лет японцы осуществляли «идею» первого генерал-губернатора Кореи: корейцы должны либо подчиниться, либо погибнуть. Я шел по закоулкам корейского порта и убеждался, что для насаждения рабства совсем не нужны средневековые средства. Самураи не сковывали своих рабов в одну шеренгу тяжелой цепью — не из гуманности, а хотя бы потому, что от этого понижается производительность труда. Современное рабовладение они обставили всеми атрибутами ими же изобретенного «права». Из Кореи необходимо выкачать миллионные богатства — для этого колонизаторы не только захватили большую часть земли и недр, но и придумали пятьдесят два вида налогов вплоть до налога за номерки на полуразвалившихся хижинах. Японии нужна рабочая сила — по испытанному методу немецких фашистов, но с азиатским церемониалом, именем императора объявляют мобилизацию «для спасения нации» — не корейской, а японской, и массу корейцев увозят на острова. Нужны грузчики для круглосуточной работы в порту — силой оружия сгоняют население на «трудовую повинность». Рабу необходимо предоставить жилище по нормам цивилизации двадцатого века,— пожалуйста, вы можете видеть эти жилища в порту Юки.

Рядом с несчетным количеством мешков риса, гаоляна и сои, отнятых у корейских крестьян и приготовленных для погрузки на суда, стоят длинные и низкие шалаши без окон и с двумя входами с одного и другого края. Вначале я их принял за укрытия силосных траншей. Но по-японски это называется барак или общежитие корейских грузчиков. Входить в него нужно согнувшись, что вполне соответствует требованию покорности корейца своему господину. В этих бараках корейцы спали на голой земле,

хотя рядом штабелями сложены циновки из чистой рисовой соломы, предназначенные к вывозу в Японию. Кухни тут не было, кое-как корейцы варили себе чумизу, хотя их родина — страна риса. Рядом с шалашами — отхожие места и свалки нечистот. В таких условиях самурай внушал корейцу, что он должен кланяться при встрече с господином, что каждый человек с оружием в руках — господин; сами корейцы до последнего времени оружия не имели. Только тяжелое положение на фронтах заставило японцев начиная с сорок третьего года привлекать своих рабов к службе в армии.

Я прошел из порта в город. Он так же грязен и скуден. Вдоль пыльной улочки стоят плотно прижатые друг к другу домики без полов и мебели. В пыли копошатся голые ребятишки — меня удивило, почему я вижу только мальчиков. Позже я получил на это трагический ответ: корейцы прячут девочек, боятся, что японцы их украдут и продадут в чайные домики. Плотная густая вонь держится над кварталами города. И рядом со всем этим, как оазис, — японский офицерский городок: дома, построенные в смешанном стиле — половина комнат японские, половина европейские. У оккупанта потребности и вкус господина — в домах найдутся различные удобства, они электрифицированы. Линия высоковольтной передачи проходит над этим мрачным городом. Японские домики утопают в зелени. Марлевые щиты ограждают владельцев от мух и всего окружающего жуткого быта. Корейцы не смели показываться в этих кварталах.

Я пришел в городское самоуправление. При японцах, городом управлял японец, и самым популярным из всех отделов городской управы был налоговый отдел. Кореец, если он зарекомендовал себя предателем своего народа, мог помогать японцу.

Председателем самоуправления сейчас работает Да Гон-лин. В прошлом писарь местной рыболовецкой компании, он окончил в городе Осака один курс университета — это чудо для корейца, — и среди десятков тысяч жителей порта Юки он самый грамотный человек. Да Гон-лин помимо того умеет писать по-корейски, что тоже необычайно редко для нового поколения Кореи: японцы искореняли корейский язык и национальную культуру, преподавание в школах велось только на японском языке, и, сколько я ни спрашивал молодых корейцев, никто из них

не знает корейской письменности. Да Гон-лин пользуется некоторым влиянием, как образованный человек и бывший чиновник. Государственного опыта у него, разумеется, нет.

Военный комендант в корейском порту занят созданием бани, борьбой с теми же мухами, очищением города и домов от грязи, открытием больницы и аптек. Я присутствовал при беседе члена Военного совета флота генерала Захарова с председателем местного управления. Позади корейца стояли два секретаря и старательно записывали каждое у к а з а н и е. Время от времени они кланялись. Новый мэр города сообщил, что в самоуправлении уже созданы три отдела — сельского хозяйства, промышленности и народного образования. Сельскохозяйственный отдел учитывает земли бежавших японцев. Промышленный занимается восстановлением железнодорожных сообщений и рыбных промыслов. Отдел народного образования подготовил к открытию школы, где впервые за последние годы корейских малышей будут обучать родному языку. 1 сентября эти школы открылись. Кроме того, создана народная милиция. Тут же я увидел двух милиционеров, они стояли в стороне, — обыкновенные корейцы, в тех же белых одеяниях с повязками на рукаве. Генерал посоветовал Да Гон-лину создать еще один отдел — санитарный — и почистить город по возможности скорее. Секретари записали это указание и еще раз поклонились.

Председатель самоуправления сказал, что в городе есть только один врач, и у него нет медикаментов для того, чтобы открыть больницу. Генерал разрешил использовать для больницы и аптек все сложенные японцами на пирсах и предназначенные для вывоза на острова запасы медикаментов. Это вызвало бурный восторг. На этот раз поклонились все. Тогда Да Гон-лин осмелел и заявил, что, по его мнению, двух членов самоуправления следует заменить — население им не доверяет. В прошлом они служили японцам: один был членом городской управы, другой — инициатором искоренения корейского языка. Присутствовавшие в помещении корейцы бурно подтвердили это заявление.

Вошел человек с повязкой «ма-шин-ист поезда». Он доложил, что прибыл поезд из Расина. Председатель самоуправления кивнул. Возникала проблема за проблемой:

торговая система, система оплаты. Корейцы вдруг спросили, будут ли платить за работу в порту.

Столь неожиданный вопрос в здешних условиях естественен.

Затем председатель попросил коменданта города разрешить корейцам восстановить их истинные фамилии. Комендант не понял. Мэр города объяснил, что в период господства японцев большинство населения принуждено было выбирать японские фамилии.

Так в первом освобожденном порту Кореи возникла национальная самостоятельность. Под вечер я уехал из порта Юки на автомашине в глубь бывшей японской колонии, в сторону города и порта Расин.

3

Извилистая дорога вьется по живописным сопкам вдоль моря. Она напоминает горные пути Крыма и Кавказа — забирается вверх на скалы, закручивается вокруг высот, пересекает шумные каменистые речки. Длинные бетонные мосты над речками способны выдержать движение автомобильных и танковых колонн.

Шоссе, по которому мы ехали, в планах японской экспансии на материке имело прямое стратегическое значение. Оно построено в последнее десятилетие и тянется вдоль всего полуострова до нашей границы. Рядом, почти у самого моря, идет прямая железнодорожная насыпь Северо-Корейской дороги. Эта линия создана на крови и костях. Жизнь ее строителей была истинной каторгой. Строило дорогу правление ЮМЖД. На постройке погибло немало рабочих-корейцев. Дорога построена в расчете на здешний климат. Летом здесь свирепствуют непрерывные губительные дожди — «ньюбаи», они приносят населению неисчислимые беды. Пять лет назад «ньюбаи» снесли в море многие деревни вместе с их жителями и уничтожили немало посевов. Железная дорога устояла. Вместе с шоссе это выход из глубин Восточной и Северной Маньчжурии в корейские порты. Во многих местах дорога проложена сквозь глубокие бетонные тоннели. Самый крупный тоннель на пути Юки — Расин. Он пробит через высокую горную гряду, его длина 3850 метров.

Сейчас шоссе пустынно и не похоже на фронтовую магистраль. Войска маршала Мерецкова наступали в стороне отсюда, по отдаленным от берега дорогам полуострова и через Маньчжурию.

Приморье — зона военных операций Тихоокеанского флота, его кораблей, авиации и морской пехоты. Тихоокеанцы очищали весь берег Северной Канкеды, как именуется граничащая с нами провинция Кореи, куда входят Юки, Расин и Сейсин. С кораблей высаживались в разные пункты побережья десанты, и уже из бухт морская пехота углублялась в горы и очищала от противника приморскую территорию.

Поэтому море стало на Дальнем Востоке основной коммуникацией войны. Море и воздух. Полк амфибий в различных пунктах высаживал десанты и ныне поддерживает регулярную связь между гарнизонами тихоокеанцев от Владивостока до Порт-Артура. Но основным путем сообщения остается Японское море. Катера, тральщики, сторожевики, минные заградители, транспорты Тихоокеанского торгового флота снуют сейчас между Владивостоком и бухтами Кореи.

Движение по шоссе еще небезопасно. В море — мины, тихоокеанцы энергично тралят вновь приобретенные пути. Своеобразное «тралéние» идет и на берегу — отряды морской пехоты совершают рейды вдоль дорог в глубь Кореи, преследуя и вылавливая самурайские банды. На дорогах и в горах становится спокойнее.

В конце августа корейцы сообщили нашему командованию о группе сановных беглецов, удирающих в Маньчжурию. У них были основания бежать и от местного населения, и от нас: эта группа причинила немало горя местным жителям. Накануне своего бегства они распространили слух, будто японцами занят Владивосток. В погоню за беглецами направился отряд младшего лейтенанта Лазарева. Этот рейд увлек морских пехотинцев на 190 километров в горы, но все же в небольшом маньчжурском городе вся банда была поймана.

Уже темнело, когда мы подъезжали к Расину. На всем пути встретили только крестьянскую повозку, запряженную коровой, — в этих краях редко встретишь лошадей. Корова тянула непосильный груз: какие-то мешки, домашний скарб. Следом семенила многочисленная корей-

ская семья, тоже обремененная поклажей. Женщины несли на голове огромные жбаны с водой, а в люльках на спине и на груди — детей.

Трудно назвать селением десяток нищенских лачуг вдоль шоссе. Босые и оборванные жители, взрослые и ребятишки, склонившись до пояса, неподвижно стоят в облаках пыли. Лачуги построены без интервалов, из прутьев, обмазанных глиной, и крыты гнилой соломой. В них нет ни окон, ни печей, ни света, ни полов, ни мебели.

Потрясающие, необычайные, свойственные, видимо, лишь колонии контрасты. На высотах — высоковольтные передачи мощной гидростанции. И тут же, у подножья, тьма, не озаренная даже лучиной, неописуемая нужда, первобытная жизнь. Идут пассажирские поезда по великолепной железной дороге, сквозь горы пробиты тоннели — чудо современной строительной техники, но корейцу пользоваться пассажирским вагоном было запрещено. Созданы металлургические заводы. Широко развитая промышленность — синтетический бензин, химические комбинаты, современные аэродромы, взлетным дорожкам которых может позавидовать иной европейский аэропорт. И тут же рядом окна лачуг, заклеенные бумагой — стекло, спички и керосин — непозволительная роскошь для жителя Кореи. Кругом рисовые поля, но ни в одном крестьянском доме я не видел риса. Корейцы производят рис, но едят чумизу: японцы специально ввозили из Маньчжурии чумизу, как корм для местного населения. Рис лежит в мешках на пирсах, в портах. Весь урожай риса шел в Японию.

Корейские крестьяне давно потеряли представление о земельной собственности. Земля принадлежала либо помещикам, либо «восточному колонизаторскому обществу». Произошло это просто. Мне попал в руки журнал «Вестник Маньчжурии» за 1933 год. Там помещен отчет о прениях в японской нижней палате. 3 февраля 1933 года обсуждался вопрос о строительстве стратегической военно-морской и торговой базы в бухте Расин. Представитель «департамента по делам Кореи» заявил, что в районе Расина спекулянтами за бесценок скуплена у крестьян вся земля. Оратор сообщал об этом, как о явлении положительном. Спекулянты действуют во имя создания «основной портовой базы жизненной линии Японской империи».

4

С высоты утеса, где приморская дорога круто сворачивает вниз, внезапно открывается панорама глубокой, похожей на горное озеро бухты. Со всех сторон эту бухту обступили горы и острова. Полосы узких проливов соединяют ее с открытым морем. Вдоль берега, в лощине, разбросаны кварталы первого большого города на нашем пути.

Расин — крупнейший порт на северном побережье Кореи. Начинается он широкой асфальтированной улицей южного типа. Расин стоит на широте Италии. Дома легкие, двухэтажные, с плоскими цементированными крышами-террасами. На фронтонах — иероглифы вывесок. На окнах банков черные солидные решетки. Здесь расположены особняки представителей японских концернов, крупных колониальных чиновников, шикарная гостиница «Ямато». Только для японцев. Гостиница покинута и жителями и прислугой. Любопытно: и гостиницы и особняки оборудованы по-европейски. Наряду с циновками тут стоит и добротная мебель европейского жилища. Квартал этот безлюден. Банки заперты. Особняки покинуты. Жители, как не трудно догадаться, выбыли в двух направлениях: одни на кавасаках и шхунах в Японию, другие в горы Кореи и Маньчжурии.

В конце улицы вокзал Северо-Корейской железной дороги. Рядом с разбитыми авиацией составами пыхтят уцелевшие паровозы — старых систем. От вокзала улица резко сворачивает к порту, оставляя в стороне офицерский городок и местную кадетскую школу. По другую сторону широкого бетонного моста, перекинутого через сеть железнодорожных линий, начинаются закоулки и узкие проезды. Там живут корейцы. Это черные кварталы. И в Маньчжурии и в Корее города делятся на белые и черные кварталы: для колонизаторов и для туземцев.

В гавани, вдоль пирсов стоят пакгаузы, крытые оцинкованным железом. Развиты подъездные пути. Причалы могут принять больше пятнадцати океанских кораблей одновременно. На акватории порта — мачты затопленных транспортов, плавучие краны и множество наших кораблей. Этот порт, по рассказам местных жителей и как видно из разрозненных документов, стал одним из наиболее посещаемых японским торговым флотом. По официаль-

ным данным, за год он пропускал столько же грузов, сколько и порт Фузан на юге Кореи.

Но это не только крупнейший торговый порт. Расин — исходный морской плацдарм в планах нападения на Дальний Восток.

На картах бухта называется заливом Корнилова. Русские исследователи прошлого века были пионерами в изучении северной части Японского моря. Эти воды обследовали Стрельбицкий, Лубенцов, Звягинцев, Корф. Многочисленные острова, мысы, гавани, заливы носят русские названия, японцы их переименовали.

Японскому флоту бухта приглянулась в дни русско-японской войны. Здесь, по данным японской прессы, перед встречей с нашим флотом двое суток отстаивалась эскадра Камимуры. И в 1918 году бухта Корнилова стала базой японского нашествия на советское Приморье: 47 кораблей три месяца стояли здесь на якоре перед выходом для оккупации советского Дальнего Востока.

Расин — незамерзающий порт: зимой бухта Корнилова ненадолго покрывается тонким льдом. В год, когда заморозки затянулись, депутат нижней палаты выступил на заседании японского парламента и заявил: чем строить порт Расин, выгоднее «превратить в японский военный порт арендованный у Советского Союза порт Владивосток». Как сообщал харбинский журнал, представитель правительства возразил: «Первый раз слышу о такой преждевременной идее. Раньше следует построить порт в Расине, а потом рассуждать об аренде Золотого Рога».

Постройка порта и военно-морской базы в бухте Корнилова была поручена правлению Южно-Маньчжурской железной дороги и специально созданной организации — Расинстрой. Кроме порта Расин в нескольких милях от него японцы тайно строили маневренную базу флота Юдзин. Жителей корейских деревушек выгнали в глубь полуострова. За десять лет на месте деревни Расин выросли порт и город с пятидесятитысячным населением. Половину этого населения составляли специально завербованные сюда на колониальную службу японцы — чиновники, жандармы, представители всевозможных фирм. В Расине были воздвигнуты мощные причалы, набережные, молы, маяки, каменные склады, увеселительные кварталы и публичный дом «Чен лу». Рядом с Расином в Юдзине — аэродромы и база для легких сил флота. Побе-

режье вплоть до советской границы получило название: Расинский укрепленный район. Командный пункт находился здесь же, над портом, в горах.

Я был на территории кадетской школы, отделенной от всего города высокой оградой. У входа стоит безобидная скульптура — мальчик читает книгу. В здании казарменного типа на огромном учебном плацу — пирамиды учебных винтовок. Зал фехтования и бокса. И наконец, классы. Из всего, что я видел в классах, перечислю две серии картин, рисунков и учебных пособий: одни принадлежат воспитателям, другие — воспитанникам. В числе пособий, призванных воспитывать, панно: тропическая плантация, работают корейцы, надсмотрщик — японец с хлыстом; другой сюжет: квартал китайского города, японец в коляске погоняет рикшу-китайца; глобус: кроме Японии, на нем не обозначена ни одна страна мира. Таково воспитание. А вот образцы «творчества» воспитанников. Рисунок: японец пропарывает штыком русского; серия набросков, сделанных, видимо, второклассниками: походы на запад — в Сибирь и на Урал; гибель американских кораблей под ударами японской авиации и, наконец, предел фантазии ребенка — виселица с тремя повешенными — русским, китайцем и англичанином. Словом: мальчик читает книгу.

5

Возле разбитого обгоревшего здания японской комендатуры порта Расин высится свежий холмик в трауре и цветах. Под этим холмиком — могила героев-тихоокеанцев, возвращающая нас к событиям августовских ночей.

Начало военных действий было похоже на сильнейший электрический разряд. Врагу был нанесен такой удар, который можно назвать только ударом сплеча. В Москве в те часы мы подсчитывали разницу в поясном времени между Европейской Россией и Дальним Востоком и срок, необходимый «Дугласу» для прыжка с Запада на Тихий океан. В тот час на Востоке погас свет, и жизнь края потекла на военный лад. Вступил в действие флагманский командный пункт. К нам доносились угрожающие голоса токийских радиостанций. Иокогама обещала снести с лица земли Владивосток. На Волочаевку рвалась японская авиация, и хабаровские летчики приняли первый бой.

В эту ночь флот начал решительные и дерзкие боевые действия. Флот знал, куда нацелить удар. Армия на широком фронте взламывала бетон укреплений. Флот вторгался в глубокий тыл. Море за Золотым Рогом вскипело за кормой быстроходных кораблей, шедших на юг, в Корею. Корабли капитана 2 ранга Кухты получили приказ искать врага в Японском море и, если там его не будет, искать в портах. Торпедные катера ушли далеко в воды противника.

Мы начинали серьезную войну с серьезным противником, и потому этот набег для первой ночи был особенно дерзким и смелым. Катерам некогда было ждать, пока тральщики расчистят подходы к Корее. Командиры понимали, что идут на большой риск. Море засорено минами. Но впереди верная цель. Летчики после разведывательных полетов доставили точные документы о положении в корейских базах. У пирсов дымили десятки крупных транспортов и танкеров, и в военных гаванях находились боевые корабли.

По минным полям, мимо вражеских батарей, торпедные катера ворвались в Юки и Расин, и каждой торпеде нашлась отличная цель. Пламя окутало гавани корейского побережья. По бухте Корнилова разливалась горящая нефть.

В первом ударе, который нанесла врагу тихоокеанская авиация, участвовала ныне гвардейская часть Михаила Ивановича Буркина. Четыре года назад Буркин улетел с Дальнего Востока командиром звена в Севастополь. Его звено летало с Херсонесского аэродрома. Немецкая артиллерия не оставила на том аэродроме живого места. Сам Буркин сбросил на противника сто тонн бомб. Буркин, как говорят дальневосточники, начал службу на Тихом океане по второму кругу. Хорошее начало — его бомбы обрушились на японские базы в Корее.

Командующий флотом развивал успех первого удара. С КП шли приказы новым частям вступать в бой. Торпедные катера сделали второй набег днем. Ушли в поиск торпедоносцы. В открытом море у берегов Кореи гвардии майор Григорий Попович, он пришел на Тихий океан из торпедоносной авиации Северного флота — обнаружил одинокий японский транспорт. Летчик снизился для атаки. Но транспорт продолжал идти тем же курсом и тем же ходом, не открывая зенитного огня. Летчик подумал:

ловушка, и торпеду не сбросил. Если с помощью ловушки его хотят разоружить, значит, поблизости более серьезная цель. Он нашел в море настоящую цель — японский эсминец, шедший из южных портов Кореи в бухту Корнилова. Майор Попович удачно торпедировал эсминец, и снимки подтвердили его победу.

В то утро на дальневосточных аэродромах с досадой поглядывали в небо штурмовики. Не было погоды. Как только появилось окошко в облаках, штурмовики Макара Власовича Барташова тоже устремились к Расинскому укрепленному району. Пленные утверждают, что в эти сутки в Расине не было минуты покоя: то наши катера, то пикировщики, то штурмовики, то снова катера. Удар наносился в нарастающем темпе, и это деморализовало гарнизон.

В первом налете штурмовиков летчик Николай Сафонов из шестерки Ильи Серова на выходе из атаки по японскому транспорту получил в мотор зенитный снаряд. Самолет вспыхнул, мотор обрезало. Для штурмовика это гибель, надо немедленно выбрасываться с парашютом или сделать отчаянную попытку приземлиться на берегу. О посадке в японском порту Сафонов и не подумал — это равносильно смерти. Он приготовился прыгнуть с парашютом и по внутренней связи окликнул стрелка сержанта Харьковченко. Ответа не последовало — связь не работала. Летчик очутился в безвыходном положении. С парашютом еще можно спастись, но это означало бы, что он бросит в горящем самолете товарища. Сафонов решил посадить сухопутный штурмовик на воду. В порту продолжался бой. Штурмовики делали новый заход на зенитные батареи и транспорты. Истребители прикрытия Воровский и Немтинов заметили, что один из «илов» горит и тянет куда-то в открытое море. Недалеко от мыса Радионова Сафонов посадил самолет на воду. Это странно звучит в применении к горящему штурмовику, но речь идет о каком-то мгновении погашенной в воде скорости. В это мгновение самолет держался горизонтально, и Сафонов успел выскочить из кабины. Сержант Харьковченко, тяжело раненный в ногу, не смог вылезти. У него не хватило сил даже откинуть крышку люка. Сафонов бросился к нему и открыл люк. Кабину захлестнула вода, поток выбросил стрелка на поверхность моря, и самолет исчез. Одной рукой подхватив товарища, Сафонов высвободил

резиновую шлюпку, надул ее и втянул в нее Харьковченко. Сам он остался на воде, поддерживаемый резиновой капкой. Рана Харьковченко была тяжелой. Сафонов кое-как перевязал ее и, уцепившись за шлюпку, стал грести рукой от берега. Прочь от берега, занятого врагом. Над ним промчались два истребителя. Поочередно летчики «брили воду», давая понять товарищу, что он не один. Им пришлось все же уйти на аэродром для заправки. Поднялся шторм. Силы иссякали. Море медленно толкало пловцов к берегу. Истребители появлялись и уходили дважды. К концу дня они навели на то место, где был Сафонов, торпедный катер.

На другой день тихоокеанцы вновь нанесли удар по бухтам Кореи: Юки, Расин, Сейсин. В группе капитана Воронина летел молодой штурмовик Михаил Янко с Иваном Бабкиным, стрелком. Свой первый вылет они сделали накануне и уничтожили в горящем порту зенитную батарею. Это был их второй вылет. Янко атаковал транспорт. Он попал в плотную завесу зенитного огня. Его машина была подбита. Спасти ее и спастись, как это сделал Сафонов, было, наверно, невозможно. Корейцы рассказывают, что горящий самолет, наводя ужас на солдат, промчался над набережной, взмыл вверх и тут же врезался в дом комендатуры порта.

Штурмовики пришли в Расин снова. Другой летчик занял место Янко. Капитан Воронин потопил японский миноносец, выходивший из бухты Корнилова.

Удары первых дней обескуражили японцев в Расине. Этот участок корейского побережья с часу на час мог стать ловушкой: из Маньчжурии нажимали части Красной Армии, с моря блокировал флот. Первый же десант заставил самураев бежать из Расина. Но, уходя, они выгнали в горы все население. Они увозили детей в горы и бросали их там — матросы находят в горах детей корейских и японских. Уходя, японцы отравили колодцы. В офицерских домах были заминированы вещи. Остались снайперы и поджигатели. Один был пойман в порту, он поджег чумизу. Под штатским платьем был офицерский мундир. У него нашли коллекцию снимков похлеще, чем у эсэсовцев. На снимках — расстрелы китайцев. Отдельно крупным планом — две головы, связанные за косы и подвешенные на гвозде. Сколько здесь, на полях тихоокеанской войны, в этих несчастных, подвергшихся многолет-

нему самурайскому нашествию странах, скрыто и не найдено Майданеков и кладбищ!..

У развалин портовых зданий в Расине моряки нашли два обгоревших трупа. Из левого кармана кителя одного из погибших достали опаленные огнем и залитые кровью комсомольский билет и удостоверение личности офицера Военно-Морского Флота Михаила Янко, 27 лет, уроженца Северного Казахстана, воспитанника 3-го военно-морского авиационного училища и гвардейской авиационной части. На портсигаре летчика выгравированы парящий орел и подпись «ВВС ТОФ».

Михаил Янко и Иван Бабкин похоронены на площади против разрушенного ими дома комендатуры. Над могилой стоит искореженный трехлопастный пропеллер «ила». Жители, возвращаясь с гор, подходят к могиле. Многие с высот наблюдали гибель Янко. Кто не видел, тот слышал об этом от живых свидетелей. Корейцы питают к праху умерших почтение. Янко они называют огненным человеком. Они проходят мимо его могилы, сняв шляпы и опустив глаза: у праха героя надо быть скромным и тихим.

6

Около года назад на побережье залива Куришес Гаф, возле города Гайдекруг на Балтике, от батраков немецкого хуторянина я узнал о существовании поблизости покинутого концлагеря. Люди рассказывали о каких-то могилах, где немцы хоронили иностранцев, об электрическом токе в ограде, об исчезновении узников за колючей проволокой,—словом, все, о чем часто в те дни можно было слышать на германской земле. Дорогу к лагерю взялись показать двое ребятишек — восьмилетний Миша, сын колхозницы из Ленинградской области, и польская девочка Марыся, хрупкое семилетнее существо, увезенное немцами из Лодзинского воеводства.

Мы поехали на запряженной хозяйским конем двуколке. Возле въезда в лагерь девочка решительно спрыгнула с повозки и увлекла за собой Мишу.

— Не бойся, глупенькая, там уже никого нет! — крикнул я Марысе.

Но девочка упрямо мотнула белокурой головкой, руки заложила за спину и широко расставила босые ноги. Она

исподлобья смотрела за ворота лагеря, на серые бараки. Столько недетского ужаса было в ее голубых глазах, что мне и самому на мгновенье страшно стало. Миша только минуту замешкался рядом с девочкой, затем он вскочил в двуколку и, свистнув коню, крикнул:

— Чего бояться, кругом наши, и никакого тока в проволоке нет!

Но я почувствовал, что и его трясет.

Мы обошли с Мишей мертвые бараки. Марыся в прежней позе стояла у ворот, смотрела на нас, как на зачумленных. Вместе ехать обратно она отказалась и пошла на хутор пешком, в некотором отдалении от нас. Надо было причинить много зла, чтобы внушить детям такой фанатичный ужас перед этим местом.

Я вспомнил об этом на другом конце материка, на берегу Японского моря, в запретной зоне военного строительства. В приморской деревушке между Расином и Сейсином мне рассказали, что рядом находится какое-то таинственное, обнесенное оградой место. Под страхом смерти к этому месту нельзя было приближаться. Нельзя было о нем говорить. Нельзя было о нем расспрашивать. Ватага малышей покатилась за мной вслед по приморскому шоссе, когда я пошел к запретной зоне. Они лепетали что-то непонятное. Мы подошли к бухте, обнесенной высокой каменной стеной. Стена начинается у самого моря на северном мыске бухты, по склонам сопки поднимается к шоссе, огибая значительную часть побережья, затем снова спускается вниз на южный мысок. Стена высокая, ее гребень унизан острыми металлическими шипами.

У массивных чугунных ворот я жестом пригласил ребятишек последовать за мной. Но дети разбежались. Они остановились поодаль, внимательно следя за мной.

За ограду я вошел один и очутился в мертвом, безлюдном пространстве, напоминавшем тот лагерь на берегу Балтики. Что здесь происходило? Какие происшествия могли внушить корейским детям такой же страх, как и немецкий лагерь там, на Западе, Марысе?

Трудно было сразу ответить на этот вопрос. Казалось, кругом остатки обыкновенного секретного сооружения. Подземные галереи. Нити узкоколейки между пещерами. Битый кирпич, бетон, какие-то ямы с истлевшими тряпками, осколками снарядов. В мастерских ни одного стан-

ка — все или увезено, или брошено в море. Цементная дорожка внезапно обрывается у огромного глубокого котлована. На дне его бесформенные куски металла, хаос взрыва. Желтая масса несгоревшего тротила и два шнура на берегу подтверждают, что здесь произошел колоссальной силы взрыв. Но одно обстоятельство заставило насторожиться — легкий ветерок доносил со дна котлована тошнотворный запах разложившихся трупов. Значит, японцы взорвали это сооружение вместе с находившимися там людьми. Я оглянулся на ворота — там по-прежнему толпились ребятишки.

Час спустя я был за пределами каменной стены в соседней бухточке, где находится селение Ракусан. К берегу лепится маленькая рыбацкая деревенька, схожая с описанными Гончаровым во время путешествия на фрегате «Паллада» вдоль Кореи почти столетие назад. У деревянных, изъеденных морем шатких мостков стоят парусные лодки. Волны нещадно стегают берег, забираясь чуть ли не в огороды, возле сбившихся в кучу хижин. Наших моряков видели здесь лишь мельком — они быстро ушли в глубь материка, и корейцы не успели даже как следует расспросить их о новом распорядке жизни. Меня окружила толпа, и один из жителей, с грехом пополам объяснявшийся по-русски, заговорил со мной. Этот кореец бывал когда-то во Владивостоке и теперь всеми признан, как главный в деревне. Прежде всего, заявил он, население волнует, как дальше существовать. Он объяснил, что это значит. Японцы запрещали тут самостоятельный лов рыбы. Все сети, лодки и шхуны принадлежали японцам из запретной зоны. Некоторое время назад японцы все у себя там взорвали и ушли. В море остались сети. Они полны рыбы, но никто не рискует их опорожнить. Разрешит ли советское командование воспользоваться уловом?

Корейцам требовалось лишь одобрение, и они приступили тут же к делу. Я спросил: почему они так боятся японцев из запретной зоны? То, что рассказал кореец, звучало несколько буднично, но в этой обыденности и заключался трагический смысл подневольной жизни.

Японцы сумели слово «запрет» превратить в синоним смерти. Одну бухту за другой объявляли запретными, и горе тому, кто пытался нарушить запрет. По всему побережью они строили промышленные предприятия и арсеналы. В бухте рядом с селением Ракусан был объявлен

особый, специальный режим. Из селения несколько человек ушли строить стену вокруг бухты. Ушли и не вернулись. Тот, кто входил за каменную стену, никогда не выходил. Тот, кто неосторожно упоминал о запретной зоне, о ее тайнах, исчезал навеки. Утверждают, что всех строивших арсенал увезли на острова. Но был один рыбак в Ракусане, видевший в море японскую шхуну, с которой сбрасывали трупы корейцев. Я просил указать мне этого рыбака. Корейцы сказали, что после того случая рыбак внезапно исчез.

Некоторое время спустя я видел альбом фотографий, найденный в архивах полицейского управления порта Сейсин.

На красном прошнурованном альбоме ярлык: «Отдел общественной безопасности»; иероглифы в скобках поясняют: «Нравы, быт». На альбоме — заглавие: «Изъятия. Запрещенное для вывоза». В альбоме фотографии, изъятые у японских солдат и офицеров при выезде через порты Сейсин и Расин в метрополию.

Изъятие № 0—1. Серия из восемнадцати снимков японского офицера, проезжавшего в конце 1939 года через Расин из Китая в Японию. Снимок первый — голые обезглавленные тела у ямы. Снимок второй — военный пейзаж. Крупным планом — череп, одинокий куст в песчаной пустыне, берцовая кость. Снимок третий — толпа японских солдат и офицеров перед брошенной навзничь жертвой; палач в черном переднике держит жертву каким-то специальным ухватом за шею; трое солдат вяжут руки и ноги. Снимок четвертый — зимний пейзаж; снег. Оккупанты в шубах выстроились перед фотографом; у ног — голый мужчина и женщина на коленях; руки связаны за спиной; над затылком занесена самурайская сабля; оккупанты смотрят в аппарат, жертвы — в снег; иероглифы на фотографии гласят: за нарушение запрета. Сцены массовых казней. Череп, повешенный на дорожный телеграфный столб, в перспективе — другие столбы с черепами. Отрубленные головы на земле. Двенадцать отрубленных голов, аккуратно сложенных в два ряда на скамейке. Все пронумеровано и проштемпелевано японскими полицейскими ярлыками.

Изъятие № 0—2. Коллекция японского офицера, следовавшего в 1940 году через Сейсин из Маньчжурии. Этот коллекционер не ограничивается черепами и костями лю-

дей, он снимает изуродованные и истерзанные трупы животных с некоторыми садистскими подробностями.

Новые коллекции. Господа оккупанты едут в отпуск и везут на память: фотографии разрубленных частей тела; новый способ пыток — пытают одновременно пятерых китайцев, зажав меж двух железных досок; рука в черной перчатке пинцетом приподнимает перед объективом кожу вспоротого живота; массовые могилы, изуродованные трупы, японский генерал над полем смерти, на берегу неизвестной, заваленной мертвецами реки; головы в ряд; головы в два ряда; черепа, кости, черепа, — над всем этим выпячивают грудь, позируют, улыбаются, гордо смотрят в аппарат солдаты и офицеры. Смотрите, что стало с врагом империи, с тем, кто не покорился детям всемогущего императора.

Недаром изымали эти документы и клеили их в полицейский альбом — это внутренний секрет. Не думайте, что полиция стремилась оградить Японию от жестоких зрелищ. Военщина считает, что подобное зрелище благотворно действует на самурайский дух. Когда я показал одну из таких фотографий пленному самураю, он, улыбаясь, заметил: «С хунхуза так — хунхуза делай...» — он сделал при этом красноречивый жест ладонью по шее.

Японские фашисты рассчитывали на азиатские пространства и свою безнаказанность, усыпая земли Китая, Маньчжурии и Кореи черепами. Они были уверены, что берега азиатского материка навсегда останутся запретной зоной и тайна этих берегов не проникнет никуда. В одной лишь Корее действовало более шестидесяти тысяч японских жандармов и полицейских, которым было дано императором право самостоятельно, без судейских премудростей, чинить суд и расправу. Фашисты Востока вменили исполнение палаческих обязанностей в служебный долг каждому своему солдату и офицеру. Там, в Германии, — печи, здесь — топор. Там — дыба электрифицированная. Здесь — примитивный нож, скальпель и трезубцы для пыток. Там — европейский садизм эсэсовца. Здесь — азиатский ритуал самурая. Мы открыли миру их тайны там, раскроем же человечеству ужасы фашизма и здесь, в Азии.

В Корее японцы осаждают наши комендатуры, требуя защиты их от местного населения. Сорок лет японские фашисты внушали корейцам страх и ужас, истребляли

тысячи и тысячи людей, сгноили в тюрьмах больше двухсот тысяч непокорных жгли, резали, убивали, но, когда наши армия и флот разрушили легенду о самурайском могуществе, кореец все же поднял голову и вначале робко, а затем все с большей смелостью потребовал возмездия.

Перед приходом нашей армии во многих корейских городах в районе Сейсина, Канко, Гензана, Сеула вспыхнули восстания против японцев, и нашим бойцам стоило много усилия сдержать этот гнев и не допустить расправы.

1945 год, август — сентябрь

КОРЕЙСКИЙ ГАВРОШ

Из записной книжки

В моей тихоокеанской тетради есть несколько записей, сделанных в августе и сентябре сорок пятого года то в Корее, то во Владивостоке, записей, как будто разрозненных, но вдруг оказалось, что все они связаны одна с другой и с судьбой одного корейского мальчика. Просмотрев их, я на каждой пометил: «корейский Гаврош» — не слишком оригинальное заглавие, но мне кажется, в нем суть дела.

31 августа я забрел на аэродром в Гензане, рассчитывая на случайный самолет. Порт Гензан в те дни был уже «не в моде» — летали больше в Дайрен, в Порт-Артур, а сюда, в Корею, рейсовые машины не ходили. Но мне вдруг повезло. На летное поле неожиданно сел бомбардировщик морского летчика майора Дерюгина — «Боинг-25». Сел, как говорят, на вынужденную. Возвращаясь из Порт-Артура во Владивосток, «Боинг-25» в районе Цусимы подвергся преследованию «неизвестного истребителя» американской марки, которому очень хотелось приземлить самолет с красными звездами на любом из островков пролива. Война кончилась, хотя Япония еще не подписала на линкоре «Миссури» акт о капитуляции. Во всяком случае, японцы на таких истребителях не летали. В это время у них вообще не было никаких истребителей. Майор Дерюгин — летчик опытный: за время короткой, но стремительной дальневосточной войны он налетал десятки тысяч миль, побывав и на Курилах, и на Сахалине, и в Порт-Артуре. Кроме того, он был настоящим дальневосточником, человеком, который на практике знает, что

такое война нервов, война без объявления войны, когда таинственно исчезают рыбачьи шхуны, самолеты, когда задерживают беспричинно пассажирские пароходы и арестовывают их команды. «Встреча с неизвестным» в воздухе — будь то японец, американец, хоть австралиец — дело, пахнущее провокацией, от нее следует уклониться. Майор Дерюгин прижался к берегу Корейского полуострова, дотянул до Гензана, посадил свой «Боинг» на аэродром, вызвал бензозаправщиков, а сам вместе с экипажем вышел за границу ангаров.

Рядом с ангарами помещались офицерские казармы японского военного городка, в них разместились несколько тысяч плененных солдат и офицеров гензанского гарнизона. Дерюгин, как и все дальневосточники, уже знал, что этот гарнизон волынил с капитуляцией, избежать кровопролития удалось только благодаря хитрости и изворотливости десантников, высаженных в порту, и какого-то корейского парня, который им помог. Я знал эту историю подробнее, но не успел заговорить о ней, как к нам подошел один из обитателей казарм — разбитной офицерик, назвавший себя Танакой. В те годы каждый внимательный читатель газет знал имя японского милитариста генерала Танака, автора антисоветского «меморандума». Поэтому мы переглянулись и рассмеялись. Офицерик не обратил на это внимания, он сказал, что ему хочется поговорить с господами летчиками по-русски. Русский язык он изучал в Харбине — «в специфическом институте»; всякая практика ему полезна. Предоставив нам самим разбираться в том, что это за «специфический институт», офицерик бойко заговорил об исходе войны и самоуверенно заявил, что он считает первым в мире солдатом — солдата русского, но, разумеется, после японского солдата. Он повторил: лучший солдат все же солдат микадо, — положение самого воспитанника харбинского «специфического института» красноречиво это подтверждало. Танаке не терпелось втянуть нас в дискуссию. Он сказал, что, не прикажи ему император сдаться, он мог бы еще померяться с нами силой. Заявление очень схожее с утверждениями фашистских чинов на Западе, которые сваливали все свои беды, прегрешения и неудачи на Гитлера; правда, в плену они не были так спесивы, как этот Танака, — урок Москвы, Курской дуги, Ленинграда и других «университетов войны» пошел им все же впрок. Майор Дерюгин, наверно

очень встревоженный в тот день состоянием послевоенной атмосферы, отвернулся от Танаки и сказал:

— Очевидно, вас недостаточно учили в Харбине. Я говорю не про язык, вы им владеете неплохо. Но у ваших коллег по недавно лопнувшей фашистской оси есть некоторый опыт изучения русского воинского искусства. Не мешало бы и вам этот опыт изучить...

Он произнес это, не вынимая рук из карманов своего летного комбинезона и глядя куда-то в пространство, в море, над которым только что летал и над которым снова должен был лететь.

Мы улетели через несколько минут, так и не закончив разговор с гензанским Танакой; я вспомнил это происшествие недели три или месяц спустя, побывав в одном из лагерей для военнопленных под Владивостоком.

Там, в довольно уютных домиках, жили высшие чины императорской армии. Были там чины из Квантунской армии, запомнившие наши встречи и у Хасана, и у Халхин-Гола. Были адмиралы из корейских военно-морских баз. Был и начальник гензанского Танаки контрадмирал Хори.

С утра японские генералы и адмиралы выходили на физзарядку. Днем они изучали опыт минувшей войны. Каждый день кто-нибудь из них по очереди читал своим коллегам лекцию об уроках и ошибках проигранных сражений. Потом они выслушивали короткую сводку последних сообщений телеграфных агентств мира. Среди этих сообщений были и такие, как переданное 27 сентября 1945 года американским радио:

«Сегодня в 10.00 император Японии Хирохито прибыл в штаб генерала Макартура и имел с ним 38-минутную беседу по вопросам, касающимся Японии. Император прибыл в штаб в своей официальной одежде для визитов со свитой на пяти автомашинах и личной охраной на мотоциклах. Генерал Макартур принял его в своем обычном мундире цвета хаки без орденов и медалей. Выходя из здания, император снял шляпу и поклонился группе корреспондентов, собравшихся у дверей штаба».

Автор, корреспондент агентства «Юнайтед Пресс» в Токио имел основания захлебываться от восторга, понимая, как сенсационно звучит: император кланялся корреспондентам. Генералы прослушали известие молча и невозму-

тимо. Через час они снова собрались на очередной реферат о проигранной войне.

Мне это показалось смешным. Но мой спутник, боевой офицер, видевший и побледневшего Паулюса под Сталинградом и трясущиеся руки Кейтеля в Берлине, не смеялся. Он сказал примерно то же, что сказал майор Дерюгин в Гензане, только другими словами: «Мало их учили».

Предстояло интервью с контр-адмиралом Хори. Я вспомнил: так это и есть тот самый японский адмирал, которого обвел вокруг пальца корейский мальчишка!..

Мальчишка этот попал к нашим матросам в Сейсине. Отряд десантников разведчика-северянина Виктора Леонова, получившего на Дальнем Востоке свою вторую Золотую Звезду, занял в Сейсине берег реки перед высоким железнодорожным мостом. Река разделяла фронт. Ночью через мост на ту сторону пошли матросы — Леонов приказал им проверить, нет ли на мосту мин. В середине моста разведчики осветили фонариком застрявший между стойками ограждений мешок, туго набитый чем-то твердым. Было похоже, что в мешке взрывчатка. На ощупь определили, что это обыкновенный заплечный мешок, лямки от него ведут под мост, на лямках что-то или кто-то висит. Ну что ж, тут все может быть: могут подвесить и заминированного человека. Разведчики были вооружены автоматами, но у кого-то на поясе оказался штык. Попробовали ткнуть подвешенного к мешку человека этим штыком — молчит. Значит, мертв. Тогда, проверив, нет ли скрытых под лямками проводочков, решили эти лямки обрубить и труп сбросить в реку. Одну обрубили, а когда замахнулись, чтобы обрубить вторую, раздался дикий крик — человек ожил. Его втащили на мост, осветили — это и был корейский мальчишка, которого я называю Гаврошем. Он, правда, казался мальчишкой — юноша лет шестнадцати или семнадцати, но очень худенький и роста небольшого. Его звали Мун. Он учился в японской школе в Сейсине, хорошо знал прибрежные районы и очень хотел нашим матросам помочь. Для того он и перебирался через мост на нашу сторону. Но японцы, оказывается, открыли по нему огонь. Тогда он решил переждать ночь посреди моста, подвесив себя таким оригинальным способом. Он рассчитывал, что ночью или утром наши уже займут мост, и он будет в безопасности. Испытания штыком он не предусмотрел.

Мальчишка этот прижился в отряде. Надо признаться, что флот наш был вооружен всем чем нужно для войны, но не подготовлен для переговоров и дипломатии. Одного-единственного на этом участке фронта переводчика капитана Андреева таскали из части в часть. Был еще переводчик кореец Сергей, знавший корейский и русский языки, но не владевший японским. А Мун владел японским и корейским. Вот его и спарили с Сергеем для двойного перевода.

20 августа по приказу генерал-лейтенанта Сергея Ивановича Кабанова, назначенного после Заполярья на Тихий океан командиром Южнокорейского оборонительного района, в Сейсине был погружен на корабли десант и направлен в порт Гензан. В 16 часов в море вышли шесть торпедных катеров, два тральщика, фрегат и эскадренный миноносец «Войков». На фрегате находился штаб десанта, возглавляемый капитаном 1 ранга Александром Федоровичем Студеничниковым и подполковником Валентином Федоровичем Козловым из 13-й бригады морской пехоты. На катерах отряд Виктора Леонова и морские пехотинцы из батальона Гайдукевича. Было известно, что гензанской базой командует контр-адмирал Хори, а крепостью — полковник Тадо, в крепости несколько тысяч солдат, на аэродроме базируются истребители и бомбардировщики, гавань минирована американскими самолетами, на островах — батареи. Есть ли в гавани корабли — точно неизвестно, за четыре дня до выхода десанта в районе Гензана, по данным разведки, находились японский линкор и миноносец. Указ императора о капитуляции уже давно должен был вступить в действие, потому и десант пошел малочисленный, но все же надо быть настороже.

В штилевую погоду, при луне, фрегат встретил неизвестную подводную лодку, спугнул ее. Другую лодку обнаружил эсминец и, кажется, таранил. Потом наткнулись на быстро идущий катер — на нем из Гензана в Фузан бежали два офицера японской авиации. Встретили еще шхуну с маячником из Гензана. Эти встречи помогли уточнить обстановку: гарнизон крепости в готовности, кораблей в порту нет, но на аэродроме остались несколько бомбардировщиков и истребителей с экипажами; конкретных указаний о капитуляции еще не поступало, возможно сопротивление. Тем более что адмирал Хори и полковник Тадо — ярые самураи, особенно усатый Тадо, человек же-

стокий, нервный, во время разговора с подчиненными он всегда постукивает своим самурайским мечом.

В двенадцати милях от Гензана тральщики подорвали плавающую мину. Но на фрегате уже знали, что таких мин тут почти нет, следует опасаться мин акустических, донных, новейших, сброшенных американцами с самолетов — на них уже подорвались пять японских тральцов. Маячник объяснил, что ближе к гавани установлены вешки, левее от них чистый фарватер.

На рассвете фрегат облетели японские истребители, они прошли дальше в море, вскоре вернулись и проскочили к Гензану. Разведка — уточняют, каковы наши силы. Вперед пошли торпедные катера с десантом. В 9 часов 20 минут 21 августа катерники высадили в порту матросов, не встретив на причалах ни одного японца. Но корейцев вокруг было множество. Корейцы принимали у катерников концы, помогали швартоваться, улыбались и молча кивали в сторону города.

Матросы быстро заняли выгодные позиции в порту и на сопке над ним. Леонов с группой разведчиков отправился в город. Встреченный разведчиками на улице подпоручик довел их до ближайшего японского учреждения — жандармерии. Часовой не пропустил разведчиков в здание, вызвав какого-то капитана. Капитану предложили сдать оружие и разоружить жандармов. Он сказал, что на такие действия не уполномочен, надо переговорить с самим полковником Тадо. Тот подкатил на автомобиле к жандармерии, вылез важный, напыщенный, точно такой, каким его обрисовали плененные офицеры с катера, — усатый, постукивающий самурайской саблей. Ни о какой капитуляции он, конечно, не слыхал.

Ну что ж, если гарнизон не капитулирует, через полчаса в гавань войдут корабли и откроют огонь. Полковник молча поклонился, сел в машину и уехал в крепость.

Кораблей пока не было. Матросы присоединились к товарищам, занявшим позиции на высотах, — на большее у них не было полномочий.

В полдень в Гензане ошвартовался фрегат. На нем кроме штаба высадки находились и «спаренные переводчики»: корейцы Сергей и Мун.

К сходне подошел представитель командира базы, владевший русским языком не хуже воспитанника харбинского «специфического института» Танаки, он быстро

спросил у матросов, есть ли на корабле высшие офицеры. Не искушенные в дипломатии матросы ответили, что сейчас позовут капитана 1 ранга. «Представитель» сказал, что японский контр-адмирал болен, поэтому он приглашает русских офицеров к себе. Ему объяснили, что капитулирующему неудобно приглашать к себе победителя, уж пусть он как-нибудь доберется до корабля. «Представитель» обещал доложить об этом контр-адмиралу.

Он вернулся через некоторое время и сказал, что контр-адмирал уже чувствует себя лучше, но разговаривать он будет только с равным по званию. Ну что ж, с равным так с равным: будет на фрегате и контр-адмирал для разговора с командиром базы и полковник для разговора с командиром крепости; начало переговоров — 16 часов; если ровно в 16 другой стороны не будет — фрегат откроет по крепости огонь.

За пять минут до срока на пирс прибыли контр-адмирал Хори и полковник Тадо с адъютантами, советниками и помощниками. Капитан 1 ранга Студеничников успел к этому времени надеть контр-адмиральские погоны, подполковник Козлов превратился в полковника.

В кают-компании был накрыт стол — и выпивка, и закуска. Но прежде чем пригласить капризных гостей к столу, Студеничников спросил, готов ли гарнизон сложить оружие. Контр-адмирал и полковник ответили уклончиво: они знают, что Япония и Россия кончили войну, но конкретных указаний не поступало. Контр-адмирал избегал слова «капитуляция» и намекал на то, что войсками, собственно, командует не он, а командир крепости. А полковник Тадо разъяснил, что японская армия никогда не складывала оружие. Постукивая саблей, он утешал господ русских офицеров:

— Вы нас не тронете, мы вас тоже не тронем. Слово самурая.

Дискуссия затянулась. Агитация не помогала. Пришлось присесть к круглому столу — соседнему с обеденным.

Тем временем зенитчики сыграли боевую тревогу, завидев взлетающие с японского аэродрома бомбардировщики. Не открывая огня, но и не выпуская из прицела летящие над кораблем самолеты, зенитчики выжидали. Им было приказано держаться до предела и открыть огонь

только в ту минуту, когда бомбардировщики явно пойдут в атаку.

Контр-адмирал Хори сказал, что авиация ему не подчинена. Он, конечно, может воздействовать на летчиков, но для этого ему нужно сойти на берег и пройти в свой штаб. Тем более что время уже позднее, господа русские офицеры должны ужинать, а господ японских офицеров ждут семьи на берегу.

Студеничников пригласил господ офицеров к столу. Выпили по полстакана спирта. Закусили белым хлебом с маслом. Поблагодарили и стали снова собираться на берег.

Пришлось повторить утренний ультиматум: либо немедленный приказ о капитуляции, либо немедленно будет открыт огонь. Полковник Тадо заявил, что для этого он должен съездить в крепость. Ему предложили послать на берег адъютанта, он возразил: «У нас адъютанты приказов не пишут». Ему рекомендовали написать приказ собственноручно. Он заявил, что без печати все равно такому приказу не поверят. Словом, опять дискуссия и агитация.

Полковник и контр-адмирал отлично изъяснялись по-русски, как и все высшие японские офицеры в гаванях Кореи, не случайно же в порту Сейсин в японском штабе аккуратно вырезали и наклеивали в специальный альбом передовые статьи из газеты Тихоокеанского флота «Боевая вахта» и из моего родного «Красного флота» — я сам эту коллекцию видел. Но Сергей — «половина переводчика» — все время держал «на товсь» свою «вторую половину»: Мун, одетый в белую курточку и белые брюки «юнги-боя», беспрерывно сновал вокруг стола, старательно обслуживая японских чинов.

Студеничников посмотрел на часы и дал знак юнге-бою, чтобы тот пододвинул гостям бумагу, перья и чернила.

Приказ о капитуляции первым написал контр-адмирал Хори. Он показал пехотному полковнику пример сообразительности. Можно обойтись и без печати. Не одолев своими старческими зубами кожу на левой руке, он надрезал ее перочинным ножом, обмакнув в кровь указательный палец правой руки, и приложил к приказу.

Полковник Тадо последовал его примеру.

— Но приказ надо размножить, — сказал он. — Частей много, и один экземпляр ничего не даст.

— Пошлите на берег адъютанта. Он размножит ваш приказ.

Полковник хотел что-то снова возразить, но контр-адмирал сделал сердитый жест, взял оба приказа, снова прочел их и на одном добавил несколько иероглифов. Можно было предположить, что это распоряжение о перепечатке обоих приказов большим тиражом.

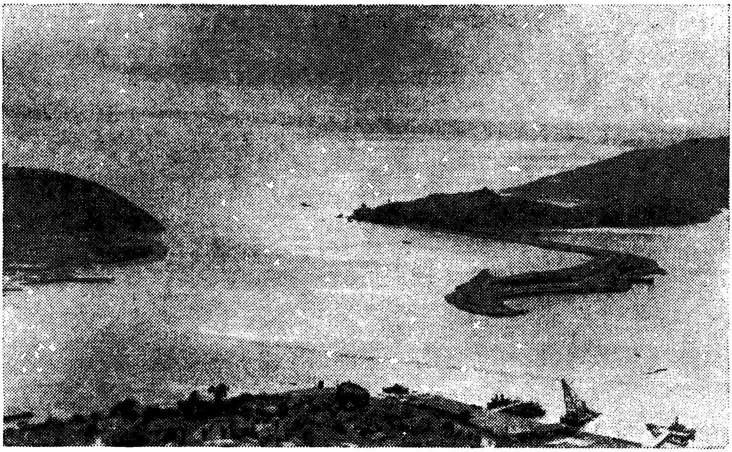
Но Мун, «половина переводчика» и юнга-бой, успел взглянуть на эти иероглифы прежде, чем контр-адмирал передал приказы адъютанту. Мун выбежал из кают-компании, дав знак Сергею. Тот выбежал за ним следом и, когда вернулся, объяснил Студеничникову, что сообразительный Хори начертал на приказе строку из самурайской песенки: «Хоть и умрешь — не проиграешь». Эту песенку заставляли петь корейских ребят в школах. Смысл ее ясен: приказ приказом, но смерть искупает все. Пришлось приказ Хори задержать — достаточно одного приказа полковника Тадо. Ведь адмирал Хори предупреждал раньше, что в его подчинении нет никаких войск — войска подчиняются полковнику. Нужен ли и его приказ этим войскам...

Хори молчал. Тадо подозвал к себе адъютанта и что-то ему зашептал по-японски. Но Мун был в этот момент рядом с ними. Полковник Тадо, разумеется, не брал в расчет какого-то корейчонка. Способен ли тот понять разговор двух военных о ночном бунте, самостийной атаке войск, обеспокоенных арестом своих начальников, — адъютант понял своего полковника с полуслова. Мун тоже.

Студеничников, заметив, что во время переговоров не принято шептаться, предложил господам офицерам переночевать на корабле. Он вдруг решил, что ночь для сдачи оружия — время неудачное, стоит подождать рассвета, тем более что гостям, вероятно, известна русская пословица «утро вечера мудренее».

Полковник Тадо застучал саблей. Он даже повысил голос, заявляя, что не отвечает за последствия. Возможен стихийный бунт. Гарнизон способен силой освободить своих командиров. Надо послать адъютанта и предупредить офицеров крепости о том, что их командир вместе с контр-адмиралом добровольно остаются на русском фрегате. Словом, он добивался связи с берегом.

С разоружением гарнизона матросы справились без помощи контр-адмирала Хори и полковника Тадо. В течение дня 22 августа тысячи японских солдат сложили на площади Гензана оружие. Был занят аэродром и были захвачены там двадцать истребителей. Только бомбардировщики успели улететь. А в 17 часов 30 минут крепость получила наконец и официальный приказ свыше о капитуляции. Ну что ж, он был выполнен досрочно. С помощью матросов и двух корейских парней...



Порт-Артур. Тигровый хвост. Сентябрь 1945 г.

...Всю эту историю я снова вспомнил перед интервью с контр-адмиралом Хори в лагере под Владивостоком и, признаться, сразу же потерял всякий интерес к предстоящей беседе. Но все же мне пришлось вежливо спросить контр-адмирала от имени морской прессы, не имеет ли он каких-либо претензий к администрации лагеря.

— Имею, — всерьез ответил контр-адмирал. — Меня содержат совместно с пехотными генералами и полковниками. Это оскорбительно. По нашим обычаям, японский моряк ближе к богу и императору, чем пехота.

Он настолько увлекся своей речью, что машинально начал грызть левую руку. Оказывается, это привычка.

Пехотный полковник постукивает самурайской саблей, моряк — грызет руку...

Да, мало учили и того Танаку, и этого Хори.

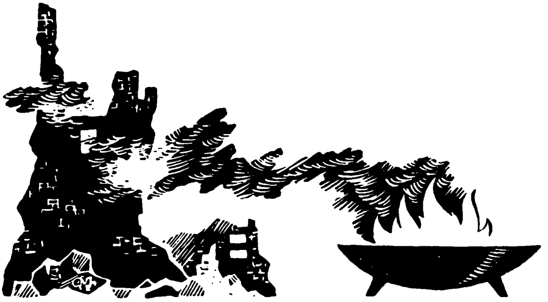
Но при чем тут Гаврош?..

Не обязательно ведь Гаврошу подносить патроны на баррикады. Можно помочь своему народу и иным путем. Корейский юноша Мун помог не только нашим матросам, но и своим соотечественникам. Кто знает, уцелел бы Гензан или нет в августе сорок пятого года, если бы Мун не услышал разговора полковника Тадо с адъютантом и не прочитал иероглифов контр-адмирала Хори?..

В августе сорок пятого года Гензан был красивым и цветущим городом.

Потом этот город называли Вонсан — это подлинное имя корейского порта, восстановленное республикой. Может быть, читатели помнят это имя: Вонсан в середине нашего двадцатого века был сожжен американским напалмом. На этот раз Мун не смог его спасти. Но если он выжил, он наверняка участвовал в восстановлении этого города. Для Гавроша — это тоже революционное дело.

1964 г.



ПОСЛЕВОЕННАЯ ТЕТРАДЬ

В БУХТАХ ЗАПОЛЯРЬЯ

В океане

В августе сорок шестого года в Белом море были назначены учения флота с участием в них старого линкора, полученного нами от англичан. У нас этот линкор назывался «Архангельск», потом его вернули союзникам. На линкоре находился главнокомандующий военно-морскими силами. Военному журналисту Николаю Николаевичу Ланину и мне было приказано лететь в Архангельск и явиться на линкор.

После трех часов полета мы сели на большой аэродром у Северной Двины в нескольких километрах от Архангельска. Сразу же стала ощутима резкая перемена климата, особенно в сравнении с Белградом, Будапештом и Веной, где я работал перед этим на катерах Дунайской флотилии. От темной, открытой ветрам реки веяло ледником. Даже зрением я ощущал холод. Метель тянула по низкому безлесому берегу узкие струйки песка. Все тускло и скупо, но глубоко спокойны эти желто-бурые краски.

Катерок, на котором предстояло идти в Архангельск, дрожал у шатких мостков пристани. Рослый старшина в кожаном шлеме, мокрый, как вылезший из пучины водолаз, вывел катерок на середину реки. Подхваченные быстрым течением, мы пошли вниз.

— Из Москвы, товарищ майор? Сколько летели? — спросил старшина, полуобернув ко мне спокойное, красное от холода лицо. — Близка все-таки от нас Москва. Как там жизнь теперь? Ждут нас или ждать перестали?

— Ждут. Собираетесь демобилизоваться?

— Десять лет отслужил. Поеду в Москву невесту искать.

— Что-что, а невеста в Москве найдется.

— Вот и я так думаю, — рассмеялся старшина, — за североморца любая пойдет. Влюблюсь, женюсь и подамся сюда. Я всю Арктику от бухты Провидения до Шпицбергена знаю. Я плавать буду. Как вы думаете, товарищ майор, поедет москвичка на Север?

— Полюбит, так поедет.

— Вот и я думаю — полюбит, так поедет. Тут спокойная жизнь. Ночь, конечно, длинная, больше при лампе жить приходится. Зато день какой — полгода... В общем, найду хорошую девушку — поедет, — поразмыслив, добавил старшина. — Интересно же океан поглядеть. А я уж океан ей покажу. У меня тут на каждом пароходе друг...

Река бурлила стужей, откуда-то с верховьев мчались набухшие бревна, то с силой и звоном сталкиваясь, то скользя. Старшина ловко крутил штурвал, избегая опасных ударов. Хлесткие брызги стегали катер, били по стеклу перед нами и в лицо старшины, когда он приподнимался над стеклом, чтобы лучше видеть. Он не стряхивал этих брызг, не отворачивался. На пирсе он высадил нас и, даже не обсушившись, пошел по новому поручению.

Под вечер мы наконец попали в Соломбалу, морской пригород Архангельска. Нас дожидался маленький катерок с линкора. Впрочем, мичман, корабельный интендант, доложив, что послан за нами, тут же поспешил добавить, что он прибыл, конечно, не только за нами: попутно ему приказано «запастись витамином «С» для главкома»; это — чтоб мы не заносились. Я еще не знал, что иные флотские старшины Севера обожают Соломбалу, как самое заманчивое место отдыха и развлечений, и сложили о ней даже песенку:

Соломбалу не сдадим —
Женскую столицу.
Кузнечиху перейдем —
Станем на границу.

Мичман не предупредил нас, что в эту ночь собирается форсировать Кузнечиху и на ее рубеже занимать оборону до утра. Он сказал, что вернется к часу ночи, поскольку «должен раздобыть сметану и овощи», — это, как мы должны понимать, не так просто на Севере.

Мы прилегли на узких диванчиках в кабине катерка. Он стоял под бортом нефтеналивной баржи. Волна ритмично колотила его о железный корпус неуклюжего судна, я думал, что сойду с ума. Мой спутник, человек спокойный, ко всему на море привычный, он из кадровых моряков, невозмутимо посапывал на своем диванчике.

Мичман и его спутники вернулись под утро. Оправдываться не стали, а сразу запустили мотор и рванули к линкору. К шести утра мы вышли из устья Двины и увидели высокую громаду линейного корабля. Но стало так свежо, что к трапу нас принять не смогли, нам указали стать «под выстрел».

С удовольствием приведу объяснение этого термина из Морского словаря: «В ы с т р е л (swinging-boom, lower-boom) — рангоутное дерево (или металлическая балка), прикрепленное к борту корабля шарнирным соединением и расположенное перпендикулярно к нему... В горизонтальном положении В. удерживается в ы с т р е л-т о п е н а н т о м — тросом, идущим от нока В. к фок-мачте. В перпендикулярном положении к борту корабля В. удерживается в ы с т р е л - б р а с о м — тросом, идущим от нока В. к носу корабля, и б у р у н д у к о м — тросом, идущим от нока В. к корме корабля».

Всех этих брасов, бурундуков, топенантов и прочих премудростей, для объяснения которых мне пришлось бы привести тут добрую половину словаря, я не помню; я обнаружил лишь какой-то трос, ведущий под углом куда-то вверх и вместе с выстрелом, — по-моему, он на сей раз был металлической балкой, а не рангоутным деревом — образующий одну из сторон страшного треугольника. С выстрела свешивался шторм-трап, я видел, как ловко поймал его мичман и по-кошачьи забрался наверх. Нас пронесло вперед, катер развернулся, снова подошел под выстрел, следом за мичманом ушел еще один моряк.

Коля Ланин спокойно лежал на диванчике, приговаривая: «Обождем, когда нас примут к трапу». Меня же ночь возле нефтеналивной баржи довела до такого состоя-

ния, что я готов был уцепиться черт знает за что, только бы убраться с этого катеришки.

Мы снова подошли под выстрел, матрос багром поймал для меня шторм-трап, я уцепился за балясину, полез наверх, добрался до той самой перпендикулярной к кораблю балки, хотел было ее оседлать и самым надежным житейским способом — ползком — добраться до борта, но какое-то инстинктивное чувство заставило меня нормально встать и, не глядя вниз, в бушующую бездну, пройти к кораблю. Для меня это была чистейшая акробатика, о которой я с удовольствием до сих пор вспоминаю в домашнем кругу. Правда, акробатика с отчаяния. Но я тут же был вознагражден. С борта за «очкариком» следило немало глаз, кое-кто даже пытался поспорить, что корреспондент обязательно ляжет на выстрел брюхом; раз этого не случилось и формы я не опозорил, старший помощник командира, капитан 2 ранга Олимпий Иванович Рудаков, человек, не жалующий корреспондентов и всяких эрзацморяков, предоставил мне на линкоре отдельную каюту,— на линкоре, где находился главнокомандующий и бог знает сколько адмиралов. Недаром позже, когда Рудаков стал контр-адмиралом и мы с ним уже на Балтике ходили на «Совершенном», ему присвоили позывной: «Очаровательный».

Эту каюту я разделил с моим спокойным товарищем, он час спустя подошел на катерке к трапу, поднялся наверх, приветствовал, как положено, Флаг, доложился, кому положено, разыскал меня и с доброй, но снисходительной усмешкой сказал: «Вы молодец, я обязательно расскажу об этом в редакции».

На линкоре мы пробыли два дня, выходили в Белое море на учения. Когда вернулись, я перешел на другой корабль, рассчитывая попасть на нем в Полярное.

На борту корабля туда пошел Главнокомандующий военно-морскими силами. Узнали об этом внезапно. С буксира, снабжавшего на рейде корабли, быстро сгрузили на палубу дополнительные продукты и хлеб. Не успели грузы прибрать — сигнальщик доложил о выходе адмиральского катера. Боцман вместе с начпродом и коками прикрыли хлеб скатертями и брезентом. Был сыгран большой сбор.

Мне вспомнился сорок второй год, май в потийской гавани, крейсер «Красный Крым» перед походом в осаж-

денный Севастополь, ожидание адмирала, пожелавшего осмотреть крейсер перед плаванием. Я решил тогда приобрести парадный вид, надраил чистолем пуговицы на кителе, кнопкой звонка, как учил меня этому старпом Леут, вызвал вестового и вручил ему для утюжки брюки. Звонки большого сбора прогремели внезапно. По железным палубам затопали сотни ног. Бросил наверняка мои брюки вместе с разогретым утюгом и вестовой,— каждый, как и положено, мчался наверх, на построение. Только я стоял в политотдельской каюте в кителе с надраенными пуговицами и в трусах, с трепетом слушая дублируемые корабельной трансляцией звуки палубы и не зная, что предпринять. Вот сыграли захождение. Вот уже экипаж дружно и отрывисто гаркает, приветствуя главнокомандующего. Тот идет вдоль строя. Сейчас спустится вниз, осмотрит помещение, откроет дверь в эту седьмую каюту — дальнейшего я не мог себе представить. К счастью, политотдельская каюта не заинтересовала адмирала.

На этот раз по большому сбору я выбежал наверх со всей командой и занял подсказанное мне место в строю пассажиров-военнослужащих. Мундир был в полном порядке — сказались все же годы войны.

Как только адмирал и офицеры морских и береговых штабов перешли на корабль, мы снялись с якоря и пошли строго на север к горлу Белого моря. К полудню мы были у выхода в Ледовитый океан.

Он встретил нас холодом и ветром, хотя еще не кончилось позднее и короткое полярное лето. Дул пронизывающий норд-вест, и даже в шинели было зябко стоять на палубе. Сквозь разрывы облачного неба проглядывало полярное солнце. Все, кто был наверху, жадно и взволнованно обозревали доступную взгляду великую широту.

Перед глазами возникал пестрый глобус с голубой краской на макушке, мы ползли по этой макушке вверх, за пунктир Полярного круга, и штурмуемая океаном земля слева была краем нашей планеты, последним ее каменным рубежом. Обрубленные, веками шлифованные утесы утрюмо нависли над водой. Океан тяжело наваливался на них огромными, как складки гор, густыми волнами, подобными глыбам плавленого льда. Корабль трудно раздвигал эти черные глыбы, склоняясь палубой то к незыблемой твердыне материка, то к незримым льдам полюса, и было странно подумать, что эта ледовитая вода

несет сюда тепло и спасает край Европы от вечной мерзлоты.

На ходу шли учения — налетали торпедоносцы, атаковали подводные лодки и торпедные катера, стелились над океаном облака завес, много дыма и шума, но настоящая война была еще так близка, что я никак не мог заставить себя все принимать всерьез. Хотя я понимал, что это и есть боевые будни, в которых оттачивается оружие. Команда и все офицеры, занятые делом, ко всему относились с волнением, с ревностью заинтересованных в оценке людей и с озабоченностью профессионалов, я же чувствовал себя пассажиром.

Холод загнал меня в кают-компанию, где располагались другие пассажиры. Шел к концу обед. Я занял место против тощего, длинного капитана — офицера какого-то берегового штаба. На учениях он был представителем береговиков на командном пункте корабля. Мы уже миновали позиции береговых батарей, и он был свободен. Ел он не спеша, задумчиво рассматривал корабельных лейтенантов, выглядел суровым и малообщительным.

После обеда разговор зашел о северных делах и послевоенной жизни, и капитан с обидой заметил, что о Севере мало пишут.

— Только не пишите, что здесь рай земной, — вмешался юный лейтенант, сидящий в стороне.

— Что за странное предупреждение? — насторожился капитан.

— Ничего странного. Обычно корреспонденты пишут про огурцы и помидоры за Полярным кругом. А нам здесь служить. И между прочим, без помидоров.

— Не обращайте внимания на молодого старичка, — сказал капитан. — Помидоры и огурцы действительно растут за Полярным кругом.

— Да?! — с сарказмом подхватил лейтенант. — Только не для нас, корабелов. На берегу они, может быть, и есть. Вы знаете историю про огуречного майора?.. Был в Полярном в сорок втором году хозяйственник, интендант третьего ранга, так тогда называли. Приехал из Москвы большой начальник инспектировать базы и флот. Хозяйственник этот разжился корзиночкой и ловко упреждал начальство. В какую базу ни приедут — на столе огурцы. Начальник удивился. Хорошо, мол, живете, такой прелести и в Москве нет, откуда у вас это?.. А тот, с

корзиночкой, не растерялся. Говорит: выращиваем для флота... А у самого в корзиночке последний огурец. За одну поездку стравил весь урожай парников. Но майора ему потом дали. Так его на флоте и прозвали: огуречный майор...

Капитан эту историю знал, но ему не понравилось, что юноша рассказывает о ней приезжему. Он старался внушить, главным образом, мне, что северяне Заполярье любят. А лейтенанта все подмывало его поддеть.

— Полярное ваш любимый город? А ваша любимая песня «Прощай, любимый город»? — не очень остроумно, но психологически довольно метко изощрялся лейтенант, видя, что капитан уже в годах и на Севере давно; а долгая служба в Заполярье приводит и к любви, и к тоске.

И пошла баталия между двумя северянами — старым и молодым, береговиком и корабелом, баталия о романтике и быте, о времени военном и послевоенном, о естественном стремлении человека к теплу и о чувстве долга профессионала — моряка, обязанного служить там, куда его назначат. Оба спорящих были людьми войны, лейтенант тоже успел повоевать в матросах, но его раздражал назидательный тон капитана, его желчь, и он нарочно поддразнивал собеседника.

У столов опустело. Вестовые убирали белые скатерти, на диванах располагались пассажиры.

Вечером мы стали на якоре возле Иоканьги. Я вышел на палубу, освещенную медными лучами полуночного солнца. У леера, плотно засунув руки в карманы шинели, стоял капитан, он разглядывал серый, расцвеченный мхом берег. Мы молчали. Угрюмое место, о котором я знал много тяжелого, не располагало к рассуждениям.

— Вы думаете, я розово рисую северную жизнь? — внезапно заговорил капитан. — Я знаю ее не хуже этого лейтенанта. Двенадцать лет. Трудно тут жить, особенно с семьей. Не из-за климата. Больше — по вине нерадивых людей. Если тут, поймав свежую треску, просолят ее так, что в рот взять невозможно, — это страшнее, чем такое же происшествие в других широтах. Приходится есть соленую треску. До войны, представьте, в Мурманске зимой легче было купить виноград, чем в центре страны. Старожилы утверждают, что такие порядки ввел Сергей Миронович Киров. Он много занимался нуждами Хибин, Мон-

чегорска, Туломы. Во всяком случае, за семь лет службы на зимовках я ни в чем нужды не знал. Мы получали не только продукты и свежие овощи, но и новейшую литературу, кинофильмы вслед за Москвой. Значит, это возможно. Бездельник, конечно, скажет, что война попутала. Сейчас война ни при чем. Главсевморпуть заботится о своих зимовках по-прежнему. Мне обидно, что до сих пор в Москве не усвоили: шинель и обувь северянина изнашивается быстрее, чем на другом флоте. Обидно пачкой получать за полмесяца газеты, когда поезд в Мурманск и Архангельск приходит ежедневно. Но рай тут или не рай — я сам выбрал себе военную дорогу и не люблю, когда без конца зудят. Этот лейтенант — он добровольно пошел в училище, почему же он думал, что его обязательно назначат на Черное море? Я знаю, вы скажете, что он возражал мне больше из мальчишества. Может быть, я старею, но мне обидно, что в его годы я рвался в самые дальние места, в самые захолустные, только бы там что-нибудь строили, я на Север попал с трудом — не пускали, отказывали, — неужели он, вояка, в прошлом матрос, так быстро и так рано устал?.. Или ему безразлично, что там, на Большой земле, к нам, северянам, до сих пор относятся как к полярникам?.. Не те люди, которые определяют нормы носки обмундирования. Люди обыкновенные. Я ездил в отпуск, был в Москве у родных за Заставой Ильича, меня позвали в клуб, на завод, где работал отец, прихожу, смотрю, на афише написано: «Встреча с полярником»... Даже неудобно стало...

— Вот бы вы и рассказали об этом лейтенанту. Годы проходят, люди меняются, вы были в юности человеком восторженным, очевидно, открытым. У него другой характер, с этим надо считаться. Мне думается, и он понимает, что такое Север, какова его служба и даже каков лидер, на котором мы идем. Он просто иначе об этом говорит...

— Не знаю, возможно, и так. Может быть, мое раздражение связано с усталостью, я тоже устал. Но не так уж плох мой угрюмый Север. Мне нужно, чтобы это понимали все...

Был уже поздний час, наступал сумрак условной ночи, хотя солнце даже не заходило. Надвигался с океана туман, подгоняемый резким ветром. Капитан спохватился:

— Мы с вами заговорились, а погода меняется, сейчас

холодина схватит. В этой чертовой трубе всегда так задувает — мочи нет...

— Ну вот, капитан, и вы чертыхаетесь...

— Я — любя, по-свойски. Любя и высечь можно...

Мы пошли в кают-компанию устраиваться на ночлег на отведенных нам диванах.

Теплый город

На другой день под вечер, обогнув Кольский полуостров, мы миновали Кильдин и вошли в залив. Под защитой крутых утесов сразу стало спокойнее. Скованный берегами океанский ветер загудел в каменном коридоре, не в силах вздыбить волну и шелохнуть наш быстро идущий корабль. Команда заметно оживилась — близилась родная, хотя и недавно покинутая гавань. Все, кто мог выйти наверх, были на палубе. Люди с любовью разглядывали черные камни залива, исхоженного вдоль и поперек.

Коридор становился все уже, на палубу падали тени берегов: островки, мысы и бухты тесно обступали наш корабль. Острые скалы торчат на пути, изгибая фарватер и деля залив на множество русел. Гранит и гранит, черные бесформенные глыбы в пене наката и водоворотов — вся эта дикость обитаема, и на каждой такой скале своя жизнь. На иной галдели птицы, потревоженные любителем свежих яиц. Из хаоса другой скалы выглядывала железная крыша небольшого домика, то ли кистью маляра, то ли морем окрашенного под цвет мха. Над домиком неизменно торчит мачта радиоантенны, утверждающая связь этого одинокого гнезда со всем миром. В расщелинах, как в сказочных лагунах, болтались на привязи старые рыбачьи шлюпы, — кажется, вот-вот вздуются над ними паруса и обветренные, в широких зюйдвестках рыбаки поведут их из лагун в океан. Но на островах не видно было никаких зюйдвесток, у домиков стояли матросы в черных шинелях, приветствуя проходящий корабль.

— Неужели круглый год они живут на этих камнях?

— Живут, — подтвердил стоявший рядом офицер. — Служба у них такая. На Рыбачьем матросы, как орлы, устраиваются в скалах. На самых высоких утесах. Не всегда туда и доберешься...

— Между прочим, тут есть один любопытнейший старик, — сказал другой офицер. — Он живет на такой скале уже много лет. Монахом, кажется, был или ссыльным. Моряки давно его знают. Круглый год он один. А избушка у него маленькая, вот-вот ее сдует с камней. Не сдувает. Сарайчик у него там, шлюпка, парус. Он рыбак искусный, часто ходит в море. На столбе рядом с избушкой колокол на перекладине. Задует в полярную ночь пурга, в заливе слышно — бьет колокол. Словно маяк день и ночь бьет. Матросы, когда мимо проходят, обязательно стараются что-нибудь ему подбросить...

Корабль прижался к утесу высокого острова и сразу стал маленьким под нависшей громадой. Мы свернули с большой Мурманской дороги в Екатерининскую гавань, и впереди в объятиях скал открылся город, подобного которому нигде нет.

Я видел с моря Кронштадт — серые форты, как башни гигантского подводного корабля, лишенные береговой черты, часовыми стоят у подножья балтийской крепости; я видел Севастополь в ожерелье бульваров, господствующий над морем, как властелин. Это великие, веками созданные морские города с древними памятниками и древним обликом. Полярное выглядит как легендарный макет среди скал. Такими бывают за́мки на сцене, города в театральных декорациях, сжатые, выпуклые, предельно рельефные для человеческого глаза. Издалека показалось, что в тумане вечера возник мираж: вдруг среди черной воды и еще более черного берега из залива к небу поднялись гигантские ступени разноцветного гранита, сланца и камня — пестрые и радостные ступени жизни в безмолвной и мертвой окружающей природе.

Ночью — это лестница огней. Она напоминает Владивосток над бухтой Золотого Рога. Он так же поднимается от воды и кажется светящимся небоскребом. Только здесь недостает дальневосточного размаха, здесь по-северному все сомкнуто на малой площади, будто сжато торосами скал и облаков.

Ступени начинаются у воды, и первой служит каменная набережная, к которой направился наш корабль. Потом широким полетом к колоннам многоэтажного циркульного дома восходят лестницы. Овалом построенный длинный и высокий дом упирается в эти лестницы кор-

пусами, как ножками распахнутого циркуля, изображая ворота в Полярное.

Главная улица круто бежит от бухты и рассекает город пополам. В стороны от нее строго параллельно друг другу идут ответвления. Улица над улицей ярусами на вырубленных в скалах ступенях, и, когда смотришь с моря, ощущаешь объем затраченного труда.

С моря видишь, что у города нет продолжения, у него нет окрестностей. Его линии упираются в скалы, он весь вырублен в скале. Тут, действительно, раньше была скала, вернее восходящее от залива нагромождение крутых утесов, сморщенного гранита, тесных ущелий. Единственно удобное для жилья подножье было застроено несколькими деревянными зданиями биологической станции, — эти здания, как предыстория нового города, сохранились и теперь. Сама площадь, на которой построен город, создана искусственно. В течение года люди аммоналом выдолбили в скалах просторные террасы, создали плоскости и линии для будущих улиц. Обрывы остались только между улицами, и, чтобы сойти с одной ступени на другую не по созданному строителями спуску, нужна ловкость альпиниста...

— Вот мы и дома! — воскликнул кто-то на палубе, и этот возглас разрядил навеянное строгими тонами окружающего пейзажа настроение и возвестил приближение человеческого тепла.

Я сошел на берег и сразу же почувствовал приветливую, открытую душу этого города. Я встретил капитана 1 ранга, в прошлом жителя Москвы, Кронштадта, Севастополя, давно знакомого, но не близкого мне человека. В большом городе мы встретились бы на улице, приветливо поговорили и разошлись. Тут мы сразу стали друзьями, как становились малознакомые люди близкими при неожиданной встрече на фронте. Повеяло чем-то хорошим — фронтовым, когда он предложил свой кров, постель и горячую ванну перед сном, благо в Полярном, в доме, где он жил, был день горячей воды. Он пригласил меня в офицерский клуб, и в клубе была все та же в годы войны возникшая атмосфера гостеприимства. Я с радостью подумал, что люди в этом от природы мрачном месте не черствеют и жизненная строгость не подавляет их, быть может, это происходит потому, что даже после войны люди на Севере чувствуют себя людьми фронта. Они

не избалованы благами жизни и сами хорошо знают цену участию и товариществу.

Капитан 1 ранга жил один. Жена и двое сыновей на лето уехали под Киев, в пионерский лагерь северян. Со дня на день он ждал возвращения семьи. Он принял меня по-холостяцки, выставив на стол все, что имел. Тут были и печенье из дополнительного пайка, и два свежих помидора, и даже свежий огурец, доставленный другом, как он выразился, с юга.

Юг здесь — понятие условное. Соловки, где нормально вызревает капуста, — тоже юг. И Архангельск — юг: там на рынке есть картофель. Юг — это Ленинград. Юг — это Москва. Юг — это и Сухуми, где находится санаторий Северного флота. Огурец, предложенный гостю, был более близкого происхождения: из южных районов Кольского полуострова. Его привез человек, ездивший по делам службы на Печенгоникель. Всего два — три градуса широты разница, но там, к зависти жителей Полярного, хозяйственники более расторопны, чем в военной базе.

Наша трапеза тянулась недолго — капитан 1 ранга ушел на работу: он всегда работает ночами и лишь утром ложится спать. Но он сказал, что здесь, на Севере, ему легче стало смещать сон с ночи на день: и летом ночь похожа на день, а зимой день — это та же ночь.

Утром, когда он усталый пришел домой и разбудил меня, он обрадовался солнцу, как ребенок. Он распахнул дверь на балкон и впустил в комнату порыв ветра. Дул ветер в этом теплом городе, резкий ветер при стылом солнце. Но он стоял в кителе у открытой на балкон двери и говорил:

— Денек-то какой, теплый! Можно без шинели ходить. Какое было удачное лето — почти месяц ходили без шинели!

И верно: по улице шли в суконных кителях люди, держась солнечной стороны.

Он лег спать, мой гостеприимный хозяин. Кот Васька, жирный заполярный кот, которому даже негде вволю погулять, устроился у изголовья на солнышке, тоже наслаждаясь летом.

Я вышел на улицу и сразу продрог.

Возле дома на террасе над тесной полярной бухтой был местный «базар». Девочки в деревенских платках продавали чернику и морошку — сочную малину тундры.

Я спросил одну девочку, откуда она. Девочка ответила: из Пала-Губы, пришла рейсовым... Подходили женщины, мамаши, покупали стакан-другой ягод. Одна улыбнулась, сказала сыну: «Вот и витамин купили, пойдем, Вова»...

Был воскресный день. Много народа вышло на улицу. Редко пробегала машина — тут мало дорог и ездить особенно некуда. И матросы и адмиралы — все ходят пешком.

Я прошел в «парк культуры и отдыха», если можно так громко назвать уголок скалистой земли, отвоеванный для нескольких цветочных клумб, десяти скамеек сквера, детской и спортивной площадок. Расположить все на одном уровне не удалось. Футбольное поле находится ярусом ниже, в лощине, в плоскости бухты, в русле отведенного в сторону ручья. С трех сторон это бывшее русло зажато скалами, как стадион «Динамо» в Москве трибунами. С четвертой — высокая металлическая сетка, отгораживающая стадион от залива. Но, как ни высока эта сетка, — северным футболистам приходится соразмерять удары по мячу, чтобы не отправить его в «морской аут».

На стадионе шел футбольный матч. Зрители разместились на склонах скал, стоя и сидя на травке: травка высеяна по земле, искусственно сюда нанесенной. На обрыве местная «правительственная ложа» — похожий на павильон автобусной станции балкончик. И, поверьте, зрители на скалах-трибунах «болели» так же горячо за каждую из команд, как «болеют» на столичном стадионе поклонники «Спартака» или «Торпедо».

Этажом выше шли баскетбольные состязания. Майки и трусы не подходили для строгого полярного дня. Судьи, сидевшие за столиками, были одеты в теплые кителя и фланелевые спортивные брюки. Но спортсмены не мерзли, они играли с азартом; восхищение вызывал длинноногий матрос, шутя опускавший баскетбольный мяч в сетку противника.

Я спросил одного из зрителей, почему здесь не играют в волейбол. Он ответил:

— Волейбольную площадку командующий приказал отдать детям.

Рядом, за изгородью, в ящике с песком, как на каком-нибудь московском бульваре, копошились дети города Полярного, одетые в летние шубки. Дети здесь ни одного

дня в году не ходят без пальто. И не всем хватает мест в пионерском лагере под Киевом. Приходится устраивать ребятишек поудобнее у себя дома, на скалах.

Меня не удивило, что устройством площадки для детей интересовался сам командующий. Таков быт этого города, где нет парков, нет лишней земли, и детская площадка становится проблемой. Здесь всегда люди помнят, что вершок плоскости на скалах стоил большого труда, и новичку стараются это объяснить. Новичку рассказывают, насколько необычен новый город, построенный там, где природа запретила его строить. Новичка посвящают в тайну рождения города, чтобы он понял, как высоко надо ценить все, что тут есть: и водопровод, и электрический свет, и редкие ванны только в циркульном доме, и все другие скудные удобства жизни. Поэтому, сколько люди ни живут в Полярном, они считают себя не вправе забыть его прошлое.

Да, именно тепло — в этом свойство города шестьдесят девятой параллели. Здесь все живут друг у друга на виду, тесно, бок о бок, как в окопах на фронте, — вместе коротают долгую вьюжную ночь, переживают и бури и ненастья заполярного года, поддерживая друг друга сердечностью и теплом.

«Теплый город» — говорили про эту северную столицу в годы войны. Как ни парадоксально звучит такое определение, но чем холоднее задувала в нем пурга, тем ярче разгорался людской огонек. Когда наступает ночь, жители Полярного невольно стремятся друг к другу, жизнь города становится похожей на жизнь корабля.

Так было в годы войны. Если в море уходила подводная лодка, об этом могли не знать все жители в таком большом городе, как Кронштадт. Но в Полярном это немыслимо было скрыть. Тайну знали не только подводники, люди живут здесь одной семьей. Лодка могла уйти незаметно, но в тот вечер ее командира уже не видели в клубе, а каждый знает, что он не будет отсиживаться дома, как бирюк. Значит, бродит он где-то в океанской мгле, зная, что в Полярном все думают о нем, ждут его возвращения и желают ему победы. И если, бывало, прогремит над гаванью артиллерийский салют, даже ребенок поймет, что произошло: вернулся подводник с победой, он жив, потому что мертвыми в этот город из океана не возвращаются. Его ждут, бывало, в том же клубе, куда

неизбежно придет всякий, кто вернулся из похода, чтобы поделиться с друзьями и радостью и бедой.

Так было в годы войны — дружно жили в этом городе. Тут помнят адмирала, который каждый вечер, как бы он ни был занят, проходил пешком по улицам Полярного, поднимался на высокое крыльцо Дома Флота, обозревая, как хозяин, бухту, заходил в клуб к офицерам, чтобы с одним сыграть в бильярд, с другим обменяться добрым словом, поздороваться с гостем или поговорить с приезжим островитянином. Это свойственный Полярному стиль, стиль молодости, молодости во всем. Молодой флот, молодой дух и молодые обычаи.

С вами могут заговорить на улице и просто спросить:

— Нравится вам наш город?

— Хороший наш город, — сказал мне случайный собеседник в воскресный день на сквере перед штабом, — только уберечь его надо, чтобы не потускнел. Войну пережили, от бомб уберегли. Нужны теперь хорошие руки. Знаете, до войны на лестницах перед циркульным домом стояли кадки с цветами. Отчего бы им снова не быть? Раньше этим занимались женщины. Ну, война, мы были без семей. Теперь жены снова с нами. Отчего бы теперь им этим не заняться?

С кем ни заговоришь, слышишь одно: не дать городу потускнеть, постареть, надо сохранить его молодость.

Если в Доме Флота идет старый рваный фильм, житель Полярного говорит: «Этого никогда не было во время войны». Если в учреждении появляется холодный, равнодушный человек, на него смотрят с неприязнью: «Тут и так холодно». Жителю Полярного, истинному гражданину этого северного города, больно видеть облезлую штукатурку в подъезде дома, потому что в этом он чувствует угрозу молодости города, покушение на весь затраченный труд. Он отстоял этот город в штормах войны. Он наполнил его теплом. И он не даст его в обиду. Это новый город, теплый город, и он будет вечно теплым и молодым.

Каботажный рейс

Вторимый скалами басистый гудок возвестил, что в гавани — гражданское судно. Каждого жителя этого далекого заполярного города невольно тянет к окну, когда

в бухту входит корабль. Со всех этажей города видна тесная бухта и горбатый остров против набережной.

На фоне мутного неба и черных вод сверкнул белый однотрубный пароход. Он обогнул остров и ошвартовался рядом с похожим на расплющенную галошу допотопным буксиром линии Мурманск — Полярное, про который толкуют, что еще в прошлом веке он верой и правдой служил на Белом море соловецким монахам.

— «Державин» пришел, рейсовый!

К причалу стали спускаться люди. На набережной сутолока: рейсовый приходит раз в три дня и собирает немало пассажиров, которым нужно попасть в бухты западного побережья моря Баренца.

Для всего этого побережья Полярное — центр тяготения, своеобразная столица. Как в Севастополе каждый в какой-то степени связан с флотом, как в Кронштадте интересы жителей тесно переплетаются с жизнью военных моряков, так и тут, на Севере, все население, даже гражданское, считает море и флот кровным делом.

Флот действительно вдохнул жизнь в этот край. После прихода на Север военных кораблей бухты Заполярья преобразились. Вместе с военным городом вырос и соседний гражданский, ныне в обиходе именуемый Старым Полярным — в прошлом чахлый поселок Александровск, о котором раньше писали, что для его развития нет никаких перспектив. Териберка, Кувшинка, Титовка — все эти бывшие стойбища вместе с Печенгой входят в Полярный избирательный округ; здесь насчитывается немало населения — не только рыбаки-поморы, но и множество поселенцев с юга. Многие военные моряки после демобилизации остались тут с семьями.

«Державин» — новый пароход на заполярной линии. Он начал ходить по этому маршруту летом, и для всех жителей западных бухт его появление стало праздником.

...Двое солдат в зеленых фуражках проверяли у трапа пропуска в пограничную зону.

— Артистов, артистов пропустите! — суетился рыжеватый матросик, расчищая дорогу команде своих товарищей.

Пассажиры благосклонно пропустили команду вперед — навьюченные чемоданами, аккордеонами и всевозможными струнными инструментами, матросы полностью

завладели кормой. Это возвращались в свои гарнизоны участники концерта самодеятельности.

Я не ожидал, что на судне, обслуживающем такую далекую линию, не окажется свободных мест: каюты всех классов были проданы еще в Мурманске. Капитан сказал, что линия, хотя и окраинная, но всегда загружена пассажирами; в Печенге строится никелевый комбинат, и туда со всех северных и несеверных городов валом идет народ.

«Державин» шел по новой линии заполярного каботажного плавания. Сам маршрут Мурманск — Печенга напоминал о минувших боях.

В годы войны путь на запад ограничивался полуостровами Рыбачий и Средний, где хребет Муста-Тунтури служил государственной границей и рубежом правого фланга фронта. Дальше шли только ради боя, ради встречи с врагом: либо на его коммуникации, на перекресток путей воюющих держав — к Петсамо и Киркенесу, в тыл немцам в норвежские фиорды, либо в конвой заморских и своих караванов — на дальнюю океанскую дорогу между Архангельском, Мурманском и Англией.

Рыбачий стоял у этого перекрестка часовым. Против него разыгрывались невиданные бои. В глубинах неприветного моря бродили наши и немецкие лодки. Из скрытых в гранитном побережье ущелий стаями выбегали торпедные катера и охотники, сотни самолетов с обеих сторон поднимались на перехват океанского пути.

Почти всем матросам нашего парохода этот путь был хорошо знаком. Но война ушла в прошлое. Строительство Заполярного края стало первоочередным делом. Большие пароходы пошли в бухты западного побережья. По этому маршруту направлялся и «Державин». Иначе ныне выглядел знакомый мне путь. На причалах бухт сейчас множество женщин, детей, рыбачьи шхуны болтаются у пирсов, бригады ловцов возвращаются с добычи трески, селедки и морского окуня. В каждой бухте пароход оставлял почту, кинокартины, пассажиров и грузы. Люди каких только специальностей не шли на судне! Педагоги из Ленинградского института в школы Заполярья; геологи из Москвы — для изучения свинцовых руд нового района; плотники, трубоклады, верхолазы, печники — весь этот люд послевоенного рейса смешался с матросами и солдатами; находились земляки, друзья по фронтам — среди пассажиров много участников войны, недавно снявших

погоны. Мастер электропечи с Уральского медеплавильного завода расспрашивал матросов о здешнем климате: он спешил на никелевый комбинат до пуска печей, чтобы предварительно познакомиться с предприятием, где работать. Морской пехотинец, возвращавшийся из отпуска, демонстрировал пассажирам свои широкие флотские брюки, уверяя, что они обошли весь Советский Союз: этими брюками пользовались поочередно все солдаты-отпускники его батальона, каждому хотелось съездить на родину в форме моряка.

Мы направились к выходу из Кольского залива и от Кильдина повернули налево. Дул сильный ветер в открытом море, высокий неустойчивый пароход изрядно мотало. С кормы доносились слабые звуки музыки и отголоски смеха, заглушаемые морем. Я прошел туда.

Толпа пассажиров окружила на корме «артистов», которые сели в Полярном. Шел импровизированный концерт. Все, что я видел накануне на сцене клуба в исполнении этих же матросов, блекло перед этим концертом. Тут не было ни конферанса, ни ведущего. Плясун — матрос с Рыбачьего — выбрасывал немыслимые коленца; палуба не только у него, но у всех у нас ходила под ногами, приходилось держаться друг за друга, чтобы ветер не снес за борт; плясуну это не помешало исполнить и «русскую» и «гопака». Его сменил певец, затянувший во всю силу легких «Застольную». Потом выскочила пара бойцов из бригады морской пехоты, освобождавшей Печенгу, и один из них, стаскивая сапоги с другого, стал изображать встречу Яшки-артиллериста с дидом из «Свадьбы в Малиновке»: эту пару любят в заполярных гарнизонах. Концерт продолжался долго. Его прервал только приход на рейд порта Владимир.

В узкой продолговатой бухте «Державин» бросил якорь. От берега подошел бот. С разных сторон к нам устремились шлюпки.

— Картину привезли? — кричали снизу. — А газетки свежей нет?..

В штормовые зимние ночи не всегда удается судну зайти в бухту: сложна зимой навигация в Заполярье, трудно поддерживать нормальную связь между селениями.

С парохода выгрузили мотки электропровода и какие-то научные инструменты. Мы уже выбрали якорь и на-

правились к выходу из бухты, когда слева от утеса, наперерез курсу отвалила шлюпка.

На левом борту столпились пассажиры. Капитан чуть придержал ход, идя навстречу этой шлюпке на малом. Какой-то пассажир решил, наверно, добраться на судно наикратчайшим путем: вместо того чтобы берегом идти к причалу и оттуда на мотоботе, — он резал нам дорогу напрямик от своего дома.

Шлюпка подошла к борту. Пароход застопорил машины. Бросили шторм-трап. Все пассажиры приняли живейшее участие в этой маленькой посадке: на шлюпке одним из двух гребцов была девушка. Модно причесанная и по-городскому одетая, она удивляла в суровой заполярной бухте. Она расцеловала спутника — рослого офицера-пограничника, помогла ему взобраться по шторм-трапу на борт, подала чемодан и, сильными гребками отведя шлюпку в сторону, некоторое время провожала наше судно.

— Возвращайся скорей, встречать буду! — донеслось до нас снизу, и все мы помахали ей фуражками.

Новый пассажир смешался с толпой, вскоре о нем забыли: на ящик на корме опять взобрался Яшка-артиллерист и стал стаскивать с дида сапоги.

Под вечер мы зашли в Мотовский залив. На корме все стихло.

Справа потянулся Рыбачий, слева — берега, где стояли немцы, берега, мимо которых в годы войны каждый корабль старался побыстрее проскочить. Я прошел на мостик.

Капитан Алексеев, северянин, воспитанник архангельского морского техникума, исходивший все эти места в годы войны на буксирах, сказал, что каждый раз, когда он входит в Мотовский залив, наступает торжественная тишина на пароходе. Для каждого северянина Рыбачий окутан ореолом легенды, и всегда моряку есть что вспомнить. Сыплются названия, воскрешающие страницы войны — Могильный, Пикшуев, «берег недорезанных фрицев», высота «Яйцо».

Возле старпома стоял белобрысый мальчишка лет десяти, его сын, взятый отцом в рейс. Он пожирал глазами берег и весь вытянулся, когда отец сказал:

— Тут твой батька высаживал десант. Видишь, Юрка,

высотку? Там немецкие пушки стояли. Так спокойно, бывало, не пройдешь...

Щеки мальчишки пылали от волнения, он уцепился за обвес и горящими глазами впился в пустынный скалистый берег.

— Моряком будет? — спросил я отца.

— Моя бы воля — ни за что, — сказал старпом. — Не ласкова наша морская жизнь. Да не изменишь. Мы уже отравленные: третье поколение в море...

Мы прошли по губе Кутовой в Титовку. Свайная пристань, недоступная для нас в годы войны, стояла под самой скалой. Вверх от нее по берегу губы вьется горная дорога. Это была та прифронтовая трасса немецкой группы «Норд», которую пушки Рыбачьего держали под огнем. За холмом эта дорога разветвляется: на Мурманск, Печенгу и на Муста-Тунтури.

— В Озерко пойдешь, капитан? — кричали снизу.

— Нет, прямо в Печенгу...

Пассажиры, которым нужно было на Рыбачий, сошли: им предстоял далекий путь через гранитный хребет на полуостров. «Державин» не мог в этот час пройти к гавани Восточного Озерка: был час отлива, и море обнажило километры песчаного дна.

Мы снова вышли в открытое море, обходя угрюмые берега полуострова.

Было уже темно, когда пароход миновал берег Матти-Вуоно слева и два мыса против старых позиций Поночевного справа — Нууро-Ниеми и Риста-Ниеми, прозванных сигнальщиками «Нюра не ела» и «Христя не ела», за что им всегда попадало от командира. Мы ошвартовались у причала Печенгской гавани в порту Лиинахамари. Капитан разрешил остаться на «Державине» до утра.

Несколько позже я встретил людей, редко упоминавшихся во время войны: это были офицеры, служившие на острове Диксон и на сторожевиках, которые воевали в Карском море. Оператор Константин Иванович Стёпин, высокий худой капитан-лейтенант был в годы войны артиллеристом на ледокольном пароходе «Дежнев», превращенном в сторожевой корабль № 19. Это его орудия осмелились открыть огонь по германскому рейдеру «Адмирал Шеер», когда тот подошел к Диксону, сжег радиостанцию и сунулся было в порт. Диксон, Карское море, гибель парохода «Сибиряков», пиратство «Ше-

ера» — это страницы большой океанской войны в высоких широтах, все еще неизвестные читателю.

Утром в финском домике я встретил старых знакомых с полуостровов — командира бригады Алексея Максимовича Крылова, возле штаба которого на полуострове Среднем я когда-то привязывал к коновязи оседланную Треску, и бывшего командира правофланговой роты Ивана Ребристого. Крылов уже стал генералом, Ребристый — капитаном. У Крылова я увидел кусок руды: его подарил своему командиру матрос, бывший и будущий геолог, он поднял эту руду в горах Муста-Тунтури, наступая на Лиинахамари и Печенгоникель. Алексей Николаевич не знал, куда подался этот матрос после военной службы, может быть, он работал на Печенгоникеле, где осталось немало бывших моряков восстанавливать разрушенные немцами рудники и никелевый комбинат.

1946 год. Заполярье

Над океаном

С капитаном Дикаревым, командиром автороты, мы поехали на Рыбачий. Дикарев четыре года служил там. Он повез меня на полуторке по немецкому стратегическому шоссе, построенному в годы войны в горах руками наших военнопленных. Это — путь через бывшую линию фронта или, как сказали бы во время войны, со стороны противника. Пустынная, теперь никому не нужная дорога из гранита и щебня петляла меж болот и холодных озер, по склонам сопок и скал от Печенги до бывшего переднего края немецкой группировки «Норд». На всем пути мы не встретили деревца ростом выше десяти сантиметров. Веяло холодом и могильной тишиной. Спокойные темные и прозрачные воды горных озер словно влиты в гранитные чаши. Где-то на дне этих чаш бьют ледяные ключи. В долины из озер падают ручьи. Исковерканные пушки, машины, танки, гигантские снегоочистители, штабеля неиспользованных снарядов — все, что давно убрано с фронтовых дорог запада и юга, здесь еще лежало как на военном кладбище.

Ближе к Тунтури начинались мертвые биваки фашистских частей, выдолбленные в скалах тоннели, каменные крепости и городки.

— Как немцы закопались! — сказал я Дикареву. — И дороги, и укрытия — лучше наших.

— Да. Лучше. Только всё на костях. Не они строили.

На гребне хребта Дикарев остановил машину у могилы наших танкистов. В стороне лежала перевернутая башня танка. Это — первая потеря гарнизона Рыбачьего на пути через Муста-Тунтури. На табличке написаны имена: «Сергей Федулов и Михаил Уляшев».

Внизу — узкие перешейки, подступившие к ним с двух сторон воды заливов и те самые полуострова.

— Узнаете места? — спросил Дикарев. — Вон там, по-моему, был командный пункт бригады. А за бугром — тылы, там всегда хлеб пекли... А там я укрывался, когда обстреливали... когда снаряды возил...

Мы переглянулись, и оба поняли трагический смысл воспоминаний: подумайте, ведь мы стояли на позициях немецких батарей. Они тоже все это видели. Так же четко, как видим мы. Видели, но не прошли.

Наверх эти десять километров мы одолевали три часа. Спускаться легче, но дорога была плохая.

Был час отлива. Дикарев вспомнил старину и поехал по любимому пути шоферов во время войны, по мокрому песку.

Мы поднялись к землянке по огороженной стальным тросом тропе. В этой землянке над Восточным Озерком теперь жил Поночевный. Он был самым главным на полуостровах. Вестовой сказал, что он занят сейчас личными делами. Я прошел за землянку и увидел Федора Мефодьевича на вершине лестницы, прислоненной к срубу: он орудовал топором, строя первую на полуострове хату. Не век же в землянках жить. Тем более что Поночевный уже был женат, жену с сыном он отправил пока в Гатчину, собирался скоро привезти ее сюда на новоселье.

Я спросил Поночевного, где питомцы батареи, его знаменитая «живность» — зайцы, кошки, собака.

— Теперь собак не держим. Кроликов развожу. Обеспечиваем себя мясом на зиму.

Но говорил он об этом уже без энтузиазма. Его волновало другое:

— Эх, жалко, сына нет, показал бы вам. — Он покрутил трубку полевого аппарата и прежним, тех времен напряженным голосом сказал: — Вы будете своему командиру отвечать? Дайте сорок пятый! Бутранов? Здрав-

ствуй, Поночевный говорит. Тут у меня гость из Москвы, у тебя оказии нет? У вас там карточка моего Валерика. Показать надо...

Карточка сына ходила по батареям. На батареях по-прежнему любили капитана, а заодно — и всю его семью.

Мы поехали на гранитный утес над океаном, где стояла одна из подчиненных Поночевному батарей. Ее пушки, укрытые в капонирах, смотрели в Баренцево море.

День и ночь там шумит прибой и дует резкий ветер. Даже в августовские дни ветры рвались туда со всех сторон, и, откуда бы они ни примчались, они дышали стужей и льдом. Осенью, зимой и весной — почти круглый год с моря, с неба и с земли там хлещет пурга, и вся местность тонет в снегу. Батарейцам иногда приходилось, проснувшись, откапывать себя из-под сугробов. Летом — заряды мелкого пронизывающего дождя и бесконечные туманы.

И вот здесь, над океаном, у сверхсрочника Николая Петровича Кондратьева родился сын. Андрей Гаврилович Лазарев, вологодский плотник и столяр, душа батареи, утешал Кондратьева:

— Ты же сам тут глаза обморозил. Теперь сыну все нипочем.

Лазарев построил Кондратьеву такую землянку — сухую, теплую, каких не было здесь никогда. И баню построил — четыре стены из торфа и навес. В углу — куча камней, на камнях вместо котла донная часть шаровой мины, подвели туда воду из ручья, бросали в котел раскаленные камни и водой этой мылись. Воду льешь — тепло. Перестанешь лить — знобит...

Лазарев отслужил свое и ушел, а молодые матросы добром поминали вологодского плотника. Война кончилась, но не кончилась военная служба. Они знали — надо служить, надо день и ночь смотреть за океаном.

1945 год. Заполярье

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФАРВАТЕР

Вижу Каллбоду

Наконец-то осуществилось: сегодня пойдем на Каллбоду.

Впервые я услышал это название от Александра Маринеско — возле маяка Каллбода его «малютка» потопила транспорт. Еще в сорок втором году, уточняя по лоции маршрут «малютки», я записал на страничке фронтового дневника: «Маяк Порккалан Каллбода (59°52′ северной широты, 24°18′ восточной долготы) установлен на скале, лежащей на мели Порккалан Каллбода. Вид маяка: башня с восьмигранным фонарем на углу двухэтажного бетонного жилого дома. Высота маяка 20,4 метра; высота огня 21,4 метра от уровня моря». Скала, на которой стоит маяк, повествовала лоция, находится в северо-западной части скалистой мели, имеющей подводную и надводную длину в одну милю и ширину в полмили. Мель окружена банками и бурунами. Над водой скала возвышается всего на 2,4 метра...

В войну маяк был в водах противника, да и вообще маяки не светили. Кроме камней, вокруг которых вскипала вода, подводных банок и неограждаемых знаками мелей на подходах к Каллбоде надо было преодолеть четыре линии плотных минных полей. Писать о том, как балтийская «малютка» их форсировала, подстерегала там фашистский караван, произвела торпедный залп и, потопив военное судно, успешно скрылась от преследования, было нельзя; нельзя было даже упоминать о существовании «М-96», «малютки» Маринеско. Так что запись о Каллбоде особого интереса в то время для меня не представляла, и вскоре она затерялась среди всяких иных записей времен войны.

Но вот в сорок четвертом году Финляндия вышла из войны. Карту нового арендного района, как приложение к договору двух правительств, напечатали центральные газеты — точно как в сороковом году карту Гангута. Порккала-Удд временно стал нашей военной базой, и снова вспомнилась Каллбода. Мимо нее, когда кончилась война, прошел международный фарватер, Каллбода зажгла огни для мореплавателей всех стран. Тянуло туда, но не случалось повода пойти, и только в пятьдесят четвертом году, уже в штатском костюме, вооруженный блокнотами, фотоаппаратом и специальным пропуском в зарубежный гарнизон, я отправился на «ПОК-44» из Таллина «на ту сторону».

«ПОК» — это посыльный корабль, перестроенный из рыбацкого судна, с трубой камбуза на носу и с запасом дров для камбуза на корме, с мачтой для парусов, но без парусов — их за ненадобностью сдали на склады, потому что суденышко стало военным и подняло Военно-морской флаг. В команде всего девять человек, четверо через месяц должны демобилизоваться, и хотя их мысли были уже там, на Родине, они больше других на катере были озабочены судьбой «юнги Юры». Пока мы болтались в Таллине в ожидании разрешения на выход в море, я только и слышал про этого «юнгу Юру», который вот уже третьи сутки гоняет по Порккала-Удду без присмотра, и даже «сам Бургаров» ему не указ. А ему бы сейчас за книжками сидеть — в сентябре поступать в шестой класс. Матери у парня нет, отец — алкоголик, вот и сбежал Юра к морякам, пригрелся в команде и лето плавал на катере. Пристроить бы его в школу юнг или в нахимовское определить, но зачем же парню предопределять судьбу. Время не военное и не сиротское, пусть лучше идет, как все, и, когда настанет срок, выберет себе дорогу сам. А если сорвется и потеряет год? Как тогда?

В запас уходили самые степенные, оставалась молодежь, птенцы, уходящие к ним придирались — мало, мол, тепла к юнге. Наверно, кое-кто в команде считал, что мальчишку все же надо вернуть к отцу. А может быть, и не было таких черствых. Когда мы вышли из гавани, рулевой Глотов — тоже из демобилизуемых, повертел длинной шеей и сказал, кого-то передразнивая:

— Бабушка, ох, я тебя съем... Знаете, что это такое? Первые слова, которые услышал Юрка по радио, когда

я его в каюту завел. Темно там было, я его спрятал от вас, товарищ лейтенант, а трансляцию не вырубил. И сразу голос в темноте. Да еще чтец, подлюга, натуральный, из народных, что ли... Ну, малый и заплакал...

Лейтенант Алексей Шилов, командир корабля, семь лет прослуживший до своего лейтенантства матросом, сказал:

— Никого ты от меня не прятал, Глотов, не дуди. Я тебя всю службу насквозь видел. Ждет тебя твой Юрка на пирсе. Что ты, что он — пройдохи...

Рулевой не отрывался от горизонта, но, очевидно, ему мешали на носу лейтенант-летчик с женой и дочкой, пассажиры. Дочка играла с ободранной куклой, Глотов хмурился и ворчал...

Мы долго пересекали Финский залив, потому что ход у катера небольшой. Светило солнце, дул холодный осенний ветер. Шли встречные корабли. Обгоняли попутные. Поворотный буй означал, что мы уже вышли на международный фарватер. Длинными галсами по нему сновали тральщики-стотонники, и это напоминало про знаменитый «суп с клецками» — прозвище, набившее оскомину, но точное для вод залива, начиненных в войну десятками тысяч всевозможных мин. Хотя залив чистили уже много лет и фарватер давно был проверен и открыт, но корабли Балтфлота продолжали контрольное траление. Навстречу полз пузатый иностранец,— флага я не разобрал; позади него тоже шел тральщик, только короткими галсами, словно проверяя тралом след: за этот фарватер отвечаем мы, и страховка в таком деле не вредна.

Замаячила впереди пограничная веха, потом показалась и черно-белая башня маяка на острове Рёншер, а слева по курсу — красная точка. Скала. Это уже арендный район Порккала-Удд, конспиративно называемый оперативными дежурными в таллинском порту «той стороной», как будто у нас на «той стороне» есть и другая гавань.

Я не сразу разглядел в море темную скалу с багровым наростом на ней. Разглядев, навел бинокль и понял: это тоже маяк, ближе Рёншера. Шилов, усмехаясь, сказал:

— Каллбода. Порккальская тюрьма.

Так я снова услышал это название. Конечно, не тюрьма. Просто трудное, а может быть, гиблое место. Но от него невозможно оторвать глаз.

— Жутко и романтично, — сказал я. — Скала, вода, дом с башней.

— Романтично? — повторил Шилов. — А вы бы махнули туда, а?.. Зимой торосы до верхнего этажа. Не сразу найдешь. Тоска. Была у них собака, Боцман. Волкодав. Утопилась в полынье...

Я молчал. Мы шли медленнее, лавируя в шхерах, мимо горбатых островков с сигнальными вышками над сосняком и обломков скал, оседланных терпеливыми рыболовами. Лейтенант Шилов, наверно, жалел, что походя меня обидел. Он снова заговорил:

— Генка Кондратьев, лейтенант, тоже твердил: романтично. Условия, говорит, там подходящие для работы над собой. Можно, говорит, экстерном сдать на штурмана. Симочка ему поперек горла стала — вот он и подался на скалу. Пока насчет диплома не слышно, а фитили огребает за всякие ЧП. — Шилов искоса посмотрел на меня, словно ожидал вопроса, ухмыльнулся и сказал: — Симочку не знаете?.. Оторвались от флота. Всей Балтике осточертела, не только Генке Кондратьеву...

Тут крылась какая-то шутка, а мне было лень шутить. Я промолчал. Так мы молча стояли до бухты Ботвик, где нас на причале действительно ждал юнга Юра...

В Порккала-Удде меня ждали чудеса, которые ныне, спустя годы, перестали быть чудесами; район этот давно возвращен Финляндии, и самой базы уже не существует, но тогда никто в гарнизоне не думал, что мы через год из этой базы уйдем. Все было окружено само собою разумеющейся тайной, исключающей запись в блокноте и фотографирование: смотри, удивляйся, молчи, запоминай, а еще лучше — забудь. Я смотрел лишь на то, что мне показывали, и ездил туда, куда приглашали. Но в памяти многое осталось: гигантские ярко-красные автоцистерны, подобные тем, что ныне заправляют реактивные лайнеры где-либо в Шереметьеве; рельсовые пути, уходящие от самого прибоя в глубь скалы, в сводчатый, освещенный цепочкой лампочек долгий коридор; подземные, вернее, подскальные залы электростанции, пожалуй не пробиваемые никакой супербомбой; да и сам причал в Ботвике.

Много солдатского и матросского труда было во все это вложено, и хоть краем глаза, но я видел этот труд: видел, как строили причалы по колено в грязи и в воде; видел, как ставили на островах дома и вышки, видел, как бурили гранит, отслаивали плиты и складывали из них брустверы там, где нужно было их складывать; видел ра-

боту солдат-строителей и работу матросов, строящих для себя; никто, конечно, не выпячивал перед приезжим своей работы, служба есть служба, а если и заговаривали о ее тяжести, то обязательно с иронией и по поводу какого-либо смешного происшествия.

Я был на стадионе в воскресный день, когда две команды — с бронекатеров и с тральщиков — состязались в футбол. На флоте вообще обожают спорт, а в Порккала-Удде почитали особенно, потому что именно в этой базе служил сам Владимир Куц, матросом служил на батарее, и бегать он начал тут по скальным дорогам с поручениями своего командира, обгоняя автобусы и всякий прочий транспорт. На стадионе все было, как на всех стадионах: «Судью на мыло!», «Сапожники!» Но было и свое, местное: «Давай, давай, зятек!» — это о правом нападающем, который когда-то начинал неплохим моряком, но вот породнился с одним из начальников и вышел «зятьком» на спортивный небосклон; он был местный «кумир на полтора часа»: игру «зятька» ценили, но ревностных и верных болельщиков он не приобрел. Состязание шло с переменным успехом, страсти накалялись, но вдруг всех болельщиков сдуло с самодельных трибун: точно так исчезали с палубы одного балтийского корабля все до единого матросы, когда по ней шагал грозный, всему флоту известный старпом. Игра продолжалась, но на трибунах был только один болельщик, машина которого притормозила возле стадиона: сам Бургаров.

Матросы везде и всюду любят судачить о комендантах и всегда склонны к преувеличению, а тут, о чем бы ни шел разговор — о книгах, о кинофильмах, о виденном на войне, где бы ни происходили встречи — на островах, на батареях, на катерах, даже на рыбалке, когда я запутал друзьям с бронекатеров все нитки их спиннингов, — всякий раз я слышал одно и то же: «Напишите комедию о Бургарове». Даже заглавие придумали: «Принципиальный Бургаров»; даже сюжет подсказывали под рокот и общий смех: историю о том, как комендант был коварно «испытан на принципиальность». Он запретил женщинам базы появляться в районе станции Киркконумми — административном центре базы — без паспортов и поставил на бойком перекрестке против магазина своего помощника с патрульными; помощник, человек, неглупый, вместе с другими нарушительницами перехватил и жену самого коменданта,

продержал ее «до выяснения личности» на гауптвахте и после разбора остальных подобных дел и «принятия по ним решений» доложил самому, что некая, мол, особа «выдает себя за вашу супругу»; пришлось коменданту отправить на гауптвахту и собственную жену. За всеми этими рассказами, помимо традиционных матросских преувеличений, было и чувство ущемленного личного достоинства. Уж слишком усердствовал порккала-уддский комендант, а база окружена водами залива и регулярно перепахиваемой и боронуемой контрольно-следовой полосой на суше, уволиться хоть на денек с этих скал некуда, комендант, конечно, по справедливости говоря, не главноуговаривающий и не классная дама, но надо же и сочувствие иметь...

Так путешествовал я по материку, бухтам и островам Порккала-Удда, записывая всякие сюжеты, происшествия, истории и острые придумки, вроде таких, как «Гадкий утенок» — название, присвоенное матросами столовой «Белый лебедь» после запрета там спиртного. Глотнул романтики досыта. Но Каллбода не давала покоя.

— Чего вы там не видали? Скала как скала... На Рыбачьем в войну сносовцы жили в орлиных гнездах...

О Каллбоде говорили то с уважением, то с усмешкой, то с предостережением, а то и со злостью.

Киномеханик в клубе сказал, что командировка на эту скалу — самое распроклятое дело: пойдешь на один сеанс, а пропадешь на неделю. Конечно, накормят, даже напоить могут, только курить не дадут — нет у них курева. А потом начнут крутить лучшие произведения отечественной кинопромышленности задом наперед. Кому за это от политотдела фитили получать — киномеханику. Ну их к дьяволу, лучше туда не ходить...

В поликлинике на станции Киркконумми милая женщина врач-стоматолог, лейтенант медицинской службы, утверждала, будто на скале собрались одни ловеласы. Ребята, в общем, хорошие, благодаря им она оморячилась, но ухо надо держать востро.

Один мрачный дядя уверял, что там народ отпетый и спекулирует на трудностях. Генерал к ним благоволит. А они этим пользуются. Подводят людей, добросовестно исполняющих свои обязанности. Вот он — человек дисциплинированный. Приказано провести инвентаризацию литературы. Не тут придумано, не тут отменять. Забрал книги для переучета. А они нажаловались генералу.

Оставили, мол, их без культурной пищи на неделю — две. Можно подумать, что там заняты не боевой службой, а изучением художественной литературы. Генерал, конечно, за них горой. Накостылял. За что?..

Все это лишь разжигало стремление попасть на скалу. Туда требовался особый пропуск и особая оказия. Я ждал в тридцать первой каюте на борту «Софии», читая то «Дорогу на океан» Леонова, отчего не становилось веселее, то «Роб-Роя» — это уже полегче, хотя полагалось бы проштудировать обзоры внутриполитического состояния страны, возле столицы которой мы находились, и переводы заметок и статей из финских газет.

Уже не впервые я попадал к границам Финляндии, этой сложной страны, где были и Маннергейм, и шюцкоры, и всякие «лотты», но где люди нам не враги, люди труженики, которых со всех сторон пугают огромным и сильным соседом; приезжал туда в те годы и Генри Форд, приходили американские эсминцы — наши недавние союзники, зачем-то носили цветы на могилу Маннергейма: но в общем-то и Генри Форд, и поклонники шюцкора вряд ли могли помешать тому, что газеты называли «потеплением», взаимным потеплением — мы с наслаждением читали в те дни книгу Лассилы, переведенную Михаилом Зощенко, и по другим книгам узнавали заново страну, с которой недавно воевали,— гарнизон-то обучался отражать нападение, если оно случится, но не из этой страны, а с других, более дальних меридианов...

«София», на которой я жил, была морским общежитием, вроде гостиницы на плаву. Мне сказали, что это бывшая немецкая плавучая тюрьма. Старожилы утверждали, будто в цистернах «Софии» когда-то нашли трупы, скелеты, кости,— словом, прошлое у нее мрачное. Но сейчас это была удобная посудина с регулярно действующими душевыми отсеками, правда снабженными необычайно хитрой конструкции замками,— наверно, наследие гестаповцев. Замки такие, что вполне свободно можешь раздеться, пойти под душ и оказаться в западне. Так оно и случилось зимой с одним командиром звена бронекатеров: защелкнулся гестаповский замок, и командиру пришлось вылезать через иллюминатор на мороз; но вылезти он не смог — он протиснулся по пояс, примерз к кольцу, пришлось его, чтобы не простыл, до пояса одеть, потом вырезать из переборки вместе с кольцом иллюминатора и лишь

после этого с помощью мыла и двух дюжих матросов освободить окончательно.

Вот на этой-то «Софии», развлекаемый по вечерам анекдотами, я дождался наконец разрешения идти на Каллбоду. С вечера из штаба предупредили, что за мной утром заедет машина, доставит меня в бухточку Хилу, где в мое распоряжение выделен рейдовый катер.

Я встал рано. Легкий туман рассеялся вместе с рассветом, и очки даже не успели запотеть. С утра над фиордами стояло высокое небо. Было трудно смотреть на море — под холодным осенним солнцем оно стало ослепительно светлым и дымным.

За мной приехал майор с голубыми просветами на погонах. Он сказал, что ему тоже нужно в бухту Хила, и, если я не возражаю, он, проводив меня до Каллбоды, пойдет на том же катере в другие точки.

Тряский «козел» запылил по каким-то извилистым просекам, ныряя в лощинки, взлетая на проросшие сосной и можжевельником скалы, открывая взору кусок затененного кривыми и жилистыми деревьями спокойного озера и снова погружая нас в лесную полумглу, в настой хвои и грибов, мгновенно поглощающий бензиновую вонь.

Бухта Хила появилась внезапно за резким поворотом. Шофер осторожно скатил машину со скалы, к самой воде, мимо заброшенного сарая чужой архитектуры, к крутой горе березовых дров, будто мы прибыли на лесопристань за Кемью, там тоже среди скал складывают поленницы.

Причал на сваях вылезал из недр скалы. У причала колыхалось судно с мачтой, как в рыбачьих гаванях. Это был тоже посыльный катер, штатный в военно-морских силах, но размером поменьше того, на котором я шел из Таллина. Потому он и назывался рейдовым. На него снесли ящики, штабелем лежавшие возле сарая, и сотни две кирпича. По дровам на корме, по многоведерным бочкам с огурцами, расставленным вдоль бортов и похожим на бочонки глубинных бомб, можно было догадаться, что катерок этот — трудяга, кормилец дальних постов, такой, как мои любимцы военных времен — черные угольщики, тихоходные перевозчики мин, водолеи, доставляющие пресную воду туда, где нет и не может быть колодца, — в войну их уважали, а в мирные времена прочтут про них на большом корабле и скажут: «Не о том флоте пишете, дорогой товарищ. Не на то нацеливаете...»

Я прыгнул на борт рейдового катера и громко спросил:

— Где тут начальство?

— Там, — белобрысый матросик испуганно показал вниз, в маленькую кают-компанию, куда прошел мой спутник майор.

Я рассмеялся:

— Я не про то начальство. Вы командир корабля?

— Старшина рейдового катера «1709» старший матрос Павел Канев! — доложил он, смущаясь. — Разрешите отваливать?..

Он быстро побежал на бак, отдал носовой, вернулся в рубку, нажал стартер, запустил мотор, отработал назад и вывел катерок из бухты.

Испросив у старшины «РК-1709» разрешения, я зашел в рубку и стал рядом с ним. Канев покраснел и сосредоточился.

Он ловко вел катер в шхерах. Оказывается, в судовождении он не новичок, хотя всего-то ему, дай бог, двадцать лет. Вырос в области Коми, в селении Щельяюр, между Печорой и Нарьян-Маром, в Сыктывкаре прошел четыре курса техникума, но госэкзамена не одолел, и его забрали на срочную службу во флот. Хорошая служба. Ходи на катерке туда-сюда — всюду тебе рады. А если ветрено и штормит — жди штиля в бухте у причала. Можно и почитать и кое-какими науками позаниматься, чтобы не пропали годы техникума зря. Есть надежда после демобилизации вернуться на родину, походить по северным рекам рулевым, а там можно и штурманский диплом выхлопотать.

Больше ничего выжать из этого парня я не смог, потому что мы вышли из фиорда, и ему пришлось подворачивать то к одному, то к другому островку, разгружая бочки с огурцами и дрова для постов и батарей. Мы отдалялись от материка, и на море становилось свежее, хотя по-прежнему светило солнце.

У Рёншера лагом стояли пограничные катера, и матросы в черных бушлатах поверх парусиновой робы тихо занимались каждый своим делом на выскобленных до седин палубах. С высокого берега бежал к воде главный старшина, начальник маяка, он кричал Каневу:

— Опять бочку с огурцами солеными приволок? Куда ж я ее дену?! У меня прежняя портится.

— Значит, плохо соленные, товарищ Киселев, — солидно произнес Канев. — Досолить надо.

— Какое там досолить. Все пересолено. Рассол разбавляем водой. Ты что сегодня, Паша, такой дутый да важный, будто тебе муху на погонах вышили?

— Берите, берите, товарищ Киселев, — Канев едва заметной гримасой показал на меня. — Распишитесь. Мы торопимся. А вот еще почта.

— С этого бы и начинал, Паша, — уже более сдержанно произнес главный старшина, косясь на непонятного ему штатского.

Выскочили две девушки на огороженную площадку метеостанции, остановились возле игрушечных домиков, похожих на ульи. Вышла следом третья деваха, рослая, крупная. Низким голосом она крикнула:

— Привет Зубастику передай.

Канев сквозь зубы проворчал: «Лошадь», но кивнул ей и тут же мне объяснил, извиняясь:

— То есть Конькова, я хотел сказать. Сама себя так величает. Синоптик она. За нее Колю Красиля отсюда на Каллбоду списали.

Мы пошли дальше. С берега, с пограничных катеров, нас провожали любопытные взгляды. Редки тут приезжие, да еще в штатском костюме, в очках, в шляпе, которую приходилось цепко держать на ветру.

Миновали еще один остров с причалами, стайкой пограничных катеров и каменными постройками на каменной земле. Я услышал название, и что-то тревожное шевельнулось в памяти. Маккилуото. Сорок первый год. Тяжелые походы из Таллина в Кронштадт и из Кронштадта назад к устью Финского залива. И всегда это зловещее имя: Маккилуото. Остров, на котором стояла тяжелая, далеко достающая батарея. Проскочил Маккилуото — порядок. Идешь на траверзе — берегись крупных фугасов, которыми враг погонит тебя на минное поле. Какая-то там есть могила давней поры — то ли времен Крымской войны, то ли от более поздних сражений, могила англичанина Мак-Эллиота, вряд ли приходившего сюда, в чужие воды, с добрыми намерениями. Может быть, с этой могилой связано имя зловещего острова? Уж больно схожи звучания имен острова и англичанина, на нем погребенного. Кто знает, возможно, оно и так, я потом видел на этом острове и намогильную плиту, и руины старинных

бастионов, и другую могилу — капитана Белова, убитого шюцкоровцами уже после выхода Финляндии из войны. Но сейчас я предчувствовал иное: после этого глыбистого гранита откроется Каллбода.

Мы застопорили ход на траверзе скалы. Она не выглядела такой темной, как издалека. Только строения на ней темные. Канев якоря не отдал, потому что долго тут болтаться ему не резон. Погода меняется резко и мгновенно, сумел подойти — сумей вовремя и уйти. Канев не глушил мотора, то отрабатывая назад, то вперед. А мы разглядывали подробности Каллбоды.

Можно было вообразить ее дредноутом с могучей подводной частью и выступающими из воды надстройками. Вот и боевая рубка над каменной палубой, и ходовой мостик, и мачта, и силуэт кормовой орудийной башни; даже люлька с маляром, освежающим кистью стены здания, напоминает о корабле, только борт корабля окрашивают в шаровый цвет, а не в темно-красный. Можно было назвать окрашенный суриком старинный дом замком, мрачным и таинственным.

На катере все притихли, вглядываясь в этот замок, в маляра, о котором Канев мне тихо сообщил, что это и есть тот самый Коля Красиль, не фамилия, а прозвище по ремеслу, а Зубастик он потому, что все зубы стальные: сверзился когда-то с высоты. Потом мы увидели матросов, вынырнувших с веслами на плече из дома.

Они шагали к каменному гроту, похожему на орудийную башню. Над гротом торчал невысокий, но сильный причальный столб, а рядом — сравнительно тонкая жердь ветряка. Две стрелы, как на корабле, поддерживали на талях голубоватую шлюпку. Матросы подошли к ней, спустили ее на воду, уселись на банки, вставили весла в уключины и дружно оттолкнулись от каменного борта. Шлюпка шла к нам. Над гротом осталась другая, она лежала склонясь на бок, старая и негодная.

Хотя волна и поигрывала нашим корабликом, но море выглядело спокойным. Зато Каллбода вся была в бурунах. Пена вскипала не только возле ее каменных бортов, но и над предполагаемыми подводными рифами. Казалось, этот дредноут быстрым ходом куда-то плывет.

Шлюпка подошла к катеру, на борт поднялся молоденький, невысокого роста, светленький лейтенант, козырнув, он сразу же направился на корму, где лежала

груда свежего молодого березняка. Мне казалась она маскировкой над чем-то секретным. Лейтенант смело подошел к веткам, нагнулся, вдохнул, выпрямился, по-детски улыбнулся нам и, кивнув издалека, взял охапку веток и сам передал ее на шлюпку.

Ветки быстро перегрузили, обнажив пустую корму, а в шлюпке все матросы старались держаться к этим веткам поближе. Это были свежие веники для Каллбоды, нарубленные Павлом Каневым в Хиле. Сегодня суббота, банный день, вот Канев и прихватил на маяк веников; я вспомнил финскую поговорку, сообщенную мне на материке офицером Корху, переводчиком штаба базы: «Баня — финский врач». Мы находились на территории, арендованной у Финляндии. Но где тут на скале баня?..

Лейтенант распорядился, чтобы на шлюпку взяли бочку с огурцами и почту, и подошел к нам. Это был тот самый Генка Кондратьев — мне так и хотелось сразу спросить его и про штурманский диплом, и про зловещую Симочку. Ему еще не исполнилось двадцати четырех. Люди в шлюпке выглядели постарше своего командира, но, судя по всему, слушались его беспрекословно. Лейтенант, оказывается, предполагал сегодня уйти на денек-другой в Ботвик, к одной учительнице математики — она охотно помогает ему готовиться к экзаменам. Не только ему, она занимается со многими. Отзывчивый человек. Добрая женщина. Жена одного офицера. Словом, придется перенести урок. Нет, нет, все в порядке, она предупреждена. Лейтенант должен остаться на маяке, чтобы принять гостя.

— Кино не привезли? — спросил Кондратьев Канева.

— Его теперь к вам не вытащишь, — сказал Канев. — Обиделся.

— Конечно, надо было предупредить, — согласился Кондратьев. — Ребята знали, что шторм. Нарочно затягивали харч. А ты ушел.

— А что ж мне, на камни садиться, — сказал Канев. — Вы там «Калиновую рощу» крутите, а меня тут на банки сносит. Того и гляди — накроешься. Фокусничать не надо было. Ему выговор за это.

— Да, не надо было, — согласился Кондратьев.

Вскоре шлюпка вернулась за нами. Не совсем удачно я прыгнул вниз, нога неловко соскользнула с банки, но среди гребцов нашелся парень в роговых очках, он улыб-

нулся мне по-свойски, словно успокаивая, и мне действительно полегчало.

Мы вошли в узенький, чуть шире шлюпки, заливчик в расщелине скалы, туда, где горбом торчал на ней грот и где над нами сразу нависла снасть шлюпочных талей. Все сошли на гранит, омываемый гаснущей волной. Шлюпку подняли и закрепили на месте.

Нам навстречу выбежала черная собачонка, незначительная и суетливая, обрадованная редкой возможностью потявкать на пришельца. Матрос в очках цыкнул на нее, дал пинка, потом жалеючи взял на руки и объяснил, что бывали на маяке собаки и посолиднее. Только в каждом животном важна не порода, а душа.

Пока матросы и лейтенант возились с грузами и шлюпкой, я осматривался по сторонам, пытаясь одновременно заговорить с очкастым парнем, очевидно приставленным ко мне в качестве экскурсовода. Он снял очки явно за ненадобностью, спрятал их, улыбаясь одними глазами, доложил, что его зовут редким, но вполне современным именем — Атом, при обыкновенной фамилии Морозихин. А собачонку кличут Боцманом. Но на это имя она не откликается, потому что ей такое имя не к лицу. Значит, она не так глупа, раз ей совестно носить чужое и почтенное прозвище. Я поторопился сообщить, что про Боцмана уже слышал, знаю, что он утопился в полынье, не выдержав тяжелой жизни на скале.

Атом Морозихин возмутился. Клевета. Боцмана доконала не тяжелая жизнь, а одиночество. Если бы люди его вовремя поняли, они раздобыли бы ему подругу. А то, что болтают про трудную зиму и собачье самоубийство,— глупости. Зимы здесь все трудные, хотя бы потому, что тридцати тонн пресной воды, завозимой с осени, не хватает. На большее количество нет емкостей, а Алексею Семенчикову одному, Грозе Гаек, нужно не меньше тонны на месяц. Гроза Гаек он потому, что, если уж Семенчиков гайку затянет, надо ее не отвертывать, а сшибать зубилом. Из-за него приходится уже в марте вытапливать воду из морского льда. Но собаке воды хватало. Да и не могла она от жажды настолько поглупеть, чтобы отказаться от жизни. Собака была умная. Люди выносили — и собака выносила. Вот Морозихин зимовал второй раз. Товарищ лейтенант — служит третью зиму, Гроза Гаек,

он же Факир Погоды — это он киномеханика подвел, четвертую зиму отбарабанил, слава аллаху, собирается в родную Калугу, так что есть надежда, что в эту зиму тридцати тонн воды Каллбоде хватит. Вот хуже жажды — одиночество. Даже собака не может вытерпеть. Люди хоть летом, но иногда получают увольнение на материк — в клуб или на танцы. А собак, как известно, не увольняют. Потому и довели.

Атом Морозихин разглагольствовал явно «на публику», я заметил, что лейтенант сурово на него поглядывает и жестами напоминает, что у матроса на скале есть и другие обязанности. Подхватив весла, он убежал наконец к маяку и скрылся в какой-то темной нише, ведущей внутрь толстостенного дома.

Кондратьев широким жестом пригласил меня в тот же дом:

— Прошу по адмиральскому трапу наверх.

К наружной стене каменного здания прилепилась крутая железная лестница с ограждением. Это и был адмиральский трап, ведущий сразу на второй этаж. А ниша, в которой скрылись Атом и все остальные гребцы, звалась шхерным проходом — я потом узнал, что это путь в здание через подвал, мимо тесной бани — она все-таки тут есть — и бывшего гальюна, переделанного еще финнами в звукопеленгаторную станцию, а нами использованного под продовольственный склад и камбуз; там, в шхерном проходе, низко, надо беречь голову и ощупывать стены, когда идешь, весь остаток дня и вечера я вдыхал потом запах леса, который поднимался вверх из этого подвала, туда то и дело сбегал кто-нибудь из матросов и возвращался довольный, даже посвежевший, прихватив ветку-другую; я тоже спускался в шхерный проход, тоже пожадничал и вдыхал березовый дух, словно уже испытывал по нему тоску, — ветки холмом лежали на жестком парусе, они были еще пышные и свежие, и каждому не терпелось к ним прикоснуться до того, как они помертвеют и станут грудой хвороста.

Но все это потом. А пока мы поднялись с Кондратьевым на железную площадку перед дубовой дверью в стене. Пока мы шли морем, я ветра не чувствовал. А тут на высоте дул ветер, и Кондратьев сказал, что здесь никогда не бывает тишины. Даже в штиль. Каллбода открыта

всем ветрам, и море всегда бьется о ее скалы. Ветер слышен и за толстыми стенами в кубрике, только шум дизеля способен его заглушить, да и то если не штормит; дизеля включают под вечер, когда начинают работать специальные радиометрические системы.

Катер Павла Канева поспешил уйти. Темнело. И я почувствовал тоску, глядя с адмиральского трапа на уходящее суденышко. Я пришел сюда, чтобы пожить среди матросов Каллбоды, но, очевидно, чувство разлуки с берегом неодолимо для человеческого сердца, как бы ты ни был подготовлен к нему сознанием.

Вместе с темнотой на Каллбоду наступало море. Остовая банка скрылась под водой, и волны приближались к гроту, в котором висела шлюпка, и к шхерному проходу. Кондратьев тронул меня за плечо и напомнил, что надо войти в маяк.

Поначалу шло общее знакомство. Меня водили, показывали, ко мне приглядывались. Мы спустились с Кондратьевым в шхерный проход, и кроме березовых веток я увидел там пылающий в плите огонь, чаны с вскипающей водой и огромную жестяную миску шипящего варева. Я знал, что ужин уже кончился, и догадался, что это предназначено для гостя. Оно еще не было готово, и мы вернулись на второй этаж.

Постепенно я познакомился с личным составом Каллбоды. Конечно, как всегда, прежде всего узнаешь тех, о ком окружающие могут рассказать что-либо забавное или кто сам остер на язык и склонен забавлять себя шуточками над новичком; среди своих такой остряк уже не пользуется успехом, подобно актерам, которым лень обновлять репертуар, а новичку можно прокрутить и старую пластинку. Таким был мой первый покровитель и собачий психолог Атом, общение с которым никак не удавалось возобновить: лейтенант загнал его куда-то на чердак, где находилось, как я потом узнал, нечто таинственное, выкатываемое по ночам на рельсах из ниши на площадочку и посылающее в эфир невидимые тепловые лучи. Это был теплопеленгатор — по нынешнему времени сооружение устарелое, а тогда еще маг, о котором я услышал впервые за десять лет до этого на полуострове Среднем у Федора Мефодьевича Поночевного,— там, на правофланговой береговой батарее над Варангер-фиордом, я знал, что рядом действует некая ТПС и даже передает на КП батареи ко-

ординаты морских целей, глазу не видимых, но ею ощущаемых; я знал, что эта ТПС — шибко секретная штука, сам командир батареи не видел станцию в действии, но ей нужны определенные, заданные условия для успеха, а на войне их не закажешь, и потому — тепло теплом, а стереотруба и батарейный заяц надежнее: был на батарее заяц, который поднимал уши, предсказывая налет вражеской авиации, он ни разу службу ПВО не подвел. И вот снова ТПС, управляемая Атомом Морозихиным,— она следит за движением на международном фарватере.

Ее презирал только один человек, понимавший, что в технике устаревает,— это был дежурный радиометрист Виктор Корягин.

В просторной комнате с огромным окном на длинном канцелярском столе стояли локаторные аппараты с экранами и бегающими по кругу лучами-искателями. Перед аппаратами лежали планшеты карт, покрытые целлулоидом и освещенные 24-вольтовой лампочкой под абажуром. В центре карты кружочком был отмечен маяк, на котором мы находились, к этой точке, как к оси, была прикреплена градуированная линейка, которую радиометрист двигал по кругу. Все, что отражал на светящемся экране луч локатора, радиометрист мгновенно и точно повторял и проверял линейкой на карте — брал точные координаты. Экран и карта совпадали с ночным полем зрения поста. Любая шлюпка, любая посудина, попав в наблюдаемый район, тотчас отражалась на экране — это цель, о которой радиометрист немедленно извещал связанные с локаторным постом службы; его дело найти и не упустить цель, а там, кому положено, проверят, кто идет по фарватеру, не свернет ли тайно или по заблуждению в наши воды, надо ли выйти на перехват и доставить нарушителя в досмотровую бухту или можно просто предупредить и вернуть на международный фарватер — на то и существует морская пограничная охрана, катера которой стоят лагом у Рёншера и Маккилуото. Все это обстоятельно объяснил мне Виктор Корягин, дежурный радиометрист, на попечении которого оставил гостя Кондратьев — он снова побежал вниз отдать какие-то распоряжения, потому что приближался шторм.

Я выглянул в окно — стало совсем темно, не было видно, на чем стоит маяк. Может быть, скалу уже затопила волна — дойдет ли она до плиты, где жарятся макароны,

до огня? Проникает ли море так глубоко в дом, туда, где баня и продсклад. От радиометриста Корягина я уже знал, что у финнов там был гальюн... А у наших — где?..

Словно угадав ход моих мыслей, Корягин стал рассказывать про солдата из базовой самодеятельности, который тоже остался тут ночевать, но постеснялся спросить, где гальюн, вышел на скалу поближе к морю, примостился там в расчете, что волна смывает со скал все, а волна набежала покруче да смыла самого солдата. Так что пришлось Корягину разыскивать его в море с помощью локатора. А чего бы проще — не стесняться и по-житейски спросить матросов... Это был прозрачный намек, но я не стал ни о чем расспрашивать, полагаясь на собственную сообразительность. Тем более что море уже поглотило всю сушу у подножья маячного дома, и площадка адмиральского трапа нависала над самой высокой волной...

Очевидно, не только Атом Морозихин был склонен в этот вечер ввести меня разом в атмосферу жизни маяка, ошеломить наповал, чтобы потом, если я выстою, ко всяким страхам не возвращаться. Корягин сказал, что всякие представители — актеры и другие пришлые люди — на скале не задерживаются. Приходят только в тихую погоду, по-быстрому инструктируют, разносят, спешат в течение часа-двух выдать все, что в ином месте растягивается на несколько суток, и поскорее возвращаются на борт катера или другого судна. Больше двух часов катера не ждут. Ночующих не бывает. Из-за непогоды тут можно застрять на неделю и на две. Два-три балла — не шторм, но на Каллбоде все — стихия. Прокиснешь тут на одних макаронах с мясом.

Балтика, как известно, сурова и беспокойна, полный штиль бывает только летом. Во всем, конечно, свои минусы и плюсы. Хорошо, когда солнышко и можно уволиться на осыхающую Остовую банку, даже подзагореть там. Но долгий штиль вреден. Гигиенически. Море — оно свое дело знает... А уж про осень, то есть про то время, когда мы ведем столь милую беседу, говорить не приходится.

Даже непонятно, как проскочил сегодня к скале рейдовый катерок и как это удалось шлюпке сделать к нему два рейса. На шлюпке тут вообще лучше не ходить. Однажды пошли в кино на Маккилуото. Рискнули. Назад шли — шторм. Сносит за пределы базы. Заблудились. Был перепо-

лох на весь Порккала-Удд. С островов дали пятнадцать ракет. Но к скале вернулись. Мокрые, полна шлюпка воды, а дошли.

А то еще был случай, когда лейтенант в первый день своего назначения отправился на международный фарватер под парусом, Корягин дежурил. Их куда-то в сторону занесло — попали на экран локатора. Раз радиометрист засек — обязан доложить наверх. Подвел, конечно, но служба прежде всего. Расследование: кто, да что, да почему вышел в море. Звонки, переговоры, запросы. Лейтенант давно вернулся, уже парус уложили в шхерный проход. А переговоры все продолжались. Как обмен нотами между государствами. По первому разу — внушение. А могло быть... А вот зимой надо идти до берега по льду, пешком, двадцать пять километров через торосы в десять метров высотой. Только один раз повезло—затерло большую льдину на траверзе Коллбоды,— неделю играли в футбол. Еще был жив Боцман. Уж он по этой льдине гонял! За тюленем гонялся. Бросится за ним, а тот в полынью. Вот этот-то тюлень, наверно, и попутал Боцмана... Так я услышал третий вариант о Боцмане.

Пришел моторист Рыхлевский, харьковчанин с усиками. Он попросил у Корягина свой аккордеон.

— Опять зубы заболели? — спросил Корягин с издевкой.

— Тебе, наверно, писем сегодня нет, потому ты такой разговорчивый, — сказал Рыхлевский, взял аккордеон и унес в дизельный отсек.

Корягин сказал, что это его друг и он на него не в обиде. Писем сегодня Корягину нет, но и Рыхлевский вряд ли получил то письмо, которое хотел бы получить. С некоторых пор его мучает «зубная боль», и он просится у лейтенанта на берег к стоматологу. Но лейтенант знает, что это за боль, и увольнительной не дает. Я, конечно, расспросил, что это за боль, и узнал, на что намекала мне в базовой поликлинике милая женщина — врач-стоматолог.

У Рыхлевского однажды действительно заболел зуб и, несмотря на шторм, к скале отправили врача. Вышел корабль посолиднее — буксир, способный успешно справиться с волной. На буксире — бормашина и зубной врач, лейтенант медицинской службы. Она оморячивалась впервые. С риском для жизни маячники выгребли к буксиру. Они торопились, волна ежеминутно грозила разбить дра-

гоценную шлюпку о борт корабля. Но женщина-врач не хотела прыгать в шлюпку. «Вы меня утопите!» — кричала она, плача, цепляясь за поручни и леера, боясь расстаться с палубой буксира. Пришлось матросам запеленать ее в брезент и вслед за бормашиной бросить в шлюпку. Ее доставили на скалу сухую, но без чувств. В тепле она быстро пришла в себя, смущенно поправила рыжеватые волосы и так мило улыбнулась, что у всех матросов вдруг смертельно заболели зубы. Рыхлевского она излечила, но ненадолго. Болезнь превратилась в хроническую...

Напрасно я тревожился за шхерный проход, плиту и макароны. Оказалось, что там есть барьерчик в двух метрах от плиты, он обозначает предельную отметку наводнений, и кухонный огонь почти застрахован от случайностей. Передо мной поставили полную жестяную миску, вероятно предназначенную на ужин для целого отделения.

А потом пришел Кондратьев, и мы поднялись с ним вверх, и еще вверх, и еще — там начиналась железная лестница, она привела нас в тесную, но светлую радиорубку, к матросу Андрееву. К этой рубке мы прошли через шпалеры свежего, еще не просохшего белья, постиранного, разумеется, мужскими руками.

Андреев нас не заметил. Он продолжал с кем-то телефонный разговор. Кондратьев дал мне знак, я остановился не дыша. Андреев разговаривал с девушкой. А девушка находилась в Ленинграде.

Мы вышли из рубки, и Кондратьев тут же раскрыл тайну Андреева, о которой знал, конечно, весь личный состав маяка. Флотом в то время командовал однофамилец радиста, только не матрос, конечно, а адмирал. А у матроса Андреева в Ленинграде осталась подруга. То, что он не был больше года на берегу Порккала-Удда, не так огорчало матроса, как долгое молчание его ленинградской подруги. И однажды он решился на служебное нарушение — вызвал с маяка Таллин. Таллин ответил и быстро соединил его с Ленинградом. В Ленинграде он нарвался на какую-то сварливую девицу на узле связи — она не пожелала его соединять ночью с городской телефонной сетью, а вместо этого без предупреждения соединила с оперативным дежурным. Тот спросонья спросил строго: «Кто говорит?» Матрос растерялся и ответил кратко: «Андреев».— «Есть, есть, товарищ Андреев. Что угодно?» —

«Прошу соединить с городом». — «Номерок?» Андреев назвал номер, его соединили, он услышал среди ночи голос своей подруги, та никак толком не могла понять, откуда он звонит и почему так сухо и невнятно разговаривает. А Андреев опасался, что, заговори он нежнее, на линии догадаются и разъединят. Он и не подумал, что никто не позволит себе подслушивать адмирала. С тех пор он иногда вызывал Ленинград, неизменно пользовался у вахтенных телефонисток успехом, хотя ни разу не назвал себя адмиралом Андреевым, а говорил просто — Андреев — и это было чистой правдой. А может быть, телефонистки слышали, о чем разговаривали эти двое, разделенные сотнями миль и воинским долгом, и потому сознательно шли навстречу бесхитростной хитрости, потому что ни одна девушка не может остаться равнодушной и черствой к чужой разлуке и чужой любви.

Мы снова затопали по железным ступеням и вышли на самую вершину маяка, в стеклянный фонарь. Цветные фильтры выше человеческого роста и громадные цилиндрические линзы окружали маячный огонь. Снаружи вилась тучей мошкара. Кондратьев сказал, что весной мошкара затмевает свет маяка на международном фарватере, и с ней приходится вести борьбу. Каждое утро маячник Виктор Козлов и его помощник протирают линзы замшей, снимая с них налипший жирный слой. К Козлову на Каллбоде такое отношение, как в иных местах к медикам: он лицо, ответственное за спирт. Баллоны с ацетиленом внизу, в каменном гроте, тащить их вверх одному несподручно. Но он тащит. Скопидом.

Вокруг фонаря кольцом шел зыбкий мостик из сварных труб, пристроенный после войны. Менять внешний вид маяков нельзя. Но все равно из-за войны все лоции пришлось переписывать и перепечатывать заново, потому что многие маяки были разрушены, а в лоциях должны быть точные описания каждой вешки, каждого огня и каждого здания, до войны этого мостика не было, а теперь подвесили. Мы вышли на этот мостик и увидели яркие огни Хельсинки. Днем в ясную погоду виден и остров Нарген под Таллином. Шел по международному фарватеру большой пароход. Козлов сказал, что это «Баторий» с борцами за мир из разных стран. Навстречу ему чинно, не сворачивая с пути, полз буксир с баржей.

Козлов сказал, что на фарватере возникают иногда

своеобразные дискуссии: идет чужой эсминец — обязательно режет углы, не признает границ базы. Государства дружат или враждуют, но порядок на морских путях нужен всем. Вот о маяках — договариваются же всегда и всюду, в чьих бы руках ни находился огонь. Он горит и должен гореть от сумерек до рассвета. Иначе нельзя плавать. А тут — не хотят считаться с порядком. Чего бы проще — иди себе нормально. Ну кому и что они этим доказывают?..

Выйдя из фонаря на лестницу, мы некоторое время задержались напротив площадочки с рельсами, перед нишей, подобной слуховому окну на чердаках. Это — ТПС. Оттуда донесся щенячий визг, тотчас заглушенный, будто псу заткнули пасть рукой. Кондратьев сказал:

— Наш Атом — невыносимый человек. Служит неплохо, но все время устраивает фокусы...

Я ждал разъяснений, но он больше ничего не добавил, и я понял, что ему не хочется входить в подробности: щенячий визг на боевом посту — нарушение, и если гость не расслышал его, то не стоит на этом фиксировать внимание... Мы спустились вниз.

Кондратьев уступил мне свою каютку — закуток в радиолокационной рубке. В каютке было темно, она без окна, фанерная перегородка и скрипучая дверца отделяли ее от остального помещения. Я проспал допоздна и вышел на свет божий, смущенный тем, что нарушил флотское расписание. На меня был заявлен «расход» — накормили так же сытно, как и накануне. Я твердо решил войти в ритм местной жизни и в дальнейшем не опаздывать. Но это удалось сделать не сразу, потому что ложились спать мы поздно, днем матросов расспрашивал я, по вечерам они требовали рассказов. Беседчиков тут ценили, хотя относились к ним строго и требовательно.

Однажды я проснулся, услышав за дверью рубки в операторской сердитый голос Корягина:

— Ты человек или Бобиков! — кричал он на кого-то. — Я тебя спрашиваю! Как можно городить чушь!..

После обеда я осторожно спросил Корягина:

— На кого вы чуть свет кричали?

— Да на нашего гитариста-аккордеониста, на харьковчанина. Хороший парень, но враль невероятный. Что Атом, что он. Спросите его, как он живет дома, в граж-

данской жизни. Начнет хвастать: пианино у нас, сестра играет Бетховена, по вечерам собирается харьковская интеллигенция... Я ездил в отпуск, ночевал у него: не то что пианино, койку негде поставить...

— Ну, это не самое страшное вранье. А как вы его назвали — бобик, что ли?

— Бобиков. — Корягин смутился. — Лектор тут один есть. Наше дело матросское. Судить о нем не берусь. Одного не понимаю: как можно его держать лектором. Подхода нет к людям. Все у него расписано по схеме. Сам-то курсы кончал, четыре класса, а потом курсы. А у нас даже Гроза Гаек, губастый наш, и тот семь классов одолел. Вот к нам приходит доктор Стрелков — настоящий пропагандист. Придет — мы его не столько про болезни спрашиваем, сколько про международное положение. Замечательно рассказывает. Хоть и не его это служебное дело. А этот,— Корягин вспомнил и рассмеялся.— «Товарищ Эйзенхауэр»... Это Бобиков так с ходу отмочил. С тех пор его так и зовут на маяке: «Товарищ Эйзенхауэр». А он хитрый. Видит, что у доктора хорошо получается, всегда норовит к нам с доктором пожаловать. Сначала скажет вступительное: «Итак, товарищи, сегодня мы поговорим о послевоенном положении в США. Кризись послевоенной экономики, товарищи, неотвратимо приближается. Вот, значит, товарищ доктор сегодня вам про этот кризись и расскажет». И дает доктору слово. Выходит, вроде беседу проводит он, Бобиков, а доктора привлекает как актив. А потом, в конце, сам, конечно, «подводит итоги», бабки подбивает. На материке докладывает: провел, мол, беседу с матросами Каллбоды. Очень даже активно прошла беседа. Кроме меня, мол, выступил наш доктор... Ребята к его приходу всегда выискивают какое-нибудь словечко понепонятнее, иностранное, из международных обозрений, и требуют объяснения. А он запишет в книжечку и говорит: «Хорошо, этот вопрос я проясню в базе...»

— При чем все-таки ваш друг? Что у него общего с Бобиковым?

— А-а, это я по делу, — рассмеялся Корягин. — Он ночью стоял вахту, доложил, будто видел самолет. А у меня локатор. Точная техника. Будь самолет — аппаратура не пропустит. Я ему говорю: ты принял за самолет падающую звезду. А он долдонит свое. Хорошо, лейте-

нант ночью не спал, тоже звезду видел, не дал поднять панику на весь гарнизон. Ну, а дружку моему самолюбие не дает покоя. Уперся, как Бобиков...

Погода все дни была мрачная, корабли шли мимо маяка и вдали от него. Кроме вахт, заняться было нечем. Один только матрос, которого прозвали Красилем, продолжал свое дело и в непогоду: море не доставало до его люльки. Он красил дотемна. А потом и он присоединился к общим забавам — домино, шахматы, заезженные пластинки на заезженном патефоне, беседы с приезжим, уже выжатым до предела, и песни под гитару или аккордеон Валентина Рыхлевского. Была, конечно, и своя песня — песня Каллбоды, которую приятным баритоном исполнял именно матрос-красиль; слушая его, я вспомнил о привете синоптика с Рёншера — такие голоса девушкам любы. В этой песне, как во всех самодеятельных сочинениях, исполняемых на другие, уже известные мотивы, были и волны, омывающие гранит, и раскаты прибоя, и чайки, и приветливый «трехцветный огонь маяка», но в той атмосфере, в которой мы жили в эти штормовые дни, песня казалась мне верхом поэтического мастерства и романтизма. И я был рад, когда на обороте фотографии, изображающей Каллбоду, солист Коля, «пострадавший за любовь», от имени всех обитателей маяка написал и подарил мне ее текст, завершающийся строфой: «Пускай же шумит непогода, пусть дует холодный норд-ост, стоит нерушимо Каллбода, далекой России форпост»...

Иногда я выглядывал за дубовую дверь в наружной стене на открытую всем ветрам площадку адмиральского трапа, нависшую над морем, штурмующим наш замок. Обычно площадка была пуста, на ней не задерживались. Но однажды днем я застал там Атома за древним, уже забытым было мною детским занятием: Атом швырял в море камушек за камушком, стараясь пустить камушки по поверхности и подальше. Он смутился, увидев меня, но тут же овладел собой и, достав из кармана бушлата пригоршню гальки, предложил ее мне, как предлагают семечки. Я сел рядом и тоже стал бросать камушки, но они тонули. А его камушки скакали по убегающей от подножья волне. К нам присоединился Рыхлевский, тоскливее других поглядывающий на море. Не только из-за милого стоматолога на станции Киркконумми. Настал уже его час прощания с Каллбодой и военной службой, а уйти

нельзя. Вышел к нам и кок, которого уважительно называли Иваном Ивановичем; когда на маяке крутили фильм, кок смотрел картину вместе со всеми, хотя это происходило перед ужином; на камбузе его подменял парторг из района визуального и технического наблюдения, специально приходивший для этого на том же корабле на Каллбоду. У кока на всех наружных площадочках вокруг здания стояли ящики с землей, привезенной с материка. На площадке адмиральского трапа рос в ящике зеленый лук. Кок проверил посевы и остался с нами — стало тесно, но теплее. Атом уже не швырял камушки, потому что кок не любил, когда «пугают рыбу». Это его слабость: рыбы кругом много, на всех постах ее ловят и жарят, а на Каллбоде нет — глубоко, с адмиральского трапа не половишь, да и не идет она сюда... Мы помусолили уже не раз переговоренное, потом я вспомнил и спросил, почему это на Каллбоде никто не предложил мне написать комедию о Бургарове.

— Не актуально,— отрезал Рыхлевский.— Дальше той банки не увольняемся и потому не вступаем в личный контакт с комендатурой.

— Посмотрим, что ты, милый, запоешь, когда отправишься с чемоданчиком и своим аккордеончиком на станцию Кирkконумми, — сказал Атом. — Не случилось бы контакта в последний день твоей доблестной службы. Да еще при свидетельницах...

— Любишь ты, Морозихин, портить людям настроение, — сердито произнес Иван Иванович. — Лучше бы присмотрел за своей шавкой, чтоб не сверзилась с чердака.

— Застрахована. — Атом рассмеялся. — Разрешили бы, Иван Иванович, погреться ей на камбузе?..

— Хватит, что ты сам от собачьего духа никак не проветришься, — сказал Иван Иванович, встал и ушел.

Атом еще пуще рассмеялся и объяснил, что кок не может ему простить запрещения ставить ящички с посевами на площадке перед нишей. А там же — такая техника. Недопустимо. Атом замолотил что-то про памятную для кока встречу все с тем же Бургаровым на пороге «Гадкого утенка», когда это заведение еще называлось «Белым лебедем», и стал уверять, что именно по вине кока там был введен сухой закон, а самого, мол, виновника отправили на Каллбоду выращивать витамины в ящи-

ках. Потом он позлословил о каком-то матросе, который словчил на целых две недели уволиться на материк — аппендицит вырезать: у всех есть аппендиксы, а у него, видите ли, воспалился... Он явно тянул Рыхлевского на спор, но тот надулся и молчал.

Наконец Рыхлевский заговорил про свое: адреса вот у демобилизуемых взяли давно — значит, все в порядке, а оказии все нет; барахлишка накопилось много, одних музыкальных инструментов три штуки, будет трудно при свежей погоде грузиться, но музыка в его семье первое дело, поскольку дома рояль, Бетховен, харьковская интеллигенция — словом, все, что я уже слышал от его дружка... Тяжело ждать после стольких лет службы этого последнего дня.

Но море уже успокаивалось, хотя волна опала не сразу.

Вечером, когда все небо покрылось звездами и за окном локаторной мы снова увидели обнаженную скалу, Кондратьев сказал:

— Хотите пройтись под парусом? Вообще-то не положено. Воды нейтральные, пограничники требуют оповещать их заранее. Но если начнем запрашивать — в лучшем случае волынка на всю ночь. А так побродим, далеко не уйдем и вернемся...

Ему не хотелось быть многословным, но хотелось меня убедить. Он догадывался, что я уже предупрежден о его шлюпочных увлечениях. Он вдруг сказал, что летом шлюпка Каллбоды на соревнованиях брала призы. Но чтобы остаться в спортивной форме, надо тренироваться. А какая же тренировка, если на каждый выход в море нужна чуть ли не виза МИД? И вообще: Каллбоде положены повозка и лошадь, а не шлюпка. Да, да, это точно: подразделению на острове или на материке полагается выезд. По штатному расписанию. Даже зернофураж запланирован. А шлюпка — не кобыла, шлюпка — роскошь. Излишество, унаследованное от прежних обитателей скалы. Она, конечно, есть. Но в то же время она вне штата. Она, как выражается Бобиков, недооформлена. Не проведена по инстанциям до верха. И на нее смотрят сквозь пальцы. Был случай. Чужая яхта нарушила границу. Нарушители тут выработали несложную тактику: чуть что — ускользают за международный фарватер, катера не успевают догонять их. И тут пограничники не поспевали. А в море в ту ночь, конечно, болталась шлюпка

Каллбоды. Под парусом, на самоволке. Увидели удирающую яхту — конечно, пошли на перехват. Пограничники очень за это благодарили. Сказали, что по всем статьям положено шлюпочников наградить. Но потом где-то спохватилась: а почему, собственно, шлюпка очутилась в море? Самоволка!.. Так что — ни награды, ни влета: за самоволку полагалось наказать, но кто-то мудро определил, что одно покрывает другое...

Корягин у радиолокатора безучастно слушал наш разговор, но когда лейтенант кончил меня агитировать и повторил приглашение, Корягин оторвался от экрана и пристально на меня посмотрел. Я согласился и, кажется, обрадовал его этим.

Мы вышли на «банку Зырянова». В лоциях нет такого названия, но я уже знал его происхождение. Зырянов и лейтенант всю зиму купались в проруби. Характер у них сходный, оба взбалмошные. Другие парились в бане, а эти — в прорубь. Подвяжет Зырянов веревку к камню на банке и с банки — в воду. Зырянов — парень заводной, он служил юнгой на крейсере «Макаров», стоит ему сказать: «Что твой «Макаров» — галоша», он два часа не успокоится. Потому шторм — не шторм — лезет в воду. Однажды в баню прибежал Шевляков, кричит: «Зырянов тонет». Выскочили шестеро — команда шлюпки и лейтенант, все голые: столкнули шлюпку, а волна штормовая. Невозможно идти. Зырянов сидит на дальней банке: туда доплыл, а обратно не может. Сидит, держится за камень, волна дернет его, смоет, еле он выгребает назад. А банку ту уже заливает. Ему кричат: прыгай. А он не может заставить себя разжать ладони. Наконец, волна подхватила его, швырнула вверх за банку — столб воды, увенчанный задницей, картина! Протянули ему весло и на буксире вытащили к гроту. Тут он еще заупрямился. Сам, говорит, встану, сам вылезу. Встал и упал. Окоченел. Еле отогрели в бане. Конечно, холодной водой. Так и осталось за банкой прозвище — «зыряновская»...

Мы пошли вшестером, меня включили в шлюпочный расчет, дали на пиджак бушлат, а на голову чью-то бескозырку — она была мала мне, пришлось завязать ленточки под подбородком. Поставили фок, подняли кливер на носу; тихо, в темноте вышли в море. Мне тоже дали что-то подержать. Все время рвались шкоты и фок почти вырывался из рук, но Кондратьев был деликатен и молча

меня поправлял. А на носу Атом возился с молодым матросом, новичком, который не мог справиться с кливером, упуская повороты на галсах. Так что не я один оказался лопухом. Кондратьев командовал вполголоса, отрывисто, словно боялся, что в базе могут услышать и опять ему попадет за ночные прогулки. Поскрипывало дерево. Ветер хлопал полотном. Со свистом уходила за корму вода — никогда не думал, что движение под парусом такое быстрое. Все было таинственно, интимно и торжественно. От стука дизелей Рыхлевского и особенно от тарахтенья одноцилиндрового мотора, которым заряжали аккумуляторы, когда бездействовал ветряк, все эти дни трещала голова, и напрасно я глушил боль таблетками с Большой земли. А тут сразу стало легко.

Маяк переписывался с каким-то кораблем. Атом сказал:

— Наш МГУ взял позывные у эскадренного тральца, идущего в Порккала.

МГУ — это, конечно, было для меня, москвича: маяк действительно ночью казался высотным зданием на море, как МГУ на Ленинских горах.

А потом мы вернулись к скале, и я испытал чувство такое же, как когда-то после ночных полетов на бомбежку Тамани. Мы уже были друзьями — как с тем экипажем. Мы шли с Кондратьевым к маяку, взявшись за руки, и он рассказывал о своих обидах, о том, как хочется ему стать штурманом и как трудно сломать странное отношение к Каллбоде, словно к месту ссылки. Все норовят списать сюда за проступки. А Кондратьев не хочет брать штрафных. Не из предвзятости, а из принципа. Это честь служить в таком трудном месте, а не наказанье. Ребятам обидно, когда сюда присылают «на исправление». Да и сам Кондратьев пришел по своей воле. Надоело быть начальником клуба. Какой же он моряк — начальник клуба. «Калиновую рощу» крутить. Или «Антон Иванович сердится». Ума не надо — крутить днем и ночью одну и ту же ленту про Антона Ивановича и Симочку, которых ненавидит весь флот...

Какое счастье, что я не спросил его про Симочку. А ведь подмывало...

Утром я проснулся от луча солнца, проникшего сквозь скрипучую фанерную дверь в каютку. Я нашарил возле себя очки. Нашел трусы. Не было только моего

костюма, на который все эти дни матросы поглядывали, как на адмиральскую форму. Не было ни рубахи, ни галстука, даже шляпа, столь неподходящая для этого моего путешествия, куда-то исчезла, словно ветер наконец подхватил ее и унес в море. Странно. Я отлично помнил, что всю одежду сложил на табуретку, а поверх нее положил очки.

Я выскочил в рубку, озаренную полным утренним светом. Локатор был выключен. Оператора возле него не было. Я выглянул в окно.

Скала перед зданием и остовая «банка Зырянова», куда уходили на увольнение, как на пляж, выступили из опавшего моря и уже обсохли на ветру. На скале, в затылок, стояли полуголые матросы в одних трусах. Чуть впереди, в моем костюме, в рубашке, повязанный галстуком, в моих штиблетах и в моей шляпе красовался радист Андреев. Костюм едва сходился на его мощной груди, но был застегнут на среднюю пуговицу. Перед ним пританцовывал лейтенант Кондратьев, наводя на фокус фотоаппарат и тщательно выбирая ракурс. Потом Андреев отошел в сторону, снял мой пиджак, мои брюки, мой галстук, рубаху, штиблеты, остался в трусах и шляпе и нехотя передал одежду радиометристу Корягину. Тот потонул в моем костюме, но тоже застегнул его на среднюю пуговицу, предварительно затянув на шее галстук, вывязанный раз и навсегда. Потом Корягина сменил харьковчанин — примерно моего роста. Но за харьковчанином в очереди стоял калужанин — Гроза Гаек, он же Факир Погоды. Хорошо, если он будет фотографироваться в пиджаке нараспашку. Дальше я наблюдать не мог: в рубку возвращался Корягин, я поспешил в каютку, лег в постель и зажмурился.

Время тянулось бесконечно, я мысленно отсчитывал секунды и минуты, необходимые каждому из стоящих на скале в затылок матросов, чтобы растерзать мой вольный мундир. Я набавлял еще минуты на фотографические усилия лейтенанта, на перезарядку кассеты. Прошла, казалось, вечность, наконец осторожно со скрипом приоткрылась дверца, и кто-то сложил на табурете мои штатские доспехи. Для приличия я еще полежал, отсчитывая до двухсот. Потом встал, оделся и вышел.

Корягин сидел у выключенного экрана, предельно сосредоточенный. Но я видел, что он спиной чувствует

каждое мое движение. Я прошел вниз на камбуз, где на меня снова был заявлен «расход». На этот раз я не чувствовал себя нарушителем флотского распорядка.

Кок Иван Иванович, успевший за дни шторма снять урожай из всех ящиков и завершить новую посевную, надел вдруг фартук, он готовил салат — все поняли, что ожидается приход начальства.

Тысяча дел возникла у матросов Каллбоды с приходом очередного корабля оттуда, уйма забот. Спустился с высоты своей «автономный начальник» Виктор Козлов и покатил к гроту пустые синие баллоны — тотчас на звон из шхерного прохода выскочила черная собачонка, затявкала, мчась то за баллонами вдогонку, то перед ними, пока на нее не цыкнул Атом Морозихин; оберегая собачонку от беды, он взял ее на руки и унес в здание: Кондратьев не желал, чтобы она тявкала и мелькала перед начальством. Атом снова вышел на скалу, поглядел вверх на маляра, спешившего до прихода катера довершить окраску, и, ни к кому не обращаясь, но так, чтобы слышал лейтенант, сказал:

— За такую работу на Рёншере гражданские мастера взяли десять тысяч рублей. Матрос, конечно, на это не претендует. Но хоть бы увольнением поощрили. Даже не на материк, а на соседний островок...

Кондратьев поджал губы, взглянул на Атома так, что тот понял: пора снаряжать шлюпку.

И снова из шхерного прохода вышли матросы с веслами на плече. Они шагали к каменному наросту, похожему на орудийную башню; над гротом заскрипели блоки изогнутых стрел, матросы расправили снасть и быстро спустили шлюпку на воду.

Атом Морозихин надел очки и сел на руль. Козлов погрузил свои пустые баллоны, тоже прыгнул в шлюпку и занял место загребного. На рейде уже болтался катер, только не Павла Канева, а другой, поболе ростом; шлюпка пошла к нему за прибывшими начальниками. Пока катер будет разгружаться, начальники должны успеть справить все свои дела.

Первым рейсом шлюпка доставила пассажиров, и только Козлов успел прихватить кое-какой груз — не баллоны, а пузатую бутыль, опечатанную сургучом, с чистейшей, играющей на солнце прозрачной жидкостью. Он пережидал, пока пройдут начальники, потом торжественно

пронес эту бутыль в здание. Вторым рейсом Козлов доставил свои синие баллоны, тут же перенесенные им в грот. Без чьей-либо помощи.

Выгрузили еще одну бочку с огурцами — веников на сей раз не было. Не было и почты, кроме двух экземпляров «Блокнота агитатора» и еще какого-то тонкого журнальчика.

Рыхлевский извелся: он давно простился, сложил возле шлюпки весь свой оркестр — гитару, мандолину, аккордеон — и даже твердо определил, какой выберет путь на Большую землю. Можно уйти морем через Таллин, можно уехать железной дорогой в Ленинград через станцию Киркконумми, по самому длинному в Европе тоннелю — так финны называли участок дороги от начала до конца базы, где поезда, как по тоннелю, проходили без остановок и с закрытыми окнами и дверьми; для нас, кстати, этот тоннель был еще длиннее, потому что в Хельсинки выходить из поезда не разрешалось и тоннель продлевался до самой границы Финляндии. Рыхлевский все же избрал этот путь. Как говорил Атом, «мимо поликлиники».

А тут выяснилось, что катер доставил масло для дизелей, и Рыхлевскому напоследок пришлось заняться разгрузкой масла вместе с преемником, молодым мотористом, новичком. Корягин им помогал. Когда новичок, откатывая бочку с маслом, отходил в сторону, Корягин и Рыхлевский, шипя, о чем-то спорили и ругались, и я опять услышал: «Ты человек или Бобиков?»... Да еще новичок-моторист, все время с восторгом глазевший на музыкальные инструменты, желая угодить заслуженному старшему товарищу, сказал:

— Весело, наверно, было ребятам служить с вами...

Рыхлевский, укладывая свое имущество в шлюпку, внезапно сунул этому новичку-мотористу свой аккордеон. Тот растерялся: выходит, выпросил. Но его оттиснул в сторону Корягин. Он сказал Рыхлевскому:

— Не волнуйся. Приеду — доставлю в сохранности.

Рыхлевский махнул рукой. Они обнялись, и шлюпка пошла к рейдовому катеру.

Мы удалялись от маяка. Рыхлевский сидел, привалясь позади рубки, и сумрачно смотрел на окрашенный суриком замок, в котором провел столько лет. Я подумал: «Неужели ему жалко аккордеон? Или расставанье тяжелое...» Рыхлевский сказал:

— Понимаете, ведь можно как человека подозвать: товарищ матрос, ко мне. А то, подумайте. Стоит он на перекрестке — его не обойти. Идет человек, может быть, не один, может быть, с девушкой — ему все равно. Пальчиком, пальчиком манит... Унизительно...

Ну вот, он тоже заговорил о Бургарове. Добился Атом Морозихин, сделал свое черное дело.

...А через несколько дней я шел мимо Каллбоды на стотоннике на траление. На мостике стояли три офицера: командир, чем-то очень похожий на Генку Кондратьева; штурман, несколько самоуверенный, любящий похвастать морской эрудицией и бросающий мне в блокнот эдакие фразы: «Стокгольм? Хороший городок. Впрочем, город — дело второе. Главное, знать вход»; и лейтенант-химик, всех нас замучивший своей наукой. Пока мы стояли у пирса, неистовый лейтенант-химик Янковский таскал меня по вечерам на берег, объяснял устройство дымгранаты и швырял ее в море, поднимая на ноги всех вахтенных; возвращаясь в каюту, он не давал мне спать, бубня про конструкцию атомного двигателя да еще про девушку в Ленинграде, которая только тем и хороша, что тоже химичка. А когда мы вышли в море, он затеял учения и заставил меня надеть на штатский костюм костюм резиновый с сапогами и герметичным шлемом, предварительно растолковав, какие бывают от химии ожоги. И вот муки эти позади, мы шли мимо Каллбоды молча и стараясь не глядеть на нашего мучителя. После перенесенного я все же чувствовал себя на ступень выше и в заговоре с остальными мучениками на мостике, которым тоже отныне атомная радиация нипочем. Но тут меня одолел зуд, так и подмывало утереть химику нос и показать, что я, штатский, кое-что повидал помимо химии и причастен даже к Каллбоде. Увидев людей на осыхающей банке возле Каллбоды, я сказал, рассчитывая, что химик услышит:

— Банка Зырянова.

— Ничего подобного, — быстро ответил химик. — Остовая банка.

— Нет, банка Зырянова!

— Вы ошибаетесь, — вмешался штурман Малеев. — Таких банок на Балтике нет. Есть Макарова. Есть Лазарева, Игнатьева, Иродова, Козакевича, Кузнецова, могу по

алфавиту, могу по фарватерам, как вам угодно. Но банки Зырянова нет.

Я объяснил штурману, изучающему входы и выходы различных портов Балтики, что банка Зырянова все же существует. Имени матроса Георгия Зырянова.

— Уж не с «Адмирала Макарова» ли эта знаменитость? — спросил Малеев, очевидно служивший раньше на этом крейсере.

Я подтвердил, что именно с крейсера «Адмирал Макаров».

— Тогда я понимаю вашу шутку, — успокоился штурман Малеев. — Его списали с крейсера за водобоязнь. И отовсюду списывали. Плохой матрос. Плавать не умеет. Значит, докатился до Каллбоды.

— Почему докатился?!

— Дальше ехать некуда, — Малеев рассмеялся. — Там плавать категорически запрещено. Вот ему и уют.

Спорить с ним я не стал.

На Балтику меня тянет едва ли не каждый год. Позапрошлым летом, идя ночью на корабле из Кронштадта, я торчал на мостике, донимая вахтенного офицера просьбой предупредить меня, когда откроется Каллбода. Он не совсем понимал моего интереса — маяк не наш, он несколько в стороне от нашего курса, но просьбу мою выполнил. Когда справа возник белый проблесковый огонь, он тихо сказал: «Вижу Каллбоду». Я тоже увидел в ночи ее характерные проблески: свет, интервал, свет, интервал, свет, большой интервал... Маяк принадлежит другой стране, но режим огня тот же. Это дало толчок воображению, мне показалось, что я вижу скалу, дом, грот, ветряк, шхерный проход и даже огонь на камбузе. Конечно, камбуз могли перенести в иное место, но все, что снаружи, наверняка осталось так, как было. Только что толку в воображении, если не знаешь живущих на маяке новых людей, говорящих на другом языке.

Прощание с Порккала-Уддом

Десять дней я провел в Порккала-Удде перед возвращением арендованной земли финнам. Эти десять дней были финалом большой жизни дальнего гарнизона. Сюда пришли наши войска в 1944 году. На острове Маккилу-

ото я видел могилу советского капитана Белова, убитого шюцкоровцами уже после выхода Финляндии Рюти — Таннера из гитлеровской коалиции. Война продолжалась, и базе, созданной в восемнадцати километрах от финской столицы, в самом узком месте залива, суждено было сыграть немалую роль в достижении окончательной нашей победы в Балтике. Я бывал в гарнизоне Порккала-Удда не раз. Со скалы Каллбода ясно светил огонь шведам и датчанам, всем, кто шел по международному фарватеру в Хельсинки, — не зря балтийский матрос Виктор Козлов изо дня в день старательно промывал спиртом и протирал замшей мощные линзы на вершине маяка. Тральщик лейтенанта Калинникова чистил этот фарватер от фашистских мин, а лейтенант тревожился: придет без него на берег телеграмма из Ленинграда, и не узнает он вовремя, сына жена родила или дочь. Люся Киселева, молодая женщина, окончившая институт в Иванове, высадилась на берег Рёншера, готовая разделить с мужем жизнь на гранитном острове, где живую березку в расщелине скал лелеют, словно плодовое дерево. Я видел учения, парусные гонки, рыбную ловлю, киносеансы в скалах, пот и мозоли солдатской и матросской службы, любовь, дружбу, ссоры, браки, рождения, обиды и радости — жизнь бурную, полную событий и суровой романтики. Сейчас меня поразило безмолвие: словно жизнь остановлена, выключена на большом пространстве, занесенном снегами. Рядом — пестрые и шумные кварталы Хельсинки, близок Ленинград, за заливом Таллин, а тут — подобие музея в Турку, где от прошлого века сохранены покинутые улочки и дома ремесленников с эмблемами часов, сапога, кренделя над дверьми. Но здесь была не древность, а современность, ее признаки на каждом шагу: на каменном здании каменные буквы: «Средняя школа № 455», а над трехъярусным помещением электростанции под скалой перекрытие второй половины двадцатого века: метров тридцать гранита над головой. В течение трех месяцев по доброй воле своего правительства уходил гарнизон из советской зарубежной базы, закрывая дома, подправляя мосты и приводя эту землю в состояние, соответствующее укладу гражданской жизни.

Осталось уже мало, совсем мало людей, только часть тех, кто должен был поддерживать точный график движения скорых финских поездов через Порккала-Удд, тех,

от кого зависела охрана здоровья, связь, подача воды, света, выпечка хлеба, расчистка дорог и, главное, негаснущие огни маяков. По три раза на дню оттепели чередовались с пургой, метели, заносы — ни отдыха, ни сна.

Мы все жили в лазарете, на горке в Киркконумми, — и врачи, и генералы, и шоферы, и корреспонденты. В дежурке, возле стеклянного шкафа с йодом, пирамидоном и дистиллированной водой, сидел матрос у телефонного аппарата и отвечал то Таллину, то Москве, то «непромокаемым и непромерзаемым» морским пехотинцам, занятым расчисткой дорог. Удивительна была в эти дни общность чувств у людей, обитавших на базе: желание все сдать в порядке. Потому все мы с такой жадностью разглядывали порккалауддские фотографии в газетах, доставленных из Хельсинки, прислушивались к радиопередачам из соседнего мира. Мы знали, что в Хельсинки уже съезжаются корреспонденты и кинооператоры со всего света: американский корреспондент почему-то интересуется судьбой батареи на Маккилуото; датчане и шведы гадают, каково было значение базы и не последуют ли примеру русских американцы, разбросавшие по свету несколько сотен своих баз.

В декабре я провел две недели в городах Финляндии, побывал, конечно, и на Ханко, поискал на площади перед ратушей могилы летчиков-героев Ивана Борисова и Алексея Антоненко, но не нашел, постучался в подвал, где жила и работала редакция «Красного Гангута», но тут же отпрянул: там разместилась каталажка полиции, сходил в порт, на Утиный мыс, а потом и на почту, чтобы послать домой открытку со штампом «Ханко». В Турку я побывал в гостях у одного вагоновожатого, социал-демократа. Это была странная, пожалуй, встреча: за столом кроме его жены сидела гостья, которая как ни в чем не бывало объявила, что она состояла в батальоне «Лотта Свярд» — у нас люди войны знают, что это были за женские батальоны, фашистские батальоны. Но мы друг друга терпели, а с хозяином даже чокнулись, хотя выяснилось, что, когда я был на острове Эльмхольм, он находился на полуострове Подваландет, на батарее, которой наши регулярно устраивали после субботней бани побудку. Мы с ним вспомнили кое-что, стараясь друг друга поддеть, но мирно и по-хорошему, даже сфотографировались на прощание, благо тут как тут оказался репортер с

лампой «блиц». Так вот: даже в этом пестром обществе были поражены и обрадованы решением Советского правительства вернуть Порккала-Удд Финляндии и спрашивали: «А не передумают ли?» Все о Порккала-Удде расспрашивали, газеты и радио сообщали каждый день новости, но, очевидно, все это кого-то пугало, и в печать еще тогда потекла зловонная ложь. Теперь по вечерам мы с обидой и возмущением слушали недобрые предположения о том, что якобы ждет финнов на этой земле: об одичавшей пустыне, о разорении и разгроме, о каких-то минах, будто замаскированных на границе.

— Залив чистили, все немецкие мины, рискуя жизнью, убирали, а они черт те что придумывают, — сердился мичман Гаврик, шофер командира базы генерала Кабанова, сверхсрочник, который служил тут со времен войны.

— Ты, Гаврик, наивный человек, — возражали ему. — У них там перед выборами даже премьера грязью обливают, а ты уж хочешь, чтобы все шло по правде. Может, они штатских пугают, чтобы зря в базу не шатались...

— Дело ихнее, раз дело темное. Только зачем нас марать...

Мы с недоумением слушали генерала Карло Ваала, назначенного председателем временного административного комитета района Порккала-Удд, который предупреждал по радио: «Едущий на лошади должен помнить, что строго запрещено пользоваться навесами конюшен и сараев, потому необходимо обеспечить стоянки на открытом воздухе. Корм лошадей везти с собой, поить только из специально выделенных колодцев. Самим беспокоиться о питании и питьевой воде... Захватить с собой лопаты для расчистки дорог...»

На 24 января был назначен приезд финских властей. А в ночь накануне мой сосед, отвечающий за дороги, не ложился спать. Ударил тридцатиградусный мороз, окна затянуло сплошной белой пеленой, сквозь размороженную дыханием лунку в комнату сочился холодный свет, лес за окном был иссиня-черный, снег — серебряный, искристый, он тускнел и становился пепельным, когда набегало облако, луна так часто мигала, что сосед то и дело бегал к телефону:

— Как прогноз? Пурги не будет?..

Утром взошло солнце, особенно яркое и ослепительное

на морозе. Адъютант принес генералу красивую фуражку с лаврами на козырьке, но Кабанов предпочел черную каракулевую шапку. Генеральский «ЗИМ», уже заснятый и описанный десятками корреспондентов во время недавней пресс-конференции в Хельсинки, помчался к границе.

Мичман Гаврик сидел за рулем торжественный: министров-то встречаем не каждый день... Генерал как-то виновато сказал ему:

— Ты уж, Гаврик, когда останавливаемся, выскакивай, дверцу открывай, у них так принято.

Гаврик весь день усердно открывал дверцу даже мне.

Я записал фамилии пограничников, которые впервые открыли шлагбаум на мосту через Эспон-Лахти, не проверяя документов на право въезда иностранцев в Порккала-Удд, где часы еще показывали не десять утра, как в Хельсинки, а одиннадцать, как в Москве, — Николай Белов и Павел Филюшкин. Одиннадцать лет их пограничный отряд задерживал нарушителей и охранял рубеж базы, и в тот день я услышал от генерала Ваала признание: за все эти годы между соседями не было ни одного пограничного инцидента.

Генерал Ваала, как принимающий территорию, тут же у моста пересел в головную машину генерала С. И. Кабанова. Он был в меховой шапке, в стального цвета шинели с выглядывающими на мундире орденами, в блестящих, почти лакированных сапогах, с картой и планшетом в руках. Сев в машину, он через переводчика сказал:

— Я хотел бы задать генералу Кабанову три вопроса. В каком состоянии отопительные системы зданий?

— Законсервированы, — пробасил Кабанов. — Вода спущена.

— Хорошо, — по-русски сказал Ваала и задал второй вопрос: — В каком состоянии водоснабжение?

— Законсервировано. Водонасосная станция на ходу. Можете включать воду и пить, — и, быть может вспомнив о радиоречи собеседника, Кабанов добавил: — Эпидемических заболеваний среди животных и людей за все одиннадцать лет в Порккала-Удде не было.

— Очень хорошо, — снова по-русски сказал Ваала и задал третий вопрос: — Может ли генерал указать на жизнеопасные районы?

— Жизнеопасных районов здесь нет. Гарантирую вам безопасность. Мы никогда не расставляли мин. Могут

быть отдельные невзорванные снаряды на полигоне и гильзы от патронов.

Ввиду ограниченности запаса русских слов генерал Ваала дважды повторил: «Очень хорошо!», а Кабанов, помня, что позади ждут автомашины с нашим послом, финляндским премьер-министром и министрами, вежливо осведомился:

— Может быть, остальные вопросы господин генерал задаст в пути?

— О, да, о, да. Очень хорошо, — генерал Ваала рассмеялся.

Длинный кортеж, шурша шинами, двинулся по дорогам, привычным к гусеницам и грубой резине вездеходов, мимо потонувших в снегу аккуратных домов, повинуясь взмаху солдат-регулировщиков на лесных перекрестках. Изредка генерал Ваала сверялся с картой, спрашивал, что-то уточнял, очевидно, вносил новые топографические подробности — многие болота, речушки и скалы уступили место дорогам и строениям, нельзя было не видеть, что ценою неимоверного труда карта исправлена к лучшему, и генерал Ваала все чаще повторял: «Очень хорошо!» Эти два слова, как присловие, произносили в тот день и министры на аэродроме, годном для реактивных самолетов, на причалах, в складском городке; адмирал Сундман, начальник отдела мореходства в министерстве торговли и промышленности, не выдержал этикета, отделился от группы и побежал в голову нового пирса в Ботвике посмотреть на залив — ему вдогонку кричали: «На месте море, на месте, господин Сундман». Министр обороны Эмиль Скуг в сводчатом подземном зале склада — 110 метров на 12 — сложил рупором ладони и прокричал: «О-го-го», и эхо так гулко повторило его голос, что кто-то не выдержал и пошутил: «Придется этот зал отдать финской народной партии, может быть, здесь им удастся умножить собранные голоса», — речь шла о ничтожном количестве голосов, собранных на выборах в коллегию выборщиков той националистической группой, которая даже в 1955 году не рассталась с фашистским бредом о «Финляндии до Урала».

Беседа становилась непринужденной. Генерал Кабанов откровенно предупреждал, где неудачно уложена труба, которая может дать по весне течь, где надо укрепить мост, где дома достроены уже после решения правитель-

ства о возвращении территории, а где лишь заложены фундаменты, — финны, если это им нужно, могут их использовать. Кабанов сообщил, что в Порккала-Удде у него родился внук, а вообще в базе рождалось по четыре — пять человек в день. «Задал же генерал соседу задачу», — шепнул мне Гаврик, очевидно кое-что смыслящий в законах военной статистики.

Мы находились в пути уже третий час, и генерал Ваала, обнаружив более широкие познания в русском языке, даже вспомнил очень старую русскую военную поговорку: «Курица — не птица, прапорщик — не офицер»; потом он сказал, что «после войны солдаты лучшие друзья», обменялся кое-какими военными воспоминаниями с Кабановым и даже спросил о значении его армейских погон на морской форме. У Кабанова хватило такта не спросить у генерала Ваала о значении боевого креста на его мундире, вернее, свастики на этом кресте. Но Гаврик, заметив в шоферское зеркальце эту свастику, впился в нее глазами и долго не мог отвести потемневшего взора.

Гости порядком устали и были обрадованы, когда Кабанов предложил им чашку кофе и рюмку вина. Мы вошли в помещение школы-семилетки на горке над железной дорогой возле Кирккнуммми, там, где к платформе «Школьная» дважды в день подходил специальный поезд для наших школьников. На длинном столе в учительской стояли вина, закуски и, по финскому обычаю, зажженные свечи. Гости и хозяева поднимали друг за друга тосты. Прием, как пишут в дипломатических отчетах, проходил в дружеской обстановке, и, действительно, атмосфера в этом скромном домике в заснеженном лесу Порккала была сердечной. Господин Г. Энкель из министерства иностранных дел прочувствованно сказал: «Я просто потрясен тем, что увидел сегодня в Порккала».

Слышали бы это заявление любители сенсаций, те корреспонденты заокеанских и хельсинских реакционных газет, которые в тот час тщетно ждали на рубеже Эспон-Лахти, что, может быть, в Порккала взорвется какой-нибудь фугас, столкнутся машины или хотя бы попадется дохлая кошка на пути. Хотя в Порккала ничего не случилось, это не помешало клеветникам изобрести в последующие дни «груду невзорванных мин и снарядов у церкви возле Кирккнуммми» или «найти» какие-то мифиче-

ские останки возле того лазарета, где мы жили. Пришлось потом генералу Ваала опровергать эту ложь...

Я спросил министра обороны Э. Скуга, видел ли он разрушения в Порккала. «Нет, не видел», — ответил он.

— Каковы же ваши впечатления от поездки?

— Вы же понимаете, что, как министра обороны, меня больше всего обрадовали сооружения на берегу залива.

— Они, кажется, обрадовали и господина советника по промышленности, с которым я только что говорил?

— Да, но нам придется с ним поспорить в сейме.

— И господину Сундману, как вы могли заметить, понравился причал в Ботвике. Он считает, что причал в сочетании с новой железной дорогой удобен для торгового флота?!

— Ну, с господином Сундманом я как-нибудь справлюсь, — рассмеялся министр. — Хотя он и служит в министерстве торговли, но его звание контр-адмирал. Вы же понимаете, что я имею на него кое-какое влияние...

Я рассказал министру о неожиданной встрече в Турку с бывшим минометчиком Тейво Тайконеном. На Ханко в 1941 году мы стояли друг против друга как враги, в Турку встретились как друзья и даже выпили по рюмке, за то, чтобы остаться друзьями. В старину люди воевали, глядя друг другу в лицо, теперь воюют, не видя друг друга в глаза.

— Не кажется ли вам, господин министр, что личные встречи представителей финского и советского народов полезны для дела мира?

— О да, я с вами согласен.

— И чем больше мы знакомимся, тем крепче наша дружба?

— Я охотно поддержу этот тост.

Министр перешел уже на сухое вино, он заговорил о Москве, где недавно был и которая ему очень понравилась, о трудовой общественной устремленности советских людей, спросил, сколько у меня детей и сколько мне лет. Я спросил, есть ли у него внуки, министр ответил, что внуков нет.

— Наши дети берегут нашу с вами молодость, господин министр. Иначе мы бы уже стали дедами.

— Да, мы еще молоды, — рассмеялся собеседник. — Но мой сын уже офицер. Он войдет с войсками в Порккала.

— Мой сын — солдат. Он служит срочную службу.
— Он служил здесь?
— Нет, господин министр: он служит у Черного моря.
— Да, у вас большая страна.
— Но я хотел бы, чтобы наши сыновья вели такую же приятную беседу, как мы с вами. И никогда не встречались бы как враги.
— Я тоже хочу этого!..

Кажется, министр задумался о чем-то, быть может, об изменчивости ветров в его северной стране, о капризах погоды и капризах политического климата. Мы говорили в тот день только о климате стойком, надежном, о мире и дружбе, и все наши офицеры за это поднимали тост. Весь их ратный труд на фронтах и в гарнизонах был посвящен этой цели: беречь мир. Вот почему у Гаврика потемнели глаза при виде свастики.

Подумав об этом, я еще раз вспомнил свое недавнее путешествие по Финляндии. Очень часто в поездах какой-либо спутник говорил: «Я бывал в России — на петрозаводском направлении», «Я был в плену под Красноярском», «Я был матросом на Онежском озере», — и это нисколько не коробило, мы вспоминали об этом без чувства неприязни, потому что нынешнее сильнее прошлого. Но я помню, как больно было увидеть на страницах газет рассуждения о Вяйне Таннере, как о возможной «черной лошадке» на выборах в президенты — так в Финляндии называют запасного кандидата, который может быть выдвинут внезапно, по сговору партий. «Как? Тот самый Таннер, который вместе с Маннергеймом, Рюти, Кивимяки и Рангелем вверг финский народ в ярмо гитлеровского блока? Тот Таннер, что призывал устроить Содом и Гоморру в голодном, блокированном Ленинграде»? Гид из числа эмигрантов спокойно пояснил тогда нам, что Таннер — бывший военный преступник. Да разве может стать «бывшим» военным преступником виновник бед и страданий целого народа?! Воистину по финской поговорке: «И сажа чистая, но черная».

В Порккала-Удде в эти дни 1955 года мне попалась газета «Ууси суоми» за 20 января. Рядом с фотографиями сооружений, в которые вложены пот и кровь советских людей, я увидел строки, прозвучавшие, как вой шакала сквозь литавры праздника. Снова — Вяйне Таннер! Нашлись люди, которые решили отметить его 75-ле-

тие всенародным сбором подписей под приветственным адресом. Смысл этой затеи раскрывался в объявлении, подписанном людьми, влияющими на политическую погоду в Финляндии. Вместе с военными преступниками Кивимяки и Рангелем свою подпись поставили три кандидата в президенты — Карл Фагерхольм, Сакари Туомиоя и Ээро Рюдман, секретарь социал-демократической партии, Лескинен и другие. Эти люди утверждали, будто Таннер, этот военный преступник, имеет какие-то личные заслуги перед нацией. Видимо, есть в Финляндии силы, которым не по душе популярная в народе линия трезвой добрососедской политики, или, как ее называют, «линии Паасикиви», и которые истосковались по ненавистной народу «линии Маннергейма». При этом забывают, что в Финляндии все больше и больше становится людей, которым отвратно осквернять память павших и честь живых.

Матрос с Онежского озера, рабочий, спутник в поезде Котка-Лахти, испуганно прекратил со мной беседу, когда в вагон вошли трое в серых бекешах и серых галифе, чем-то напоминавшие шюцкоровцев. Сквозь зубы, так, чтобы только я слышал и только я понял, он процедил, кивая на вошедших: «Ку-лак!» Да, хотелось бы, чтобы этого испуга не было, чтобы у этого рабочего и его сыновей было больше мужества и уверенности в уже осознанных ими чувствах. Но каждый народ идет к мужеству своими путями. Мы уезжали из Финляндии с сознанием, что и финский народ придет к этому мужеству, хотя еще немало препятствий у него впереди.

Порккала-Удд — Хельсинки.
1954—1955

ГЕРОИЧЕСКИЙ ТАЛАНТ

Я хочу закончить книгу очерком, написанным через много лет после войны, в год, когда — в который раз — среди литераторов и читателей вспыхнул спор: историческая ли тема минувшая война с фашизмом или современная. В те дни в Манеже выставил свои рисунки художник, которого я узнал на войне, в 1941 году. Я написал очерк и назвал его: «Героический талант».

Именно так хочется сказать о человеке, живущем сегодня среди нас, о художнике Борисе Ивановиче Пророкове.

Именно так, потому что никто, кроме близких друзей, не знает, ценой каких физических страданий достается художнику каждый штрих его мужественных талантливых работ, которые регулярно появляются на выставках и воспроизводятся потом на страницах газет, журналов, книг.

Говорят, для искусства важен результат, а не путь к нему.

О результате каждый волен судить сам. Назову только некоторые рисунки Пророкова, чтобы напомнить его, пророковский, почерк: «Танки Трумэна — на дно!» — из серии «За мир». Заглавный лист серии «Маяковский об Америке» — американская статуя Свободы с полицейскими в глазницах и слезой-дубинкой. Негр на костре — из серии «Маяковский об Америке». «Американцы на прогулке» — матросы, восседающие в коляске рикши, — из серии «В гоминдановском Китае». «Стиляга» и «Папина «Победа» — рисунки к фельетонам Семена Нариньяни.

Это из послевоенных работ, то, что, очевидно, запомнилось если не каждому, то многим. Любая из работ —

не иллюстрация к литературному тексту и не просто сатирический рисунок, а самостоятельный политический памфлет. Во всем — его, особый, пророковский почерк — резкий, смелый, строгий и емкий.

Но все это стало пройденным этапом перед новой ступенью, на которую поднялся художник.

Я говорю о серии его рисунков «Это не должно повториться» — десять листов о войне, выставленных в Манеже. Их нельзя смотреть в репродукциях, надо их видеть в натуре. Как и вся графика на выставке «Советская Россия», они висели где-то в стороне, как говорят художники, «на невыгодном месте». Но на посетителя они действуют подобно красному сигналу, неожиданно вспыхнувшему на кричащем и весьма многолюдном перекрестке. Остановись. Посмотри. Вспомни. Подумай. Вернись, снова взгляни в эти высеченные страданиями лица и непрощающие глаза, и ты не забудешь их никогда.

Впервые после войны Пророков высказался о войне. А ведь он больше, чем кто-либо другой, давно имел право и должен был сказать свое слово о войне. Именно свое слово о войне, которую пережил, видел без прикрас.

Люди, которые иногда говорят, что им надоела тема войны, путают искусство с трескотней. В том-то и дело, что нет произведений искусства о войне вообще, как нет и войн «вообще». Есть война против жизни, и есть война за жизнь, война — войне! Существует литература об умении убивать друг друга, если можно так выразиться, техническая — она скончается вместе с концом угнетения и войн. Произведения художественной литературы переживут все войны, если это произведения не о приключениях или интрижках на поле брани, а о страдании и мужестве, любви и ненависти людей, отстаивающих жизнь.

Пророков имеет право на свое слово о минувшей войне, потому что он в самую решающую пору — на рубеже между жизнью и смертью — разделил судьбу своего поколения как художник и солдат.

Когда-то до войны он отслужил два года срочной службы в саперах. При всей романтичности своей натуры он в сорок первом году, пожалуй, и не стремился ставить минные поля и проволочные заграждения на поле боя, хотя и гордится теми особенными минутами, когда

война испытывала его человеческий характер солдатской мерой. Пророков пошел на фронт против фашизма с тем оружием в руках, которым лучше всего владел, с оружием советского художника.

Не надо искусству прибедняться: его сила в сражении за жизнь не слабее силы многих дивизионов артиллерии, хотя и не всегда берется в расчет стратегами войны. Мы подчас стесняемся сказать о подвиге человека искусства так же громко, как о подвиге солдата или полководца, пока не случится литератору или художнику заменить в бою убитого командира и возглавить оборону высоты. А я не мыслю себе стойкой борьбы матросов Гангута в сорок первом году без пророковского смеха и сатиры, без его ежедневных изобразительных фельетонов, гравюр, портретов, вырезанных из-за отсутствия цинка для клише на линолеуме, содранном с полов в разрушенных войной домах. У него почти не оставалось времени выйти из политотдельского подвала и глазом художника всмотреться в гангутские скалы, о которых он вспоминает всю жизнь; он с трудом выкраивал минуты для пейзажных набросков в блокноте, но потом, когда на тонущем корабле пришлось выбирать между этим редким и для каждого художника бесценным запасником рисунков «для себя» и уникальным комплектом матросской газеты, он выбрал комплект «Красного Гангута» и не ошибся, посчитав, что и для него самого это в жизни важнее.

В штормовую декабрьскую ночь он, художник, стал старшим в команде политических работников на обреченном корабле, среди мин и снарядов в Финском заливе, и ничего нет удивительного в том, что жизнь своей команды он спасал, как настоящий командир: он был не соглядатаем, не наблюдателем на войне, а ее участником, и самое счастливое для него воспоминание об этом трагическом часе, что люди в его команде, стоявшие в ожидании спасающих катеров и тральщиков у борта так плотно, что если поднимешь ногу, то уже не сможешь ее поставить на то же место, — все эти люди оказались людьми мужественными и порядочными.

Вот где формировались и утверждались эстетические взгляды художника — он видел все: и кровь на палубе, и исступление труса, посылающего проклятия вслед переполненному спасенными тральщику, — но он видел и порядочность настоящих советских людей, которые, не

зная, вернется ли этот тральщик за ними, уступали свою очередь женщинам и раненым, он видел позже, в блокадном Ленинграде, благородство этих женщин, предпочитающих муки голода унижению перед врагом.

Война нанесла солдатские раны и ему. Летом сорок четвертого года, когда началось наступление на Выборг и появилась надежда снова побывать у начала своего военного пути, на Гангуте, Пророков добился творческого отпуска и поехал на берег Финского залива на фронт. На окраине Выборга еще шли бои. Генерал с перевязанной головой увидел художника, рисующего на улице под артиллерийским огнем, и, не признав ни документов, ни допуска на фронт, ни прав искусства на участие в бою, приказал немедленно убираться в тыл. С городской улицы Пророков перебрался на камни залива и стал рисовать с натуры налет немцев на крепость. Он очнулся на берегу, перенесенный туда взрывной волной. Неизвестно, сколько времени он пролежал без памяти. Придя в себя, он решил, что ему повезло: хорошо, что взрывная волна бросила его не в море, а на берег, хотя и гранитный. Он встал, поискал, но не нашел своих зарисовок, доплелся до санчасти, сделал противостолбнячный укол, убедился, что череп не поврежден, и пошел в комендатуру, чтобы по-фронтовому отметить встречу с знакомым по Гангуту бойцом. Но там его увидел генерал с перевязанной головой, теперь он даже обрадовался знакомому художнику, которому тоже успели перевязать голову, обрадовался его военно-морской форме и поручил, как представителю флота, поднять вместе с армейцами флаг над выборгской крепостью. Опять художнику выпала честь солдата.

А потом на попутной машине он уехал в Ленинград, добрался до Москвы, отлежался дома, благо никто не тянул его в госпиталь — он же контужен в творческом отпуску, — а сам он не мог тогда предположить, что за эту контузию будет расплачиваться всю жизнь.

Он даже дома не долежал до поправки, потому что началось наступление в Эстонии, и появилась снова надежда поспеть к Гангуту с другой стороны. Вместо Гангута он с матросским десантом попал в сосновый лес на живописном песчаном берегу за Палдисками, где гестаповцы торопились, но не успели довершить ликвидацию заключенных лагеря смерти. Заключенные валили сосны, распиливали на двухметровые плахи и сами укладыва-

лись на них попарно, валетом, воздвигая живую поленницу для костра. Поленницу успели обдать бензином и зажечь, но в разгар казни пришел десант. Пожалуй, впервые Пророков потерял самообладание и не смог себя заставить рисовать.

А потом перед автомашиной, в которой он уезжал из соснового леса, упал снаряд, и снова он очнулся на каких-то камнях. На этот раз его контузило не в творческом отпуску, а в творческой командировке, и его на некоторое время уложили в госпиталь.

Но столько было ран вокруг, что художника не стали задерживать и отпустили в Берлин, потому что он должен был, конечно, видеть руины памятников милитаристам в Тиргартене.

А оттуда надо было успеть на Дальний Восток, в Порт-Артур, потому что еще не все кончилось, а Хиросима еще только началась.

Так накапливалась война — со всеми ее ужасами, кострами, пепелищами, горем, кровью, смертями, победами и неумолкающими угрозами.

Но тут началось то, о чем долгие годы не хотелось писать, но надо, необходимо рассказать.

Много лет болит голова. Болит не так, что можно глотнуть таблетку пирамидона, выспаться и сесть работать или читать. Нет. Болит без передышки, круглые сутки и круглый год. Просветы — то есть немного меньше боли — по утрам: тогда можно поговорить с друзьями, а иногда, правда редко, и погулять. Вечером совсем плохо: музыку, особенно хорошую, лучше не слушать, иначе начнется приступ. Весной и летом легче, чем зимой. Но вот пришла весна шестидесятого года, и снова плохо — это расплата за нарушенный запрет.

Пятнадцать лет врачи запрещали художнику касаться войны. Было набросано девяносто эскизов о Гангуте, но папка отложена в архив. Пророков занимался политической сатирой, насущными темами дня. Занимался по-своему, по-пророковски, отдавая все силы души. Все, что сделано за минувшие годы, — а мы видели в Третьяковке, на выставках или в печати только итоги и не знаем, какой титанический поиск стоит за каждым листом, — все, что показано, отдано нам, — это живая, неуемная боль. Рисунок к «Бруклинскому мосту» Маяковского — к строкам «Отсюда безработные в Гудзон кидались вниз

головой» — так и остался в карандаше: композиция решена с такой силой, что художник не может вернуться к ней, не теряя сознания. А отступить, ослабить, изменить нельзя.

Из года в год мучила запретная тема. Можно ли отказаться от нее? Есть ли у него право тревожить людей сейчас, возвращать к страшным видениям, когда жизнь на подъеме, когда люди жаждут красоты, любви, счастья?.. Но бомбы на Брест обрушились в безмятежную июньскую ночь. Не так-то легко отмахнуться от правды жизни, бросить бездумное и безответственное: «Война — это ужас, надоела война», закрыть от страха глаза, в которых горит костер эстонского леса, стоит образ женщин голодного Ленинграда, матерей и вдов у Бабьего Яра, которые не простят малодушной капитуляции перед мещанином, готовым добыть покой и довольство ценой рабства и унижения. Высказаться, выразить все наболевшее стало желанием мучительным, хотя и запретным, долгом художника, делом личного подвига. И вопреки воле врачей, которые так и не могут ничем ему помочь, кроме охранительных мер и советов, Пророков снова вошел в «творческий треугольник», состоящий из мольберта, кровати и столика с лекарствами, дозы которых пришлось удвоить.

Начались поиски языка, не абстрагированного от жизни, но отвлеченного от фотографии факта, осмысливающего и обобщающего все подлинное, виденное, пережитое художником.

У каждого искусства свой язык, но у нас часто путают язык фотографии с языком красок и язык красок с языком литературы.

В сороковом году на ухтинском направлении белофинского фронта группа наших красноармейцев выстояла в тылу противника в крепости, построенной из глыб льда и снега. Над этой крепостью раненый боец поднял вафельное полотенце, смоченное своей кровью. Этот флаг доставили в политотдел армии. Потрясенный начальник приказал Пророкову запечатлеть флаг на века. Пророков сам был потрясен мужеством бойцов и на солдатское полотенце с порыжевшими пятнами крови смотрел с благоговением. Но надо ли срисовывать это полотенце? Кто без помощи слов поймет, что эти пятна — кровь бойца?.. Но приказ на войне есть приказ, и художник красочно нари-

совал солдатский флаг. Нарисовал точно, как в жизни. Но жизни в рисунке не стало: то, о чем можно убедительно рассказать словами, не всегда скажешь на языке живописи.

Да, у каждого искусства свой язык — это кажется элементарным, но как часто с этим не считаются сами художники. Так и лезут на выставки многометровые, густонаселенные картины, пропитанные авторским потом, с десятком старательно выписанных, словно сфотографированных лиц и даже с огурцами на столе столь натуральными, что хочется протянуть руку и попробовать, хотя для этого лучше сходить в овощной магазин. Но где же язык живописи?

Свое слово о войне Пророков сумел сказать именно языком изобразительного искусства. Художник, отлично знающий все стороны войны, владеющий запасом интереснейших литературных сюжетов, не стал рисовать ни танков, ни самолетов, ни последствий бомбежек, ни руин, ни костров в лагере смерти, ни палачей. Обо всем этом он заставил нас подумать, каждого по-своему и о своем. Он заставил нас посмотреть на войну глазами одной из воюющих сторон — глазами жизни, которая в муках и борьбе противостоит смерти. Именно противостоит: рвет киркой колючую проволоку; шлет из пламени костра проклятие палачам; в час налета не закрывает от страха глаза и не поднимает рук, а загораживается, сопротивляется, борется; в час тревоги не становится на колени, не отшатывается, не спасается бегством, а защищает ребенка, устремясь всем телом вперед. Все трагично, правдиво и достойно человеческого в человеке.

«Анна Франк» итальянского художника Гуерраски на Международной выставке изобразительного и прикладного искусства VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов тоже возвращала зрителя к теме жизни и смерти. Картина вызывала споры, останавливала, волновала и вместе с тем угнетала. Смерть, фашизм, война унизили на полотне жизнь.

На пророковских женщин «У Бабьего Яра» смотришь с болью и уважением к человеку. Перед такими глазами содрогнется палач. Это искусство возвышающее, а не унижающее. Не страхом, а мужественной ненавистью художник говорит «нет» войне. Так он нашел эстетически приемлемое выражение кошмара войны для протеста про-

тив войны, против тех неисчислимых бед, которые она приносит.

К такому искусству человек не может быть равнодушным. В том-то и сила таланта, что он заставляет думать и волноваться, а не разглядывать детали, не препарировать творение художника по частям. Препарируют труп, а не живое тело. А если и пройдет кто в первую минуту мимо, холодно или с раздражением на то, что вот опять искусство напомнило о глубинах жизни, о сложностях вместо легкости, о грубом вместо изящного, о бурях вместо безмятежности, то в минуту следующую или более далекую, на другой день или позже, когда суровая правда коснется их души, заденет, встряхнет, они вспомнят, обязательно вспомнят лица и глаза этих умеющих быть людьми людей.

1961 год.

СОДЕРЖАНИЕ

К ЧИТАТЕЛЯМ!

Отзывы об этой книге просим присылать по адресу: Москва, К-160, Военное издательство.

Рудный Владимир Александрович
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ФЛОТ
Рассказы, очерки, дневники
М., Воениздат, 1965, 584 с.

Редактор *Ильинская Е. А.*
Художественный редактор *Тихомирова Т. А.*
Художник *Шамро О. П.*
Технический редактор *Кузьмин И. Ф.*
Корректор *Лапшина Г. С.*

Сдано в набор 19.1.65 г. Подписано к печати 21.7.65 г.
Г-23276
Формат бумаги $84 \times 108^1/_{32}$ — $18^1/_4$ печ. л. = 29,93 усл. печ. л. 30,704 уч.-изд. л.
Тираж 30 000 экз. ТП 1965 г. № 278
Изд. № 4/5873. *Цена 1 р. 07 коп.* Зак. 675.

1-я типография
Военного издательства Министерства обороны СССР
Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3

ВЛАДИМИР РУДНЫЙ

